

ISSN 0130-7673

НОВАЯ МИРА



НОВАЯ
МИРА

11



1978

1978



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1978 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. И. БРЕЖНЕВ — <i>Целина</i>	3
ЛЕВ ОЗЕРОВ — <i>Новые стихи</i>	56
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — <i>Из лирики, стихи</i>	59
В. КАВЕРИН — <i>Двухчасовая прогулка, роман</i>	63
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — <i>Голубь в Сантьяго, повесть в стихах</i>	156
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — <i>Человек и время, воспоминания</i> Часть восьмая, завершающая	193
ГЛЕБ ПАГИРЕВ — <i>На всю жизнь, стихотворение</i>	229
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ — <i>Ода на рождение автомобиля</i>	230
ВИНСЕНТ ЭРИ — <i>Крокодил, роман. Окончание. Перевел с английского Ростислав Рыбкин</i>	237
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
В. КОБЫШ — <i>Жить, как по телевизору</i>	261
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР — <i>Строка в старой записной книжке</i>	279
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. И. КУЛЕШОВ — <i>Как мы играем классику? Глазами филолога</i>	303
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	315
И. Григгер. Энергия романа.— Сергей Чуприян. Сухое пламя.— М. Злобина. В ожидании Великого потопа.— И. Девисова. «Не убывает памятью народ».	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

Политика и наука

331

Н. Мор. Двести семнадцать дней и ночей.— **В. Елисеева.** Учитель творит человека.— **Ю. Матвеевский, Я. Поварков.** Веление разума и совести.— **В. Буданин.** Из когорты богатырей.

КОРОТКО О КНИГАХ: **Ю. Игрицкий.**— **Б. И. Марушкин, Г. З. Иоффе, Н. В. Романовский.** Три революции в России и буржуазная историография. ♦ **Георгий Степанидин.**— **Ю. Жуков, Р. Измайлова.** Начало города. Страницы из хроники 30-х годов. ♦ **Г. Петрова.**— **Нодар Думбадзе.** Десять рассказов. ♦ **А. Альтшуллер.**— **Е. Полякова, Станиславский.** ♦ **Ю. Манн.**— **Д. Николаев.** Сатира Щедрина и реалистический гротеск. ♦ **Ф. Наркирьер.**— **Роже Шатоне.** Через самую высокую дверь. Роман. ♦ **К. Бродер.**— **Ида Радволина.** У одного костра. Портреты югославских писателей. ♦ **Анна Илупина.**— **Дмитрий Кабалевский.** Дорогие мои друзья. ♦ **Е. Краснощекова.**— **Г. А. Белая.** Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов. ♦ **Владимир Даненбург.**— **Великая Октябрьская социалистическая революция.** Энциклопедия. ♦ **Г. Федоров.**— **Анатолий Варшавский.** В начале всех начал 342

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

352

Л. И. БРЕЖНЕВ



ЦЕЛИНА

1

Бсть хлеб — будет и песня... Не зря так говорится. Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилom всех ценностей. И в наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов. Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, овладели энергией атома, а хлеб остается хлебом.

Особое, трепетное, святое отношение к хлебу присуще гражданам страны с колосьями в гербе. Могу сказать, что смолоду оно ведомо и мне.

По отцу — рабочий, по деду — крестьянин, я испытал себя и в заводском, и в сельском труде. Начинал рабочим, но в годы разрухи, когда остановили надолго завод, пришлось узнать пахоту, сев, косовицу, и я понял, что это значит — своими руками вырастить хлеб. Вышел в землеустроители, работал в курских деревнях, в Белоруссии, на Урале, да и позже, когда опять стал металлургом, само время не давало забыть о хлебе. Вместе с другими коммунистами выезжал в села, бился с кулаками на сходах, организовывал первые колхозы.

Можно сказать: всего четыре года в начале трудовой деятельности целиком были отданы деревне. А можно иначе: целых четыре года. Землеустроителем начал работать в самом начале коллективизации, а на завод вернулся, когда она была в основном завершена. Эти годы — с 1927 по 1931 — равны эпохе в истории страны. Нарезая землю сельскохозяйственным артелям, мы сознавали, что не просто уничтожаем межи, но помогаем социалистическому переустройству села, перекраиваем весь тысячелетний уклад крестьянской жизни.

Говорю это к тому, что близки стали мне город и деревня, завод и поле, промышленность и сельское хозяйство. В Запорожье, о чем уже писал, основное внимание пришлось уделять восстановлению индустрии, но неустанных забот требовали и колхозные дела. В Днепропетровске город и деревня занимали в работе примерно равное время. В Молдавии на первый план вышло сельское хозяйство, но и промышленность, создаваемая там практически заново, тоже не давала забыть о себе. Так и шли эти заботы рядом, словно две параллельные линии, которым пересечься не дано, а для меня они пересеклись.

И сегодня на мой рабочий стол в Кремле регулярно ложатся сводки о ходе весеннего сева, о состоянии всходов, о темпах уборки.

По давней привычке сам звоню в разные зоны страны и когда слышу товарищей с Кубани, из Приднепровья, Молдавии, Поволжья, Сибири, то уже по голосам чувствую, каков у них хлеб. Если, скажем, на целине до 15 июня не выпал дождь, знаю, что придется сбросить с урожая несколько центнеров. Если дождя не будет до конца месяца — сбрасывай еще... В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами — бескрайние целинные поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев, и, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними.

Целина прочно вошла в мою жизнь. А началось все в морозный московский день 1954 года, в конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Сама проблема была знакома, о целине узнал в тот день не впервые, и новостью было то, что массовый подъем целины хотят поручить именно мне. Начать его в Казахстане надо ближайшей весной, сроки самые сжатые, работа будет трудная — этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в данный момент более ответственного задания партии, чем это. Центральный Комитет считает нужным направить туда меня.

Суть в том, услышал я, что дела в республике идут неважно. Тамошнее руководство работает по старинке, новые задачи ему, как видно, будут не по плечу. В связи с подъемом целины нужен иной уровень понимания всего, что нам предстоит в этих обширных степях совершить.

Главное, что мне поручалось, — обеспечить подъем целины. Дело, я знал, предстоит чрезвычайно трудное. И прежде всего надо найти правильное решение организации выполнения столь важной задачи. Речь шла не только о подъеме зернового хозяйства одной республики, а о кардинальном решении зерновой проблемы в масштабах всего Советского Союза.

Уже осенью на целине нам надо было взять хлеб! Непременно нынешней осенью!

Итак, жизнь моя опять, в который уж раз, круто повернулась.

30 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК, обсудившее положение в Казахстане и задачи, связанные с подъемом целины. Через пару дней я вылетел в Алма-Ату.

В ту пору не думал, что через столько лет почувствую необходимость рассказать об этом незабываемом для меня периоде жизни. Не боясь повториться, скажу, что и на целине никаких записей или дневников опять же я не вел. Не до того было, но жалеть об этом, думаю, не стоит. Вспоминаю послесловие В. И. Ленина к книге «Государство и революция». Он пишет в этом послесловии, как начал было готовить еще одну главу, да времени не хватило — помешал канун Октября. «Такой «помехе» можно только радоваться, — замечает с юмором Владимир Ильич, — приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

На целине миллионы советских людей продолжали делать опыт революции, умножали в новых исторических условиях ее завоевания, творили живой опыт победоносного строительства развитого социализма. Поэтому мне навсегда остались памятными и дорогими годы безраздельно отданные этой земле.

В Алма-Ате мне довелось быть впервые. Но я с каким-то очень теплым чувством осматривал город. Он давно уже был для меня близким, я заочно любил его так же, как Каменское, Днепропетровск или Запорожье.

Мне, как многим фронтовикам, не сразу удалось найти адрес, по которому были эвакуированы в тыл мои близкие. Восемь долгих, тревожных месяцев прошло до той поры, когда меня нашло на фронте

первое письмо от жены с обратным адресом: Алма-Ата, улица Карла Маркса, дом 95. Из этого письма я узнал фамилию людей, приютивших мою семью,— Байбусыновы Турсун Тарабаевич и его жена Рукья Яруловна. Нашел их домишко, похожий на тысячи других в тогдашней, почти сплошь одноэтажной Алма-Ате. Жена писала во время войны, что летом дом утопал в зелени деревьев, а под окошком тихо журчал арык. Но теперь стоял февраль, арык был пуст, а голые, мокрые от наступающей оттепели деревья роняли с ветвей капли влаги. Почему-то сразу остро, почти зримо вспомнились многие дни войны. Зайти? Надо же сказать спасибо доброй казахской семье, поклониться стенам, в которых вместо четырех человек дружно прожили в те трудные годы семеро. Но я решил подождать жену и, если удастся, зайти сюда вместе.

Пошел дальше по улицам, зная, что это лучший способ составить первое впечатление о городе, где предстоит жить и работать. Заглянул на базар, который многое может сказать опытному взгляду. Это ведь своего рода барометр хозяйственной жизни любой местности, зеркало обычаев, традиций ее населения. Алма-атинский базар, шумный, многолюдный, пестрый, дал мне немало поучительных сведений. Весь колоритный облик города пришелся по душе.

Как-то так вышло, что жить в нем пришлось по разным адресам. Вначале поселили за городом, в доме отдыха, километрах в пяти от знаменитого ныне катка Медео (тогда его не было). Место исключительной красоты. Сады, дорожки, чистый воздух, говорливая речка, бегущая с гор. И сами горы рядом — темнеют синевой, сверкают снежными вершинами. В последний приезд в Казахстан, в сентябре 1976 года, я заглянул в этот дом отдыха, решил найти свою комнату, уверенно поднялся на второй этаж, отыскал знакомую дверь и начал рассказывать спутникам, что вот у этого окна был рабочий столик, а сбоку — диван...

— Нет, Леонид Ильич,— улыбнулась сестра-хозяйка.— Вы ошиблись на целых две двери.

Этот случай говорит не столько о несовершенстве человеческой памяти, сколько о быстроте перемен. Не только дом отдыха, сильно перестроенный,— вся сегодняшняя Алма-Ата совсем не похожа на прежнюю. Теперь это огромный, современный, почти с миллионным населением город, красивый и своеобразный. Он строится с размахом, по хорошо продуманному плану и, я бы сказал, с любовью. Здесь не увидишь унылых, однообразных кварталов, архитектура новостроек оригинальна, ни одно крупное здание не повторяет другое.

Каждый раз, прилетая сюда, говорю старым друзьям: «Вот снова приехал к вам как к близким людям!» Когда в Алма-Ату перебралась моя семья, поселились мы в деревянном домике крестьянского типа все там же, в Малом ущелье. Дом теперь снесен. Затем переехали в центр, на улицу Джамбула, в экспериментальное здание из песчаных плит. Видимо, не очень они были прочны — здание не сохранилось. Нет и домика, приютившего мою семью в годы войны,— на том месте бьют сегодня веселые струи большого фонтана. И только один дом, на углу улиц Фурманова и Курмангазы, уцелел и поныне. Но в нем пришлось жить лишь в последние месяцы работы в Алма-Ате.

А тогда, в начале февраля 1954 года, едва осмотревшись на новом месте, я должен был присутствовать на пленуме ЦК Компартии Казахстана. Должен сказать, о делах в республике многие ораторы говорили на нем самокритично и резко. Мы с П. К. Пономаренко, которого ЦК также направил в Казахстан, внимательно слушали, сами не выступали. Когда подошел момент выборов, представитель ЦК КПСС

сообщил участникам пленума, что Президиум ЦК рекомендует первым секретарем избрать Пономаренко, а вторым — Брежнева.

Работали мы с П. К. Пономаренко рука об руку, добиваясь одной цели, забот и дел хватало обоим. Что касается меня, то я всегда ценил и уважал Пантелеймона Кондратьевича и как «главного партизана», руководившего всю войну народным сопротивлением в тылу врага, и как умелого организатора, надежного товарища.

В конце пленума, поблагодарив участников, он сказал всего несколько слов от имени нас обоих:

— Надеюсь, мы сможем оправдать ваше доверие. Будем работать и работать! Думаю, что уже через два года мы сумеем доложить Центральному Комитету о выполнении задач, возложенных нынче на казахстанскую партийную организацию.

Забегая вперед скажу, что действительно ровно через два года, будучи уже первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, я доложил XX съезду КПСС о том, что великое задание партии по подъему целины выполнено с честью.

2

Громада дел навалилась на всех нас сразу. Сегодня, по прошествии лет, просматривая документы того времени, думаю, каким образом удавалось столько делать и везде поспевать? Но, видимо, так уж устроен наш организм, что приспособляется даже к невыносимым перегрузкам — и нервным, и физическим. Снова вспоминаешь войну: люди там находились на пределе человеческих возможностей — недосыпали, недоедали, мокли в окопах, сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду — и почти не болели простудами и прочими «мирными» болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине.

Мне уже приходилось сравнивать целинную эпопею с фронтом, с грандиозным боем, который выиграли партия и народ. Память войны никак не оставляет нас, фронтовиков, однако сравнение точное. Конечно, не было на целине стрельбы, бомбежек, артострелов, но все остальное напоминало настоящее сражение.

Чтобы начать его, надо было прежде, говоря все тем же военным слогом, перегруппировать силы, подтянуть тылы, и было это непросто. Вслед за пленумом состоялся VII съезд Компартии Казахстана, давший анализ состояния дел. Он признал работу Бюро и Секретариата ЦК прежнего состава неудовлетворительной.

Объясню почему. В краю богатейших природных возможностей, где насчитывались сотни колхозов, совхозов и МТС, где на полях работали десятки тысяч тракторов и комбайнов, где помимо пригодных для пахоты земель были миллионы гектаров сенокосов и пастбищ, производство зерна, мяса, хлопка, шерсти в сравнении с довоенным уровнем не росло, а порой даже падало. Удой молока были ниже, чем в 1940 году, зерновых собирали 5—6 центнеров с гектара, хлопка — всего 10 центнеров, картофеля — не более 60 центнеров с гектара.

К тому времени даже такие полностью опустошенные войной районы страны, как Кубань, Украина, Дон, восстановили разрушенное, стали наращивать урожай и продуктивность животноводства. А тут, хотя 1953 год выдался в республике на редкость благоприятный, из-за бескормицы допустили падеж полутора миллионов голов скота. Держали его в лютые зимы под открытым небом, не имели даже примитивных кошар, говоря: «У нас всегда так было». Добавлю, что среди председателей колхозов более тысячи имели начальное образование, а триста были попросту малограмотны.

Конечно, тяжелое состояние сельского хозяйства в Казахстане объяснялось и объективными причинами. Оно отражало запущенность этой важнейшей отрасли по всей стране, о чем прямо и откровенно было сказано партией на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 года. Однако даже на общем фоне дела в Казахстане выглядели удручающе. Сложность состояла еще и в том, что некоторые местные руководители смирились с трудностями и действовали по принципу «куда кривая вывезет».

— Руководство такой большой республикой нам оказалось не по плечу,— говорил на съезде секретарь ЦК И. И. Афонов, непосредственно ведавший сельским хозяйством.— Мы не управляем событиями, а мечемся, как плохие пожарники. Тушим «пожары», которые без конца возникают то в одном, то в другом месте. Основная форма нашего руководства даже не бумаги, а уполномоченные.

После таких признаний уже не удивляло отсутствие какой-либо инициативы со стороны обкомов партии. Если кто и пытался поправить дело, то выглядело это довольно «оригинально». Скажем, Актюбинская область выступила с инициативой — создать полугодовой запас кормов для скота. Столь благородное дело одобрили, обязательство напечатали в газетах. Но любые почину должны, как известно, опираться прежде всего на внутренние силы, на неиспользованные резервы. В этом их главная ценность. Актюбинцы поступили иначе. Вслед за звонким обязательством отправили в Совет Министров Казахской ССР письмо: так, мол, и так, чтобы мы смогли выполнить обязательства, срочно дайте нам дополнительно триста тракторов, шесть тысяч тонн керосина, столько-то автола, солидола, запчастей. Словом, помогите нам стать героями, если не хотите оскандалиться вместе с нами.

Весь мой опыт руководящей работы — партийной, советской, армейской, хозяйственной — давно убедил: иждивенчество, желание поправить дело за счет других, словно лакмусовая бумажка, показывает, на что способен тот или иной товарищ. Поскольку нам предстоял подъем целины, то при обещанной всенародной помощи иждивенчество могло приобрести опасные размеры. Вот почему это явление я счел необходимым взять на особую заметку.

Мне не раз приходилось говорить о бережном отношении к кадрам. Разумеется, речь идет о людях, которые доказали на деле, что умеют работать. Речь идет не о всепрощении: работников неспособных, нечестных надо решительно заменять. Здесь же пришлось убедиться, что руководителей разных уровней в республике нередко выдвигали, так сказать, по приятельским признакам. Пресечь это следовало сразу, и мы с П. К. Пономаренко заняли жесткую позицию. А чтобы не было обиженных, заявляли об этом открыто и прямо. Так, уже в одной из первых своих речей — перед избирателями Алма-Аты в марте 1954 года — я говорил:

— В связи с огромными задачами, стоящими сейчас перед партийной организацией Казахстана, неизмеримо возрастает значение правильного подбора и расстановки кадров. VII съезд Компартии Казахстана вскрыл серьезные недостатки и ошибки в работе с кадрами, свидетельствующие о том, что некоторые руководители, утратив чувство ответственности, подбирали работников не по деловым качествам, а по принципу личной преданности. Мы не можем мириться с этим. В республике имеется много вполне зрелых, опытных, подготовленных для выдвижения на руководящую работу людей, которые способны решить задачи, поставленные партией.

Подбирая волевых командиров, подтягивая тылы, мы с нетерпением ждали решения партии о начале подъема целины. И вот в самом

конце февраля 1954 года начался исторический февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС, принявший постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».

Великая битва в казахстанских степях началась. Она развернулась в огромном географическом районе. Северный Казахстан простирается с запада на восток на 1300 и с севера на юг на 900 километров. Общая площадь шести нынешних (раньше их было пять) областей, расположенных на этой территории,— Кустанайской, Целиноградской (бывшей Акмолинской), Северо-Казахстанской, Кокчетавской, Тургайской и Павлодарской—превышает 600 тысяч квадратных километров. Это намного больше территории такого государства, как Франция. И вот на этом-то огромном пространстве предстояло распахать заново 250 тысяч квадратных километров плодородных степей—площадь, превышающую размеры всей Англии.

Целину поднимали не только мы, но и Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская и Омская области, Поволжье, Урал, Дальний Восток. Многим, вероятно, известно, что общая площадь освоенных в стране целинных и залежных земель составляет сейчас 42 миллиона гектаров. Из них в Казахстане вспахано 25 миллионов. И 18 миллионов гектаров из этого количества земли было поднято в казахстанских степях за 1954 и 1955 годы.

Цифры изумляют, но целина—это не только пашня. Это и жилье, школы, больницы, детсады, ясли, клубы, и новые дороги, мосты, аэродромы, и животноводческие постройки, элеваторы, склады, заводы—словом, все, что необходимо для нормальной жизни населения, для развитого современного сельскохозяйственного производства.

У меня нет возможности рассказать подробно, как это было—день за днем, событие за событием. О целине, о трудностях ее освоения, о подвигах и судьбах первоцелинников написано немало. Хочу напомнить лишь о главных направлениях нашей деятельности, о той стратегии и тактике, которой мы придерживались, чтобы целина с самого начала становилась такой, какой она стала теперь. Землеустройство новых и расширявшихся старых хозяйств; выбор мест для усадеб вновь создававшихся совхозов; прием и размещение сотен тысяч людей в совершенно пока не обжитой степи; огромное строительство сразу десятков, а затем и сотен совхозных поселков; подбор многих тысяч специалистов, создание из разнородной массы людей дружных, сплоченных коллективов; сам подъем целины и первый весенний сев... И все это приходилось делать не поочередно, а сразу, одновременно.

Чтобы читателю был ясен, например, масштаб работы по укреплению руководящих кадров на местах, которую следовало провести за очень короткий срок, скажу, что только в 1954 году были рассмотрены и рекомендованы кандидатуры для работы на целине более пятисот новых секретарей райкомов партии и секретарей первичных парторганизаций, тысячи председателей колхозов, агрономов, зоотехников, инженеров, механиков. Среди них немало было отличных местных работников, еще больше—приезжих. Огромную помощь оказали нам ЦК КПСС, союзные министерства, многие республики и области страны, щедро делившиеся с целиной своими кадрами.

Министерство совхозов СССР создало специальный штаб по отбору специалистов. Комнаты штаба напоминали вокзальные помещения, столько в них толпилось народу. Я выезжал в этот штаб и неделями с раннего утра до полуночи принимал людей. Сам я никогда не

жалел времени на то, чтобы подробно, обстоятельно побеседовать с каждым, кто собирался выехать на целинные земли. Важно было, чтобы человек понял всю сложность и глубину замысла, проникся верой в задуманное дело и служил ему с полной отдачей сил. Знакомясь с людьми, я интересовался: с желанием ли едет человек, каков его опыт, здоров ли, не возражает ли против переезда семья. Не меньше было и встречных вопросов: когда ехать, сколько земли в совхозе, какая она, откуда придут люди, сколько выделяется техники, что захватить с собой на первых порах?

Тут же, в коридорах министерства, в перерывах между беседами будущие директора подбирали себе специалистов. Так образовывались знаменитые пятерки: директор, главный агроном, главный инженер, инженер-строитель, главный бухгалтер. Впоследствии мы стали подбирать не пятерки, а шестерки руководителей — в «обойму» включался еще и заместитель директора по хозяйственной части, без которого, как показал опыт, трудно было решать важнейшую на целине проблему быта, расселения, питания, культурного обслуживания людей.

В моем кабинете в ЦК висела большая карта Казахстана. Точно так же как в былые времена на фронте я обозначал на картах расположение армейских частей, районы их действий и направления ударов, так и теперь на карте республики отмечал дислокацию сотен хозяйств и опорных пунктов. Кружками на ней были обозначены основные базы наступления — ближайшие к районам освоения города, станции, поселки, затерянные в необъятной степи. Зелено-красными флажками были отмечены старые колхозы и совхозы, также значительно расширявшие посевной клин за счет целины. А красными — усадьбы новых совхозов, которые еще предстояло создать. В 1954 году красных флажков на карте появилось 90. А к началу 1956 года — 337!

Обычно в воспоминаниях пишут, как директора совхозов вместе с главными специалистами ехали в степь, имея в кармане только приказ о своем назначении, номер счета в банке да печать. Приезжали, забивали в землю колышек с названием совхоза и начинали действовать... Верно, так оно и было. Но многие мои старые знакомые, отдавая дань романтике, забывают одну существенную деталь: колышек они забивали не где попало, а в строго обозначенном месте. И кроме приказа да печати в кармане директора совхозов имели еще и портфели, а в них — карты земельных угодий и землеустройства новых хозяйств. Романтики на целине, как и трудностей, было хоть отбавляй. Однако нельзя представлять дело облегченно: приехали, мол, разбрелись по степи и давай всюду пахать, благо земли вокруг много.

У строителей есть такое понятие — нулевой цикл. Это работы, связанные с расположением здания на территории, сооружением его фундамента и подземных коммуникаций. Работа трудоемкая, со стороны мало заметная, но ее необходимо провести, прежде чем начать возводить само здание. В сельском хозяйстве с нулевым циклом можно сравнить землеустроительные работы, ибо землеустройство — это своего рода генеральный план, которым определяются контур и характер хозяйства, расположение и размер его полей, лугов, пастбищ, места для строительства усадеб, источники водоснабжения и многое другое, очень важное для жизни и производства.

С первых дней в ЦК партии республики как бы сама собой образовалась оперативная рабочая группа по целине. Потом ее называли по-разному: кто рабочей, кто оперативной, кто республиканским целинным штабом. И действительно, ее деятельность напоми-

нала фронтовой штаб. Мне его пришлось возглавлять. Группа эта не создавалась официально, в ней не было каких-либо специально выделенных людей, все они занимали свои обычные посты, но все было непосредственно связано с сельским хозяйством. Кроме меня, в эту группу входили: секретарь ЦК по сельскому хозяйству Фазыл Карибжанович Карибжанов, заведующие сельскохозяйственным и совхозным отделами ЦК Андрей Константинович Морозов и Василий Александрович Ливенцов, министр сельского хозяйства республики Григорий Андреевич Мельник и министр совхозов Михаил Дмитриевич Власенко, ряд других ответственных работников. Конечно, по делам целины в ЦК бывали сотни и сотни людей, но перчисленные товарищи составляли именно штаб, направлявший огромную работу.

Спешным и невиданным по своему размаху делом стал отвод земель под распашку. И если уж говорить о том, кто самым первым двинулся в бескрайние степи, то это были ученые, гидротехники, ботаники, землеустроители, агрономы. Их прежде всего хочется вспомнить добрым словом.

Плодородные земли не лежат сплошняком. Их нужно было найти, оценить, оконтурить, определить, какие из них пригодны под зерновые хлеба, какие под луга, пастбища. Почти треть территории Казахстана — 100 миллионов гектаров — пришлось изучить землеустроителям. Только Академия наук Казахской ССР создала и отправила в степи 69 комплексных экспедиций и отрядов. В изучении и оценке земель принимали участие специалисты академий, институтов и опытных станций всей страны. Тысячи почвоведов, ботаников, гидротехников, землеустроителей, агрономов России, Казахстана, Украины, Белоруссии обследовали 178 районов республики, выявили первоначально 22,6 миллиона гектаров пахотно пригодных земель. Эти земли в виде подробных карт почв, их растительного покрова, строго обозначенных водоисточников и сырьевых ресурсов для производства местных строительных материалов были ими представлены районным, а затем областным и республиканским организациям.

Будучи секретарем ЦК такой крупной республики, я имел диплом землеустроителя, и, как специалиста по землеустройству, меня все это крайне интересовало. Ученые помогли быстро сориентироваться, определили на территории республики шесть хорошо выраженных природно-хозяйственных зон, дали четкие рекомендации, где следует сеять зерновые, где культивировать животноводство, где сочетать в комплексе и то и другое, где развивать орошаемое хозяйство.

В то время у меня состоялось немало приятных знакомств с казахскими товарищами. Я полюбил казахов еще на фронте. Это были обстоятельные, скромные люди, исполнительные и отважные бойцы и командиры. В минуты передышек между боями они очень тосковали по своей родине, по просторным ковыльным степям. Услышав, бывало, мелодичную и печальную песню казаха, подойдешь, спросишь:

- О чем поешь?
- Про степь пою. Про табун пою. Девушку вспомнил...
- О девушке можно тосковать. О доме тоже. А степь... Чем она хуже, эта вот украинская степь?
- Не хуже. Только наша — совсем другая степь...

И вот теперь, через годы, я с радостью вижу, как основательно выросли советские кадры казахской национальности. Среди них крупные партийные и хозяйственные работники, выдающиеся ученые, талантливые специалисты всех отраслей, замечательные мастера культуры.

Не могу не отметить, что казахи в целом, в подавляющем своем большинстве, с огромным энтузиазмом и одобрением встретили решение партии о распашке ковыльных степей. Подъем целины для казахов явился задачей нелегкой, ведь долгие столетия казахский народ был связан со скотоводством, а тут многим и многим предстояло сломать весь прежний уклад жизни в степях, стать хлеборобами, механизаторами, специалистами зернового хозяйства. Но у местных жителей хватило мудрости и мужества принять самое активное, героическое участие в подъеме целины. Казахский народ оказался на высоте истории и, понимая потребности всей страны, проявил свои революционные, интернационалистские черты.

Почти четверть века продолжается моя дружба с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Тогда он был президентом Академии наук Казахской ССР, и, естественно, нам пришлось познакомиться в первые же дни моего пребывания в Алма-Ате. По образованию горный инженер, специалист по цветным металлам, он не был человеком узкой сферы, мыслил по-государственному, широко, смело, высказывал оригинальные и глубокие суждения об огромных ресурсах и перспективах развития Казахстана. Этот спокойный, душевный, обаятельный человек обладал к тому же твердой волей, партийной принципиальностью. Вскоре он стал Председателем Совета Министров республики, а ныне возглавляет партийную организацию Казахстана, является членом Политбюро ЦК КПСС.

Димаш Ахмедович (в обиходе никто не употребляет его полного имени — Динмухамед) рекомендовал мне в качестве консультанта по целинным землям директора Института почвоведения Умирбека Успановича Успанова. Руководимый этим серьезным ученым институт располагал огромным материалом по почвенной характеристике Казахстана. Сотрудники этого института немало содействовали во всем, что касалось размещения новых совхозов.

С удовольствием вспоминаю и начальника управления землеустройства Министерства сельского хозяйства республики Василия Александровича Шереметьева. Это был оригинальный человек. И летом и зимой ходил без головного убора, в солдатской гимнастерке, в сапогах, с неизменной полевой сумкой на боку. За долгие годы работы в Казахстане он исходил его пешком вдоль и поперек, знал степи не на глазок, а, что называется, на ощупь. Совершенно незаменим был этот человек при выборе мест для центральных усадеб совхозов. Его полевая сумка представлялась мне сказочным кладом: из нее Василий Александрович извлекал карты, схемы, блокноты с названиями сотен речушек, урочищ, сопок, маловетренных мест, а также с множеством фамилий местных жителей, знатоков этой земли. Он неизменно требовал включать их в комиссии по созданию новых хозяйств, и старики-аксакалы охотно нам помогали.

Узнав, что я знаком с землеустройством, Шереметьев несказанно обрадовался и обращался ко мне как к коллеге, иногда даже несколько злоупотребляя этим, требуя вмешательства и в мелкие вопросы, которые можно было решить и без меня. Но нередко вмешательство требовалось. И серьезное. Однажды он прибежал ко мне взволнованный, с кипой землеустроительных карт, присланных, кажется, из Кокчетавской области:

— Смотрите, что делают! Пририсовали к старым землям новые площади без всякой характеристики полей. Звоню в район, возмущаюсь, а мне спокойненько отвечают: дескать, чего шумите, землю пашем не первый год, вот наступит весна, сойдет снег, и сразу будет видно, где пахать.

Речь шла о колхозах, которым также нарезали новые земли для освоения. Люди там издавна работали в степи и, естественно, считали себя такими ее знатоками, что и не подступись. Надо было эту психологию преодолевать, бороться с упрощенным подходом и требовать, чтобы отбор целинных земель повсюду проводился строго научно.

Действовать надо было не только оперативно, но и глубоко, на века. Для столь благородной цели не приходилось жалеть времени и сил. Нередко оставаясь в ЦК до глубокой ночи, я еще и еще раз просматривал карты и обоснования по десяткам хозяйств, прежде чем они окончательно оформлялись решением Совета Министров республики и приказом Министерства сельского хозяйства СССР.

Известно, что 1954 год принес, если учесть немалую долю существовавших кое у кого сомнений, огромный успех в освоении целины. Вместо 13 миллионов гектаров в стране было вспахано 19 миллионов. Перевыполнил план подъема земель и Казахстан. Надо ли говорить, как это открыли, какую вселили уверенность в начале дела. Обобщив первый опыт и взвесив возможности страны, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли новое постановление «О дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения производства зерна». Казахстан должен был создать дополнительно еще двести пятьдесят новых совхозов.

Первые девяносто совхозов, образованные в 1954 году, так или иначе расположились на более удобных землях, поближе к железным дорогам и по берегам рек, где они имелись. Теперь надо было идти в глубину безбрежной степи. Наши задачи еще более усложнились, затруднен был сам выбор земель под распашку. Возникли противоречия, если хотите, борьба разных точек зрения. Вспоминаются баталии, которые пришлось нам выдержать вокруг двух областей.

Союзное министерство сельского хозяйства считало, что в Актюбинской области вообще не следует распахивать ничего, ибо земля там якобы для выращивания хлеба непригодна. Напротив, когда в Карагандинской области местные товарищи предложили поставить восемнадцать совхозов на малопродуктивных землях, их «начинание» было безоговорочно поддержано. Я позвонил в Москву министру, сказал, что это явная ошибка, но тот назвал карагандинцев патриотами и передовиками, а заодно, видимо в запале, обвинил руководителей северных областей, где резервы целины действительно были невелики, в консерватизме и прочих смертных грехах.

Такая словесная полемика — без цифр, резонансов, доводов — бессмысленна. Я вылетел в Актюбинскую область, встретился со специалистами, убедился на месте, что плодородные земли имеются. Настоял, чтобы туда немедленно направили комплексную экспедицию ученых. Они честно поработали и выявили 1,7 миллиона гектаров хороших пахотно пригодных земель. Побывав в Караганде, я также без труда убедился в нашей правоте. Еще раз уверился в том, что сельское хозяйство требует научного, а не волюнтаристского подхода.

В Алма-Ате проведено было совещание секретарей обкомов и председателей облисполкомов республики. ЦК Компартии Казахстана специально поставил на обсуждение вопрос «Об итогах отбора земель для новых совхозов». В заключение я говорил тогда (привожу сказанное по сохранившейся стенограмме):

«У нас проведена колоссальная работа по отводу земель. Найдено и оконтурено около 9 миллионов гектаров. Однако работа еще не завершена. Возникают на этой почве — в данном случае говорю о почве и в переносном, и в буквальном смысле — споры с Министерством сельского хозяйства, от которых мы на сегодня не отказываемся. Будем отстаивать свои позиции и надеемся их защитить. Нам ка-

жется, что Караганда все-таки не разобралась в своих почвах. Предложено организовать 18 совхозов. Вроде много. Но план их размещения нельзя поддержать, ибо земли выбраны неподходящие. В то же время в ряде районов области, которые я сам посетил, есть хорошие земли, на которых и следует строить совхозы».

Пишу так подробно об обследовании степи, об отводе мест для новых хозяйств потому, что нулевой цикл подъема целины имел громадное значение. От этого зависела дальнейшая судьба распаханной земли и всей будущей жизни на ней.

3

Первая целинная весна запомнилась по-разному: и радостной, и торжественной, и до предела напряженной, трудной. Степь оказалась крепким орешком, более крепким, чем мы считали. Дело не только в том, что вековая дернина, пронизанная, словно проволокой, корневищами, была так плотна, что едва поддавалась плугу. А еще и в том, что на казахстанской целине практически не бывает весны в обычном нашем понимании. Особенность здешнего климата такова, что зима как бы сразу переходит в лето. Буквально следом за растаявшими снегами наступает жара, дождей в мае практически не бывает, земля быстро сохнет, превращается в камень, и пахать ее вдвойне тяжело.

Первые борозды повсюду проложили торжественно, с митингами. Благополучно вспахали и первые клетки. Они на целине тоже были необычны. Землемеры повсюду нарезали тракторным бригадам одинаковые участки нетронутой степи — клетки размером два на два километра, то есть по четыреста гектаров.

— Вот это клеточки, это простор! — шутили трактористы. — Включай мотор и ездай по прямой, пока горючего хватит.

Но вскоре увидели, что приходится останавливаться все чаще: моторы не тянули плуги, ломались лемеха, гнулись плужные рамы. Лишь такой силач, как «С-80», мог тащить за собой пятикорпусный плуг. А маневренные, но легкие «ДТ-54» и «НАТИ» для целины оказались слабосильными. Люди повсюду начали снимать с плугов по одному и даже по два лемеха. Это не только снижало выработку, но грозило сорвать план подъема целины. Предпосевная обработка нови тоже была нелегка: требовалось несколько раз продисковать пашню, обработать лапчатыми культиваторами, хорошо проборошить и прикатать водоналивными катками. Потом только пускались сеялки, а разрыв между подъемом пласта и севом не должен был превышать четырех-пяти дней. Мы знали, что иначе поле высохнет и засеять его будет уже бесполезно.

Помню свою первую поездку на сев в Кустанайскую область.туда, на станцию Тобол, приехал Н. С. Хрущев. Вскоре состоялось большое совещание, оно проходило на Майкульском конезаводе, который тоже распахивал целину. В кабинете директора конезавода собрались П. К. Пономаренко, я, первый секретарь Кустанайского обкома партии И. П. Храмков, председатель облисполкома И. Г. Слажнев, директор Кустанайского конезавода М. Г. Моторико (ныне он министр сельского хозяйства Казахстана), ученые Всесоюзного института механизации сельского хозяйства и другие товарищи. Разговор шел о многом, но в первую очередь обсуждали проблему оборота пласта.

Мучались мы с ней изрядно, а суть в том, что плуги, настроенные на обычную пахоту, никак не укладывали мощный, срезанный предплужниками слой дернины на дно борозды. Дернина торчала как

попало, вкривь и вкось, не покрывалась комковатой нижней почвой. Дисковать такое поле было сложно. Решили прервать совещание, посмотреть, как все это выглядит в натуре, и выехали в одну из тракторных бригад.

Механизаторы нервничали, дело шло туго, пласт, как ни старались они, не опрокидывался полностью. Я подошел к трактористам, вступил в разговор, спросил, что тут, по их мнению, можно сделать. Ответили, что существующие плуги не годятся, другие нужны.

— Какие?

— Мы уж давно об этом говорим, а толку чуть!— сказал один из них.— Нужно срочно наладить выпуск плугов с полувинтовыми и винтовыми отвалами.

Надо сказать, что когда Н. С. Хрущев понял, в чем тут дело, то пришел в гневное состояние и обратился с резкими обвинениями в адрес ученых. Почему не предусмотрели этот вопрос раньше? Было же время, чтобы загодя сориентировать заводы на выпуск таких плугов? Меры были приняты, и уже через месяц на целину пошли первые образцы новых плугов.

Но то было месяц спустя. А подъем целины уже разворачивался вовсю, и надо было что-то придумать теперь же, чтобы дело шло задуманными темпами. Однажды вечером я, как обычно, обзванивал совхозы, интересуясь, сколько вспахано, какие встречаются трудности. Позвонил я в совхоз «Орджоникидзевский». Его директор Ф. П. Кухтин сказал, что дела идут хорошо, но попросил прислать побольше запасных лемехов:

— Ну, прямо горят лемехи... А пашем полным ходом. Приезжайте, сами увидите.

Я спросил, как у них укладывается дернина, и услышал в ответ:

— Нормально. Упаковываем как миленькую.

Наутро большой группой мы поехали в «Орджоникидзевский». К нам присоединился заместитель министра совхозов СССР С. В. Кальченко, а в райцентре мы еще прихватили с собой уполномоченного ЦК КПСС по подъему целины М. Г. Рогинца. Я знал Михаила Георгиевича еще по Украине, где он был первым секретарем Черниговского обкома партии как раз в те годы, когда я работал в Днепропетровске. С той поры не видел его и искренне обрадовался неожиданной встрече. Впоследствии, будучи первым секретарем Кокчетавского обкома партии, а затем министром совхозов и министром сельского хозяйства Казахской ССР, он вложил немало труда и сил в освоение целины.

В поездке в «Орджоникидзевский» выяснилось, что это именно он, Михаил Георгиевич, предложил «один пустячок», и подъем целины в подопечных ему районах шел успешно. Картину на полях мы увидели веселую. Трактористы как ни в чем не бывало вели машины на нормальной скорости, а плуги с ровным, приятным хрустом и треском рвали целину. В чем дело?

— Да говорю же, пустяк!— улыбался Рогинец.— Мы дернину тонко снимаем, самый верх. Видите, предплужники заглублены всего на семь сантиметров, а не на одиннадцать, как положено по инструкции. Вот и управляемся.

И верно. Только тут мы заметили, что предплужники, словно шкурку сала, аккуратно срезали тонкий слой дернины и сбрасывали ее «шерстью» вниз, на дно борозды. Действительно, «упаковывали». Пришлось упрекнуть Михаила Георгиевича, товарищей из совхоза: почему молчали?

— Так неудобно было о такой мелочи шуметь. Я думал, люди сами догадаются, экая мудрость,— говорил Рогинец.

— Ты вот догадался,— заметил я,— но нельзя забывать, что на целину съехалась вся страна, много людей молодых. Все полезное, выработанное опытом, надо быстро распространять. А иной и опытный догадается, да побоится взять на себя ответственность нарушить инструкцию. Так ведь, Степан Власевич?

— Верно, могут и побояться,— подтвердил Кальченко.

— Вот и издай приказ, пусть всюду, где с дерниной не получается, заглабят предплужники на семь сантиметров, а не на одиннадцатый.

— Сегодня же напишу такой приказ.

Ехали обратно и всю дорогу шутили над Михаилом Георгиевичем: мол, украинец всегда старается срезать себе шможок сала по толще, а вот Рогинец режет потоньше, впервые такое видим...

Через день состоялось бюро Кустанайского обкома партии. Среди других обсуждался и вопрос о строительстве дорог на целине. Большинство стояло на том, что дороги нужно строить шоссейные, для автотранспорта. Пусть это и дороже, и дольше, но лучше сразу начинать развивать капитальную, современную, рассчитанную на дальнюю перспективу дорожную сеть. Одновременно с ней предлагалось в узловых местах развернуть строительство крупных элеваторов. Однако Н. С. Хрущев считал, что целесообразнее построить несколько узкоколейных железных дорог, к которым, как он говорил, можно будет подвозить хлеб из глубинок. Никакие аргументы против этой идеи во внимание приняты не были. Так была построена сначала узкоколейка Кустанай—Урицкое, а затем и Есиль—Тургай. Это была ошибка, обе дороги практически не сыграли ожидаемой роли в вывозке хлеба и вскоре были разобраны.

Привожу этот факт не ради того, чтобы показать, что партийный, государственный деятель обязан быть одновременно дорожником, экономистом, инженером и т. д. Нет, но он должен владеть как законами общего развития, так и опираться на конкретные научные и практические знания. И, во всяком случае, не может считать себя единственным и непререкаемым авторитетом во всех областях человеческой деятельности.

Современные экономика, политика, общественная жизнь настолько сложны, что подвластны лишь могучему коллективному разуму. И надо выслушивать специалистов, ученых, притом не только одного направления или одной школы, надо уметь советоваться с народом, чтобы избежать всякого рода «шараханий», скороспелых и непродуманных волевых решений. Особенно опасны они, когда речь идет о всестороннем хозяйственном и социально-культурном освоении целого географического региона, о длительной политике в нем, об умении заглянуть далеко вперед.

Из Кустаная я отправился в поездку по целинным областям, районам, совхозам, где всюду шел сев.

На станциях Есиль и Атбасар застал в буквальном смысле столпотворение. Пропускная их способность была совершенно несоразмерна количеству поступающих грузов. Есиль и тогда называли воротами целины, хотя это была крохотная станция, окруженная степным безбрежьем. Множество грузов прибывало и в районный центр Атбасар. Старинный, пыльный, открытый всем ветрам городишко с низкими домами и чахлой зеленью принимал эшелоны с техникой, лесом, цементом, деталями домов, полевыми вагончиками, металлом, бензином, семенами, продовольствием и товарами — принимал не только для собственных целинных хозяйств, но и для трех смежных районов. На разгрузку эшелонов было мобилизовано все население городка.

Члены бюро райкома партии, работники райисполкома, комсомольские активисты круглосуточно дежурили на станции — встречали поезда, управляли разгрузкой, принимали людей и пытались их временно расселить в домах местных жителей. Говорю — пытались, потому что вновь прибывающие ни минуты задерживаться где бы то ни было не хотели. Они спешили в степь, выкрикивая в общем людском шуме названия своих совхозов: «Мариновский!» «Атбасарский!» «Днепропетровский!» «Бауманский!» Приходилось уговаривать их, объяснять, что первые отряды в совхозы уже посланы, что они там и пашут, и сеют, и строят жилища для пополнения, и куда не будет готово жилье, новичкам там делать нечего. Объясняли также, что реки уже разлились и ехать сейчас просто опасно. Но никакие доводы не помогали. Над толпами людей поднимались плакаты: «Даешь совхоз!», «Даешь целину!».

В хозяйства, расположенные, как и Атбасар, на правобережной стороне Ишима, технику и людей продолжали отправлять тракторными маршрутами и автоколоннами. Но часть техники, предназначенной для левобережной половины района, рассеченной рекой, задержалась из-за разливов. Оставлять ее в бездействии было бы грешно, и районные власти решили временно использовать эту технику в правобережных колхозах, совхозах и МТС. Но вдруг одна из тракторных колонн исчезла.

Оказалось, бригадир тракторной бригады Владимир Чекалин, узнав об этом решении, поднял ночью по тревоге своих хлопцев и угнал тракторы. Эти ребята ехали по комсомольским путевкам в колхоз «Красная заря», они сформировались в бригаду еще на месте, откуда выезжали, и сами сопровождали свои машины. В погону за «беглецами» поехал секретарь райкома Василий Филиппович Макарин. На берегу Ишима он обнаружил тракторы и одинокого Владимира Чекалина.

— Где остальные самоуправвцы?

— Сейчас будут.

— Кто вам позволил самовольничать?

— А какое тут своеволие... Трактора кому предназначены? Колхозу «Красная заря». Вот они и будут поднимать целину там, где им положено. Брод мы найдем!

Как ни пытался секретарь райкома урезонить бригадира, тот был непреклонен. В это время к берегу подошли остальные механизаторы, среди них мелькали белые бороды местных аксакалов. Один из стариков, услышав спор, обернулся к Макарину:

— Ай, секретарь, зачем парнишку ругаешь? Сам виноват! Зачем раньше машины не отправил? Разве не знал: большой снег — большой разлив будет.

Казахи показали ребятам брод, заявив, что в этом месте у Ишима твердое каменное дно. И вскоре трактористы перетянули машины на левый берег. В тот же день они включили их в колхозе в работу. А следом через тот же брод пошла техника в другие левобережные совхозы — «Днепропетровский», «Мариновский», «Бауманский»...

Даже рассказывая мне об этом, Василий Филиппович волновался, переживал: как-никак, но риск все же был. Самоуправство его сердило. Были тут, однако, и упорство, находчивость, смелость. Кстати, после случая с «беглецами» в этом месте наладили переправу на левый берег. Жители Атбасара спустили на реку все свои лодки. Из этих лодок оборудовали два парома, на которых всю весну и лето переправлялись на левобережье люди, машины, горючее, продовольствие. Это тоже был пример поистине фронтовой наход-

чивости. И таких примеров я встречал на целине в те годы так много, что обо всем не расскажешь.

Из Атбасара выехал вместе с Макариным. Мы не торопились, ехали из одного хозяйства в другое, из бригады в бригаду. Впервые я видел казахскую степь весной и любовался ею. Какой простор! Наверное, тут даже солнце устаёт, пока проходит от горизонта до горизонта. Весенняя степь сияла множеством красок. Синели разливы воды. Блестели на солнце пахучие свежие травы. Цветы тюльпаны. И на всем зеленом просторе то там, то тут лежали черные квадраты впервые распаханной земли.

Но в этот хороший солнечный день меня занимала одна тревожная мысль. Наблюдая работы на полях, я заметил, что квадраты нови нигде не засевали, сеяли только по старопахотным землям. Вспомнил разговоры старожилов, что у них всегда было так: сеяли только на второй год. С вопросами не торопился, лишь в одной бригаде спросил не приезжего, а местного тракториста:

— А целину когда же засеять будете? В июне?

— Кто же сеет в июне? — удивился он. — У нас за это осмеют.

У нас так говорят: пришел июнь — хоть сей, хоть плюнь.

Когда возвращались в Атбасар, Василий Филиппович молчал.

— Не пора ли докладывать? — спросил я.

— А что докладывать? Сами все видели...

Выяснилось, что сеять этой весной в Атбасарском районе не собирались. Почему? Макарин объяснил. Новь на целине истари засевали только следующей весной, потому что поднимали ее поздно, не раньше июня. А почему поздно? Да потому что до этого крестьянин был занят севом. С двумя работами сразу — с севом и пахотой — он управиться не мог. А когда потом доходили руки до целины, сеять уже не было смысла. Земля ждала новой весны и тогда лишь давала первый, как правило, хороший урожай. Отсюда и пошла давние традиции, устойчивые представления, застарелые предрассудки. Атбасарцы долго судили и рядили, как быть, и решили в первый год не сеять.

Должен заметить, об этом уже много было говорено. Позади были у меня консультации с серьезными учеными, пришлось поднять груды материалов, данные экспедиций, начавших исследования целины очень давно, о чем позже еще расскажу. Под урожай будущего, 1955 года мы намечали поднять как можно больше земли именно в июне, ибо поздняя летняя или осенняя вспашка и целины, и зяби здесь так же нежелательна, как и июньский сев. Это было обосновано учеными, принято в наших планах. Но целину-то первой весной мы поднимали в апреле и в мае, и не под будущий урожай, а под нынешний!

Тут надо было убедить людей. Молча доехали до города, думая каждый о своем, ужинали с Макариным у него дома. Две рюмки под мои любимые пельмени, приготовленные его женой Феодосией Кузьминичной, выпили: одну — за успешное начало целины, другую — за здоровье хозяйки. Василий Филиппович был в тот вечер неистощим на всяческие вопросы:

— Скажите, вы искренне убеждены, что наш край станет крупнейшей житницей страны?

— А вы все-таки сомневаетесь?

— Больно трудно давалась нам эта земля...

— Не только убежден, Василий Филиппович, но и горжусь, что причастен к этому делу.

Хорошо понимал я этого человека, чувствовал его состояние. Он был из тех старых местных работников, которых мы при резко из-

менившихся масштабах работы сочли правильным не менять, оставить на месте. И не ошиблись. Большие события лишь поначалу заставили их несколько растеряться. Таким и был Макарин — один из тысяч секретарей райкомов, великих тружеников, которые несут на себе основной груз самой трудной низовой партийной работы. Он жил, трудился в самом что ни на есть тихом городке, заброшенном в глухой, опаленной солнцем степи, и жизнь эта текла тоже тихим, размеренным ходом. Но вот наступил 1954 год, и городок оказался в эпицентре целинных дел, на виду у всей страны. К чести Макарина, он обладал той крестьянской дотошностью и тем умом, который, до всего докопавшись, позволяет человеку глубоко поверить в новое дело и целиком, до конца отдаться ему со всей недюжинной силой своего таланта.

На следующее утро по моей просьбе он собрал в райкоме директоров совхозов А. В. Заудалова, И. Г. Лихобабу, Г. Я. Тутикова, пришли председатель райисполкома С. К. Галушак, его заместитель Рахим Кайсарин и другие товарищи. Еще раз мы все обсудили, всех я внимательно выслушал, а в заключение сказал:

— Хорошо, что к большому делу вы относитесь основательно, осторожно. Но давайте все-таки разберемся, о чем идет спор. Мог ли мужик-единоличник, даже если, как говорили тогда, и был справным, разработать быстро целину, как мы это можем сделать теперь? Конечно, нет! Сохой или в лучшем случае буккервским плугом он мог и в мае вспахать свой клочок земли, но уж разделить ее ему просто было нечем. Вот и ждал почти год, а то и больше, пока дернина под воздействием солнца, воды и мороза не распадется сама на мелкие комки. Нам ли равняться на этого мужика, перенимать его горький и вынужденный опыт? Думаю, что нет. Нынешней техникой мы можем в два-три дня сделать поднятую целину мягкой, пористой, готовой принять семена. И в тот же год вознаградить себя за труды. Вот и решайте, как вам лучше поступить.

— А что решать? Я давно говорю — сеять надо! — горячо отозвался Заудалов.

— Так сейте.

— Видите ли... Нам не то что не дают или запрещают, а говорят: смотрите, как бы вприсак не попасть, ведь вы человек нездешний, не знаете этой земли. Тут поневоле засомневаешься.

— Засеем все, что нынче подняли, — заверил Макарин. — Убедили вы нас. Видать, мы сами себя перемудрили.

— Вот и хорошо. Но учтите еще одно, — добавил я. — Тут приводились аргументы, так сказать, агрономические и технические и ничего не говорилось о политической стороне вопроса. Между тем надо считаться не только с возможностью, но и с необходимостью сеять хлеб на целине именно нынче. Это не только экономическая необходимость, это и дело политики. Пусть весь мир еще раз узнает, что мы, коммунисты, способны решать крупнейшие задачи в течение короткого времени. А кроме того, по-человечески важно, чтобы каждый целинник уже в этом году увидел плоды своего труда.

4

Иногда спрашивают: кто был автором идеи поднять целину? Считаю, что сам этот вопрос неверен, в нем кроется попытка выдающееся свершение нашей партии и народа приписать «прозрению» и воле какого-либо одного человека.

Подъем целины — это великая идея Коммунистической партии, осуществление которой помогло, если мыслить историческими катего-

риями, почти мгновенно превратить безжизненные, глухие, но богатые восточные степи страны в край развитой экономики и высокой культуры.

Известно, что заселение обширных пространств Казахстана, Западной Сибири, Дальнего Востока крестьянской гольтьбой из европейской России началось еще в прошлом веке. Но особенно оно усилилось с появлением Великой транссибирской магистрали. Однако известно также, что из этого вышло. Миллионы обездоленных, безземельных, голодающих крестьян царской России вместе с семьями устремлялись на восток, в «обетованный» край, в мучительной надежде найти там землю и счастье. Ехали в битком набитых товарных вагонах, на арбах и телегах. Тысячи переселенцев умирали в дороге, не выдержав долгого, мучительного пути, голода, болезней. История оставила нам многочисленные свидетельства той драматической эпопеи. Вспомним, к примеру, картину художника С. В. Иванова «Смерть переселенца». Умер в глухой степи, на дороге, не добравшись до цели, крестьянин-кормилец. Что будет с вдовой, с детьми? С этим сжимающим сердце вопросом стоим мы обычно у знаменитого полотна.

Но и благополучно достигшие не тронутых плутом мест оказывались в отчаянном положении. Один на один вступали они в жестокую борьбу с дикой, суровой степью. Ни жилья, ни дорог, ни воды, никакой помощи ниоткуда. Вся «техника» — тощая лошаденка с сохой, изредка плугом.

«Освоение целины» в дореволюционный период превратилось в подлинно народное бедствие. О бездушном, бесчеловечном отношении царских властей к переселенцам гневно писали А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Г. И. Успенский. В своих очерках «Поездки к переселенцам» Глеб Успенский нарисовал типичную картину увиденного в одном из хуторов:

«Какие-то черные груды, напоминающие в кучки сложенный торф или кизяк, небольшого размера, разбросанные где попало, не дают ни малейшего представления о человеческом жилье; нигде не видно ни единого человеческого существа и вообще нет никакой возможности представить себе, чтобы здесь могли жить люди. Однако живут...»

Замечу, что остатки развалин таких «черных груд» — земляных жилищ — мы еще встречали кое-где в степи, и они всегда вызывали горькие думы о печальной судьбе первых целинных жителей.

Не выдержав непосильных условий существования, крестьяне бежали, возвращались назад в Россию, на Украину и в Белоруссию — навстречу не менее тяжкой судьбе. Политику царского правительства в отношении переселенцев гневно заклеил В. И. Ленин, который писал: «В Россию возвращается беднота, самая несчастная, все потерявшая и озлобившаяся. В Сибири земельный вопрос должен был крайне обостриться, чтобы оказалось невозможным — несмотря на отчаянные усилия правительства — устроить сотни тысяч переселенцев...» И в другой статье: «Эта гигантская волна обратных переселенцев указывает на отчаянное бедствие, разорение и нищету крестьян, которые распродали все дома, чтобы уйти в Сибирь, а теперь вынуждены идти назад из Сибири окончательно разоренными и обнищавшими».

Пытаясь как-то оправдать действия правительства, сгладить удручающее впечатление от передвижения с запада на восток и обратно гигантских масс измученного народа, буржуазные исследователи придумали целую теорию, утверждавшую, что во всем повинны... сами восточные степные земли. Они писали, что эти земли якобы бесплодны и в силу своих природных особенностей попросту не мо-

гут быть когда-либо использованы. Однако кто в России не знал, что это были не более чем наветы на богатые девственные степи, веками копившие плодородие?

«Земля здесь хлебородна, овощна и скотна», — писал еще в XVIII веке о Сибири и Северном Казахстане автор «Чертежной книги Сибири» С. У. Ремезов. Высмеивая выдумки лжеученых, В. И. Ленин не раз повторял: «Есть еще свободные земли... превосходные земли, которые надо поднять!» В его трудах, в 16-м томе собрания сочинений, на странице 229, нашел я удивительно глубокое наблюдение. Владимир Ильич отметил, что непригодными эти земли являются «не столько в силу *природных* свойств... сколько вследствие *общественных* свойств хозяйства... обрекающих технику на застой, население на бесправие, забитость, невежество, беспомощность».

Октябрьская революция коренным образом изменила «общественные свойства» сельского хозяйства и тем самым создала условия для использования новых земель всюду — в Западной Сибири и Северном Казахстане, в Поволжье и на Северном Кавказе, на Урале, Дальнем Востоке. К 1940 году посевная площадь страны выросла по сравнению с 1913 годом на 32,4 миллиона гектаров. Следующий этап освоения земельного запаса СССР открылся в середине 50-х годов. Именно тогда насущная потребность получать хлеб на целине соединилась с реальной возможностью выполнить эту историческую задачу.

Партия давно готовилась к широкому наступлению на новые земли. Еще в конце 20-х годов ученый с мировым именем Н. М. Тулайков, прозорливо увидев, что с созданием крупных механизированных хозяйств открылась перспектива покорения целины, организовал первую научную экспедицию для точного выявления пригодных к освоению земель на востоке страны. Об успехе экспедиции он написал в статьях и в докладной записке в ЦК ВКП(б). В 1930 году XVI съезд ВКП(б) — на нем, кстати, Тулайков был принят кандидатом в члены партии — обсуждал вопрос о расширении зернового хозяйства в восточных районах страны. В докладе «Колхозное движение и подъем сельского хозяйства», подготовленном сельскохозяйственным отделом ЦК, позиция партии была изложена четко. Вот этот любопытный и дальновидный документ:

«...С пшеницей мы пойдем туда, где не могут расти более ценные культуры и где трактор может быть использован 24 часа в сутки. По расчетам нового кандидата ВКП(б) профессора Тулайкова, одного из лучших в мире знатоков засушливого земледелия, в Казахстане от 50 до 55 миллионов гектаров можно считать годными для посева, из которых около 36 миллионов гектаров расположены в северных округах, примыкающих к Сибири и Уралу: Актюбинском, Кустанайском, Петропавловском, Акмолинском, Павлодарском и Семипалатинском. Здесь посевы пшеницы занимают только 5 процентов всей пахотоспособной земли.

Как же мы думаем решать эту задачу? Нужно иметь в виду, что пшеничную задачу нам придется решать в районах с очень малой плотностью населения, в районах, где рельеф позволит использовать трактор и комбайн с наибольшей эффективностью... На решение этой задачи требуется примерно 700 тысяч — 1 миллион лошадиных сил, чтобы получить дополнительно 20—25 миллионов гектаров под пшеницу. На это мы пойти можем и должны!

Организационный гвоздь при решении этой задачи заключается в том, что решать ее надо с минимумом людей и животных, чтобы не быть вынужденными держать здесь большие запасы на случай неурожая. Помимо полной механизации, здесь необходимо взять расчет на полную нагрузку на трактор, на каждую машину, на каждого

ЦЕЛИНА

человека. Здесь нужно исходить из того, что один человек должен обслуживать 200 гектаров».

Эти предложения были приняты съездом партии, поддержаны и одобрены народом. О необходимости освоения целины много в ту пору писали центральные и местные газеты. Наркомат земледелия СССР начал создавать в Казахстане и в Сибири первые зерновые совхозы, опыт которых помог нам позже при организации широкого наступления на целину. Вполне понятно, однако, что страна еще не могла в те годы двинуть в степные просторы достаточное количество техники. А потом началась война. Но идея широкого освоения целинных и залежных земель не погибла. Словно сама целина, она жила, лишь ожидая своего часа.

В 1974 году в речи на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины, я отмечал, что подлинное значение исторических событий, крупных политических решений выявляется, как правило, далеко не сразу, не по горячим следам, а лишь позднее, когда можно сопоставить намерения с полученными результатами, оценить фактическое воздействие этих событий и решений на те или иные стороны жизни. Историческая дистанция, делая малозаметными детали и частности, позволяет тем самым лучше, рельефнее видеть главное, основное. А главное, если иметь в виду освоение целины, состоит в том, что партия выдвинула в 1954 году чрезвычайно важную и актуальную народнохозяйственную задачу. И это главное советские люди хорошо тогда понимали и чувствовали.

В самом деле, вспомним обстановку начала 50-х годов. Положение с хлебом вызывало в те годы серьезную тревогу. Средняя урожайность зерновых в стране не превышала 9 центнеров с гектара. В 1953 году было заготовлено немногим больше 31 миллиона тонн зерна, а израсходовано свыше 32 миллионов. Нам пришлось тогда частично использовать государственные резервы.

Для того, чтобы выйти из этого положения, нужны были кардинальные, решительные и, что особенно важно, срочные меры. В тех условиях партия, не снижая внимания к повышению урожайности в старых районах земледелия, выдвинула на первый план задачу значительного и быстрого расширения посевных площадей. А оно было возможно только за счет восточных целинных земель.

Хочу особенно подчеркнуть: расширение посевов носило не только количественный, но и качественный характер. Стране не только нужен был хлеб, она испытывала острейшую нехватку ценнейшей продовольственной культуры — пшеницы. И дать ее могла только целина, где можно выращивать высшего качества пшеницы твердых и сильных сортов. В случае успеха зерновой баланс страны мог быть изменен коренным образом, я бы сказал, революционно.

Сегодня, с большой временной дистанции, при очевидности результатов, все кажется бесспорным, можно даже и удивляться: как это у целины могли быть противники? А они были. Впрочем, противниками как таковыми — яростными, не желавшими даже слышать о целине, — можно назвать лишь участников сложившейся вскоре антипартийной группы. С этими людьми ни в коей мере нельзя смешивать других — заблуждавшихся, честно сомневавшихся или чрезмерно осторожных. Их мы старались просто убеждать фактами и расчетами. В их позиции, как говорится, греха не было. Здоровые сомнения в больших делах даже необходимы — надо ведь взвесить тысячи за и против, учесть все до мелочей, так разработать операцию, чтобы быстро и **наверняка одержать победу, и только победу.**

Оснований же для разных сомнений было немало. Возьмем чисто природные — климатические, земельные — факторы. Как известно, в отличие от многих других стран, в частности от США, в которых условия ведения сельского хозяйства близки к идеальным, наша страна большей частью расположена в зоне так называемого рискованного земледелия. А коли так, то стоило ли усугублять действие этого фактора, впасть в еще большую зависимость от природы, создавая новые, гигантские по своим масштабам сельскохозяйственные районы, в которых земледелие, по мнению некоторых специалистов, вообще невозможно? Ведь предстояло сеять десятки миллионов гектаров пшеницы в крайне засушливых, опаленных зноем степях, где выпадает 200, максимум 300 миллиметров осадков в год.

Вот почему грандиозное по масштабам дело так тщательно тогда обсуждалось. Мне рассказали в те дни один эпизод, связанный с К. Е. Ворошиловым. Он вернулся из очередной поездки по сельским районам. Вернулся озабоченный, почти удрученный. Узнав, что обсуждается вопрос о подъеме целинных земель, и понимая, что это потребует огромного количества средств, сил и техники, он грустно заметил:

— А в смоленских деревнях еще кое-где люди на себе землю пашут...

Да, перед партией стоял нелегкий выбор. Шел всего лишь девятый год после окончания войны. Раны, нанесенные ею, еще кровоточили. Фашисты сожгли и разрушили 70 тысяч деревень, полностью разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, угнали 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 7 миллионов лошадей. Что касается районов, не подвергшихся оккупации, то и там материально-техническая база МТС, совхозов, колхозов повсюду была основательно подорвана. Техника многие годы работала на износ, поля были запущены. И самое страшное: везде не хватало людей — миллионы трактористов, комбайнеров, шоферов, механиков, техников, инженеров, агрономов полегли на войне.

Довоенный уровень сельскохозяйственного производства был в результате огромного напряжения сил уже восстановлен. Но деревня продолжала нуждаться в помощи, сельское хозяйство не удовлетворяло растущих потребностей населения в продуктах питания, а промышленности — в сырье.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 года утвердил обширную программу, которая была призвана ликвидировать недостатки в руководстве сельским хозяйством. Казалось бы, сама логика, трудное положение со средствами, материально-техническими и людскими ресурсами в стране заставляли все силы бросить в традиционные земельные районы, чтобы там получить соответствующую отдачу.

Но в том-то и дело, что разработанная партией программа хоть и рассчитана была на подъем всех отраслей сельского хозяйства, но не обеспечивала, да и не могла обеспечить немедленного успеха. Особенно это касалось главной задачи — производства зерна. Рост отдачи в полеводстве, растениеводстве — процесс, как правило, длительный. Вот почему, даже идя на риск, необходимо было ради выигрыша времени часть ресурсов и средств смело двинуть на целину, сулившую за один сезон дать солидную прибавку в крайне напряженный зерновой баланс страны. Первые 13 миллионов гектаров целины, намеченные к освоению в 1954 году, в случае успеха уже осенью того же года могли добавить в наши запасы 800—900 миллионов пудов товарного зерна. И партия пошла на это. Таким образом, она выигрывала и в тактике, ибо сразу же получала реальный результат в виде хлеба, и в стратегии, потому что на

целину мы шли не налегке, не затем, чтобы «урвать» ее богатства, снять сливки с ее плодородия и уйти восвояси, а шли на долгие годы.

Кстати говоря, Климент Ефремович Ворошилов принадлежал к числу тех деятелей, которые умели обстоятельно разбираться в необходимости или преждевременности тех или иных крупных государственных мероприятий. Он выступил за целину, а потом, приезжая в Казахстан и видя бескрайние пшеничные нивы, с радостью говорил мне:

— Как хорошо, что мы пошли сюда! На этих просторах вызревает помощь и белорусскому, и смоленскому, и вологодскому мужику. Притом действительно скорая помощь. Ей-ей, хоть рисуй на машинах с целинным зерном желтый крест — под цвет этой пшеницы... Крепко она нас выручит, крепко!

Но все это было потом. А тогда, в 1953—1954 годах, дискуссии продолжались. Одним из серьезнейших возражений было: мыслимо ли идти такой армадой в абсолютно голые, безлюдные степи без всяких тылов? Нет, сначала надо построить поселки, школы, больницы, дороги, ремонтные заводы и мастерские, элеваторы, а потом уже завозить технику и людей. Как тут можно ответить? Конечно, хорошо бы все это иметь. Только те, кто так ставил вопрос, не понимали все того же важнейшего требования — хлеб с целинных земель нужен был немедленно! Мы шли на целину, чтобы одновременно и обживать, и застраивать ее, и брать хлеб. Утверждая социализм, советские люди многое начинали на голом месте, чтобы опередить время. Партия открыто заявила тем, кого призывала ехать на целину: будет трудно, очень трудно, предстоит тяжелый бой, а всякий бой требует подвигов. И сотни тысяч патриотов страны — будущих целинников сознательно пошли на этот подвиг.

Следуя своей неизменной традиции, партия никогда не принимала крупных и принципиальных решений, не посоветовавшись с народом. Так она поступила и в этот раз. В конце 1953 и в начале 1954 годов в краях и областях РСФСР, Казахстана и в других республиках прошли сотни различных совещаний и собраний, которые показали, что коммунисты, широкие массы трудящихся одобряют и поддерживают идею партии об освоении целины и пахотных залежей.

Конечно, на местах, где должна была непосредственно развернуться целинная битва, тоже не обошлось без споров и сомнений. Но сомнение сомнению рознь. Когда люди убеждались, что партия задумала не легкий наскок на целину, а разработала и подготовила крупнейшую народнохозяйственную программу, они, не колеблясь, выступали за нее. Характерен рассказ человека, который уже упомянут в этих записках, — первого секретаря Атбасарского райкома партии В. Ф. Макарина, ставшего на целине Героем Социалистического Труда. Вот что он писал недавно о своих колебаниях той поры:

«Сейчас, когда прошли годы и многое выветрилось из памяти людей, можно было бы и покрасоваться, сказать, что все мы, так или иначе вовлеченные в орбиту целины, были тогда готовы, как кавалеристы с шашками наголо, ринуться в атаку на степное безмолвие и с ходу победить его. Но это было бы против истины. Ничуть не кривя душой, могу заявить, что в тот момент, когда мы узнали, какие дела предстоят атбасарцам, мне и моим коллегам по руководству районом стало, мягко говоря, не по себе. И понять нас не так уж трудно. Что такое целина, мы — уроженцы этих мест, выросшие и работавшие тут, — знали очень хорошо. Трудно, очень трудно она давалась крестьянину. Не случайно же более чем за 100 лет атбасарские крестьяне смогли распахать всего 100 тысяч гектаров новины, а засевали из них лишь треть, и то только в лучшие, удачливые

годы. А тут в течение двух лет предстояло поднять в районе почти полмиллиона гектаров, перевернуть чуть ли не всю степь и заставить ее рожать хлеб, заставить обязательно! Было над чем призадуматься... Нет, мы нисколько не сомневались в том, что страна обеспечит нас техникой в достаточном количестве, она к тому времени располагала развитой промышленностью, солидными экономическими ресурсами. Но позвольте спросить, кто поведет эту технику? Ведь нет еще таких машин, чтобы они сами, без участия людей, пахали, сеяли, убирали хлеб, да еще и в булки его превращали. Кое-кто, может быть, упрекнет меня в том, что я несколько утрирую, но я говорю о том времени, как было в действительности. Дело начиналось большое, неизведанное, была в нем изрядная доля риска».

Прав Василий Филиппович, давний мой знакомый. Риск был, и секретарь райкома мог и должен был поразмышлять над тем, как лучше выполнить задачу, выдвинутую партией. Правильно было и то, что в районе не раз собирали партийный, советский, хозяйственный актив, спорили до хрипоты, предлагали разные варианты действий.

«Наши сомнения,— заключает В. Ф. Макарин,— вскоре, однако, были основательно развеяны. Партия разработала такие меры, которых мы только могли желать. Она опиралась на безграничное доверие народа, на его высокое гражданское сознание и энтузиазм. В наш район вскоре хлынул настоящий поток техники, пришли тысячи писем юношей и девушек с просьбой указать адреса колхозов и совхозов, которые нуждаются в людях. Стали приезжать сотни призванных партией специалистов, прекрасных знатоков техники. И развернулась невиданная героическая работа».

5

В старых словарях вы найдете слово «целина», но не найдете слова «целинник». Оно родилось в 50-е годы, точно так же как в годы коллективизации появилось слово «колхозник». Само понятие «целина» утратило тогда свое чисто земледельческое значение, оно стало термином общественным, ибо за ним стояли высокая гражданственность и глубокий советский патриотизм. Целинник — фигура историческая, определившая собой героическое время. Этим словом обозначен особый характер, обусловленный потребностью времени.

Как-то, приехав в один из кустанайских совхозов, где стоял лишь единственный готовый домик, а люди жили еще в палатках и землянках, я узнал, что лучшую комнату в этом доме отдали молодым супругам, у которых родился мальчик. По этому поводу торжествовали все, а счастливый отец сказал мне:

— Хоть мы только что приехали сюда, но можете теперь считать нас коренными целинниками.

— Нет,— возразил я.— Коренной целинник пока у вас на целое хозяйство всего один — вот этот мальчишка, который родился. А вам еще предстоит стать коренными жителями здешних мест. Думаю, это произойдет не сразу. Будет нелегко.

Вспоминаю давние беседы в Целиноградской области, в том же Атбасарском районе,— весной и осенью. Совсем по-разному звучали они. Первой целинной весной приходилось слышать жалобы руководителей, что далеко не все приезжие собираются остаться у них. Директор совхоза «Мариновский» А. В. Заудалов говорил:

— Народ-то, с одной стороны, разношерстный, а с другой, наподобие войска — сплошь молодые ребята. Сегодня они тут, завтра их в другое место потянет.

— Да, проблема...— согласился я.— Молодым свойственна романтика. Пройдет год-два, и часть молодежи начнет уезжать. Вы же видите: большинство желает жить только в палатках. Им, если угодно, побольше трудностей подавай, чтоб было что одолевать. Построив все, что требуется на первый случай, ребята сделают свое дело, заскучают и полетят в другие места.

— А нам-то что делать?

— Думать о том, как укрепить кадры. Я вижу два пути. Надо позвать сюда девушек. Доярки, сеяльщицы, телефонистки, повара, врачи, учителя — мало ли для них работы сейчас и появится завтра в новых местах? Приглашайте девушек, и многие парни останутся здесь навсегда. Ну, а второй путь — приглашайте людей семейных, но уж заранее создавайте для них нормальные условия жизни. Вот так и заселим эту землю.

Если на то пошло, речь у нас шла о планировании человеческого счастья. Каждому нужен дом, очаг, нужна любовь, нужны дети. Государство, общество не могут найти парню, как говорили в старину, суженую, но должны стремиться сделать так, чтобы не было в стране чисто «мужских» районов или «женских» городов. И если демографические проблемы решаются грамотно, то молодые люди найдут друг друга и будут счастливы. Они и должны быть счастливы, потому что без этого невозможно благоденствие страны.

Вскоре именно Атбасарский район стал инициатором приглашения девушек на целину. Вернувшись в Алма-Ату, я 17 июля 1954 года с удовлетворением прочел в «Правде» обращение молодых целинниц совхоза «Мариновский» Райсы Емельяновой, Александры Замчий, Елены Клешни, Валентины Непочатовой, Полины Пашковой и Людмилы Семеновой к девушкам и женщинам страны с призывом ехать на целину. Призыв нашел широчайший отклик. Приехав осенью на уборку в Атбасар, я вновь встретился с Заудаловым. Был он одновременно и радостен, и до крайности озабочен. Спрашиваю:

— Стряслось что-нибудь?

— Да ведь помилуйте, Леонид Ильич! Я теперь будто и не директор, а главный почтальон... Совхоз получил тысячи писем от девушек. И все готовы в дорогу, все хотят ехать именно к нам! Надо бы как-то отрегулировать дело. Есть же много других совхозов. А то ведь что получается: ярмарка невест, а не хозяйство!

Хлопот с «девичьим десантом» действительно было немало. Зато жизнь на целине менялась буквально на глазах. Она все быстрее превращалась из походной, «армейской» в нормальную, благоустроенную. И сегодня куда бы я ни приезжал на целину, всюду встречаю работников, родившихся здесь. Жизнь в этих краях пустила глубокие, крепкие корни.

Вместе с отцом Героем Социалистического Труда Жансултаном Демеевым выходит в поле его сын — Мираш Демеев. Знает эта земля не только знаменитых первоцелинников Михаила Довжика и Владимира Дитюка, но и хороших хлеборобов Владимира Михайловича Довжика и Григория Владимировича Дитюка, родившихся здесь. Не однажды мне доводилось бывать в совхозе «Ждановский» Северо-Казахстанской области, встречаться с его директором Марком Павловичем Николенко. Когда ветеран ушел на пенсию, хозяйством стал руководить его сын — Владимир Маркович Николенко. Героем Социалистического Труда стал на целине комбайнер совхоза «Ленинский» Карасуского района Кустанайской области Амангельды Исаков. А его сын Владимир Амангельдинович ныне главный агроном

совхоза «Койбагарский» того же района. Настоящую хлеборобскую династию основал комбайнер совхоза «Самарский» Целиноградской области Иван Григорьевич Космыч: вместе с ним растят и убирают хлеба девять его сыновей! Таких примеров великое множество. Все произошло именно так, как было спланировано: освоены новые земли, на них остались жить люди.

Целинная палатка бригады М. Е. Довжика давно уже стоит в Музее Революции в Москве. А там, где когда-то находились такие палатки и землянки, выросли сотни степных городков. В целинных районах Казахстана теперь живут и работают в сельском хозяйстве миллион двести тысяч человек. Эти места стали такими же обжитыми и заселенными, как любой другой экономический район страны.

Фотографии первых целинных лет многое освежают в памяти. На снимках — голая степь, тракторные поезда, колышки с названиями совхозов, палатки, землянки, тесные вагончики, глиняные мазанки без крыш, прозванные тогда «бескозырками». Люди в этом жилье уютились при тусклом свете фонарей и керосиновых ламп. Все у них было временное, неудобное, походное. Но поглядите на лица этих людей — какие они веселые, радостные. Оптимизм и уверенность видны в каждой улыбке, в каждом жесте. Все мы, работавшие тогда на целине, ощущали этот оптимизм, этот душевный настрой сознававших свою силу людей. А как впечатляла пробужденная нами к жизни степь! Все двигалось и стекалось сюда, на передний край, как это бывает перед большим наступлением. Любой человек, попадавший в то время на целину, невольно начинал жить ее интересами.

Безусловно, были и такие, которые с целины уезжали. Попадались люди случайные, корыстные, с непомерными претензиями, не желавшие считаться ни с чем. Их метко называли «землепроходцами», и с ними пришлось столкнуться в первой же поездке по Северному Казахстану. Было это ранней весной 1954 года на станции Тобол. Едва сошел с поезда, как из толпы вырвался какой-то шумный малый и буквально атаковал меня вопросами. Куда их привезли? Зачем сорвали с мест? Где жилье, где заработок, где теплая одежда? В этой степи, дескать, одни сурки могут жить в своих норах!

Я терпеливо слушал, потом сказал, что затем и пригласили новоселов, чтобы обживать эти земли, но парень не унимался. Он потрясал своим легоньким пиджаком и требовал, чтобы ему сейчас же выдали полушубок. Было ясно, что это не тот человек, которому можно что-либо втолковать, — таких всегда чувствуешь сразу — и пришлось его оборвать:

— А вы что, сюда на готовые пироги ехали? На что рассчитывали в этом пиджачке да в кепочке? Такие, как вы, целине не нужны!

— Вот так всегда, — сбавил он тон, — когда требуешь свое законное...

— Нет, дорогой, — сказал я. — Ваши требования будут законны через месяц, через два или три, да и то лишь отчасти. А по-настоящему законными они станут только через год. Пока же не меньше претензий можно и к вам предъявить. Зачем ехали? Мы ведь надеялись на вас, а теперь вынуждены срочно искать замену. И, будьте спокойны, найдем.

Насколько помню, группа была из города Шуи. И, конечно, это были случайные люди, исключение из правила. Та же Шуя прислала к нам настоящих тружеников, они совхозу в тургайской степи дали название «Шуйский», и стал он одним из лучших на целине.

А трудности, скрывать нечего, были. Наш народ на протяжении героических десятилетий очень многим жертвовал во имя будущего, переживая тяжкие испытания. На разных этапах нам не хватало буквально всего — гвоздей и керосина, обуви и ситца, крыши над головой и хлеба. И партия всегда открыто говорила народу: трудности и нехватки мы одолеем общей упорной работой, а жизнь наша постепенно будет становиться все лучше и лучше. Она и становилась лучше с каждым годом, несмотря на то, что страна подвергалась все новым испытаниям.

Конечно, человеку, который в тот или иной момент нашей истории не был как следует устроен и обеспечен, приходилось в этой конкретной ситуации нелегко, а порой непомерно тяжело. И в этом смысле трудности выпали всем поколениям советских людей. Ни одному народу не пришлось выдержать таких испытаний, как нашему. Но взгляните на нашу жизнь в целом. Она ведь все время шла в гору. Какими бы ни были преграды, мы их всегда преодолевали. И сегодняшняя действительность отличается от прежней, как космический корабль отличается от крестьянской телеги.

Если вернуться к бытовым неурядицам, какие встречались на целине в пору ее освоения, то уж они действительно были временными. Не понимали этого только себялюбцы, не желавшие пальцем шевельнуть для общего дела. Про таких метко говорят в народе, что они — ни папе, ни маме, ни нам с вами.

Иное дело, встречались ребята, просто растерявшиеся на первых порах. С ними достаточно было поговорить, объяснить, убедить, даже отечески приласкать. Да, приласкать — мне часто доводилось тогда, беседуя с руководящими работниками, употреблять это слово. Молодой человек, еще не набравшийся опыта, нуждается в строгости, но нуждается и в добром участии. Той же весной 1954 года на станции Джалтырь под Целиноградом я увидел парня с чемоданом. Он хотел сесть в поезд. Спрашиваю:

— Не домой ли собрался?

— Домой.

— Что — трудно?

— Трудно. Себя, природы своей не знал. Не знал, что так буду тосковать по дому, по родным местам. У нас там тепло. Из окошка Азовское море видно. Сады цветут. А тут снега, бураны. Теперь вот ужасные ветры...

Я присел рядом с ним.

— Начинать всегда тяжело. А представь, как ровесники твои воевали на фронте? Тоже тосковали по дому, по матери, жили в землянках. Да еще и в смертельную атаку ходили... Ничего просто так не дается. На Украине развести сад — дело нехитрое, а вот в этой степи сад — большая победа. Но через годик-другой будут тут села и сады тоже будут. Главное, надо в себя поверить. Нельзя тебе начинать свою жизнь с отступления!

Парень, помню, на поезд не сел. Я увидел его уже в кузове грузовика. Не знаю фамилии этого теперь уже, конечно, немолодого человека, но, думаю, он среди тех, кто связал судьбу свою с ковыльной степью.

«В диких условиях целины,— писала в те дни одна из буржуазных газет,— человек не может существовать. Вот почему можно успокоиться: целина так и останется непереваренным куском в железде России».

Сколько же раздавалось таких хлестких пророчеств! Но уже через три месяца после прибытия первых эшелонов с добровольцами

в степи зеленели бескрайние поля пшеницы. Посевные площади в республике увеличились вдвое и в том же году достигли 20 миллионов гектаров. И если, как писали наши недруги, мы были «не готовы» к целине, то кто же поднял и засеял эти земли? Кто дал нам в тот год более 22 тысяч новых тракторов и более 10 тысяч новых комбайнов? Кто отправил к нам тысячи поездов с домами, лесом, цементом, товарами, продовольствием? Нет, это было хорошо продуманное, спланированное наступление. И вековой крепостью под названием «целина» мы овладели не длительной осадой, а стремительным броском, героическим штурмом.

Могут спросить: но если люди шли в степь, вооруженные лучшей техникой, чувствуя за собой поддержку всей страны, всего народа, если уже тогда их воспевали в песнях и они, как говорится, с первого шага начинали пожинать плоды своей завидной славы, то не завышена ли оценка всего, что стоит за словом «целинник»? Нет, не завышена. Эти люди действительно совершили подвиг.

Героическое начало проявляется по-разному. Один и тот же человек может, рискуя жизнью, броситься в горящий дом, но окажется неспособным изо дня в день выполнять какую-либо монотонную работу. Есть героизм момента. Есть героизм тяжелых периодов в жизни всего народа — примером может служить война. И есть героизм будней, когда сознательно и добровольно люди обрекают себя на тяготы, зная, что в другом месте их могло и не быть. Считаю, что люди целины показали себя героями. Они выдержали все трудности быта первой поры и годами терпеливо и стойко обживали эту совсем не ласковую землю.

В дни празднования 20-летия целины я говорил в Алма-Ате об одном удивительном человеке — Иване Ивановиче Иванове. Он родился в Ленинграде, во время войны защищал родной город, был тяжело ранен, потерял обе ноги. После длительного лечения приехал в Казахстан, да так и остался здесь. Сроднился с этим краем, стал отличным механизатором, и к боевым его наградам прибавились награды за труд — два ордена Ленина и Золотая Звезда Героя.

Весь зал рукоплескал герою, аплодировал ему с трибуны и я. Потом брали слово другие ораторы, и один из них, как показалось мне, повторил ту же самую историю. Тоже говорил о коммунисте, ленинградце, участнике войны, который лишился обеих ног, приехал на целину, стал одним из лучших трактористов, Героем Социалистического Труда. А зовут его — Леонид Михайлович Картаузов... Снова все захлопали, и мелькнула мысль: неужели совпадение? Или у меня был неверно назван герой? Но нет, не может быть, я ведь хорошо помнил его.

В перерыве я поинтересовался Картаузовым, и оказалось, что ошибки никакой нет. Работают на целинной земле и Картаузов, и Иванов, судьбы их схожи, и оба они Герои. Совпадение это, я бы сказал, символично. Не зря у нас слово «целинник» стало символом мужества.

За свою жизнь я не раз убеждался, что подлинными героями в обычной обстановке бывают, как правило, скромными, не очень заметными. Они просто и безотказно делают свое дело. Таким был и Даниил Нестеренко, тракторист совхоза «Дальний» Целиноградской области. Само название совхоза говорит за себя: он расположен в самом дальнем уголке области. Именно туда и вызвался поехать Нестеренко. Снежная зима шла к концу, и бригада трактористов, в которой он работал, могла быть отрезанной от центральной усадьбы совхоза, остаться без запаса горючего. Немудрящая речка Жаныспайка грози-

лась, по словам старожил, разлиться бурно и широко. Пока на ней еще стоял лед, надо было срочно переправить тракторы. Нестеренко помог товарищам провести эту рискованную операцию, а свой трактор повел последним. Но тающий лед, уже покрытый водой, не выдержал...

Когда друзья вынули из воды погибшего, то обнаружили в его кармане удостоверение Героя Советского Союза. До этого никто в совхозе не знал, что рядом с ними работает такой человек. Выяснилось, что звание Героя Даниил Потапович Нестеренко получил за форсирование Днепра. И стало вдвойне обидно за его гибель. Я помню Днепр, помню героев этой переправы под смертельным огнем. Казалось бы, что за преграда бывалому человеку степная речушка! Но вот бывают в жизни такие нелепые случайности.

Одна подробность особенно тронула меня: в палатке Нестеренко друзья нашли саженцы украинских вишен. Значит, надолго ехал он в Казахстан, если вез их с собою, чтобы посадить в степи. Но уже без него выросли эти вишни.

Зима 1954 года выдалась суровой, на редкость снежной, морозной. Целина сразу, «с порога», испытывала новоселов, обрушивала на них свой крутой, неласковый нрав. Не умолкая завывали пронизывающие ветры, и каждый рейс по степи был необычайно трудным, а мог стать и опасным. Между тем тысячи тракторов, сотни автопоездов должны были пробиваться к еще не существующим совхозам по бездорожью, сквозь ветер и снег.

Что такое буран в степи, многие представляют с детства по «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Пришлось и мне увидеть, как обманчива степь. То над ней от горизонта до горизонта может синеть морозное небо, светит яркое солнце, но минет полчаса — и уже не видно белого света, крутит, свистит, завывает пурга. Достаточно малой ошибки, случайности, неожиданно заглохшего мотора, и человек остается со степью один на один — без дороги, на морозе, в крошечной мгле.

Помню, как всех на целине потрясла гибель студента-заочника Львовского строительного института Василия Рагузова. Одним из первых он приехал в совхоз «Киевский» и стал работать прорабом. Способный организатор, хороший товарищ, человек веселого, общительного нрава, он быстро завоевал авторитет, уважение и любовь первоцелинников. В один из ясных дней в составе колонны Рагузов вез со станции сборные дома для первой совхозной улицы. Неожиданно начался необычайной силы буран, длившийся потом несколько суток. Колонна остановилась. Василий решил идти за помощью. Пошел один, заблудился и погиб. Это был мужественный, огромной воли человек. Вот письмо, найденное у него в кармане:

«Нашедшему эту книжку! Дорогой товарищ, не сочти за труд, передай написанное здесь в г. Львов, ул. Гончарова, 15, кв. 1, Рагузовой Серафиме Васильевне.

Дорогая моя Симочка! Не надо слез. Знаю, что будет тебе трудно, но что поделаешь, если со мной такое. Кругом степь — ни конца ни края. Иду просто наугад. Буря заканчивается, но горизонта не видно, чтобы сориентироваться. Если же меня не будет, воспитай сыновей так, чтобы они были людьми. Эх, жизнь, как хочется жить! Крепко целую. Навеки твой Василий».

Сознавая, что погибает, он сделал приписку — уже коченеющими, замерзающими пальцами:

«Сыновьям Владимиру и Александру Рагузовым. Дорогие мои деточки, Вовушка и Сашунька! Я поехал на целину, чтобы наш народ

жил богаче и краше. Я хотел, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное — нужно быть в жизни человеком. Целую вас, дорогие мои, крепко. Ваш папа».

Письмо это, казалось бы, имело сугубо личный, семейный адрес. Но стало оно обращением ко всем живущим. Когда мне показали листки с расплывшимися буквами, когда разобрал их — перехватило горло. Позвонил журналистам, посоветовал, получив согласие жены, напечатать это письмо. Опубликованное в газете, оно вызвало десятки тысяч откликов по всей стране. Новые отряды добровольцев двинулись на целину, чтобы довести до конца дело, которое начали Василий Рагузов и подобные ему мужественные люди. Сопка, близ которой погиб Василий, названа теперь его именем.

Нынешняя карта Казахстана свидетельствует: целину действительно осваивала вся страна. Ее география отражена в самих названиях совхозов — «Московский», «Ленинградский», «Минский», «Киевский», «Днепропетровский», «Армавирский», «Полтавский», «Тагильский», «Сочинский», «Пермский», «Ярославский», «Воронежский»... Помимо казахов, коренных жителей степи, во многих хозяйствах можно было встретить представителей разных национальностей. Целина стала подлинной школой интернационального воспитания, вместилищем мудрого опыта, трудовых навыков и решимости представителей всех народов нашей страны победить!

Новые земли всегда обживались новыми людьми. Но тут была одна особенность. Мы далеко ушли от времени первых пятилеток, когда на Магнитку, Турксиб, Днепрогэс или в Комсомольск-на-Амуре добровольцы приезжали с пилой да лопатой. Целине нужны были в первую очередь трактористы, электрики, шоферы, механики, строители, таких квалифицированных специалистов и присылали к нам из многих республик, краев, областей — они стали костяком новых хозяйств.

Люди растили хлеб на земле — земля растила людей. Целина, оброчно говоря, дала богатейший урожай тружеников, патриотов, мастеров своего дела. Но прибывшие со всех концов страны со своими особенностями, характерами, опытом, пристрастиями — сами собой они в коллективы не складывались. И здесь необходимо сказать хотя бы кратко о методах партийной, организаторской и идеологической работы, которые приходилось нам искать. Вся деятельность партии на целине являла собой пример огромной, новаторской и выдающейся по своим результатам эпопеи.

Обстановка ее более всего напоминала политраблиту в дни большой наступательной операции. Для меня эти первые месяцы обернулись бесконечными поездками, сотнями встреч, коротких знакомств, когда и людей нельзя было надолго отрывать от дела, и у меня не хватало времени, потому что постоянно надо было двигаться дальше, потому что все время тянуло «на передовую». Хотелось всюду поспеть, быть в десятке мест сразу, что, конечно, было невозможно, но почему-то все-таки получалось, и суть партийно-политической работы состояла тогда в том, чтобы сплотить огромную массу людей, вооружить их конкретной программой действий и ясным сознанием общей цели.

Помню, в машине, в пеших переходах по степи, ночью в палатках, вечером у костра повторял я партийным секретарям одно и то же. Говорил примерно так: пусть чаще собирают коммунистов, надо им прежде всего познакомиться, обсудить обстановку, узнать цену другу другу. А уж тогда они поведут за собой людей.

— Негде проводить партсобрания, — возражали мои собеседники.

— Необходимо, — настаивал я.

— Больно критики много, — говорили некоторые. — Того нет, этого не завезли... Знаете, как поначалу бывает.

— Ничего, — приходилось отвечать. — Если мы будем помалкивать, лучше от этого не станет. А соберутся люди, поспорят, выложат все в открытую и, глядишь, выход подскажут. В следующий раз доложите им, что сделано. Народ съехался отовсюду, люди разные — тут главная сложность. Но есть и преимущество — настоящее, трудное дело, в котором человек раскрывается быстро.

Все силы уходили в первую весну на то, чтобы раскрутить, пустить в действие огромную машину, и некогда было остановиться, отдохнуть.

А потом пришел долгожданный и все-таки неожиданный большой хлеб целины.

6

Никогда не забуду первой целинной осени 1954 года. В одном из совхозов Рузаевского района Кокчетавской области при встрече мне поднесли сноп целинной пшеницы «акмолинка». Невозможно передать чувств, которые я испытывал, держа в руках этот сноп. Много вспомнилось в ту минуту — первые планы и замыслы, бессонные ночи, споры, эшелоны с людьми, тракторные поезда по вьюжному бездорожью, первые костры в степи и первые борозды. И вот она перед глазами, сбывшаяся мечта — степь от края до края желтела пшеницей... Вспомнилась горстка самых первых целинников, вскоре после революции основавших в этих краях земледельческие коммуны. В. И. Ленин, напутствуя рабочих Обуховского и Семянниковского заводов, решивших поехать в Казахстан, писал в записке народному комиссару земледелия: «Почин прекрасный, поддержите его всячески».

Первые коммуны в приишимской степи имели радостные названия: «Луч революции», «Свет правды», «Путь новой жизни». Но как слабо оснащены были эти маленькие поселения на целине. Коммуна «Луч революции», например, имела четыре быка, одиннадцать коров, одну лобогрейку, одну сенокосилку, четыре бороны, восемь телег, четыре жилых дома и сарай. Какая же нужна была воля и вера в победу, чтобы уже тогда заявить: «Ты подчинишься нам, степь! Ты станешь нашей кормилицей!» И вот теперь уже не крохотные островки, а пшеничный океан разлился в степи. Ковыльная древняя равнина становилась крупной житницей государства. Это был первый результат первого года целинной страды.

Пшеничное море разлилось по степи, ветер гнал тяжелые волны, солнце золотило их, настроение у всех было приподнятое. Однако сколько же сил надо было еще приложить, чтобы взять уродившийся хлеб!

Сейчас на казахстанской целине построена мощная сеть крупных элеваторов и зернохранилищ. А тогда все имеющиеся емкости не превышали трех миллионов тонн, включая примитивные мелкие склады и всевозможные глинобитные конурки, которым целинники дали в ту осень имя — «собачники». Хлеб надо было убрать, сохранить, вывезти во что бы то ни стало. Особенно трудное положение сложилось на дорогах, на станциях, в узловых пунктах перевалки зерна.

Расскажу хотя бы об одном эпизоде тех дней. На этот раз в Атбасар я прилетел вместе с Николаем Ивановичем Журиным, первым секретарем Целиноградского обкома. Уте на летном поле встречавшие стали тянуть нас в совхозы, на поля, чтобы, как говорили они, порадовать урожаем. Больно уж горячи были эти приглашения, а о местном пункте загозерна — никто ни слова. Разумеется, мы решили начать именно с него. Кто-то остерег:

— Нельзя вам туда. Шоферы разорвут, ей-богу! Машин скопилось тьма, по двое суток ждут разгрузки.

— Ну, это еще не страшно,— сказал я.— Вот были мы на станции Колутон, так там действительно беда: хлеба полно, а машин не хватает.

Подъехали к пункту. Он располагался в километре от железной дороги. Был ясный осенний день. Среди рыжей, выгоревшей степи на окраине города стояли сотни автомашин, груженных зерном. Их хвост растянулся больше чем на километр. А сам приемный пункт напоминал кишащий муравейник. В клубах пыли урчали и фыркали грузовики, пробираясь к центру двора, к буртам зерна. Тут же, рядом, грохотала стройка — возводился новый элеватор. Старый, небольшой, был засыпан зерном до отказа. Сотни людей стояли без дела. Лишь десятка два женщин лопатами насыпали хлеб в мешки, и грузчики исчезали с ними в низеньких мазанках — туда ссыпали семенное зерно. Машины разгружались только вручную, всего в двух-трех местах.

Я подошел к одной из них, взял из кузова горсть зерна. Им невозможно было не любоваться: литые тяжелые зерна золотились в ладонях — чудо, а не пшеница!

Тотчас нас окружили шоферы. Все потонуло в невообразимом шуме. Водители кричали, что простаивают сутками, ночуют в кабинах, негде перекусить, отмыться от пыли. Но это еще куда ни шло, а главное — в степи скопились горы зерна, лежат под открытым небом, пропадет хлеб! Я дал им выговориться, потом сказал:

— Здорово же вы встречаете гостей...

Не знаю, то ли спокойствие, то ли улыбка подействовали, но шоферы умолкли: в самом деле, напали на человека, а надо же его и выслушать.

— Не волнуйтесь, товарищи,— продолжал я, сам еще не зная, что предприму.— Что-нибудь придумаем. Даю слово, пробку эту мы рассосем.

Обещать-то пообещал, но что же придумать? Мы обошли территорию заготпункта, осмотрели строящийся элеватор, который мог быть готов не раньше следующей осени, заглянули и в «собачники». А по пути я все время смотрел на огромный пустырь между приемным пунктом и станцией, на так называемую полосу отчуждения. Пустырь был завален всяческим хламом — ржавым металлоломом, обломками железобетона, мусором. Все это в невообразимом хаосе торчало из желтых высохших бурьянов, покрытых слоем многолетней пыли.

— Чья территория?

— Железной дороги.

Попросил пригласить начальника отделения дороги. Он пришел быстро, представился: Перменов Байзак Перменович. Это оказался толковый, дельный человек, знающий специалист, любивший к тому же шутку, потому что добавил:

— Имя прошу не путать. А то многие на слух не воспринимают и зовут меня Бальзаком. Но я не писатель, а путеец, и не француз, а чистокровный казах.

Вопрос предстояло решить сложный, я попросил найти кого-нибудь из старых хлебозаготовителей.

— Искать не надо,— сказал Перменов.— Вот он, рядом стоит — Сименков Никанор Георгиевич. Строит теперь новый элеватор, а был

начальником областного управления хлебозаготовок. Профессор в этом деле.

Присели небольшой группой на краю пустыря. Районных руководителей я хорошо знал, новым человеком был для меня начальник заготпункта по фамилии Повлияненко. Перебросился с ним несколькими словами, узнал, что он фронтовик, бывший моряк. А первый вопрос задал путейцу:

— Сколько нужно дней, чтобы очистить этот пустырь и протянуть к нему железнодорожную ветку?

Перменов что-то прикинул в блокноте и сказал:

— Сутки — на очистку, два дня — протянуть колею.

— Мало просите. Будем считать, пять дней.. Сколько хлеба сдаст район?

Ответил Журин:

— Сюда свозит зерно не один район. Сильно подпирает урожай, везут свой хлеб и Есильский, и Балкашинский, и Кургальджинский. Словом, Атбасару придется принять и отправить три миллиона пудов. Это самое малое.

— Понятно... — Я повернулся к заготовителю. — Сможем пропустить весь хлеб через эту площадку?

— Вообще-то можно, — ответил он. — Но только очистить землю мало. Это будет нарушение инструкции, да и просто бесхозяйственность.

— А что нужно?

— Вспахать, прикатать, утрамбовать. Обязательно нужна и дезинфекция. Если по правилам, кладите дней десять.

— Никанор Георгиевич, у вас же огромный опыт. Неужели нет других способов?

— В жизни всяко приходилось выкручиваться, — сказал Сименков. — Не без того... Можно выжечь площадку. Натащить соломы и выжечь дотла. Земля прокалится и станет твердой, как печной под.

— А дезинфекция?

— Огонь все вычистит.

— Вот вам и выход из положения!

Помолчали. Казалось, все обговорено. Но тут вступил в разговор начальник заготпункта:

— Нет, Леонид Ильич, не согласен. Какая разница, где быть хлебу? В степи он лежит под открытым небом и у меня будет под открытым небом. Брезентовый полотно на такие бурты всем районом не сошьешь. Погубим зерно!

— Вагонами мы вас поддержим крепко, это я беру на себя.

— А это, — он ткнул рукой в небо, — тоже берете на себя?

Жара в ту осень стояла изнуряющая, солнце, казалось, висело неподвижно, сверху ни облачка, и прогнозы были обнадеживающие. Но кто мог поручиться, что не хлынут дожди?

— Вы знаете, — сказал Повлияненко, — что принимать хлеб на открытые площадки категорически запрещено. Я такую ответственность взять на себя не могу.

Легче всего было упрекнуть его в формализме, перестраховке. А мне этот хмурый человек понравился. «Будет сделано!» — с готовностью отвечали иные и ничего потом не делали. (Об одном таком товарище, который на все твердил: «Зроблю!» — я еще расскажу.) А Повлияненко действительно должен был принять горы хлеба, и отвечать за него персонально будет именно он. Беспокойство чувствовалось и у других товарищей: вам, мол, хорошо, распорядились и отбыли, а нам-то каково? Погоде не прикажешь, эшелоны не в нашем ведении, да и будут ли они?

— Ладно, давайте разбираться,— сказал я.— Оставить хлеб в глубинках — значит наверняка его погубить. Складов там нет, и когда начнется бездорожье, ударят морозы, мы его уже не вывезем. Пропадут эти миллионы пудов, подорвем веру в целину, люди нам скажут: болтуны вы, а не руководители! И будут правы. А тут дорога, станция, подвижной состав, тут тысячи людей, которые в случае нужды придут спасать зерно. Бросим сюда, если надо, солдат, студентов, рабочих — перелопатят, погрузят, помогут. Неужели вы, Иван Григорьевич, не видите разницы, где надежнее быть хлебу — в степи или в городе?

— Все помогут,— сказал Повлияненко.— А под суд идти мне одному.

Стало очевидно, что товарищ не верил в мои слова, в то, что ему окажут реальную помощь. И все же не хотелось его обижать, а вот задеть самолюбие следовало.

— В старину говорили: каков человек на войне, таков и на гумне. Что же вы, на фронте не терялись, а тут? Ведь и в мирное время иногда приходится крикнуть: «Полундра!» В конце концов, мы могли бы и спросить с вас: разве не знали раньше, что будет выращен большой целинный хлеб, почему же за полгода к этому не приготовились, не сделали даже того, что в ваших силах? Ну, хорошо. Допустим, и мы виноваты, разделим грех пополам. Но вот за эту площадку мы с вас спросим, и строго! Чтобы все до зернышка ушло отсюда на элеваторы, где хлеб смогут переработать и сохранить. Мы вместе с вами будем отвечать за этот бесценный хлеб.

Разговор окончился взаимными обязательствами. Иван Григорьевич так же хмуро, без громких слов и восклицаний сказал, что делает все возможное, что от него зависит. Ему можно было верить. Поэтому что, скажу честно, упрямая неуступчивость этого человека заставила меня, да и всех нас, понять важность предпринимаемого шага, еще раз основательно взвесить его и обдумать. И я, в свою очередь, пообещал глаз не спускать с этой станции.

Возможно, кто-нибудь скажет, что это все не дело для секретаря ЦК такой огромной республики: слишком мал, так сказать, масштаб. Некоторые товарищи и тогда считали, что вряд ли следует мне самому вникать в массу мелочей вплоть до того, что заглядывать в котлы целинных бригад. Не снижает ли это ответственность низовых руководителей? Скажу на это, что никакие бумаги, никакие телефонные звонки не заменят встреч с людьми и знания жизни. К сожалению, не раз мне приходилось убеждаться, что всякого рода рапорты, идя по инстанциям снизу вверх, имеют свойство искажаться. Притом всегда в одну сторону — в сторону облегчения, сглаживания острых углов.

Одного «кабинетного» руководства мало, надо постоянно общаться с народом, выезжать на места, видеть своими глазами и успехи, и возникающие трудности, а когда есть нужда, оперативно вмешиваться. Поспорив с людьми на такой степной станции, посидев с трактористами у бригадного котла, очень многое поймешь и многому научишься. Учиться же всегда полезно, а когда такие крупные операции, как подъем целины, только еще разворачиваются, совершенно необходимо.

Вдобавок случаи, подобные тому, о котором рассказано, не остаются просто эпизодами. Нередко они ведут к крупным обобщениям. Вернувшись в Алма-Ату, я вынес вопрос о хлебозаготовках на Бюро ЦК, и было принято соответствующее решение. Связался с заместителем министра путей сообщения СССР Н. А. Гундобиним, рассказал ему об остроте проблемы. Он в ту пору почти все время сидел на

целине, возглавляя, по существу, главный диспетчерский пункт в Целинограде. Денно и ночью следил за продвижением грузов, за оборотом вагонов и на наши просьбы откликался достаточно быстро. Так что круги от «мелкого» эпизода разошлись, можно считать, по всей целине.

Вернусь к эпизоду в Атбасаре. Жара в тот год была изнуряющая. Кто-то после заготпункта предложил пойти всем на речку ополоснуться. Но, конечно, и на берегу разговор опять пошел о делах. Руководителям района я заметил:

— Несмотря на большие трудности, ваш район по хлебосдаче может выйти в передовые. Для этого есть все возможности.

Я постоянно следил за тем, что происходит на атбасарском заготпункте. Пришлось попросить министра заготовок республики срочно выехать для практической помощи в Атбасар. Звонил туда часто, спрашивал, сколько принято зерна, сколько отгружено, какая требуется помощь. Бесценный хлеб был полностью сохранен, и позже, когда атбасарцы — а они таки выступили инициаторами сверхплановой сдачи — выполнили свои обязательства, когда «Правда» дала обстоятельную статью об их почине (хорошем, дельном почине), то, скажу по чести, ощутил я глубоко личную причастность к успеху механизаторов, райкомовцев, заготовителей, путейцев. А это дорогого стоит.

В 1954 году впервые в своей истории Казахстан засыпал в закрома Родины почти 250 миллионов пудов зерна — на 150 миллионов больше, чем в самые благоприятные до этого годы. И все мы, целинники, испытывали подлинное счастье от этой победы.

7

С осени 1954 года наступление на целину развернулось в еще более широких масштабах. Плюс к созданным 90 новым совхозам предстояло создать еще примерно 250. И во сколько раз совхозов становилось больше, во столько раз увеличивались наши заботы.

Однако к этому времени у партийной организации республики уже не только накопился опыт текущей работы на целине, но и вырисовывалась довольно четкая программа действий, рассчитанная на длительную перспективу. Многие черты современного облика сельского хозяйства Казахстана, его отраслевая структура и основные направления развития были определены и начали все отчетливее просматриваться уже тогда, почти четверть века назад.

Что особенно волновало нас в ту пору, какие вопросы решались в первую очередь, как шла борьба за претворение в жизнь наших замыслов — об этом частично рассказывается в моей книге «Вопросы аграрной политики КПСС и освоение целинных земель Казахстана». Не повторяясь, отмечу лишь основные линии, программные задачи тех лет:

путем освоения целинных и залежных земель, а также повышения урожайности на старопахотных землях сделать зерновую отрасль главной отраслью сельского хозяйства Казахстана, увеличить здесь производство зерна в сравнении с прежним периодом не менее чем в десять раз и превратить таким образом республику в новый крупнейший в стране район зернового производства;

выработать и постепенно внедрить на целине научную систему земледелия, максимально приспособленную к сложнейшим природно-климатическим условиям зоны, сохраняющую и умножающую естественное плодородие здешних земель;

создавая крупнейшие в стране зерновые совхозы, построить в каждом из них все необходимое — как хорошо оснащенные производственные объекты, так и благоустроенные поселки городского типа с полным комплексом социально-культурных и бытовых услуг. Полностью реорганизовать, расширить и перестроить по типу новых хозяйств все старые совхозы и колхозы республики;

в кратчайшие сроки связать территории целинных областей сетью железных, магистральных шоссейных, а также межсовхозных дорог, проложить линии электропередачи, телеграфной, телефонной и радиосвязи, построить в узловых точках крупные элеваторы, заводы по выпуску и ремонту сельхозмашин, десятки других предприятий — и тем самым превратить Северный Казахстан в высокоразвитый экономический район, действующий как единый хозяйственный организм;

на основе роста зернового производства, использования его отходов, за счет резкого увеличения посевов кормовых культур, в частности кукурузы, а также путем повышения урожайности сеяных трав и улучшения сенокосных угодий коренным образом укрепить кормовую базу и обеспечить быстрое развитие животноводства. В перспективе производство всех видов продукции этой отрасли увеличить не менее чем в два раза;

на юге республики с помощью мелиорации интенсивно развивать рисосеяние, хлопководство, свекловодство, овощеводство, садоводство и виноградарство.

Эта программа была нелегкой. Осуществлять ее также приходилось не по частям, а всю сразу. И, конечно, надо было представлять все трудности, с которыми мы встречались тогда и должны были встретиться в будущем. Нашей верой и энергией очень важно было зажечь всех, с кем доводилось тогда работать.

Возьмем животноводство. Довольно многие товарищи, все прикрывая борьбой за хлеб, упускали другие важные отрасли сельского хозяйства из поля зрения.

Мы решительно взялись за перестройку организации, например, животноводства. Бывало, меня даже упрекали за то, что слишком часто повторяю однажды уже сказанное: мол, и так все ясно, зачем говорить об одном и том же? Ясно-то ясно, но дело двигалось медленно, а то и вовсе стояло на месте. Больших усилий потребовало, например, внедрение кукурузы, культуры для Казахстана практически новой. Мы намеревались выращивать ее и на зерно, но большую часть посевов предназначали для зеленой массы. У местных товарищей это вызывало глухое сопротивление: как же так, выращивать на пашне «траву»? Снова и снова надо было спорить, убеждать, показывать практически, как сеять кукурузу, обрабатывать, убирать, силосовать.

Ценность этой культуры была хорошо мне известна по Украине и Молдавии, однако, не будучи агрономом, решил лишний раз посоветоваться. Написал письмо своему своему другу, знаменитому «кукурузному чародею» М. Е. Озерному в село Мишурино Рог Днепропетровской области. Вскоре от Марка Евстафьевича пришел ответ с ценнейшими советами, прислал он по моей просьбе и семена сортов, пригодных для засушливого Казахстана. Дело сдвинулось, но не раз еще мы выносили этот вопрос на Бюро ЦК, проводили семинары по кукурузе.

Пробные посева первой весны удались, и в 1955 году мы заняли под эту культуру уже 700 тысяч гектаров. Животноводческое хозяйство пусть не быстро, но тоже начало двигаться в гору. И помогла нам в этом, как и в других делах, именно последовательность. На республиканском активе в марте 1955 года я говорил:

— Есть такие вопросы, к которым приходится возвращаться снова и снова. О чем это свидетельствует? Я думаю, с одной стороны, о насущной важности данной задачи, с другой — об огромной сложности ее решения. Настойчивое обращение к таким проблемам — это лишнее доказательство серьезности наших намерений. Мы и впредь будем последовательно, без шараханий и колебаний бить в одну точку, добиваясь воплощения наших идей в жизнь. Нет никакого сомнения в том, что настанет время, когда эти проблемы будут сняты с повестки дня. И тогда — это мы тоже прекрасно понимаем — возникнут новые вопросы, новые задачи, еще более масштабные и величественные.

До некоторых товарищей это не доходило. Первый хлеб целины казался им едва ли не концом всей нашей работы. Они почуяли возможность передышки, затеяли «кадровую кадрили», взялись выдвигать работников на повышение. Не хочу сказать, что те этого не заслужили. Напротив, я помню и глубоко уважаю первых целинных директоров совхозов, они немало вынесли на своих плечах, многие выросли потом в крупных организаторов производства. Но в тот момент рано еще было срывать людей с места.

Вдруг обращается ко мне один из них, Федор Трофимович Моргуна, с претензией, какую не назовешь обычной: ему предлагают более высокий пост, а он не хочет, отбивается руками и ногами. Говорить подробно об этом человеке мне нет надобности, потому что впоследствии он сам все описал в книге «Думы о целине». Совхоз его тоже был из лучших, часто ставился у нас в пример, вот и взялись рекомендовать директора председателем райисполкома. Казалось бы, честь, а ему обидно до слез: только развернул хозяйство, сросся с людьми, наметил план превращения совхоза в настоящую фабрику дешевого зерна, а тут надо все бросить. Пришлось мне лично вмешаться, и вот что было сказано по этому поводу на большом совещании:

— Мы не можем согласиться с решением бюро Кокчетавского обкома партии о переводе, хотя и с повышением, на другую работу директора совхоза «Толбухинский» Моргуна. Не надо торопиться переставлять людей с места на место. Им необходимо помочь построить совхозы, освоить систему земледелия с учетом местных почвенно-климатических особенностей, дать возможность успешно закончить начатое дело и только после этого при необходимости выдвигать на более высокие посты.

Другой пример. Евдокия Андреевна Зайчукова приехала на целину, когда ей было уже под пятьдесят. Но сохранила в себе молодой задор, волю, крепкий характер, а главное, имела горячее сердце коммуниста и патриота. Глубоко осознанное стремление сделать для страны самое нужное, важное и полезное привело ее к нам, дало ей силы создать в степях совхоз «Двуречный». Вскоре и эту женщину взяли на повышение, но, поработав на новом месте, она написала такое заявление:

«Убедительно прошу членов районного комитета партии освободить меня от работы первого секретаря райкома. Прошу это потому, что считаю: в оставшиеся годы жизни смогу принести больше пользы партии и всем людям на конкретной хозяйственной работе. Прошу направить меня в отстающий совхоз и обязуюсь вместе с коммунистами и всеми рабочими вывести его в число передовых хозяйств Целиноградской области».

И она сдержала слово: совхоз «Ижевский» вышел при ней на одно из первых мест. Семнадцать лет жизни отдала Евдокия Андреевна новой, полюбившейся ей земле. А когда умирала, попросила пришедших в больницу друзей только об одном:

— Не ставьте никакой ограды на моей могиле, не отделяйте меня от степи...

Такие люди — золотой фонд, гордость партии и народа. И мы особо оберегали их. Без ведома ЦК Компартии Казахстана никто не имел права перемещать по службе руководителей совхозов, а тем более освобождать их от работы. На моей памяти пришлось сменить не более десятка директоров, которым целинная ноша оказалась не по силам. Той же политики придерживались и в отношении других кадров: активно поддерживали лучших, проявляли терпение к способным и решительно освобождались от людей явно бесперспективных, инертных.

Большой хлеб привлек общее внимание к целине, в печати зазвучали победные ноты, стало привычным нас хвалить, поздравлять, но мы понимали, что расслабляться нельзя. Рано почивать на лаврах. Партийная организация Казахстана хорошо сознавала, что необходимо было спешить со строительством элеваторов, складов, срочно выводить людей из палаток, землянок, — это становилось все более тяжелым участком, узким местом.

Буквально все надо было возводить на голом месте. А из чего? Будь лес кругом, вопрос бы не возникал. Правда, на целину поступали сборные дома и стройматериалы, но их не хватало. Замыслы наши опережали возможности, и, конечно же, следовало максимально использовать местные ресурсы. Между тем далеко не все проявляли расторопность и сметку.

Приезжаешь, бывало, в райцентр, спрашиваешь: как идет строительство? Отвечают: плохо. Почему? Нет кирпича. Идем, однако, с секретарем райкома по улице и видим массивные здания с датами на фронтонах — 1904, 1912 год... А заводов кирпичных в этой местности, мне точно известно, не было и нет.

— Кто строил эти здания?

— Земство.

— Откуда же брали кирпич?

— А вон там, в степной балке, сделали напольную печь и выжигали. Из него и эта школа построена...

— Значит, земство могло все организовать, а вы, райком и райисполком, не можете? Какие же мы, с позволения сказать, руководители? Глины кругом полно, делайте напольные печи, а кое-где и заводы строите, они вам на сто лет вперед пригодятся.

— Ну, завод — это слишком, нам не по силам...

Разозлившись: до чего же доводит людей пассивность!

Под Москвой, в Барвихе, обратил я однажды внимание на великолепный кирпичный замок — в нем размещался пионерский лагерь. Поинтересовался, что за постройка. Отвечают: имение какой-то баронессы. Как же строился замок? Говорят, очень просто. Построила барыня кирпичный завод, из кирпича соорудила себе этот загородный дом и все надворные службы, затем продала завод и полностью покрыла все расходы по строительству. Разумеется, не сама она все сообразила, а был у нее толковый управляющий. Вот так. А у нас порой и поныне целые коллективы, опытные руководители, инженеры, строители, замахиваясь на грандиозные дела, не могут построить простой кирпичный завод, все уповают на государство, едут в Госплан.

На целине под мастерские МТС нам, помню, пришлось позаимствовать у некоторых старых конезаводов добротные здания конюшен, построенные из того же напольного кирпича. Когда рассказывал об этом людям, когда удавалось их пронять, пристыдить, то, глядишь, толковые хозяйственники налаживали свое кирпичное производство. Потом спасибо говорили: как же мы раньше-то не додумались!

К местным строительным материалам принадлежал и камыш. Узнав, что инициативные люди уже построили себе добротные дома из камышитовых плит, я поехал взглянуть и вполне остался доволен этим жильем — дома как дома, в первые годы неплохо послужат. Значит, надо организовать заготовку камыша в больших масштабах; наладить из него производство плит. Посмотрел карту республики, где были отмечены заросли камыша, и решил сам взглянуть на них в натуре. Над долиной реки Или пролетел до самого Балхаша. С высоты ста метров увидел сплошные камышовые джунгли!

Скоро всюду, где рос камыш, мы организовали его заготовки — по берегам рек, на многочисленных степных озерах. Заводы быстро изготовили простые, удобные и производительные станки, которые камыш дробили и спрессовывали в плотные плиты. Из этих плит можно было собирать здания любой конфигурации. Их затем штукатурили, белили, и получались отличные теплые дома. Попробовав это дело, мы провели в одном из колхозов под Алма-Атой республиканский семинар по камышитовому строительству.

Проблемам строительства ЦК КП Казахстана уделял первостепенное значение. Сохранилась наша записка в ЦК КПСС о том, чем располагала республика, когда приступала к покорению целины. Силы были разобщены, более тридцати маломощных строительных организаций подчинялись разным министерствам и ведомствам. Все вместе они имели 59 бетономешалок, 6 башенных кранов, 58 транспортеров, 5 автопогрузчиков и всего 5,7 тысячи рабочих. Чтобы выполнить новые планы, людей должно было быть по меньшей мере в десять раз больше!

Со строительным материалом было, конечно, трудно нам, особенно с кирпичом для стройки. Я обратился к руководителям ряда наших республик. И надо сказать, что нам хорошо помогли: кирпич пошел из Армении, Грузии, Эстонии и многих других мест. Словом, мы решали эти возникавшие проблемы, и решали успешно.

8

Осенью 1954 года состоялся съезд писателей Казахстана. Он стал крупным событием в культурной жизни республики.

Мне и до этого приходилось заниматься делами, связанными с национальной культурой. Еще в Молдавии понял: если живешь в республике, то надо знать обычаи и традиции народа, его историю, художественное творчество. Сразу по приезде в Алма-Ату обложился книгами, часто встречался с казахскими литераторами и художниками, бывал в театрах. По давней склонности к поэзии много читал стихов казахских поэтов, особенно Абая, который привлек меня лиризмом, народной мудростью, глубиной постижения жизни. Абай учил казахский народ не замыкаться, не стоять на месте, обогащать свое творчество достижениями русского и других народов. Это важно и для нашего времени. Всякая национальная культура, замкнутая в себе, неизбежно проигрывает, теряет черты общечеловечности. К сожалению, не все и не всегда это понимают.

Социализм давно доказал: чем интенсивнее рост каждой из национальных республик, тем явственнее проявляется процесс интернационализации. Казахстан тому, быть может, самый яркий пример. Целина сделала его без всякого преувеличения «планетой ста языков». И казахская культура развивалась, вбирая в себя лучшее из других национальных культур. Плохо это или хорошо? Мы, коммунисты, отвечаем: хорошо, очень хорошо! Ибо важнейший вопрос о национальных традициях и самобытности нельзя упрощать, сводить

лишь к этнографии и бытовизму: на Руси — к избам, хороводам и кокошникам, в Казахстане — к юртам и табуну лошадей.

Мы в ЦК старались оказывать постоянную помощь творческой интеллигенции. Как ни трудны были дела целины, именно в это время появился Казахский государственный ансамбль песни и танца, возобновлен был выпуск газеты «Казах адебиети», широко развернулась подготовка к декаде казахской литературы и искусства в Москве. Не обошлось без споров, кое-кто делал упор лишь на устное творчество акынов. Между тем в литературе республики происходили глубокие качественные изменения, обусловленные самим ходом социалистического строительства, ростом казахской художественной интеллигенции. Появилась талантливая молодежь, знавшая и любившая не только старые традиции и песни, но и всю советскую, мировую литературу. Это были люди, свободные от рутины, и надо было их поддерживать. Однако главное — следовало оздоровить саму атмосферу в творческих союзах, в среде интеллигенции. Требовалось сплотить ее, объединить все силы для решения огромных задач, вставших перед республикой.

Замечу, что поборники национальной обособленности под предлогом защиты «чисто национальных традиций» обычно выступают изворотливо, редко в открытую. Напротив, ловко пользуясь любыми ошибками противников, они хотят выглядеть, как говорится, святее папы римского. Помню, какой шум был поднят вокруг роли некоего Кенисары. Вначале объявили его прогрессивным деятелем, выступавшим за объединение Казахстана с Россией. Потом нашли документы, показывавшие, что был он реакционер и объединения не одобрял... Не хочу ворошить старую историю, да и специалистом в этой области себя не считаю, а волновало меня другое. Баталии, которые навязывали некоторые демагоги, привели к тому, что из республики были вынуждены уехать такие выдающиеся люди, как писатель Мухтар Ауэзов и академик Каньш Сатпаев.

Мы помогли им вернуться в Алма-Ату. Замечательному ученому Каньшу Имантаевичу Сатпаеву принадлежат громадные заслуги в развитии производительных сил Казахстана. Мухтар Омарханович Ауэзов — признанный классик казахской литературы. С благодарностью вспоминаю этих людей, с которыми часто встречался, тесно сотрудничал и просто по-человечески дружил. В беседах мы говорили о том, что любые крайности вредны. Забывать устное творчество, любимое народом, тоже нельзя. «Ленинградцы, дети мои!» — эти крылатые строки Джамбула памятливы всей стране. Пусть творчество акынов живет и развивается в общем русле национальной казахской и многонациональной советской литературы.

Занимала меня еще одна мысль: как привлечь к теме целины внимание художественной интеллигенции? Посмотрите, говорил я на встрече с писателями в ЦК, какие события творятся на наших глазах. Перемещаются огромные массы людей, складываются многонациональные коллективы, рождаются новые семьи, мужают характеры, проходят закалку герои нашего времени. Хлеб в Казахстане всегда был лакомством, драгоценностью. Даже муллы в старину говорили: «Коран — священная книга, но можно наступить на Коран, если надо дотянуться до крошки хлеба». И вот теперь этот край становится хлебным. Меняется весь уклад жизни, зарождается новая психология у людей. Разве величие и драматизм происходящего не взволнуют истинного художника? Нас никто не поймет сейчас, не поймут и в будущем, если эта эпопея не будет ярко запечатлена для истории.

В той обстановке важно было, чтобы съезд писателей республики стал праздником всей советской культуры. Мы пригласили в Алма-

Ату М. А. Шолохова, Л. М. Леонова, Камиля Яшена, Мирзо Гурсунзаде, Максима Танка и других известных писателей. Частыми гостями целины стали после этого композиторы, актеры, художники, публиковались очерки и повести о битве за хлеб, вышли кинофильмы, ставились спектакли, звучали новые песни. Они, несомненно, сыграли свою положительную роль.

В ту пору я мечтал, чтобы целинная эпопея когда-нибудь была отображена в художественных произведениях с такой же силой и глубиной, как гражданская война в «Тихом Доне», а в «Поднятой целине» — коллективизация. Для деятелей литературы и искусства нет более интересной и вдохновляющей задачи, чем отображать подвиги народа, в том числе на целине.

9

1955 год называли «годом отчаяния» на целине. Но я бы не прибегал к столь крайней оценке, хотя было очень тяжело. За все лето, начиная с мая, на землю не упало ни капли дождя. Не дождалась мы и обычных, идущих как по расписанию июньских дождей. Надо было готовиться к худшему.

Кто не бывал в такое время в степи, тому не понять душевного состояния хлебороба. Испытываешь странное ощущение: весной в степи порой разливалось сплошное море воды, люди до своих бригад добирались на лодках. Но сошли вешние воды и — как отрезало. С утра раскаленное солнце начинало свою опустошительную работу, медленно пылало в белесом, выцветшем небе, излучая нестерпимый зной, а к вечеру, малиново-красное, тонуло в мутной дымке за горизонтом. И снова, почти не дав роздыха, вставало на следующий день, продолжая жечь все живое. И так неделя за неделей, месяц за месяцем...

Между тем посевные площади по сравнению с прошедшим годом мы увеличили вдвое. Почти десять миллионов гектаров зерновых было посеяно на вновь освоенных землях. Сверх плана заняли полтора миллиона гектаров под яровые. И сев провели быстрее, дружнее, лучше, чем в первую весну. Республика за один год сделала в земледелии огромный шаг вперед, люди уже начали зримо ощущать результаты своей работы и продолжали напряженно трудиться, еще не зная, что их подстерегает беда...

Мы знали, конечно, что жара и сушь в этом краю никому не в диковинку. Но не знали еще зловещей неумолимости степного календаря, который раз в десять лет преподносит особенно жестокие, губительные засухи. Мы предвидели — еще до начала наступления, — что борьба со стихией здесь неизбежна. Когда делались экономические расчеты по освоению целины, ученые считали: если даже на каждое пятилетие падет по два сильно засушливых года, то в среднем мы все равно будем брать в степи 500 миллионов пудов хлеба в год. Расчеты не вызвали сомнений. Мы знали, на что шли, но одно дело — знать, а другое — видеть, как на твоих глазах гибнет драгоценный, таким трудом доставшийся урожай.

Как ждут в эту пору люди дождя! Нервное напряжение достигает предела. Иногда выскакивают из домов ночью, услышав, как что-то шуршит по стеклам. «Дождь!» Но это стучат не капли, а бьют по окнам и крышам песчинки, гонимые сухим ветром.

В степи трудно дышать. Горячий, как из печки, воздух обжигает легкие. Как и в большие морозы, не летают птицы. Сохнут и опадают, рассыпаются в пыль листья растений. Земля покрывается глубокими трещинами — такими, что может исчезнуть брошенный туда дом. Огромные массивы пшеницы сереют, белеют на глазах, шелестят

пустыми, не успевшими налиться колосьями. А в довершение всего вдруг возникают горячие бури, они поднимают тучи пыли, рвут линии связи, срывают крыши домов.

Можно понять боль хлебороба, когда он видит, как беспощадно уничтожаются, гибнут плоды его годового труда, все его усилия и надежды. И надо обладать сильным духом и крепкими нервами, чтобы выдержать это испытание. Даже сознание того, что в следующем сезоне степи должны вернуть потерянное, не очень помогало: урожай всегда хочется получить сегодня, сейчас.

Не хочу упрощать ситуацию, приукрашивать то, что было. В те месяцы к нам в ЦК стали поступать даже письма с вопросами: как быть, что делать?

Бюро ЦК КП Казахстана решило провести повсюду в целинных коллективах общие собрания, честно рассказать о действительном положении дел, подбодрить людей, сориентировать на самые важные в этих условиях задачи, объяснить, что в земледелии год на год не приходится, что и на нашей целинной улице обязательно будет праздник. В то же время я предупреждал тех, кто выезжал на места, чтобы не показывали себя эдакими бодрячками, которым все нипочем. Такова была в тот момент главная задача партийно-массовой работы.

Надо сказать, что после откровенных, открытых собраний, проведенных в каждом совхозе, целинники вновь начинали работать засучив рукава. Как ни жгло солнце, а мы продолжали подготовку к уборке, до глубокой осени вели заготовку кормов. Еще шире и активнее развернули строительство, прежде всего в совхозах. В целинные районы шли продовольственные и промышленные товары в таких количествах, которые гарантировали бесперебойное снабжение на всю зиму.

Мы находили поддержку и помощь в Центральном Комитете партии.

Хочу сказать самые теплые слова в адрес членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, которые много сделали в те годы, чтобы как можно быстрее и успешнее были освоены целинные земли. Я не раз встречался и советовался с ними и всегда получал точные, конкретные ответы на поставленные вопросы, твердую партийную и добрую моральную поддержку.

И мы с уверенностью, несмотря на трудности, продолжали работать в 1955 году. На чем основывалась наша уверенность? Безусловно, каждый из нас был огорчен, видя, что огромный труд, вложенный в землю, не дал желаемых результатов. Однако в ряде хозяйств получен был приличный урожай. Так, совхоз «Ждановский» Кокчетавской области, созданный в 1954 году, собрал с площади 22,5 тысячи гектаров по 7,9 центнера зерна, а совхоз «Рославльский» Алма-Атинской области — по 9,1 центнера с каждого из 20 тысяч гектаров. И таких хозяйств было не так уж мало. Для тех дней неплохие урожаи собрали целые районы и даже области, такие, как Северо-Казахстанская и Кокчетавская. Предстояло тщательно разобраться, что помогло одним все-таки получить хлеб, а других оставило с выжженными посевами. Добавлю, что, несмотря на низкую урожайность в целом, 80 процентов валового сбора зерна республика получила в том году все же с целины. Казахстан вновь заготовил значительно больше грубых кормов, чем до ее освоения, и молока сдал на 85 тысяч тонн, а мяса — на 122 тысячи тонн больше. Силоса, главным образом кукурузного, удалось заложить почти полтора миллиона тонн. Успехи, конечно, скромные, но и они убеждали, что целина уже играет и будет играть все возрастающую роль в увеличении производства зерна

и других продуктов сельского хозяйства. Поэтому — работать! Таков был наш лозунг.

Однако неурожай есть неурожай, и он сильно усложнил решение многих вопросов.

В конце 1955 года я был в Москве на Всесоюзном совещании руководителей партийных и советских работников. Неуютно, конечно, чувствуешь себя на таких совещаниях, когда без конца спрашивают, что да как, или, наоборот, нарочито говорят о постороннем, тем самым выражая скрытое сочувствие. А когда с трибуны совещания я заявил, что Казахстан сдаст государству в будущем году 600 миллионов пудов зерна, зал недоверчиво загудел.

Как изменилось время! Попробуй-ка мы нынче получить с целины 500—600 миллионов пудов в год, казавшиеся тогда большим благом, это было бы воспринято как серьезное поражение. Получаем-то мы теперь в среднем около миллиарда пудов казахстанского хлеба в год!

В Японии, как рассказывает во «Фрегате «Паллада» И. А. Гончаров, губернаторы когда-то головой отвечали за все происходившее на их землях — за тайфуны, ливни, землетрясения. Нашим головам вроде бы ничто не грозило, но после неудачно сложившегося 1955 года на душе оставалось ощущение тяжелой вины за то, в чем не был виноват. Не забыл я этого чувства. И сегодня, бывает, звоню в районы, терпящие стихийные бедствия, чтобы просто руководителей пободрить. Как-то приглашали меня в Ульяновскую область: «Леонид Ильич, приезжайте, очень хороший хлеб!» А вскоре задул суховей, и все там выгорело. Первый секретарь обкома был, понятно, смущен, расстроен, волновался. Разговор с ним был у меня по обыкновению ровным. Надо было договориться о необходимых мерах, поддержать товарищей.

А в тот бедственный год нам, верившим до конца в успех, было порой трудно доказать свою правоту. Когда на одном из больших совещаний в присутствии Н. С. Хрущева я заявил, что целина еще себя покажет, он довольно круто оборвал:

— Из ваших обещаний пирогов не напечеш!

Но я имел все основания твердо возразить ему:

— И все же мы верим: скоро, очень скоро будет и на целине большой хлеб!

Мы упорно готовились к новой весне. Одно было спасение, одна надежда, одно лекарство — работать. Целинные посевы 1956 года должны были занять уже 27 миллионов гектаров, из них зерновые — 22 миллиона. И снова мне хотелось все увидеть, со всеми встретиться, всюду поспеть...

Ради роста производства зерна, мяса, овощей мы выделяем теперь огромные материальные и денежные ресурсы, о каких в те годы не могли и мечтать. Внедряем новейшую технику, перевооружаем сельское хозяйство, последовательно вводим специализацию и концентрацию производства, принимаем такие комплексные программы, как преобразование исконных русских земель Нечерноземья — это сегодня наш передний край.

Однако вот о чем приходится постоянно напоминать: «заднего края» в народном хозяйстве нет. Встречаются еще товарищи, которые готовы орудовать миллионами и миллиардами, а так называемые мелочи упускают из вида. Между тем одна из ключевых задач — это бережное, рациональное использование всего, чем мы располагаем, что произведено в стране. Расточительство недопустимо, и чем больше

размах экономики, тем болезненнее сказывается такой нехозяйский подход.

Осознать это довелось еще на целине, и потому не хочу упустить те «мелочи», от которых очень многое зависит в жизни народа. Вот, скажем, совершая большую поездку по Северному Казахстану, приехал я в совхоз «Изобильный» Целиноградской области. Он находился в степной глубинке, на реке Селеты, в живописном, но тогда еще диком месте. Бывал там и раньше, в самом начале, видел первые девять палаток, а в этот приезд увидел уже целый поселок. Стояли многоквартирные жилые дома, столовая, магазин, баня, пекарня, мастерские, контора, гараж. Кроме того, и это было особенно важно, люди построили до восьми десятков индивидуальных домов. Значит, приехали сюда действительно навсегда.

Разговорился с ними, стал спрашивать, в чем нуждаются, как налаживается жизнь. И вот что услышал:

- Бочек нет. Огурцы солить не в чем.
- Поросенок нужен, а где купить?
- Телку хорошо бы завести...

Что тут скажешь, вопросы не пустые. Завозилось на целину много всего. Но вот, оказывается, нужны обязательно бочки. И живность нужна. Причем не только как хозяйственное подспорье. Еще в первый год видел новоселов, которые в одной руке несли чемадан, а в другой — корзинку со щенком или кошкой. В совхоз «Ярославский» приехал из Запорожья парень с петухом в клетке. «Для степи, — сказал мне, — лучший будильник!» Шутил, конечно, но на голой земле петух всех радовал. Приручали ребята даже сурков, степных птиц.

Можно было считать это проявлением человеческих слабостей. Но жизнь научила меня понимать их, относиться к ним с уважением. Сам в детстве любил наблюдать, как парит над крышами голубиная стая. Конечно, главным на целине были для нас миллионы гектаров и миллиарды пудов, но надо было помочь людям обзавестись и личными огородами, скотом, птицей. Без этого и миллионы с миллиардами не очень бы вышли. Сельский житель без подворья — что дерево без корней. В те годы нам важно было с самого начала показать людям, что степи мы намерены обжить прочно, навсегда.

Размышляя об этом, я смотрел в поле и вдруг увидел еще одного новосела: по черной пашне, словно придиричивый агроном, вышагивал одинокий грач. А грач, известно, — птица полевая. Раз уж прилетел сюда, значит, намерен обосноваться в этих краях.

Помня о разговоре в «Изобильном», я поднял потом некоторые старые документы. Еще в 1934 году в Казкрайком была послана записка ЦК ВКП(б). В ней весьма широко и решительно ставился вопрос о развитии огородничества как в сельской местности, так и в промышленных районах. В записке, подробной до мелочей, предлагалось оказывать этому делу самую активную и всестороннюю помощь со стороны партийных, советских и государственных органов, а также руководителей колхозов, совхозов и кооперации. И огородничество вскоре развилось, приобрело надежную материальную основу. Но прошли годы, и оно вдруг стало хиреть, сократилось почти наполовину. А между тем картофеля, например, республика получала в два с половиной раза больше с индивидуальных огородов, чем из колхозов и совхозов.

Когда приходилось критиковать иных директоров за то, что они кормят людей одной лапшой да затирухой, то в ответ всегда слышались требования: нет фондов, дайте фонды! Слов нет, на ряд продуктов централизованные фонды надо иметь и для деревни, но какие фонды можно требовать на картошку, капусту, огурцы, арбузы? Все

это прекрасно растет в любом хозяйстве. То же самое можно сказать о яйцах и молоке. Крестьянин испокон веку имел своих кур, торговал яйцами в городе, почему же теперь он должен получать каждое яйцо по нарядам из Москвы?

То, о чем пишу, весьма актуально и поныне. Есть еще немало руководителей, которые только тем и живут, что надеются на всемогущие фонды, не задумываясь, а где ж их государству взять? В нашей стране надо использовать любую возможность, каждый клочок земли, чтобы всюду увеличивать производство сельскохозяйственных продуктов, иметь «приварок» к нашему общему столу. Бывает, едешь в поезде, а за окном нет-нет да мелькнут засоренные участки, которые вполне бы можно возделывать, посеять травы, развести скот. Ведь все это поможет лучше обеспечить население за счет местных ресурсов, а не возить, например, помидоры, огурцы с юга, а яйца, творог, молоко за сотни километров.

Обо всем этом необходимо помнить партийным, советским, хозяйственным органам, руководителям промышленности. Они обязаны развивать вокруг больших и малых городов крепкие сельскохозяйственные базы, иметь специализированные комплексы и подсобные хозяйства, чтобы вдоволь иметь в магазинах картофеля, мяса, молока, зелени, фруктов. Такие возможности есть и в Свердловске, и в Тюмени, и в Иркутске, и в любом другом городе страны. Именно на это мне пришлось вновь обратить внимание местных руководителей во время поездки весной 1978 года по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

А в Казахстане еще тогда, в 1955 году, решено было широко развивать огородничество, отвести всем желающим участки, завезти инвентарь, оказать всемерную помощь. Так же поступили с птицей и продажей скота в личное пользование. Не менее важно было создать во всех совхозах подсобные хозяйства. Тут положение сложилось странное: к началу освоения целины число их сократилось в республике чуть ли не в четыре раза. То есть, строя глобальные планы, замахиваясь на большие дела, люди забросили то, что казалось им второстепенным.

«Мелочи» же — тут полезно привести цифры — выглядели так: число коров сократилось в подсобных хозяйствах на 11 тысяч голов, овец — на 280 тысяч, неведомо куда исчезли 3,7 тысячи гектаров бахчевых культур, 5 тысяч гектаров овощей, 11 тысяч гектаров картофеля. Страна жила еще трудно, а мы недополучали огромное количество продукции. Пришлось принимать срочные меры. Выделили средства, земли для подсобных хозяйств, завезли удойный скот, строили парники, птичники, разбивали ягодники, записали их продукцию в планы совхозов и строго требовали с директоров выполнения. Все это было важно и для лучшего снабжения целинников, и для психологического настроения людей, видевших, как налаживается в степи жизнь.

Вспоминая об этом, читая документы тех лет, заметил, как часто упоминал Кургальджинский район. Очень расстроен был тогда его делами и особенно тем, что увидел во время очередной поездки в совхоз «Степняк». Первый раз побывал в этом хозяйстве еще летом 1954 года и застал картину безрадостную. В таких местах с первой минуты чувствуешь неблагополучие: люди ловят любого свежего человека, ходят за ним толпами и жалуются. Ко мне тоже сразу же подошла женщина и заговорила торопливой скороговоркой:

— Товарищ представитель, не знаю, кто вы такой, но поинтересуйтесь, помогите, у нас нет электричества, нет топлива, керосина тоже нет, не на чем готовить. Да и готовить нечего...

Вместе с ней зашел в магазин. Там не оказалось даже соли. Другая женщина, с ребенком, обратилась ко мне не менее взволнованно:

— Товарищ Брежнев, молока нет, манки нет, скажите, чем кормить детей? У вас, наверно, тоже есть дети, вы отец, так помогите.

Вызвал представителя райкоопса. Он не моргнув глазом заявил, что манки нет всего один день, а у самого глаза бегают, вижу, что лжет. Обещал женщинам разобраться с продуктами, но еще больше меня удивило, почему нет молока. Ведь мы уже тогда дали многим совхозам скот для подсобных хозяйств, в том числе и «Степняку». Потребовали справку, сколько и кому выделили коров, свиней, лошадей, птицы, и успокоились. Но вот по дороге толпа затащила меня в столовую. Сели беседовать.

— Сколько в вашем подсобном хозяйстве коров?

— Полсотни.

— Значит, должно быть молоко.

— Какое там! Они за шестьдесят верст отсюда. На отгоне пасутся.

К этому времени нашли директора Коваленко. Прибежал и с ходу начал жаловаться:

— Прямо беда. Леонид Ильич! Не могу уговорить женщин идти в доярки, никто не хочет коров доить.

— И они у вас на отгоне недоенные?

— Выходит, так.

— И вас не волнует, что дети без молока, что коровы попортятся?

— Как не волнует? Боюсь. Даже под суд готов. Но что-нибудь зроблю... Уже письмо на Украину послал, зову девчат, чтоб выручили.

С ним все было ясно, и я повернулся к женщинам:

— Почему не хотите помочь? Видите ведь, какое положение.

— А детей куда? — затараторили они. — Мы тут все семейные, с детьми.

— Хорошо, а если коров пока по вашим домам поставить, будете за ними ухаживать, доить?

— А как же! И подоим, и в степь выгоним. У нас и мужья могут доить.

— Что же вы, товарищ Коваленко, в тюрьму приготовились, а до простого дела не могли додуматься? Раздайте коров рабочим совхоза, они их и подоют, и детей накормят. Потом и доярки найдутся.

— Не догадался. Зроблю...

Пошли с директором по поселку. Вижу, и строят скверно, лепят дома без фундаментов, кое-как. Разговор у нас состоялся крутой. Честно говоря, я уже не доверял Коваленко, потому что на любое слово он заученно отвечал: «Зроблю, зроблю...» Сказал ему, что обязательно еще раз приеду, все проверю. И вот, приехав во второй раз в «Степняк», был поражен: почти ничего в совхозе не изменилось! Лучше стало снабжение в магазине и столовой, но это был результат прошлогоднего вмешательство. В остальном же Коваленко не ударил палец о палец. Люди по-прежнему мучились даже с водой, хотя еще в тот приезд я сказал директору, чтобы поставил бак на машину и развозил воду по домам — вот и вся проблема. И опять на всякое замечание слышал знакомое:

— Зроблю, зроблю...

Случай такой, я бы сказал, ошеломляющей беспомощности и равнодушия на целине все же были редки, хотя беспорядков встречалось немало. Работников, столь безобразно относившихся к своим обязанностям, терпеть было нельзя, о чем на ближайшем пленуме Целиноградского обкома пришлось мне специально сказать. Благоустройство — это устройство благ для людей, забота о них. Это всегда не только хозяйственная работа, а прежде всего политика, ошибки в которой дорого обходятся. За ошибки мы всегда излишне расплачи-

ваемся: на войне — людьми, в мирное время — материальными и нравственными потерями.

Утверждение полноценной жизни требовало, чтобы во главе степных поселений стояли люди, болеющие не за один план, но и за все, чем живы люди. В Кокчетавской области я любил, например, бывать в колхозе «Красноармеец». Не только потому, что там разумно вели хозяйство, но и потому еще, что пекли удивительно вкусный хлеб. Пожалуй, нигде и никогда в жизни не ел хлеба лучше, чем тот красноармейский — пышный, пахучий. Особенно удавался он в бригаде Петра Ивановича Николаева. «Печем хлеб,— говорил он,— за версту пахнет!» Помню, как-то попросил даже несколько караваев, чтобы угостить товарищей в Алма-Ате и поучить городских пекарей.

Приезжая в поселки, радовался, бывало, каждому хорошему колдуну, каждому бережно посаженному деревцу. Восхищался старательностью, с какой выращивали цветы и деревья рачительные хозяева, и поражался порой равнодушию, с каким смотрят иные люди на облик своего дома, двора и всего поселка.

Ночевал как-то в одной деревне в бывшем Галкинском районе Павлодарской области (забыл, к сожалению, и деревню, и фамилию председателя колхоза, у которого останавливался). Вышел утром за ворота, прошелся по деревне и был немало удивлен. В ней тянулись всего две улицы, но на одной возле домов кое-где стояли деревья, другая же была совершенно голой. В чем дело? И тогда председатель рассказал мне такую историю.

Приехал когда-то в эту деревню из Омска губернатор Степного края, в который входили до революции и нынешние северные казахстанские степи. Приехал и велел каждой семье посадить возле своих домов столько деревьев, сколько было членов семьи. Через три года губернатор вновь заехал в деревню проверить, как выполнен его приказ. Смотрит: у одних домов деревья посажены, у других по-прежнему лишь пыльные пустыри. Губернатор приказал вывести всех жителей на единственную еще в ту пору улицу и поставить каждую семью у ворот своего дома. Затем вручил солдату ремень с тяжелой пряжкой и пошел вдоль улицы. Тем, у кого деревья были посажены, говорил спасибо и давал серебряный рубль. А тем мужикам, что нерадиво отнеслись к делу, приказал ремня всыпать: сколько деревьев не прижилось — столько и ударов. И губернатор при этом покрикивал: «Ты, Василий, норови пряжкой, пряжкой!»

— Вот так и появились деревья на улицах,— закончил рассказ председатель и засмеялся.

Шутки шутками, но бороться за озеленение новых совхозов тоже приходилось уже тогда. И теперь, приезжая на целину и видя, как утопают в зелени совхозные поселки, шумят тенистые парки, цветут яблони и вишни, акации и сирень, как блестят и манят к себе бесчисленные пруды и водохранилища с неизменными рыбаками на обожженных солнцем берегах,— я с улыбкой вспоминаю историю с омским губернатором.

* * *

Ездить приходилось много — иногда на поезде, чаще на самолете, а иногда в одной командировке чередовать и то и другое. Такое сочетание сберегало немало времени, которого всегда было в обрез. Когда делались длительные остановки на узловых станциях или в областных центрах, вагон служил и гостиницей. В эти пункты заранее подавался самолет, и за день можно было облететь на нем несколько районов или совхозов.

Самолет «АН-2» изготовили в Киеве по специальному заказу. На

борту имелась мощная рация, в салоне стояло шесть удобных кресел. Экипаж возил еще с собой раскладушку, которая всегда стояла в хвосте. В остальном это был все тот же знакомый всем работяга «Антон». Для наших передвижений он был незаменим. Летчики выбирали место для посадки с воздуха и могли приземлиться в степи где угодно — у любой борозды, трактора, полевого стана.

Все бы хорошо, но этот воздушный извозчик выматывал основательно. Как-то я притерпелся, но однажды пришлось это все испытать нашим уважаемым актерам Л. П. Орловой, М. А. Ладыниной и Н. А. Крючкову. Они приехали на целину, чтобы порадовать людей своим искусством, а выступить оказалось не перед кем: все было далеко в степи. Пожаловались мне:

— В Кустанае мы уже выступили, но ведь хочется самих целинников увидеть. Помогите, дайте какой-нибудь транспорт.

— Ну что ж, вот мой самолет, — ответил я и обратился к экипажу: — Завтра у меня дела в городе, а вы повозите товарищей по бригадам. Где увидите людей, там и садитесь.

Летчики постарались. За день облетели не то два, не то три района. День выпал ветреный, болтанка была жуткая, актеры вернулись в город едва живые. Крючков, как человек бывалый, вполне держался, но женщинам пришлось туго. Я посмотрел на них и пожурил командира:

— Переборщил, видать, Николай?

— Что вы, они сами требовали. Выйдут из машины, полежат немного под крылом, потом выступят и опять — вези! Очень мужественные женщины...

Я поблагодарил актеров, но заметил, что они уже без утренней зависти смотрели на мой самолет. Случались дни, когда часами приходилось кружить над степью. Как-то командир экипажа сказал мне:

— Думаю, можно вас зачислять в пилоты. Налетали сто часов.

— А норма у летчиков?

— Сто двадцать.

— Ну, в пилоты мне еще рановато.

— Это как считать. Мы ж ненормально летаем.

— Как ненормально?

— Рабочая высота у нас какая? Сто метров. А сколько на брейющем ходим, чтоб выбрать площадку? Нет, в таких полетах полагалось бы час за два считать.

Мне нравился экипаж самолета — командир Николай Моисеев, второй пилот Мубин Абишев и бортмеханик Александр Кругликов. В каких только переплетах не побывала их маленькая машина — «комарик», как они ее называли. В степи, где бывает всего полсотни безветренных дней в году, небольшой самолет почти всегда неистово болтало. Да и на земле ему покоя не было: не раз, чтобы ветер не перевернул, не изломал наш «АН-2», подгоняли груженные самосвалы и привязывали к ним самолет. Летать приходилось круглый год, часто не считаясь с погодой, порой нарушая инструкции. Садился после захода солнца и даже ночью, что на «АН-2» категорически было запрещено. Но дела не согласовывались с инструкцией. Вечные мои спутники были, я убедился, отличными мастерами своего дела.

В ту пору многие летчики уже мечтали о больших скоростях, о дальних рейсах, о реактивных самолетах, наверное, думали об этом и мои пилоты. Но что делать, им досталась другая служба, и они терпеливо и честно ее выполняли. Только раз я видел их крайне озабоченными, даже напуганными. Случилось это, если не ошибаюсь, в совхозе имени Таманской дивизии. Мы прилетели в дальнюю бригаду. Был май, уже всю зеленели травы. Погода стояла ясная, внизу сте-

лилась ровная, как стол, степь. Площадку в такой степи выбрать нетрудно. Сели, как мне показалось, спокойно. Однако едва заглух мотор, первый пилот, обычно выходявший из машины после меня, буквально кинулся к выходу:

— Извините...

Я вышел следом и увидел, как он торопливо шел по следу колес самолета, оставленному в траве, и что-то разыскивал. Наконец остановился, замахал руками, закричал, подзывая трактористов, работавших поблизости. Собралась толпа, я тоже подошел, и Моисеев, бледный и гневный, сказал:

— Смотрите!

В траве в полуметре от следа левого колеса лежала вверх зубьями борона. С воздуха он никак не мог ее заметить и увидел лишь в самый момент приземления. Дело могло обернуться печально. Я едва удержал летчиков, которые готовы были кинуться на бригадира и трактористов. Разумеется, те не могли знать, что именно на этом поле сядет самолет, но борону-то, как и все остальное после полевых работ, должны были убрать, а не бросать где попало. Этот случай наглядно показывает, что бесхозяйственность, расхлябанность всегда стоят на грани преступления.

Когда я уезжал из Казахстана, командир корабля, прощаясь, сообщил мне, что за два года полетов со мной он совершил 480 посадок в степи в самых разных местах. Сообщил с гордостью, и эта его гордость профессионала была мне понятна. Хорошо зная мастерство замечательного пилота, я и позже, будучи уже секретарем ЦК КПСС, когда приезжал на целину, летал только с Николаем Григорьевичем Моисеевым.

Итак, дела наши снова широко развернулись, был все время в пути, спал урывками, обедал где придется. И однажды в Целинограде почувствовал себя плохо. Очнулся на носилках. До этого меня один раз уже доставляли с сердечным приступом из Семипалатинска в Алма-Ату. Пришлось отлеживаться дома, отбиваясь от врачей, которые норовили упечь меня в больницу. Отшучивался: мол, к вам только попади — залечите. А главное, времени не было болеть. Целина награждала множество новых дел и забот — трудных, порой запутанных и всегда неотложных.

Битва за хлеб вступала в решающую стадию.

11

Хотел бы вкратце остановиться на нашей агротехнической политике на целине. Все ли было безошибочно в нашей работе? Нет, этого сказать не могу. Знали ли мы, что идем в зону особенно рискованного земледелия? Да, знали и готовились к этому заранее. Слышали ли предостережения ученых, что сплошная распашка может превратить степи в бесплодную пустыню? Конечно, слышали и учли. Агротехническая политика партии на целине сводилась, если сказать коротко, к тому, чтобы до минимума свести отрицательные последствия вмешательства человека в первозданную природу степи, утратить здесь самую высокую культуру полеводства, а затем и создать систему земледелия, хорошо приспособленную к засушливой зоне. Но какой она конкретно будет, мы поначалу не знали и знать не могли.

Дорогу осилит идущий — есть такая хорошая восточная пословица. Еще до революции В. И. Ленин писал:

«Русский рабочий класс завоеует свободу себе и даст толчок вперед Европе своими полными ошибок революционными действиями —

и пусть кичатся пошляки безошибочностью своего революционного бездействия».

Безошибочность бездействия — метко! Проще всего было оставить кладовую природы нетронутой, тут уж точно не будет просчетов. Но мы пришли в эти древние степи, глубоко веря в могущество человеческого разума. Убеждены были, что в ходе огромной, важной для народа работы на целине найдем средства сохранить плодородие земли. И с первых шагов эти новые средства искали.

Довольно быстро ликвидировали весеннюю предпосевную вспашку, имели в основном только майские и июньские пары и зябь, ввели посеы кулис, организовали снегозадержание, не упускали из виду надежный паровой клин, словом, делали все, чтобы решить главную задачу земледелия в засушливой степной зоне — сохранить влагу в почве. Разобрались и со сроками сева, хотя это было непросто. Сейчас никто на целине не сеет раньше второй половины мая, это стало азбучной истиной. А тогда... «Сей в грязь — будешь князь!» — повсюду повторяли эту старую, привычную присказку. На ранних сроках целинного сева настаивали и некоторые ученые.

Были, однако, другие точки зрения, и уже опыт первого года показал, что засеянные в мае массивы дали отличный хлеб. Что тут сказалося — свежая сила земли или поздние сроки сева? В 1955 году поздних посевов стало намного больше, и они явно лучше выдержали засуху. Казалось бы, все ясно, но споры продолжались, особенно трудно было убедить старожилов. В том же колхозе «Красноармеец» бригадир Николаев, угощавший меня вкусным хлебом, так закончил беседу на эту тему:

— Попробуем, конечно, но вы не представляете, как трудно будет удержать наших мужичков. Они ведь как увидят, что можно затащить борону на пашню, так сразу и сеют — бегом! Привыкли...

Как бы то ни было, а к весне 1956 года уже во многих новых хозяйствах ранний сев считался таким же чрезвычайным происшествием, как еще недавно поздний. Но прежние привычки еще сильно сказывались. Первый секретарь Есильского райкома партии Анатолий Родионович Никулин — отличный работник, ставший на целине Героем Социалистического Труда, — однажды рассказал мне в Москве, как один из директоров новые сроки сева у них все-таки нарушил.

— И кто, вы думаете, отличился? — Никулин назвал фамилию директора совхоза. — Первомай еще не отпраздновали, и вдруг влетает этот «чемпион» в райком: «Товарищ секретарь, совхоз сев закончил!» Рука у виска, сапогами по-военному щелк. Я аж в кресле подпрыгнул: «Дурья твоя голова! Зачем спешили?» Хотели, мол, быть первыми в районе. «Так ведь не будет у тебя хлеба-то!»

Так и вышло: район собрал по шестнадцать центнеров с гектара на круг, а «передовик» — всего по шесть. Дело давнее, товарищ работал после того случая, не жалея себя, потому и не называю его фамилии. Но как же неистребима эта привычка — отрапортовать, да обязательно первым, а там хоть трава не расти. Вот она, бывает, и не растет.

Замечу, что порой случается еще хуже: пахоту проведут хорошо, посеют в срок, а после на стадиях уборки, транспортировки, хранения, переработки теряют чуть ли не треть добытого. Борьба с потерями — это сейчас один из главных резервов в сельском хозяйстве. Вполне очевидно, что для сбережения уже произведенной продукции нужно значительно меньше усилий и средств, чем для ее производства. Значит, такой путь выгоден, отвечает курсу партии на повышение эффективности, а главное — отвечает интересам народа.

С особым уважением отношусь к людям, которые спокойно, без

суетни и шума ведут свою линию в сельском хозяйстве, видя всегда конечную цель. Пересматривать на целине из агротехнических приемов приходилось многое. Например, не меньший интерес, чем сроки сева, представляла для нас глубина заделки семян. Не случайно, как оказалось, вся Кокчетавская область лучше других выстояла засуху 1955 года. Еще во время сева, будучи в совхозе «Ждановский», я заметил, что семена заделываются как-то непривычно глубоко. Секретарь обкома М. Г. Рогинец опять объяснил «один пустячок»:

— Наш агроном считает, что сеять надо на глубину не три-четыре сантиметра, как положено по целинным агроправилам, а на шесть или даже восемь.

— Да ведь так только кукурузу сеют.

К сожалению, не запомнил фамилии того агронома, но объяснения его помню:

— Я, Леонид Ильич, еще в прошлом году имел опытные участки с такой глубиной заделки. Никакого сравнения! Секрет простой: верхний слой почвы здесь быстро высыхает, не успеет растение пустить корни, как почва сверху трескается и разрывает их. У нас же, пока просохнет земля, корни развиваются крепкие, берут нижнюю влагу, а там и дожди подспеют.

Двое суток наблюдал я новый способ сева. Из «Ждановского» слетали мы с этим агрономом в «Черниговский», потом в другие совхозы, перестраивали сеялки, ползали в бороздах, до заусениц обдирали пальцы, проверяя, как ложатся семена... Действительно, когда задул суховей, посевы в этих хозяйствах дольше всех держались зелеными островами среди выгоревшей степи — дело было стоящее. Теперь на целине в отличие от других мест семена заделывают на глубину до восьми сантиметров, это стало привычным агроприемом.

Так крупница за крупницей копился опыт. Но вместе с удачами появлялись новые беды. Предсказание ученых о возможности ветровой эрозии начало сбываться. Помню, как в Павлодарской области вместе с секретарями райкомов Д. А. Асановым и И. Ф. Кабурнеевым увидел первые смерчи над полями и песчаные переметы на дорогах. Грозной оказалась черная буря, дышать было тяжело. А вскоре полезли из земли еще и сорняки.

Все это побудило меня съездить в Курганскую область, в колхоз «Заветы Ленина» — к Т. С. Мальцеву. Терентий Семенович показал ровные, без единого сорняка посевы пшеницы, а потом стал рассказывать. Этот человек обладает большой силой убеждения, секрет которой — в многолетнем опыте, народной мудрости и преданности земле. Говорил коротко, афористично:

— Отважный плуг — главный враг степного земледелия. Мою систему стоит у вас примерить. Но, может, придумаете что-нибудь покрепче, поновей?

— Максимально уменьшить количество обработок почвы! Поднимайте целину, но потом как можно меньше ее трогайте.

— Пары — вот главное условие степных урожаев. Не получите хлеба, если останетесь на целине без них.

— Сорняки пошли? Следовало ожидать. Пока кое-где уже получают заовсюженную пшеницу, а потом получают и запшениченный овсюг. Иные растерялись: дескать, силен овсюг, что с ним делать? А он сорняк, наоборот, хлипкий. Он силен, когда хозяева плохи. Хорошо, что позже сеете. Подождать надо, спровоцировать овсюг и уничтожить. Потом уж сеять. Нервы надо крепкие иметь. У кого нервы слабые, тому в полеводстве делать нечего...

Многое стало мне ясно. Но коли так, спросит читатель, то почему полезный опыт не распространялся мгновенно по всей целине? Ответу: есть более страшный враг для земли, чем плуг и сорняк,— это навязывание ей всевозможных «рекомендаций». Слишком много их было и слишком дорого они стоили стране, чтобы не понять: команды сельскому хозяйству по самой его природе противопоказаны. И хотя, сознаюсь, очень хотелось порой «ускорить» и «нажать», я себя от этого удерживал. Надо было дать людям самим во всем разобраться, чтобы выработался коллективный опыт.

Разумеется, просил журналистов шире освещать достижения лучших совхозов, организовывал семинары, проводил совещания в ЦК. Важнейшим делом мы считали развертывание сети научных учреждений, ставили перед ними задачу изучить отечественный и мировой опыт, найти надежные методы борьбы с эрозией почвы. Не могу не сказать о большой работе ученых во главе с А. И. Бараевым, ныне лауреатом Ленинской премии. Помню, как настойчиво он доказывал важность «малого орошения» — паров. И не случайно почвозащитная система земледелия родилась впоследствии именно на казахстанской целине.

Пары мы старались всячески отстаивать. Приведу один любопытный документ. В моем кабинете шло совещание специалистов, было это 9 июня 1955 года, в самую засуху. Жара стояла страшная, горели поля, а разговор приходилось вести о будущем — о плане развития сельского хозяйства Казахстана на целое пятилетие. Вот часть стенограммы, показывающая, как ставился тогда вопрос:

Тов. Мельник (министр сельского хозяйства республики): Теперь о севообороте. В связи с вводом миллионов гектаров целинных земель нам предстоит большое количество пашни отводить под пары. Три года мы обязаны и будем эти новые земли засеять пшеницей по пшенице, но на четвертый год начнем их пропускать через пар. Если пропускать лишь по полтора миллиона гектаров в год, как это предлагается, то к 1960 году мы внедрим пары лишь на шестой части всей пашни. С точки зрения агротехники, это очень плохо. Даже если мы до 1960 года найдем еще миллиона два гектаров целины для расширения пашни, все равно нам необходимо несколько уменьшить в нынешних расчетах на 1960 год количество пашни под зерновыми. Только так мы можем обеспечить культурное ведение земледелия. И сделать это надо во что бы то ни стало. Иначе мы землю покалечим в первый же оборот.

Тов. Брежнев: Кто спорит с этим?

Тов. Мельник: Спорит постановление ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров республики, где записана другая цифра по зерновым. Речь идет о том, чтобы изменить это ранее принятое решение, ибо, когда оно вырабатывалось, многое мы не могли еще точно учесть.

Тов. Брежнев: По парам надо бы все более ясно изложить. Я вижу, что мы зашли в известный тупик. Это в связи с тем нашим постановлением?

Тов. Мельник: Да, оно нас связывает.

Тов. Брежнев: Надо исходить из хозяйственной целесообразности. Должен быть серьезный, трезвый расчет, продиктованный условиями ведения хозяйства. Уже сейчас чувствуется, что мы должны залезать в зону меньшего увлажнения, на земли худшего качества. Думаю, условно можно принять, что еще пару миллионов гектаров мы найдем. Но как быть с валовым сбором? Не много ли вы берете под пары?

Тов. Мельник: Нет, немного. Все взвешено, согласовано с областями.

Тов. Арыстамбеков (зам. министра совхозов республики): Надо довести количество паров до 16—18 процентов, тогда мы сможем выдержать предложенные задания.

Тов. Брежнев: И все же что получается? Если мы в среднем по республике станем иметь, скажем, 17 процентов паров, то необходимого валового сбора не будет? Учтите, в отношении валового сбора Казахстан находится в исключительном, особом положении. За этим партия, правительство будут строго следить. Крутить то так, то этак мы не можем. Пары необходимо иметь, но сколько? Сколько их было до начала освоения целины?

Тов. Андрианова (начальник управления науки Министерства сельского хозяйства республики): В 1940 году было 18 процентов. Для нашей зоны пары — это основа земледелия. Кроме того, хочу сказать о многолетних травах. Я имею в виду районы, подверженные ветровой эрозии. Там мы должны пойти на севооборот с более длительной ротацией и ввести травы как закрепитель почвы. В расчетах этот момент не учитывается. Надо наряду с мальцевским севооборотом иметь и севообороты с многолетними травами.

Тов. Брежнев: Дело хорошее... Но какая люцерна будет в этом году, скажем, у павлодарцев? Ни трав, ни закрепления.

Тов. Андрианова: Там травами не занимаются, а придется. Иначе в области эрозия будет такой, какой она нигде не была. Ветровая эрозия станет у нас страшным бичом, если уже сейчас не начнем защищаться. Эти меры следует отразить в наших планах и расчетах на пятилетие.

Тов. Брежнев: Согласен с вами. Очевидно, в нашей записке в ЦК КПСС и в правительство надо прямо указать, что производство зерна в республике достигнет такого-то уровня и затем остановится на нем. Это вполне понятно. Мы освоим за два года 18 миллионов гектаров, три года будем сеять пшеницу по пшенице, а дальше так не может продолжаться. То, что мы записали ориентировочно раньше, это была волевая цифра, это было наше пожелание. В дальнейшем мы сможем подняться до намеченного рубежа путем дополнительного ввода целинных массивов, а не путем хищнического использования земли.

Тов. Мельник: Времени для составления записки осталось мало, всего два-три дня.

Тов. Брежнев: Пусть секретарь ЦК Фазыл Карибжанович Карибжанов возглавит это дело, соберет у себя всех вас, и готовьте страницу за страницей день и ночь.

Тов. Мельник: Тогда придется министерство закрыть на замок.

Тов. Брежнев: Это такая работа, которая стоит всего чего хотите. Сделайте записку короткой, легко читаемой. Только цифры и выводы. Не усложняйте, не мудрствуйте, все должно быть четко и ясно».

Записка была составлена и послана в Москву. Время показало, что наши расчеты были верны.

В феврале 1956 года на XX съезде КПСС я мог с гордостью доложить партии, что дело подъема целины увенчалось успехом. За два года посевные площади в республике были доведены до 27 миллионов гектаров. Под зерновые отводилось 23 миллиона, из них 18 миллионов гектаров под пшеницу — вчетверо больше, чем до освоения новых земель. От имени всех целинников я заверил съезд, что Казахстан может давать по миллиарду и больше пудов зерна.

Не считая, однако, что все завершено и сделано, что все трудности уже позади, далее сказал:

— Партийная организация Казахстана учитывает, что теперь, когда в республике посевные площади доводятся до 27 миллионов гектаров, главным нашим резервом в дальнейшем увеличении производства зерна является повышение урожайности. Здесь у нас имеется еще много недостатков. В связи с освоением целинных земель неотложным делом является разработка системы ведения хозяйства с учетом местных особенностей каждого колхоза и совхоза, чтобы обеспечить наилучшее использование земель и сохранение плодородия почвы. Это большая и сложная работа. Мы просим, чтобы Академия наук СССР, Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина, Министерство сельского хозяйства и Министерство совхозов СССР помогли нам в этом важном вопросе, с тем чтобы великое дело освоения целинных земель успешно довести до конца.

В 1956 году пробил звездный час целины. Урожай в казахстанских степях был выращен богатейший, и вместо обещанных 600 миллионов республика сдала государству миллиард пудов зерна. И я был по-настоящему счастлив, когда в том году Казахстану вручили первый орден Ленина за первый миллиард пудов целинного хлеба. За тот самый первый миллиард, создавший прочный авторитет целине, который потом не смогли уже поколебать ни удары стихии, ни волевые решения, усугублявшие действие этих ударов.

К сожалению, мне не удалось увидеть самому тот богатырский урожай, в который было вложено столько сил. На XX съезде я вновь был избран секретарем ЦК КПСС.

Вечером в гостиницу «Москва», где остановился тогда, зашли поздравить меня Кунаев, Сатпаев, Журин, Макарин и другие казахстанские товарищи. Расставание вышло суматошное, доброе и какое-то печальное. Они уже торопились домой, я думал о новой работе. Но, хочу сказать, грустно было прощаться с друзьями, с любимой степью, с дорогими и близкими мне людьми—целинниками.

12

К счастью, расставание это оказалось для меня временным. Целина, ставшая в моей жизни столь дорогим и важным периодом, всегда волновала, тянула меня к себе. И вот после некоторого перерыва, связанного с другой моей работой, я вновь вернулся к заботам целины. И одним из многих моих дел на посту Генерального секретаря ЦК КПСС была поддержка почвозащитной системы земледелия на целине, разработанной советскими учеными во главе с А. И. Бараевым. Теперь эта система внедрена, и она навсегда защитила целину от ветровой эрозии. Мы сумели в короткие сроки применить ее на огромной территории, в том числе и в других степных зонах страны, подкрепив рекомендации науки технической вооруженностью.

Я постоянно занимаюсь целиной и сейчас, часто бываю в Казахстане и могу сказать, что вижу теперь там воплощенной в жизнь свою мечту и мечту сотен тысяч целинников.

Безусловно, в целинных степях сделано еще далеко не все, резервы остаются огромными. Но это особый разговор. Я же хочу сказать об уже достигнутом, которое и радует, и впечатляет.

Подъем целины в Казахстане явился не только крупнейшей, но и экономически выгодной акцией. Приведу цифры, доказывающие это. Казахстан продал за минувшие двадцать четыре года государству более 250 миллионов тонн зерна — это 15,5 миллиарда пудов! Вместе с тем с 1954 по 1977 год включительно все затраты

на сельское хозяйство республики — подчеркиваю: на всю отрасль, а не только на целину — составили 21,1 миллиарда рублей. А налога с оборота от продажи хлеба за эти годы получено 27,2 миллиарда рублей, то есть страна получила 6,1 миллиарда рублей чистой прибыли. При этом надо иметь в виду, что в казахстанских колхозах и совхозах общая стоимость основных и оборотных фондов составляет сегодня 15 миллиардов рублей. Итак, все труды и затраты в максимально короткий срок окупились и дали прибыль. Вот с каким хорошим результатом выиграно самое впечатляющее в хозяйственной истории человечества сражение за хлеб! Богатырской оказалась древняя степь. Преображенная трудом человека, она придала устойчивость всему нашему сельскому хозяйству, обеспечила гарантию получения зерна в необходимых размерах. И эта земля набирает силу.

Поднимитесь на самолете над степными просторами. Вы увидите не только хлебные нивы, но и ленты асфальтированных дорог, поселки, железнодорожные пути, линии электропередач, корпуса элеваторов, крупные заводы, фабрики, города. Все это вызвал к жизни в бывшем ковыльном краю могучий целинный хлеб.

Вспоминаю, например, каким был Акмолинск, когда впервые его увидел. Низкие глинобитные домики, узкие улицы, восемьдесят тысяч жителей... А теперь? В городе, получившем имя Целиноград, второе больше народу, он едва ли не весь обновлен, перестроен, в нем десятки промышленных предприятий, четыре вуза, пятнадцать техникумов, где только за три последних года подготовлено свыше двадцати тысяч специалистов.

Целина дала мощный толчок развитию производительных сил Казахстана, росту его экономики, науки, культуры. Появились крупнейшие промышленные узлы, выросло девяносто новых городов, в том числе известные всей стране Рудный, Экибастуз, Ермак, Кентау, Аркалык, Шевченко. Республика добывает и производит уголь и нефть, чугун и сталь, цветные металлы, минеральные удобрения, новейшие станки, машины, тракторы. И никого уже не удивляет, что в некогда отсталом Казахстане пущен реактор на быстрых нейтронах.

В созвездии братских республик ныне еще ярче засияла звезда Казахстана. Развитие республики шло годами и пятилетиями, но обсуждалось все, задумывалось, «заваривалось» значительно раньше. Многие черты современного облика этой земли были определены уже тогда, почти четверть века назад, когда в моем кабинете в ЦК все чаще появлялись ученые, изыскатели, плановики, проектировщики, что также требовало внимания, времени и сил.

Надо ли говорить, как я счастлив теперь, видя: образовался в этом краю гигантский аграрно-промышленный комплекс, влияние которого мощно сказалось на развитии всей экономики страны. А целинная эпопея на этой земле еще раз показала всему миру благороднейшие нравственные качества советских людей, она стала символом беззаветного служения Родине, великим свершением социалистической эпохи.



ЛЕВ ОЗЕРОВ



НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Далекий год, Мы были дети.
Запомнилось: холодный зал.
И гимн, единственный на свете,
Звучал — «Интернационал».

Усталые, его мы пели
Самозабвенно, от души,
Под бесконечный вой метели,
Под клич: «последний и реши...».

Действительно, во мгле Россия,
Но тот не ведает о ней,
Кто видит версты снеговые,
Не испытал ее коней.

Кто видит синь ее просторов,
Не ощутив ее тепла.
А зная нрав ее и норы,
Узнает кто ее дела?

Россия — это наши люди,
И наша стать, и наша честь.
Она не сразу скажет: «Будет!»
А скажет почитай что — есть!

* * *

Оттолкнулся. Ногу в стремя.
Ветром отнесло вихор.
Обжигающее время.
Неразгаданный простор.

Над Дворцовой знамя рдеет
В этой первой тишине,
И сидит красногвардеец
На гусарском скакуне.

Он дружить с ликбезом станет,
Всадник заревой поры,
Но уже в его сознание
Раскрываются миры.

В эти первые минуты
Народившейся страны
Намечаются маршруты
На ракете до Луны.

* * *

И вот на Волге наступает утро,
И вот на травах говорит роса,
Березы шелестят светло и мудро,
И, видя их, поверишь в чудеса,
И, слыша их, поверишь в глубь смысла,
Особенно когда из-за бугра
Над ними радужное коромысло
Два волжских берега несет, как два ведра.

* * *

Старая провинция — со взвозом,
С девушкой задумчивой в окне.
Нить тропы, бегущая к березам.
Церковка в туманном полусне.

Крупные булыжники-осколки
Волжского утеса. Тишина.
Сколько здесь прошло героев! Сколько
Славных дат! Какие имена!

Милая глубинка! Перелески,
Лопухи, крапива, лебеда.
Краски тихи, голоса нерезки,
Вперемежку радость и беда.

Здесь великая рождалась проза,
Гордая гряда былинных глав:
Разины полуденного плеса,
Катерины волжских переправ.

Нет, от сердца оторвать едва ли
Эти струи, эти берега,
Сизо-фиолетовые дали,
Дымчато-росистые стога.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



ИЗ ЛИРИКИ

* * *

Приехали — а все цветет:
Семь вишен, яблоня и слива.
Понятно, это каждый год,
Но так приехали счастливо.

Мгновенный радостный испуг —
Ведь я забыл о вешнем дыме.
Как если бы вошел — и вдруг
Родных увидел молодыми.

ЧИСТКА КРЫШ

Словно в космос выхожу на крышу
Из чердачного окна
И невнятно позывные слышу —
Ими улица полна.

Не в чести сигналы звуковые,
Но почти сквозь сон
Достигает слуха не впервые
Отдаленный звон.

Город повседневностью поборот,
Жизнь его покоя лишена.
Только здесь — особый, верхний город.
Солнце, тишина.

Над заставой выгнул дым лохматый
Линию свою.
С длинной деревянною лопатой
На краю стою.

Чтобы жить и дальше честь по чести,
Выбросим балласт.
Как натужно едет вниз по жести
Снежный мерзлый пласт.

И, о землю ударяясь мордой,
Рассыпая колкий пар,
С треском разбивается о мокрый
Огражденный тротуар.



Артист не должен быть красив
И занят внешностью своею.
В нем должен быть иной курсив —
Значительнее и сильнее.

Бесстрашно помыслы чисты,
И опадает славы пена,
Являя главные черты
Алейникова и Габена.

ЖЕНЫ ПОЭТОВ

В прошлое взглядом пройдуся,
Где мы бывали стократ.
Галя, Лариса и Дуся —
Жены поэтов стоят.

У освещенного входа
Снежный взвивается прах.
Сколько, однако, народа,
Шума на тех вечерах!..

Как они гордо встречали
С невозмутимостью всей
Радости или печали
Их беспокойных мужей.

На слово, что ли, поверьте:
С ними, а часто одни,
Все-таки в той круговерти
Счастливы были они.

Послевоенные годы.
Слабо устроенный быт.
То ли от вьюжной погоды,
То ли от строчек знобит.



Вся августом прокалена,
Идет тропинкой, где короче.
В глазах осталась пелена
От промелькнувшей летней ночи.

Часам предутренним — свое
В словах беззвучных и в пылу их.
И губы пухлые ее
Приплюснуты от поцелуев.



Переодевалась у окна —
Непонятно, что ее тянуло,
Только обнаженная она
Подходила, платье взяв со стула.

Ей бы отдалиться в глубину
Комнаты — о скромности забота, —
Но ее к широкому окну
Словно бы выталкивало что-то.

Женщины столь странная черта —
Безразличной смелости минута.
Но она спокойна и чиста
И не предназначена кому-то.

Всю себя сиянию открыв,
Двигается в задумчивости вроде.
Острый неосознанный порыв
К листьям, свету, воздуху — к природе.

* * *

Моментальная вспышка сирени,
Что сверкнула почти как гроза,
Положила лиловые тени
На стекло, на платок, под глаза...

* * *

Молодая ветка клена.
Но под осень садовод
Холодно и непреклонно
Эту ветку отсечет.

Щелкнут ножницы — бог с нею!
И не нам сие решать.
Ветви есть куда сильнее —
Им не следует мешать.

СТУДЕНТКА

С утра занималась она,
Весь день находилась при деле,
И словно какая струна
Держала ее на пределе.

И вдруг наплывала волной
Истомная порция лени,
Потворствуя страсти одной —
Учебник склонить на колени.

Впадала на миг в забытье,
Спала, упуская детали.
Но мягкие губы ее
По-прежнему что-то шептали.

* * *

Покину тесный карантин,
Приму военную присягу.
Оберегая карабин,
К огню походному присяду.

Выносливым и смелым стать —
 Скажи, кому это не лестно?
 А на дощатых нарах спать —
 Для позвоночника полезно.

Чтоб это поле перейти —
 Ползти в предутреннем тумане.
 А все, что будет впереди,
 Не предусмотрено заранее.

У МОГИЛЫ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ В ИТАЛИИ

Родина помнит о вас.
 Но среди смертельного вала,
 Может, на миг забывала —
 Слишком уж страшен был час.
 Родина помнит о вас.
 Или, возможно, не знала.
 Впрочем, ни много, ни мало,
 Но столько лет миновало,
 А этот свет не угас.
 Родина помнит о вас.

МАРБУРГ

Город стер грим,
 Смутно тревожа
 Братьями Гримм,
 Лютером — тоже.

Высветлил знак
 В гуще вопросов,
 Где Пастернак
 И Ломоносов,
 Каждый — студент,
 Разным столетьем
 Каждый задет
 Городом этим.

С книгой в руке,
 Легкою птицей
 На чердаке
 Под черепицей.

В замке пустом —
 Гулы акустик.
 Это потом
 Вряд ли отпустит.



В. КАВЕРИН



ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА

Роман

1

«Позвольте мне рассказать историю моей жизни,— читаете вы подчас в искреннем, простодушном письме.— Это настоящий роман». Историями набит белый свет. Они совершаются в каждом доме, открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные, скучные — стоит только склониться, чтобы поднять любую из них. Но мимо одной вы проходите равнодушно, другую взвешиваете, оцениваете и забываете, чтобы вспомнить случайно или не случайно. Вы не принимаете в ней никакого участия. Но она — «ваша», и вы почти бессознательно разыгрываете ее, как музыкант, исполняющий сонату, не глядя на ноты. Иногда она превращается в рукопись. Рукопись, если она удастся, превращается в книгу, а книга ищет и находит — или не находит — свое место среди событий, составляющих жизнь.

Взгляните на черновики — в них еще полуслепые слова толпятся, тесня друг друга. Подчеркнутые строки, находки, намеченные наспех, подробности, записанные кое-как, десятки страниц, жирно зачеркнутых крест-накрест, одни карандашом, другие фломастером (эти уже не могут пригодиться), рисунки, чертежи, планы. И рядом — жизнь автора, которая врывается в рукопись началом дружеского письма, записью сюжета другой книги, которая когда-нибудь будет написана, размышлениями, воспоминаниями, загадочными знаками, понятными только одному человеку на свете.

Но вот начинается строгий отбор, вспоминаются характеры, обдумываются отношения — будущая книга еще раскачивается, как высотный дом во время землетрясения. Еще не найдена таинственная связь, которая должна заставить читателя листать страницу за страницей, а между тем уже приходит день, когда кажется, что обдуманно все, приходит вместе с уверенностью, что перемены неизбежны. Чистая страница лежит перед вами, и — никуда не денешься — на ней должна быть написана первая фраза.

Впрочем, она уже давно написана и пора переходить к летнему вечеру 1971 года, когда Коншин, заканчивая прогулку, случайно встретился с Осколковым, заместителем директора своего Института.

2

- Петр Андреевич, а вы что же тут делаете, в Лоскутове?
- Живу, Валентин Сергеевич.
- Давно ли?

— Третий месяц. Обменял свои две комнаты в центре на однокомнатную квартиру.

— В новом доме?

— Да.

В Лоскутове был только один шестиэтажный дом.

— И довольны?

— Очень. Здесь тихо. Рядом лес. Зимой можно ходить на лыжах.

— Ну, это уж не для меня!

— Ничуть не бывало!

Осколкову было под шестьдесят, но он не располнел, как многие его сверстники, держался прямо, с привычной сдержанностью, и если бы не его усталое лицо с ярко-голубыми глазами, ему нельзя было бы дать больше пятидесяти.

— А вы где живете? — спросил Коншин.

— Живу в Москве, а здесь бываю. Часто, летом почти каждый день после работы. Вы, наверное, заметили рядом с последней остановкой трамвая старый деревянный дом с балюстрадой. Моя дача. К сожалению, назначена на слом. А жаль! Я бы сохранил ее... «Памятник русской дачной архитектуры девятнадцатого века. Охраняется государством». Впрочем, кажется, удастся отстоять.

Он засмеялся. Смех был неприятный. «Задавленный», — подумал Коншин.

— Знаю этот дом. Проходил мимо и слышал музыку. Даже узнавал Рахманинова, Дворжака, Баха.

— Неужели так слышно на улице? А вы любите музыку?

— Про любителей говорят — «страстный». Обо мне можно сказать — «пылкий».

— Так непременно заходите. Есть редкие пластинки. Кэтлин Фэрриер, например.

— Даже не слышал.

— Между тем считается одной из лучших певиц в мире. Контральто. Прославилась исполнением Генделя и Баха. У меня как раз есть и тот и другой.

— Спасибо. С удовольствием.

Они обменялись телефонами, простились, и Коншин ушел немного озадаченный: между ним и Осколковым были скорее плохие, чем хорошие отношения.

3

Через несколько дней он возвращался от Левенштейна, где весь вечер говорили об институтских делах, давали себе слово не говорить и все-таки говорили. Потом Левенштейн повел его смотреть детей — у него была двойня, мальчик и девочка, — и Коншин, у которого в горле защищало от умиления, ласково погладил их одинаковые белокурые головки.

Теперь, в очереди на такси, он думал, что одинок, как собака, и, в сущности, несчастен. Перед ним стояла Хорошенькая (мысленно он так и назвал ее с большой буквы) — в шубке с продольными блестящими полосками и в меховом берете. Ей было на вид лет тридцать, и Коншин, любивший угадывать профессии, решил, что она врач. Ему хотелось заговорить с Хорошенькой, и он загадал: «Заговорю, если обернется». Но она не обернулась. Она ждала, казалось, терпеливее всех. Снег таял на свежем лице, а на прядях светлых волос, выбившихся из-под берета, не таял. В ней было что-то рождественское, она стояла, как Снегурочка под елкой.

И мигом он вообразил, что она навещала мать: в метро, в автобу-

сах он любил придумывать биографии случайных соседей. Мать мнительная, а Хорошенькая не любит лечить родных. Но он уже думал о собственной матери, которую похоронил в прошлом году. Мать сокрушалась, что у нее нет внуков. Жениться снова? Некогда, да и зачем? У него есть Леночка Кременецкая, а семейная жизнь сложна и требует постоянного, терпеливого внимания. Снова счастливое семейство Левенштейнов представилось ему. Но там все держится на Але, а где взять еще такую Алю? Такую умную, гостеприимную Алю, которая уже сдала кандидатский минимум, а потом, сообразив, что на свете существует нечто важнее диссертаций, бросила работу и родила Льву Петровичу сразу двух прелестных детей. Такую взять негде.

Должно быть, последние слова он произнес вслух, потому что Хорошенькая обернулась.

— Простите, вы не врач? — негромко, чтобы не обращать на себя внимание, спросил он.

— Нет. А вам нужен врач?

Она сказала это с чуть заметной улыбкой — может быть, почувствовала, что от него пахнет вином?

Только он собирался ответить, как подошли сразу две машины, и одновременно в клубах пара, вырвавшегося из дверей ресторана, надевая пальто на ходу, разговаривая и смеясь, появились молодые люди. «Экие бугаи», — успел подумать Коншин.

В первую машину уже садился мужчина с чемоданом, ко второй подошла Хорошенькая, но, прежде чем она открыла дверцу, один из молодых оттолкнул ее. Очередь зашумела, но он уже договаривался с шофером, опустившим стекло, и стало ясно, что сейчас молодые люди сядут в машину и уедут, а Хорошенькая останется с беспомощно протянутой рукой. Но Коншин, переломив желание не ввязываться в скандал, кинулся к нахалу и левой рукой — он был левша — сильно двинул его в челюсть. И тот вдруг, что называется, «слетел с копыт», распластавшись на мостовой. Его ошеломленные товарищи не сразу бросились на Коншина, и он успел посадить Хорошенькую, а потом почти машинально плюхнулся рядом с ней на сиденье.

— Давай, — сказал он шоферу.

— Что «давай»? Вылезайте.

Коншин сунул руку в карман и положил рядом с шофером трешку. Это подействовало.

— Куда?

— Улица Алексея Толстого, — сказала Хорошенькая и взглянула на Коншина. — А вам?

— Прежде всего прошу меня извинить.

— За что?

— Ну вот... Сел в машину без вашего разрешения.

— У вас не было времени, чтобы спрашивать разрешения. Вы мне помогли, и я благодарна. Здорово вы его. Вы боксер?

Коншин засмеялся.

— Нет. А вот про вас, когда мы стояли в очереди, я подумал — врач.

— И ошиблись. Так вам куда?

— Далеко. В Лоскутово. Водитель, вы когда-нибудь были в Лоскутове?

— Был. Не поеду. Мне к одиннадцати в парк.

— Прекрасно, — с удовлетворением сказал Коншин. — Отвезем даму и поговорим.

Он отвез ее раньше, чем ему хотелось бы, и она не позволила ему расплатиться. Коншин знал, что женщинам нравится его вежливость,

которой он умел придавать старомодный оттенок. Но на этот раз оттенок, очевидно, не помог. Он проводил ее до старого трехэтажного дома, до двери, на которой было светлое пятно от недавно снятой дощечки.

— Вы мне разрешите...— начал он, прощаясь.

Она перебила:

— Извините. Я очень признательна вам, но...

Пока она рылась в сумочке, ища ключ, он убедился в том, что она не просто хорошенькая и что это слово к ней даже и не подходит. Прелестная, может быть, а это совсем другое дело! Блондинка, лет двадцати пяти. Уютная, мягкая, но и твердая. И видно, что недаром живет на свете. Ключ нашелся.

— Я только хотел...

— Извините,— снова сказала она и улыбнулась. Очевидно, у него был расстроенный вид.— До свидания.

— Будьте здоровы.

Это пожелание, не совсем обычное, Коншин перенял от отца. Прощаясь, его отец, врач, желал пациентам здоровья.

Он вернулся к машине. «Здесь какой-то особый квартал,— смутно подумалось ему.— Дипломатический? Это дом американского посла? Нет, тот на Спасо-Песковской площадке...»

Но и самой Спасо-Песковской площадки не было давным-давно, тому назад лет пять или десять. Исчезла Хорошенькая, и неизвестно даже, было ли происшествие у ресторана «Бухарест», на стоянке такси. В сердце творилось что-то странное. Махнуть к Леночке? Но это безумие: воскресный вечер, двенадцатый час, все спят и, главное, муж, конечно, дома. «Недобрал»,— подумал Коншин. Они ехали в Лоскутово. Он недобрал у Левенштейна, но это было прекрасно. Завтра рабочий день, и хотя Осколков не решается сделать ему замечание за то, что он приходит в отдел к двенадцати, а то и к часу, но завтра надо прийти к девяти и улизнуть от всех и вся, потому что завтра у него опыт.

4

В детстве Коншину казалось, что он никогда не сможет управлять людьми, связывая себя с интересами их существования. Он отлично учился и, будучи спокойным, уравновешенным школьником, много времени отдавал общественной работе, так же было и в студенческие годы. Он занимался ею старательно, энергично — и все-таки не очень хорошо, а иногда даже плохо. Ему мешала неуверенность в своем праве вмешиваться в чужие дела и менять их так или иначе. Он думал, что в любом поручении как раз и участвовало это право, никому, впрочем, кроме него, не казавшееся произволом.

Возможно, что он навсегда остался бы человеком легким, беспечным, желающим всем добра, но беспомощным, когда надо было распорядиться этим желанием, если бы не попал в руки Ивана Васильевича Шумилова.

Студент последнего курса, Коншин явился к нему с научным предположением, от которого пришел в восторг его будущий учитель. Завязавшиеся отношения упрочились, когда Шумилкову удалось «отбить» Коншина, посланного было по распределению преподавателем на Дальний Восток.

Общее впечатление блеска, которым сопровождалось все, что говорил и делал Шумилов, прекрасно соединялось с желанием, чтобы этот блеск был оценен всеми или по меньшей мере замечен. Друзья в шутку называли его «гусаром» — и действительно, что-то гусарское

было в природной веселости Шумилова, в жизнелюбии, которым были отмечены все его речи, поступки, решения.

Этот высокий красивый человек, мастер на выдумки, не оставявший, казалось, равнодушной ни одну женщину, был одним из крупнейших теоретиков медицинской науки. Петр Андреевич считал своим долгом развивать и углублять систему его научных воззрений.

5

Коншин руководил отделом, состоявшим из двух лабораторий, и это было сложное, требующее твердости и мягкости дело, которое далеко не исчерпывалось холодным словом «руководство». Это было дело, за которым стояло, переплетаясь, множество решений и поступков,— и не стояло, а двигалось, меняясь год от года.

За двадцать лет работы Петр Андреевич изучил то, что можно назвать искусством управления. Он давно привык к мудрой молчаливости Левенштейна, верного хранителя шумиловских традиций. Толстый, скептический, добродушный, он напоминал Коншину того тургеневского героя, который на все, что ему доводилось услышать, отвечал только «брау, брау», что означало «браво». Это был человек, считавший, что любое внешнее продвижение приводит к отдаче, которая неизбежно сказывается на самом образе мышления деятеля науки. Ему неоднократно предлагали лабораторию, он отказывался решительно и непреклонно...

К упрямству Володи Кабанова Петр Андреевич научился относиться терпеливо. Маленький, решительный, кривоногий Володя с жаром выслушивал все замечания руководства, а потом ни на йоту не отступал от намеченного направления. Над его богатой личной жизнью подшучивали: девушки, имена которых он путал, звонили ему ежедневно.

Полной противоположностью Володе был Сергей Львович Тепляков — бледный, задумчивый, бородатый, с кроткими девическими глазами. Можно было подумать, что его деятельность заключается в том, что он часами курит на лестнице, рассеянно здороваясь с товарищами по работе — иногда дважды, а то и трижды. Петр Андреевич не мешал ему. Автор немногих, но безупречных работ, Тепляков не терял времени на лестнице. Он думал.

...В искусстве управления отделом лежало, в сущности, только два принципа, и Петр Андреевич понимал, что, если их соблюдать, станет выполнимой главная цель, относившаяся уже не к тактике, а к стратегии.

Первым принципом была очевидность. Ничто ни при каких обстоятельствах не должно происходить за спиной, касается ли это внешних или внутренних отношений. Разумность работы должна быть ясна каждому, начиная с шефа и кончая лаборантом.

Вторым принципом была естественность. Редкая статья печаталась под одним именем, почти всегда она была результатом усилий двух, трех, четырех авторов, и порядок, в котором стояли имена, был основан на объективной оценке вклада каждого из них. Несправедливость заранее исключалась, что создавало атмосферу взаимного доверия. Этот принцип соблюдался не только в подобных случаях, но и в сотнях других, вызывавших необходимость прийти к справедливому решению. Отношения с сотрудниками сложились давно. Одного он защищал еще при Шумилове, который в минуты вспыльчивости был способен на несправедливость, другого покрывал при загулах. Третий по общему мнению был дураком, хотя и считал себя глубоко-

ким мыслителем. Но этот дурак был тонким экспериментатором, правой рукой Коншина, его опорой. Четвертый долго не печатался, все искал «подход», и надо было осторожно придерживать тех, кто ждал от него немедленных результатов. Пятый метался из стороны в сторону и давно бы вылетел из другой лаборатории, а Коншин ценил его именно за эту неуверенность, потому что в ней чувствовалась попытка взглянуть на дело всей лаборатории со стороны. Шестой не мог писать, потому что у него постоянно болели дети, и надо было писать за него. И наконец, находились люди, которые лучше, чем он, понимали дело, по меньшей мере с в о е д е л о, которым они занимались в полную силу. Но самое главное, без сомнения, заключалось в том, что все они были не сотрудниками, а соратниками, которых он втянул в рискованное предприятие. Идея, неопровержимость которой он доказывал в статьях и выступлениях, была очевидна только для него, и они работали в атмосфере его увлеченности, его убежденности, его предсказывающего взгляда.

В мелочи, неизбежно сопровождавшие работу отдела, Коншин вмешивался редко. Он знал, что каждый серьезный работник (а других, кажется, у него не было) сумеет взвесить самостоятельно, является ли эта мелочь хотя бы незначительным, но истинным вкладом. Ощущение истинности было особенно важно — оно помогало работе практически.

Петр Андреевич заметил, что эта последняя черта характерна для женщин в большей степени, чем для мужчин, или, во всяком случае, для женщин, работающих в его отделе. Когда они чувствовали «истинность вклада», они трудились без усталости, неумолимо. Но когда с помощью какого-то загадочного чувства они угадывали постороннюю цель — карьеру, внешний расчет, — они сознательно или бессознательно начинали работать плохо. Впрочем, Коншин, любивший повторять павловское: «Природа — проста», — и эту черту объяснял очень просто. Если уж отрывать от семьи и детей, если уж жертвовать с в о и м, о с о б е н н ы м, женским, то не ради посторонней цели, а ради истинности своей доли в общей работе, причем эта доля обходилась им дороже, чем мужчинам. Стало быть, и цениться она должна была дороже.

Это наблюдение в полной мере относилось к Нине Матвеевне Скопиной, похожей как многие утверждали, на Грибоедова мужским треугольным лицом и по-мужски подстриженными, слегка выщипанными волосами. Сходство подчеркивалось маленькими очками в тонкой немодной оправе. Это была женщина, сознательно ограничившая свою жизнь интересами науки. В своей фанатической отрешенности она была резка, насмешлива, зла. Но за этой отрешенностью Коншин угадывал то, что он больше всего ценил в людях, — мужество и благородство.

Напротив, понятие отрешенности показалось бы смешным по отношению к Марии Игнатьевне Ордынцевой, плотной, крепкой женщине, седой, но молодежавшей для своих пятидесяти трех лет. Из основного ядра отдела она была, кроме Левенштейна, старше всех. Это была личность опасная в том смысле, что она не умела ни молчать, ни выбирать удобное место, чтобы высказывать свои подчас очень острые мнения.

6

Знакомство Коншина с Леночкой Кременецкой, работавшей в другом институте, началось не совсем обычно.

Ей давно хотелось посоветоваться с Коншиным по поводу своей диссертации, над которой она работала почти два года. Леночка на-

чинала у Врубова — нынешнего директора Биологического института, — и он, без сомнения, легко мог бы устроить эту встречу. Но не зная, в каких отношениях Коншин с Врубовым, она решила пойти без рекомендации, полагаясь только на себя. Решение было принято перед зеркалом. «Полагаясь на себя» — это означало «на свою внешность».

У нее было свежее крестьянское лицо, в котором беспечность прекрасно уживалась с трезвостью и здравым смыслом. Пожалуй, ее нельзя было назвать красавицей, но что-то располагающее было в ее легкой походке, в улыбке и даже в тонких белокурых волосах, завязанных небрежным узлом на затылке. Этой привлекательности ничуть не мешали ни короткий нос, ни слишком большие даже при ее росте ноги. Кокетливость ее казалась немного странной — она кокетничала не только с мужчинами, но и с женщинами. Но и в этой странности была привлекательность, о которой Леночка прекрасно знала.

К Петру Андреевичу она решила приехать не на работу, а домой — и неожиданно, хотя всем было известно, что его день проходил по часам и что он старается соблюдать этот строгий порядок. День заканчивался прогулкой — может быть, стоило позвонить ему и попросить разрешения встретиться на прогулке?.. Но Леночке хотелось показать ему свои таблицы, а это невозможно было сделать где-нибудь в парке (Коншин жил тогда напротив «Ударника»). И после долгих колебаний она решила приехать к нему за полчаса до прогулки.

Петр Андреевич открыл ей дверь и хотя встретил вежливо, отнюдь недовольства все же почувствовался в первые минуты разговора. Но Леночка знала, что он исчезнет, и он действительно исчез, хотя для этого она почти ничего не сделала — только говорила, как бы сердясь на себя за собственную дерзость.

Она не раз видела Коншина, читавшего каждые три месяца обязательную лекцию в университете. Но так близко она встретилась с ним впервые, и он показался ей выше ростом и моложе своих сорока трех лет. Он нравился Леночке, ей хотелось взглянуть на него в домашней обстановке. Впрочем, все слушательницы Коншина были влюблены в него, и ему не раз случалось получать от них любовные записки, над которыми он добродушно подсмеивался.

Он был выше среднего роста, худой, узкоплечий и красивый, хотя в лице его не было, кажется, ни одной черты, которую можно было бы назвать этим словом. Но в его сутуловатой, угловатой фигуре была мягкая значительность, как бы приглашавшая собеседника высказаться откровенно. Улыбка восхищения и одобрения, скользившая по его добрым губам, необычайно шла к его нервному лицу, светло-серым глазам и произвольно крепкому рукопожатию. И все вместе производило впечатление красоты, которую он не только не замечал, но и удивился бы, если бы ему о ней сказали.

Не выходя за границы материала, он, к изумлению Леночки, так все перестроил в ее диссертации, что незначительное выдвинулось вперед, а то, что казалось ей самым важным, ушло в тень («До поры до времени», — серьезно сказал Петр Андреевич).

Это и было впечатление, которое осталось у Леночки после их первой встречи: его мягкость, расположенность и удивление перед легкостью, с какой он мгновенно перекроил ее работу.

И у него осталось чувство удивления, но совсем другого, не имевшего никакого отношения к науке: она записывала его соображения, он расхаживал по комнате и, останавливаясь, смотрел на молодую прямую нежную шею с выбившимися из-под шпилек крутыми завитками. На другой день, читая лекцию в университете, он по-

чему-то вспомнил и эту шею, и разгоревшееся ухо, и то, что за окном вдруг повалил густыми хлопьями снег, и то, что они оба странно замерли, когда повалил снег. Коншин перестал читать, Леночка — записывать. Тишина, после которой должно было, казалось, случиться что-то возможное и невозможное, установилась в комнате. Но ничего не случилось. Только к свету настольной лампы присоединился сумрачный свет снега, который бился в окно, как бесформенные белые птицы.

7

«Зачем-то я ему все-таки нужен,— подумал Петр Андреевич, когда Осколков позвонил ему.— И не в музыке тут дело.

— Так заглянете?

— Когда?

— Хоть сегодня. Еще не поздно, девятый час.

Коншин подумал. Это значило пожертвовать прогулкой, а догадка, которую он хотел обдумать, казалось, только и дожидалась конца утомительного рабочего дня.

— Вот сегодня-то как раз и не могу.

— Тогда завтра.

— Кажется, я записал ваш телефон?

— Повторить?

— Пожалуйста. Я позвоню вам.

И через несколько дней Осколков встретил Петра Андреевича у подъезда. Он познакомил его с матерью — маленькой, скромной, в очках, совершенно не похожей на современных молодящихся старух, напоминающих знаменитый офорт Гойи «До самой смерти». Ее трудно было представить себе перед зеркалом, за столиком, уставленным баночками с кремом, коробками с пудрой, флаконами с духами. В седой торчавшей головке было что-то тревожно-птичье. Она не глядела, а выглядывала из клетчатой шали, накинутой на острые плечи.

— Евдокия Павловна,— представилась она и, совсем как в «Дворянском гнезде», прибавила:— Прощу покорно садиться.

Но то, что увидел Коншин, меньше всего напоминало «дворянское гнездо». За фасадом деревянного дома с балюстрадой и крышей, отороченной резными украшениями, открылась просторная, уютная четырехкомнатная квартира.

Столовая была карельской березы, с удобными креслами-стульями и внушительным буфетом, на котором было так много хрусталя в серебре, китайских ваз и разноцветного стекла, что у Коншина зарябило в глазах. Вдоль стены, покрывая широкую софу, висел громадный, очень старый и, по-видимому, драгоценный ковер, на котором загадочно улыбались персиянки с миндалевидными глазами.

В просторном кабинете-спальне стояла мебель красного дерева, должно быть павловская или александровская, письменный стол с множеством ящичков и ящичков, с сияющими медными подсвечниками и еще какими-то медно сияющими предметами неизвестного назначения.

Третья комната была отведена под библиотеку, и за стеклами стеллажей — Коншин пробежал взглядом по корешкам — стояли не «собрания сочинений», за которыми охотилась вся Москва, а монографии по живописи и театру. За поворотом коридора находилась четвертая комната. Осколков зажег плафоны, и перед изумленным Коншиным открылась картинная галерея. Он плохо разобрался в живописи, но некоторые имена — Кузнецов, Кончаловский,

Фальк — были ему знакомы. К ним Осколков прибавил два десятка других не менее знаменитых.

— Труд всей жизни,— сказал он, заметив, что Коншин удивлен, и обводя символическим движением стены.

Но сравнительно недавно назначенный заместителем Врубова, он в течение многих лет руководил Ветеринарным институтом. «Каким же образом удалось ему вытащить все это изобилие из скромной профессии ветеринара? — подумал Петр Андреевич. — И где живет мамаша? На кухне?»

Евдокия Павловна позвала к столу, но прежде решено было послушать Кэтлин Фэрриер, и, пока старушка хозяйничала, мужчины остались в кабинете.

Коншин знал и любил музыку. Слушанье музыки было для него не только наслаждением, он как бы считался с ней, как считаются с естественностью смены дня и ночи, с восходом и заходом солнца.

Низкий, круглый голос вошел в комнату как будто издали — и все отодвинулось, исчезло, уступило место с полной покорностью, без тени возражения.

Коншин слушал, удивляясь той власти, с которой певица так быстро овладела его душой. Мягкий, проникновенный голос вел его, приказывая и одновременно как бы покоясь, как покоится младенец в руках рафаэлевской мадонны. Эти трогательные, волнующие низкие ноты, эта чистота, в которой чувствовалось благоговение, эта стройность, женственность, величавость. Коншин слушал, и к горлу подступали счастливые слезы. Острое чувство жалости почему-то охватило его — и он пожалел Осколкова, слушавшего с выражением самодовольства, точно он представлял как свою собственность великую певицу.

Белокурые головки детей Левенштейна вспомнились Петру Андреевичу — и они в этом блаженном слушанье нашли свое место.

Гендель кончился. Осколков хотел перевернуть пластинку, но Петр Андреевич остановил его.

— Нет, благодарю вас. Больше не надо.

— Почему же?

Коншин помолчал, потом спросил:

— Вы что-нибудь знаете о ней?

— Немного. Англичанка. Была учительницей. Преподавала музыку в маленьком городке, потом попала в Лондон к знаменитому Бриттену; тогда ей было уже за тридцать. Появилась впервые в одной из его опер и очень быстро получила мировую известность. Объездила весь свет. Но выступала недолго, кажется только лет восемь.

— Сколько же ей было, когда она умерла?

— Сорок. Хотите, я подарю вам эту пластинку?

— О нет! — с удивлением воскликнул Коншин. — Мы еще слишком мало знакомы, чтобы я позволил себе принять такой подарок.

Не только это неожиданное предложение — многое в этот вечер показалось Петру Андреевичу странным. К столу были поданы балык, красная и черная икра, жареные цыплята с грибами. Вина — превосходные, французский коньяк и португальский портвейн.

Но было еще и нечто невещественное, как бы распыленное в воздухе и тем не менее заметно окрасившее этот вечер. Может быть, неясное ощущение «вторичности»? Коншину казалось, что хозяин, столь осведомленный в музыке и живописи, повторяет чьи-то чужие слова... Или еще более неясное чувство ожидания, точно кто-то мог неожиданно постучать и войти, хотя никого, кажется, не ждали? Впрочем, Петр Андреевич был доволен. Его всегда интересовала

«новизна», касалась ли она вещественного или духовного мира. Он любил, например, проводить часть своего отпуска, садясь в первый попавшийся поезд и выходя на случайно выбранной станции только потому, что ему приглянулось ее название. Провести два-три дня в незнакомом городе, заглядывая в магазины, музеи, церкви, знакомясь с рыбаками, если город стоял на реке, или с охотниками, если вокруг были леса,— для него со студенческих лет это было любимым отдыхом и развлечением.

У Осколкова он тоже познакомился с «новизной», начиная с самого хозяина, который, как выяснилось, был неседующий, крупный, что называется, вальяжный, однако ничем не замечательный мужчина, а, напротив, почти загадочная личность и притом как бы заштрихованная, что, в свою очередь, было интересно.

Евдокия Павловна, скромно простившись, ушла. Осколков вновь принялся уговаривать Петра Андреевича взять пластинку и, когда тот решительно отказался, вдруг спросил его:

— Как вы думаете, можно ли сказать, что талант — это страсть?

— Пожалуй,— подумав, ответил Коншин.— Но страсть не талант.

Заговорили об институтских делах, и самый тон, в котором началась беседа, заставил Коншина насторожиться. Можно было допустить, что заместитель директора в частном разговоре (да и то с хорошо знакомым человеком, которому он вполне доверяет) решится на беспристрастную оценку того, что происходило в Институте. Но оценка была не только беспристрастной, но издевательски-беспощадной. С полной откровенностью Осколков говорил о давлении Врубова на ученый совет, о его самоуправстве, о мнимых реорганизациях, рассчитанных на увольнение неугодных сотрудников, о том, что в Институте господствует зависть,— это забавно, не правда ли? Директор завидует. Кому? Да каждому талантливому человеку.

— Любопытно, что, кроме меня, никто, кажется, не догадывается об этом,— сказал Осколков, смеясь.

Он был прав, но что-то неприятное почудилось в том, как он это говорил — бесстрастно или иногда с оттенком холодноватой злобы.

— А больше всего он завидует вам.

— В самом деле? Может быть, потому, что я ученик Шумилова, а они были в плохих отношениях?

— Это не повод для зависти. Нет: Просто потому, что у вас крупное имя в науке, а у него — в Академии и в Министерстве здравоохранения. А потом эта история с поездкой в Майами. Вы думаете, она прошла для вас даром?

— Никакой истории не было,— холодно возразил Коншин.

— Ну полно...

Два года назад, в Америке, в Майами, состоялся конгресс, на котором обсуждались доклады, проходившие по касательной рядом с работами коншинского отдела. Он не надеялся попасть на конгресс, однако, к его удивлению, Врубов вызвал его и заговорил о поездке.

— Не думаете ли вы, что наш Институт должен принять участие в работе конгресса? — спросил он.

Через две недели Коншин принес доклад. Перелистав несколько страниц, директор вернулся к первой, на которой было написано название и стояли фамилии Коншина, Ордынцевой и молодого сотрудника, помогавшего им. Это показалось Петру Андреевичу странным.

— Прекрасно,— сказал Врубов не улыбаясь.— У вас есть доклад, которым может гордиться наш Институт, а у меня — заграничный паспорт.

Очевидно, это была одна из тех неприятных шуток, которыми он любил ставить своего собеседника в неловкое положение. Впрочем, ясно было, что он собирался в Майами, чтобы представить доклад Коншина на конгрессе. Ну что ж! Это была обычная практика. Брать его с собой Врубов, без сомнения, не собирался.

— Если позволите, я сам переведу доклад,— сказал Петр Андреевич, когда Врубов предложил своего референта.— Есть оттенки, которые могут ускользнуть.

На другой день он принес доклад, переведенный на английский, и сцена повторилась. Снова были фразы, которые можно было с одной стороны понять так, а с другой — иначе; снова были многозначительные паузы, снова внимательный взгляд останавливался на фамилиях, стоявших под названием. Но на этот раз выражение досады, а может быть даже и злости, мелькнуло на круглом голом лице.

Теперь Коншину была ясна причина этой досады. Под заглавием должна была стоять и фамилия директора. Яснее говоря, Врубов хотел приписаться к работе и доложить ее как общую, хотя ни к теме, ни к направлению, ни к сложным, тонким опытам, методически новым, он не имел ни малейшего отношения.

Коншин легко терял душевное равновесие. И на этот раз ему с большим трудом удалось его сохранить. Его доброе лицо вдруг приняло странное, одновременно и жалобное и какое-то почти зверское выражение. Он посмотрел прямо в глаза Врубову, тот похрустел пальцами и отвернулся.

Ничего исключительного не было в предложении Врубова. Приписывание имени шефа (и тем более директора института) считается делом обычным и даже полезным: молодых охотнее печатают когда они выступают под покровительством старших. Но к той работе, о которой шла речь, у Коншина было совершенно особое, личное отношение, и Петр Андреевич совсем не хотел делиться с кем бы то ни было, а уж меньше всего с директором, который едва ли мог в ней разобраться. Даже если бы он не занимался ею с особенным увлечением и даже если бы она не была тесно связана с предстоящими работами — просто он не хотел, чтобы их имена стояли рядом.

«И все это было прочтено на моей дурацкой, ничего не умеющей скрыть физиономии,— думал Петр Андреевич.— Прочтено и учтено. Недаром этот ханжа сразу же стал так необычайно вежлив, недаром заговорил о чем-то другом, недаром, провожая меня, ласково положил руку на плечо и сказал голосом, не обещающим ничего хорошего: „Ну что же!“»

— Впрочем, если вы считаете, что истории не было, тем лучше для вас,— весело сказал Осколков.— Вы знаете, мне кажется, наша главная беда — я имею в виду весь Институт в целом — в том, что Врубов никак не может забыть, что он был без пяти минут министром! Психологически он в этом звании утвержден навечно. Власть в себе, поставившая перед собой единственную цель — самоутверждение. Государственный человек! Вы заметили, кстати, как он моргает?

— Нет,— смеясь, ответил Коншин.

— Ну как же! Небрежно и вместе с тем значительно, веско. Институт он считает своей вотчиной, а вотчиной в наше время можно управлять и по телефону. Часто ли он бывает на работе? Хорошо, если два-три раза в неделю. Все управление Институтом, в котором ни много ни мало более семисот человек, он свалил на нас, а сам...

«Не на нас, а на тебя,— подумал Коншин.— И можно не сомневаться, что ты сделал для этого все, что в твоих силах».

«А ведь неясно, зачем все-таки он меня пригласил,— думал он, возвращаясь домой.— Неужели просто захотелось похвалиться квартирой? Или это провокация? Зачем-то я ему нужен, сукину сыну».

8

Когда Леночка Кременецкая вновь пришла к Коншину с уже законченной диссертацией, была уже не зима, а лето, точнее июль. Томительно жаркий день только что отступил, жара ослабела. Снова он, рассказывая по комнате, останавливался, говорил, советовал, спрашивал ее и снова говорил. Но с первой же минуты, когда Коншин увидел ее, разлетевшуюся, на что-то решившуюся, смело вошедшую к нему, он почувствовал, что это будет совсем другая встреча.

Она внимательно слушала, уверенно записывала не без грамматических ошибок, как он убедился, заглянув в ее тетрадку. Но он не рассердился, не возмутился из-за этих ошибок, что неминуемо произошло бы, если бы на месте Леночки была другая женщина, может быть, потому, что и ошибки, и вопросы некстати, и напряженность, с которой она держалась, и его вспыхнувший интерес к этой напряженности — все происходило оттого, что между ними началось нечто неожиданное, то, что по своей внезапности никуда не вело и не могло длиться долго.

Сперва ему показалось забавным, что Леночка так старалась ему понравиться или, по крайней мере, не отступить, не сделать того, что могло бы его оттолкнуть. Он подсмеивался над тем, что она, по-видимому, этого смертельно боялась. Потом с сильно застучавшим сердцем он вдруг сбился в своих соображениях, приказал себе вернуться к холодности — и вернулся.

Зимой она пришла в старенькой беличьей шубке, было холодно, мокрый снег мотался за окном, и между ними была зима, тишина, резко очерченный круг света от настольной лампы. А теперь Леночка была в легком летнем платье, с открытыми руками, и он принуждал себя оставаться спокойным, глядя на крепкие загорелые руки, на молодую грудь, поднимавшуюся и опускавшуюся под тонкой материей. Ему уже кружила голова новизна неожиданности, неизвестности.

И когда, снова склонившись над тетрадкой, он коснулся щекой ее волос, вдохнул свежий запах, шедший от ее лица, волос, шеи, она замерла, вспыхнула, перестала писать. Но он снова справился с собой, и разговор продолжался — обыкновенный, но невольно сопровождавшийся острым ощущением близости, которая могла бы, кажется, перейти в другую, еще более острую. Он что-то говорил фальшиво-занимательно, стараясь скрыть, что расстроен, и она, казалось, была огорчена, хотя и совершенно иначе, чем он.

Они простились, и Леночка ушла, оставив его в состоянии ошеломленности. Над этой ошеломленностью он почему-то не в силах был посмеяться, что было совсем на него не похоже.

9

Коншин не ошибался, предполагая, что неожиданное нападение Осколкова на директора было чем-то вроде провокационной игры. Это еще не было поступком. Это был как бы макет поступка. Макет,

который мог пригодиться или не пригодиться. Однако макет был цельный.

Осколков знал Врубова, кажется, лучше, чем самого себя. Он не только прочитал все его научные труды — Врубов был в тридцать два года доктором наук, — но и публицистику, речи. Он тщательно изучил его биографию. Он решил его, как решают не очень сложную, однако требующую ума и смелости загадку.

В те далекие времена, когда появлялись первые работы Врубова, считавшиеся если не блестящими, то по меньшей мере оригинальными, многие полагали, что у него отраженный талант и что даже в своих лучших работах ему не удалось сказать собственное слово в науке. Так думал, например, Шумилов, который однажды, выступая в московском Микробиологическом обществе, не только срезал противника, но сокрушительно-весело посмеялся над ним, назвав Врубова «гением обусловленности», — Осколков был на этом заседании. Под обусловленностью понималась мода в ее социальном значении.

И Шумилов был прав. При любых обстоятельствах Павел Павлович Врубов стремился оказаться на виду. Административная карьера шла одновременно с научной — она была связана с выступлениями, лекциями, речами. Он прекрасно владел собой, не тонул в словах, и далеко не всегда можно было догадаться, что он говорил именно то, что должно было сказать в определенном месте и в определенное время.

Сомнительные компромиссы были неизбежны — Осколков знал наперечет и эти компромиссы.

Потом был неожиданный стремительный взлет — он получил назначение, о котором не смел и мечтать. Тогда-то и началось то, что Осколков в разговоре с Коншиным назвал властью в себе, утвердившейся навечно. Для человека умного — а Врубов считался человеком умным — это было несколько странно. Но Осколков сумел оценить и этот ум, плоский, лишенный иронии, не позволяющий видеть себя со стороны.

Потом Врубов срезался — на чем, это так и осталось неясным. Он стал директором Биологического института, и Осколков, уже работавший тогда в Институте, сумел оценить сложность его положения. Впрочем, сложностей было много. Главная заключалась в том, что директор оказался еще и руководителем огромного бесформенного отдела, в котором надо было что-то делать. Что же именно? Уже давным-давно он не «работал руками» — это была граница, за которой для одних начинается полоса итогов и размышлений, а для других «приписыванье», работа чужими руками. Осколков подсказал решение: отдел должен был существовать и развиваться, чтобы придать научной деятельности директора «современный характер». Все, что оказывалось в центре внимания страны, немедленно находило прямое отражение в работе директорского отдела. Для этого необходимо было навести в нем порядок — Осколков сделал и это. Так он стал тем, что в старину называлось *alter ego*, — вторым «я» Врубова в Институте.

Он научился умело придерживать и в то же время угадывать и расчетливо брать на себя все, что было для Врубова неприятно. Это было Осколкова не потому, что он считал для себя унижительными угодливость и покорность, а потому, что в этом положении для *п о с т у п к о в*, как он понимал это слово, не было оперативного пространства. А существовать, не вырывая у жизни новых возможностей, он не мог.

— «И очень хорошо,— думал Осколков,— что между Врубовым и Коншиным плохие отношения. Надо воспользоваться этим, чтобы поставить директора в ложное положение».

Но многое было еще «надо». Идея свалить Врубова и занять его место еще была тенью идеи, ее расплывчатым, неясным отражением.

10

Коншин женился сравнительно поздно, тридцати шести лет. Портрет девочки с вихрами, торчащими из-под косынки, висел у него на стене так, чтобы можно было, просыпаясь и засыпая, смотреть на него: девочка стояла на подоконнике, в пустоте, в голубизне распахнутого настежь большого окна. Под коротеньким халатом были видны крепкие, статные ноги. Другой портрет — та же девочка, уже почти женщина, с подобранными косами — стоял на его письменном столе в простой старинной рамке. Это была его жена Альда, умершая от родов.

Кроме нее, ни одна женщина никогда не вызывала у него желания соединить с нею жизнь. Он влюблялся искренне, стараясь не замечать, что у одних женщин не было вкуса, а другие старались научить его жить. Он огорчался, когда изящные, тонкие женщины в минуты близости совершенно забывали о нем и думали только о себе,— это казалось ему по меньшей мере несправедливым. Почти все они стремились выйти за него замуж — это вызывало в нем инстинктивное сопротивление. Ничего не прощал он только тем, которые не любили детей, таких он бросал немедленно, едва в этом убедившись. Он сам не просто любил детей — он постоянно думал и читал о них, он сразу же сближался с ними, искренно разделяя их интересы. Женщины, считавшие, что дети усложняют или даже отравляют жизнь, как раз и казались ему отравительницами, которым ничего не стоит совершить преступление.

Постоянное прислушивание к себе развило в нем острую наблюдательность по отношению к другим, и прежде всего это касалось женщин, существующих в собственном мире, для которого была характерна, как ему казалось, путаница мелочей. Путаница заключалась в том, что главное и второстепенное в их жизни могло мгновенно и без повода обмениваться местами. Этой черты не было, считал он, в Леночке Кременецкой.

11

Прошло больше года, прежде чем Коншин снова встретил ее; весной, уже не в блеске прежней розовой крестьянской свежести — ей было двадцать пять, когда они впервые встретились, а можно было дать восемнадцать. Он поздоровался, она ответила, улыбнувшись свободно, открыто. Сбоку не было зуба, это немного портило ее. Она нарочно улыбнулась так, чтобы все показать ему — и что нет зуба и что она похудела, подурнела и ждет новой встречи, пусть и случайной.

Это было на людной улице, и они говорили недолго. Он спросил, защитила ли она диссертацию.

— Да. И даже единогласно.

Еще минута — и они расстались бы, возможно, снова на год, если не навсегда. И, может быть, почувствовав это, она сказала ему свой адрес.

— Загляните,— сказала она, прощаясь и краснея.— Я свободна первые три дня недели.

Он ответил неуверенно:

— Может быть.

12

Леночка жила недалеко от Коншина, в заброшенном районе, каких много еще в Замоскворечье, его давно собирались перестроить. Коммунальная квартира была, очевидно, переделана из чердака, потолок в углу косо срезан, и там за ширмой стоял широкий матрас на ножках, покрытый спускавшимся со стены ковром.

Все было чисто, скромно. Много книг, один стеллаж «мой, биологический», объяснила Леночка. Другой — «математический, мужа».

Петр Андреевич пришел неудачно. Не прошло и четверти часа, как откуда-то из пригорода приехал свекор Леночки, седой, задыхающийся, багровый, добродушный и заметно огорчившийся присутствием у Леночки незнакомого мужчины.

Зачем-то Петр Андреевич принес шоколад, большую плитку, и стал теперь угощать старика, хотя это было почти неприлично,— Леночка потом сказала ему об этом: он должен был сделать вид, что угощает Леночка, а не он.

Но, прежде чем приехал свекор, когда они еще были одни, она успела сказать, что за эти полтора года не было дня, когда бы она не думала о Петре Андреевиче, не пожалела бы, что не видится с ним.

— Только когда сестра тяжело заболела и приходилось все делать мне,— сказала Леночка,— готовить, стирать, мыть посуду,— тогда не думала.

Сестра умерла, и ее сын остался на руках у Леночки. Он жил чаще у нее, чем у родителей Леночки,— они и сами нуждались в уходе.

Как бы заранее не предполагая в людях ничего дурного, инстинктивно стараясь поставить себя на их место, Коншин был воплощением прямоты, и, как ни странно, отсутствие затаенности, заслоненности не мешало, а облегчало ему жизнь. «Дурное» было, оно встречалось почти на каждом шагу. Но он привычно противопоставлял этому «дурному» свое «хорошее», бессознательно сохраняя душевные силы. Он остро чувствовал ложь, в его сознании она была связана с унижением. С детских лет его пугала и казалась неестественной раздвоенность, даже если она была вызвана важной жизненной целью. Эта раздвоенность почудилась ему в Леночке еще в тот день, когда она впервые появилась у него застенчивая и одновременно смелая, заранее решившаяся на что-то и забывшая о своем решении, когда он стал перекраивать ее неумелую работу.

Свекор ушел, они остались одни, и Коншин с удивлением убедился, что перед ним были как будто две женщины: одна с интересом слушала его мнение о «Ночах Кабирии» Феллини, об итальянском неореализме, другая бросилась к столу, едва он упомянул о ее диссертации. И не только упомянул, но стал связно и свободно диктовать то, что хотя и было связано с диссертацией, но уходило далеко за ее пределы. Она не понимала, переспрашивала.

— Записывайте, пригодится для докторской,— смеясь, сказал Коншин.

Потом он целовал ее, доказывая между поцелуями, что они ровно ничего не значат, и затыкал уши, когда она пыталась что-то объяснить, возразить. Так он ничего и не узнал о ней, кроме того, что она замужем давно, «уже два года», муж — математик и каждую неделю

уезжает на три дня в Иевлево, где преподает в местном техникуме. Почему-то, когда Петр Андреевич был уже в передней, она сказала, что ее муж высокого роста, «немного ниже, чем был Петр Великий».

13

— Вы, должно быть, удивились, когда я попросил вас заглянуть ко мне? — спросил, улыбаясь, Осколков.

— Почему же?

— Вы последнее время на меня волком смотрите. И ведь, кажется, у вас есть для этого все основания.

— Только ли кажется?

На этот раз не было разговора о живописи, не слушали Кэтлин Фэрриер, не пили французские и португальские вина. Осколков извинился — мать заболела — и сам устроил скромную закуску за журнальным столом в кабинете.

В этот вечер он выглядел особенно оживленным и свежим. Голубые глаза его, красивые, но несколько рачьи, сияли, он держался уверенно, разговаривал неторопливо, значительно, веско.

— Эх, Петр Андреевич! Разумеется, только кажется, потому что мало кто в Институте относится к вам с большим уважением, чем я. Знаю, что и к этим моим словам вы вправе отнестись с недоверием. Именно поэтому я и решился поговорить с вами. Так вот: не следует думать, что в неприятностях, с которыми вам приходится сталкиваться, я принимаю добровольное, — он подчеркнул это слово, — участие. Ну вот пример: по должности я был вынужден передать выписанный для вас анализатор аминокислот в директорский отдел. Но попробовали бы вы на моем месте этого не сделать! Это был прямой приказ Врубова, причем совершенно бессмысленный, потому что его сотрудникам этот прибор не нужен. И ведь это не единственный случай, не правда ли?

— Еще бы!

— Это расчет. И так как он начинает бросаться в глаза кое-кому и вне Института, Врубов, по-видимому, решил его оправдать.

— То есть?

— Вы понимаете, без сомнения, что этот наш разговор более чем доверительный. Сегодня я, выражаясь высокопарным стилем, отдаю себя в ваши руки. Вы никогда не задумывались над причинами неприязни Врубова к вашему отделу?

— Случалось, — осторожно ответил Коншин. — Однако любопытно, что об этом думаете вы.

Осколков помолчал.

— Независимость, дорогой Петр Андреевич, — вот причина причин! Он мало сказать не любит — он ненавидит вас, потому что вы держитесь вне тех границ подчинения, на которых он настаивает и в которых находится весь Институт. Он инстинктивно чувствует, что вы из тех, кто даже при желании не смог бы держаться иначе. Он не умеет управлять не властвуя, он считает, что иначе невозможно, а между тем у него перед глазами ваш отдел, в котором никто не властвует, а дело идет, — и, стало быть, это возможно? Но этого мало. У вас европейское имя. После смерти Шумилова ваш отдел стал одним из центров биологической мысли. Интерес к нему — и всесоюзный и международный — идет мимо Врубова. Значит, что же? Надо сломить вас, и тогда все станет на свои места. Но действовать, конечно, по возможности чужими руками. — И Осколков мельком взглянул на свои узкие, с длинными пальцами руки. — Теперь прикинем, как действовать. Наука? Тут к вам не подступиться. Разве что затруднить

международные контакты. Он так и делает — и, как вы знаете, не без успеха.

«Ах он? А уж не ты ли, голубчик?» — подумал Петр Андреевич. Он с трудом справлялся с нарастающим раздражением.

— Попытаться организовать нападение, так сказать, изнутри? Куда там! Вы за своими как за каменной стеной. Все за одного, один за всех. Стало быть, надо искать другие возможности. Вот, скажем, существовал при Институте такой Клуб науки и искусства, деятельность которого была признана вредной. Вы один из организаторов этого клуба, не так ли?

— Когда это было!

— Не имеет значения. Клуб закрыли, а вам предложили признать свои ошибки.

— А я их не признал.

— Вот именно. И это было оценено как полное равнодушие к своему общественному долгу. А ведь каков поп, таков и приход. Почему бы не связать этот поступок с весьма низкой посещаемостью вашими сотрудниками семинара по философии? Ну-с, что еще? Дисциплина. Ведь я сквозь пальцы смотрю на ваш свободный, мягко говоря, режим работы. Одни сотрудники засиживаются до поздней ночи, а другие опаздывают, и кто же подает им пример?

Коншин взглянул на него, поджав губы.

— Дисциплина должна опираться на интерес к работе. Нет интереса — нет и дисциплины. Впрочем, вам не кажется, Валентин Сергеевич, что выговор, если я его заслуживаю, вы могли бы сделать мне не у себя на даче?

Осколков бережно взял Коншина за локоть и тотчас же отпустил.

— Петр Андреевич, — мягко сказал он, — не для выговора пригласил я вас, а чтобы вместе обдумать создавшееся положение. Обдумать и, если можно, изменить его.

Коншин прислушался: слабый голос донесся откуда-то издалека. Прислушался и Осколков с тревожным лицом.

— Извините, я оставляю вас на несколько минут, — сказал он. — Посмотрю, что с мамой. У нее грипп затянулся, и я боюсь, как бы не началось воспаление легких.

Одна дверь из кабинета вела в коридор, другая в столовую. Поспешно выходя, Осколков плотно закрыл первую, и сейчас же, как это бывает в старых деревянных домах, бесшумно приоткрылась вторая...

Это было как во сне, когда одна картина, в которую едва успеваешь взглянуть, незаметно, загадочно подменяется другой, и сознание напрасно старается объяснить эту непостижимость. Не вставая с кресла, Коншин увидел сквозь приоткрывшуюся дверь ту часть столовой, где стоял диван и над ним висел запомнившийся натюрморт — бело-розовый букет сирени. На краешке дивана спиной к Петру Андреевичу сидел какой-то человек с неестественно длинной шеей, на которую, как на палку манекена, была надета маленькая стриженная голова. Человек этот, как разглядели острые глаза Коншина, был немолод, отрастающие волосики отливали седой. Он не обернулся, и это было естественно: он с головой ушел в свое показавшееся Петру Андреевичу странным занятие. Когда опытные кассиры считают деньги, бумажки, подчиняясь скользющему движению, так и мелькают перед глазами, а потом, при пересчитывании, снова мелькают, стремительно падая одна на другую. Именно так в столовой Осколкова считал деньги этот человек с маленькой головой. В его руках была одна пачка, но по дивану в беспорядке были разбросаны другие.

Долго ли, по-детски приоткрыв рот, смотрел на него изумленный Коншин, он и сам не знал — должно быть, минуты три или пять? Потом послышались шаги. Петр Андреевич поспешно переменил позу, взял со стола книгу...

— Извините,— входя, сказал Осколков. Слегка нахмурившись, он плотно закрыл дверь в столовую. — Так я говорил...

— Вы говорили, что стараетесь смотреть сквозь пальцы на отсутствие дисциплины в моем отделе.

Это было сказано хотя и серьезно, но слишком серьезно, и в голубых глазах Осколкова мелькнуло холодное выражение.

— В нашем разговоре нет места для иронии, дорогой Петр Андреевич, — жестко сказал он. — Ведь можно и так: встретились, поговорили и разошлись друзьями. Однако к сущности дела я еще не подошел.

— А сущность дела заключалась в том, что директор считает Институт своей вотчиной и управляет им по телефону? — дерзко спросил Коншин.

Почему-то этот человек, считавший в столовой деньги, развязал ему руки. «Еще какие-то тайны собачьи», — подумал он злобно. Он чувствовал опасную легкость в голове и боялся наговорить лишнее. Но остановиться было уже невозможно.

— О том, что директор считает себя вельможей и никак не может отвыкнуть от своего высокого звания, к этому можно многое добавить: внутри Института он действует против самых способных сотрудников. Он прекрасно знает медицинские круги и настолько самоуверен, что позволяет себе поиздеваться над видными деятелями этих кругов, — неосторожность, которая может вам пригодиться.

— Позвольте, позвольте...

— Да полно, Валентин Сергеевич! — побелев, сказал Коншин. — Почему бы не сказать прямо, что вы собрались накатать телегу на директора и решились воспользоваться нашими дурными отношениями в надежде, что я помогу вам состряпать это дело? И не верю я, что вы затеяли его с благими намерениями, хотя и допускаю, что вам неприятно досаждают мне неприятностями. Но как же вы не понимаете...

Он заставил себя замолчать. Молчал и Осколков — долго, минуты три. У него было странное лицо. Не торопясь он закурил, протянул портсигар Коншину и, когда тот взял сигарету чуть задрожавшей рукой, добродушно рассмеялся.

— Ну и нагородили же вы, дорогой Петр Андреевич, — сказал он. — Ну ладно. Забудем этот разговор. Вот давайте-ка я вам лучше коньяку налью. Хороший армянский коньяк, «Давид Сасунский». Его давно перестали выпускать, но мне достали бутылочку по знакомству.

Леночка не поверила Петру Андреевичу, когда он сказал, что встречаться у него нельзя, потому что в кухне живет Ольга Ипатьевна, старушка, которая вела все его незатейливое хозяйство. Она поняла, что единственная причина не в этом, — и была права. Коншин принимал у себя женщин только по делу. В его квартире, как и раньше, когда у него было две комнаты в коммуналке, никогда не происходило того, что заставило бы его повернуть портреты покойной жены лицом к стене. Он не мог не «изменять» ей, но он был верен памяти, и не было никакого смысла объяснять практической

Леночке («Отдельная квартира, а встречаться негде?») значение этого чувства. Впрочем, он жил в пригороде, ездить к нему было далеко, а Леночка почти всегда торопилась. Пока было лето, они гуляли в парках, иногда ездили за город. Однажды в Измайловском парке сторож прогнал их, и, хмурые, расстроенные, не разговаривая, они зашли в чайную. Была уже осень, серое сплошное небо, резкий ветер. «Расстаться?» — думал он тревожно, глядя на большую руку Леночки, державшую стакан, на раздосадованное и все-таки беспечное лицо, на черное пальто, явно перешитое с чужого плеча...

Она сама попросила Петра Андреевича снять комнату — и сделала это с той решительностью, которой не хватало ему.

Муж по-прежнему уезжал на три дня в неделю, но среди соседей по квартире были злобные сплетницы; встречаться у Леночки — об этом нечего было и думать.

Как-то незаметно произошло, что теперь Леночка распоряжалась их близостью. Не он, а она со своей склонностью к лжи, которую она от него и не скрывала, со своим размахом и здравым смыслом. Удивительно было то, что склонность к лжи, всегда внушавшая Петру Андреевичу отвращение, не только не отталкивала его от Леночки, но легко прощалась, забывалась, отодвигалась и даже опасно, соблазнительно привлекала.

Теперь они виделись часто. Он снял комнату у одной отслужившей актрисы. «Для работы», — сказал он. Но старая, накрашенная, с неестественно гладким лицом, торопливо-угодливая дама, сразу же все поняла и вскоре как будто даже с каким-то тайным удовольствием вручила Петру Андреевичу ключи: дверь запиралась сложно.

Леночка была немногословна, но иногда, в хорошем настроении, рассказывала о себе — талантливо, остро. Она и была талантлива. Петру Андреевичу становилось смешно, когда он находил в ее немногих работах свои мельком брошенные и толково развитые соображения. У нее добро даром не пропадало.

Однажды она пришла на свидание голодная, не успев пообедать. Петр Андреевич купил ветчины и булок и смотрел, как она ест, — на белые показывающиеся зубы, на короткий нос, на карие небольшие глаза, которые затуманивались, когда он ласкал ее. Надо было, как всегда, торопиться, но он не мог насмотреться, как она ест, как рвет руками бело-розовую ветчину и мягкую булку.

15

Жизнь отдела должна была идти как бы сама собой, почти без ощутимого влияния Коншина, хотя именно эта неощутимость и была основой его авторитета. Все это относилось к тактике. Но решения, связанные с магистральным движением вперед, требовали вмешательства, и это была уже стратегия.

Годы шли, внутри лабораторий возникали объединенные близкими темами группы. Молодые люди постепенно притирались друг к другу, и очень важно было не только не разрушить эту сложную нарастающую связь, но бережно упрочить ее, обозначить, раскрыть. Обычно выдвигался сотрудник наиболее способный, упорный, энергичный, сумевший убедить других идти рядом с ним к определенной цели. Так возникала группа, лаборатория в лаборатории, ядро в ядре, постепенно захватывающая собственное «место под солнцем».

Отдел существовал и развивался в обстановке внутренних и внешних сложностей, характерных для любого исследовательского института, с той разницей, что они были, по крайней мере, удвоены усилиями директора, понимающего толк в этом деле.

Это видел не только Коншин, но весь Институт, — именно поэтому нужно было вести себя по отношению к Врубову особенно осторожно. Кое в чем Петр Андреевич уступал вопреки мнению ближайших сотрудников и прежде всего Марии Игнатьевны Ордынцевой, которая в глаза называла его растяпой. Она была не права: он уступал, напоминая, что он таков и ни при каких обстоятельствах другим не станет.

Это были внешние сложности, а внутренние — совсем другие. Младшие стремились к кандидатским диссертациям, старшие, если это были талантливые люди, относились к докторской как к неизбежной, часто досадной преграде, которую надо было преодолеть, чтобы спокойно продолжать самое важное, подчас лишь косвенно связанное с защитой. Эти, сопоставляя личные и научные интересы, бескорыстно отдавали предпочтение делу. Но были и холодные карьеристы, относившиеся к науке как к предполагаемой возможности легко и благополучно прожить жизнь с ее помощью и под ее прикрытием. Таких нужно было нейтрализовать, и это удавалось бы Коншину, если бы ему не хотелось под горячую руку спустить с лестницы неосторожного склочника или любителя преждевременных сенсаций.

16

Было что-то завораживающее в том, что по временам он становился другим. Он как будто с головой нырял в неизвестность. Жизнь, состоявшая из его науки, из сложного положения отдела, которым он руководил, из институтских склок и интриг, от которых он уклонялся, была ясна. В другой все отклонения, которые могли случиться, воплотились в одном большом Отклонении — в Леночке, всегда торопившейся к племяннику, которого не с кем было оставить, смешно сердившейся, когда Коншин опаздывал хотя бы на минуту. Отклонение манящее, опасное, с небрежно заколотыми пышными волосами, с высокой прямой шеей, придававшей стройности походке, с нежной белой шеей, которую он любил целовать. Это Отклонение было далеко от его привычной, день в день повторяющейся жизни — далеко и вместе с тем неотразимо близко. «Вне» было одновременно «внутри», и скрыть это от самого себя можно было, только притворяясь.

Но откуда взялось ощущение лжи, неизменно сопровождавшее эту желанную близость? Почему он не чувствовал полной свободы по отношению к Леночке, как это было с другими? И что делать с инстинктивным желанием разрыва, в то время как, ожидая свидания, он волновался, если Леночка опаздывала на четверть часа?

Но вот пришли дни, когда Отклонение ушло, — стало быть, его тайное желание исполнилось?

17

Оба переболели гриппом, Леночка легким, Петр Андреевич тяжелым. Когда он поправился, но слабость еще не прошла, он каждый день сидел в сквере недалеко от дома. Однажды он позвонил ей, и она пришла с туго набитой хозяйственной сумкой, прямо с работы. Вечером они с мужем ждали гостей, и, чтобы не терять времени, она заранее купила продукты. Была зима, Петр Андреевич сидел на скамейке в шубе и валенках, в сквере гуляли няни с детьми,

Болезнь заставила его сосредоточиться, остановиться, а Леночка летела куда-то в заботах несущегося дня — устраивала в детский сад племянника, затеяла новую работу, «в которой, — сказала она, краснея, — мне без тебя не обойтись. Поможешь?».

— Еще бы! А почему покраснела?

— Не знаю. Соскучилась.

Они разговаривали недолго, Петр Андреевич вернулся и лег, еще чувствуя в своих руках ее большую нежную руку.

Он приехал, и дело действительно оказалось важное: Леночка решила перейти в его Институт. Еще до того, как она сказала, кто ее приглашает, Петр Андреевич с беспокойством подумал, что институтские знакомые почти наверняка видели их вместе где-нибудь на улице или в парке и тогда не обойтись без сплетен. Но тут же он мгновенно забыл об этом, узнав, что Леночку приглашает Врубов.

— Не может быть!

— Почему же? Он меня знает, я у него начинала. Всем известно, что ты с ним в плохих отношениях. Ну и что? У тебя в неприятельском лагере будет свой разведчик.

— Неприятельского лагеря нет, — потирая лоб, сказал Петр Андреевич. — Наш отдел в немилости, но это еще не война. Почему ты так решила? Впрочем, это не имеет значения... Если же говорить о деле, то чему ты сможешь у него научиться?

— Конечно, не у него! Он предлагает мне младшего научного сотрудника у Ватазина. Ты сам как-то говорил, что Ватазин способный.

— Способный, мягкий, безвольный и очень больной. Сам он человек порядочный, по-моему, но его сотрудники... Они вьются вокруг Врубова, льстят ему, превозносят.

— Ты думаешь, что я способна льстить и превозносить? — холодно сказала Леночка. — Ваш Институт — первой категории. Мне будут больше платить, почти на тридцать рублей. Для меня это немало. А научиться... Ты сам знаешь, у кого мне хотелось бы хоть чему-нибудь научиться.

Это было то, о чем Коншин думал много раз. В его отделе Леночка с ее сметливостью и энергией живо нашла бы свое место. Но если он не может взять ее к себе, справедливо ли отговаривать ее от лаборатории Ватазина?

— Ну подумай! Во-первых, наш институт перед вашим, как говорится, все равно что плотник против столяра. Во-вторых, моя Се-рафима давно забыла все, что когда-то знала, и просто не понимает, чем занимаются ее сотрудники, и я в том числе. Так что же, мне так и сидеть у нее сложа руки? А у вас, ты представь себе только...

Теперь они разговаривали спокойно, тщательно взвешивая все за и против. Может быть, и в самом деле грешно было отказываться от возможности работать у Ватазина? Попасть к нему нелегко, об этом мечтают многие, и если он согласится...

Но важнее всего этого было то, что Леночка намеренно — он в этом не сомневался — отвезла Вовку к его отцу, надела к приходу Петра Андреевича свое лучшее платье (он знал все ее платья) и подкрасила чем-то голубоватым веки. Подкрасила, насмешив его, потому что ее лицу с живыми, естественными красками не шли искусственные. Она пудрилась, но перестала красить губы, после того как кто-то однажды сказал ей, что с накрашенными губами сна становится похожей на куклу.

Решено было летом уехать куда-нибудь вдвоем хоть на несколько дней. Они выбрали Прибрежное, маленький курортный городок на Черном море, и поехали в разное время, чтобы не вызвать подозрений. Петр Андреевич придумал командировку, Леночка сговори-лась с подругой, которая тоже ехала на юг, но в другое место и дол-жна была в случае необходимости подтвердить, что они ездили вместе.

Они поселились у толстой, еще красивой женщины, молдаван-ки, с пьяным, бродившим по ночам мужем-маляром, которого она оглушительно проклинала, и Леночке понравилась эта комната, двор с утками, этот живой плетень с ветками и зелеными листочками, хвосты винограда, свисавшего над темной, прохладной частью дво-ра. Она любила все деревенское, негородское. Мать ее была из дво-рянской семьи, отец из крестьян, и она любила рассказывать о по-ездках вместе с ним в его родную деревню. Она говорила, что пошла в отца, — и правда, что-то деревенское было в ее больших руках и ногах, в ее трезвости, беспечности, в ее твердом свежем лице.

Они были одни и теперь, когда никто не мешал им, стали жить неторопливо, без прежней неутолимости, без страха потерять мину-ту. Купаться они ходили не на пляж, а в далекие, плохие для куп-анья места и проводили у моря целые дни — разговаривали или по-долгу счастливо молчали.

Леночка рассказывала, как ей работает на новом месте, рас-сказывала, как всегда, талантливо, в лицах.

— Ты знаешь, я думала, что Осколков туповат, но ничуть не бывало. Он с выдумкой и умеет заставить всех себе повиноваться. К тебе он относится плохо.

— Почему?

— Не укладываешься в схему. И на твоём месте я бы, пожалуй, постаралась уложиться. Потому что в противном случае тебя ждет множество хлопот. Тебе не мешало бы вести себя, как Ватазин.

— А именно?

— Он молчит, когда ждут, что он заговорит. И говорит, когда ждут, что он будет молчать.

— И его заставляют повиноваться?

— Иногда. Обычно он угадывает, что от него хотят.

— Н-да... Но ты знаешь... Брать с него пример мне все-таки не хочется. Ты с ним кокетничаешь?

— Напропалую.

— Зачем?

— Еще не знаю. Может быть, пригодится.

— Ты знаешь, ведь об этом говорят в Институте.

— А о чем именно?

— Да вот... Со всеми кокетничает, но дело знает. И что вата-зинскую лабораторию не узнать. Врубов уже где-то отозвался о тебе с восторгом. И вообще, — смеясь, сказал Петр Андреевич, — ты, оче-видно, карьеристка?

— Ложное впечатление. Просто Ватазин часто болеет, и тогда все останавливается. А я продолжаю работать. Это новость, и ка-жется, для всего Института, кроме, разумеется, твоего отдела. Мож-но бездельничать, а человек работает. Чудак! А что ты думаешь об Осколкове?

— Я думаю, что он опасный подлец, — сказал Петр Андреевич.

Он спросил себя, рассказать ли Леночке о своих встречах с Ос-колковым. Необъяснимое чувство удержало его.

Однажды они купались под развалинами старой крепости. Леночке захотелось пройтись, и она в одном купальном костюме ушла в горы. Прошло полчаса, он уже места себе не находил от беспокойства. Наконец она появилась, статная, высокая, шагающая упруго, легко, и он подумал: «Неужели эта женщина принадлежит мне и сегодня вечером снова будет моей?..»

В другой раз они разговорились с местными рыбаками, которые жаловались на плохие, особенно в этом году, уловы, на правление артели. Почему они говорили с Петром Андреевичем так откровенно? Может быть, они приняли его за журналиста, который может им в чем-то помочь? И, слушая их, он подумал с чувством стыда, что в сравнении с жизнью этих людей у него позорно легкая жизнь, что ему надо не обнадеживать их, а повиниться перед ними за счастье этой поездки, вдруг показавшейся ему жалкой, ничтожной. Но вот Леночка, вертевшая его шляпу в руках, надела ее на себя (должно быть, ей наскучил разговор), и он мгновенно забыл о своем раскаянии — так она была хороша, свежа после купанья, так привлекательна и крепка.

Обедали они в столовой, а на завтрак, ужин ели что придется — хлеб с консервами, молоко. В Леночке не было женской хозяйственности, она не баловала Коншина заботами, и он думал, что у нее, наверное, и дома так — есть что-нибудь, и ладно. Нетребовательность Коншина нравилась ей.

— У тебя хороший характер, — сказала она ему однажды.

Петр Андреевич уступил Леночке широкую полуторную кровать, а сам спал на узенькой полудетской. Матрац лежал на веревочной сетке, она рвалась, каждое утро он чинил ее обрывком старого невода. В седьмом часу он просыпался, долго лежал с закинутыми под голову руками, потом выходил во двор, переступая через спавших в сених хозяев. И сладко было после душной комнаты (окна были завешены марлей от мух) вдохнуть утренний морской воздух, посмотреть на прохладное, с гаснущими звездами небо.

Они получили письма. Петр Андреевич от Левенштейна об институтских делах, очень его беспокоивших, Леночке подруга прислала письмо от мужа.

Вечером они пошли в кино, не досмотрели фильм, ушли и долго молча бродили вдоль моря. Леночка стала спрашивать, что пишет Левенштейн, и Коншин вдруг холодно перебил ее:

— А что пишет муж?

В последнюю перед отъездом ночь он лег рано. Его немного знобило, спину и плечи покалывало, как после солнечного ожога.

Он долго не мог уснуть и, проснувшись внезапно среди ночи, не понял, что с ним происходит. Чужая женщина лежала на широкой кровати. Под легким одеялом видны были очертания крупного тела. Лунный свет падал в окно, где-то назойливо жужжала муха. Из сеней слышался храп, сонное кряканье доносилось со двора. «Где я? Что со мной?»

Женщина спала, бесшумно дыша, одеяло поднималось на груди и ровно опускалось. С холодной ненавистью он долго смотрел на нее.

Это прошло, когда на случайном грузовике они едва успели к поезду, — условленная машина не пришла. И только что вышли на станции, как началась прежняя зависимая жизнь: какие-то экскурсанты, среди которых почудились даже знакомые лица, неподалеку на маленькой площадке разбирали вещи...

Все обошлось с этой поездкой на юг, о которой Леночка потом

говорила с восхищением — не о самой поездке, а о смелости, с какой они на нее решились.

Леночка вышла на какой-то станции, откуда ей было ближе до дачи, и хотя потом муж нашел в сумочке два железнодорожных билета, ей удалось как-то выпутаться, предупредив подругу.

20

Старая актриса заболела, они лишились комнаты, и однажды вдруг без предупреждения он приехал к Леночке, придумав на всякий случай какой-то шаткий предлог, если муж окажется дома. И все сошло благополучно, она радостно встретила его, взяла за руку, повела к себе. Оказывается, она была одна в квартире.

Но в другой раз соседи не только оказались дома, но очень заинтересовались Петром Андреевичем. Шляпница-модельерша поступалась и убежала, чтобы примерить на Леночке новую шляпку, потом зашел кто-то еще...

Когда нельзя было больше оставаться, она первая осторожно вышла в коридор, потом молча поманила Петра Андреевича, и он быстро шагнул на площадку, услышав за собой негромкий стук закрывшейся двери...

На следующий день она позвонила.

— Я вас прошу никогда больше не приходить ко мне, — сказала она ровным, спокойным голосом. — Не звонить, не писать и вообще забыть о моем существовании.

Ничего не понимая, он только ответил:

— Хорошо.

И повесил трубку.

Все объяснилось через несколько дней, когда они уговорились встретиться у памятника Пушкину на десять минут: соседи рассказали мужу, что Петр Андреевич бывает у Леночки.

— Ничего не было упущено. Дни, часы, едва ли не минуты!

Сперва она держалась с мужем нагло-спокойно — она и прежде говорила Коншину, что становится холодной, как лед, когда муж начинает ее ревновать. Но на этот раз он был подавлен, разбит. Он перестал спать, ходить на работу, а потом замолчал и целые дни неподвижно лежал на диване. Она испугалась и стала отчаянно, напропалую изворачиваться и лгать. Муж, кажется, поверил — или дал себя уговорить. Они помирились. Интеллигентный, тихий человек, он грубо изругал соседку-модельершу, когда та снова стала на кухне оговаривать Леночку.

— Мы не будем теперь встречаться долго, — твердо сказала она Петру Андреевичу. — Полгода.

21

Приближалась весна, возобновились и его прогулки, прекрасные, чистые, по не прибранному после зимы лесу. Он уже начинал зеленеть, обломанные голые ветки хвороста торчали, напоминая геометрических хвостатых зверей; тропинки, еще влажные, едва прочерчивались среди прошлогодней травы.

Это были два часа, когда он наконец оставался один и можно было спокойно вернуться к любимому строю мыслей. Два бесценных часа, когда он переставал чувствовать себя «собакой, которую за хвост оттаскивают от мяса», как он любил говорить.

Его и прежде оттаскивали, внезапно прерывая опыт, вызывая на совещание, где приходилось слушать длинные речи Врубова, от-

таскивали, требуя, чтобы он переделывал планы, почти всегда неопределенные, потому что цель науки — истина и предсказать ее заранее невозможно. Но после его последней встречи с Осколковым работать стало еще труднее. Снова отказали в необходимом, выпитом по его настоянию приборе. Не пустили в Швецию Володю Кабанова на симпозиум, посвященный его работе, и пришлось целый день возиться с ним, доказывая, что не надо жаловаться министру здравоохранения. Опальный отдел! По-видимому, для тех, кто старался заслужить расположение директора, это была карта в какой-то происходящей за спиной Коншина игре.

Он был человеком воображения, он тонко понимал людей, легко угадывая их намерения и желания. Но поставить себя на место другого человека он не мог, в особенности когда встречался с прямо противоположным способом существования. Какая-то врожденная наивность мешала ему. Он не в силах был представить себе естественность называния черного белым. Как согласиться с тем, что мешать полезной работе — полезно? Это было для него так же трудно, как убедить себя в том, что разумнее ходить не на ногах, а на руках.

То, что происходило в последнее время с ним и его сотрудниками, нельзя было назвать иначе как бессмыслицей, вредной с государственной точки зрения. Ничего не оставалось, как сопротивляться ей, и в этом отношении он был силен. Прямодушие и упрямство остро соединялись в этом сопротивлении, и, как ни странно, ему помогало то, что он не был создан для «игры в отношения».

22

Прошло четыре месяца, как он виделся с Леночкой, и он не испытывал ни малейшего желания возобновить эти встречи. Он вспоминал минуту необъяснимой ненависти к ней ночью в Прибрежном. Быть может, тогда за слепотой, за самообманом открылось подлинное, невыдуманное чувство?

Теперь ему казалось странным, что в ее присутствии он начал чувствовать себя другим, действуя, как собственный двойник, закрывающий глаза на все, что составляло главную сторону существования. И, думая о Леночке холодно, почти равнодушно, он старался объяснить себе, что же в ней так привлекало его. Ее нельзя было назвать даже хорошенькой, у нее были большие руки и ноги, грубоватое, хотя и полное жизни лицо. Небольшие глаза, пышные, но слишком тонкие, рассыпающиеся волосы. Что заставляло мужчин оглядываться на нее на улице? Сколько раз он замечал, что они будто заставляли себя отрывать от нее глаза, — и Леночке это, несомненно, нравилось.

Все это время она не звонила ему. А если бы позвонила — ну что ж! Разве не случалось им разговаривать в спокойном, дружеском тоне? Так будет и теперь. «Ну как дела?» — спросит она, и он ответит: «Ничего, спасибо». И о новых встречах ни слова!

В этот день Коншин приехал на работу к часу дня и застал ора торствующую Марию Игнатьевну, вокруг которой с заинтересованными лицами сидели и стояли Володя Кабанов, Тепляков и Скопина. Похоже было, что все они куда-то шли и остановились на минутку, а потом застряли. По обрывку фразы — Марию Игнатьевну кто-то перебил — он понял, что импровизированное заседание посвящено, как это ни странно, Леночке Кременецкой. Дверь в лабораторию была полуоткрыта, но все слушали Ордынцеву с таким вниманием, что появление Петра Андреевича осталось незамеченным — он вошел в свой кабинет из коридора. Обсуждались перемены в отделе

Ватазина, причем не научно-организационная сторона этих перемен, так сказать, а их нравственное значение. И оратор и слушатели остановились перед загадочным вопросом: как могло случиться, что Ватазин, серьезный, значительный ученый, оказался под влиянием новой сотрудницы, работающей у него без году неделю?

— Распоряжается в лаборатории, как у себя дома, — говорила Мария Игнатьевна. — Это уже не влияние, а... Не знаю, как и назвать!

— Оккупация, — серьезно предположил Володя.

— А вы, Володя, чем смеяться, лучше помогите бы делу. Я видела, как она с вами в коридоре кокетничала. Вы человек холостой, молодой, интересный.

Трудно было назвать Володю с его кривыми ногами и синими — вопреки тому, что он брился дважды в день, — щеками интересным мужчиной, но когда Мария Игнатьевна входила в азарт, она не оставалась перед мелочами.

— Вот и взялись бы за дело!

— За кого вы меня принимаете!

— Марья Игнатьевна, а вы, оказывается, сплетница, — грустно сказал Тепляков. — И интриганка.

— Сплетница — да, потому что все женщины сплетницы, а интриганка — нет. Ведь Ватазин — больной человек. У него уже было два инфаркта.

— А по-моему, нехорошо так о ней говорить, — сказала Скопина, слушавшая до сих пор молча. Она всегда мучительно краснела, вмешиваясь в разговор, задевавший личные отношения. — Ведь мы, в сущности, ее совершенно не знаем. А мне она нравится. Мы на днях познакомились. Она добрая. И вежливая. У нее сестра умерла, она племянника воспитывает и рассказывала мне о нем... Так не мог бы рассказывать плохой человек. И вообще все как один говорят, что в лаборатории все буквально заиграло с ее появлением.

— Может быть, и заиграло, — сказала добрым, сердитым голосом Мария Игнатьевна. — Но как бы эта игра плохо не кончилась!

С чувством вдруг охватившей его ревности, от которой остро заболела голова и захотелось что-нибудь сломать, сокрушить, Коншин выслушал этот, впрочем, вскоре оборвавшийся разговор.

«Так вот что — Ватазин, — думал он. — Ну да почему бы и нет? Боже мой! А я еще сегодня серьезно думал о ней, вспоминал, волновался. — Он уже забыл о том, что думал о Леночке не только равнодушно, но готовился к подчеркнуто-спокойному разговору, после которого невозможны были бы новые встречи. — И уже весь Институт знает об этом! И обсуждаются планы, как спасти от нее Ватазина. Так, может быть, и вся эта история с мужем была выдуманна, чтобы расплеваться со мной?»

У него было напряженное, взволнованное лицо, он это знал. Но ему всегда удавалось (когда это было необходимо) как-то «распустить», освобождать лицо. Так он поступил и в этот раз: вызвал Володю Кабанова и стал с непривычной для него строгостью выговаривать ему за то, что в его работе одно осталось недоказанным, а другое похоже на артефакт.

— Только этого еще не хватает!

Но когда Леночка позвонила через несколько дней, он уже справился с собой и был совершенно спокоен.

— Как дела?

Коншин ответил осторожно:

— Все хорошо, спасибо.

— А почему не звонишь?

— Но мы же условились.

— Что же что условились! Мог бы и позвонить. Здраваться перестал.

— То есть?

— Вчера нос к носу столкнулись в коридоре. Посмотрел прямо в лицо и прошел мимо.

— Да что ты! Извини. Должно быть, задумался.

— Не знаю, не знаю. А я уже решила, что ты поверил своей старой сплетнице.

— Какой сплетнице?

— Да Ордынцевой же!

— Марии Игнатьевне? А на кого она сплетничает?

— Не притворяйся, пожалуйста, — уже сердито сказала Леночка. — Она по всему Институту распустила грязную сплетню, будто я уморила Ватазина.

— Как уморила?

— Неужели не знаешь? У него третий инфаркт.

Она еще что-то говорила, но он уже еле слушал. Значит, Мария Игнатьевна на ветер слов не бросала! Мигом вся история отношений между Леночкой и Ватазиным выстроилась перед ним.

— Вообще мне надо с тобой поговорить, — сказала Леночка.

Он назвал день — не близкий, даже далекий.

— Понятно. А поскорее нельзя?

«Сказать — нет?» — мысленно спросил он себя. И сказал:

— К сожалению, нет.

— Понятно, — повторила она. — А ты не можешь ко мне заглянуть?

Он снова хотел сказать «нет», но она продолжала:

— По старой памяти.

Теперь в голосе почудился смех, и он успокоился. Леночка подчеркнула это «по старой памяти», стало быть, поняла, что все между ними кончено. И, может быть, даже надо встретиться, чтобы эти новые, ни к чему не обязывающие отношения установились. Но они установились и без новой встречи.

Коншин пил немного, но он и не нуждался в том, чтобы пить много. Уже после третьей рюмки жизнь казалась ему пресной и хотелось украсить ее какой-нибудь неожиданностью, подчас острой или даже опасной.

Левенштейн знал это и хотел проводить его до стоянки такси, но Петр Андреевич отказался. Ему хотелось, чтобы тот памятный вечер, когда бугай «слетел с копыт» и он отвез Хорошенькую домой, повторился.

Многое было похоже. Пар клубящимися шарами выкатывался из дверей «Бухареста». Снег неподвижно висел в воздухе словно нарочно, чтобы все видели, как он искрится в голубоватом свете. Но в очереди стояли какие-то толстые бабы, не нуждавшиеся в покровительстве Коншина, скучно садившиеся в подходившие машины. Хорошенькой не было, а между тем ему нужно было увидеть ее положительно «до зарезу», и он решил, что ничего не произойдет, если вместо «Лоскутово» он скажет водителю «улица Алексея Толстого». Может быть, он посоветуется с ним, если попадется толковый парень. Он попросит его подождать, а сам поднимется по лестнице и постарается вообразить, что получится, если он нажмет кноп-

ку звонка. Может быть, он просто постоит на лестнице и уйдет. Самое важное заключалось в том, что он необыкновенно отчетливо помнил не только адрес, но и обитую клеенкой дверь, на которой осталось пятно от снятой дощечки.

— Улица Алексея Толстого, — сказал он водителю.

В крайнем случае муж (если Хорошенькая замужем) спустит его с лестницы. Не хотелось бы. Впрочем, необъяснимое предчувствие подсказывало ему, что все обойдется. Пьяных любят, а он, кажется, почти не пьян. У него легко шумит в голове, и кто-то ласково доказывает, что ничего невозможного, в сущности, нет. Советоваться с шофером ему расхотелось. Не поймет, и в конце концов это было его, Коншина, личное дело.

Он перешел небольшой дворик, поднялся на второй этаж и обрадовался, что не ошибся — на двери было выцветшее квадратное пятно. И круглый глазок, на который он в прошлом году не обратил внимания. Откуда-то доносился слабый стук пишущей машинки — похоже, что из-за двери. Оставалось одно — позвонить, и выяснилось, что это не так уж и трудно. Он нажал кнопку, послышался мелодичный звонок — две ноты. Машинка умолкла, и женский голос спросил:

— Кто там?

— Простите, — сказал Коншин, — но это, к сожалению, вопрос, на который почти невозможно ответить.

За дверью помолчали.

— Вы, вероятно, ошиблись?

— Думаю, что нет. Если у вас хорошая память на лица, не откажите в любезности посмотреть в глазок. Маловероятно, но кто знает? А вдруг вы меня вспомните?

Он чиркнул спичкой и поднес ее к самому подбородку.

— Может быть, вам поможет подсветка? Узнаете? Ну конечно нет, потому что это было без малого год назад на стоянке такси, напротив ресторана «Бухарест». Не могу сказать, что с тех пор я так уж часто вспоминал о вас. Но, вы понимаете, обстоятельства сошлись — снова зимний вечер, воскресенье, снег. Надо домой, много работы, а работать не хочется. Я приехал, чтобы спросить — не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Уверяю вас, совершенно бескорыстно. Мало ли что могло случиться за год.

— Я вас плохо слышу.

— А вы приоткройте дверь, заложив ее предварительно на цепочку, — обстоятельно посоветовал Коншин. — А я повторю, и, если хотите, с подробностями. Ведь это безопасно. Вы увидите меня, и, может быть, мое появление не покажется вам таким уж странным. Возможно даже, что вы почувствуете себя в андерсеновских галошах счастья, а они, как известно, исполняют любое желание. Например, вы можете решить, что это более чем странно — являться к вам после десятиминутной прошлогодней встречи, и я расту, как мараж, а вы уснете в полной уверенности, что увидели сон.

Послышался легкий звон цепочки, и дверь приоткрылась — ровно настолько, чтобы увидеть, что Хорошенькая была в хорошеньком голубом халате. И Коншин, по-видимому, стал виден ей — в распахнутом пальто, с небрежно замотанным шарфом, в шапке, откинутой на затылок, высокий, с нервным лицом, которое Маша нашла красивым.

— Вы не очень пьяны?

— Все относительно. С моей точки зрения — нет.

— Это действительно очень странно, что вы вдруг вспомнили обо мне. Так вы не боксер?

— Увы, нет. Я занимаюсь наукой в одном забытом богом Институте. Моя фамилия Коншин, а зовут Петр Андреевич. А теперь, если ваш муж не собирается спустить меня с лестницы...

— Никто не собирается. Да и некому. Но так не знакомятся. Мне по меньшей мере не случалось. Запишите мой телефон и как-нибудь вечером позвоните. Меня зовут Мария Павловна. Спокойной ночи.

И она захлопнула дверь.

24

Наутро он проснулся с ощущением, что накануне произошла какая-то ошибка, нелепость. Нет, не ошибка, а как раз нелепость. У Левенштейна они изрядно хватили, а потом он поехал... Выжимая гантели, приседая, изображая бег на месте перед открытым окном, он вдруг схватился за голову и побежал в ванную.

«Но о чем я болтал, черт побери?—думал он, стоя под ледяным душем, а потом свирепо растирая полотенцем свое худое сильное тело. — Доказывал, что я не боксер? Рекомендовался?»

Робкая надежда, что все это, быть может, только приснилось ему, все же теплилась, копошилась, хотя после ледяного душа воображение с какой-то дьявольской отчетливостью нарисовало перед ним приоткрытую дверь, за которой мелькал голубой халатик. И более того — в ушах повторялся, как звон старинных часов, мягкий, но решительный голос: «Так не знакомятся... Как-нибудь позвоните».

Насилу дождавшись вечера, он позвонил и горячо, искренне извинился.

— Мне смертельно хочется попросить вас не сердиться. Но я знаю, что это невозможно, и поэтому сердитесь, только, ради бога, не очень.

— Я не сержусь. Вы были вежливы. И вообще это было забавно.

— Правда? Ну тогда все хорошо. Дело в том, что мне вдруг до смерти захотелось, чтобы та прошлогодняя сцена повторилась. И я решил...

— Об этом нетрудно догадаться, — смеясь, сказала Маша. — Вы решили съездить за мной, поставить в очередь на такси, а потом съездить по уху какому-нибудь нахалу.

— Так вы не сердитесь?

— Да нет же! Более того: я уже многое узнала о вас.

— Каким же образом?

— Вы знакомы с Верой Николаевной Поповой?

— Нет.

— Это мой лучший друг. Она замужем за сотрудником вашего Института, мы вместе ездили в больницу и в разговоре я спросила о вас. Его фамилия Ватазин.

Петр Андреевич не мог удержаться от изумленного восклицания:

— Георгий Николаевич?

— Да.

— Прекрасный человек и глубокий ученый.

— Точно так же он отзывался о вас. И даже еще более лестно.

— Как его здоровье?

— Он поправляется. Вы ведь знаете, у него третий инфаркт.

«Я-то знаю больше», — подумал Петр Андреевич.

— Выписывается на днях.

— Слава богу.

Казалось, время было проститься, но оба медлили, и неловкое мгновение прошло, когда Коншин спросил:

— Надеюсь, вы разрешите мне когда-нибудь увидеть вас не через дверь?

— Буду рада. Я работаю, но часто дома. Машинистка. Кстати, как раз переписываю докторскую Ватазина.

— Так когда же?

— В субботу.

И они встретились, но при других обстоятельствах, бесконечно усложнивших жизнь Коншина и заставивших его глубоко оценить новое знакомство.

25

Теперь неприятности отнимали почти все рабочее время. За каждой из них Коншину мерещился — не без основания — вежливый человек, никогда не повышающий голоса, седеющий, с большим благородным лицом, как бы озаренным ярко-голубыми глазами. Еле различимый за спиной Врубова, он тем не менее сумел за последний год занять в Институте совершенно особенное положение.

По плану международного сотрудничества работники отдела должны были выезжать за границу для участия в симпозиумах и конгрессах, и всякий раз — не без участия Осколкова — их имена вычеркивались и заменялись другими.

Когда приглашение получал сам Коншин — это случалось часто, — Осколков не решался действовать открыто. На уровне Института и райкома поездка получала полное одобрение, а в Академии или даже в министерстве срывалась по неясным причинам, которые Коншин не умел и не желал выяснять.

Премии, выдававшиеся из директорского фонда, но почему-то проходившие через руки Осколкова, обходили отдел, и это иногда доводило Коншина до бешенства.

Просьба о премировании часто была связана с завершением цикла важных работ, и в список обычно включались и технические работники, низко оплачиваемые вопреки тому, что они работали не за страх, а за совесть. Так, он однажды схватился с Осколковым из-за уборщицы, которая была абсолютно необходима отделу и отказывалась работать за шестьдесят рублей в месяц.

Заявки на заграничную аппаратуру неизменно оставались без ответа, а когда аппаратура все-таки появлялась, директор под каким-нибудь предлогом передавал ее другому отделу. Иногда это происходило втайне от Коншина, где-то за кулисами, в глубине громадного Института.

Способные студенты, работавшие у Петра Андреевича, получали отказ, когда после окончания вуза они просили направить их в его отдел.

Были и другие нелепости, придирки, прямые и скрытые подлости, столкновения и недоразумения.

Наконец, впервые скользнули показавшиеся Коншину невероятными слухи, которые заставили его подумать, что, может быть, стоит заранее обратиться к друзьям покойного Шумилова, имена которых были известны биологам всего мира. Они-то понимали предсказывающее значение его работ, они умели оценить само существование отдела как долг перед его памятью и, следовательно, перед наукой.

Впрочем, на основании слухов, да еще казавшихся невероятными, обращаться к ним было и невозможно и бесполезно.

В печальных и тревожных снах, когда уже ничего нельзя было изменить, он улетаЛ, взмывал вверх, легко владея собой, и полет неизменно связывался с чувством простора и счастья. Еще мать говорила ему, что летание во сне означает, что дети растут. Значит, в свои зрелые годы он возвращался к детству, потому что в эти минуты чувствовал ничем не замутненную, естественную, может быть, свойственную только младенцам свободу.

С этим-то желанием улететь он вошел в кабинет Врубова, который встретил его, как всегда, с той искусственной вежливостью, за которой можно было предположить и демагогический ход и скрытую угрозу.

За директорским столом сидели, кроме Врубова, три его заместителя — Павшин, Сенявин (чем-то похожие друг на друга, чернявые, худощавые, с чубами) и Осколков, подтянутый, спокойно и уверенно поглядывающий по сторонам. Народу было много — секретарь парторганизации, кадровик, председатель месткома, кто-то еще и еще — эти сидели за длинным столом для совещаний.

В свои семьдесят лет Врубов был еще, что называется, видный мужчина. Не согнулся, двигался свободно, и его походка, высокий рост, умение держаться внушали невольное уважение. Костюмы и в молодости и в старости сидели на нем прекрасно. «Выдавали» его почему-то только совершенно голая круглая голова да привычка часто оглядываться. Проницательный взгляд угадывал неуверенность за его покровительственной манерой держаться.

Речь, которой он открыл заседание, состояла, как обычно, из общих мест, однако на сей раз в ней неоднократно упоминалось о необходимости существенных перемен в самой структуре Института.

— С каждым годом в нашей стране... Время не стоит на месте... Идти вперед можно, только меняясь... Речь идет прежде всего о научной истине...

Он механически раскрывал и закрывал рот. Два красных пятнышка горело на впалых щеках. Неужели он волновался?

— Я надеюсь, Петр Андреевич, что вы одобрите эту меру, потому что сами, очевидно, чувствуете известную необходимость в обновлении отдела.

— О каком, собственно, обновлении идет речь?

— А вот сейчас вы об этом узнаете. Валентин Сергеевич, — обратился он к Осколкову, — прочитайте приказ.

— «Согласно решению бюро отделения Академии биологических наук и утверждению новой структуры Института, — читал Осколков, время от времени поглядывая на Коншина с осуждающим выражением, — отдел... упразднить, организовав на его базе две новые лаборатории...»

— То есть как упразднить? — с изумлением спросил Петр Андреевич.

— «Во-вторых, — продолжал Осколков, — объявить на все должности научных сотрудников конкурс. Временно исполняющим обязанности заведующего лабораторией биохимии назначить Коншина Петра Андреевича. Временно исполняющим обязанности заведующего лабораторией биофизики назначить Полозова Василия Петровича».

Это значило, что все должны были избираться по конкурсу, как сотрудники, поступающие на работу, хотя не прошло и полугода, как они были избраны на новый срок. Это значило, что одних можно было теперь избрать, а других, наиболее способных, не избрать. Это

значило — разрушить отдел, втолкнув в него своих людей вроде какого-нибудь бездарного Муразова, который давно лижет Осколкову пятки. Это значило, что деваться некуда. Кто же добровольно откажется от работы?

Ошеломленный, с головой мгновенно разболевшейся, как всегда перед неясной опасностью, Коншин выслушал новую длинную речь директора, доказывающую не только полезность, но прямую необходимость этого шага.

— Никто не может, опираясь на те или иные соображения... С таким же чувством ответственности... Именно на это должна быть направлена инициатива... Между тем факты свидетельствуют...

На «фактах» Коншин взорвался:

— Факты свидетельствуют о том, что за пять лет отдел опубликовал двести восемьдесят две работы, из них пятьдесят шесть в международных журналах! Факты свидетельствуют, что на Выставке достижений народного хозяйства мы получили три золотых медали!

— Не вам судить о вашей работе!

— Нет мне, потому что я за нее отвечаю! Как сотрудник я обязан подчиниться, но как ученый...

Через полчаса, вернувшись в отдел, он путался, перебивая себя, как будто так уж важно было рассказать по порядку об этой унижительной сцене. Почти невероятно было, что он кричал на Врубова, но судя по сорванному голосу...

27

В субботу он, как условились, позвонил Маше.

— Что-нибудь случилось? — спросила она после первых же ничего не значащих фраз.

— Мне очень хочется видеть вас, и я бы непременно приехал. Но у меня неприятности. Впрочем, это не то слово. Настоящая беда, с которой я не знаю что делать.

— Вы нездоровы?

— Нет, совершенно здоров, хотя две ночи почти не спал, что со мной случается редко.

— Так что-нибудь на работе?

— Ах, Мария Павловна, а что такое в наше время работа? Это и есть жизнь. Да. На работе произошло несчастье, от которого впрямую помешаться, и если это не происходит, так, очевидно, только потому, что потерять рассудок в эти дни я не имею права.

— Так вот что, — решительно сказала Маша, — приезжайте немедленно и расскажите.

— Не могу. Я дома, но у меня сидят сотрудники и каждые десять минут кто-нибудь звонит по телефону.

— В таком случае приезжайте, когда освободитесь. Ведь однажды вы заглянули ко мне в половине второго?

— В половине первого. Мне кажется, что это было в прошлом веке. Нет, не могу.

— Тогда завтра?

— Тоже не могу. Или очень поздно. Я позвоню вам.

28

У него сидели сотрудники, и каждые десять минут кто-нибудь звонил по телефону. Это было так, как будто заседание ученого совета рассыпалось на тысячи отдельных минут и каждая взвешивалась и тщательно обсуждалась. Он не знал, куда деваться от искренних, но бесполезных советов.

Впрочем, один совет, который он получил от академика Вейсфельда, прославившегося не только своими трудами, но и тем, что он приехал получать Рокфеллеровскую премию с дедовским зонтиком и в галошах, был принят с благодарностью и сейчас же осуществлен. Этот дальновидный совет заключался в том, что в подобных случаях надо прежде всего заводить «склочную папку». Доказательства того, что отдел хорошо работал и что заведующий энергично возражает против его ликвидации, прежде всего следует изложить на бумаге.

— Надо застолбить свой протест, — сказал Вейсфельд, — Бумаги, относящиеся к делу, всегда должны быть под рукой.

По-прежнему Коншин каждый день бывал в Институте, хотя это стало для него настоящей пыткой. С темной головой он писал две докладные записки — одну в ученый совет, другую на имя президента Академии биологических наук¹ — и отчет о работе отдела за пять лет, который он давным-давно должен был доложить на директорском совещании. То, что ему никто не предложил выступить с отчетом, было прямым нарушением закона, если бы он существовал. Или, иными словами, если бы он опять-таки был изложен на бумаге. Но он не был изложен, и, следовательно, оставалось лишь притворяться, что он существует. Петр Андреевич был лишен способности притворяться — обе докладных и отчет писались медленно, трудно, с перечеркнутыми и разорванными страницами, с бесконечным хождением из угла в угол, с бешенством и проклятиями, которые мало помогали делу.

Левенштейн предложил приехать. Коншин отказался.

— Зачем? Все равно обе докладные будут отправлены в лучшем случае в архив, а в худшем в корзину для бумаг.

— Выпей рюмочку и успокойся. И помни: ни на кого не жаловаться и ни о чем не просить. Отчет надо составить так, чтобы он сам говорил за себя.

— Может быть, записать на пленку?

Левенштейн помолчал.

— Послушай, я все-таки приеду, — с тревогой сказал он. — Дело в том, что я всегда считал тебя среднеостроумным, но так тупо ты до сих пор не шутил.

— Иди ты...

Докладные и отчет были посланы, и сразу же появились новые, а впрочем, не такие уж новые заботы — впервые они мелькнули и скрылись сразу же после ученого совета: до зарезу надо было, чтобы все или по меньшей мере подавляющее большинство сотрудников отказались подавать на конкурс, продолжая работать. Именно такая «итальянская забастовка» была решена единогласно. Но уверенности не было. У каждого была своя жизнь, свой круг интересов, и уж во всяком случае никому не хотелось остаться без работы. Если выход не будет найден вскоре — кто знает, может быть, иные задумаются, пошатнутся?

Лучший выход не вызывал сомнений — уйти из Института вместе с лабораторией. Но куда? Конечно, к Саблину — это было общее мнение. Саблин, директор Института биохимии, был близким другом Шумилова. После его смерти, когда вопрос о новом руководителе еще не был решен, он звал Коншина к себе. Так неужели теперь...

¹ От автора: пользуясь правом романиста, я отказался от прямого описания реально существующих лиц, происшествий, институтов; это относится и к вымышленной Академии биологических наук.

Это был один из тех безнадежных дней, когда Коншин с особенной силой почувствовал, что он настигнут бессмыслицей, которая идет за ним по пятам и с которой он в то же время сталкивается ежечасно. Это было так, как будто он двигался в вязкой среде, состоявшей из бессонных ночей, телефонных звонков, повторяющихся разговоров, — двигался, на каждом шагу встречая сопротивление. Он устал, и ему вдруг остро захотелось хоть на два-три часа уйти, выпутаться, свободно вздохнуть. Напиться? Но он не любил и даже побаивался пить в очень дурном настроении. Удрать куда-нибудь на день или два из Москвы? Это было невозможно. Какая-то полузабытая мысль, как солнечный зайчик, играющий на стене, то появлялась, то исчезала. Что это было? Он схватился за голову. Боже мой! Улица Алексея Толстого! Мария Павловна, которой он забыл позвонить! Он бросился к телефону.

— Это говорит Коншин. Вы меня еще не забыли?

— Нет.

Это прозвучало сухо.

— Поверьте, я давно позвонил бы вам, если бы... — Ему не хотелось рассказывать о том, что произошло на работе. — Но я...

— Вы были больны?

— Да. У меня тяжелая бессонница, я похудел, пожелтел, и мне не хотелось показываться вам в таком виде.

— Что за вздор!

— Так можно приехать? Ну пожалуйста! Ненадолго. Хоть на часок! Я бы немного отдохнул у вас. Если вы работаете, я просто посижу с книгой на диване. Мне очень хочется увидеть вас. — Он тяжело вздохнул, и ему показалось, что Маша прислушалась сочувственно. — Вы не верите, и я на вашем месте тоже не поверил бы. Но это правда. У меня тоска. Я просто не знаю, куда деваться.

— Приезжайте, — помолчав, сказала Маша.

Дорогой он уже не жалел себя, а думал о ней. Его немного лихорадило, как всегда перед свиданиями, и хотя он уговаривал себя, в нем невольно разгоралось чувство, перед которым таяли, уходили в тень эти уговоры. «Боже мой, хоть один вечер провести с милой женщиной. Хоть вздохнуть спокойно, свободно, хоть притвориться, что не существуют на свете эти люди, навалившиеся на меня — за что?» И он стал мысленно, как мокрой тряпкой с грифельной доски, стирать все, что случилось с ним, и всех, кто был связан с тем, что случилось. Некоторых — Осколкова, Врубова — он сперва грубо перечеркивал крест-накрест, а потом стирал. «Почувствовать, пусть ненадолго, что мы — одни». И он снова прогнал соблазнительную надежду. «И не жаловаться, потому что тогда и я покажусь ей жалким. Вообще да пошли они все к...» Он выругался, и на сердце полегчало.

— Значит, вот вы какой, — сказала Маша, когда он снимал пальто в передней. — Я помнила, но неясно. Поправьте галстук. И вот вам гребенка. У вас взъерошенный вид.

Он поправил галстук, причесался и смущенно заморгал, увидев себя в зеркале. На нем был поношенный твидовый пиджак и брюки с пузырями на коленях.

— Извините. Я в таком виде! Забыл переодеться.

— Ничего удивительного.

Но сама Маша была в новом темно-вишневом платье, причесана тщательно и со вкусом.

Они прошли в комнату, и Коншин удивился. Комната была и кабинетом и спальней, но удобным кабинетом и уютной спальней. Старинная, красного дерева мебель как-то не соединялась в его представлении со скромной профессией машинистки. Однако на дамском столе, тоже старинном, стояла машинка, а подле нее рукописи и стопка бумаги.

— Садитесь и рассказывайте.

— Ах, боже мой! — совершенно забыв, что он только что причесался, и снова взъерошивая свои прямые густые, седеющие волосы, сказал Петр Андреевич. — Да черт с ней, с этой историей! Вы были так добры, что простили мою бестактность. После двух сволочных недель я наконец вижу вас.

— Наконец! Вы просто забыли обо мне.

— Забыл, — сокрушенно признался Коншин. — Но зато если бы вы знали, как обрадовался, когда вспомнил! Вы смотрите недоверчиво, а между тем клянусь, что говорю правду.

— Почему же? Я верю.

Он оглянулся.

— У вас прекрасная комната. Как все удобно, красиво! Простите за нескромный вопрос: вы замужем?

— Была. Почему же нескромный? Мы прожили недолго и дружески разошлись. Муж у меня врач. Он работает за границей.

— Значит, здесь вы полная хозяйка?

— Да. До поры до времени.

Неясно было, почему «до поры до времени» и почему муж-врач работает за границей, но расспрашивать было неудобно, и Коншин стал рассказывать о себе, хотя думал уже только о ней. Боже мой, один с этой женщиной в пустой квартире... У него заколотилось сердце, и он на мгновение перестал слышать себя.

— Я тоже был женат, но жена — ей еще не исполнилось двадцати лет — умерла от родов. Это было давно, в шестьдесят четвертом. С тех пор один. И хотя работа такая, что не соскучишься, — скучаю. И вы знаете? По детям. Вот у одного моего друга двое детей. Я ему завидую. А вы любите детей?

— Очень.

— Слава богу.

— Почему «слава богу»?

— Да так уж! Почему бы и нет?

Ему показалось, что Маша чуть-чуть покраснела.

— Вы давно разошлись? — спросил он.

— Три года. Впрочем, мы и прожили-то вместе недолго, а ссориться начали на десятый день. Очень скоро для меня стало ясно, что замужество — понятие, в чем-то противоположное любви.

— И с тех пор не нашелся человек, который убедил бы вас в обратном?

— Находились. Но не убедили.

— Вам не скучно одной?

— Я не знаю, что такое скука. Моя работа, например, мне очень нравится. Она только кажется однообразной. Я работаю в Доме дружбы, а дома перепечатаваю научные рукописи, а ведь это трудно. Меня знают в кругу писателей, драматурги присылают мне билеты на свои премьеры. Работа свела меня с интересными людьми. Я много читаю.

— Почему глаза грустные? — спросил Коншин и ласково взял ее руку.

Она отняла руку.

— Вы всегда говорите то, что думаете? — спросила Маша.

— Кажется, да.

— А может быть, всегда все-таки не стоит?

— Ох, какой же я болван! И ведь не в первый раз спохватываюсь в разговоре с вами! Простите! Больше не буду.

— Что не будете?

— Гадать, какая вы. И, в частности, угадывать.

— Самая обыкновенная женщина тридцати лет. С половиной.

— Нет, прелестная женщина.

Он снова взял ее руки в свои и хотел поцеловать, но она отняла их и спрятала за спину.

— Ах, боже мой, ну что случилось бы, если б я поцеловал ваши руки? — с досадой сказал Коншин. — Или даже поцеловал вас, что же случилось бы, скажите ради самого господа бога? Это жестоко. У меня собачья жизнь, я занимаюсь наукой. Старею, седею, мне немало за сорок, а можно дать все пятьдесят. Никто меня не жалеет. Решительно всем на меня наплевать, а если нет, значит, я кому-нибудь нужен. Нигде не бываю, и у меня нет даже телевизора, потому что он меня раздражает. Страшно подумать, но я с нетерпением жду тех двух часов, когда мне удастся остаться одному, а ведь это тоже одиночество и тоже наука! Единственная женщина, которую я любил, умирает, едва дожив до двадцати лет, и с тех пор я скитаюсь, как пес. Всем женщинам почему-то хочется замуж. А это ответственность, за которой я никогда не гнался. Куда деваться, если на вас смотрят сорок глаз и все ждут, что вы, как крысолов с дудочкой, выведете крыс из города и утопите их в болоте! Послушайте, вы, конечно, не знаете, что был на свете такой человек — Шумилов?

— Представьте, знаю.

— Спасибо. За то, что знаете. Это был волшебник, который умел доказывать, что вы на голову выше, чем сами о себе думаете, и оказывался прав. Так вот он создал совершенно уникальный отдел в Институте и, умирая, поручил... Да не поручил, а вручил его мне. Дело в том, что нельзя заставить ученого думать так, а не иначе. Есть такой магазин — «Тысяча мелочей». Ученому вход заказан. Разумеется, в переносном смысле, — добавил он, заметив, что Маша с удивлением подняла брови. — Дело в том, что порядочность неразрывно связана с независимостью от мелочей, от предвзятости, от ложных отношений. Там, навстречу, в сфере идей, где, казалось бы, кончается логика, он должен мыслить с полной, окончательной искренностью. Он не может ни притворяться, ни лгать, ни лицемерить. Он просто вынужден быть порядочным человеком, потому что знает, что его открытие будет проверено в сотнях лабораторий. На него смотрят тысячи глаз. Он — перед лицом совести, а с ней шутки плохи. Потому что когда ученый лишается совести, наступает самое страшное: научная смерть. — Он снова взъерошил волосы длинными пальцами. — И это совсем не смешно.

— Извините. — Маша покраснела. — Я улыбнулась, потому что вы бог знает что делаете со своей головой.

— Черт с ней. Теперь — что произошло в Институте? Представьте себе человека, который убежден, что меня, как любого другого научного сотрудника, можно заставить думать так, а не иначе. Почему? Потому что я ему подчинен, и это внушает ему ложную мысль, что наукой управлять не только можно, но должно. Потому что он не видит ни малейшей разницы между поисками открытия и его разработкой. Тысяча причин. Тысяча мелочей. Потому что он считает своим долгом заставлять нас каждый день, каждый час ны-

рять с головой в эти мелочи, из которых состоит его жизнь. Потому что между его административным и научным положением — пропасть. Он действительный член Академии биологических наук, он директор громадного Института, каждые два года выходит его новая книга, но в науке он — мертв. У него сердце давным-давно остановилось, а если оно еще бьется механически, это ничего не значит... Как вы хорошо слушаете! Точно не мой отдел ликвидировали, а ваш.

— Отдел ликвидировали? Почему?

— Я же сказал: тысяча причин, — вздохнув, ответил Коншин. — Одна из них выглядит почти фантастической. Дело в том, что против меня действует еще один человек, перед которым Врубов просто щенок. Его заместитель Осколков, по-видимому, рассчитывает воспользоваться схваткой для собственной цели. А цель одновременно сложна и проста. С одной стороны, он надеется со временем свалить Врубова и сесть на его место. С другой — ни я, ни мой отдел ему не нужны, так же, как, впрочем, и Врубову. Но Врубов был все-таки видным ученым, а этот вообще не смыслит в науке ни уха ни рыла. Он не может управлять Институтом, в котором действует мой отдел. Это ему просто не под силу. По-видимому, с его точки зрения все лаборатории должны быть на одном уровне — таким институтом он уже руководил. Итак, они оба меня не любят, но хотя Врубов человек плохой, ничто человеческое ему не чуждо — он, например, влюблен в свою молодую жену. А Осколков — это загадочная фигура. Я для него просто одно из возможных препятствий на пути к задуманной цели. Я ему мешаю самым фактом своего существования, и этого достаточно, чтобы он прихлопнул меня, как муху... Боюсь, придется рассказывать до утра, а вы уже перестали слушать.

— Почему вы так думаете? — с возмущением сказала Маша.

— У вас глаза косят.

— Ну и что же? Они у меня всегда немного косят от внимания. Продолжайте. У вас с директором и его замом плохие отношения. Почему?

— Может быть, потому, что это единственное, что их объединяет. Оба вздрагивают, когда иностранные ученые через пять минут после их появления в Институте просят разрешения заглянуть в мой отдел. Оба терпеть не могут Ордынцеву — есть у меня такая сотрудница, которая любит резать правду в глаза. Так не лучше ли покончить со всеми этими неприятностями одним ударом? Задушить в темноте, по возможности бесшумно, чтобы никто не услышал. А для того чтобы найти реальную поддержку, надо объяснить какой-нибудь высокой инстанции сущность дела. Но где я найду инстанцию, которая оценит наш метод использования реверсий при воздействии мутагенов для определения динамики репликаций вирусной РНК? Если бы и нашлась такая инстанция... Врубов сказал — не вам судить о своей работе, и он прав. Да и как растолковать, что разделение отдела равносильно его полной ликвидации? В том-то и дело, что все изображается таким образом, как будто ничего не случилось! Как были две лаборатории, так они и остались. Я вас не утомил?

— Нет, что вы!

— А вы не можете не косить?

— Это вам мешает?

— Да. Дело в том, что, когда я смотрю на вас, у меня и так кружится голова, а когда вы еще начинаете косить...

— У вас голова кружится от усталости.

— Увы, нет! Знаете что? Черт с ней, с этой историей! Пропади

она пропадом! Все это не так или не совсем так и, во всяком случае, гораздо сложнее.

— Ах, забыла!— вдруг всплеснула руками Маша.— Ведь вы же, наверное, голодный? Обедали?

— Кажется, да.

— Но это было давно?

— Пожалуй.

— Хотите, я сделаю вам яичницу?

— Нет. Это будет продолжаться сто лет, а мне не хочется, чтобы вы уходили.

— Это будет продолжаться десять минут.

Она ушла, а когда вернулась с яичницей, он спал в кресле, подложив под щеку ладонь и подогнув длинные ноги. Прядь волос упала на лоб. Лицо успокоилось, разгладилось. Он казался моложе во сне. Она вздохнула, не зная, что делать, и он как будто в ответ умиротворенно вздохнул.

31

Родилась девочка с вьющимися волосиками, с голубыми глазами. Он приходит и радостно говорит: «Инфанта!» Альда пеленает ее, кладет в конверт, а оттуда полновесно, полнозвучно звучит хор из «Града Китежа». Она весело зовет его: «Это твое любимое, послушай!»

Хорошая девочка, но странно: то она здесь, рядом, то исчезает. Она — с луны. Грустно, что родилась такая неудачная, но все еще можно поправить. И он думает за Альду: «Ничего, будут другие». За девочку: «Почему вы так смотрите на меня, нехорошие, злые?» За себя: «Ничего что с луны. Я согрею ее, и она оживет». И девочка начинает улыбаться, пускает пузыри, протягивает ручки...

Что-то будто толкнуло Коншина, и он вскочил с кресла с немой в подогнутых ногах, с затекшими руками. Где он? Незнакомая комната была освещена ночной лампочкой, стоявшей в стороне, на маленьком столе, среди книг. Ночная тишина стояла как на часах, приложив палец к губам. Ночные, сонные, еще не проснувшиеся стояли знакомые стулья и кресла.

Коншин был прикрыт пледом, и плед запутался в ногах, когда он вскочил. Мария Павловна прикрыла его, кто же еще? Но где она?

Круглый стол перед ним был накрыт, стояла сковородка с холодной яичницей. Ломтики черного и белого хлеба, аккуратно нарезанные, лежали на тарелке, прижавшись друг к другу. Масленка, стакан крепкого чая. Он ужаснулся. Уснул, пока хозяйка пошла на кухню, чтобы приготовить ужин! Хорош! Голова была ясная, хотелось есть, он чувствовал себя отдохнувшим. Но к чувству свежести примешивалась досада. Черт возьми! Впрочем, что-то подсказывало ему, что невозможно и бесполезно было вести себя как ему хотелось когда он представлял себе эту встречу.

Сняв туфли, он на цыпочках вышел в коридор и приоткрыл дверь комнаты напротив. И здесь была ночь, но уже другая, предутренняя. Сквозь легкие шторы старался пробиться прозрачный утренний свет. Продольные полоски, очертившие шторы, лежали на полу перед диваном, на котором, положив руки под голову, в голубом халатике спала — или не спала? — Маша.

Он хотел так же осторожно уйти, но она сказала весело:

— Доброе утро.

— Доброе утро! Простите меня, ради бога...

— Петр Андреевич,— продолжала она,— вчера вы проспали свой ужин, а сегодня хотите утопить в извинениях наш завтрак?

Знаете, который час? Около восьми. Не знаю, как у вас, а у меня ровно сорок минут, чтобы умыться и одеться. И потом... Не будем же мы есть холодную яичницу, правда? И вам надо умыться. И побриться,— добавила она после короткой паузы.— У меня есть все для бритья. Пойдемте, я покажу.

Она провела его в ванную, он побрился, а потом, раздевшись до пояса, с наслаждением умылся холодной водой.

— А теперь вернемся все-таки к вчерашнему разговору,— сказала Маша, когда они завтракали.— Как ваши сотрудники отнеслись к тому, что случилось?

— Очень просто. Все до одного отказались подавать на конкурс.

— Так, может быть, коллективное заявление?

— Нет, это скандал, а я не хочу скандала.

— Не скажите, — задумчиво сказала Маша. — Скандал — это вещь.

— Где скандалить? В Институте? В министерстве?

— Об этом надо подумать.

— Вы хотите сказать, что я должен кинуться в бюро отделения, в редакцию «Правды» или «Литературной газеты»? Хватать за горло? Жаловаться? Кричать, что меня обижают? Ну посмотрите на меня. Похож я на горлохвата?

— Непохожи. Но надо стать горлохватом если другого выхода нет. А стать им вы можете или даже должны. Ведь вы за всех своих в ответе?

— Да.

— Вот видите! Для этого надо только одно: вообразить себя Осколковым, оставаясь, конечно, самим собою. Я понимаю, для вас это почти невозможно. Но надо осмелиться и перешагнуть.

Коншин вздохнул.

— Можно мне называть вас Машей?

— Конечно, можно.

— Так вот, ничего не изменилось бы, милая Маша, если бы даже мне удалось вообразить себя папой римским. Все, что я могу сделать, это положить на стол заявление об уходе. Но Врубов знает, что я этого не сделаю. Он помнит о моем долге перед памятью Шумилова, на это он и рассчитывал, затеявая свою игру. Да и куда уходить без лаборатории? Двадцать лет работы собаке под хвост, а потом все начинать сначала? Нет, нужен не уход, а ход. А если уж уход, тогда всей лабораторией, это было бы лучшим решением. Но куда?

— Во-первых, заявление об уходе — это уже и есть ход о котором стоит подумать. А во-вторых, мне не нравится, что вы не чувствуете себя оскорбленным,— с засверкавшими глазами сказала Маша.— В ваших словах не чувствуется ни угрозы, ни решимости, ни стремления отбиться. У вас не хватает остойчивости.

— Нстойчивости?

— Нет, именно остойчивости,— повторила Маша по слогам — Надо идти вперед, не теряя равновесия. А вы его уже потеряли. Да вы же мне вчера сами доказали... Ну что вы смотрите?

— Любуюсь,— сказал Коншин.

И было чем: перед ним была прелестная женщина с нежным чистым лицом, стройная, державшаяся прямо, с белокурой, свернутой на голове косой, с покатыми, как на старинных портретах, плечами.

— Не сердитесь,— прибавил Коншин, заметив, что она нахмурилась.— Вами невозможно не любоваться. Конечно, вы правы. Нет у меня в характере этой остойчивости. Я вспыльчив, несдержан, способен только на короткий решительный шаг.

— Нет есть. Вы себя не знаете. Кто они, все эти врубовы, перед

вами? Вы должны заставить их отступить. Вот Ватазин сказал мне о вас...

— Бедняга этот Ватазин!

— Почему же бедняга?

Петр Андреевич посмотрел на часы.

— Не пора ли?

— Вы не ответили. Верочка — мой лучший друг. Почему?

— Отвечу, но в другой раз. Ведь мы теперь будем видаться часто?

32

В том, что Саблин возьмет отдел, сомневался только Левенштейн, верный хранитель шумиловских традиций.

— Но почему? Почему? — спрашивал Петр Андреевич.

— Потому что и он боится. Не Врубова, так Осколкова. Или, точнее, паутины, в которую влипает каждый, кто вмешивается в дела нашего Института.

Все другие в один голос утверждали, что Левенштейн не прав. Мария Игнатьевна, которая знала Саблина — он был оппонентом на ее докторской, — доказывала, что не просто возьмет, а оторвет с руками. Володя Кабанов съездил в саблинский институт и вернулся обнадеженный: четыре из пяти заведующих лабораториями были готовы потесниться и отдать добрую треть своих комнат.

— Они встретили меня с подъемом! — пылко повторял он. — Конечно, все дело в Петре Андреевиче, которого им смертельно хочется перетянуть, но ведь и мы, черт побери, не лыком шиты! Конечно, первое время будет трудно, но для Саблина строится новое здание. Через каких-нибудь два-три года у нас будет целый этаж.

Володя был оптимистом.

Нина Матвеевна Скопина, потерявшая сходство с Грибоедовым, переменявшая прическу и, к общему удивлению, собравшаяся замуж, предложила, не дожидаясь конкурса, подать коллективное заявление об уходе. Спасти положение мог, по ее мнению, только неожиданный и отчаянный шаг.

Пошли к Теплякову, который, как всегда, курил на лестнице, и он, кротко поморгав своими девическими глазами, погладил бороду и сказал негромко:

— Я — как все.

Но Левенштейн оказался прав. Саблин дружески принял Петра Андреевича, выслушал, посочувствовал, но сразу же дал понять, что в дела Врубова вмешиваться не будет.

— Я уверен, что он и не думает разгонять ваш отдел, — сказал он. — И мой вам дружеский совет: никуда не обращаться и ничего не просить — словом, даже не пытаться помешать ему! Уверю вас, это приведет к обратным результатам.

«Боится», — подумал Петр Андреевич, глядя в сторону, чтобы не видеть Саблина, старчески красивого, с эффектной седой шевелюрой, с глубоко сидящими осторожными глазами, с крупными мягкими морщинами на большом лице.

Очевидно, в глазах Петра Андреевича было написано, о чем он подумал, потому что Саблин вдруг смутился, впрочем еле заметно. Они расстались, как всегда, сердечно.

33

Маша сказала неправду, уверяя Петра Андреевича, что довольна своей работой и не знает, что такое скука. Она действительно перепечатывала научные рукописи, ее знали в небольшом писатель-

ском кругу и один из драматургов приглашал ее на свои премьеры. Но в ту пору, когда Коншин познакомился с ней, она не только не чувствовала ни малейшего удовлетворения от своей работы, но была в глубоком душевном упадке.

У нее было неудачное замужество, она вскоре поняла, что равнодушна к мужу. Но неудача заключалась еще и в том, что, когда она только что приступила к дипломной работе, муж увез ее в Индонезию, где он работал в нашем посольстве. Она не окончила университет, у нее не было профессии, и машинисткой она стала случайно — помогая мужу, научилась бегло печатать.

Мебель, которой была обставлена квартира, принадлежала мужу, и он мог — хотя она не думала, что он это сделает, — в любую минуту распорядиться ею по своему усмотрению. Кроме нескольких зарубежных платьев, которые она без конца перешивала, английского столового сервиза (свадебный подарок ее друзей Поповых), трех десятков книг, у нее не было почти ничего, только вещи, покушавшиеся или подаренные в годы замужней жизни. Она чувствовала себя в этой удобной, уютной квартире как жиличка, как постоялец. Но с этим еще можно было примириться, так же как с необходимостью отказывать себе в необходимом — она рано столкнулась с лишениями, у нее было трудное детство.

Нет, другое терзало ее, о другом она старалась не вспоминать, заваливая себя неотложной работой: у нее не было будущего. Что могло измениться, что могло сделать ее жизнь содержательнее, полнее? Она знала других машинисток, пожилых, одиноких, интеллигентных, накрашенных, с увядшими лицами, неестественно любезных, еще кокетничающих и тоже получавших иногда билеты на премьеры от знакомых драматургов. Вот и ее ждет такая же участь! Годы шли, ей было уже за тридцать. Она знала, что у нее приятное, свежее лицо, но вот глаза уже были грустные, как заметил Коншин, а в уголках появились морщинки. Подчас она жалела, что разошлась с мужем, но жалела холодно, рассудочно, созная в глубине души, что иначе поступить не могла.

Она встретила Павла Вадимовича Трубицына у Поповых — Верочка была ее самой близкой подругой в университете. Ему было за пятьдесят, в молодости он служил на океанографических судах, и Маша в его присутствии почему-то робела, а когда он обращался к ней, невольно опускала глаза. Он был превосходным рассказчиком, у Поповых его всегда ждали с нетерпением и, провожая, уговаривались о новой встрече. Была ли Маша влюблена в него? Он так много видел, и слушать его было так интересно! Он всегда превосходно выглядел, не располнел, держался прямо, с непринужденностью, и, если бы не седая голова, ему можно было дать лет на десять меньше. Каким образом получилось, что в общей беседе он и Маша стали разговаривать как бы отдельно и о своем, хотя еще неизвестно было, что представляет собою это «свое»? Поповы в один голос утверждали, что возраст не имеет никакого значения. «И может быть, они правы?» — думалось Маше. Вскоре, через год, она должна была окончить университет. А дальше? Средняя школа, преподавание литературы по программе, которая, как ей казалось, была составлена так, чтобы заставить школьников разлюбить литературу.

Трубицын очень нравился Верочке — это тоже было почему-то важно. Конечно, надо было окончить университет, но Павел Вадимович получил назначение: на два или, может быть, три года он отправлялся в Джакарту.

И вот прошли эти три утомительных года в Индонезии, где она задыхалась от всепроникающей сырости — ложилась в мокрую по-

стель, а вставая, надевала мокрый халат,—где однообразные дни проходили в узком кругу работников посольства, где она как раз и занималась преподаванием литературы в школе и где поняла, что не любит и никогда не любила мужа. Она мечтала о ребенке—какое там! Павел Вадимович считал, что нет необходимости усложнять и без того сложную жизнь.

Маша не могла дождаться возвращения, но когда они вернулись, отношения с каждым днем становились все холоднее. Теперь Маша смотрела на мужа другими глазами. Оказалось, что он мелочно ревнив—еще в Джакарте она получала выговор за то, что разговаривала лишние пятнадцать минут с молодым человеком. Он был любезен и разговорчив только на людях, а дома молчалив и, что особенно поразило Машу, негостеприимен. Нельзя было отказать ему в некоторых достоинствах—он, например, любил чистоту. Но Маша почему-то раздражалась, видя его по воскресеньям в переднике, с пылесосом в руках.

По-прежнему он любил бывать в гостях и даже чаще, чем прежде,—ведь теперь он был женат на молодой женщине. Рассказы, которые он повторял, перевирая, Маша выучила наизусть. Он был скуп, а она презирала скупость. Маша стала заниматься французским, ей хотелось поступить на работу, а он требовал, чтобы она занималась хозяйством. Ссоры кончились тем, что она недолго думая продала все его подарки—в том числе какой-то драгоценный браслет, переходивший из поколения в поколение,—и заплатила вперед за пятьдесят уроков.

Трубицына чуть не хватил удар, он осмелился замахнуться на Машу, и тогда она сложила вещи и вернулась к Поповым. Павел Вадимович уехал за границу, вернулся, снова уехал. Они разошлись, хотя дружеские отношения впоследствии восстановились...

Встреча с Коншиным поразила ее. Все в нем казалось ей неожиданным, да и не только казалось. Собираясь на свидание, он забыл переодеться, приехал в поношенном костюме, небритый—а ведь, без сомнения, надеялся на то, что он называл «отдохнуть»? Под старым пиджаком чувствовались худые крепкие плечи, сильные руки, и, увидев его впервые у себя в передней близко, в двух шагах, Маша побледнела, как всегда, когда не могла справиться с волнением. Он пытался ухаживать за ней, а потом увлекся, стал рассказывать о своих институтских делах и уснул, когда она ушла на десять минут,—этого в ее жизни еще не случалось. «Кружится голова»,—все повторял он. Так ли? Она не знала. Кружилась у нее—в этом не было никакого сомнения. И ведь как странно! Когда она расспрашивала о нем Ватазиных, она заранее знала почти все, что они о нем скажут. Ей даже казалось, что она знает больше, чем они, потому что заранее вложила в него свои давно установившиеся представления о человеке, которого она непременно должна была встретить и полюбить. Самое главное заключалось не в том, что он не был похож на других, не в его неожиданностях и странностях, а как раз наоборот—в сходстве с тем неизвестным, воображаемым человеком, образ которого непонятно как и почему сложился из прочитанных книг, кинофильмов, всего передуманного и пережитого.

Он пообещал позвонить и не позвонил—так долго, две недели! Маша смотрела на проклятый молчаливый телефон, как на притаившееся загадочное существо, которое в одно мгновение могло сделать ее счастливой. А когда это наконец произошло—ведь надо, надо было притвориться сдержанной, спокойной!

Так не бывало с ней еще никогда, и она радовалась, и ужаса-

лась, и доказывала себе, что, если даже они останутся только друзьями, все равно она счастлива этим нахлынувшим, неожиданным и долгожданным чувством.

34

В Пущине, где был крупный биологический центр, не оказалось подходящего помещения, если только это не было поводом для отказа. Разговор с ректором университета, одновременно и деловой и сердечный, кончился неопределенно.

Может быть, это было преувеличением, но за каждой неудачей Петру Андреевичу мерещилась теперь представительная фигура Осколкова с его неестественно голубыми пронизательными глазами. Казалось, что он даже не очень старался скрыть, что следит за каждым шагом Коншина, — это было для него характерно. Вдруг он позвонил Петру Андреевичу и сказал, что убедил директора в необходимости расширить отдел.

— Два мальчика кончают медико-биологический факультет Второго медицинского института. Я говорил с ними. Мне кажется, что они вам пригодятся.

Это был ход, которым Врубов и Осколков старались доказать, что они не только не разгоняют отдел, но и заботятся о его укреплении. Мальчики были умные и, по-видимому, способные. В другое время Коншин охотно взял бы их, но теперь это значило бы, что отдел не упразднен, а как бы упразднен, и, следовательно, об уходе не может быть и речи.

Петр Андреевич написал докладную, отказался, директор ответил ему приказом. После этого мальчиков отправили к Левенштейну, который немедленно завалил их технической работой, а приказ и копия докладной отправились в «склочную папку».

И дальше день за днем пошли получасовые разговоры по телефону, обсуждение всевозможных вариантов, хлопоты, на которые не было времени, встречи с Машей, на которые время все-таки находилось.

Незаметно, постепенно она вошла в круг близких людей, для которых жизненно необходимо было отменить приказ и восстановить отдел. Уволенные сотрудники оставались на своих местах, и они же должны были подавать на конкурс — эта бессмыслица в особенности ее возмущала.

— Вам не кажется, что я стала вашей внештатной сотрудницей? — однажды спросила она Петра Андреевича.

Теперь он встречался с Машей почти каждый вечер, а хотелось, хотя он себе в этом не признавался, видеть ее каждый час. Поводы были не нужны, но повод всегда находился, потому что все, что Коншин делал, спасая свой отдел, знала и одобряла (или не одобряла) Маша.

35

— Вы просто свалились мне на голову вместе со своим отделом. И я иногда просыпаюсь со странным ощущением, что со мной происходит то, что в эту минуту происходит с вами.

— Да. И у меня то же ощущение. Точно не недели прошли с тех пор, как мы познакомились, а годы.

Они разговаривали в Лоскутове — Петр Андреевич впервые пригласил Машу к себе.

— Вот так я и живу, — сказал он, показывая ей свою кое-как прибранную квартиру, в которой вопреки его усилиям чувствува-

лась неустроенность одинокого человека.— Вы не думайте, что у меня всегда такой беспорядок. Сейчас моя Ольга Ипатьевна больна, а то она со мной обращается строго. Требуется, например, чтобы дома я ходил в мягких туфлях. И восхитилась, когда один шотландец, войдя с улицы, снял с ботинок тоненькие галоши. Даже сказала: «Вот это человек!»

— И была совершенно права,— откликнулась Маша, вынимая из сумочки другую маленькую прозрачную сумочку, в которой лежали хорошенькие домашние туфли.

Зато в полном порядке было все, что относилось к музыке, прекрасный новый проигрыватель и пластинки в конвертах, аккуратно стоявшие в камерах полированного низкого шкафа.

— Вы любите музыку?

— Да, очень.

— Тогда мы с вами как-нибудь непременно поедем к Поповым. Это мой любимый дом со студенческих лет. Ирина Павловна, мать Верочки, преподает в Гнесинском и устраивает у себя музыкальные вечера. Помните, я говорила вам о Верочке Поповой?

— Помню. Она замужем за Ватазиным.

— Да. У них я тоже бываю, но редко. А кстати, почему вы однажды назвали его беднягой?

— Как его здоровье?

— Он поправляется. Так почему же?

— Что же хорошего? Три инфаркта.

— Нет, вы думали о чем-то другом.

Коншин смутился.

— Давайте-ка лучше ужинать.

Она посмотрела на него, поджав губы. Он опустил глаза.

— Ну хорошо. Только позвольте мне сегодня быть хозяйкой,— сказала она, когда Коншин принес из кухни белую скатерть.— Не нужно ничего убирать со стола. Вы ведь дома не обедаете?

— Иногда. По субботам.

— А завтракаете и ужинаете на кухне?

— Да.

— Вот и мы пойдем на кухню. Есть мне не хочется, а чаю выпью.

Приготовить нам что-нибудь?

— Да. Начнем с устриц и бордо, а потом, пожалуйста, приготовьте мне салат и филе соус мадера.

Она улыбнулась.

— А не угодно яичницу с колбасой? У вас есть колбаса?

— Ветчина.

— Еще лучше.

— М-да,— задумчиво сказал он, глядя, как она ловко накрывает на стол, разбивает и размешивает в стакане яйца. Она вопросительно посмотрела.— Нет, ничего, ничего...

— А теперь вернемся к Ватазиным,— сказала Маша, когда яичница была съедена и они пили чай.— Я жалею Верочку.

Коншин промолчал.

— Полно, я же все знаю. И не только я. У этой вашей Кременецкой странная черта: она не только не скрывает свои романы, а, напротив, рассказывает о них на всех перекрестках. Закройте рот,— дружески посоветовала она Коншину, глядевшему на нее с изумлением.— Очевидно, ей хочется, чтобы весь мир знал о ее победах. Верочка говорила, что когда Кременецкая была вашей любовницей, об этом тоже все знали. И жалели, потому что вас любят в Институте. Ах, боже мой, да что же вы так смутились?— спросила Маша с досадой.— Мне хочется помочь Верочке, и я решила, что вы, мо-

жет быть, посоветуете что-нибудь как... Ну, словом, как специалист по Кременецкой.

Коншин не мог удержаться от улыбки.

— Ну вот! Вы уже смеетесь, хотя, в сущности, все это совсем не смешно. В самом деле,— рассуждала она,— вы вон какой здоровый и крепкий и можете одним ударом сбить с ног человека, а Георгий Николаевич рыхлый, слабый, близорукий и выглядит в своих очках с толстыми стеклами старше своих лет, а ведь ему только сорок четыре. Вы, может быть, легко прошли через эту, ну, скажем, любовь, не знаю уж, что там у вас было.

— Нет, трудно.

— Тем более. Даже вам было трудно! А Георгий Николаевич... Ведь ему в буквальном смысле грозит верная смерть. Вы даже представить себе не можете, как он мучится.— Она помолчала.— Они оба мучатся. Георгий Николаевич потому, что тaitся и убежден, что Верочка ничего не знает. А она — потому что знает и боится, чтобы он, боже сохрани, не догадался об этом.

— И ревнует?— спросил Коншин.

— А как вы думаете? Но изо всех сил старается не показать. И ведь они любят друг друга. Но они уже девять лет женаты, в отношении близости что-то теряется, и мужчина, мне кажется, чаще, чем женщина, невольно начинает томиться, тосковать. Мы с Георгием однажды говорили об этом, разумеется отвлеченно, без имен и даже, как ни странно, почти без слов. Мы как бы обменивались мыслями. И вот что я услышала в этом разговоре: «Ведь никто не страдает оттого, что я близок с другой. Неужели у меня нет права на «свое», на ту долю полной свободы, которую мне подарила судьба? Подарила или наказала — кому, в конце концов, до этого дело?» Конечно, он так себя спрашивает только в полной уверенности, что Верочка ничего не знает.

— И что же вы ему ответили?

— Я только дала ему понять, что ему надо рассказать жене все без колебаний и размышлений. Но вам я могу сказать, что виноваты, мне кажется, оба.

— Почему?

— Потому что все началось задолго до Кременецкой. Оба, не задумываясь над своими отношениями, как бы привычно «принимали» друг друга. Дни летят, повторяются, отщелкиваются, как на счетах, — и нет ничего легче, как просмотреть поворот. Ну а что представляет собой ваша Кременецкая? Что она за человек?

— Она прежде всего женщина, а потом уже человек. Проходя мимо нее, мужчины оглядываются, это я замечал много раз.

— Так хороша?

— Да не так уж и хороша, однако оглядываются. И больше того: как будто заставляют себя отрывать от нее глаза.

— И ей это нравится? Впрочем, оставим это, — вдруг быстро сказала Маша. — Дайте мне сигарету. Я редко курю, а сейчас захотелось.

Они закурили.

— И простите,— она слегка побледнела,— это было бестактностью, что я стала расспрашивать. Я вижу, что вам неприятно. Больше не буду.

В темноте, в неопределенности, в напряжении, которое сотрудники старались скрывать, делая вид, что все обстоит благополучно, мелькнул проблеск света. Секретарь одного из ученых советов Боль-

шой Академии, с которым Петр Андреевич почти не был знаком, позвонил, чтобы узнать, не хочет ли он выступить на бюро ученых советов.

— Поставим ваш доклад. Или отчет. Почему бы нам не устроить конференцию с вашим докладом?

В самом факте такого предложения была невысказанная, но подразумеваемая поддержка, и Коншин подумал, что Врубову и Осколкову подобный доклад, без сомнения, покажется попыткой сопротивления. Тем не менее он согласился. О далеких последствиях, которые вызвал этот шаг, показавшийся ему незначительным, он в лихорадке забот не подумал. Для него было не только важно, но лестно, что конференция в Большой Академии готовилась по поручению двух очень известных ученых, для которых Врубов, не говоря уж об Осколкове, почти не существовал.

Один из академиков позвонил Коншину и сказал, что им нужно договориться заранее как «жуликам, которые в случае возможного допроса не разошлись бы в своих показаниях».

— Надо, чтобы ни у кого не было сомнения, что конференция запланирована нами,— сказал он.— И что ни при каких обстоятельствах отменить ее невозможно.

Впервые за много дней Коншин вздохнул свободно. Он почувствовал подлинную заинтересованность в его деле — вот откуда этот доброжелательный, шуточный тон.

Но тотчас же последовал ответный ход — и рассчитанный метко.

Осколков вдруг вызвал его и, глядя прямо в лицо, сообщил, что в самые ближайшие дни состоится ученый совет, на котором Коншин должен выступить с отчетом за пять лет работы.

Во всех своих докладных, возражая против ликвидации отдела, Петр Андреевич с негодованием писал, что приказ был отдан без предварительного отчета, а теперь, когда в газете появилось объявление о конкурсе, когда все сотрудники считались уволенными, а он исполняет должность врио, вдруг понадобился отчет, да еще «с перспективой развития», как подчеркнул Осколков.

— По-видимому, как обычно, в четверг? — спросил Петр Андреевич.

— Возможно. Но повестка печатается пока без указания даты.

— Почему?

— По указанию директора.

Коншин усмехнулся.

— Так, может быть, в понедельник? — спросил он.

На понедельник была назначена конференция в Большой Академии.

— Да, возможно.

— Ну-с. вот что,— сказал Петр Андреевич.— Я не приду.

— Почему?

— Семейный праздник, день рождения бабушки.

— Но позвольте...

— Нет, не позволю,— чувствуя легкость, сказал Коншин.— Ученый совет был обязан выслушать мой отчет до ликвидации отдела. А теперь, когда в «Медицинской газете»...

— Явка всех заведующих обязательна,— сказал Осколков.

— А я не заведующий. Я — врио.

Осколков помолчал.

— Послушайте, Петр Андреевич,— мягким голосом начал он.— Вы же умница. Неужели вы не понимаете, что вопреки дурному характеру директора вы должны продолжать свое дело?

— Я его и продолжаю.

— Да, но свою энергию, драгоценную причем энергию, я не боюсь этого слова, вы тратите на защиту отдела. Дался вам этот отдел! В сравнении с вашими сотрудниками вы — на недосягаемой высоте.

— Позвольте мне самому оценивать своих сотрудников, — сдерживая себя, ответил Коншин. — Я бы, пожалуй, объяснил вам значение отдела, но для этого надо разбираться в вопросах, которые для вас по сей день недоступны!

Он вышел, хлопнув дверью, и, вернувшись в отдел, написал длинное, обстоятельное заявление об уходе. Черновик он не забыл оставить для «склочной папки».

Это был шаг, который выходил далеко за пределы врубовской затеи. Прямое сопротивление разрушало задуманный план. Без ведущего «перестройка» отдела не удавалась.

37

Уход! Как легко выговаривалось это слово! Между тем что означал для него уход? Невозможность завершить то, над чем он работал долгие годы. Потерю соратников, которые верят, что ни один день, ни один час не были потеряны даром. Он бросал себя на полдороге. Уход от себя — вот в чем был подлинный смысл этого слова! Догадки и размышления, страстная защита своих догадок, смелое забеганье вперед, вглядыванье в будущее, терпеливая работа с каждым сотрудником, который терял надежду, отчаивался, сомневался, — все это принадлежало ему, и от всего этого он должен был теперь отказаться. Уход был потерей всей сложнейшей подготовки к главному, специально выведенных животных, новых приборов, сделанных его руками, всего, что было приспособлено, обдуманно, устроено им, начиная с любой розетки, поставленной в надлежащем месте, и кончая всем строем его жизни, подчиненной рискованной задаче.

38

Он писал доклад три дня, не отрывая пера от бумаги, а потом приехал Левенштейн, застал у него Машу и рассвирепел. Толстые губы обиженно набрякли, доброе лицо потемнело.

— Что-нибудь одно, — сердито сказал он в ванной, где с ожесточением мыл чистые, мягкие руки. — Мог бы, кажется, обойтись.

— Молчи, дубина, — тоже рассвирепев, ответил Коншин. — Это совсем не то.

Слышала ли Маша? Он не был уверен. Но когда она вернулась из кухни с подносом, на котором стояли три чашки свежего, крепкого чая, глаза у нее смеялись.

Левенштейн прочитал доклад, долго мялся и наконец выпалил, что это не доклад, а двухчасовая академическая лекция, более чем далекая от «создавшегося положения».

— Здесь нет и тени обороны. А между тем нужно, чтобы она чувствовалась, хотя о ней, конечно, нельзя упоминать ни словом. И надо — извини — не рыть землю носом, а написать изящный, острый, броский доклад.

Он был прав, и Петр Андреевич согласился, как бы окинув все написанное одним взглядом.

— Минут на сорок пять. Ну пятьдесят от силы. Послушай, откуда ты взял эту прелесть? — спросил он в передней, надевая пальто.

— Ах, прелесть?

— Да, да! — с восторгом подтвердил Левенштейн, хотя Маша,

пока обсуждался доклад, произнесла не больше чем три-четыре слова.— Тебе нужно жениться на ней. И чем скорее, тем лучше!

Коншин вернулся, смеясь.

— Знаете, что он мне сказал? Что нам надо пожениться.

— Может быть, может быть, — быстро сказала Маша. — Но прежде всего необходимо переделать доклад.

Времени почти не оставалось, полдня, но он в каком-то веселом бешенстве набросал новый вариант и вечером позвонил Маше.

— Как, уже?

— Да. И, кажется, получилось. Надо бы перепечатать. Но сойдет и так.

— Сейчас приеду и перепечатаю.

— Нет, нет. Я знаю, у вас был утомительный день.

— Да. Возьму такси и буду у вас через сорок минут.

Она приехала и, не теряя времени, села за машинку.

— Вам нужно выспаться. Я перепечатаю и тихонько уйду.

Она ласково погладила его по лицу. Он поцеловал маленькую руку.

— А я уже больше не могу.

— Нет, нет! Ну что вы! Не сегодня. Мы оба устали, и я еще ничего не решила.

Он спал под стук машинки и, просыпаясь, смотрел на Машу, сидевшую прямо, с энергичным, поглощенным лицом, одновременно и работающую и оберегающую его сон, его жизнь.

Она была здесь, рядом, она не покидала его в тревожном, перепутанном сне, когда он брел куда-то в пыли, и везде полыхала эта черная пыль, из которой все труднее становилось вытаскивать ноги.

Потом он проснулся, у него затекла рука, и сквозь прищуренные веки снова увидел Машу — наяву или во сне? Она уже не печатала больше, она смотрела на него нежным, добрым, любящим взглядом. Но в этом взгляде было еще и то, что заставило Петра Андреевича вскочить и кинуться к ней. Она только слабо вскрикнула, когда Коншин обнял ее и подхватил на руки, как ребенка. Он целовал ее, задохнувшуюся, побледневшую, с распустившейся косой, прижавшуюся к нему и повторяющую что-то дрожащими губами.

39

Еще целых полчаса оставалось до доклада, и, стараясь держаться подальше, он время от времени косился на подъезд Института. Идут? Да, шли и шли. Он узнавал знакомых, но очень много было и незнакомых, молодых, громко разговаривавших, и их голоса в розном воздухе звучали ободряюще-звонко.

От станции метро он шел к булочной, потом заворачивал налево, к новой парикмахерской, похожей на огромный, стеклянный, ярко освещенный куб, в котором происходило что-то загадочное: силуэты двигались навстречу друг другу, мелькали руки, пересекались отсветы зеркал.— и снова круг за кругом: метро, булочная, парикмахерская.

И вдруг — Петр Андреевич не поверил своим глазам — из подъехавшей машины вышел и неторопливо прошествовал, волоча тяжелую распахнувшуюся шубу, грузный старик в боярской шапке, о котором один из величайших биохимиков мира сказал, спустившись по трапу на аэродром: «Наконец-то я на земле Костылева».

Когда Коншин вошел в Институт, его сразу же окружили друзья, ожидавшие в вестибюле. Он объяснил, что рано пришел и решил прогуляться.

На кафедре он всегда испытывал чувство уверенности, и она явилась, когда он отчетливо услышал собственный голос. Вскоре не было ни малейших сомнений в том, что он глубоко заинтересовал аудиторию тем, в чем сам был глубоко заинтересован. С радостью, от которой невольно зазвенел голос, он почувствовал, что самое важное уже совершилось.

— Я хочу рассказать вам о том, чем я живу, — как будто говорил он, хотя речь шла о строго научной проблеме. — Я хочу рассказать о том, что все усилия моего разума, моей воли были направлены на решение загадок, которые как вы сами убедитесь, мне удалось разгадать. Кроме истины, мне ничего не надо. Я хочу высказать вам трезвым голосом ясные мысли, я уверяю вас, что этой трезвости и простоты вполне достаточно, чтобы опрокинуть неврастенический ажиотаж, улавливанье настроений, борьбу честолюбий, искаженное властвование, — все это ничего, кроме вреда, не может принести нашей науке. У меня нет никакой посторонней цели. Я говорю только о справедливости и чувстве долга, без которых и жить невозможно и дела делать нельзя.

Он говорил это для всех, для переполненного зала, но радостное волнение, звеневшее в голосе, относилось к той, что сидела в первом ряду вся собранная, прямая, в нарядном темно-вишневом платье.

Он нажал кнопку, чтобы показать слайды, а потом, когда в зале вспыхнул мертвенно-бледный, но яркий свет, продолжал говорить, внутренне обращаясь к одной только Маше.

40

Все, что произошло в ближайшие дни, было похоже на кинофильм, запущенный в обратном порядке. События наступали друг другу на ноги, торопясь сложиться в первоначальную картину. Но в этом зрелище, которое обычно производит комическое впечатление, не было ничего смешного. Напротив — это была пора несбывшихся надежд.

Успех доклада был двойной — внутренний и внешний. Внутренний заключался в том, что если прежде кое-кто колебался, подавать ли на конкурс, теперь решение было единодушным, и если бы удалось выдержать его до конца, это могло поставить дирекцию в сложное положение.

Внешний успех.. О, внешний успех показал, что вокруг Петра Андреевича не разреженное пространство, что он в определенной среде, которая поддерживает его в разгоревшейся схватке!

Можно смело сказать, что в самых широких кругах биологов говорили теперь о том, что происходило в Институте. Что-то вздрогнуло, зазвенело, переломилось, и это немедленно нашло отражение в многочисленных отзывах, письмах, пожеланиях. Все шло хорошо и даже так хорошо, что суеверный Левенштейн стал показывать фиги и плевать через левое плечо — у него была сложная манера открепиваться от неприятностей.

Петр Андреевич должен был отработать еще две недели для того, чтобы его заявление «вступило в силу». На следующий день после конференции он, как обычно, пришел на работу, и уже через час ему позвонили, сообщив, что президент Академии биологических наук Кржевский просит его прислать официальное ходатайство о восстановлении отдела.

Задача была сложная — не мог же он откровенно просить президента, чтобы отдел был переведен в другой институт! И Петр Анд-

реевич, кратко изложив историю конфликта, ограничился тем, что приложил отчет за пять лет. Может быть, он был бы смелее, если бы знал, что в Большой Академии уже составлялось заключение, подводившее итоги конференции, подчеркивающее уникальность отдела и неразрывную связь составляющих его двух лабораторий. Впрочем, он ждал вызова к президенту, и «уж тут-то, — думалось ему, — я не уйду от него, пока он не согласится».

И все, казалось, шло к тому, чтобы этот выход осуществился.

В разговоре с одним из близких сотрудников Саблин дал понять, что он готов поговорить с Коншиным, если тот не намерен взять назад свое заявление. Встреча состоялась через несколько дней.

Впервые он видел Саблина в домашней обстановке — седая величественная голова, мягкие движения крупного тела, глубоко сидящие задумчивые глаза удивительно «вписывались» в эту обстановку. Но глаза как будто избегали смотреть в глаза собеседника. Сдержанность? Осторожность?

Все в его кабинете было устроено изящно и просто. Мягкая удобная мебель, гравюры на стенах (Саблин был знатоком и собирателем старинных гравюр), на небольшом письменном столе полный порядок, все под рукой.

— Так, значит, ко мне, — сказал он, свободно улыбаясь. — Трудности с помещением постараемся преодолеть. Тем более что мои сотрудники так любят и уважают вас, что готовы потесниться. Весь вопрос в том, как это сделать. Необходим расчет, и заключается он, по-моему, в том, чтобы Кржевскому пришлось предложить мне взять отдел, — и тогда мы сразу становимся хозяевами положения.

Петру Андреевичу было неясно, каким образом можно устроить, чтобы Кржевскому «пришлось предложить». Он попросил объяснения.

— Да очень просто! Вы должны стоять на своем и наотрез отказываться от любых предложений. А когда он согласится, дело сразу же примет другой оборот. Во-первых, я смогу тогда диктовать свои условия, оборудование и прочее. Во-вторых...

Но Петр Андреевич уже едва слушал это «во-вторых». Он храбрился, получив вызов от президента. Но теперь эта встреча во всей своей конкретности, вещественности явилась перед его глазами.

Он с детства чувствовал не только уважение к людям старше его по возрасту и положению, но ему казалось неприятным и странным убеждать их, настаивая на своем, и, стало быть, противоречить их намерениям и желаниям. Именно это чувство испытывал он и сейчас, разговаривая с Саблиным и убеждаясь, что не в силах просить его взять на себя хлопоты по переводу. А впереди его ждало более тяжелое испытание: убеждать президента. И еще одно: за благожелательным тоном Саблина чувствовался оттенок неуверенности. Советы он давал решительные, но какие-то уж слишком решительные и в конечном счете исключавшие его участие в деле. Считал ли он, что Коншин преувеличивает сложность своего положения? Или просто разделял общее убеждение, что от Врубова лучше держаться подальше?

Все-таки Петр Андреевич ушел обнадеженным. Расчет Саблина показался ему разумным. И не мог же он говорить с ним о чувствах, а не о деле! И, черт возьми, думалось ему, неужели у Кржевского он не сумеет настоять на своем?!

Но когда через несколько дней он поехал в Академию, произошло именно то, чего он боялся, хотя на этот раз он говорил и о чувствах и о деле.

Он был встречен более чем доброжелательно. Президент встал

из-за стола и пошел ему навстречу. Из-под густых бровей глядели маленькие, умные, пронизательные глаза. Сложение при небольшом росте было могучее, и, как всегда, он напомнил Петру Андреевичу плотовщиков, которых в молодости ему случалось видеть на Енисее.

— Я не был на бюро, — решительно сказал Кржевский, — лежал в больнице, но решение было сформулировано иначе. Пока я здесь, вы можете работать спокойно.

Он не заметил, как двусмысленно прозвучало это «пока». Через три месяца предстояли выборы, и на месте этого президента мог оказаться другой, по-своему понимавший отношения между директором и отделом.

«Но не могу же я спросить его: «А вы уверены, что вас снова изберут?» — с грустной насмешкой подумал Петр Андреевич.

Какой-то сотрудник заглянул в кабинет, и Кржевский, покосившись, сказал:

— Сегодня же будет доложено вашему. Словом, на ближайшем президиуме будет рассматриваться ваше дело. Восстановим отдел, это я вам обещаю.

— А вам не кажется, — стараясь, чтобы у него не дрожал голос, сказал Коншин, — что если это случится...

И он заговорил о неискренности, о сложности врывающихся в работу личных отношений. Если бы не долг перед покойным Шумиловым...

Но боже мой! Как непохоже это было на саблинское «стоять на месте, упорствовать, настаивать на своем!»

Кржевский слушал его не без интереса, но с оттенком нетерпения. Он полусогласился с ним, хотя с его точки зрения нецелесообразно было срывать с места большой, энергично и успешно работающий отдел. Ведь врубовский Институт, в сущности, на нем-то главным образом и держался. Он верил Коншину и боялся за него. Но инстинктивно он стремился к равновесию в громадном хозяйстве Академии, а если отдел перейдет к Саблину, это равновесие... Но подумать надо! Надо подумать.

— Восстановят отдел, а там видно будет. Может быть, и переведем.

— Да Врубов съест меня, если отдел восстановят! — вырвалось у Коншина.

Кржевский успокоительно положил ему руку на плечо.

— Вы ему не по зубам, дорогой Петр Андреевич, — сказал он сердечно. — Я-то знаю вам цену. Но встретиться с ним вам все-таки придется. Он звонил и утверждал, что вы настоятельно уклоняетесь от разговора. А, собственно говоря, почему? Если вы уверены в своей правоте...

41

Верочка, с которой Маша должна была пойти в Театр на Малой Бронной, заболела, и она позвонила Петру Андреевичу, что у нее свободный билет. Шли «Три сестры» в новой постановке, которую дружно ругали газеты.

— Но если тебе не хочется, я отдам кому-нибудь билеты и приеду к тебе.

— Ни в коем случае. Сейчас одеваюсь и бегу.

Они встретились у театра. Потолкавшись в гардеробе, поднялись в фойе. Маша была праздничная, нарядная, с голубовато подведенными веками, в длинном модном платье, делавшем ее стройнее и выше.

— На тебя оглядываются.
 — У тебя уже были женщины, на которых оглядывались.
 — Совсем по-другому.
 — Собственник, — сказала Маша и посоветовала ему перечитать «Сагу о Форсайтах».

О «Трех сестрах» они недавно спорили, и поэтому увидеть спектакль, да еще в новой постановке, было особенно интересно.

Петр Андреевич утверждал, что в пьесах Чехова каждый занят только собой и одни герои давно знают то, что им говорят другие.

— В сущности, что мешает сестрам переехать в Москву? Это так и остается неясным. Если бы кто-нибудь, хотя бы Чебутыкин, купил им три железнодорожных билета — Соленый не убил бы барона и все могло окончиться благополучно. Вообще почему их так тянет в Москву? Правда, они провели там детство, но потом оказывается, что ни одна из них Москву совершенно не помнит.

И Маша терпеливо объяснила ему, что Чехов умышленно противопоставил реальную Москву с ее университетом и Василием Блаженным другой, неопределенной, романтической Москве, и поэтому пьеса производит не комическое, а трагическое впечатление. Чебутыкин, который спрашивает: «А может быть, нас нет?» — не в силах отправить сестер в Москву уже потому, что без них не представляет себе собственной жизни. Уехать в Москву сестрам мешает не невозможность купить билеты, а невозможность стать собой.

И уже в первом акте Коншину показались смешными и детскими его возражения.

В душноватой темноте зала рядом с ним была Маша, и они вместе вдруг перенеслись в другую жизнь, которая с волшебной простотой открылась перед ними. Сестры ждут гостей, именины Ирины, и в ожидании еще можно раскинуться на диване, вспомнить прошлое, поболтать. Приходят Тузенбах и Чебутыкин, каждый действительно говорит о себе, но как интересно, как важно то, что они говорят, не для них, а для Коншина и Маши. Счастливые слезы проступили у него на глазах, он нашел и в темноте нежно поцеловал Машину руку.

Он уже любил их всех, и боялся за них, и удивлялся вместе с ними, что Чебутыкин подарил Ирине серебряный самовар, и обрадовался, что вошедший Вершинин заговорил так естественно и свободно. Прошли десятилетия с тех пор, как они жили, и все-таки он чувствовал свою кровную связь с ними, с сестрами, с добрыми, скромными, благородными Вершининым и Тузенбахом. Они поняли бы его, если бы он рассказал им о своих делах и заботах. А Соленый с его ущемленным самолюбием, с его неполноценностью и стремлением утвердить себя там, где для него не было места, — божь мой, да он, Коншин, каждый день сталкивается с такими людьми у себя в Институте! На концертах он подчас ловил себя на том, что и слушает и не слушает музыку, думая о себе. Так и теперь, не пропуская ни одного слова из того, что происходило на сцене, он думал о том, какие бессмысленные, никому не нужные унижения приходится ему переносить только для того, чтобы заниматься своим делом. Но он думал и о судьбе, подарившей ему Машу, когда он уже почти был уверен, что его ждет одинокая старость. «Неужели пройдет время — и я забуду наслаждение этого вечера? — думал он. — Это блаженное одиночество, от которого даже теперь, в театре, на людях, сладко кружится голова?»

В антракте его и Машу не оставляло праздничное настроение.

Первый акт понравился, и Коншин, смеясь, заметил, что берет назад свои парадоксы.

— Как хорошо, что Ирина танцует вальс. Ведь это день ее именин и надо радоваться, даже если не очень хочется. В первой картине все кажется немного бессвязным, но потом начинаешь верить, что это не бессвязность, а отношение сестер к тому, что происходит в доме.

— И в мире.

— Да, — согласился Коншин, снова начиная бессознательно любоваться Машей, которая была такая же, как дома, но и какая-то еще, не забывавшая, что она нарядно одета. — Ты знаешь, я впервые понял, что эта пьеса — история дома, из которого сестры уходят одна за другой. И потом, я все время чувствую их близость ко мне, точно Тузенбах или Ирина — мои родственники, которым важно, что со мной происходит. Может быть, не родственники, это смешно, но, во всяком случае, близкие люди.

— А у меня нет этого чувства. Я смотрю и думаю: «Так вот как все это было».

— Но было?

— Да.

— Так что Чебутыкин не прав, когда он спрашивает: «А может быть, нас нет?»

Маша засмеялась.

Коншин ушел покурить и, возвращаясь, еще на верхних ступеньках лестницы увидел, что рядом с Машей стоит незнакомый молодой человек.

— Познакомьтесь, — сказала Маша. — Паоло Темиров, мой товарищ по университету.

— Так вот кто тебя укротил, — крепко пожимая Петру Андреевичу руку и улыбаясь, сказал Темиров.

Коншин помрачнел: что значит это развязное «укротил»? И откуда этот субъект знает, укротил он Машу или нет?

— А Маша была неукротимая? — с плохо скрытым раздражением спросил он.

— Не в плохом смысле. В хорошем. Как по-русски сказать — бедовая, — ответил Темиров. Он говорил с легким грузинским акцентом.

Смуглый, коротко стриженный, невысокого роста, с красивыми глазами, он смотрел на Машу с доброй улыбкой. Но Коншину не понравилась и эта улыбка.

— Как я рад, что мы встретились, — говорил Темиров. — Черт знает, в одном городе живем, может быть, даже рядом живем, а никогда друг друга увидеть не можем. Ну что ты, как ты? Вы простите, — обратился он к Коншину, — что я так разговариваю. Мы друзья были.

Петр Андреевич промолчал.

— Мы большими друзьями были. Я ее Фру-Фру дразнил. Маша, помнишь, как я тебя дразнил?

— Конечно, помню, — ответила она и засмеялась.

— Но позволяете, Фру-Фру... Кажется, так звали лошадь Вронского в «Анне Карениной»? — спросил Коншин.

— Вот именно. Лошадь. Кто-то сказал, что Маша похожа на Анну Каренину, а я сказал — на Фру-Фру. И она не рассердилась. Правда, Маша? Ей даже понравилось.

Вернувшись к себе, Коншин взял с полки «Анну Каренину» и нашел страницу, где рассказывалось о Фру-Фру: «Во всей фигуре и особенно в голове ее было определенное, энергичное и вместе неж-

ное выражение». «А ведь и в самом деле, — подумал Коншин, — похожа на Машу».

Но в театре он с трудом заставил себя не сказать Темирову, что сравнивать девушку с кобылой по меньшей мере неприлично.

— Хорошее было время, правда? — говорил Темиров. — А где Верочка?

— Попова? Мы с ней часто встречаемся. Как была, так и осталась моей лучшей подругой.

— Передай ей привет, — сказал Паоло. — Я ее тоже любил, она немного зануда, но все равно мы все друг друга любили. Значит, работаешь машинисткой?

— Да.

— И довольна?

— Очень.

— Ты красавица, умница. Извините, что я так разговариваю, — снова сказал он Коншину. — Теперь, конечно, дама. Совершенно такая же, как раньше, но немножко солиднее. Сколько лет прошло?

— Девять. А как ты?

— Я? Ну что я? Каким был, таким и остался. «То вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда!» Эх, уже звонок! Расставаться жалко.

— Зачем же расставаться? Приходи, Паоло, я буду рада.

— Можно? — Он улыбнулся, показав красивые ровные зубы.

— Почему же нет?

Маша достала блокнот и записала телефон и адрес.

— Позвони и приходи.

...Чебутыкин уже прочел в газете, что Бальзак венчался в Бердичеве, и Коншину показалось нелепым, что Ирина, раскладывая пасьянс, повторила эту никому не нужную фразу. На сцене было почему-то темнее, чем в первом акте, — или Петру Андреевичу это только казалось? Соленый не мог сказать, что он изжарил бы своего ребенка на сковородке, а если Чехов написал этот вздор, режиссеру (будь у него хороший вкус) следовало бы вымарать эту фразу. «Вообще зачем было ставить эту устаревшую пьесу? Кого интересует этот барон, который фальшиво объясняется Ирине в любви? Соленый уже объяснялся ей, и лучше бы она вышла за него, чем за этого неопределенного слюнтяя».

Он искоса посмотрел на Машу, она улыбнулась ему в темноте, в тишине зрительного зала и нежно вложила в его руку свою. Неужели она чувствовала, что в нем происходит? Он не мог заставить себя улыбнуться в ответ. «Зачем Маша сказала ему: «Позвони и приходи»? Вот теперь и будет каждый день шляться этот подозрительный тип! «Буду рада». Есть чему радоваться! И что это значит: «Мы любили друг друга»? Кто это мы?» Чебутыкин, который знает, что будет дуэль, и не сомневается в том, что Соленый убьет барона, сказал об этом так, как будто ему наплевать и на Соленого и на барона. Хорош врач! «И зачем, зачем Маша уговорила меня пойти на эту пьесу, которую я видел тысячу раз?» Маша не уговаривала, но ему уже казалось, что уговаривала и уговорила. Спектакль кончился, они медленно спускались по лестнице в шумной толпе. Маша была уверена, что сейчас он спросит ее о Темирове, но Петр Андреевич мрачно молчал, и она заговорила сама.

— Тебе не понравился Темиров, я вижу.

— Мне показалось странным, что он так развязно говорил с тобой.

— Мы дружили в университете, хотя он был в другой компа-

нии. Его любили. У него всегда были деньги, и он не просто спешил, а кидался выручать товарища из беды.

— Откуда же деньги?

— А он картежник, — спокойно объяснила Маша.

— Должно быть, счастливо играл.

Ей было и радостно и смешно. Приревновал к Паоло! Но она еще и сердилась.

— Чем он занимается?

— Не знаю. Из университета его исключили, потому что в общепитии в своей комнате он устроил настоящий карточный клуб.

— Так, может быть, еще и шулер?

— Весьма вероятно. Тогда благородный шулер.

— И такого человека ты приглашаешь к себе?

— Да, — твердо сказала Маша. — Ведь не к тебе.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что довольно страдала от беспричинной ревности и больше не хочу.

Они поссорились, Маша отказалась ехать к нему и пошла пешком на улицу Алексея Толстого. Дорогой Коншин, которому стало стыдно, попросил у нее прощенья. Она холодно поцеловала его. Он проводил ее до дому и, расстроенный, уехал к себе.

42

Поэты любят писать о поэзии — им кажется, что они раскрывают тайны своего ремесла.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Но и они в конечном счете прячут разгадку, за которой мерещится неоглядный труд.

Проза не растет, как лопухи и лебеда, она строится, как город. План этого города лежит перед глазами, меняясь, повинаясь воле автора, который знает, где живут и встречаются (или не встречаются) его герои. Улицы, как воспоминания, переливаются одна в другую, сталкиваются на перекрестках, упираются в тупики, заставляя пешехода пользоваться проходными дворами.

В иную квартиру нельзя попасть, минуя проходной двор. В катран можно пройти только через проходной двор, где старухи сплетничают, греясь на солнце, а мальчишки гоняют клюшками консервную банку.

Девятый час, еще не темно, но в грязные окна почти не проникает августовский вечерний свет. Грязная лампочка висит на грязном шнуре, по грязной комнате бродят оборванцы и щеголи, жалкие нищие с разваливающейся походкой и стройные, сильные красавицы. Тихие мальчишки с сумасшедшими глазами и инвалиды. Шулера-«паковщики», которые на выигранные деньги покупают золото и драгоценные камни, и шулера-«гусары», оставляющие тысячи в ресторанах.

Кто только не встречается в этом кругу! Карманщики, воры, бродяги, потерявшие человеческий облик, — и рядом с ними бывшие артисты, инженеры, даже адвокаты. Но эти не играют в аэропортах, в такси, где попало. В катране две комнаты, почти совершенно пустые, стулья или табуретки, иногда маленький столик. Либо три комнаты, если хозяин, содержащий катран, пользуется им

как квартирой. Условный звонок — несколько коротких, потом длинный или наоборот; за вход пятерка, но уж если вы пришли — надо играть, иначе вас примут за чужака, за «мента». У хозяина можно купить и бутылку водки и двести граммов колбасы за десять рублей.

В этом кругу почти нет вожаков, сегодняшний вожак может завтра превратиться в нищего, которого пускают в катран из милости, разрешая ему лишь посмотреть, как играют другие.

В катране на Кадашевской набережной не расходятся до утра. В одной комнате горячатся, шумно спорят, ссорятся за нардами кавказцы. В другой тоже шум, но сдержанный, заинтересованный. Здесь, стоя у подоконника, на который падают карты, играют Паоло Темиров и Рознатовский — сухощавый человек с неестественно длинной шеей, на которую, как на палку манекена, надета маленькая стриженная голова. Он хорошо одевается, у него есть автомобиль. Он не пьет, равнодушен к женщинам. У него воспаленные веки — ни днем ни ночью не выпускает колоду из рук. Проигрывая, он нервным движением трет голову о плечо.

Здесь Хумашьян, которого боятся, потому что его младший брат Сандро, бывший боксер, может силой заставить расплатиться.

Здесь Юра Сухумский, по прозвищу Антибиотик, хромой, с палочкой — в драке с оружием ему повредили ногу.

Здесь аферист Валя, одутловатый, с мертвыми глазами, бывший пекарь.

Здесь Адоная, наркоман, судившийся за изнасилование, маленький человек в очках, с усиками, под которыми видны крепко сжатые губы. Он нигде не учился, но собирает редкие книги...

Слух, которому трудно поверить, перекидывается от одного игрока к другому: Паоло женится, Паоло играет в последний раз. Сомневаются, шутят, верят, не верят.

Лева по кличке Сало, огромный жирный мужчина, — он не расстается с туристским топориком, который носит в футляре, — пытается поздравить Паоло и получает такой взгляд, что невольно пятится назад, хватаясь за свой топорик.

Цвет!

Полуцвет!

Нецвет!

Они играют в «стос», мало чем отличающийся от классического штоса «Пиковой дамы». В одной незаконченной рукописи Лермонтова загадочный старичок, сошедший с портрета, носит фамилию Штосс — и недаром: он обыгрывает героя повести, и именно в штос. Впрочем, в те времена черви не называли еще «цвет», бубны — «полуцвет», пики — «нецвет». Тогда ставили на одну карту, теперь на четыре. Есть и другая разница: здесь Германн не мог бы «снять и поставить свою карту, покрыв ее кипой банковских билетов». В катран деньги не носят, играют только в долг. Берется расписка с определенной датой и «включается счетчик»: за каждый просроченный час должник рискует заплатить десятку.

В этот вечер не час и не два продолжается «стос». Любопытные давно оставили других игроков; у подоконника схватились мастера, играющие честно, давно махнувшие рукой на свое несравненное искусство. Сейчас решает не искусство — судьба. Паоло выигрывает, проигрывает, выигрывает. Ставки всё выше. Он небрежно швыряет новую расписку на подоконник, и раздается вздох зависти, изумления, восхищения. Сорок тысяч!

Цвет, полуцвет, нецвет! Рознатовский нервно трет коротко стри-

женную маленькую головку о плечо. Он проигрывает. Паоло смеется. На смуглом лице с красивыми добрыми глазами мелькают и скрываются сплошные, крупные белые зубы.

43

Впрочем, если роман непохож на строящийся город, он напоминает фрегат с круто выгнутыми от ветра парусами. Фрегат плавает к берегу, трудный путь — позади. Книга начинает сама писать себя, и подчас нелегко остановить разлетевшуюся руку. Брошен якорь не по расписанию, в не угаданный заранее час.

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный...

А ведь рассказано далеко не все! Еще лежит в беспорядке на пристани груз подробностей, заслонивших друг друга. Воспоминания, размышления, встречи и не встречи, чудеса, страдания, сны. Лицо будущего романа сложилось, но хочется еще и еще раз взглянуть ему прямо в глаза: не станут ли они яснее, после того как, подобно оценщику в ломбарде, ты стараешься взвесить и оценить все, что еще может пригодиться для дела?

— А почему не спрашивала?

— Сама не знаю. Мне мешала мысль, что раз ты не рассказываешь... Все думалось: дочка. Но ее фотографии не было в семейном альбоме, который ты мне показывал, и я поняла, что это что-то особенное и не семейное, а очень твое. Однажды ты застал меня, когда я рассматривала этот портрет... Ты вошел и не сказал ни слова. Может быть, нехорошо, что я теперь спрашиваю?

— Теперь можно все. Это жена, ее звали Альда. Мать была влюблена в норвежскую литературу и требовала, чтобы назвали Сольвейг или Ингеборг. Кое-как уговорили остановиться на Альде. Холодное имя. А-льда. Что-то из льда. Она смеялась и говорила, что имя собачье. «Если бы я не была Альдой, я бы купила и назвала так собаку». И рисовала пойнтера с узкой грудью и поджарым брюхом.

— Где вы познакомились?

— Она была дальней родственницей Шумилова и, когда ее мать умерла, а отец женился на другой, ушла из семьи и сама предложила Ивану Васильевичу хозяйничать в его доме. Он давно овдовел, дети разъехались. Пришла и предложила.

— И что же он?

— Ну конечно, согласился... Он был восхищен. Такой поступок в тринадцать лет! Вот тогда мы и познакомились. Я ведь очень люблю детей, ты знаешь.

— Да. Я тоже.

— Ну вот. Она была быстрая, легкая, все у нее так и кипело в руках. Вела дом и успевала всюду. У Шумилова всегда было много знакомств, редкий вечер не собирались, и она принимала гостей свободно, любезно, как настоящая хозяйка дома. А когда начинали шутить по этому поводу, делала вид, что не слышит. Ко мне она относилась по-дружески серьезно. Когда я уезжал, мне нравилось писать ей длинные дельные письма. В школе ее любимым предметом была русская история, и я стал читать ей лекции. Дарил книги, а к лекциям даже готовился. Так прошло несколько лет, и вот однажды, условившись с Иваном Васильевичем, я не застал его дома. Сажу в кабинете, читаю и вдруг слышу далекое, как мне показалось, пение. Приоткрыл дверь в столовую, а у Шумилова в квартире

были большие окна. И вижу — Альяда стоит на подоконнике, моет окна и поет.

— Она и на портрете такая.

— Я позже попросил ее встать точно так же перед открытым окном и сфотографировал. Мне хотелось, чтобы это мгновение не было забыто. Все изменилось с тех пор. Я стал почему-то не так часто бывать у Шумилова, а она проводила вечера очень странно, по рассказам Ивана Васильевича, — лежа на диване лицом к стене. Все разладилось в доме. Шумилов беспокоился, спрашивал ее. Молчит. Вскочит, расцелует со слезами на глазах и молчит. А прежде не только была с ним откровенна, но вечерами, когда он ложился, приходила и подробно рассказывала. О чем был очередной реферат, кто за ней ухаживает и почему ее возмущает отношение какого-нибудь Кости Ожогина к какой-нибудь Олечке или Тане. Он потом мне говорил, смеясь, что изо всех сил старался не уснуть, чтобы не обидеть ее, но все-таки засыпал, не дождавшись конца очередной истории. Теперь эти вечерние признания прекратились. Альяда похудела, подурнела, и тогда... Это уже не он, а она мне рассказала... Тогда он только спросил ее: «Петя?» — но спросил так, что невозможно было не признаться, и она, плача, кинулась к нему на шею в слезах и сказала, что не просто влюблена в меня, а даже не может вспомнить, когда не была влюблена. В тот же день Иван Васильевич спросил меня: «Любишь?» — а когда я ответил, что просто жить без нее не могу, благословил нас по-старинному, только что без иконы.

.....

Она как бы еще в отрочестве перешагнула юность. Была сложившимся, взрослым человеком, и все ее мысли и чувства были не по возрасту зрелыми, поражавшими меня своей серьезностью и глубиной. Однажды, например, она сказала мне, что пустота внутри страшнее для женщины, чем для мужчины, который может избавиться от нее, заполняя пустоту научной, военной или административной деятельностью или физической работой... А когда врачи сказали, что они не ручаются за благополучный исход — оказалось, что у нее больное сердце, — с ней началось что-то невообразимое. Во время какого-нибудь незначительного разговора вдруг с трудом удерживалась от слез. Ей все казалось, что, если надеяться, страстно желать, все обойдется. Ведь иначе наказание оказалось бы непостижимым по своей жестокости, а она ни в чем не виновата.

— Помолчим немного. Успокойся. Доскажешь в другой раз.

— Да что же досказывать? На восьмом месяце родила мертвую девочку и умерла.

«Конечно, он оценил то, что произошло в Большой Академии, — думал Петр Андреевич, поднимаясь по лестнице, которая вела в кабинет Врубова, — и знает, что я был у Кржевского. О том, что в президиуме готовится отмена приказа, он не только знает, он уже сделал все, чтобы не состоялась эта отмена. Готовится ли?»

У Врубова было странное лицо в этот день — кирпично-красное, с белым носом и плоскими, как пуговицы, стеклянными глазами. «Муляж», — как ни был взволнован, подумал Петр Андреевич... И, закручиваясь, как спираль, начался этот разговор, в котором Врубов уговаривал его взять назад заявление об уходе, а Коншин отказывался, и это повторялось без конца в многочисленных вариантах. Внутренне сжавшись, думая только о том, что он скажет сотрудникам, которые ждали его возвращения, Коншин упрямо дер-

жался на своем «нет», в то время как Врубов вертелся, уходил в сторону и кружным путем снова приходил к исходной позиции, уверяя, что заявление Коншина об уходе — ложный и бесполезный шаг. Но кроме прямой, непосредственной цели, которая была центром разговора, в нем заключался и другой, более глубокий смысл. Врубов давно и бесповоротно забыл, что в молодости сам был в чем-то похож на Коншина, но вот теперь оказалось — и это было страшно для него, — что не совсем забыл! Для него было важно доказать себе, что некогда он поступил правильно, избрав ту жизнь, которая вела его от удачи к удаче, и отказавшись от искренности и прямодушия ради карьеры. Он не верил, что возможен другой путь. Невозможно было представить себе, что Коншин действительно не хитрит, не притворяется, ни на что не рассчитывает и стремится только к возможности спокойно работать. Вот почему этот спор так волновал Врубова. В какой-то мере это был спор с самим собой.

Почему-то ему вдруг не захотелось оставаться наедине с Коншиным, и он решил вызвать из лаборатории Левенштейна, очевидно надеясь, что тот поможет ему убедить Петра Андреевича взять назад заявление.

Левенштейн пришел, подумал и спокойно сказал, что не видит выхода из положения. Вместо доказательств он, к ужасу Петра Андреевича, неторопливо рассказал толстовскую притчу о том, как гадюка, которой крестьянин отрубил хвост, стала просить, чтобы он оставил ей жизнь. Но крестьянин сказал: «Нет, я не могу простить тебе сына, а ты не забудешь свой хвост». И отрубил ей голову.

— Вот так будет и у нас, — поучительно сказал Левенштейн. — Равновесие и прежде было неустойчивое, а теперь восстановить его будет вообще невозможно.

Коншин знал эту притчу и надеялся, что Левенштейн хоть скажет не «гадюка», а «змея». Но Левенштейн безжалостно сказал «гадюка» — и Врубов, у которого круглая голова повернулась, как на шарнире, помолчал, только произнес:

— Можете идти.

Но, как ни странно, после этой притчи что-то прояснилось, переломилось. Директор вернулся к уговорам, потом сказал злобно:

— А ведь я, шутки в сторону, могу и подписать ваше заявление.

— Какие же шутки? Я вас об этом и прошу, — поняв, что он выдержал, не сдался, ответил Петр Андреевич.

Врубов помолчал.

— Но ведь конкурс в конце концов — пустая формальность, — сказал он.

— Насколько мне известно, никто не собирается подавать на конкурс.

— То есть как?

— Вот так, — сказал Коншин, убеждаясь с удовольствием, что этот метко рассчитанный удар произвел впечатление.

— Стало быть, они намерены уволиться из Института?

— А почему бы и нет? Вы не оставили другого выхода ни мне, ни им.

Наконец Врубов отпустил его. Оба едва дышали.

Петр Андреевич вернулся к своим, и они почему-то стали поить его валерьянкой, хотя (как он думал) он был совершенно спокоен. Рабочий день давно кончился, но никто не ушел. Два раза Володя Кабанов бегал смотреть, горит ли еще в кабинете директора свет.

Осколков приходил ровно в девять пятнадцать, и плохо приходилось тем, кого он не заставлял на своих местах. Он не терпел опозданий. В этот день, когда он поднимался по лестнице, осанистый, свежесбрившийся, в новом костюме, его обогнал один из сотрудников. Осколков окликнул его и вежливо, неторопливо сделал ему замечание, хотя это был видный ученый, заведующий лабораторией, работавший в Институте едва ли не со дня основания.

Секретарша принесла бумаги на подпись, и с привычным ощущением ненависти и к секретарше, и к своему кабинету, и к начавшимся телефонным звонкам он начал бегло читать и подписывать эти бумаги. На одной он писал: «К исполнению»; на другой: в такой-то отдел. Но вопреки тому, что резолюции подчас не имели между собой ничего общего, почти все они так или иначе клонились к понятию «отфутболить», сравнительно недавно обогатившему русский язык. Однако были и бумаги, от которых невозможно было отделаться с помощью этого слова. Тогда он звонил Врубову, который предупредил, что этот день он проведет на даче.

Потом началась текучка, обычный прием: один сотрудник пришел, чтобы выяснить, когда назначить такую-то проблемную комиссию, другой — такую-то и кого приглашать или не приглашать со стороны. Кадровик заставил его потерять добрых полчаса на конкурсные дела. Пошли просьбы о премировании, которые надо было внимательно взвешивать, чтобы такого-то не задеть, а такого-то не только задеть, но обидеть. Секретарша в пятый раз напомнила о диссертанте, который сидел в приемной с утра, и Осколков наконец принял его. Сущность дела в этих случаях он был вынужден обходить.

— А с достаточной ли тщательностью вы провели статистическую обработку? — веско говорил он, глядя прямо в лицо диссертанта выпуклыми внимательными глазами.

Или:

— А не кажется ли вам, что разумнее было бы воспользоваться другим методом статистического анализа?

Набор вопросов, которые могли относиться к любой диссертации, он выработал еще в Ветеринарном институте.

Он сидел в кресле и смотрел в окно, стараясь справиться с нараставшим бешенством — и справлялся, хотя это было трудно. Все, что делал, о чем он говорил, все, о чем думали и говорили другие, было ничтожно, однообразно и омерзительно мелко.

— Да кто же не знает, что Кудеяров вор? — спросил он заглянувшего к нему Паншина, замдиректора по административно-хозяйственной части.

Кудеяров заведовал виварием.

— Напиши докладную, поговори с Врубовым и передай дело в ОБХСС. И все-таки давай не путать твои заботы с моими.

С темной головой он снова надписывал какие-то бумаги — закупка оборудования, планирование, отчетность. Только что не скрипя зубами от бешенства, он принял видного клинициста и был с ним так любезен, что тот ушел обнадеженный, почти счастливый.

Последовательно, равномерно, неуклонно он действовал, властвовал, распоряжался. Он злобно смотрел на трезвонивший телефон и скучал, томился, заставляя себя не смотреть на часы.

О Коншине он думал с утра, но мимолетно, бегло. К концу дня он приказал секретарше никого к нему не пускать и выпил стакан крепкого чая. Стало быть, что же? Решили не подавать на конкурс

едва ли не единодушно. Это было прекрасно. Это была серьезная возможность скандала, который может дорого обойтись Врубову. Лишь бы они не дрогнули, а на это было похоже. Липовецкая и Полозов, по-видимому, решили подать. Сомневаются многие. У него был в коншинском отделе свой человек — Румянцев. Но Румянцев был дурак, да еще к тому же дурак, который стремится подыгрывать начальству. Хорошо бы поговорить с умным человеком, и такой человек был. И не только умный, но близкий к Коншину и уж, конечно, прекрасно представляющий себе, что творится в его отделе. Он позвонил секретарше и вызвал Кременецкую, подтвердив, чтобы к нему не пускали. Леночка пришла в халате не только ослепительно белом, но даже подкрахмаленном — так твердо он охватывал ее стройную высокую фигуру.

Они поздоровались и несколько минут разговаривали ни о чем. Потом он спросил о Ватазине.

— Смертельно жалко его! Третий инфаркт — не шутка. Но я звонил, Вера Николаевна сказала, что лучше. Как справляются без него в лаборатории?

— Плохо справляются. Работаем, разумеется. Но все расстроены, и дело, по правде говоря, как-то валится из рук.

— Ну, у вас-то, надо полагать, не валится?

— Нет, и у меня.

Они помолчали.

— Елена Георгиевна, я пригласил вас, чтобы поговорить о коншинском отделе.

— Со мной?

— Именно с вами. Дело в том, что я был против приказа Павла Петровича и пытался уговорить его, но у него, по-видимому, были какие-то далеко идущие соображения.

Это было не очень удачное начало, о чем легко было догадаться по непроницаемому Леночкиному лицу. «Не верит, стерва», — подумалось ему.

— Петр Андреевич знает, что я отношусь к нему с глубоким уважением. Он бывал у меня — мы ведь почти соседи. У него в Лоскутове квартира, у меня дача. И теперь, когда он попал в такое трудное положение... Я знаю, что у вас с ним хорошие, дружеские отношения. Не правда ли?

— Были дружеские, — быстро сказала Леночка, — а теперь — никакие. Впрочем, я, так же как и вы, глубоко его уважаю.

Это было сказано с оттенком насмешки. Он заметил ее, но продолжал:

— История затягивается, и мне кажется, правда, может быть, я ошибаюсь, что Павел Петрович не то что жалеет о ней, но... Мы вместе с ним могли бы, пожалуй, найти примиряющий выход. Но для этого мне надо... Ну, словом, Петр Андреевич едва ли будет откровенно разговаривать со мной, а с вами...

Леночка, сидевшая до сих пор скромно, опустив глаза и положив руки на колени, подняла голову и спросила, улыбаясь:

— Валентин Сергеевич, к чему такие сложности? Скажите просто: вам хочется, чтобы он рассказал мне о положении дел. Так сказать, информировал меня о том, что вообще происходит в его отделе. Да?

Осколков засмеялся. «Ну, эта далеко пойдет», — подумал он.

— Даже если и так?

— Так вот, Валентин Сергеевич, если бы даже я и согласилась сыграть эту, скажем прямо, нелестную роль, из этого ничего бы не получилось. Вы ошибаетесь, предполагая, что он будет со мной от-

кровеннее, чем с вами. Кроме того, выяснять-то, по-моему, нечего! Люди работают. Зарплата идет, общественные поручения выполняются как должно. По-моему, в отделе даже стараются не говорить о том, что случилось. Вот и все.

Осколков помедлил.

— Ну что ж, — сказал он, стараясь скрыть раздражение, — будем считать, что исполнить мою просьбу вы отказались.

— А не лучше ли, — дерзко спросила Леночка, — считать, что никакой просьбы не было? Я могу быть свободной?

46

Они работали в разных зданиях. Леночка приходила в девять, Коншин — в двенадцать, но случалось, что они встречались во дворе или в проходной, здоровались, и каждый раз Коншин испытывал неловкость. Но в эти месяцы, потребовавшие от него небывалого напряжения, Леночка исчезла из его жизни, он просто забыл о ней. И она, без сомнения, догадалась об этом, потому что ни разу не позвонила ему. Но накануне заседания президиума она, к его удивлению, позвонила и даже предложила встретиться, и когда он отказался, она сказала быстро:

— В котором часу президиум?

— В четыре.

— Ты поедешь один?

— Да, а в чем дело?

— Для тебя очень важно то, что я хочу сказать. Может быть, в метро?

Они условились встретиться за полчаса до заседания в метро на Маяковской.

Что-то изменилось в Леночке — и не потому, что она была в дубленке, не потому, что постриглась и новая прическа очень шла к ее похудевшему, похорошевшему лицу. Нет, с первого слова он почувствовал, сперва почти неуловимо, потом все более отчетливо, какую-то внутреннюю перемену, заключающуюся в том, что она как бы старалась доказать, что никакой перемены нет и что в ее жизни ничего нового не случилось.

— Извини, что так настаивала. Но я кое-что узнала, и мне хотелось бы рассказать. На днях я была у Житневых (это были знакомые Леночки, о которых она часто упоминала), пришел Врублов и много говорил о тебе. Жаловался, что у него поднялось давление, что он достал для тебя редкую аппаратуру, посылал за границу. И вот — благодарность! Он все повторял, что только бог заставит его отменить приказ, «да и то после смерти». Тем не менее он в неудурном настроении: Саблин зашатался.

— Как зашатался?

— Вот так. — Она вытянула руки по швам и с остолбенелым лицом пошаталась на месте.

— Почему ты думаешь?

— Сделала заключение. Дело в том, что там, у Житневых, был... — Она назвала фамилию еще молодого, быстро делающего карьеру заместителя министра. — И он сказал многозначительно: «Им недовольны». Ты знаешь, а я на твоём месте не стала бы переходить в другой институт. Во-первых, переход развалит работу. Во-вторых... Допустим даже, что ты перейдешь к Саблину. Но ведь ты будешь у него один из многих, а у нас ты, что ни говори, номер один. Кстати, я была на твоём докладе.

— Ну и как?

- Хотя я и не все поняла, но понравился. Ты — тоже.
- Что «тоже»?
- Ты был необычный. И тихий и бешеный, — сказала с удовольствием Леночка. — Я даже вспомнила, как ты двинул меня.
- Ну вот еще! За что?
- За то, что я не хотела, чтобы ты купил апельсины для Вовки. (Вовка был племянником Леночки.) Ты рассердился, — продолжала она, — и двинул.
- Да полно тебе!
- Я запомнила, потому что мне понравилось, как ты это сделал.
- Так надо было тебя бить?
- Возможно, возможно, — сказала Леночка, улыбаясь. — Но теперь некому меня бить. Ты занят. — Это было сказано с намеком.
- Меня самого бьют, и весьма беспощадно. Так ты говорила, что Саблин...
- За что купила, за то продаю. Но я на твоём месте... — Она замолчала.
- Договаривай.
- Взяла бы заявление об уходе обратно.
- Петр Андреевич нахмурился.
- Но ведь это как раз и значило бы, что я согласен с приказом!
- Не знаю, не знаю. Вы с Врубовым, как говорится, в разных весовых категориях. Кстати, это сказал кто-то из твоих, а Врубову немедленно доложили, и он был очень доволен. Что еще? Ах да! «Его хотят сделать мучеником и знаменем».
- Это еще что?
- А это тоже была одна из тем разговора. Очевидно, мучеником науки и знаменем вольнодумия. Ах да! Еще одно. Осколков вызвал меня на днях и просил поговорить с тобой. Нанимал разведчицей.
- Вот как? И что же?
- Как это «что же»? — с обидой спросила Леночка. — Дала ему понять, что он дурак, и ушла.
- Он далеко не дурак.
- Да. Но в данном случае это было глупо. Хотел сыграть на... Ну, ты сама понимаешь, на чем.
- Спасибо. Послушай, — вдруг сказал Коншин, вспомнив свой разговор с Машей. — Извини, что я вмешиваюсь в твои дела. И не сердись заранее. Оставила бы ты в покое Ватазина. Ведь его в самом деле не узнать. Я тебе дружески советую.
- Леночка засмеялась.
- А ты это ему дружески посоветуй. Не умрет. Говорят, от счастья не умирают. Впрочем, не волнуйся. Твой Ватазин интересуется меня, как прошлогодний снег. А кто же это просил тебя поговорить со мной? Неужели сама долговязая метла Вера Николаевна? Непохоже, непохоже. Так ты на президиум?
- Да.
- Ну, с богом.

Он пришел рано, задолго до начала. Разговор с Леночкой расстроил его. Во-первых, вмешиваться в ее отношения с Ватазиным было глупо. А во-вторых — Саблин? Может быть, он в самом деле зашатался?

Но что-то преднамеренное почудилось ему в этом слове.

Надо было охватить разговор одним взглядом. Так он всегда делал, запутываясь в противоречиях. В разговоре было что-то одно-

временно и беглое и значительное. Была двойственность. Была преднамеренность. Может быть, кому-то показалось важным, чтобы за два часа до президиума он узнал, что положение Саблина непрочно?

Хотела ли Леночка ему помочь? Может быть. Но одновременно не только помочь. Или точнее: не только ему. Но если так, разве она стала бы рассказывать о том, что ее вызывал Осколков? Ему стало стыдно. Подумать, что этот разговор подсказан Врубовым и направлен к определенной цели — перед самым заседанием выбить его, Коншина, из седла, — что за вздор! Леночка просто хотела ему помочь, она искренно считает, что он должен взять заявление назад. И довольно об этом!

Но почему-то ночь перед отъездом из Прибрежного вспомнилась ему. В духоте тесной комнаты сонно жужжат мухи. Под легким одеялом видны очертания крупного тела. Одеяло поднимается и опускается на груди. Чужая женщина спит, бесшумно дыша, а он смотрит на нее, не чувствуя ничего, кроме внезапной холодной ненависти.

Пора было, впрочем, подумать о другом. Он тщательно приготовился к выступлению на президиуме. Но что-то было еще не взвешено, не соотнесено, могли встретиться неожиданности. И как бы рукой отстранив разговор в метро, он в тысячный раз представил себе, как неопровержимо докажет, что переход в другой институт — единственный выход.

48

Медленно собирались члены президиума. Пришел Саблин, поздоровался и подмигнул с таинственным видом. Потом пробежал, еле кивнув Петру Андреевичу, Врубов прямо в кабинет президента. Пришла большая группа сотрудников другого института — их вопрос должен был обсуждаться первым.

Вдруг явился спокойный, добродушный Левенштейн, от которого пахло вином, и когда Петр Андреевич удивленно спросил его: «А ты здесь зачем?» — тот ответил:

— Наши прислали. Считают, что ты нуждаешься в моральной поддержке.

Он увел Коншина в коридор: «Нечего раньше времени показываться на глаза начальству» — и они долго молчали, стоя у окна, за которым весело метался мелкий крупитчатый снег. День был солнечный, не очень холодный, просторный. Но Коншин, у которого болела голова, с неприязненным чувством смотрел на этот вид за окном, на эти солнечно-снежные зайчики, скользившие по металлу автомобилей, по заиндевевшим веткам тополей.

— Господи, хоть бы все это кончилось поскорее! — почти простонал он.

И Левенштейн, который вдруг превратился в озабоченную и добрую старую няню, сунул ему таблетку, принес из приемной стакан воды, заставил принять.

— Бывают же дурные сны, когда нет силы проснуться, — сказал он. — Жизнь идет полосами. Сейчас у тебя плохая полоса. Она кончится, пойдет полоса хорошая.

Прошел час, сотрудники, вызванные по первому вопросу, ушли, а Петр Андреевич все ждал, когда его вызовут.

— Решают без тебя, — сказал Левенштейн. — Голова болит?

— Да.

— Еще таблетку?

— Нет. Пройдет, когда вызовут. Стресс.

Вызвали на исходе дня, когда зайчики исчезли и все на дворе и в здании стало сумеречным, вечерним.

В кабинете президента сизый табачный дым плавал в свете высоко подвешенной люстры; за длинным столом сидели академики, все незнакомые, кроме Саблина, Кржевского, Врубова. Петра Андреевича пригласили к столу, и на него доброжелательно и с любопытством уставились старые седые люди, серые от усталости, с воспаленными глазами.

Кржевский в официальном тоне предложил рассказать о сущности дела — «если можно, покороче», добавил он, окинув всех присутствующих острым взглядом маленьких глаз, означавшим, что все утомлены и что он, Петр Андреевич, не должен обижаться на просьбу. Кое-кто поддержал:

— Да, покороче.

Не чувствуя никакого стресса, все с той же темной головой, Коншин начал заранее приготовленной фразой. Врубов, перед которым лежали какие-то папки, раскрыв одну из них, сразу же стал возражать, но Кржевский резко прервал его:

— Это мы уже слышали. Там ничего нет.

Петр Андреевич продолжал говорить. Но он не сказал и десятой доли того, что было обдуманно, взвешено, соотнесено, подготовлено, когда Кржевский остановил его.

— Мы обсудили вашу просьбу и вполне с вами согласны, — мягким, доброжелательным голосом сказал он. — Отдел будет восстановлен.

— Но как же конкурс? — почти закричал Коншин.

— Ваш директор заверил президиум, что никто из сотрудников не пострадает.

— Но он действовал незаконно! — воскликнул Коншин.

«Сейчас скажу, — подумал он тут же с похолодевшим сердцем. — Сейчас все скажу. И что с Врубовым невозможно работать. И что отдел надо перевести в другой институт. Левенштейн был прав, всё решили без меня, и все довольны своим решением... Но почему Саблин молчит? Он должен сказать, что берет к себе наш отдел!..»

Но Саблин молчал, а какой-то работник аппарата гнусаво сказал, что «конкурс мог быть объявлен на основании постановления министерства» — он назвал дату и номер — и что «все сотрудники будут утверждены в течение десяти дней».

Теперь на Коншина смотрели с умиротворяющим, но и недоумевающим видом. Отдел будет восстановлен, что же еще ему надо?

— Вам мало гарантии президиума? — мягко спросил незнакомый академик с усталым лицом.

— Мне мало восстановления отдела, — зло скосив глаза, тихим голосом сказал Коншин. — Президиум не может дать гарантию в том, что после восстановления мы будем работать в благоприятных... Да куда там! Хотя бы в нейтральных условиях! Единственной возможностью спасения отдела является переход в другой институт. И не кажется ли очевидным... — у него сорвался голос, он справился, но с каждым словом говорил все громче, — что, прежде чем восстанавливать отдел, надо задуматься над тем, почему он был упразднен? Нанесено оскорбление — за что? Казалось бы, без всякой причины? О нет! Причина заключается в том, что для директора не имеет никакого значения научный успех любого сотрудника, любой лаборатории, если из этого успеха он не может извлечь выгоды для себя, связанной с премией или заграничной поездкой. («Ну все, пропал», — подумал он, посмотрев прямо в плоские, расширенные от бешенства

глаза Врубова.) Институт существует не для того, чтобы содействовать развитию науки, а для того, чтобы украшать существование директора. А наука!..

Он замолчал, и Врубов немедленно прохрипел что-то невнятное, вроде: «Прошу меня оградить!» Но Коншина не останавливали, напротив — слушали с неожиданным интересом.

— И до этого приказа, который граничит с преступлением, наш отдел существовал в атмосфере неприязни, нам отказывали в аппаратуре, не посылали на симпозиумы и конгрессы. Не говорю уж о других, более мелких придираках, отнимавших у меня как руководителя так много времени, что только к концу рабочего дня удавалось вернуться к делу. Мы не жаловались, мы работали. И когда мы были в разгаре работы...

Кржевский поднял руку.

— Простите, еще две минуты, — уже смело, полным голосом сказал Петр Андреевич. — Я готов положиться на благородство Павла Петровича. Но руководство Института в целом... Я имею в виду его заместителя Осколкова. Даже ребенку ясно, что президиум не может гарантировать отсутствие мнительности и незлобивости в характере этого человека. Отдел после восстановления попадет в условия несравненно худшие. Единственный выход — и я убедительно прошу рассмотреть эту возможность — перейти в другой институт.

Легкий шум прокатился по кабинету — многие члены президиума одновременно заговорили друг с другом.

— Но вопрос о переводе в другой институт не был поставлен и не обсуждался, — уже совсем другим, сдержанно-возмущенным голосом сказал Кржевский. — Павел Петрович, сейчас мы закончим, а потом я дам вам слово, — сказал он Врубову, а потом продолжал: — А пока... Вы, я полагаю, согласитесь с тем, что упраздненный и, следовательно, формально не существующий отдел нельзя переводить в другой институт?

...И дальше все пошло очень быстро. Кржевский что-то диктовал стенографистке, все пришло в движение, начался общий разговор, все вставали из-за стола...

— Вы свободны, — сказал Кржевский, и, уходя, Петр Андреевич слышал захлебывающийся голос Врубова:

— Прежде всего...

Коншин вышел в приемную и через открытую дверь увидел взволнованные лица Левенштейна, Ордынцевой, кого-то еще — собрался почти весь отдел.

— Ну как? Что решили?

— Они пошли навстречу нам и решили восстановить отдел.

— А как же насчет перевода?

— Надеюсь, вы согласитесь со мной, что формально не существующий отдел никуда переведен быть не может? — нервно смеясь, спросил Коншин. — Поехали ко мне, расскажу.

— Ты понимаешь, я никак не мог трезво оценить то, что случилось. Они приехали ко мне, я рассказал о президиуме, и Ордынцева оценила меня однозначно: «Вы не выдержали. Президиум выдал нас на расправу Врубову, он теперь всех сожрет, и сопротивляться поздно. Второй раз заявление об уходе подавать нельзя — это смешно. Второй раз вся Москва за вас заступаться не будет». Ты знаешь, это состояние, когда внутри все опускается, и все безразлично, и не хочется жить! Но я подумал о тебе: что сказала бы Маша?

— Обними меня. Вот так. Теперь продолжай.

— Левенштейн и Володя Кабанов стали спорить с Марией Игнатьевной, но в конце концов и Левенштейн сказал: «Отдел восстали, а возможность провалиться на конкурсе любого из нас подтвердили. Но ты все равно ничего сделать не мог. Формально президиум прав. Отдел упразднен, стало быть, перевести его невозможно». Я слушал и думал: «Нет, я виноват. Я не выдержал. Когда Кржевский сказал: «Вы свободны», я не должен был уходить. Мне помешала моя проклятая вежливость, я не в силах был кричать на старых усталых людей. А нужно было устроить скандал». Я думал: «Маша сказала, что скандал — это вещь». Потом, когда я вернулся домой, пришли мальчики, которых Врубов прислал в отдел, и один сказал: «Петр Андреевич, считаем своим долгом заявить, что мы — всецело за вас». И оказалось, что приехали многие, но не решаются войти, не зная, в каком я состоянии. Я выбежал к ним, позвал и с этой минуты почувствовал, что, хотя ничего хорошего не произошло, меня вроде бы никто не винит. Когда я рассказывал, мне смертельно хотелось только одного: чтобы они сказали, что ничего большего я сделать не мог. Почти невозможно было объяснить, что мне мешала вежливость, и я боялся, что как раз этого-то и не поймут. Но, кажется, заметили и поняли, только одна Мария Игнатьевна фыркнула: «Жаль, что там меня не было» — и я согласился, что жаль. Потом начался разговор, в котором все, хотя и по-разному, согласились, что ничего большего я сделать не мог. Конечно, жизнь будет теперь не легкой. Врубов найдет возможность отплатить, но к трудностям не привыкать, они были и будут. Но потом, когда все разошлись, я почувствовал, что схожу с ума. Предал я их или нет? Была ли возможность переломить ход президиума? Я не мог оставаться один, хотел позвонить тебе, но было три часа ночи, а я знал, что завтра у тебя трудный день. Пошел в ванную, посмотрел на себя в зеркало и, ты знаешь, удивился: таким я себя еще никогда не видел... Ну хватит об этом. Еще ничего не кончилось. Поговорим о другом.

— Так тебе понравились Поповы?

— Да, и особенно Ирина Павловна. У нее становится нежное лицо, когда она слушает музыку.

— Жаль Верочку.

— Да. Она терпелива?

— Очень.

— Тогда все будет хорошо. Дело в том, что Георгий Николаевич просто нужен Кременецкой. Она даже желает ему добра, ведь она, в сущности, человек хороший. Но потом, когда он станет ей не нужен...

— Ты думаешь, станет?

— Не сомневаюсь. Ты бы слышала ее выступление на институтской конференции. Она далеко пойдет.

— Но как же Георгий? Неужели он не понимает?

— Может быть, догадывается. Но он человек, у которого нет представления о задней цели. Он обманывается в ней, потому что не в силах поставить себя на ее место. Она кажется ему однозначной, а между тем его лаборатория, в которой она стала теперь полной хозяйкой, для нее только ступень, начало.

— Знаешь что? Пойдем погулять.

— Не поздно?

— Девятый час. И завтра у тебя трудный день.

— Наплевать! И знаешь куда? В лес. Не боишься? По моей любимой просеке.

— Не заблудимся?

— Я найду ее с закрытыми глазами.

50

День был теплый, но ветреный, когда они вышли, еще гнулись тонкие осинки на поляне, за которой начинался лес, а с кленов медленно, нехотя слетали первые листья.

Маша рассказывала, Петр Андреевич слушал ее, бессознательно отмечая в сумерках знакомые места.

— Родители постоянно ссорились, мать, не выдерживая, вцеплялась ему в волосы, он отталкивал ее так, что она летела в другой угол комнаты, и, плюнув, уходил. Причину этих ссор я поняла очень рано — каждый раз упоминалось новое женское имя. Но были и другие причины, из которых главная заключалась в том, что мать была как бы рождена для страданий, а отец — для счастья, которое выразилось в том, что он любил подчинять и подчиняться. Водку и женщин он тоже любил, но это была мелочь, не стоившая серьезного внимания, а главным в жизни было исполнение правил, обязательных для граждан. Он работал в райисполкоме. Правила были записаны где надо, и он наслаждался, наблюдая, чтобы они не нарушались.

...Вот две ели и дуб с мертвой кроной, на котором недавно появился срез с красной отметиной — стало быть, лесники спилят дуб во время очередной санитарной очистки леса. Отметина была чуть видна в полутьме.

— Теперь, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что все это было бессознательным сопротивлением. Я не вмешивалась в ссоры между матерью и отцом. Я бессознательно сопротивлялась той атмосфере, в которой они были возможны. Я бессознательно устояла против душевной опустошенности, в которую мать ушла с головой, а ведь она и меня тянула в эту опустошенность. Когда я решила убежать от нее, это тоже было сопротивлением.

...Вот упавшая поперек, перегородившая просеку сосна — ее почему-то долго не убирают, и Коншину приходится зимой обходить ее на лыжах. Сейчас они перебрались через нее, вдыхая слабый обморочный запах умершей хвои.

— Мама была еще хороша собой, невысокая, стройная, привлекательная. Ни в одной школе она не работала больше года. Она как будто была заранее уверена, что с ней будут спорить, и непременно свысока, чтобы унизить. Только что я привыкала к одной школе, как мама переводилась в другую. Из Углича в Серпухов, потом на юг, в Сухуми. Потом в Батуми. Все, что происходило в каждой новой школе, оскорбляло ее, но не потому, как я поняла в конце концов, что ее не устраивали порядки, а потому что ее бросил муж и с этим она никогда не могла примириться. О том, что она любит его, я не догадывалась долго и, может быть, совсем не догадалась бы, если бы, когда я была в девятом классе, она не послала ему пальто. Ей хотелось скрыть это от меня, но я случайно узнала. Мы жили на гроши, и она откладывала из этих грошей годами, чтобы послать ему пальто, в котором он ничуть не нуждался.

— Он жив?

— Не знаю. Мама умерла в прошлом году.

Пора было возвращаться, но Петр Андреевич решил дойти до за-

интересовавшего его темного пятна, то исчезающего, то появлявшегося на далеком повороте просеки. Это был человек, как он убедился, подойдя поближе. Маша продолжала рассказывать, но Коншин уже не слушал.

— Ты понимаешь, для меня стало ясно, что в конце концов ее жизнь станет неотвязной частью моей собственной жизни. Но как убежать? У меня дух захватывало, когда я думала об университете. Я с восьмого класса зарабатывала деньги и отдавала матери только половину. А летом нанималась в совхоз — за все бралась, лишь бы заработать. Кончила школу, оставила маме записку, в которой умоляла ее не беспокоиться, и уехала в Москву с двумя платьями, смежной бельем и сорока рублями. Подруга, тоже собравшаяся поступать в университет, предложила пожить у родственников, а если сразу не удастся попасть в общежитие, остаться еще на месяц-другой. Я кончила с золотой медалью и могла не держать экзаменов, но на собеседовании чуть не срезалась. Не знала, как ночью определить страны света по звездам.

Человек, стоявший на просеке, почему-то спрятался за деревом, точно поджидая кого-то. Потом вышел, и рядом с ним появился второй. Они стояли, разговаривая, и казалось, что им не было до Коншина и Маши никакого дела. «Повернуть? — подумал Петр Андреевич. — Но что стоит им догнать нас? Это показало бы только, что мы испугались».

Маша замолчала, теперь и она увидела людей на тропинке.

— Кто это?

— Не знаю.

— Повернем.

У нее был испуганный голос.

— Зачем? — Он обнял Машу за плечи, крепко прижал к себе и сразу же отпустил.

Теперь люди на тропинке стояли молча, дожидаясь.

— Закурить найдется? — спросил один.

Второй зажег и погасил карманный фонарик. Коншин молча протянул пачку сигарет. Взяли оба, чиркнули зажигалкой, закурили.

— Кто такие?

— А вы кто такие? — спросил Коншин.

«Одного прямым ударом в лицо, другого коленом в пах — и бежать, — лихорадочно стало повторяться в сознании. — Куда? В бузину. (Налево неясно темнела заросль бузины.) Только бы Маша не растерялась».

Второй снова зажег фонарь — казалось, он осматривал Коншина и Машу. Оба они были одеты скромно — Петр Андреевич в старом свитере, Маша в дешевом осеннем пальто.

— Деньги есть? — спросил первый.

— Есть, да не про вашу честь, — дерзко сказал Коншин и, когда тот опустил руку в карман (чтобы достать оружие?), вынул бумажник и швырнул на землю. — Нет денег!

Денег действительно не было. При свете фонаря вор с досадой вывернула бумажник, какие-то квитанции разлетелись. Маша невольно хотела поднять их, но Коншин удержал ее.

— Чего стали? Проходите! — крикнул вор.

— Ты мне не указывай, хайло собачье, — тихо и злобно сказал Петр Андреевич, прибавив длинное ругательство, в котором упоминались и бог, и душа, и мать. — И не кричи, сукин сын, а лучше сам уходи подобру-поздорову.

Маша испуганно потянула его за рукав. Он снова обнял ее за пле-

чи, и они не торопясь пошли дальше. Вслед посыпалась такая же бешеная, но как бы несколько озадаченная ругань.

— Испугалась? — ласково спросил Коншин.

— Господи, как я тебя люблю, — ответила Маша.

Он засмеялся и быстро поцеловал ее.

— Бумажник жалко.

— Новый?

— Нет, старый, но я к нему привык.

— Я подарю тебе новый.

— Спасибо.

Они вернулись по другой просеке, перешли площадку, на которой кружились ночные трамваи, и остановились неподалеку от дачи Осколкова. Там было что-то неладно, сметенье, бестолочь, шум. «Волга» стояла у подъезда, кого-то выталкивали из дома, и тот — крупный, плечистый человек в распахнутом плаще — сопротивлялся и, невнятно бормоча, почему-то пытался встать на колени. Подъезд был освещен, но лампочка вдруг погасла, хотя никто еще не спустился с крыльца. Но и в свете уличных фонарей было видно, что человеку, которого тащили, все-таки удалось встать на колени.

— Да где же совесть-то? — вдруг громко, на всю площадь выкрикнул он. — Ведь как же так? Куда же мне теперь? В петлю?

Шофер выскочил, и теперь уже трое или четверо, уговаривая, упрасывая, успокаивая, стащили человека в плаще с крыльца, втолкнули в машину. Двое сели рядом с ним, третий побежал в сторону и пропал за углом. Машина умчалась, все затихло.

— Оч-чень странно, — сказал Петр Андреевич.

Мигом вспомнился ему человек с маленькой стриженной головкой, считавший деньги в столовой Осколкова.

— Какой-то пьяный скандал? — спросила Маша.

— Знаешь, чья это дача?

— Нет.

— Осколкова.

— Как, того самого?

— Вот именно.

— Ну и что же! Он устроил кутеж, кто-то напился, стал скандалить, и его выставили, вот и все.

— Может быть, может быть! Ты не находишь, что у нас сегодня ночь приключений?

51

Когда собственное решение не помогло во второй, в третий раз, он спросил себя: а нельзя ли отдать это решение другому? В молодости он лечился от бессонницы гипнозом. Почему бы вновь не испытать это средство? Врачи отказывались — страсть к игре не болезнь, это черта характера, а характер нельзя лечить. Осколков все же уговорил молодого психиатра, и, казалось, наметился успех, но ненадолго. Приходилось мириться с неприятным странным ощущением — на следующий день после сеанса он чувствовал, что кто-то неведомый, неуловимый постоянно находится рядом с ним. К вечеру ощущение проходило, а однажды вместе с ним ушло и хрупкое влияние гипноза.

В прошлую субботу, когда Рознатовский и Хумашьян привезли к нему директора овощной базы, которого они предварительно напоили в ресторане «Варшава», и тот, проитравшись, плакал и как сегодняшней командировочный, бухался на колени, снова было решено,

что это больше не повторится. Не просто решено, а клятвенно, твердо, бесповоротно. Он пошел к матери и сказал, что хочет поклясться ей перед иконой. Мать плакала от радости, слово за словом она заставляла его повторять молитву: «Господи, яви надо мной безграничное твое милосердие. Не погляди на грехи мои ради усердной молитвы моей. Сподоби мне вернуться с бодростью и рвением к труду моему. Преклони людей к доставлению мне покровительства. Милость твоя да посетит меня. Да осенит меня сила неисповедимого креста твоего. Яко твое есть царствие во веки веков отца, и сына, и святого духа. Аминь».

Что же заставило его в который раз нарушить клятву? Куда уйти от самого себя?

Жизнь его сложилась удачно. Он всегда добивался своего, и всякий раз это был новый поступок. В молодости его страстью было ломать женские судьбы, но не грубо, а неторопливо, с внезапными уходами и возвращениями, с игрой, которая превращалась в увлекательное, занимательное дело. Несколько раз он принимался составлять список своих женщин, но бросал, не хватало терпения. Случалось, что он отрывал жену от любящего мужа просто потому, что его раздражало зрелище семейного благополучия. Жизнь шла пошлупательно, перебежками, нападениями, иногда обходами — так он обошел войну, прославившись в тылу как опытный и умелый администратор. Потом начались карты, и он быстро научился ценить наслаждение случайности, опасности, риска. Один поступок следовал за другим, играя, он не узнавал себя, он стремительно преобладался.

Тогда дело было не только в деньгах — в «крае». За картами он ежeminутно стоял «на краю», и надо было уметь не сорваться. Потом пришли деньги, и он полюбил их за легкость, с которой они ему доставались. Он купил дачу, стал приобретать редкости, драгоценности, холсты — денег было много, и надо было воспользоваться ими умело. Так началась двойная жизнь, бесповоротно его захватывшая.

Что привлекало его в ней? Свобода. Поле действия необозримо раскинулось перед ним. Он не знал и не мог вообразить себе никого, кто решился бы на такое мужество двойного существования. Теперь он был «на краю» не только за картами — ежедневно и ежечасно.

Тогда-то и ворвался в его жизнь весь сброд шулерского мира. Но он никогда не запутывался, он держал этот сброд в подчинении. На него снизу вверх смотрели все эти рознатовские и хумашьяны. Его дача была не грязным катраном, в котором обыгрывали доверчивых «лохов». Обыгрывали и у него, но только в тех случаях, когда попадался «жирный лох» и в крупной «выдаче» не было сомнения. Здесь почти всегда играли без шулерских приемов. Здесь мастера с полувековым стажем показывали свое неистощимое искусство. Сюда приходил знаменитый Алексеев, который всю жизнь уходил от полиции и милиции и уже не играл — тряслись руки, — жил за счет шулеров, пообещав им огромное наследство. Здесь на кон ставились десятки тысяч, и сам хозяин не раз проигрывался до последней пятерки...

Но годы шли, и он устал. В газетах стали появляться статьи, которые по касательной задевали его. «У них свои клички, свой язык — деньги они называют «бабками» или «воздухом». Проигрываясь дотла, они говорят, что «нечем дышать». Они объединяются в компании. Они играют в бильярдных, на вокзалах, в аэропортах. Летом — на берегу Москвы-реки, на Ленинских горах, с окружной

дороги сворачивая в лес. Они пользуются условными знаками. Время от времени представители шулерских компаний из разных городов собираются — это называется «академия». Обсуждаются организационные вопросы, показываются новые приемы обыгрывания, распределяются «зоны влияния»...

У Осколкова немели руки, когда он читал эти статьи.

Давно пора было прислушаться к своей усталости, к своей тревоге. Но вот оказалось, что на это не было сил. Оказалось, что он не может справиться с собой, как он умел справляться с другими. Куда же кинуться, где искать спасенья? Сознание обреченности было в отмене двойной жизни, в однозначности, и эта однозначность могла — так ему казалось — вернуться к нему только в одном случае: если бы он стал директором Института. Идея пришла издалека, со стороны. Идея пришла от затрудненности дыхания, от неполноты «оперативного простора». И в Институте всегда шла игра, но тесная, томительная, продолжавшаяся годами. Теперь она получила новое назначение, новый неожиданный смысл. Когда он станет директором, расхождение от тайной жизни разбогатевшего шулера до нового высшего положения станет невообразимым, беспредельным. В его руках окажется громадное дело, которому он отдаст всю энергию, все свои силы. Он не будет подобно Врубову руководить Институтом по телефону, он отменит бесконечные реорганизации, которые устраивались, чтобы избавиться от самых способных ученых. Он станет опираться на них.

Неужели этот решительный поворот не вернет его наконец к однозначности, не поможет ему победить себя? Так началась эта игра, в которой разговор с Коншиным был первым неудачным ходом. Неудачным, потому что он не разгадал Коншина и, более того, сам был легко разгадан им.

В детстве он видел на паперти молодого нищего, бледного, с сумой через плечо, о котором мать сказала, что он странник и ему «ничего не надо». Казалось, что Коншину «ничего не надо», и это было необъяснимо, опасно.

52

Все было хорошо, но слишком хорошо, и это беспокоило Машу. Уже несколько раз она сталкивалась с мыслью, что Петр Андреевич принимает ее за кого-то другого, за женщину, которую, как ей казалось, он создал в своем воображении. Иногда она почти физически чувствовала, как непохожи на нее его представления о ней, и приходила в отчаянье. Высказать себя в таких случаях было невозможно, а не высказаться значило оставить его в заблуждении.

У нее был сложившийся характер, сложившаяся жизнь, пусть невеселая, но своя и как бы выстроенная ее руками. Прочно ли? Оказалось, что нет. Оказалось, что все, что она «устроивала» в душе после развода с мужем, рухнуло, развалилось и она стояла перед этими развалинами растерянная, расстроенная — и не знала, как поступить. Человек, без которого она не могла жить, о котором думала безотвязно, безотрывно, ворвался в этот давно сложившийся мир. Он разрушил его, он устроил в нем сказочный беспорядок, но этот беспорядок был так похож на него, что жить, как прежде, было уже невозможно. Надо, надо было посмотреть правде в глаза, а правда заключалась в том, что они не пара. В старину это, кажется, называлось мезальянс — **неравный брак, и нечего было скрывать** от себя, что их брак, если бы он произошел, был бы действительно нерав-

ным. Две сложившиеся жизни скрестились, сошлись — а что, если не сошлись, а столкнулись? Петр Андреевич не знает, как нетерпима она к малейшему проявлению власти над ней. Он не знает, что сдержанность, к которой она себя приучала годами, засушила сердце. После того, как они встретились, это прошло, она стала мягче, согрелась, раскрылась. Но кто знает, быть может, черствость вернется, когда они привыкнут друг к другу? А сознание, что она неудачница? А ненависть, с которой она подчас смотрела на свою машинку?

Ватазин сказал, что Петр Андреевич мало сказать талантлив, что его догадки иногда приближаются к «границе гениальности». Как она будет выглядеть в кругу этих гениальных догадок со своей полуобразованностью, со своим забытым французским? Со своим самолюбием, со своей беспричинной тоской, от которой подчас некуда было деваться? А ведь в браке власть одного супруга над другим неизбежна. В браке надо учиться смирению, подчинению, утаенности чувств — и не только от себя, от мужа. Маша была замужем, она-то знает, что это для нее невозможно! Страшно подумать, что она начнет ссориться с Петром Андреевичем, — страшно потому, что чувствует свою полную беспомощность перед ним. Нет, не перед ним, а перед всецело захватившим ее чувством принадлежности, от которого некуда было деваться. Она понимала, что необходимо рассказать ему о своих сомнениях, о своей неуверенности, — все труднее было заслонить ее, утаить. Но она понимала и то, что у нее никогда не хватит мужества открыться перед ним, — ведь если она откроется, если Петр Андреевич узнает всю слабость ее неуверенной, шаткой души, что-то переломится в их отношениях и, кто знает, может быть, это «что-то» станет концом, приговором?

Все это удвоилось, подступило к горлу, когда она убедилась в том, что у них будет ребенок. Счастье, о котором она так долго молила судьбу, на которое давно потеряла надежду. Чудо, отдалявшееся с каждым годом ее оскорбительно-пустой женской жизни, теперь должно было совершиться — и как же она встречала это событие, это чудо?

И прежде Машу мучила мысль, что она и Коншин любят друг друга по-разному. Невозможно было представить себе, что и для него наступило то особенное, непостижимое время, когда довольно увидеть ее, чтобы почувствовать себя по-детски счастливым. **Быть** может, он любит ее, как любил других? Тогда — страшно подумать, — тогда не нужно, чтобы у них был ребенок.

В этот день она не позвонила ему, не подходила к телефону, с утра до вечера бродила из угла в угол в халате. Обеспокоенный Коншин приехал поздно, она пошла открывать, и он ужаснулся, увидев ее бледную, измученную, с кое-как заколотыми волосами.

— Что с тобой?

Она кинулась к нему.

— Что случилось?

Она смеялась и плакала, и прижималась к нему и отстраняла от себя, чтобы наглядеться.

— Садись, и я объясню тебе, почему мы не пара.

— Вот как! Это интересно! Ну-ка объясни.

Он выслушал ее спокойно, серьезно, а потом так же спокойно рассказал ей почти все, что она боялась ему рассказать.

— Неужели ты не видишь, что я уже давно узнал и понял тебя? — спросил он. — Боже мой, не сердись, это было не так уж

и сложно! Но вот в чем дело: скажи, что по-твоему могло бы измениться, если бы даже я разделил твои чувства?

— Не знаю. Но я хочу сказать...

— Ничего бы не могло измениться,— поучительно сказал Петр Андреевич.— Потому что мы как раз пара. И тут ничего не поделаешь. Мы пара. Третий час,— прибавил он устало и поцеловал ее, как ребенка.— Как ты думаешь, еще не поздно выпить чаю?

«Сказать или не говорить? — думала Маша, уже когда рассвело, глядя на его успокоившееся лицо, казавшееся ей прекрасным.— Конечно, да. Но не сегодня. Через несколько дней. Когда не останется никаких сомнений».

53

После гарантий президиума ничего, кажется, больше не оставалось, как взять назад заявление об уходе. Но никто не поверил этим гарантиям. Более того, почти все сотрудники отдела были уверены, что конкурс окажется ловушкой, после чего отдел все равно будет разделен.

— Сговорятся с конкурсной комиссией, а потом тот же Осколков побеседует по-дружески с каждым членом ученого совета. одному пообещает премию, другому поездку за границу,— сказала Мария Игнатьевна.— И будьте здоровы, живите богато!

Петр Андреевич был уверен, что мнения разделятся, и чуть не заплакал, когда его проводили к Вруббу единодушными наставлениями не брать заявление назад.

— И вообще — молчи,— посоветовал Левенштейн.

— То есть как?

— Пользуйся разговорной речью только в случае крайней необходимости. Держись загадочно. Вдруг скажи что-нибудь не то. Постарайся оставить его в состоянии остоления.

Коншин засмеялся. Но совет был, как он вскоре убедился, дельный.

Врубб встретил его более чем дружелюбно. Пылкая речь Петра Андреевича была упомянута в первых же словах, но в спокойном, миролюбивом тоне.

— А вы, оказывается, горячий человек,— смеясь, сказал Врубб.— Вот уж не подумал бы! Карты на стол, а там — море по колено.

Он подождал ответа. Коншин промолчал.

— Мне хочется заверить вас,— сказал Врубб твердо, уставившись в лицо Коншина стеклянными глазами,— что все зависящее от меня будет сделано быстро и без недоразумений. Соберите сотрудников и скажите им, что конкурс — пустая формальность, будут избраны все. И вообще, дорогой Петр Андреевич, не кажется ли вам, что пришла пора новых, более, я бы сказал, естественных отношений?

Тут следовало сказать, что эта пора действительно наступила и что естественные отношения сами собой восстановятся, когда приказ будет отменен. Но Коншин не ответил, и снова наступила пауза, в которой, казалось, было нечто значительное. Ничего значительного не было, однако как бы могло быть, и, по-видимому, это заставило Врубба настроиться. Зашел будто невзначай Осколков и, спросив о чем-то директора, остался в кабинете.

— Вот я говорил Петру Андреевичу, что конкурс — простая формальность,— повторил Врубб.— Так сказать, общепринятая формула перехода. После решения президиума этому может помешать только одно обстоятельство — заявление об уходе.

— Ах, боже мой,—сердечно сказал Осколков.— Да неужели, дорогой Петр Андреевич, вы еще не устали от этого затянувшегося недоразумения? Пришло, кажется, время пожать друг другу руки, обменяться добрыми пожеланиями и— мне ли об этом говорить?— за работу, Петр Андреевич, за работу!

Можно было возразить, что обмениваться добрыми пожеланиями рановато, и Коншин уже собрался было сказать об этом, но, вспомнив совет Левенштейна, только раскрыл и закрыл рот. Снова наступила пауза, еще более неловкая после столь добрых, оптимистических восклицаний. Все трое молчали долго, с минуту. В рачьих глазах Осколкова мелькнуло беспокойство.

— Насколько мне известно, Павел Петрович намерен не только восстановить, но расширить отдел,— сказал он наконец.— Вы, кажется, просили у него третью лабораторию для Ордынцевой. Мы обсудили этот вопрос и согласились, что это действительно необходимо.

Не было ни малейших сомнений в том, что это действительно необходимо. В группе, которой руководила Мария Игнатьевна, молодые и не очень молодые люди давно притерлись друг к другу, и важно было еще больше упрочить эту связь. Но Коншин только сказал совершенно некстати:

— Так.

Это было более чем загадочно. Врубов и Осколков обменялись взглядами. Они были озадачены. По-видимому, в странном поведении Коншина им почудилась серьезная опасность.

— Простите,— осторожно сказал Осколков,— я не понимаю, что вы хотите сказать.

Пришло наконец время заговорить. И Коншин, действуя, очевидно, совершенно бессознательно, встал, задумчиво прошелся по кабинету и сказал:

— На конкурс подавать не будем.

Если прежде паузы были недоумевающие, неловкие, неопределенные— новую можно было назвать оглушительной: Врубов и Осколков, как в музее восковых фигур, застыли в позах крайнего негодования.

— То есть как не будете?

Коншин снова промолчал.

— Вы хотите сказать, что все ваши сотрудники намерены уволиться из Института? — спросил Осколков.

— Да, намерены. Если приказ не будет отменен.

Врубов с бешенством ударил кулаком по столу.

— Ни при каких обстоятельствах я этого не сделаю! — закричал он. — Я гарантировал президиуму восстановление отдела, но не давал обещания отменить приказ. Об этом в постановлении нет ни слова.

— Если не ошибаюсь, в военном уставе записано, что приказ заведомо бессмысленный или наносящий очевидный урон подчиненный выполнять не обязан,— возразил Коншин.— Наш разговор, полагаю, закончен?

Он поклонился и вышел. Вернувшись в отдел и отмахнувшись от валерьянки, которую ему снова предложили, он со смехом, правда несколько нервным, рассказал сцену в директорском кабинете. Его горячо одобрили.

— Ага, я же говорил! — воскликнул Левенштейн. — Ни слова?

— Как будто воды в рот набрал.

— Прекрасно! Это скандал, а на скандал они не пойдут.

— Чем черт не шутит, может быть, теперь-то все наладится? — задумчиво сказала Ордынцева. — Поговорю-ка я еще раз с Саблиным. От него многое зависит...

Прошла неделя. Все замерло, остановилось. Втихомолку сотрудники других отделов поздравляли Коншина с победой. Он с досадой отмахивался — не слишком-то заметны были плоды этой победы.

54

Все действительно замерло, оцепенело. Но в самом отделе работа продолжалась. Более того, сопротивление встряхнуло отдел, и если бы этого не случилось, быть может, не возникла бы необходимость уйти от самоповторения, обновить идеи. Коншин считал, что критический возраст, после которого любая лаборатория начинает терять свою новизну, оригинальность, — десять, пятнадцать лет. Потом начинается плато — равнина, возвышающаяся высоко (или не очень высоко) над морем науки. На этом-то плато и произошла схватка, в сущности бессмысленная, но как бы подхлестнувшая ту стимуляцию лучшего, которая естественно определяет весь ход научного мышления. Но обстановка надолго осталась сложной.

Новая работа Коншина, задуманная в тревожные дни, широко развернулась, опрокинув немало устоявшихся представлений и показав всю значительность «случайных» результатов, которые до той поры не получили объяснений.

И Петр Андреевич с головой ушел в работу — это был волшебный источник, исцелявший от всех горестей, обид и разочарований. За те потерянные часы, недели, месяцы, когда врубовская история «оттащила» его от лаборатории, в науке, которой он занимался, произошли значительные перемены. Он не боялся, что его опередили, это было невозможно. Задача, которой занимался он и круг ближайших сотрудников, должна была казаться — и казалась — почти фантастической, слишком рискованной, ненадежной. Но перемены произошли, и он не мог не считаться с ними.

Никогда прежде сотрудники с такой аккуратностью не ходили на работу. Мария Игнатьевна, долго путавшаяся в мелочах, вдруг поняла, что как раз от этих-то мелочей и надо идти вперед, — и впереди, еще в тумане, мелькнуло что-то похожее на открытие.

Тепляков — это было замечено всеми — стал проводить на лестнице вдвое меньше времени и вопреки настояниям Коншина продолжал ходить в Институт, хотя его астма ухудшилась и он легко мог взять больничный лист.

Ровно в девять утра маленький энергичный Володя Кабанов решительными шагами входил в лабораторию и принимался за дело. Девушки теперь почти не звонили ему, а когда звонили, он говорил с ними недолго и по-командному кратко. С его точки зрения, стало даже лучше, что отдел попал в «состояние невесомости» и как бы почти не существует. Ведь от несуществующего отдела нельзя требовать, чтобы сотрудники теряли время на никому не нужные комиссии и заседания.

Лучше не было, каждую минуту можно было ожидать, что станет хуже, но, как ни странно, сквозь толщу равнодушия, стремления показать полную лояльность по отношению к дирекции, сквозь приказ, поставивший отдел в унижительное положение, стали малопомалу пробиваться токи симпатии, сочувствия, внимания. Если взять весь огромный Институт в целом, он, без сомнения, был на стороне упорствующего отдела. Понимали ли это Осколков и Врубов? Трехмесячный срок конкурса давно прошел, и никто не подал

заявление на освободившиеся вакансии. Это было естественно, слух о скандальной истории разнесся широко, и никому не хотелось унижать себя, подавая заявление на «живое место».

Так прошла зима — в атмосфере полной неопределенности, которая странным образом противоречила внутренней сплоченности, с каждым днем нараставшей в отделе. Совет, который Левенштейн дал Петру Андреевичу, — пользоваться разговорной речью только в случае крайней необходимости — как бы распространился на позицию всех и каждого в отделе, напомиавшем осажденную крепость. Сорок человек молчали, энергично работали и делали вид, что ничего не случилось. Событием, обсуждавшимся наиболее оживленно, было, как это ни странно, замужество Нины Матвеевны Скопиной, доказавшей таким образом, что ее интересует не только наука. Она вышла за пожилого симпатичного моряка, устроившего шумную, многолюдную свадьбу.

Состоялась общеинститутская конференция, на которой с годовым отчетом выступил Осколков, а Врубов вел собрание и был, по видимому, в прекрасном настроении. Когда началось обсуждение, он прерывал ораторов шутками, улыбался, острил. Все было в отчете — и то, что научная жизнь Института развивается успешно и быстро, и то, что это происходит отнюдь не в безвоздушном пространстве, а в связи с насущными потребностями страны. Ничего не было сказано только о том, что произошло с отделом Коншина, и он сразу решил, что выступать не надо. Сопротивление невидимо присутствовало на конференции, и хотя казалось, что с ним никто не считается, на деле все только и ждали, что вспыхнет новый скандал.

Скандал не вспыхнул. По бесшумному приказу дирекции он был заранее как бы выключен из сознания, вынесен за скобки. Но Петр Андреевич ловил одобрительные взгляды, видел благожелательные лица.

Леночка Кременецкая выступила в строгом, немного старившем ее (что здесь было вполне уместно) английском костюме, с конспектом своей речи, в который она даже не заглянула. Она рассказала о перспективах работы под руководством Ватазина («который просил передать свое глубокое сожаление, что болезнь помешала ему приехать на конференцию»), и Петр Андреевич с изумлением убедился в том, что Леночка умело — иногда, впрочем, не слишком умело — пристроила к ватазинской тематике его, Коншина, далеко идущие соображения.

Выступление понравилось. Когда она кончила, в зале раздались даже отдельные хлопки, усилившиеся, когда похлопал сам директор. Она говорила дельно, связно, кратко и как-то так, что было бы даже странно, если бы ей вдруг пришло в голову упомянуть о коншинском отделе.

Маша знала, что с Коншиным будет трудно жить, потому что ему самому было жить трудно. И ей легко удалось войти в его дела, заботы и тревоги. Когда, возвращаясь домой, он рассказывал о новых этапах борьбы за отдел, между ними сразу же устанавливалось любимое ею цельное ощущение слитности: все происходило как бы не только с ним, но и с нею.

Основная трудность заключалась в том, что каждый час его домашней жизни был отдан «думанью», которое могло сопровождаться чем угодно — музыкой, ответами на письма, легким разговором. Но иногда Коншин нуждался и в полном одиночестве: стесняясь, он попросил Машу не сердиться за то, что он не будет брать ее

на свои прогулки. И она не только не рассердилась, но сказала, что берет на себя защиту этого «думанья», которому на работе постоянно мешали и большие и малые помехи.

Однако вскоре в доме должна была появиться «помеха» — и самая большая, которую только можно было вообразить. Она ждала ребенка, и она невольно боялась, что его рождение осложнит их жизнь. Где, например, им жить? Однокомнатная квартира в Лоскутине мала для троих. У нее была маленькая надежда, что ее соседи на улице Алексея Толстого вернутся не скоро, хотя устраиваться временно тоже совсем не хотелось. Но она получила от них письмо, извещавшее о скором возвращении, — стало быть, об этой возможности нечего было и думать, а заниматься сложной операцией обмена сейчас тоже было некогда.

Все эти тревожные размышления таяли, рассеивались, когда она вспоминала, какое лицо стало у Петра Андреевича, когда он услышал от нее, что у них будет ребенок. С озабоченными, сияющими, изумленными глазами он обнял Машу и трогательно, бережно положил руку на ее живот.

Мир, без всякого сомнения, менялся у нее на глазах: прежний, который существовал до того, как она убедилась в своей беременности, постепенно исчезал, а на его месте появлялся непривычный, новый. И даже если она просто брала книгу и открывала ее, ей казалось странным, что книга — это книга и что ее нужно читать. Это чувство было связано с неусыпной заботой: сделать все возможное, чтобы жизнь, зародившаяся в ней, не только не ушла, не погибла, но спокойно, естественно развивалась. Где-то у Цветаевой она прочла, что мужчины живут, не зная риска смерти, не чувствуя, что придет день, когда к ним приблизится этот риск. А женщины знают и чувствуют, потому что они рожают, а роды — всегда риск! Но для Маши это была еще и неизвестная страна, которая откроется перед ней, когда произойдет чудо, все значение которого она и вообразить не могла, хотя и старалась.

В свободные часы она шила распашонки, вязала чепчики, покупала одеяльца, пеленки, конверты. Суеверная Верочка Попова считала, что шить можно, а покупать ничего нельзя, и вдруг однажды принесла целую библиотеку — Чуковского, Маршака, Чарушина и Бианки. Петр Андреевич смеялся, читая вслух стихи для детей, а потом притащил груду книг, толстых, дорогих, в переплетах. Маша прочитала названия и покатила со смеху. Это были университетские учебники физического факультета.

— Ну и что ж тут особенного? Вырастет и поступит. Пригодятся.

«Первая мысль, с которой я подхожу к письменному столу, — бежать от него», — сказал мне однажды автор доброй сотни книг, которые всю жизнь шли за ним по пятам, не давая покоя ни днем ни ночью.

Но вот приходит день, когда бежать уже поздно. Герои заняли свои места и нетерпеливо ждут воплощения. Они видят себя не так отчетливо, как видит их автор. Иные едва намечены пунктиром, иные проглядываются словно сквозь завесу тумана. Становится ясно, что в орбиту работы должно вторгнуться Знание. Это не тот айсберг, о котором некогда писал Хемингуэй. Автор давно обдумал биографии действующих лиц и давно отобрал из этих биографий то, что может ему пригодиться. Это — знание последовательности, с которой одни события следуют за другими.

Еще ничего не рассказано о том, как часто теперь бывает у Коншиных Темиров. Случилось так, что в первый раз, когда он пришел, созвонившись с Машей, Петр Андреевич застал его, и разговор, в котором Паоло рассказал о себе, тронул и заинтересовал Петра Андреевича. Таких людей он еще не встречал. Это тоже была «новизна».

— Конечно, у каждого своя жизнь, и я не знаю, может быть, сам бог устроил, что человек не может жить без крыши над головой, а где мне ее взять, эту крышу?— говорил Паоло.— Конечно, я, в переносном смысле то есть, без дома. Родители надеялись, что из меня доктор выйдет. Но вот вы умный человек, Петр Андреевич, вы хороший человек, я это понял с первого взгляда и обрадовался за Машу, потому что она тоже была одна, а это еще хуже, чем для мужчины. Я обрадовался потому, что в университете был не один. Меня товарищи любили, и мы с Машей тоже были только товарищи, тем более что она, между прочим, была умница и отличница, а я уже тогда не книги в руках держал, а карты. Когда я умру, меня ни одна живая душа не пожалеет. А ведь нужно, чтобы хоть один человек пожалел! Так что ничего, Петр Андреевич, если я буду иногда приходить?

Паоло не женился и не бросил играть. Со всей нерастраченной пылкостью одинокого человека он, как мальчик, влюбился в Петра Андреевича и, когда его нет дома, настойчиво — это смешит Машу — заставляет ее рассказывать о нем. Ему уже известно о несчастье, обрушившемся на отдел, и он серьезно размышляет вслух, что он, Паоло Темиров, может сделать, чтобы приказ Врубова был отменен. С трогательным упорством он без конца возвращается к этой мысли.

Однажды, когда Петра Андреевича не было дома, Паоло явился с предложением:

— Слушай, Маша, я в Тбилиси поеду.

— Зачем?

— К отцу. У меня отец видный человек, его весь город, вся страна знает. Академик. Ну, не академик, а вроде. Он меня прогнал и может снова прогнать, если я к нему на голову свалюсь. Его подготовить надо — сын раскаялся, бросил играть и хочет вернуться. Мама может помочь, у меня мама, между прочим, грузинка. Мы с ней тайком видимся, я ее тоже очень люблю. Как увидит меня — плачет. Я ей говорю: «Мама, о чем плакать, у каждого своя жизнь. Я жив-здоров, не плачь, а то я к тебе не буду приезжать, я не могу видеть, как ты плачешь». Она меня все хочет женить, думает, что тогда перестану играть. Но я тебе скажу. Я сам недавно жениться хотел, но знаешь, в последнюю минуту выскочил из окошка, как Подколесин. Потом девушке дорожку брошку прислал, она обиделась, гордая, вернула брошку, и я теперь тебе подарю.

Маша засмеялась.

— Спасибо, не надо.

— Почему не надо? Хорошая брошка, дорогая, и Петр Андреевич не рассердится, он знает, что я тебя как друга люблю. А та девушка... Ты понимаешь, она влюбилась в меня, а разве можно в игрока влюбляться? У него только карты на уме. Хочешь верь, хочешь не верь, семейных среди игроков очень мало.

— Так зачем же ты собрался к отцу?

— Как зачем? Поговорить. Когда меня выгнали из университета, он хотел, чтобы в Тбилиси я на медицинский пошел. Это смешно,

правда? Что мне с больными делать? В тридцать одно играть? Или в сингапурскую триаду? Я паспорт разорвал и уехал в Москву.

— Зачем же паспорт разорвал?

— Бумаги были нужны для поступления, но я его разорвал, просто чтобы показать, что из меня доктора не выйдет. Я ему сказал: «Слушай, отец, а твоя жизнь — не игра? Ты всю жизнь играл, чтобы стать академиком, и я тебя за это не виню. Я только еще не знаю, кто из нас честнее играет — ты или я».

— Так о чем же ты все-таки хочешь с ним говорить?

— Я ему скажу: «Слушай, я брошу играть, я сделаю все, что ты хочешь, буду жить в Тбилиси, поступлю на работу, а ты мне поможешь в одном деле?» Конечно, сначала с ним мама поговорит, а уже потом я. Он спросит: «В каком деле?» И я ему расскажу, что эти подлецы с Петром Андреевичем делают. Ты не думай, он влиятельный человек. Если он захочет...

Смуглое лицо Паоло еще потемнело, зубы поблескивали, в больших, добрых, серьезных глазах застыло взволнованное, ожидающее выражение. Маша подошла и поцеловала его.

— Спасибо, Паоло, ты хороший. Едва ли это поможет. Да и как же ты обещаешь отцу, что бросишь играть? Ведь не бросишь?

— Может быть, брошу. — Он прошелся по комнате и сел, обхватив голову руками. — Эх, Маша! Пропала жизнь. Я все книги об игроках прочитал. Все искал — должен же быть какой-нибудь выход. У Достоевского игрок — не игрок, если он способен много выиграть и в Париж укатить с проституткой. А сам Достоевский? Он играл, чтобы разбогатеть, а потом спокойно работать. Но не для денег играет настоящий игрок. Деньги ему нужны для игры. Он одинокий человек, ни жены, ни детей, он — и судьба. Вот ты говоришь, я добрый человек. Я мать люблю, людей люблю, но куда же мне девать свою доброту? Человек должен иметь назначение в жизни. У меня нет назначения. У меня предназначение, а это значит, что выхода нет. Нет, пропал, не утешай! Я не люблю, когда меня утешают.

57

Пришел Петр Андреевич, и Паоло просил. Маше он сделал большие глаза, это означало: молчи. На такой откровенный разговор при Коншине он бы не решился. Маша чуть заметно кивнула.

За ужином он рассказывал о шулерах.

— Ко мне, между прочим, это не относится. В конторе знают, что я порядочный человек.

Конторой Паоло называл угрозыск.

— Конечно, допрашивали много раз, но я сказал: «Все могу, но не стану, потому что это обман доверия». А так знакомятся, конечно, где-нибудь в порту или на вокзале. Видимость случайности. «Извини, пожалуйста, товарищ, ты не из Новосибирска?» Или: «У меня как раз два свободных места в такси». И прямо в ресторан. Конечно, не всякий ресторан, а с договоренностью, например «Варшава» или «Прага». Еще за столом начинают играть, сперва по маленькой. Если рыбак — «Неужели не знаешь рыбацкую секу?» Название игры. Еще японский сундучок, три листика, тридцать одно. Тот, с которым играют, называется лох. Если лох попадаетея богатый, но недоверчивый, осторожный, его в катран не везут. Конечно, можно намешать в коньяк химикат, но опасно. Придет в себя, начнет шуметь, и отмазаться не всегда удается. С таким надо играть в хорошей интеллигентной семье. Какой-нибудь рыбак или зверолов с Камчатки с большими деньгами. Для таких квартира: «У меня знакомый есть, между

прочим известный ученый. Поедем к нему». Созваниваются; рядом лох в автомате. «Валентин Сергеевич, можно приехать? Случайный знакомый, но очень хороший человек». «Пожалуйста, буду рад». И едут.

— Постой, постой, как ты сказал? — спрашивает Маша. — Валентин Сергеевич?

— Да. Но это я случайно назвал настоящее имя. Можно сказать иначе — Иван Петрович.

— Настоящее?

— Да.

— А как фамилия этого Валентина Сергеевича?

— Осколков. Он, кстати, живет здесь, в двух шагах. Такой старинный дом вроде дачи. У трамвайной остановки. Мерзавец. Почти убийца.

58

— Может ли быть? Вы уверены, что не ошибаетесь, Паоло? Петр Андреевич не мог прийти в себя от изумления.

— Я ошибаюсь? — закричал Паоло. — Пускай меня живым сожгут, если я ошибаюсь!

Маша вспомнила о странной сцене у крыльца, когда подле дачи тащили кого-то в машину, и Паоло сразу же сказал, что это был командировочный из Ростова-на-Дону, который проиграл казенные деньги. Коншин рассказал, как он случайно увидел в столовой Осколкова странного старика, считавшего деньги, и Паоло не замедлил назвать старика: «Рознатовский».

— Какой он Осколков, у него кличка есть — Бухенвальд. Он не человек. Из-за него один директор мебельного магазина удавился.

— Удавился?

— Ну, как сказать по-русски? Повесился. Тоже командировочный. Откуда-то из Сибири. Все проиграл — и свое и казенное. В землю кланялся, просил обратно часть. Не все деньги, небольшую часть. На обратную дорогу. Не дал. Петр Андреевич, я вам не рассказывал, Маша знает. У меня отец — академик, он на него заявление подаст.

— Поразительно! — говорил Коншин. — Ты, Маша, не видела Осколкова. Все что угодно можно подумать о нем, но представить себе, что этот человек... с его аккуратностью, с его строгостью, с его отвратительным деловизмом, за которым, в сущности, ничего нет, потому что дела-то он и не знает! Этот человек, у которого каждое чувство, кажется, взвешено, занумеровано! Этот холодный, как лед, деляга... Ведь что же? Значит — двойная жизнь? И не месяц, не два, а, может быть, годы?

— Годы! — кричал Паоло. — Он подлец, вор! У меня друг есть, ну, не друг, а знакомый. Уже пожилой, с высшим образованием. Мы вместе к нему пойдем. Он ему объяснит: «Знаешь Коншина?» «Ну знаю». «Так вот что, слушай! Или ты его оставишь в покое, или мы тебя уберем».

Петр Андреевич засмеялся.

— Маша, скажи ему! Разве ты мне не говорила, что этот подлец — правая рука директора? Ведь если узнают, что он занимается такими делами...

— Нет, Паоло, — сказал Коншин. — Как бы тебе объяснить. Тут всякий окольный путь... Об этом нечего и думать. Конечно, это могло бы его дискредитировать...

— Ди-скре-ди-ти-ро-вать? — переспросил по слогам Паоло. — Я его убью. Маша, скажи мужу. Я ему счастья желаю!

— Спасибо, мой дорогой.

С доброй улыбкой Паоло дал поцеловать себя и беспомощно развел руками.

— Что спасибо? Ты хочешь, чтобы я сам в контору пошел? Этого я не могу. Тогда меня свои, между прочим, зарежут. И, между прочим, за дело.

— Ни в коем случае,— сказал Петр Андреевич.— Осколков как дракон о трех головах. Его не убьешь. Он не один. Меня-то, без сомнения, он бы в подобном случае... Но я, к счастью, не он. Все к лучшему! Машенька, у нас есть там еще коньяк? Выпьем за здоровье Паоло.

— Маша, ну скажи ему! Как же так! Он тебя послушает. Ты умница, красавица. Если такие люди есть, значит, бог есть. Мать говорит — я жениться должен. Чтобы дети были. Нормально жить. На ком жениться? Где такую найти? И ты знаешь, странно! Меня не интересуют женщины. Попадались хорошие. Приличные. Не интересуют.

59

— Я тебе помешала? Позвонить позже? Мы давно не виделись, а хотелось бы посоветоваться...

После доклада на конференции, когда Леночка Кременецкая так ловко «вмонтировала» его мысли в свои, просить о новых советах?.. Он промолчал.

— Я бы охотно пригласила тебя к себе, но ты ведь не приедешь?

— Нет.

— Знаешь что? Встретимся где-нибудь неподалеку от твоего дома. Кажется, тебе будет интересно то, что я собираюсь тебе рассказать.

— Опять кто-нибудь зашатался? — спросил он, вспомнив, как «шатался» Саблин перед президиумом.

— Напрасно ты иронизируешь. Серьезное дело.

Вечер был светлый, жара отступила, когда они встретились в условленном месте и медленно пошли по тропинке, поглядывая друг на друга.

Леночка была в брючном костюме, что очень ей шло, была подтянута, с чуть накрашенными губами,— и уже невозможно было представить ее в стареньком купальном костюме на пляже в Прибрежном.

— Что это ты так похудел? Я на днях видела тебя в Институте — ты шел как сомнамбула, но выглядел, кажется, лучше.

— Нет, я здоров. Как ты?

— Вот постриглась. Идет? Или ты не заметил?

Тон был свободный, но слишком уж свободный, и Коншин разочлился. Он забыл побриться, поношенный пиджак болтался на костлявых плечах, это раздосадовало его с первых минут встречи, когда он увидел нарядную Леночку. Но теперь он уже сердился на себя за эту досаду. Кроме того, ему было жалко времени.

Леночка тем временем рассказывала, как ей трудно. Ватазин постоянно болеет, лаборатория запущена. Нужно хлопотать о новых штатных единицах, и она уже выхлопотала две и теперь ищет подходящих людей. Петр Андреевич слушал и не слушал.

— Я похудел потому, что мало сплю и много работаю. Тебе трудно с Ватазиным, ты постриглась, и тебе это, кажется, идет. Но все это как-то не относится к делу,— медленно выговаривал он.— Ведь ты приехала по какому-то делу?

— Ох, мне трудно говорить с тобой в таком тоне! Ты сердисься на меня?

— За что?

— Не притворяйся. За все, что я у тебя украла. Но я подумала: «Ведь он, в сущности, ничего мне никогда не дарил». Вот это и был твой подарок. Ты ведь не жадный? И потом, если бы я сослалась на тебя, получилось бы, что между нами... Получилось бы, что я сослалась на то, что между нами было.

Петр Андреевич засмеялся. Он не ждал такой откровенности.

— Да полно! Это пустяки.

— И, кроме того, многое из сказанного тобой я просто не понимаю.

Они помолчали.

— Так решено не подавать на конкурс?

— Допустим,— осторожно сказал Коншин.— А что?

— Нет, ничего. Скучно у Ватазина. Знаешь, о чем я на днях говорила с Врубовым? Когда все уладится, не будет ли он возражать, если я перейду к тебе?

— И что же он?

— Не будет.

— Ага, не будет. А тебе не кажется, что, прежде чем говорить с Врубовым, следовало бы...— Он сдержался.— Так он считает, что все уладится?

— Не он, а я.

— Ах ты?

— Я думаю... Впрочем, даже не думаю, а точно знаю,— она подчеркнула это слово,— что если ты возьмешь назад свое заявление об уходе, он отменит приказ.

Коншин остановился и пристально посмотрел ей в лицо.

— Так,— сказал он.— Ясно. То есть ясно, зачем ты приехала. Или, точнее, ясно, кто тебя по д о с л а л.

— Не подослал, а попросил съездить.

— А почему именно тебя? Очевидно, у него есть для этого свои основания?

— Да, но не те, о которых ты думаешь. О наших отношениях я ничего ему не рассказывала...

— Еще бы! О наших отношениях знал весь Институт!

— Ну, это другое дело. Ему я ничего не говорила. Ты сама подумай — зачем? Просто ему известно, что мы давно знакомы.

— А, просто! — стараясь успокоиться, сказал Петр Андреевич.— Стало быть, Врубов просил, чтобы ты уговорила меня взять назад заявление? А, собственно говоря, почему вдруг такой оборот?

— Потому что его вызвали в бюро отделения и Кржевский... Не знаю, о чем они там говорили. Правда, он ждет выборов в Академии и надеется, что Кржевского не выберут,— но ведь могут и выбрать?!

— Очень хорошо,— начиная звереть, сказал Коншин.— Ты, стало быть, у директора на побегушках? А хочешь, я тебе скажу, что из тебя получится? Или, точнее, что из тебя имеет быть?

Он не знал, почему «имеет быть», точнее, он уже не помнил себя.

— Тебе сейчас трудно, потому что Ватазин болеет. А потом, после докторской, ты сама его спровадишь, чтобы занять его место. Ты его с помощью того же Врубова доконаешь, потому что у тебя мертвая хватка. А потом, когда он умрет или уйдет, ты вместе с Врубовым будешь управлять Институтом. И тебя будут бояться так же, как и его, потому что тебе, как и ему, наплевать на науку. Ты будешь сталкивать людей лбами, ты будешь подкапываться под тематику чужих лабораторий. Ты научишься сговариваться заранее, чтобы провалить того, кто станет тебе сопротивляться или просто не

захочет участвовать в твоей игре. Ты будешь и хитрить, и притворяться простодушной, и лицемерить, пока не станешь в конце концов тем же Врубцовым, только в юбке, а может быть, еще и пострашнее, потому что он все-таки был когда-то человеком науки. А теперь передай, пожалуйста, своему патрону,—успокаиваясь, сказал Коншин, с удовольствием наблюдая, как, побледнев, она жестко поджала губы,—что я возьму назад свое заявление лишь только в одном случае: если он отменит приказ.

60

Наконец шевеленье произошло, она его узнала не сразу, это был радостный день. Пришло спокойствие и вместе с ним странное чувство все усиливающегося нарушения. Она была нарушена, она была не она. Впервые появилось ожидание приближающейся опасности — нешуточной, грозной.

Маша не испугалась, она знала, что надо справиться с этим чувством,—и справилась. Ничего особенного, просто теперь ей приходилось носить еще и этот страх вместе с ощущением долгожданного счастья, тревоги. Тайком от мужа она написала маленькое прощальное письмо — кто знает, все может случиться!

Никогда еще Петр Андреевич не был так внимателен к ней, так настоятельно заботлив и добр. Иногда ей казалось, что с появлением ребенка он ждет исполнения каких-то особенных тайных надежд. Появление ребенка связывалось в его сознании с освобождением от душевной усталости, от сложного сплетения неизвестности и риска — словом, от того, о чем он не хотел и не мог рассказать ей, а она, в свою очередь, не хотела и не могла заставить его сделать это.

По ночам, когда не спалось, она думала о странной одновременности своих двух душевных состояний. В ней была новая жизнь, ее тело было как бы удвоено, ее ни на минуту не оставляло счастье исполнившегося желания. Но впереди была неизвестность, опасность, тревога.

Она простудилась, акушеры запретили антибиотики, которые могли повредить ребенку, и пришлось лечиться домашними средствами, а грипп был затяжной, тяжелый. Но она выкарабкалась. Когда на грудь клали горчичники, он (или она) начинал лупить ногами и ворочаться, как медвежонок. И начинался бесшумный диалог с неведомым явлением, которое «нарушало» ее, которое причиняло ей боль, которое она ждала радостно и нетерпеливо. «Ну, миленький, успокойся,—уговаривала она его.—Перестань барахтаться. Ты девочка или мальчик?»

61

Где-то вспыхивает слухок. Странный слухок, почти нелепый, ему невозможно поверить! Он прокатывается и замирает. Потом снова вспыхивает в самом незаметном уголке Института. Намеки, удивленные восклицания, двусмысленности, злорадные шутки, выразительные жесты — палец к губам — и неопределенное пожимание плечами. Он прокатывается еще и еще раз, приобретая твердость. Он не смолкает. Он становится уже не слухком, а слухом, который разрастается, принимая все более отчетливые очертания. Между тем герои этой книги, уже давно занявшие свои места, окружают автора, который чувствует себя среди них своим человеком. Он еще и еще раз возвращается к «тетради планов», просматривает черновики. Что еще может пригодиться? Вчерашний день, случайная встреча? Происшеств-

вие, которое необходимо рассказать, чтобы читателю стало ясно то, что происходит на последних страницах романа? Врубов звонит Петру Андреевичу и просит его заглянуть. Заглянуть? Вот именно. Если у него есть время.

62

Коншин впервые был у Павла Петровича и подивился сравнительной скромности его квартиры, небольшой, даже скорее маленькой. В кабинете стоял старый кожаный гарнитур с глубокими удобными креслами. На стенах висели портреты Пастера и Коха. Уютно тикали висевшие над книжным шкафом тоже старые часы с медным циферблатом.

— Ну-с, Петр Андреевич, вот вы и у меня — лучше поздно, чем никогда. И как это я раньше не догадался пригласить вас. Ручаюсь — доброй половины недоразумений не было бы! Недаром же государственные деятели предпочитают личные контакты.

Таким Коншин его еще не видел. Он был в какой-то не то домашней, не то охотничьей мягкой куртке, лысая голова весело сияла, а в глазах — трудно поверить — затаилось тоже веселое, лукавое выражение. «Ну, держись», — подумал Петр Андреевич.

— Вы, я полагаю, спрашивали себя, зачем этот старый, ну, скажем, дипломат вас пригласил. Ответ покажется вам странным: познакомиться. Ведь, в сущности, я почти не знаю вас. Деловые отношения не в счет. На работе мы волей-неволей вступаем в некие, я бы сказал, маскарадные отношения. Слов нет, они неизбежны. Более того — необходимы. На работе не станешь всем и каждому исповедоваться, не правда ли?

— О да, — вежливо ответил Петр Андреевич.

— А ведь иногда хочется поговорить именно откровенно. Ну, скажем: попробуйте вообразить себя на моем месте. Вы думаете, я не вижу, что Институт рыхлый? В нем действует одновременно множество колесиков, пружин и винтиков, и действует разнонаправленно, — я имею в виду личные отношения.

Он помолчал, быть может надеясь, что Коншин согласится. Но Коншин промолчал.

— Вы могли бы без лишней скромности — а она вам в высшей степени свойственна — сказать, что ваш отдел лучший в Институте. Любой сотрудник, в том числе и я, не может с этим не согласиться.

— Благодарю вас.

— И не удивительно, что это вызывает весьма сложные чувства, о которых вы даже не подозреваете.

— Очень даже подозреваю.

Врубов поморгал.

— Находятся люди, — продолжал он, — нет необходимости их называть, они стараются встать между нами. Между тем я совершенно ясно представляю себе, что случилось бы, если б ваш отдел перешел в другой институт. Может быть, на первый взгляд ничего особенного! Но я, как директор, обязан смотреть с более широкой точки зрения. И я почти убежден, что в этом случае Институт, ну, что ли, потускнеет. А между тем по иерархии он занимает в сознании биологов всего мира весьма заметное место.

«К чему ты, сукин сын, клонишь?» — подумал Петр Андреевич. Эти комплименты в особенности напугали его.

— Мне известно, что вы хотели перейти к Саблину. Слов нет, у него хороший институт и ему хочется, чтобы он стал еще лучше. Но у него нет помещения для вас, и хотя я слышал, что Арнольд и

Семенов готовы потесниться, вам придется втискиваться, а это лишит вас спокойной работы на годы.

— На годы?

— А что вы так удивлены? Проект нового здания только что утвержден, и даже если у Саблина это дело заиграет, раньше чем лет через пять рассчитывать не приходится.

— Рабочая атмосфера важнее помещения.

— Верно. Но теснота неизбежно начнет сказываться на отношениях, то есть именно на рабочей атмосфере.

Они помолчали.

— Между тем время идет,— продолжал Врубов.— Появляются новые люди. Вот на последней конференции Кременецкая выступила с блестящим докладом.

— Да, она очень способный человек,— согласился Коншин.

— Какие же из этого вышесказанного, как говорили в старину, следуют результаты? А следует то, что ваш отдел надо расширить. Мы, помнится, уже говорили о третьей лаборатории, не так ли?

— Да.

— Вот и должно ее организовать. И, по всей видимости, возглавить ее должна Мария Игнатьевна Ордынцева. Правда, у меня с этой дамой свои счеты...— Он добродушно рассмеялся.— Но так уж и быть. Так что вы об этом думаете, дорогой Петр Андреевич?

Впервые в жизни Коншин понял, что значит онеметь от удивления. Он смотрел на Врубова, широко открыв глаза и стараясь справиться с чувством, которое при всем желании не мог бы ни выразить, ни определить.

— А как же конкурс? — наконец выговорил он.

— Какой конкурс? Ах да! Ну, это не имеет значения. Срок кончился, никто не подал, и, следовательно, не будет никаких перемен.

Никаких перемен! Полгода — куда там, больше! — беспокойства, тревоги, смятения, колебаний, огорчений, подавленного страха, суеты, бессонных ночей! Коншин побледнел. «Теперь надо сдержаться, не удивиться, промолчать. Сделать вид, что ничего другого я и не ждал».

— А? — спросил Врубов, и как будто с другого конца света донеслось это несмелое, слабое «а».

— Ну что же, прекрасно,— спокойно сказал Петр Андреевич.— В таком случае полезно было бы поставить мой отчет на ближайшем ученом совете. За последний год сделано немало. А теперь, когда Мария Игнатьевна получит лабораторию, в отчете найдет свое место и новая структура отдела. Кроме того, вышел большой том избранных трудов Шумилова, подготовленный моими сотрудниками. Я расскажу о нем.

— Вот и прекрасно!

Они помолчали. Часы тикали в тишине и вдруг неторопливо, важно пробили три раза. Петр Андреевич взглянул на свои часы — без четверти десять.

— Смотрите пожалуйста,— вдруг сказал он.— Часы-то ваши! Бьют каждые четверть часа!

И странным образом эта ни к чему не обязывающая фраза подвела итог неожиданному разговору.

— А Марии Игнатьевне скажите,— прощаясь, сказал с веселой улыбкой Врубов,— что если ей придет в голову ругать меня в автобусе, пускай она... ну, что ли, умерит силу своего голоса. А то найдутся доброхоты, которые на следующий день извещают меня о ее соображениях, причем, представьте себе, даже в письменной форме!

На другой день в квартире Коншина набилось так много народу — было воскресенье, — что Маша даже растерялась: в доме не оказалось ничего, кроме полбутылки коньяка, а между тем событие необходимо было отметить. Впрочем, Левенштейн, приехавший на такси, предусмотрительно не отпустил машину, и уже через час состоялось нечто вроде маленького банкета; в кухне за это время был приготовлен винегрет на двадцать пять человек. Говорили все сразу, перебывая друг друга.

— Зачем же все-таки нашему вурдалаку понадобилась вся эта затея?

— Марья Игнатьевна, кого вы называете вурдалаком — Врубова или Осколкова?

— Обоих.

— Может быть, директору в Академии врезали?

— Какое там!

— Ему просто надоело с нами возиться.

— Товарищи, а может быть, суть дела в Осколкове? Говорят, за ним какое-то уголовное дело?

— Петр Андреевич, почему у вас такое загадочное лицо? Вы что-нибудь знаете?

— Нет.

— Ведь дача Осколкова рядом с вами.

— Ну и что же? Дача как дача.

— Если его снимают или уже сняли, все ясно!

— Вообще говоря, у Врубова, без сомнения, какие-то неприятности. Вы заметили, что с недавних пор он каждый день бывает в Институте? И выглядит плохо.

— Петр Андреевич, расскажите еще раз!

— Да что же рассказывать? Срок конкурса давно прошел, никто не подал, стало быть, и приказа как будто и не было. Никаких претензий. Кроме, впрочем, одной. К Марье Игнатьевне.

— Вот еще! Что же ему от меня надо?

— Немного. Ему не хочется, чтобы вы его поносили в автобусе.

— Поносила, — с гордостью призналась Мария Игнатьевна.

— А ведь, пожалуй что, и не стоило. Доехали бы до дому да и отвели бы себе душу.

— Собеседник попался хороший.

— Кто же именно?

— Колышкин.

— Какой Колышкин?

— Стеклодув. Я его сто лет знаю.

Все рассмеялись.

— Но не один же Колышкин был в автобусе?

— Разумеется, не один. Полный автобус.

— А голос у вас...

Петр Андреевич прислушался.

— Кажется, звонок?

Он вышел в переднюю, и Володя Кабанов, сияющий, с пакетами, с авоськой, из которой торчали две бутылки шампанского, стремительно влетел в квартиру.

— Держу пари, что не поверите! — кричит он. — Осколкова сняли! Мне Павшин звонил!

— Да что ты говоришь!

— Быть не может!

— Вот бы не поверила!

— Никто не верит. Товарищи, вы понимаете, насколько это ослабляет положение Врубова?

— Теперь все ясно.

— Ведь это все равно что отсечь ему правую руку.

— Петр Андреевич, что же вы молчите?

— Думаю.

— О чем?

— О Саблине. Поработаем год-другой, а потом — к нему.

64

«Москвич» останавливается у бывшего купеческого дома в Лоскутове. Хозяин открывает сам — он в пижаме, и они просят его одеться. Может быть, когда он надевает свою ослепительно белую рубашку, его руки немного дрожат. Впрочем, он спокоен. Но ярко-голубые глаза как бы подернуты дымкой. Короткий двухминутный разговор. Осколков зовет мать.

— Я уезжаю, мама, наверно, надолго. В кабинете на моем столе лежит папка, передай ее, пожалуйста, Врубову. И никому другому. Институтские дела, — поясняет он непрошеным гостям.

— Ясно, — отвечает первый, а второй как эхо повторяет «ясно». — Впрочем, вы скоро вернетесь домой.

— Да?

— Часа через два-три.

Но он возвращается позже. В большом здании на Петровке он поднимается на четвертый этаж, холодно поблескивают панели, одна белая дверь повторяет другую, сияют ослепительной чистотой пол, потолок и стены, коридор кажется бесконечным.

В самом обыкновенном маленьком кабинете начинается подробный разговор — без сомнения, он записывается, потому что, подводя итоги, Осколкова просят подписать протокол. Его настойчиво просят припомнить тот вечер или другой, того человека или другого. Вероятно, его снимают — и едва ли фотографии удаются, он удивительно непохож на себя. Оказывается, он способен похудеть в течение получаса. Оказывается, полная достоинства осанка, которую он носил, как носят изящно сшитое пальто, может слететь, как слетают под ветром осенние листья.

Когда он жалуется на забывчивость, ему напоминают. Когда он отказывается признать свою подпись на документах, расписках, ему предъявляют неопровержимые данные экспертизы. Ему предлагают чай, бутерброды. Он отказывается.

— Еще рано, в это время я никогда не ем.

Но проходит еще два часа, и он пьет холодный чай и ест бутерброды. Платком он вытирает пот на высоком выпуклом лбу. С двумя следователями он поднимается на восьмой или девятый этаж. В крошечном просмотровом зале ему показывают фильм. Зачем? Может быть, чтобы убедить его в полной осведомленности — из небольшого числа серьезных обвинений он в некоторых решительно отказывается сознаться.

Человек в глухой маске, закрывающей его лицо, кроме глаз, показывает шулерские приемы. Молодые руки, молодой убедительный голос. Сперва быстро, как это происходит в игре, потом медленно, чтобы стало ясно, как же все-таки это происходит. Но что это? На экране вдруг появляется столовая карельской березы с удобными креслами-стульями, внушительным буфетом, на котором стоят

хрустальные вазы в серебре, китайские тарелки, фужеры из цветного стекла. На столе вино и закуска, во главе стола — сдержанно улыбающийся, в изящном белом костюме хозяин с колодой в руках, окидывающий гостей снисходительным взглядом.

Кадр останавливается, следовательно называет гостей одного за другим — фамилия, кличка — и умолкает, услышав негромкое хрипкое: «Довольно».

— Может быть, в самом деле довольно?

Снова лифт, на этот раз вниз, — и Осколков в огромном светлом кабинете. Длинный стол крестообразно соединен с другим, для совещаний, еще более длинным. Навстречу встает еще не старый высокий человек в генеральском мундире. Разговор поразительно открытый.

— Пожалуй, некоторое время мы еще не стали бы беспокоить вас по причине, о которой нетрудно догадаться. Ваша квартира представляет собой центр, в который стекаются люди богатые, у нас это, понятно, нуждается, я бы сказал, в тщательном изучении. Откуда берутся крупные деньги у заведующего мясным отделом в продовольственном магазине или, скажем, у заведующего кладбищем? Судьба подобных людей интересует нас, уважаемый Валентин Сергеевич, и вы, может быть даже не подозревая об этом, помогали нам. Да, помогали. Но вот, к сожалению, ваше положение изменилось. Кто-то помимо нас и независимо от нас узнал о вашем, так сказать, хобби, и это, увы, заставляет нас поторопиться. Так что придется, придется вам закрыть свою квартиру для посторонних. Я полагаю, дальнейших объяснений не потребуется, не правда ли? До поры до времени вы можете вернуться домой, а в дальнейшем... Ну, пока еще трудно сказать.

Странный слух разносится по Москве, передается из уст в уста, разрастается, принимает все более отчетливые очертания. Правда ли, что некоего Осколкова, заместителя директора одного из крупных институтов, снимают с работы, потому что за ним числится уголовное дело? Правда ли, что его квартира давно находилась под наблюдением угрозыска? Правда ли, что какой-то человек, обыгранный им, покончил с собой? Об этом говорят в кулуарах. Об этом говорят в университете, в Большой Академии. Об этом говорят — и, кажется, готовится статья в «Литературной газете».

Но может ли быть, что в квартире знатока искусства русской живописи двадцатых годов, любителя музыки и театра происходили подозрительные сборища, на которых крупно играли? Да не просто играли, а обыгрывали до нитки незнакомых или полужнакомых людей. Истина перемешивается с вымыслом — об Осколкове начинают говорить как о вожаке московских шулеров, как о виртуозе мошенничества, которого знает и уважает весь карточный мир. Необыкновенный факт постепенно приобретает не менее необыкновенную психологическую основу: у него бываю падения и взлеты, однако многолетний опыт не позволяет ему опуститься, он знает, что в этом случае ему придется отказаться от двойной жизни, в которой он находит особенную остроту и прелесть.

Эти предположения принадлежат самым младшим сотрудникам — тем самым, которых Врубов прислал для «укрепления отдела». «Талантливые мальчики», — замечает, оценивая этот психологический анализ, Левенштейн.

Кто знает? Может быть, они правы?

65

Машины сроки приближались, и, может быть инстинктивно чувствуя, что скоро у него не останется времени на размышления, Коншин энергично принимается за «оставленное на потом». Уже давно он наткнулся на мысль, которая осветила все, над чем он работал в последние годы, и теперь оказалось, что «оставленные на потом» незначительные, непонятные факты, которые он как бы ронял на пути к этой еще неведомой цели, связаны между собой, хотя еще вчера они были безнадежно далеки друг от друга.

И он с размаху врезался в ту сравнительно редкую для него полосу, когда знание, казалось, почти физически превращалось в сознание. Когда ему представлялось странным, что он существовал до этой мысли, примиряясь с ее небытием, с темнотой, в которой она таилась. Но одновременно он понимал, что еще два-три тому назад года он просто не знал бы, что ему с нею делать.

Теперь он знал. Теперь в опустевшем, гулком отделе, где ему никто не мешал — почти все сотрудники были в отпуске, — он работал как бешеный и был счастлив как никогда. Все события, большие и маленькие, составлявшие его жизнь, отодвинулись, остановились, посторонились. Ошалевшие от усталости лаборанты уговаривали его съесть что-нибудь, он смеялся, соглашаясь, но тут же забывал о чае, который остывал, о бутербродах с загибающимися по краям, высыхающими ломтиками сыра.

Он расхаживал по опустевшим коридорам, свистел, шурился и думал. Он чувствовал себя вне времени, в своем времени, в диаметре только своего сознания. В «не своем», в общем, всеобщее время он ходил теперь как в гости, торопясь домой. То, что еще вчера казалось неустойчивым, шатким, приблизительным, на его глазах становилось достоверностью настолько реальной, что ее, казалось, можно было коснуться рукой.

66

Какой-то внутренний голос подсказывал ей, что не надо громко кричать, как другие, как соседки, из которых одна даже не кричала, а орала грубым мужским голосом. Маша только постанывала, а когда боль отпускала, переводила дыхание. В этом тяжком, мучительном труде участвовало — и разумно, деятельно — сознание. И когда этот труд наконец кончился, когда вдруг ушли в пустоту последние усилия, на смену им мгновенно рванулось охватившее ее и показавшееся невероятным счастье освобождения.

Еще она лежала растерзанная, распростертая, измученная, но все уже стало другим, округлилось, связалось. Ей показали девочку, красную, с маленьким старушечьим личиком, как будто пришепнутым к вытянутой головке, — показали и сразу унесли.

— Хорошая девица, — сказала высокая красивая акушерка. — Все в порядке. Ручки, ножки.

Почти всю ночь Маша лежала в коридоре на каталке и не спала — не потому, что рядом в палате кричали и стонали, а от чувства покоя и счастья. Она жалела женщин в палате, и это тоже соединялось с неслышанной новизной существования. Все было хорошо — и даже то, что няньки над ее головой спорили, где лучше работать, в родильном или в палате, и сошлись на том, что в палате, потому что в родильное родственников не пускают, а в палате родственники то и дело «подкидывают». Она слышала, как одна из акушерок разговаривала с роженицей участливо, сердечно, и Маша с трудом

удержалась, чтобы не заплакать от умиления. Утром ее подняли на лифте в палату, и наступил первый день, когда она как бы отодвинула в сознании случившееся вчера, — день воспоминаний о том, что уже стало далеким прошлым. Вчера все наперебой рассказывали, кто как рожал.

— Я-то ору изо всех сил, а на тебя посматриваю. Не кричит! — сказала толстая кондитерша из Кашина Маше, которой эти разговоры тоже казались необычайно интересными.

Мужей еще не пускали, но она первая в палате получила громадный букет тюльпанов. Записку, вложенную в букет, она украдкой поцеловала под одеялом.

Второй день был уже совсем другой. Еще не матери, а только что родившие женщины лежали в палате, и все мысли и чувства были заняты детьми, только детьми. Никто и не вспоминал, о чем вчера разговаривали с таким захватывающим интересом. Доволен ли доктор ребенком? «А ты хотела мальчика?» Накануне еще слышались отзвуки «жития», хождения по мукам. Сегодня началось стремительное возвращение от «жития» к жизни, которая станет другой, более трудной и сложной.

Об этих-то еще неведомых сложностях и говорили женщины, легко перезакомившиеся и с поразительной откровенностью (изумившей Машу) рассказывающие друг другу о себе. У кого какая свекровь. Пьет ли муж. И уже кто-то — о туфлях и юбках.

Рядом лежала аспирантка Университета Лумумбы — огорченная: опять девочка, а она замужем за эфиопом, и он ждал мальчика, у них это почему-то очень важно.

— Давай обменяемся! — весело предложила ей кондитерша из Кашина.

Аспирантка только рукой махнула.

— Я даже не знаю, будет ли он стирать белье, — сказала она. Заметив однажды, что она стерла палец, эфиоп сам взялся за стирку белья.

— Рукой мне не давал шевельнуть. А теперь — все!

— Почему же все?

— Заставит рожать до сына.

День возвращения был одновременно торжественный и уютно-тихий. Ольга Ипатьевна была переквалифицирована в няню. Дел оказалось так много, что без этой неторопливой, молчаливой, похожей на монашку старухи все рассыпалось бы, перепуталось и остановилось.

Цветы из комнаты, где спала девочка, были вынесены. — Друзья в один голос утверждали, что для новорожденной вреден их запах. Петр Андреевич был отправлен в аптеку за марганцовкой, детской присыпкой, клизмочками, сосками и другими бесчисленными предметами, необходимыми для нового существа, которое вдруг вторглось в существование и отстранило все другие дела, намерения и заботы. Имени у девочки еще не было, колебались между Ириной и Анастасией, она еще мирно спала двадцать три часа в сутки, присыпаясь только для своих однообразных завтраков, обедов и ужинов, в то время как над нею уже воздвигался целый мир хлопот, сложных и утомительных, как это выяснилось в первые же дни. Все происходящее в доме вертелось теперь вокруг будущей Насти или Ирины, молчаливо требовавшей, чтобы ее кормили, взвешивали, ку-

пали, распеленывали и пеленали. Но с ней еще и разговаривали часами.

Казалось бы, все было приготовлено к ее появлению на свет, но когда это произошло, вдруг выяснилось, что не хватает того и мало другого. Словом, если бы не Ольга Ипатьевна с ее золотыми руками, с ее умением всюду поспевать и все своевременно подсказывать, Маша совсем растерялась бы вопреки тому, что заранее основательно проштудировала известный труд «Мать и дитя». Впрочем, она все-таки растерялась, потому что девочка спустя неделю вдруг стала кричать. Чем она была недовольна — на этот вопрос не могли ответить ни родители, ни врачи, находившие, что она совершенно здорова. И добро бы она еще плакала в дневные часы! Нет, по ночам, и так горько, что не только у ошалевших родителей, но и у молчаливой, строгой и отчасти даже грозной Ольги Ипатьевны от жалости разрывалось сердце.

Почему-то она успокаивалась, только когда ее брал на руки Петр Андреевич, — и он носил, носил ее и пел. Никогда он так много и с таким чувством не пел, принимаясь энергично, а потом начиная сонно мычать и наткаться на стулья.

Промытарившись полдня в загсе, он вернулся домой с метрикой, из которой явствовало, что на свет появилась Анастасия, названная так в честь покойной бабки, — и, как это ни странно, девочка стала плакать не так часто и громко, как прежде.

62

Умирает Ватазин, и Институт торжественно хоронит его. Гражданская панихида в большом конференц-зале, перед гробом проходят все сотрудники Института. Врубов произносит высокопарную и неискреннюю, а Кржевский — трогательную и искреннюю речь. Леночка Кременецкая в черном нарядном траурном платье распоряжается дельно, умело.

Через два года она защищает докторскую, и хотя диссертация несамостоятельная, она защищает ее с блеском, а потом — тоже с блеском — устраивает роскошный банкет в ресторане «Прага». Княгиня ошибся, предсказывая, что она станет Врубовым в юбке. Он упустил возможность ее влияния на Врубова, а между тем Леночка оказывается достаточно умной и дальновидной, чтобы разумно воспользоваться этим влиянием.

Давно погасла заря, за окнами катрана ночь. Кто-то спит под нарами, кто-то кланчит на водку у выпитавшего счастливец, и тот жалеет, дает.

Играют немногие, две-три пары. Играют! Будущее, которое тут же, сию минуту совершается на глазах, и смертельно хочется его подгонять, торопить!

Жизнь скользит как по лезвию старомодной бритвы — Темиров не признает ни «Жилетта», ни электробритву, ему нравится точить блестящую английскую сталь на лоснящемся кожаном ремне. Он весел, смеется, накануне заплатил долги и теперь играет удачно. Вокруг, как всегда, толпятся любопытные, и среди них жалкий, опустившийся бродяга, в прошлом один из вожаков карточного мира. Он опухший, в засаленном пиджаке, с потрескавшимся склеротическим лицом. Ярко-голубые глаза его потусквели. Он ждет, когда кончится игра. Паоло помогает ему, без Паоло он давно умер бы где-нибудь в канаве.

Под стук машинки спит, раскинувшись, двухлетняя девочка, румяная, похожая и на отца и на мать. После трудной полосы, когда все заботы, все внимание, все время были отданы ей, жизнь устроилась, наладилась. «Вот только чертовски тесно»,— говорит себе Маша, стараясь думать о том, что она печатает, и думая о Петре Андреевиче, о квартире, о дочке. Уже идут переговоры о том, чтобы обменять квартиру на другую, трехкомнатную, в том же доме,—комната на улице Алексея Толстого теперь не нужна, в ней как раз заинтересованы сменщики, расходящиеся супруги. «Пете надо работать, и хотя он говорит, что я ничуть не мешаю ему...» Бог знает почему, но слезы набегают на глаза, строки сливаются. Маша вытирает глаза платком и снова принимается за работу. Откуда берутся эти слезы? Ведь все хорошо, она счастлива, почему же ей страшно, что все — хорошо? «Он нуждается в одиночестве — вот что никогда не приходило мне в голову. И в его простоте, в его неуклонности есть что-то сложное, необъяснимое. Боже мой, ведь я не уверена, что так уж необходима ему! А дочка?» Она целует дочку, поправляет на ней одеяльце, и эти мысли начинают казаться ей выдуманными, пустыми...

У Коншина всегда один и тот же маршрут, не мешающий и даже помогающий думать своей привычностью, не отвлекающий внимания. Он идет вдоль просеки, как всегда отмечая знакомые места: вот две ели и рядом дуб с красной отметиной — до сих пор не спилили, а теперь, пожалуй, и не спилят, потому что на нем появилась большая зеленая ветвь. «Держись, старик!» — говорит ему Коншин. Сосна, перегородившая просеку, так и лежит там, где упала, и тропинка далеко огибает ее. А вот небольшая поляна с другой, флаговой сосной, привольно раскинувшей свои могучие выгнутые ветви-стволы. Петр Андреевич здороваётся и с ней.

...Он вернулся к одной из старых, «боковых» работ, и ему хочется растолковать ее, взглядеться, раскрыть причину неудачи. Там, за главным, мерещится что-то еще более главное, уже почти разгаданное, и Петр Андреевич мучается над этим «почти».

8 сентября 1977.



ЕВГ. ЕВТУШЕНКО



ГОЛУБЬ В САНТЬЯГО

Повесть в стихах

Могу я спросить мою книгу —
я ли ее написал?

Пабло Неруда.

1

Усталость самого измученного тела
легка в сравнении с усталостью души,
но если две усталости сольются
в одну — то и заплакать нету сил,
а плакать хочется особенно, когда
устал настолько, что не можешь плакать...
Так я устал однажды...

От чего?

От жизни?

Жизнь превыше обвинений.
Устал я от всего того, что в ней
скорей на смерть, а не на жизнь похоже.
Не сразу умирает человек,
а по частичкам —
от чужих болезней,
таких, как равнодушие, жестокость,
тихонько убивающих его.
Но горе человеку, если он
болезнями такими заразится, —
тогда не только мертвым стал он сам,
но, пребывая мертвым, умерщвляет.
Есть в жизни много маленьких смертей,
скрывающихся в трубке телефонной,
когда так унижительно звонить,
а никуда не денешься — придется.
В моей проклятой книжке записной
есть много номеров таких особых,
что пальцу мерзко всовываться в диск,
как будто набираешь номер смерти,
как будто сейф тяжелый открываешь
и знаешь наперед — в нем пустота
и только чьи-то черепа и кости.
В тот день я сделал несколько звонков,
заранее бессмысленных, но нужных.
Есть в слове «нужно» запах нужника,

куда войдешь и в что-нибудь да влипнешь
 так, что подошв потом не отскребешь.
 И я звонил, влипая в голоса —
 то в приторно-садистские, как мед,
 где столькие звонки, как будто мухи,
 попавшись, кверху лапками торчат,
 то в булькающие скороговоркой,
 как тесто, сковородки опасаясь,
 трусливые пускает пузыри.
 О, подлое изящное искусство
 избегновенья что-либо решать,
 которое судьбу людей решает
 лишь тем, что не решает ничего.
 И каждый раз я опускал ни с чем
 гантель бессильных — трубку телефона.
 Я должен сделать был еще звонок,
 но телефон, как жаба из пластмассы,
 такое отвращенье вызывал,
 что я не смог...

Доплелся до тахты,
 упал пластом не в силах снять ботинки,
 заставил руку взять со стула книгу,
 раскрыл ее, но буквы расплывались.
 А это был не кто-нибудь, а Пушкин.
 Неужто и бессмертные бессильны
 в защите смертных? Кто же защитит?
 Неужто голос в телефонной трубке
 сильнее Гомера, Данте, и Шекспира,
 и Пушкина?

О, если даже Пушкин
 не помогает — это страшный знак.
 И о самоубийстве мысль вползла
 в меня из дырок телефонной трубки,
 как та змея из черепа коня,
 в своих зубах скрывая смерть Олега.
 Я ненавижу эту мысль в себе.
 Она являлась в юности кокеткой,
 приятно ублажая самолюбье:
 «Самоубийство не убьет — прославит.
 Заставь себя признать самоубийством —
 тогда тебя оценят все о н и».
 (Они, они... Спасительное слово
 для тех, кто слаб душой, а между прочим,
 сам для кого-то входит в часть понятия
 под кодом утешительным «они».)
 Теперь кокетка-мысль старухой стала,
 ко мне порой являясь будто призрак
 с прокуренными желтыми зубами,
 скрывающими тонкий яд змеиный,
 с издевкой усмехаясь надо мной:
 «Не рыпайся, голубчик, не уйдешь...»
 Я даже свыкся с этою старухой
 и побеждал ее своим презреньем,
 а может быть, своей привычкой к ней.

На свете нет, пожалуй, человека,
 не думавшего о самоубийстве.

Мне, правда, был знаком писатель песен,
 набитый, как соломой, жизнелюбьем,
 который как-то раз расхохотался
 по поводу трагедии одной,
 закончившейся пулею банкротства:
 «Вот идиот... Мне в голову ни разу
 не приходила вовсе эта мысль!»
 К нему вообще не приходили мысли.
 Я среди бела дня как в темноте
 лежал, не видя букв, с раскрытой книгой,
 но чувствовал любой морщинкой лба
 холодный взгляд бесцветных липких глаз
 безмолвно выжидающей старухи.
 И вдруг на лбу я ощутил тепло,
 как будто зайчик солнечный незримый
 от озорного зеркальца мальчишки.
 Исчезла темнота, а с ней старуха.
 Кто совершил такое превращенье?
 Была пуста квартира.

Только голубь,
 как сгусток неба, чуть темней, чем небо,
 мое окно поскребывая клювом,
 с почти что человеческими глазами
 на внешнем подоконнике сидел,
 ни перышком нисколько не похожий
 на жирных попрошаек площадных,
 как маленький взъерошенный товарищ,
 меня спасти от смерти прилетевший.
 А может быть, он прилетел из Чили?

2

При слове «Чили» возникает боль.
 Проклятье — чем прекраснее страна,
 тем за нее становится больней,
 когда враги прекрасного — у власти.
 Прекрасное рождает зависть, злость
 в неизлечимых нравственных уродах
 и грязное желанье обладать
 хотя бы только телом красоты —
 насильникам душа неинтересна.

Вернемся в Чили, в семьдесят второй.
 Я жил тогда в гостинице «Каррера»,
 напротив президентского дворца.
 Как противоположные слова,
 Альенде и дворец не совпадали.
 Со многим президент не совпадал,
 и что всего, наверное, опасней —
 с засевшим в обывательских умах
 понятием, что такое президенты,
 и был убит несовпадением этим.
 Альенде был прекрасный человек.
 Быть может, был прекрасный даже слишком.
 Такого «слишком» не прощают люди,
 которым все прекрасное опасно.
 Боятся, если кто-то слишком умный,

прощают, если кто-то слишком гуп.
Альенде был умней своих убийц,
но он умен был не умом тирана,
который не побрезгует ничем,—
Альенде погубила чистоплотность,
но только чистоплотные бессмертны,
и, мертвый, он сильнее, чем живой.
Когда к нему явились «леваки»
и положили список — десять тысяч
тех, кто расходу сразу подлежит
(и, кстати, среди них был Пиночет),—
сказал Альенде:

«Расстрелять легко.
Но если хоть один, а невиновен?
Мне кажется — еще ни я, ни вы
не обладаем даром воскрешенья.
Нельзя с чужою жизнью ошибаться,
когда, ошибшись, воскресить нельзя...»
«Самоубийство! — закричал «левак»,
пропахший табаком и динамитом.—
Не будем убивать — убьют всех нас!
Один процент ошибок допустим.
Не делают в перчатках революций...»
«Как видите, на мне перчаток нет,
но в чистоте я соблюдаю руки.
Самоубийство — в легкости убийства.
Самоубийцы — все тираны мира.
Таким самоубийством я не кончу.
Сомнительны и девяносто девять
процентов справедливости, когда
один процент преступного в них вкрался.
На правильной дороге кровь невинных
меняет направление дороги,
и правильной она не сможет быть...» —
спокойно отвечал ему на это
в своей дешевой клетчатой рубашке,
с лицом провинциала-фармацевта,
уверенного в собственных лекарствах,
товарищ президент, так непохожий
на свой портрет в парадном фраке, с лентой,
с действительно правдивой только лентой,
с тяжелой алой президентской лентой,
с той честной лентой, где ни капли крови,
в которой его можно упрекнуть.
Но «леваки» не слушали Альенде,
романа «Бесы» тоже не читали.
Левацкий доморощенный террор
лицом социализма стал казаться,
пугавшим обывателей лицом.
Раскальвалось все. В кинотеатры
входили люди вежливо, едино,
но стоило Альенде появиться
в документальных кадрах на экране,
как половина зала в полутьме
свистела, выла, топала, визжала,
а половина хлопала так сильно,
что я бессилья признак ощутил.

Включался свет, и сразу выключалась
борьба, что разгорелась в полутьме.
Все неясней при полном освещенье.
Все в жизни там ясней, где все темней.
Я видел митинг около дворца,
где света было тоже многовато
для выяснения точного кто с кем.
Свет создан был во мгле прожекторами
и факелами, взмывшими в руках,
но даже руки площади огромной —
не руки всех. Есть руки про запас,
готовые к предательствам, убийствам.
Такие руки, если час не пробил,
и кошек могут гладить и детей
и даже аплодируют всюю
своим грядущим жертвам простодушным,
как будто выражают благодарность
за то, что те дадут себя убить.
Альенде был оратором неважным,
лишенным артистичности обмана,
в который так влюбляется толпа,
когда она обманутой быть хочет.
Обманывать Альенде не хотел
ни площадь, ни страну; себя — пытался,
когда он слишком часто говорил
в той речи, неминуемо предсмертной,
о верности чилийских генералов,
стараясь эту верность им внушить.
Они стояли за его спиной
с мохнатыми руками — наготове
и для аплодисментов и предательств.
А площадь к небу факелы вздымала,
их из газет сегодняшних скрутив,
и вдруг увидел я в одной руке,
подъятой ввысь во славу президента,
его тихонько тлеющее фото
с каемкой пепла черно-золотой,
как в траурной сжимающейся рамке.
Вот рамка сжалась, и лицо исчезло.
Я вздрогнул — стало мне не по себе,
хотя живой Альенде на трибуне
еще стоял, но с отблеском тревожным
тех факелов, качавшихся в очках..
А после площадь сразу опустела,
лишь в полутьме, сколоченная наспех,
поскрипывала мертвая трибуна,
лишь городские голуби блуждали
по пеплу бывших факелов толпы,
в него с опаской клювы опуская,
как будто что-то в нем найти могли...

Один из этих голубей, быть может,
ко мне на помощь прилетел в Москву?

Внутри большой истории земли
есть малые истории земные.
Их столько, что историков не хватит.

А жаль. Самоубийственно все знать,
но и незнание — как самоубийство,
лишь худшее: трусливое оно.
Жизнь без познания — мертвая трибуна.
Большая жизнь из жизней состоит.
История есть связь историй жизней.

3

Наутро, после митинга в мой номер
мне снизу позвонили.

Женский голос
с испанским «ч» подчеркнутым спросил
товарища сеньора Евтученко:
«Простите, я звоню не слишком рано?
Я не могла бы к вам сейчас подняться?
Я рукопись хотела показать...»
Я с ужасом подумал — поэтесса.
Я их боюсь — и русских и чилийских.
Я никогда не знаю, что сказать
созданию совсем другого пола,
слагающему в столбики слова,
где жестяные, словно бигуди,
неловконько накрученные рифмы.
Поэтов-женщин единицы в мире,
но прорва этих самых поэтесс.
Какой аналитический разбор!
Он подменен во мне животным страхом,
когда я жду включения в момент
их слезооросительной системы!
Но женщина, которая вошла,
была на поэтессу не похожа.
Я сразу понял — вроде пронесло,
но снова испугался — неужели
мне подвернулся случай пострашней:
передо мною

женщина-прозаик?
Вошедшая, заметив мой испуг
и разгадав его, сказала сразу:
«Я не пишу сама... Я принесла
вам прочитать дневник — все, что осталось
от моего единственного сына,
покончившего жизнь самоубийством,
а было ему только двадцать лет...»
Ей было, может, сорок с небольшим.
Она еще была почти красива
креольской смугловатой красотой,
в мантилье черной, в строгом черном платье,
и крестик католический мерцал
на шее без предательских морщинок,
и в черных волосах седая прядь
светилась будто локон водопада.
Вошедшая приблизилась, вздохнув,
и протянула осторожно мне
рукой в прозрачной траурной перчатке
в обложке, тоже траурной, тетрадь,
как будто ее выпустить боялась.

«Оставьте... Я прочту...» — я ей сказал.
 Вошедшая была тверда: «Прочтите
 при мне. Я не спешу. Я подожду.
 Мой мальчик вас любил. Он слушал вас,
 когда стихи читали вы с Нерудой.
 Открыв дневник, вы все поймете сами
 и, может быть, напишете поэму,
 так всем необходимую, о том,
 какой самообман — самоубийство...»

И я открыл дневник и стал читать
 чужой души мучительную повесть,
 но разве в мире есть чужие души,
 когда вокруг так часто — ни души...
 И мне душа чистейшая раскрылась.
 Погибший был, как говорят, без кожи,
 а если кожа все-таки была,
 то так тонка, прозрачна, беззащитна,
 что сквозь нее я видел в дневнике
 биение любой малейшей жилки
 и вздрагиванье каждое комочка,
 как голубя, рожденного для неба,
 но спрятанного в тесной клетке ребер,
 и чувствовал я кончиками пальцев,
 касавшихся не строк, а рваных нервов,
 как под рукой пульсировали буквы.

4

Энрике было восемь лет всего,
 когда его отец, лингвист и бабник
 (что по-испански мягче — «мухерьего»,
 поскольку нет в испанском слова «баба»,
 а только слово «женщина» — «мухер»),
 расстался с его матерью, женился
 на женщине, чей муж был не лингвист,
 а дипломат, но тоже «мухерьего»,
 и за торговца мебелью старинной,
 как ни фатально, «мухерьего» тоже,
 с отчаянья поспешно вышла мать.
 Отец сначала вроде счастлив был,
 но постепенно новая жена,
 как новая игрушка, надоела,
 когда, ее, как прежнюю игрушку,
 с жестоким любопытством разломав,
 увидел в ней нехитрый механизм,
 а в нем пружинки глупости, жеманства,
 которые так розово скрывал
 холеной кожи гладкий целлулоид.
 Тогда-то он затосковал о сыне.
 Мать поняла, что новый вариант
 в лице торговца мебелью был старым,
 ухудшенным к тому же тем, что он
 был бабником и вместе с тем ревнивцем.
 Но больше, чем ко всем, он ревновал
 жену к ее единственному сыну.

Мать, сына взяв, садилась в свой «фольксваген»
и уезжала в гости к океану
с изменчивым лицом, но неизменным,
как будто бы лицо стихов Неруды,
которые читала сыну мать.
Тяжелые зеленые валы
к босым ногам, ступавшим по песку,
вышвыривали водорослей космы,
сквозные парашютики медуз,
бутылочные темные осколки,
так нежно закругленные водой,
что можно с изумрудами их спутать,
и камешки, чья драгоценность скрыта
была в узорах, а не в именах.
Мать собирала камешки сначала
лишь для того, чтоб опустить их в блюде
с преобразившей камешки водой,
создав немножко моря в своем доме.
Потом она у мастера-пьянчужки
уроки шлифованья стала брать,
и камни с нею так заговорили,
как из людей не говорил никто.
Энрике большие камешков любил
сам океан, не ставший морем в блюде,
могучий тем, что никогда не знает,
как вздумает он сам себя вести.
Скучища — хорошо вести себя.
Тоска — вести себя нарочно плохо.
Не знать, как ты ведешь себя, — вот счастье.
Все просто: надо жить, как океан.
Энрике с детства начал рисовать,
и нравилось ему, что кисть его
сама не знала, как себя вела,
как поведет себя, не знала тоже.
Но вмешиваться первой стала мать,
сказав про акварельный свой портрет:
«Я не такая все-таки старуха...
Не знала я, что ты такой жестокий.
Искусство жизнь должно красивей делать,
а ты... а ты...» И, плача, убежала
к спасительному мастеру-пьянчужке
с ним камешки морские шлифовать.
А отчим, полный мебельных идей,
в себя включавших многие кровати
с разнообразным теплым содержимым,
сказал угрюмо пасынку: «Мазня...
Ты рисовал бы лучше деньги, парень...»
Искусство страшно тем, что каждый смертный
себя считает знатоком искусства.
Не лезут ведь ни в химию невежды,
ни в микробиологию, ни в кварки.
Мать космонавта, сдерживая слезы,
ну, максимум, что может подсказать:
«Будь осторожней в космосе, сыночек...»;
но в живописи и в литературе
специалисты все кому ни лень,

все знают, как не надо, что не надо,
хотя нельзя понять, что надо им.

И как ни странно, первый человек,
который оценил «мазню» Энрике,
был тот, кто рану первую нанес
его еще младенческому сердцу,—
его отец. Когда он бросил сына,
тогда он только сына полюбил.
Он постарел. Замкнулся он в санскрите.
Развелся с целлулоидной женой
и потихоньку стал терять любовниц,
то замечавших лысину его,
то рыхлое растущее брюшко,
то общую его бесперспективность.
И в сына он вцепился как в надежду
любить кого-то и любимым быть,
но кто привык в любви быть эгоистом,
тот и в любви отцовской эгоист.
Он, лет на десять позабывший сына,
о нем припоминавший лишь карманом,
увидев как-то юношу-студента
с миндальными семейными глазами,
который без него стал человеком,
немного запоздало возжелал
вложить в него все то, что в нем, в отце,
исплесневело, выцвело, истлело,
но было, было, правда так давно,
что мало кто уже об этом помнил.
Так вот — напомнить сыном он хотел
о том, как сам когда-то был талантлив,
чтобы других и сына убедить
в том, что талантлив сын благодаря
отцовским генам, а не материнским.
Мать, не совсем несправедливо, впрочем,
была разъярена подобной вспышкой
отцовских чувств, назвав их лицемерьем,
что было справедливо не совсем.
Она имела крупный разговор
с оставшимся без женщин «мужерьего»
и запретила ему сына видеть,
а он сказал, что сын уйдет к нему,
поскольку после отчима идут
по уровню развития — табуретки.
Когда, забыв о третьем, двое взрослых
ребенком бьют по голове друг друга,
то разбивают голову ребенку.
Мать испугалась. Заключен был мир
с условием, что каждую субботу
предмет их спора будет у отца,
а остальные дни недели дома.
Энрике знал, что брошен был отцом,
но, понимая брошенность отца,
любил отца отцовскою любовью,
и каждый раз отец собачьим взглядом
глядел, когда он уходил домой,
и оставался иногда Энрике

на воскресенье, убивая мать,
и уходил под утро в понедельник,
и убивал отца своим уходом,
убийцей против воли становясь.

5

Энрике было восемнадцать лет,
когда подруга матери — актриса,
которой было возле сорока,—
вдруг на него особенно взглянула,
как будто бы увидела впервые,
сказав ему: «А ты совсем большой...»
Она умела прятать увяданье
своей уже усталой красоты
на сцене и в гостях, но понимала,
что невозможно спрятать будет завтра
то, что сегодня спрятать удалось.
В салоне красоты на жесткой койке
она лежала с маской земляничной,
и были у мулатки-массажистки
решительные мускулы боксера,
когда два черных скользких кулака
обрушивались дробью барабанной
на белую беспомощную спину:
«Спокойнее, сеньора, это дождик...»
Потом вонзались пальцы в ямки шеи,
ища жестоко нервные узлы:
«Терпите, это молния, сеньора!»
Но оказался молнией внезапно
взгляд юноши с неловкими глазами,
впервые в своей жизни не по-детски
поднявшего на женщину глаза.
Когда мы неминуемо стареем,
то обожанье тех, кто нас моложе,
для наших самолюбий как массаж.
Сначала как приятный легкий дождик,
но тело расслабляется, поддавшись,
и молния вонзается в него.
Страх постареть сам ищет этих молний,
сам ими ослепляется, сам хочет
стать хоть на время, но совсем слепым,
чтобы не видеть ужас постаренья.
За это ждет расплата — нас разлюбят,
когда не в силах будем разлюбить.

Она сама однажды позвонила,
сказав Энрике, что больна, лежит,
и попросила принести ей книгу,
и если можно, что-нибудь из русских
романов девятнадцатого века.
Он «Братьев Карамазовых» ей нес
сквозь выкрики «Альенде — в президенты!».
Он позвонил. Раздался низкий голос:
«Дверь не закрыта...» Он вошел, смутясь,
перед собой держа двумя руками
внезапно ставший тяжестью роман.

но всю его действительную тяжесть,
 конечно, не почувствовав еще.
 Она лежала на тахте под тонкой,
 очерчивавшей тело простыней,
 и мокрым полотенцем голова
 обмотана была. Глаза блестели
 каким-то странным блеском неживым,
 и руки лихорадочно крутили
 край простыни под самым подбородком.
 «Садись... — Глазами показала стул,
 из пальцев простыни не выпуская. —
 Ах вот какую книгу ты принес!
 А ты ее читал?» «Я только начал...» —
 «Ты только-только начал в жизни все...
 Счастливый, потому что можешь ты
 прочесть еще впервые эту книгу.
 Ты знаешь, у меня глаза болят.
 Ты почитай мне что-нибудь оттуда,
 с любой страницы, там, где про Алешу...» —
 «Я не умею с выраженьем...»

Смех

ответом был, смех макбетовской ведьмы,
 под простыней запрятавшей лицо:
 ничто, как смех, не выдает морщины.
 «Да кто тебя такому научил?
 Что значит — с выраженьем? Выраженье
 в самих словах, когда в словах есть смысл.
 Вот до чего вас в школе вашей жалкой
 учительницы-дуры довели
 и слезовыжиматели-актеры.
 Как можно гениальное улучшить
 каким-то выраженьем, черт возьми!
 Достаточно лишь не испортить смысла...»
 Энрике растерялся, но она
 его к себе пересадила ближе
 и начала сама ему читать,
 как будто книги не было в руках,
 а это в первый раз произносилось.
 Он захотел поцеловать не губы —
 он захотел поцеловать слова
 и так неловко ткнулся ей в лицо,
 что ей попал куда-то в подбородок
 и сразу же отдернулся с испугом.
 Но, книгу молча выронив из рук,
 она взяла его лицо руками,
 приблизила тихонько к своему,
 к глазам, что оказались так огромны,
 губами его губы отворила,
 и очутилось юноши дыханье
 внутри дыханья влажного ее,
 и несколько часов сидел он рядом,
 ее безостановочно целуя,
 от властного тяжелого желанья
 беспомощно сгорая со стыда.
 «Приляг со мной...» — она ему сказала.
 Он с ужасом подумал, как он будет
 развязывать шнурки своих ботинок

и «молнию» расстегивать на брюках,
как это будет выглядеть смешно.
Поняв инстинктом, что в нем происходит,
она полузаметно помогла,
и оказался он, стуча зубами,
растерянный своею наготою,
перед загадкой женской наготы
и, содрогаясь от любви и страха,
вдруг ощутил, что ничего не может.
Пережелал. Бессильным сделал страх.
Прибитый отвращением к себе,
он зарыдал, уткнувшись головой
в ее пустые маленькие груди,
и если бы она хотя бы словом
его смогла жестоко уязвить,
возможно, стал бы он совсем другим
и навсегда возненавидел женщин.
Но в женщине, которая полюбит,
всегда есть материнское к мужчине.
«Ну что ты плачешь, милый? Все пройдет.
Все будет хорошо... Ты не волнуйся...» —
она шептала и спасала этим
его возможность полюбить других,
ему еще не встретившихся женщин,
в которых он ее опять полюбит,
когда ее разлюбит насовсем.
Без разбитной назойливости тела
она к нему так ласково прижалась,
что эта ласка стала его силой,
и с ним впервые состоялось чудо,
когда мужчина с женщиной — одно.

Есть в нашей первой женщине урок,
он поважнее, чем урок для тела,—
ведь тело в нем душе преподает.
Когда я вижу циника глаза
с пластмассовым отвратным холодочком,
то иногда подозреваю я,
что был такой цинизм ему преподаан
когда-то первой женщиной его,
но женщину-то кто циничной сделал —
не первый ли ее мужчина-циник?
Есть, слава богу, не один цинизм...
Вся доброта, вся чистота мужчин
от наших матерей, от первых женщин,
в которых что-то есть от матерей.

Энрике первой женщине своей
был благодарен. Благодарность эта
ее пугала, и пугался он
того, что был ей только благодарен.
Для женщины последняя любовь —
надеждой притворившееся горе,
и ничего нет в мире безнадежней,
когда надеждой горе хочет стать.
Она его любила обреченно
и обреченность эту понимала,

себе внушить стараясь: «Будь что будет...
Еще лет пять... А там... а там... а там...»

Но есть законы времени во всем,
которые предвидений сильнее.
Альенде в президенты избран был.
У монумента Че Гевары пел
с горящими глазами Виктор Хара.
Не знал Альенде, что его убьют.
Бессмертного героя монумент
не мог предугадать, что сам он смертен,
что будет он разрушен, переплавлен.
Не знали руки на гитарных струнах
о том, что их отрубят, и Энрике
не знал, что будет с ним. Но кто-то знал,
скрывая взгляд, от пониманья тяжкий,
в нависших над толпою облаках,
и этот взгляд почувствовавший голубь,
на бронзовом плече героя сидя,
вдруг вздрогнул — и за всех и за себя.

6

Когда мы юны, тянет к тем, кто старше.
Когда стареем, тянет к тем, кто юн,
и все-таки, чтобы понять себя,
ровесника, ровесницу нам надо.
Мы все сначала дети превосходства
властительного опыта чужого,
а после — опыт наш, отец невольный
неопытности, им усыновленной.
Но вместе две неопытности — опыт,
прекрасный тем, что нет в нем превосходства
ни над одной душой, ни над второй.

Энрике шел по городскому саду
однажды утром, собирая листья
с прожилками, которые, казалось,
вибрируют, живут в его руках,
и вдруг увидел: по аллее рыжей,
по листьям, по обрывкам прокламаций,
по кружевным теням и по окуркам
с лицом серьезным девушка бежит,
могучая, во взмокшей белой майке,
где надпись «Universidad de Chile»,
в лохматых шортах джинсовых и кедах,
невидимое что-то от себя
отталкивая сильными локтями,
а лбами исцарапанных коленок
невидимое что-то ударяя,
дыша сосредоточенно, спортивно,
как будто от спортивных результатов
зависит вся история страны.

И девушка подпрыгнула с разбегу
и сорвала дубовый лист осенний.
Взяла его за веточку зубами,

вмиг раскрутив, как золотой пропеллер,
и продолжала свой серьезный бег.
Надежная, скуластая, большая,
она была чуть-чуть великовата,
но даже этим тоже хороша.
Не знал Энрике, что с ним приключилось,
но повернулся, побежал за ней,
сначала видя только ее спину,
где сквозь прозрачность белоснежной майки
волнисто проступали позвонки.
Роняя гребни, волосы летели
вдогонку за просторным крепким телом,
как будто за лошадкой патагонской
несется ее черный жесткий хвост.
Старался перепрыгивать Энрике
с каким-то непонятным суевьем
ее следы на утренней аллее,
где оставался от подошв рифленых
узорно отформованный песок.
Казалось, был внутри следа любого
песчаный хрупкий город расположен,
который было страшно разрушать.
Потом Энрике поравнялся с ней,
с ее крутым плечом, почти борцовским,
с тугой щекой, где родинка прилипла,
как будто бы кофейное зерно,
с горбинкой независимого носа,
с обветренными крупными губами,
внутри которых каждый зуб сверкал,
как белый свежeweымытый младенец.
Хотел Энрике ей взглянуть в глаза,
но не сумел он заглянуть за профиль
и только правый глаз ее увидел,
на родинку ее точь-в-точь похожий,
но с выраженьем легкого презренья,
что родинкам, по счастью, не дано.
«Не тяжело в костюме и ботинках?» —
она спросила, не замедлив бега.
«Немножко тяжело...» — ей, задыхаясь,
распаренный Энрике отвечал.
«Еще осталось десять километров...» —
она его, смеясь, предупредила.
«Я добегу...» — ответил ей Энрике. —
А что в конце пути?»

«Конец пути», —
в ответ была беззлобная усмешка.
Энрике снял пиджак, его набросил
на мраморные треснувшие крылья
скучающего ангела-бедняги,
в траве оставил снятые ботинки
с носками, быстро сунутыми в них,
и продолжал бежать босой, как в детстве,
когда бежал по пене в час отлива
за морем, уходящим от него.
«Не украдут?» — она его спросила,
когда ее догнал он, запыхавшись.
«А я на честность ангелов надеюсь.

Мы все же в католической стране.
 «Ты веришь в бога?» Сразу оба глаза
 под сросшимися властными бровями
 насмешливо взглянули на него.
 «Во что-то...» — «Ну а что такое — что-то?» —
 «Не знаю точно. Нечто выше нас.» —
 «Ты мистик, что ли?» — «Просто я художник.» —
 «Что значит — просто?» — «Просто так, и все...» —
 «Ах, ты из тех, кто с кисточкой и краской...
 Оружие — достойней для мужчин.» —
 «Но лишь искусство — чистое оружие...»
 Рабстая, как поршнями, локтями,
 она спросила жестко: «Разве чистой
 винтовка Че Гевары не была?
 Ты в партии какой?» «Эль Греко, Босха...» —
 «Не знаю... Что за партия такая?» —
 «Хорошая, но маленькая очень.
 А ты в какой?» — «Пока что ни в какой.
 Но я стою за действия...» — «Я тоже.
 Но разве так бездейственно искусство?» —
 «Смотря какое...» — «А смотрела ты?» —
 «Немного... Не люблю музеев с детства.
 Ну, скажем, вот хваленый ваш Пикассо —
 он говорит, что коммунист, а сам
 свои картины продает буржуям...» —
 «Пикассо половину этих денег
 подпольщикам испанским отдает...» —
 «Ну а другую половину — Чили?
 Как бы не так. Его борьба — игра.
 Как можно верить, что миллионеров
 разоблачит другой миллионер?
 Мне буревестник Горького дороже,
 чем голубь мира неизвестно с кем...» —
 «Мир неизвестно с кем и мне противен.
 Уверен я — Пикассо так не думал...»
 Энрике еле поспевал за ней,
 ступни босые обжигая щербем
 на каменистой, за город ведущей,
 из парка убегаящей тропе;
 и девушка была неутомима,
 вся резкая, как взмахи ее рук.
 «Я на врача учусь, — она сказала. —
 Не на зубного, не на педиатра.
 Хирурги революции нужней...»
 «А наши зубы что, второстепенны
 и делу революции не служат?
 Но если они выпадут, ослабнут,
 бойцы не смогут пищу прожевать»:
 «Ну, за себя ты можешь не бояться.
 Твой еще молочные, мучачо¹...»
 И вскрикнула, внезапно оступившись,
 и захромала, за ногу держась.
 Потом остановилась и присела.
 «Здесь мое место слабое...» — она
 на шиколотку, морщась, показала.

¹ Парень.

«Вот как! А я не мог себе представить,
что у тебя есть слабые места...» —
«Что за места интересуют вас,
мужчин так называемых, мне ясно.
Запомни: что касается меня,
там крепко все... Но-но — подальше руки.
Я и хромой ногой могу поддать...» —
«Не бойся, я твоей ноги не съем.
Любой художник чуточку анатом,
а кто анатом, тот и костоправ.
Давай-ка ногу. Тише, не брыкайся.
Не очень-то нога миниатюрна.
Не для нее хрустальный башмачок». —
«Я и сама, не думай, не хрустальна». —
«Я вижу... Номер твой не сорок пять?»
И дернул он двумя руками ногу,
и раздалось в ответ ему сквозь слезы:
«Ты что, с ума сошел? Сороковой!»
Он разорвал платок и туго-туго
ей щиколотку вмиг забинтовал.
«Какая редкость — бинтовать хирурга...»
«Забинтовал бы лучше свой язык...»
Она зашнуровала еле-еле
на целый номер выросшую ногу
и попыталась дальше побежать,
но все-таки нога остановила,
жестoko унижая самолюбье.
«Ты, кажется, совсем устал, мучачо?
Ну так и быть. Давай передохнем».
Он сел. Она в траву упала, прыснув:
«Мучачо, ты на куче муравьиной!»
И он вскочил, увидев под собою
пряматый им, набитый жизнью конус,
где были чьи-то труд, любовь, борьба.
А девушка смеяться продолжала:
«Все завершилось муравьиной кучей.
Теперь ты понял, что в конце пути?»
Смущенье пряча, огрызнулся он,
стремительно отряхивая брюки:
«Мы для кого-то тоже муравьи,
когда на нашу жизнь садятся задом...»
«Не надо позволять! — Свой строгий палец
она над головою подняла. —
Не надо в жизни быть ни муравьями,
ни тем, кто задом давит муравьев!»
«Ну наконец-то я с тобой согласен...»
Энрике тоже лег в траву спиной
и видел сквозь траву, как в двух шагах
коричневая бабочка несмело
присела на один из двух пригорков,
приподнимавших круто ее майку,
уже зазелененную чуть-чуть.
Энрике раза три перевернулся
и подкатился кубарем, спугнув
растерянную бабочку с груди,
вбирая в губы вместе с муравьями
сначала майку, после с майкой — кожу,

вжимая пальцы — в пальцы, ребра — в ребра,
руками ее руки побеждая,
глаза — глазами, и губами — губы,
и молодостью — молодость ее.
Из рук его два раза вырвав руки,
она его два раза оттолкнула,
но в третий раз, их вырвав, не смогла
и обняла. Кричать ей расхотелось.
Ей сразу он понравился тогда,
когда на крылья ангела он сбросил
пиджак, ему мешавший с ней бежать.
Возненавидев исповеди в церкви,
когда однажды старичок священник
трясущейся рукой сквозь занавеску
стал щупать лихорадочно ей груди,
а было ей всего тринадцать лет,
она возненавидела желанья,
которые уже в ней просыпались,
а вместе с ними и свою невинность
и всех мужчин, хотевших так трусливо
лишить ее невинности тайком.
Невинности законная продажа,
чтобы назваться чьей-нибудь супругой,
ей тоже отвратительна была.
Но тело любопытствовало подло,
изжаждалось оно, истосковалось
и до того порою доводило,
что хоть намажся, словно проститутка,
и — с первым, кто навстречу попадетя,
чтобы узнать, как это происходит,
а после — в море или в монастырь.
От всех желаний недостойных тела,
достойно осуждаемых умом,
она пыталась вылечить себя
учебой, революцией и бегом,
но вдруг все это сразу сорвалось.
Она хотела. Только не вообще,
а именно вот этого смешного
кидателя ботинок, пиджаков,
который так, возможно, поступал,
чтоб ангелы обулись и оделись.
Она хотела. Не потом. Сейчас.
Трава сквозь спину ей передавала,
что в этом ничего плохого нет.
Она уже любила? Может быть.
Все в ней внезапно стало слабым местом.
Мелькнуло, растворясь: «Уж если падать,
то сразу и с хорошего коня».
И небо навалилось на травинки,
однако их ничуть не пригибая,
и двое стали сдвоенной природой,
и миллионы зрителей глядели
с немого муравейника на них.

7

А вы любили в девятнадцать лет
ту девушку, которой девятнадцать?

Две молодости слившиеся — зрелость,
но эта зрелость — молодость вдвойне.
Помножено все в мире стало на два:
глаза и руки, волосы и губы,
дыханье, возмущение, надежды,
вкус ветра, море, звуки, запах, цвет.
Друг к другу так природа их швырнула,
что различить им стало невозможно,
где он, а где она и где природа,
как будто продолжался, как вначале,
бег сумасшедший без конца пути.
Их бег вдвоем был бегом от чего-то,
что надоело до смерти, обрыдло.
Их бег вдвоем был бегом через ямы
к тому, чего и не было и нет,
но все же быть должно когда-нибудь,
хотя, наверно, никогда не будет.
Их бег вдвоем был сквозь эпоху спешки,
где все бегут, но только по делам,
и с подозреньем искоса глядят
на молодых, бегущих не по делу,
их осуждая за неделовитость,
как будто в мире есть дела важнее,
чем стать собой, отделавшись от дел.
Есть красота в безадресности бега,
и для двоих бегущих было главным
не то, куда бегут, а то, что — сквозь.
Сквозь все подсказки, как бежать им надо,
за кем бежать и где остановиться.
Сквозь толщу толп. Сквозь выстрелы и взрывы.
Сквозь правых, левых. Сквозь подножки ближних.
Сквозь страхи и чужие и свои.
Сквозь шепотки, что лучше неподвижность.
Сквозь все предупреждения, что скорость
опасна переломами костей.
Сквозь хищные хватающие руки
со всех сторон: «Сюда! Сюда! Сюда!»
Но что есть выше праздника двоих,
когда им — никуда, когда им — всюду.
Они бежали, падая вдвоем
на что-нибудь — на что, совсем не важно:
на первую позвавшую траву,
на водоросли, пахнущие йодом,
на сгнившее сиденье «мерседеса»,
почившего на кладбище машин,
и на кровать в сомнительном отеле,
где с продранных обоев надвигались
прозрачные от голода клопы.
Энрике первой женщине своей
ни слова не сказал. Он побоялся,
и малодушно скрыл он от любимой
существование женщины другой.
Он виделся теперь и с той и с этой.
Он раздирался надвое, метался,
и создалась мучительная ложь,
когда он лгал одной, что будет занят,
а после лгал другой. Все время лгал.

Быть с женщиной правдивым невозможно,
 но обмануть ее ни в чем нельзя.
 У женщин есть звериный нюх на женщин.
 Когда у женщин вздрагивают ноздри,
 не отдерет с нас никакая пемза
 авральный запах женщины чужой.
 Две женщины, постарше и помладше,
 хотя они не знали друг о друге,
 инстинктом друг о друге догадались.
 Однажды, проезжая мимо моря,
 та, что постарше, из окна машины
 увидела Энрике с той, что младше,
 лежавшего с ней рядом на песке.
 Бутылкой ледяного лимонада
 она Энрике гладила с улыбкой
 по лбу, щекам, груди и животу.
 В глазах у первой женщины Энрике,
 все заслоняя, сразу встали слезы,
 не те, что льются, — те, что остаются,
 предательски закатываясь внутрь,
 и еле-еле доведя машину,
 она взяла две пачки намбутала
 и, торопливо разорвав обертку,
 шепча: «Ты дура... Так тебе и надо...» —
 швырнула сразу все таблетки в рот.
 Ее спасли. Энрике был в больнице,
 искромсанный, разрушенный, разбитый,
 себя опять почувствовав убийцей,
 и, плача в ее руку восковую,
 ей что-то обещал — и снова лгал.
 Ложь во спасенье — истина трусливых.
 Жестокой правды страх — он сам жесток.

8

А между тем в художественной школе,
 где он учился, в нем происходила
 подобная раздвоенность души.
 Его маэстро первый был старик
 с богемным обаянием забуддыги,
 который на занятия приходил
 всегда вдвоем с коньячной плоской флягой.
 Преподавал маэстро классицизм
 своих суровых взглядов на искусство,
 таких же неизменных, словно марка
 торчащего в кармане коньяка.
 Старик был тощ немислимо, поскольку
 с презреньем относился он к закуске,
 и так шутил: «У всех телосложение
 и теловычитанье — у меня».
 Прожженный сразу в нескольких местах,
 его пиджак был в пепле, как Помпея,
 А воротник был перхотью обсыпан,
 но в живописи все-таки маэстро
 невероятный был аккуратист.
 Малейшая попытка взрыва формы
 в нем вызывала едкую усмешку.

Искусство для него кончалось где-то, где начинался наш двадцатый век. Он восклицал: «Вам хочется прогресса? Тогда займитесь техникой, наукой, политикой, но только не искусством. В искусстве нет прогресса и не будет. Вы говорите, что прогресс — Пикассо, ну а Эль Греко — это что, регресс?!» Сгонял он со студентов семь потов и заставлял срисовывать часами то помидор, в кармане принесенный, со вмятинами — видимо, от фляги — и с крошками табачными на нем, то зябнущих, зевающих натурщиц, кокетливо просящих разрешенья на пять минут для скромного пи-пи.

Любил Энрике первого маэстро за справедливость жесткой дисциплины, но у Энрике был маэстро тайный таких же лет, но с разницею той, что был в одежде он аккуратистом, и сам не пил, и презирал всех пьяниц, а в живописи был подрывником. В его мансарде огненные взрывы корежили холсты, а между ними во вкрадчиво ступавших мокасинах, в белейшей накрахмаленной рубашке, при галстук в спокойненький горошек, в единственном, но чопорном костюме, где ни намека на двойную складку на безупречно выглаженных брюках, ходил с изящной ниточкой пробора старик мятежный кукольного роста, непризнанный великий подрыватель всех признанных классических основ.

Он говорил так бархатно, так нежно такие поджигательские речи, что ниточка пробора вся искрилась, воспламенившись, как бикфордов шнур: «Срисовывать натуру — это мьерда!» (Заметьте, как нежнее по-испански явление, которое по-русски зовется просто-напросто «дерьмо».) Он, поднимая детские ручонки, сжимая в них незримые гранаты, взывал к Энрике: «Вас бездарно учат! Срисовывая овощи и фрукты, художник совершает преступление: их надо не срисовывать, а есть. Срисовыванье женщин тоже глупость. Природа их уже нарисовала не для рисунков — чтобы с ними спать! Под кожей у любого человека в комочке, называемом сердцем,

есть целый мир, единственно достойный
 того, чтоб тратить краски на него.
 Туда фотограф никакой не влезет.
 Запечатлеть невидимое надо.
 Художник не подсматриватель жизни,
 а сам ее творенье и творец.
 Художник — это тот, кто строит взрывом...»
 Но, уважая двух своих маэстро,
 Энрике слушал первого, второго,
 а сам чего-то третьего хотел.
 Он думал — умер старый реализм,
 ценою смерти обретя бессмертье,
 и абстракционизм самоубийством
 покончил, прирученным взрывом став.

Энрике целый год писал картину
 три на три. Он назвал ее «Арбуз».
 Там с хищными огромными ножами,
 всей своей сталью жаждущими крови
 пока еще арбуза, а не жертвы,
 тринадцать морд конвейерных, безликих
 со щелками свиными вместо глаз,
 как мафия, позируя, застыли
 над первой алой раной, из которой
 растерянные семечки взвились.

Маэстро первый, открывая флягу,
 сказал: «Ты предал все мои уроки,
 ты предал все законы красоты.
 С предательства ты начал путь в искусстве.
 Что говорить — опасное начало.
 Я знаю, у тебя другой учитель —
 гигантоман в обличье лилипута.
 Придется выбирать — я или он...»

Второй маэстро, бархатисто гневный,
 сказал: «Ты не возвысился до взрыва.
 Остался ты рабом правдоподобья.
 Фигуратив... Опять фигуратив...
 Не думал я, что ты такой трусишка...
 Я знаю — у тебя другой учитель.
 Он коньяком еще не захлебнулся?
 Придется выбирать — он или я...»

Всегда подозревают что-то третье.
 Мир так на подозрениях помешан,
 что можно, никого не предавая,
 невольно стать предателем двойным.



Два друга у Энрике были с детства.
 Один — из многодетнейшей семьи
 рабочего консервного завода.
 Второй был сын единственный владельца
 какой-то странной фабрики зеркал,
 где также выпускались и **подтяжки**.

Троих детей объединил футбол,
когда они с такими же детьми
потрепанный футбольный мяч гоняли,
небрежное подобие ворот
создав на пустыре из школьных ранцев,
демократично брошенных на щебень.
Но ранцы были разными. Одни
из дерматина, рвавшегося быстро,
другие из свиной шершавой кожи
и третьи из шевровой, мягкой-мягкой,
а ранец сына крупного банкира
из кожи крокодиловой был даже
и, говорят, с замочком золотым.
Футбол смягчает классовые чувства,
но он, однако, их не отменяет,
и выражалось иногда в подножках
презрение крокодилового ранца
к облупленности гордой дерматина,
и не скрывал, различием терзаясь,
кожзаменитель ненависть свою.
Свиная кожа колебалась между.
Шевровая, с презрением к свиной,
к надменной крокодиловой тянулась,
от зависти скрываемой скрипя.
Но все-таки и поле было общим,
и общая игра, и общий мяч.
У взрослых нету общего мяча —
они его на части раздирают;
и поле общим быть перестает —
его своим желает сделать каждый;
и общая игра у них сложиться
не может, ибо общих правил нет —
рехнуться можно из-за разных правил
и безнадежно крикнуть: «Где судья?»
Все сразу нарушители и судьи.
Три друга постепенно разошлись,
но все-таки старались быть друзьями.
Они ходили вместе на футбол,
и он все больше становился тем
единственным, что их соединяло.
Один из них, став, как его отец,
жестянщиком консервного завода,
был, видимо, и будущий жестянщик.
Второй, не видя смысла никакого
ни в зеркалах отцовских, ни в подтяжках,
был будущий священник, а Энрике
был, как он думал, будущий художник.
Откупорив «Жервезу»² на скамье
и вынув из пакета бутерброды,
они сначала обсуждали матч,
переходя к политике текущей.
Футбол еще в нас детство сохраняет,
а наши политические споры
остатки детства убивают в нас.

² Пиво.

Жестящик говорил: «Альенде медлит...
 Как это можно — медленно бороться?»
 Священник: «Медлит? Хорошо бы, если...
 Пугает многих то, что он спешит...»
 Жестящик: «Напугать монополистов
 не грех... Я опасаюсь, как бы только
 испугом не отделались они...»
 Священник: «А испуг домохозяйек?
 Они монополистки лишь на кухне,
 а ведь бояться завтрашнего дня.
 Хватают враз по двадцать пачек мыла...»
 Жестящик: «Все равно им не отмыться
 от мелких буржуазных предрассудков...»
 Священник: «Ну так что ж — не мыться вовсе?
 Когда в глазах домохозяйек власть
 так ненадежна — дело безнадежно...»
 Жестящик: «Безнадежно в а ш е дело...»
 Священник: «Что такое — наше, ваше?
 Понятие единое — народ...»
 Жестящик: «Мне противно быть единым
 с чиновничьими рылами тупыми,
 с лакейской рожей, с полицейской харей,
 с мурлом поповским, с генеральской рожей
 и с мордочкою лисьей торгаша...»
 Священник: «Мучас грасиас, амиго,
 что не забыл поповское мурло...»
 Жестящик: «Ешь, амиго,— напросился...
 Народ, народ... Затрепанное слово,
 которым очень любят спекулировать
 сидящие на шее у народа,
 привыкшие болтать с трибун о том,
 как нежно они любят эту шею.
 Единого народа в мире нет.
 Всегда в любом народе два народа:
 те, кто сидит на шее у других,
 и те, кто эту шею подставляет.
 А надо разучиться подставлять.
 Маркс нам оставил неплохой учебник:
 он ясно говорит, к а к разучиться...»
 Священник: «Бытие определяет
 сознание... Как это одномерно!
 Сознание ведь тоже бытие.
 Христос хотел объединить людей,
 а Маркс привел сегодня мир к расколу...»
 Жестящик: «Был расколот мир всегда,
 а, кстати, торгашей из храма кто
 гнал плеткой? Маркс? Он в личной жизни был
 интеллигентней, вежливей Иисуса...»
 Так спорили и спорили они,
 и молодые кулаки стучали
 по выцветшей скамье у стадиона,
 не знавшего, что очень скоро станет
 тюрьмой для них двоих и для других.
 Потом, когда Альенде был убит.
 (Жестящика священник дома спрятал
 и брошен был за проволоку с ним,

а после навсегда исчезли оба,
и вместе с ними споры их исчезли...)
Жестянщик был в тюрьме и при Альенде.
Он в группу ультралевую попал,
изготавливая бомбы-самоделки,
чтоб навести на всех монополистов
уже совсем не шуточный испуг,
не понимая, что такие взрывы
лишь на руку тем генеральским рожам,
кто под предлогом красного террора
устроит свой коричневый террор.

И в это время кто-то распустил
слух подлый, что не кто-нибудь — священник
«по дружбе» на жестянщика донес.
Рос шепоток заспинный, нехороший,
приятно в нехоршее поверить:
ведь сразу возвышаешься ты сам.
Отнюдь не ультралевые студенты
священнику руки не подавали,
брезгливо морща уголки губ.
Достойным завершением всего
явилось то, когда отец — владелец
какой-то странной фабрики зеркал,
где также выпускались и подтяжки,—
всем заявлявший, что в такое время
всего умней повеситься немедленно,
из собственных подтяжек сделав петлю,
у собственного зеркала притом,
сказал однажды сыну с одобреньем:
«Ты посадил жестянщика, я слышал?
И правильно. Я думал, что ты рохла.
А ты мужчина. Всех бы их — в тюрьму!
Всех красных во главе с их президентом!»

Тогда священник и пришел к Энрике.
Священник был издерган и затравлен.
Стараясь не глядеть в глаза, шатаюсь,
измученно он выдавил: «Ты друг?»
«Конечно, друг... Ты ни при чем, я знаю...» —
«А кто же слухи эти распустил?
Кто слушал наши споры на скамейке,
а сам трусливо в споры не вступал?» —
«Молчал я не из трусости, а просто
из-за того, что иногда жестянщик
казался справедливым, иногда
казался ты, а иногда вы оба,
а иногда ни ты, ни он...» — «А кто же?»
«Никто,— сказал Энрике.— Что-то третье...»
Священник, наступая на него,
тряс бледным потным лбом как в лихорадке:
«Нет, эти слухи ты распространил!
Ты хочешь быть всех выше, всех умнее,
и для тебя унизить ложью друга
есть способ возвышенья твоего.
Ты независим от Христа и Маркса.
Ты вечно третий. Ты ни с кем. Над схваткой.

Ты сам себе сказал: «Я гениален и, значит, все, что делаю,— прекрасно, а все негениальные способны в любую подходящую минуту на гадости — к примеру, на донос». И ты вообразил, припомнив споры, какие мы с жестянщиком вели, что ненавистным сделался мне он, что он мне враг, а разве грех великий предать врага? Вот что подумал ты...» — «Я не подумал...» — «Нет, не лги — подумал! Так знай — люблю его гораздо больше, чем самого себя, люблю давно и только потому давно с ним спорю. Я как за брата за него боюсь. Он хочет переделать все и сразу. Он сам, как будто бомба-самоделка, взорваться может в собственных руках, убить себя, а множеством осколков изранить или, может быть, убить совсем не тех, кого взорвать замыслил, а самых близких — мать, меня, тебя... Мне так его предостеречь хотелось, но я совсем не из ханжей в сутанах — доносом я не мог предостеречь! А знаешь, кто ты сам? Ты сам — доносчик. Ты сделал на меня донос толпе, которая таких доносов жаждет. Какое наслаждение для ничтожеств — доносчиком невинного назвать! Но есть еще и низость комплиментов, внушающих нам: «Правильно донес...» Я даже благодарность схлопотал за мнимый мой донос от своего подтяжечно-зеркального папаши... Вот что со мной, Энрике, сделал ты...» — «Я ничего подобного не сделал...» — «Ты это сделал. Сделал и забыл. Ты — гений. Это вырвалось. Невольно. Небрежность отличительной чертой всех гениев является, как слышал. Небрежно предал. Не заметил сам, как предал. Лишь одно твое словечко — и все. Оно теперь на лбу моем. Но на твоём его я вижу тоже!»

Пощечиной стегнула больно дверь.
Стоял Энрике, потрясенный ложью,
которую себе о нем придумал,
чтобы спастись от оскорблений, друг.

Когда нас оскорбляют подозреньем
в том, в чем совсем не виноваты мы,
мы тоже начинаем оскорблять
других, совсем ни в чем не виноватых,
и попадаем в тот проклятый круг,
где все невиноватые виновны.

Энрике вздрогнул — телефон звонил с настойчивым сварливым дребезжаньем. Он трубку взял рукой еще дрожащей: «А, это ты, отец...» «Узнал мой голос? Я думал, ты его уже забыл, как позабыл ты, что вчера была суббота и я ждал тебя весь вечер. Ты заболел?» — «Нет, заболела мама...» — «Она, как это помнится, всегда с огромным удовольствием болела в субботу, воскресенья, чтобы ты не виделся со мной...» — «Но это правда. Она в постели...» — «Почему же ты не мог мне позвонить?» — «Звонил, отец, твой телефон был, видимо, испорчен.» — «Мой был в порядке, это прихворнул твой. Гриппом заразился от хозяйки. Умеют заболеть и телефоны, когда им надо...» В это время мать вошла в халате, с пузырьком, с пипеткой: «Энрике, помоги закапать в нос. Совсем не подчиняются мне руки...» И вмиг, увидев поднятую трубку, по-женски среагировала точно: «А, твой так называемый отец! Дай трубку мне!» И вырвала железно, и голос, как у Эллы Фицджеральд, могуче завибрировал: «Ты можешь, когда я заболела, не звонить?» И хлопнулась, подрагивая, трубка. И полилось из матери: «Иди, иди к нему, больную мать оставив. Он тебя бросил — понимаешь ты? А ты простил ему. Какой ты добрый! Папаша одиночеством своим разжалобил тебя, и ты поддался, забыв, что я, твоя родная мать, которая не бросила тебя, так одинока, что и жить не стоит. Ты меня предал. Кто я, боже мой? Мать, преданная собственным ребенком...» И, голову трагически закинув, сама себе воткнула в нос пипетку, нажала ровно столько, сколько нужно, и, зарыдав, отправилась болеть.

А телефон, как будто выжидая, когда она уйдет, вновь позвонил. Из телефонной трубки на Энрике дохнуло так знакомым коньяком и классицизмом старого маэстро: «Так вот, Энрике, что тебе скажу: кто дружбу с лилипутом заведет, сам потихоньку станет лилипутом. Ты струсил выбрать между ним и мной. В искусстве нет двусмысленного «между».

Поэтому забудь меня, а я
пройду твою забывчивость, не бойся...

Минуту или две смотрел Энрике
на трубку, замолчавшую в руке,
но запах коньяка в ней испарился.
Пластмассой пахло. Этот запах мертв,
да это даже, собственно, не запах.
Энрике медлил, в кулаке сжимая
бесстрастные короткие гудки,
но только-только опустил он трубку,
как телефон задергался опять —
пластмассовое средство разобщенья.

Энрике вновь со вздохом трубку снял,
а в ней: «С террористическим приветом!
Да ты не бойся — я не из тюрьмы.
Я выпущен сегодня. На поруки.
Я даже бумажонку подписал,
что никогда, как смиреннький пай-мальчик,
не буду делать этих гадких бомб.
Но все-таки звонить по телефону
мне не было никем запрещено.
Итак, звоню. Мне уши прожужжали,
что на меня донес наш общий друг,
четырнадцатый, видимо, апостол,
поклонник выраженья «не убий»...
Что ты, Энрике, думаешь об этом?»
«Нет, никогда не мог он донести...» —
«Какое совпадение — я тоже
так думаю. Он слишком чистополюй.
К тому же он всегда был явно против,
а тот, кто явно против, не предаст.
Предательствуют люди без позиций.
Не понял ты, о чем я говорю?» —
«Не понял...» — «Ты не хочешь понимать.
А помнишь, как однажды ты зашел
ко мне домой и динамит увидел?
Апостол — тот бы сразу поднял крик
и мне читать бы проповеди начал,
а ты смолчал и только посмотрел
особенным художническим взглядом.
Вокруг борьба идет, а ты рисуешь.
Я задаю вопрос: а почему бы,
оставив акварель, темперу, масло,
талант решив попробовать в чернилах,
не смог бы ты нарисовать донос?» —
«Я?» — «Ты. Или другой такой художник,
который в спорах о своей эпохе
уж слишком подозрительно молчит.
Ведет ко всепредательству всеядность.
Прости меня, но я хочу быть честным:
я не уверен в том, что предал ты,
но не уверен в том, что ты не предал...»
Какая тяжесть в трубке телефонной!
Такая тяжесть может притянуть
не к рычагу и не к земле, а в землю!

Энрике снова трубку опустил,
но отпускать руки ни на секунду
опущенная трубка не хотела,
прилипнув черным телом холодящим
к ладони, к тайным линиям судьбы.
Энрике знал — не зря прилипла трубка,
она притихла вкрадчиво на время,
невидимые мускулы расслабив,
готовясь для прыжка к его виску.
И прыгнула... В ней был тот самый голос,
который в парке весело спросил:
«Не тяжело в костюме и ботинках?»
Но этот голос был теперь таким,
как будто бы не ей принадлежал,
а телефонной трубке двухголовой,
в чьей первой голове и во второй —
змеино одинаковые мысли:
и этого прикончить мне пора.
«Звонно тебе, чтоб наконец сказать
о том, о чем догадывалась раньше.
Теперь узнала все. Я говорила
с той женщиной. Ты лгал и мне и ей.
Такая двусердечность — бессердечность.
Я сильная — не бойся. Я не буду,
как делала она, глотать таблетки,
чтобы тебя насильно удержать.
Тебя мне жалко. Ты одновременно
хотел бежать по двум дорожкам сразу.
Бедняга, ты изрядно утомился.
Избегался. Ты подорвал здоровье.
Так отдохни на муравьиной куче,
хотя тебе одной, наверно, мало.
Так сядь между двумя, как обожаешь...
Теперь ты понял, что в конце пути?!»
Она была чуть-чуть великовата
для мира, где всему большому тесно.
Но как она уменьшиться сумела
до этого стандартного размера
в руке зажатой телефонной трубкой,
словами пробивающей висок?

Смерть многолика..

У самоубийства
не может быть всего одна причина.
Когда за что-то зацепиться можно,
нам не конец. А не за что — конец.
У смерти может быть одновременно
лицо толпы, лицо самой эпохи,
лицо газеты, телефона, друга,
лицо отца, учительские лица.
У смерти может быть лицо любимой
и даже нашей матери лицо.

10

И записал Энрике в дневнике:
«Мне двадцать. Говорят, начало жизни.
Какой же дальше будет эта жизнь,

когда такое у нее начало?
 Одна душа дается человеку,
 но почему-то все другие люди
 хотят ее кусочками нарезать
 и каждый лишь под собственным гарниром
 доставшийся кусочек хочет съесть.
 Но все, кто поедает нашу душу,
 друг к другу неминуемо ревнуют —
 кому из них достанется побольше.
 При этом каждый хочет заграбастать
 себе не часть чужой души, а всю.
 Но, сообщая чужую душу съев,
 все вместе и голодные и злые,
 и новую им душу подавай,
 а нет ее — от голода и злости,
 наверно, каждый будет грызть свою.
 Не то, не то... Не виноваты люди.
 Душа сама себя кромсает, рвет,
 сама себя разбрасывает жадно
 налево и направо по кусочкам,
 чтоб этими кусочками к себе
 магнитно притянуть чужие души,
 их тоже разрывая на куски,
 а вот зачем? — всем сразу душам счастья
 не может принести одна душа.
 Как хорошо и просто всем бездушным!
 Безвыходно родившимся с душой.
 Я что-то понял. Жизнь есть преступление.
 Жить — это причинять всем ближним боль.
 Мы даже на тропинке где-нибудь,
 не думая об этом, убиваем
 ни в чем не виноватых муравьев,
 а на дороге жизни — наших ближних,
 совсем не злоумышленно — невольно,
 идя по их невидимым телам.
 Так больно причинять другому боль!
 Когда осознаешь, что жить — жестоко,
 гуманней не родиться вообще.
 Но что же делать, если ты родился?
 Гуманнее всего — убить себя.
 Убить себя, чтобы не быть убийцей.
 Простите все, кого я убивал,
 прочтите мой дневник, и вы поймете,
 что получалось это поневоле,
 что никого из вас не ненавижу,
 что никого из вас не предал я,
 что всех я вас любил и всех люблю
 и тем, что ухожу, вам выражаю
 мою любовь непонятую к вам...»

Потом он аккуратно вымыл кисти,
 дневник оставил на столе раскрытым,
 надел спокойно чистую рубашку,
 и плавки с улыбающимся пингвином
 засунул в целлофановый пакет,
 и, уходя, приблизился прощально
 к арбузу, что алел кровавой раной

ПОД хищными ножами на холсте,
и морды на холсте перемигнулись,
и на прощанье, словно издеваясь,
самодовольно звякнул телефон.

По городу Энрике шел вслепую,
глаза в асфальт мелькающий уставив,
и не заметил целеустремленность
глаз, желваков на морде генерала,
возможно генерала Пиночета,
за стеклами промчавшегося «форда»,
едва не раздавившего его.
Энрике шел к гостинице «Каррера».
Раскрылись двери с фотоэлементом,
гостеприимно приглашая к смерти,
и в кондиционированном лифте
нажал он кнопку с цифрой 23.
Красиво расположенный на крыше,
мерцал бассейн, чуть отдававший хлором.
Вокруг тела в рискованных бикини
лежали на матрасах надувных,
посасывая медленно «Том Коллинз».
Энрике стало легче оттого,
что все здесь говорили по-английски,—
ведь иногда родной язык бывает
той самой последнею зацепкой,
что нам не разрешает умереть.
Но слава богу, это невозможно —
цепляться за соломинки коктейлей
в чужих, фальшиво занятых руках.
Переодевшись в крошечной кабине,
Энрике вышел и в бассейн спустился.
Почти не плавал. На спине лежал,
раскинув руки, но со всех сторон
его чужие руки задевали,
мешая небу посмотреть в глаза,
и как нарочно влево или вправо
его толкали люди даже здесь.
Бассейн покинув, с каплями на коже,
под солнцем высыхающими сразу,
он постоял чуть-чуть у края крыши
и, смуглой, жестко собранной спиной
услышав: «How handsom! Charming boy!»³ —
легко перемахнул через перила,
легко от кромки крыши оттолкнулся
и прыгнул, как с трамплина в воду, вниз.
Летел он долго, как ему казалось.
Так приближался медленно асфальт,
что он успел заметить на асфальте
серебряную россыпь голубей
и понял, что летит на них, но поздно.
Он зацепился за какой-то провод,
и за второй, и сразу же за третий,
обжегший его тело напоследок
предсмертной электрическою пыткой,

³ Какой красивый! Очаровательный мальчик! (Англ.)

но оборвались эти провода,
 поняв, что оказался ток смертелен.
 Случайно получилось, что Эрике
 не на земле, а в воздухе погиб,
 и, падая уже на мостовую,
 так не хотевший в жизни быть убийцей,
 он мертвым телом голубя убил.

11

Бывавший в том бассейне много раз,
 где так меняли регулярно воду
 не только, может быть, из-за микробов,
 а чтобы, не волнуясь понапрасну,
 не рассказала ничего вода,
 я прочитал в гостинице «Каррера»
 оставшийся дневник самоубийцы,
 и кое-что мне мать дорассказала,
 а кое-что домыслил я и сам.
 Сказала мать, назад приняв дневник:
 «Сын думал, что спасет самоубийство
 его от убивания других.
 А что случилось? Мертвым своим телом
 бессмысленно, случайно, ни за что
 он голубя убил. Убийство снова.
 Убил отца, которого впервые
 за столько лет я тайно пожалела.
 Убил меня. Убил двух женщин сразу.
 Убил двоих учителей своих,
 убил своих друзей и свой талант,
 который только-только раскрывался.
 Мы виноваты в этой смерти все,
 но в том, что мы убиты, он виновен.
 У вас есть дети?» Я ответил: «Сын».
 «Тогда понять меня вам будет легче.
 Вы можете жестоким к сыну быть,
 конечно не нарочно, а случайно,
 от занятости, от непониманья.
 Между собою ссорясь, вы и мать
 в две стороны тянуть начнете сына
 и в спорах ваших можете забыть,
 что этим вы ребенка разорвете.
 А что случится с матерью и вами,
 когда он вам и ей непоправимо
 своим самоубийством отомстит?
 Мы все убийцы всех самоубийц,
 но и самоубийца сам убийца.
 Простите, что я к личной жизни вашей
 притронулась. Нет в мире личных жизней.
 Все связано. Вы связаны со мной
 и связаны с моим погибшим сыном,
 хотя могли об этом не узнать,
 когда бы я прийти к вам не решилась.
 Прошу вас — напишите что-нибудь,
 разоблачите лживый романтизм
 самоубийств, прославленных искусством.
 Всех трогает изысканность ремарок
 трагедий, создающих подлый миф

о красоте и мужестве поступка,
 который так зазывен тем, что прост:
 «Закальвается», «Стреляет в сердце».
 Я б задушила этих драматургов,
 но жаль, что охраняет шею многих,
 став бронзовым, плоеный⁴ воротник.
 Так напишите. Если вы спасете
 хотя б одну живую душу в мире,
 то этим вы спасете и свою...»
 Она ушла. Она не уходила
 с тех самых пор из памяти моей.

12

Шел в Чили снег. Такой родной в России,
 он для чилийцев был чужим и страшным.
 У «Ла монеды» часовые мерзли,
 платками носовыми обмотав
 от холода синеющие уши.
 В «Меркурио» писали со злорадством:
 «Нам из Кремля прислали этот снег».
 На сны детей обрушивались крыши
 хибар фанерных, сокрушенных снегом.
 Барахтались в снегу автомобили,
 сугробами бессильно становясь.
 Метался президент на вертолете
 над хаосом, над паникой и криком
 среди парализованных дорог,
 и, опускаясь в самой снежной точке,
 Альенде, исхудавший и небритый,
 брал в руки неумелые лопату
 и разгребал дорогу сам, шатаясь,
 снег сжевывая яростно с усом...

Так разгребал он прошлое, как мусор,
 дорогу к горизонту заваливший,
 и так же он шатался, разгребая
 лопатой политическую грязь,
 не видя сквозь очки в ошметках грязи,
 что черенок лопаты перееден
 давно туда проникшими червями,
 не слыша издевательских насмешек:
 «Что ж, разгребай... Всего не разгребешь...»

А я по Чили ездил вместе с Панчо —
 седобородым старым забулдыгой,
 огромным «ниньо»⁵, бывшим китобоем
 и «мухерьего» — впрочем, тоже бывшим,
 который стал, в грехах своих раскаясь,
 сентиментальной сотни старых дев.
 Я обожал его, как всех прелестных
 чистосердечных забулдыг планеты —
 не на убогих трезвенниках лживых,
 на них стоит как на китах земля.
 Итак, наш кит, но с прошлым гарпунера
 так мощно фонтанировал в рассказах,

⁴ Гоффрированный воротник шекспировской эпохи.

⁵ Ребенек.

что не хватало одного — приставить
 хорошего писателя к нему.
 Единственная в том была загвоздка,
 что потихоньку он писал и сам.
 В его рассказах то являлся айсберг,
 в который вмерз рояль с раскрытой крышкой,
 а по клавиатуре, чуть зальделой,
 порой стучали клювами пингвины
 и звуки извлекали из нее.
 То первая любовь его — Матильда,
 с чахоточным румянцем проститутка,
 которая была его невестой,
 но, свадьбы не дождавшись, умерла.
 А на ее безвременной могиле
 подружки-проститутки коллективно
 поставили, не поскупясь на деньги,
 двух мраморных печальных голубков.
 В рыбацком городке Пунта-Аренас
 мы целый день искали ту могилу,
 но почему-то не нашли ее
 и побрели к Матильдиным подружкам,
 обняв которых Панчо долго плакал,
 но больше на могилу не хотел.
 Два основные состоянья Панчо
 такие были: ярость или плач.
 Когда мы пили вместе «коламоно»
 («хвост обезьяны» в точном переводе),
 смесь адскую, где водка с молоком,
 то Панчо неожиданно пришел
 на нас двоих в неистовую ярость:
 «Еухенио, мы пьем и жрем с тобой,
 а наш народ чилийский голодает!»
 И так же неожиданно заплакал,
 Матильдиным подружкам предоставив
 предлог, чтобы утешить его боль.
 Хотя его любовь пожрать была
 с гражданской точки зренья аморальна,
 а с медицинской из-за старой язвы
 опасна, он и каялся и ел.
 Ел все: лягушек, воробьев, моллюсков.
 Но был влюблен особенно в «эрисос» —
 в морских ежей из океана прямо,
 сырых, с лимонным соком, солью, перцем,
 как говорят, пицавших в животе.
 На пристани рыбацкой в Портамоне
 он дюжинами брал их прямо с лодки
 и в судорожной радости глотал.
 Потом его корежило. Прибегнув
 к испытанному методу двух пальцев,
 своих «эрисос» поглощал он снова
 и плакал с их икрой на бороде:
 «Еухенио, эрисос так прекрасны!
 Жизнь без эрисос — разве это жизнь!»

Когда три дня потом валялся он
 в больнице местной, корчась от конвульсий,
 и неспособен к исповедам был,

став слушать неожиданно способен, я улучил момент и рассказал историю про юношу Энрике, убившего своим самоубийством и мать свою, и многих самых близких, и голубя на пыльной мостовой.

Схватившись за живот двумя руками, как это часто делают при смехе, но в этот раз от раздиравшей боли, пришел мой друг не в состоянии плача, а в состоянии ярости пришел: «Какие подлецы!» «Кто?» — пораженно, поправив его смятую подушку, страдающего Панчо я спросил. «Все подлецы, — он прорычал, — они все сообща его столкнули с крыши...» «А голубь?» Но ответа избегая, «Хочу эрисос!» — Панчо застонал. Мы были с ним на Огненной Земле, когда он от «эрисос» оклемался. Вдвоем на лошаденках шелудивых, покачиваясь, ехали мы с ним вдоль сотен тысяч или миллионов гусей, что прилетели зимовать, но Панчо бормотал себе под нос единственное слово: «Голубь... Голубь...» Застыли мы у старой ржавой драги, бессмысленно склонившейся над речкой. Сказал мне Панчо: «Знаешь, речка эта престранно называется — Русфин. Когда-то русский золотоискатель, как неизвестно угодивший в Чили, напился здесь, и драга затянула, схватив его зубцами за рукав. Он перемолот был с породой вместе, и, говорят, он выкрикнул предсмертно: «Рус фин!» А смысл на ломаном испанском был чем-то вроде: русскому — конец. А может быть, самоубийство было... Кто знает... Столько лет уже прошло... А ты не думал о самоубийстве?» «Да было дело... Панчо, ну а ты?» «А я люблю, Еухенио, эрисос. Неповторимо их не только есть, но ими и блевать неповторимо. Еухенио, я верил — ты сильнее, а ты — ты думал о самоубийстве. Какой позор — с кем пил я «коламоно!» Ты хочешь помогать всем тем подонкам с фашистинкой, до времени прикрытой, которые, наверно, спят и видят, как все мы вместе разом спрыгнем с крыш, повесимся, застрелимся, сопьемся? Запомни, что безвыходности нет. Безвыходность — лишь плод воображенья. Из головы немедленно ты выкинь

все эти штучки-дрючки цирковые,
 все петли, яды, выстрелы, прыжки.
 Запомни: если ты самоубьешься,
 я обещаю — я тебя убью!»

Он ярость, впрочем, выключил и сразу,
 без перехода всякого заплакал:
 «Я врал тебе трусливо, будь я проклят.
 Я тоже думал о самоубийстве.
 Я просто не хотел, чтобы об этом
 хотя бы на мгновение думал ты...»
 Мы с Панчо обнялись и замолчали
 у ржавой драги, в чьих зубцах скрывалась
 потерянная тайна чьей-то жизни,
 и стало тихо на земле, как будто
 над нами мертвый голубь пролетел.

13

В моей, все больше не моей, квартире,
 где на меня смотрели даже вещи
 как на совсем ненужную им вещь,
 я так однажды захотел «эрисос»
 с прощальной, неживой, тоскливой силой
 последнего желанья перед смертью,
 но вспомнил, что в московских гастрономах
 «эрисос» никогда не продают.
 Все в моей жизни так переломалось,
 что это было невозможно склеить.
 Развод, потеря сына, оскорбленья
 из уст когда-то любящих, любимых
 и полужалость-полулюбопытство
 во взгляде у народного судьи.
 А сколько судей сразу объявилось,
 и каждый себя чувствовал народным,
 хотя намек не было на жалость
 в злорадно-обвинительных глазах.
 Меня все обвиняли в себялюбье,
 в корыстности, в моральном разложении,
 в зазнайстве, в недостаточном вниманье,
 в недооценке тех, кого я должен
 ценить, но совершенно не ценю.
 Но сам себя я обвинил в убийстве,
 в чем обвинить меня не догадались.
 Я так устал от причиненья боли
 всем родственникам, женщинам, друзьям,
 при каждом шаге вправо или влево,
 вперед, или назад, или на месте
 кого-то убивая невзначай.
 И я тогда заскрежетал зубами,
 как под хмельком провинциальный трагик:
 «Родимые, как мне вас осчастливить?
 Что сделать, чтоб вздохнули вы легко?
 Причина не во мне одном, наверно,
 но если только я один причина
 несчастий ваших и болезней ваших —
 я устранить ее вам помогу!»

Но что-то умирать не позволяло.
Была пуста квартира. Только голубь
с почти что человеческими глазами
на внешнем подоконнике сидел.
А может, он тот самый был, погибший
в Сантьяго у гостиницы «Каррера»,
и мертвый прилетел ко мне на помощь,
чтобы себе я не позволил смерть?
Несчастье иностранным быть не может.
Когда несчастья все поймут друг друга,
как этот голубь, прилетят на помощь,
тогда и будет счастье на земле.
И если кто-то где-нибудь несчастен —
в Сантьяго, Химки-Ховрине, Нью-Йорке,
то все равно он права не имеет
себя убить. Безвыходности нет.
Когда я молод был, преступно молод,
один поэт великий — изумленно
доживший до семидесяти лет —
сказал мне: «Маяковский и Есенин
преступно предсказали свою смерть.
В стихах — самовнушающая сила.
Мой вам совет: пишите что угодно,
о чем угодно, только избегайте
свое самоубийство предсказать».
Я с той поры поставил перед смертью
как баррикаду письменный мой стол.
Презренные пророки пессимизма,
торговцы безнадежностью и смертью,
нисколько вы не лучше, не умнее
сующих нам поддельные надежды
лжеоптимизма наглых торгашей.
Вы в стоворе. Пытаетесь вы вместе
столкнуть все человечество с обрыва
и будущее мертвыми телами,
как голубя в Сантьяго, раздавить.
Я не судья погибшему Альенде,
но я судья всем, кто его толкнул.
Товарищ президент, не умирайте!
Возмездием бессмертья превратите
зарвавшихся убийц в самоубийц!
Постановите президентской властью:
пусть вешаются только те, кто вешал,
и только те стреляются от страха,
кто на земле свободу расстрелял.

ЭПИЛОГ

Самоубийство — верить в то, что смертен,
какая скука — под землей истлеть.
Позорней лжи и недостойней сплетен
внушать другим, что существует смерть.

Я ненавижу смерть, как Циолковский,
который рвался к звездам потому,
что заселить хотел он целый космос
людьми, бессмертьем равными ему.

Вы приглядитесь к жизни словно к нитке,
которую столетия прядут.
Воскресшие по федоровской книге,
к нам наши прародители придут.

К нам приплывут на стругах, на триreme.
В ракеты с нами сядут Ромул, Рем.
А если я умру — то лишь на время.
Я буду всюду. Буду всеми. Всем.

И на звезде далекой, гололедной,
бросая в космос к людям позывной,
я буду славить жизнь, как голубь мертвый,
летающий бессмертно над землей.

1972.—1978.
Сантьяго — Москва.



МАРИЭТТА ШАГИНЯ



ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ

Воспоминания

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ, ЗАВЕРШАЮЩАЯ

ДИССЕРТАЦИЯ

Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы... Воздействуя... на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти.

Куплей рабочей силы капиталист присоединил *самый труд* как живой фермент к мертвым, принадлежащим ему же элементам образования продукта.

Карл Маркс¹.

...Ответил старик: «О, прости мой ответ!
Не думаю, есть ли вода или нет,
Водю мне,— видишь,— мой пот на спине
Концы моих пальцев — лопатю мне,
Великим мне счастьем бывает зерно,
Когда получаю семьсот на одно.
Не сей никогда с сатаной на устах—
И ты с одного будешь при семистах!»

Низами Гянджеви².

I

Вернувшись в свою среду и к своей профессии писателя, я в первые годы (начало двадцатых), проведенные в Петрограде, и не помышляла о своей магистерской диссертации. Якоб Фрошаммер, как «пережиток», ушел куда-то далеко, в камеру хранения памяти. Но с этой «камерой хранения» пережитого, хотя она как будто прочно ушла куда-то, как старый сундук на чердак, происходит особая вещь: она не исчезает из судьбы человеческой. Забвение — не исчезновение,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 188—189, 196. Курсив мой.— М. Ш.

² Низами Гянджеви. Сокровищница Тайн. Рассказ о Соломоне и поселянине... Перевод мой.— М. Ш.

пережитое — не пустая страница. Где-то, в чем-то, в клетках вашего организма, в таинственных накоплениях вашего мозга, она оседает, как бы впитываясь в вашу судьбу, в течение вашей жизни. Ничто не проходит даром. Все записывается на ваш счет. И рано или поздно предъявляется вам для оплаты.

Смутно и назойливо беспокоила меня недоконченность начатой работы, так и не состоявшееся знакомство с этим неведомым Якобом Фрошаммером, воскрешение которого было мне как о студенте-философе, облюбовавшем для меня какую-то чужеродную, мало, или даже вовсе никому не известную, тему профессором моим Николаем Дмитриевичем Виноградовым. И вот сейчас, придя к окончанию моих записок, я спустя шестьдесят шесть с лишним лет неожиданно почувствовала себя в долгу перед прошлым. Мне, как это ни странно, отпраздновав свои девяносто лет, захотелось защитить свою заброшенную диссертацию, заплатить старый долг судьбе, не уходить из жизни с неоплаченным счетом. Но сперва два слова к моим читателям — внукам, и правнукам, и, может быть, праправнукам поколения, родившегося девяносто лет назад, — почему я заканчиваю записи на самом начале двадцатых годов, а не веду их дальше.

Прежде всего потому, что вся моя последующая деятельность, особо активная в первую половину советского столетия, лежит открытой перед читателем в книгах, статьях, заметках, выступлениях устных и письменных, зафиксированная и печатью, и радио, и кино. Это полустолетие было для меня непрерывным творческим трудом, участием в великих работах первых пятилеток, «вмешательством в жизнь», борьбой за то, что я считала и считаю правильным и справедливым, и многолетней подготовкой к созданию лучшего из написанного мною — «Ленинианы». Советский народ строил в эту эпоху материальную базу для коммунизма, грудью отстоял в Отечественной войне первое в мире социалистическое государство, не дал ему распасться. Время, активно прожитое мною, я храню в памяти как великое время, и никакие трагические его страницы, ошибки или жестокости тех лет не перевешивают передо мной его исторического величия.

Я пишу о себе, о своем самочувствии. Так встает передо мной прожитое прошлое. Оно никогда не мешало мне мыслить, писать и говорить то, что я думаю, в чем убеждена. И могу сказать в лицо моим детям и читателям: я не знала за эти творческие, рабочие мои годы ни лжи, ни фальши, ни соскальзывания с простой и прямой дороги чести. Не могу не сказать этой правды в конце жизненного пути, потому что в этой правде о себе я берегу как дорогую для меня драгоценность историческую правду эпохи.

Продолжать воспоминания за годы великих работ еще потому невозможно, что подробный рассказ потребовал бы десятков томов, на что нет у меня сейчас ни сил, ни времени. Но я могу в заключение сказать еще очень многое: поделиться теми уроками жизненного опыта, какие накапливает каждый старый человек в конце своей жизни. У меня они лежали в развитии моих мыслей.

Для начала признаюсь в главном своем пороке. Как ни покажется это невероятным читателю, наслышанному о моей трудоспособности, этот порок пишется четырьмя буквами: л е н ь. Вся жизнь физически я была очень ленива, может быть потому, что никогда не чувствовала себя субъектом, не интересовалась своей персоной, а любила сознать себя объектом, безымянной частью природы. Дышать, спать, ходить в свободные часы подолгу, до двадцати—двадцати пяти километров в день, наслаждаясь самим движением ходьбы, давая плыть образам в своих мыслях, как плывут пейзажи справа и слева...

Я исходила так большие пространства в Европе, теряя чувство сезона, погоды, места, времени, как паломник в античные века; в средневековом лесу у Робин Гуда; в эпических дебрях нашего Ильи Муромца; в былинной дали финской «Калевалы». И не имея голоса, пользуясь глубоким простором одиночества, пела всегда, повторяя одни и те же знакомые такты мелодии *fis-moll* ной сонаты Николая Метнера, первой части Шестой симфонии Чайковского, солдатского маршика из «Детского альбома» Грига, еще чего-то, давно забытого... Это было как полуденное бездействие природы, и я большею частью отдыхала в жизни именно этим наслаждением бродяжничества. Еще скажу о себе очень честно: я никогда не знала страха. Может быть, именно потому, что редко ощущала себя якой, то есть своим «я», той индивидуальной оболочкой, в которой осмысляла жизнь с 21 марта 1888 года.

Вообще дожить до девяноста лет имеет то историческое преимущество, что человек может лично наблюдать творимую о нем легенду. Если приплетаются разные небылицы к вашей жизни, когда вы еще, как говорится, «в цвету», вам это кажется пустяком, как туман весной, — рассеется, забудется, факты ведь налицо, как и явность вздора. Но вот когда отцветаете, когда осенний ветер уносит с вас последние листья, вымысел начинает приобретать архивный характер и все вранье, доброжелательное и злопыхательное, становится «историческим материалом». Всю жизнь, воскрешая к жизни больших покойников — Йосефа Мысливечка, Гёте, Эккермана, Шевченко и прочих, — я продиралась, как через крапиву, через нарощую на них выдумку современников, отшелушивала их от раковин вранья, непонимания, незнания; чистила, как английские мажордомы в знатных наследственных поместьях чистят от черни фамильное столовое серебро.

Не знаю, насколько мне это удавалось. Но уж свое-то плебейское серебришко, перешагнув за девяносто, надо почистить. Сатирики и юмористы в дружеских шаржах почему-то изображали меня с крылышками, летящей по воздуху с пишущей машинкой на коленях. Это чернь двойная: никогда я не летала, читатель, даже на тушинском поле не рискнула оторваться от земли, как ни смешно и даже постыдно признаться в этом на пороге XXI века. И даже если погибнет наша маленькая планета и надо будет в будущем перевоплощении переселиться на другую, надеюсь, хватит у меня в будущем здравого смысла, как капитанам тонущих кораблей, погибнуть с нашей милой, бедной, истощенной, изуродованной безумием человеческим планетой Землей, чем лететь обживать космические миры. Даже у гениального В. И. Вернадского, когда он писал в конце жизни о расширенном, уже не земном, а планетарном, новом сознании, — не хочу читать. Сколько еще не хватает додумать простому земному сознанию, как много недоделано на матери Земле, не исправлено испорченного, исковерканного на ней, не создано «возвратителей» на ее лоно; верю, что существуют они, эти возвратители, — могучие силы ума для возвращения исчезающей воды, воздуха, того, что модно зовут биосферой... И возвращения человечности, доброты, честности, правдивости, уваженья к жизни, ленинской братской организации ее... И вспоминается слово Ленина, что **т о е все н о в о е** прогрессивно...

Так вот, первая легенда — крылышки, а вторая (не на одной картинке!) — пишущая машинка. Никогда в жизни не писала я сама на пишущей машинке, не терплю никакого средостения между концами моих пальцев, ощущающих простую школьную ручку со школьным пером, — пишу, чувствуя ритмические очертания каждого слова, разнообразного множества их, уместности на бумаге, передачи своей

мысли, напоенной чувством, как перо напоено чернилами, даже больше того, каждую букву ощущаю в ее складывании словом, и главное — почерком, этим движением письменного разговора на бумаге, переживаю связь со своим читателем. Поэтому в почерке у меня постоянно присутствует борьба за ясность, за понятливость, и эта борьба в почерке за ясность прочтения написанного связана с интимнейшей стороной моего писательского творчества — с потребностью ясно, доходчиво, додуманно выразить мою мысль. Тут все не мелочь, не личные капризы в ответ на нелепый шарж, а глубокое и принципиальное нечто. Хотелось бы остановиться на нем еще несколько минут и просить у читателя терпения.

Вопрос о ясности доведения до понимания читателем важных для меня, может быть, сложных мыслей — не внешний вопрос почерка и синтаксиса. Долгая жизнь профессионала открывает ему многие тайны его труда. Для меня, например, писание многочисленных очерков и статей по хозяйству, экономике, строительству не прошло даром. Я заметила одну особенность: когда написанное нравилось мне, я его давала в печать, а когда не нравилось, я его бросала в корзину. Эта особенность, с первого взгляда вполне личная (нравится — не нравится), мне кажется, может быть интересной для каждого творческого очеркиста. Почему? — вот главный вопрос, на который я тотчас стала искать ответа. Почему не нравится? За что в корзину? В шестой части моих воспоминаний, если помнит читатель, я рассказываю о том, как растила кристаллик. Он рос нормально, пока раствор был насыщен. И тотчас искривлялся, когда раствор был перенасыщен или недонасыщен. «Недо» и «пере». «Раствор», в котором рождался и рос мой очерк, прежде всего состоял в знании того предмета, о котором он говорит. Знание может быть полным (в смысле полной достаточности) и неполным (в смысле недостаточности). И в многолетнем труде я не могла не заметить, что при слишком переполненном знании (в смысле множества цепляющихся при чтении учебников, научных исследований, архивных материалов, особенно газет, мелких фактов, штрихов, касающихся вашей темы, но уводящих вас в сторону от генерального развития главных мыслей моей темы) пропадает интерес читателя к чтению, и, как это ни странно, подробности, сами по себе интересные, кажутся ему скучными, отнимают у него чувство следования за целым. Самое опасное — когда вам жалко эти подробности выбрасывать. Но не в писании — вы должны даже в памяти не жалеть выбрасывать их, не хотите знакомиться с ними, если они не влекут вас вперед, к развитию вашего знания о главном. Об этом я рассказывала где-то в предыдущей главе в связи с провалом моего предисловия к Бальзаковскому роману «Утраченные иллюзии». Я поддалась там гурманству многознания не самого романа, а материала, на котором Бальзак написал свой роман. Поглотила множество сведений из газет того времени — и не сумела переварить их, потому что были они избыточны. И предисловие вышло скучным, а редакция его не приняла. Другой пример — когда написанное мне не нравится и я выбрасываю его в корзину от недонасыщенности моего «раствора», попросту говоря — от неполноты, недостаточности знания материала. О нем я сама рассказала в очерке «Янтарный берег»³. Приехала, все, казалось бы, внимательно осмотрела, записала, наблюдала, начиная с руды и ее промыванья, и очерк написала как будто интересный, а вот — не нравится, не хочу печатать. В его предпоследней главке написаны вот такие слова: «Вне сознания темным облаком вставало и мучило сознание чего-то упущенного, непродуманного, пока вдруг

³ Мариэтта Шагинян. Очерки разных лет. М. «Советская Россия». 1977.

подсознательное «облако» не засветилось перед глазами серо-голубым пятном и я не сказала себе: «Голубая земля!»...»

До этого мне (по трафарету услышанного от работников янтарного комбината) думалось, что главная проблема на нем — это нехватка художников с хорошим вкусом для изготовления экспортных украшений из янтаря. Но я питалась чу ж о й подсказкой. А застряло у меня самой совсем другое впечатление — о голубой земле. Рудная масса, в которой покоились кусочки янтаря, была почему-то не обычного темного землистого цвета, а светилась серо-голубым. Я это сразу запомнила, сразу застрял в памяти вопрос: почему земля, из которой отмываются куски янтаря, голубого цвета? Здесь был вопрос, был вспыхнувший интерес для поиска ответа, была п р о б л е м а. А какая проблема в недостатке хорошей учебы для выработки вкуса у моделеров янтарных украшений? И голубая земля привела меня к дальнейшему изучению проблемы, к открытию, которым наша экономика пренебрегала до сих пор, к плодотворной мысли: зачем плавить янтарь на разные химические продукты, масло, кислоты, если сама земля, которую мы сейчас выбрасываем, содержит их и могла бы технологически обрабатываться, чтоб дать их, а драгоценный янтарь сохранять на украшения? Одним словом, голубая земля! Под носом у нас! Не выбрасывать ее! Использовать ее! И это стало ключевой мыслью очерка, тем, что до сих пор никем не было высказано. Очерк пошел в печать как действительно проблемный, до полного додумыванья его материала.

И

Юбилей моего девяностолетия принес мне много возможностей разделаться с легендами еще при жизни. Пришлось знакомиться с очень большим количеством юбилейных статей, так или иначе касающихся и моего творчества и моей биографии. Было много общих фраз, но среди них и кое-что ценное, помогшее мне самой увидеть себя со стороны. И опять же легенды, легенды, небыллицы — в лицо еще живущему человеку. Среди них одна просто нестерпимая, неудачно, на мой взгляд, пущенная в ход прекрасным автором «Зависти» Юрием Олешей: «Ни дня без строчки!» Ну можно ли родить на свет такую несусветную чепуху! Даже робот, если не заводить его, не может, слава богу, «ни дня без строчки». А уж человеку надо быть безнадежным идиотом или чурбаном, чтоб сделать это «ежестрочие» правилом поведения. Человек, по Карлу Марксу, — это «сила природы», а не машинка. Заставить себя смолоду привыкнуть к труду, как к раннему просыпанью, как к другим хорошим привычкам, — одно из важнейших дел самовоспитанья. Но привычка не закон, а даже закона нет без исключения, и только и с к л ю ч е н и е как таковое делает действительно реальным закон как таковой. Строчка только тогда стоит того, чтоб ее написали, когда эта строчка з а с л у ж и в а е т, чтоб ее прочитали. Строчка не первичное — она результат работы духа, сердца, органов чувств, всего человека, если речь идет о писательской строке. У Гёте, великого трудолюбца, были дни, которые он обозначал для себя словом *vertändelt*, то есть «потрачено попусту». Но время делает свое дело даже тогда, когда человек думает, что он потратил его попусту. Как строительный материал процесса жизни каждый его обломок куда-нибудь да годится — то на минус, то на плюс человеку, а главное, идет в копилку энергии, не истраченный ни на что. Пауза не пустота. Пауза в музыке, в поэзии, в кирпиче, в цементе — строительный материал формы, двигательный нерв ритма... И человеку нужны паузы, «траты попусту», перерыв в действии, а главное — оседание накопленного, минута того не предусмотренного в плане бюджета

времени, когда человек говорит: «Дайте подумать!» Потому что мозг его совершает свою работу во времени, а не где-то в безвременной вечности, и часто в планировании, в педагогике, в учете минут и часов на производстве мы совершаем гигантские ошибки узкого бюджета времени, где не учтено простора для мышленья.

В каждой семье есть свой домашний фольклор. В юбилейные дни, когда мне приклеили неудачное правило Юрия Олеши «ни дня без строчки», мой старший зять Витя Цигаль, художник, и его друг Феликс Пресс, инженер-стихотворец, вместе сочинили очень симпатичную сатиру на эту наклейку на меня. Она так удачна (хотя и чересчур хвалебна в конце), что мне хочется привести ее здесь для читателя.

Как стать Мариэттой Шагинян

1

Даем рецепт, надежный лет на сто.
Возьмите круглый, неудобный стол,
И завалите дрянью всякой так ли, сяк ли,—
И сидьте с краешку, и, перышком вода,
Следя, чтоб в пузырьке чернила не иссякли,
Пишите день и ночь, без усталости трудясь.
Вы поняли? Как будто просто.
И так без усталости лет девяносто.

2

А, если дело не пойдет, то, омрачив чело,
На лоб завяжете чулок
И, закусив на кухне в промежутке,
Пишите полтора листа за сутки.
Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто.

3

И будьте широки и глубоки, как Волга.
При малом росте — высоки!
И так живите долго-долго
Завистникам и эскулапам вопреки!
Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто.

Рецепт составили Ф. Пресс и В. Цигаль.

2 апреля 1978 года.

Этот семейный фольклор доставил мне много приятных минут. Он, как отповедь шаржам и пародиям, очень правдив. Все верно: и круглый московский обеденный стол, заваленный «так ли, сяк ли» (нет в Москве у меня письменного); и «перышком вода» (читатели, дорогие читатели завалили меня сотнями коробок с перьями, спасибо, довольно, довольно!); и школьная ручка; и пузырек с чернилами; и чулок на голове; и перекус чего-нибудь на кухне... И все это точь-в-точь, но только когда я работаю в Москве (изредка), не на даче, где все удобнее. Я люблю так работать, неудобство помогает мне, но это когда пишу, в свой «камеральный», как любят говорить геологи, период работы. Кабинетный. А между этими периодами — поиски, исследование, изучение, поглощение материала, поездки за ним, отвоевывание его (иногда в секретном архиве Ватикана, как это было для книги о композиторе Мысливечке) и поездки, поездки, поездки чуть ли не во все страны Западной Европы, во все библиотеки и архивы этих стран, приключения в этих поездках, отложение их в очерках, сколько событий, узнаваний, открытий, слагаемых для выведения итогов и «формул» опыта. У меня нет ни единого очерка, для

которого я не провела бы большой «полевой» (опять слово геологов) работы в разъездах и разведках материала.

Эта вторая часть моего труда как-то меньше учитывается критиками, чем сидячая, за столом, с чулком вокруг головы для согревания мозга.

Но я упомянула о «зернах истины» в критических статьях обо мне во дни девяностолетнего юбилея. Были они во многих статьях, но мне хочется упомянуть об одной — в «Комсомольской правде» от 19 марта, написанной И. Жуковым.

Узнавание себя и своего в словах другого человека всегда переживается как неожиданность или совместное открытие. Жуков, заговорив о главном герое моих книг, сказал, что этот герой — мы с л ь. И не только сказал, но и очень подробно описал ее:

«Мысль смело ориентируется в жизненном разнотемье — социальном, философском, этическом, педагогическом, эстетическом, и стрелка ее компаса всегда знает верное направление пути — «куда», что совсем не исключает творческих испытаний и напряжения. Мысль становится героем произведения — со своей судьбой и сложно, драматично, через ошибки и трудности идет к цели, к истине».

Это удивительно верно и удивительно точно. Читая, чувствуешь, что автор статьи не только листал, но изучил то, о чем пишет, сумел войти в мышление другого человека, думать с ним вместе. Вероятно, это и есть «совместное открытие». Революционные демократы давным-давно так работали. Наши великие критики открывали для истории русской литературы пути мыслей писателей, их движущийся, развивающийся облик, их направление. Отблеск такой творческой критики блеснул мне в статье Жукова.

Главное у него не только то, что он узнал и назвал как героя моих писаний мы с л ь. Но и то, что он взял мысль не вообще, а в ее судьбе. Судьба мысли, ее движение — и не просто движение, а развитие «через ошибки и трудности», «сложно и драматично», целенаправленно к истине. Так о себе я вообще нигде и ни у кого не читала.

И тут с помощью моего критика подхожу еще к одному моему секрету — лабораторному опыту десятков лет творческого процесса, главному критерию своей самооценки, основной причине «нравится — не нравится», почему некоторые свои страницы считаю неудачными, рву и бросаю в корзину, а другие сдаю в печать и даже на протяжении жизни беру иной раз и перечитываю. Опять спросит читатель: «Ну а почему? Где критерий удавшегося и неудавшегося, нужного и ненужного, хорошо написанного или плохо? Эстетический он или философский? В содержании дело или в форме? Общий для всех творческих работников или собственный?» Я где-то раз или два ответила на этот вопрос очень просто и прямолинейно, а вот сейчас, в глубочайшей старости, увидела, что он не так легок, он очень глубоко лежит, в той глубине, где, может быть, объясняется вся человеческая жизнь. Набрела я на этот глубинный ответ не сразу, а очень постепенно. Мне кажется, началось это понимание, или смутное приближение к пониманию, с шахматной партии Пауля Морфи. Вот как это было.

■

В октябре 1859 года в парижской Grand Opéra шел «Севильский цирюльник» Россини, а может быть, я ошибаюсь, — «Свадьба Фигаро» Моцарта. Это не праздный вопрос, потому что воздействие музыки на то, что произошло в одной из лож Большой Оперы, по-моему, тоже в какой-то степени могло иметь место. В этой ложе сидел герцог Карл

Брауншвейгский со своим приятелем графом Изуаром, оба хорошие шахматисты. И с ними был еще один человек, менее знатный, но гораздо более знаменитый, имя которого облетело шахматные круги Парижа. Судя по его портрету, это был молодой человек с чем-то детским и в то же время замкнутым в лице, особенный игрок, не для денег и не для славы,— он купил, например, своему поверженному сопернику на свой собственный выигрыш полную обстановку для дома... Пауль Морфи. Может быть, герцог пригласил его в ложу послушать музыку. Может быть, хотел, знатный, помериться силами со знаменитостью. Но вот они уселись за шахматную доску. С одной стороны, черной, два игрока — герцог и граф; с другой — Пауль Морфи. Так родилась всемирно известная, а на мой дилетантский взгляд лучшая партия в мире, № 157 по книге венгра Мароци⁴.

Я никогда не была хорошей шахматисткой, хотя всю жизнь возилась с шахматами. Мой мозг не был математическим. Иногда по какому-то творческому вдохновению мне вдруг удавалось дать неожиданный, случайный для меня самой, блестящий, по определению партнера (настоящего шахматиста), мат; а чаще всего школьник четвертого класса давал мне банальнейший мат, когда я и оглянуться не успевала. А в общем, шахматисткой я была никакой, как уже сказала.

Но Пауля Морфи я полюбила за биографию, за его трагический конец еще молодым, за что-то европейское в этом рожденном американце. Он не был похож на американца. В нем был какой-то прочный, наследственный аристократизм духа. И партии его, особенно ту, музыкой в опере порожденную, 157-ю, я любила не за блеск его комбинаций, а, странно сказать, за этику. Пауль Морфи умел отдавать, все отдавать до последней рубашки, и «голым» выигрывал, выигрывал не только победу, но и стиль самого себя — получение самого себя, жертвенный метод победы. Не так ли побеждают великие отдающие — на плахе, на кресте, на виселице? Я обожала коротенькую, всего на семнадцать ходов, партию № 157.

И вот однажды, отдыхая от своей собственной работы, сидела я за этой партией, играя ее сама с собой взамен трех игроков — герцога, графа и Морфи. Партия была, в сущности, не только очень короткая (семнадцать двусторонних ходов), но и очень простая на вид. С классическим началом. Перед нею стоит «защита Филидора». Такая невежда в шахматах, как я, никогда не могла запомнить имена великих шахматистов, давших свои названия разным началам и защитам, никогда наизусть не помнила разных популярных окончаний, да и не нужно мне было все это, меня интересовала данная мысль данного мастера в лежавшей передо мной партии. Напомню читателю эту 157-ю.

Пауль Морфи

1. e2 — e4
2. Kg1 — f3
3. d2 — d4
4. d4 : e5
5. Фd1 : f3
6. Cf1 — c4
7. Фf3 — b3
8. Kb1 — c3

Герцог и граф

- e7 — e5
- d7 — d6
- Cc8 — g4
- Cg4 : f3
- d6 : e5
- Kg8 — f6
- Фd8 — e7
-

Здесь комментатор делает остановку. Он замечает, что Пауль Морфи совершенно прав, не принимая герцогского приглашения на

⁴ Г. Мароци. Шахматные партии Пауля Морфи. «Прибой». 1929, стр. 155.

размен королев. И не беря пешки. Он говорит — может быть, азбучную истину, — что «каждый размен является облегчением для более слабого игрока, теряющего голову при осложнениях или при полной доске». Поскольку я даже не слабый, а вообще никакой игрок, я сперва и усмотреть не могу, где тут герцог предлагает размен, и спокойно смотрю, как он ответит на отказ Морфи. А он ходит:

8. . . . c7—c6

Все это мне кажется пока спокойным развитием игры, и где тут был Филадор, где он кончился, не знаю да и знать не хочу.

9. Cc1 — g5	b7 — b5
10. Kc3 : b5	c6 : b5
11. Cc4 : b5+	Kb8 — d7
12. 0 — 0 — 0	La8 — d8
13. Ld1 : d7

Тут комментатор восклицает, что «Морфи в своей стихии». Его «блестящая комбинация с жертвами» делает эту партию «одним из красивейших достижений» в истории шахматной игры. Красивейших! Значит, венгерский шахматист воспринимает эту партию Морфи лишь с эстетической стороны: я вспомнила тут одного из талантливых молодых физиков, который учил меня понимать, почему великие физики любят какие-то для меня загадочные завершения теоретических проблем, — потому что это красиво. У них свои понятия красоты. Но мне, полной невежде, до его (Морфи) рокировки еще не было (да и позднее не было!) видно никаких блестящих комбинаций. Я знала, проигрывая десятки партий разных знаменитых шахматистов, как проглядывает в них этическая сторона через характер игры. Осторожность, скупость, практичность у прославленных теоретиков; риск, авантюризм у агрессивных игроков, таких, например, как блестящий Капабланка; что-то по-старчески умное у Ласкера — я чувствовала добрую, злую, скромную, хитрую игру по атмосфере, привносимой личностью игрока, простирая эту особенность первого впечатления даже на ту сферу, где отнюдь не была невеждой, — на музыку с ее исполнительской стороны. Помню, как много лет назад меня спросили после концерта видного музыканта: «Ну как?» Концерт был великолепный, а у меня вдруг вырвалось неожиданно для меня самой: «Ломанье и самодурство». Это действительно как-то пахло на меня как ветром из манеры игры до восприятия ее красоты. Так вот, до рокировки я еще не почувствовала комбинации. Повторяю — черные ответили на рокировку:

12. . . .	La8 — d8
13. Ld1 : d7	Ld8 : d7
14. Lh1 — d1	Fe7 — e6

Тут комментатор усомнился в целесообразности хода черных королевой и поставил после него знак вопроса. Ну а если б другой ход? Я пробовала так и сяк, но у меня ничего хорошего для черных не получалось. Черные были обречены, они были обречены страстной силой жертвенности Пауля Морфи. Так защищают больше чем шахматную партию — так, жертвуя собой, защищают убеждения, веру, принцип, достоинство своей правды. Осталось всего два с половиной хода, но каких! Со стороны можно было подумать, что Пауль Морфи сошел с ума. До сих пор он бросал в пасть противнику коня, ладью, а сейчас каким-то стремительным броском — слона за слонем, безумно, расточительно, на явную смерть — королеву! И последним, «го-

лым» ходом двинул ладью. Мат герцогу и графу, мат даже не ладьей, мат неожиданный, просто позорный для титулованных противников, — от закрытой чужим слонем дороги, оттого, что «некуда деться». Мат, напомнивший мне, как создаются в кибернетике алгоритмы. Не от смертельных бомб, не от ядерного оружия, не от пушечного огня! Он, такой безоружный, но беспощадный, создан «общим положением», тем, что противнику «деваться некуда». Урок для всяческих гонок вооружений:

15. Cb5 : d7	<u>Kf6 : d7</u>
16. Фb3 — b8 +	<u>Kd7 : b8</u>
17. Ad1 — d8X	

Сколько раз я проигрывала эту партию! Сколько раз наслаждалась ею, наслаждалась человеком Морфи. А потом задумалась. Как странно! Шахматная доска не территория Франции или Парижа. Она даже не территория обеденного стола. Обычный ее размер — сложи и в ящик положи. В ней всего (всего!!) шестьдесят четыре квадрата, а фигур у нее и того меньше — по шестнадцати у каждого из двух партнеров, тридцать две штуки в целом. Сколько лет играют люди в эту чудесную игру? Начиная с древних времен — две тысячи, три тысячи, может быть, три... Три тысячи лет миллионы людей на маленькой доске в шестьдесят четыре квадрата, с тридцатью двумя фигурками от королей и до пешек этого миниатюрного государства играют, играют — и ни разу на памяти человечества не повторили, создавая свою игру, какую-нибудь известную чужую партию, разумеется бессознательно. Я представила себе все наше человечество в его современном наличии. Ведь непреложно, а можно сказать, что во множестве его нет абсолютных дублей, нет близнецов, во всем, от ноготка на ноге до волоска на голове, абсолютно совпадающих. Двойники... полные, абсолютные, отражающие свое тождество друг в друге, не существуют. Нельзя найти даже двух листьев на дереве, совпадающих друг с другом не только в форме, но и химически, структурно, в полной своей материальной сути... Нет, не было, не могло быть не только двух Пушкиных, но и самого последнего Иванушки-дурачка в двух его тождественных экземплярах... Значит, весь процесс становления вселенной не идет от повторимого к повторимому, он идет от сотворенного к новому. И даже руками человека... Вот спальный гарнитур. Их продают десятками. Они схожи, их, может быть, делал один и тот же мастер одними и теми же инструментами. Но попробуйте поспорить, что вы найдете два экземпляра абсолютно, во всех смыслах одинаковых, где бы точная одинаковость их материала, формы, обработки была доказана под микроскопом или математической, химической, технической, структурной и всякой другой экспертизой, вы наверняка проиграете пари. Как проста, как задушевно, сказочно проста 157-я партия Морфи, но ее сыграл только Морфи и никто бессознательно не сыграл вторично. Говорят, кто-то в Одессе вторично открыл дифференциальное исчисление, хотя оно давным-давно было всем известно, но это миф или пустое дело вне исторического человека.

Я задумалась над всем этим, потому что как раз в тот злополучный день полетели в корзину гранки моей статьи. Мне пришлось долго объяснять по телефону, что я напишу снова, что в таком виде она мне не нравится, что ее нельзя, ну нельзя печатать, а на вопрос почему, если набрана и принята, если это не авторский каприз...

Это не было авторским капризом. Я вспомнила свой прямолинейный ответ, данный где-то читателю: «Если по перепечатке на

машинке, или в гранках, или даже в уже напечатанном виде моя собственная работа мне не дает ничего нового, чего я бы еще не знала в процессе ее написания,— значит, дрянь работа, и никуда она не годится, и жалко, что я ее напечатала». Тут все совершенно точно. И все-таки, может быть, для большинства читателей непонятно.

Творческая работа на опыте многих десятков лет моего собственного труда, казалось бы, дает в результате то, что в нее вложено: изученный материал, возникшие в мозгу образы, мыслительный процесс над этим материалом и образами, ваш дар воплощения всего этого в связном произведении, ваша тщательность отделки — словом, все то материальное и реальное, с чем вы садитесь за письменный стол, что у вас уже есть и в чем вы уверены, что оно есть. Но созданное вами может доказать правоту этой уверенности и оказаться полным убедительным поглощением имеющегося у вас материала, отдачей его в произведенном труде. И может появиться другое произведение, где, кроме уже вам известного, кроме всего вложенного и использованного вашим сознанием, налицо еще что-то, возникшее как бы помимо вас, без вашего ведома, словно нежданный-негаданный гость в дом... Напрашивается банальное разделение: механическая работа, не дающая ничего нового, как бы стоящая на одном месте, и творческая работа, всегда приносящая что-то новое. Но невольно спрашиваешь себя: а есть ли вообще на земле чисто механическая работа, ничего не приносящая нового, кроме того, что было в нее вложено сознательно?

Посмотрим на самый, казалось бы, простой, примитивный труд на земле, все равно — сколком кремня или новейшей сельскохозяйственной техникой производимый, разглядим самое пока з а т е л ь н о е в нем. Почему он нас кормит? Что с нами было бы, если бы мы посеяли одно зерно, которое выросло бы тем, что было посеяно, тоже одним-единственным зерном? Что было бы с нами, если бы посадили одну картофелину и выросла бы из нее тоже только одна картофелина? Зачем тогда сеять и сажать? Великая тайна природы, тайна земли в том, что природа, мать земля, отвечает трудом на труд, процесс, совершающийся между ними, обоюдн, вершится двумя силами, хотя одна считается живой, а другая неживой. Земля размножает зерно, размножает картошку; армянский пахарь из села Чалтырь под родным городом моей матери Нахичеванью-на-Дону, когда я как-то воскликнула: «До чего же тяжел ваш крестьянский труд!» — ответил мне: «Он нам не тяжелый. Потому что, видишь ли, земля о т в е ч а е т». Земля отвечает. Металл отвечает резцу. Глина отвечает пальцам скульптора. Бумага отвечает под пером поэта, писателя. Человек отвечает человеку... Все отвечает на посеянное вами, доброе и злое. Великий мудрец XII века в эпоху так называемого закавказского (восточного) Ренессанса не зря, не на ветер сказал о зерне:

Не сей никогда с сатаной на устах —
И ты с одного будешь при семистах!

«Всухомятку» (нетворчески) мыслящий ученый назовет все эти рассуждения глубокой старости наивными по-детски. А мне, например, кажутся наивными рассуждения некоторых биологов, совершающих кощунственное разложение живой клетки и мнящих объяснить все разнообразие людских особей вложенными в них генами. Нет, никакие гены не покроют того икса небывалой новизны, возникающего в акте создания нового человека, никакие гены семейства музыкаль-ных Бахов не укажут и не объяснят вам той неповторимой особенно-

сти, какая хрустально сияет в полифонических жемчужинах Иоганна Себастьяна Баха, выделивших его от всех остальных Бахов.

Наивным может быть изложение моих мыслей, но не самые мысли. Я постигла их не из пустых абстракций, не рождением мысли от мысли... «Судьба» этих мыслей — в личном опыте, ясно и реально пережитом мною: вот беру гранки собственной, мною написанной работы, где как будто все мне наизусть известно, каждая строка, любой абзац. Читаю — и словно в первый раз. Совсем неожиданный поворот мысли, н е з а м е ч е н н ы й (как это необыкновенно!) в процессе писания, открывающий новую ее дорогу, внезапный, неизвестный для меня вывод, как просвет голубого между облаками, — новое, интересное, способное заинтересовать (как рикошетом!) самого автора, двинуть его вперед. Что это? Творчество? Неужели только у немногих? Ну нет, я убеждена, мне предстает это как неоспоримость, — механической работы вообще нет на земле, творческой энергией начинен каждый атом материи, может быть, сочетание этих атомов, творческая сила рождения нового в них у одного явления природы (в том числе человека) больше и потому заметней, у другого меньше и потому незаметней...

Итак, два критерия, две истины, рожденные опытом многолетней, упорной, все более и более счастливой для автора творческой работы, осознанные мною на старости. Мера насыщенности познавательным материалом (ни перенасыщенности, ни недонасыщенности!) — для зарождения момента полноценного творчества, полноценной отдачи. И присутствие в каждой работе добавочного икса нового, чего не было вложено сознательно в материал.

Два критерия, за которые могу поручиться. Испытала их на себе... Может, и невелика щепотка на ладошке — за девяносто лет. Но много ли, мало ли, а кое-что на ладошке осталось. И третий вывод — а к нему дорога долгая. Невольно хочется совершить плагиат и привести две строчки семейного фольклора для окончания этой подглавки:

Вы поняли? Как будто просто.
И так как минимум лет девяносто...

IV

В начале тридцатых годов, для того чтоб организованно и в коллективе прочитать «Капитал» Маркса, все три его тома, я поступила в только что созданную Плановую академию. Меня оформили студенткой, единственную беспартийную среди сотен членов партии, взятых из всех наших республик с ответственных постов. Никто из нас не знал, что такое планирование. Не знали этого и наши профессора. Предметов у нас на энергетическом отделении было множество, помню, что мы проходили практическую геологию, геодезию, машиностроение, электротехнику, математику, физику, физическую географию, черчение, французский язык и еще что-то, не считая политэкономии. Большие практики советского хозяйства были в азбучном классе по теории. Создавались затяжные конфликты на кафедрах, где вместе с нашими профессорами мы воинственно в спорах и дискуссиях выработывали предмет, собравший нас под одной крышей и еще не рожденный учебником, — планирование. При всех неумениях и незнаниях, как использовать все учебные предметы для искусства социалистического планирования, мы дорожили нашей учебой, любили все, что с нею связано, аккуратно посещали нашу Плановку.

С той поры храню много толстых общих тетрадей, исписанных моею ученической рукой. Пишу «ученической», потому что главным

для нас было то, что мы, взрослые, даже пожилые люди, учились, учились, как учатся дети и юноши, — безмятежно, заинтересованно, требовательно к государству, как дети к отцу. Нам давали все что нужно: карандаши, ручки, перья, чернила и чернильницы, линейки и чертежные инструменты, карты и научные пособия, талоны на приобретение нужных книг в книжном киоске и главное — тетради, чудную писчую бумагу. Любимым был у нас «газетный час», обсуждение получаемой каждое утро и читаемой газеты. Прочитанное обсуждалось, комментировалось, принималось близко к сердцу. А я — мне выпала завидная, двойная задача. Я пришла в эту любопытную школу подковывания практиков теорией вовсе не из «практики», не из какого-нибудь служебного учреждения. Но я пришла от письменного стола писателя, от практики изучения нового человека, советского типажа, героев советской действительности, ну если не героев — действующих лиц нашей новой, советской социальной системы. На уроках политэкономии меня пугала подвинутость моих товарищей по учебе в вопросах учрежденческого руководства, финансирования, знания разных служебных функций, бухгалтерии, кадров. Но те же, кто пугал меня своими практическими знаниями, становились в тупик перед какой-нибудь теоретической проблемой, где сама я плавала, как рыба в воде. Чтение «Капитала» — главное, для чего мне захотелось пойти на старости доучиваться и засесть за парту, — казалось мне мuzzyкой. И было страшно, по-ученически обидно, что наша строгая преподавательница никогда не замечала, не хотела заметить и похвалить, «выдвинуть» мое теоретическое превосходство над наивными потугами больших наркоматовских чиновников, руководителей трестов понять и правильно ответить на самые простые философские вопросы. Отметки она мне ставила всегда такие же, как членам моей бригады: учились мы тогда в нашей Плановке побригадно, то есть небольшими, в несколько человек, совместно изучающими предмет коллективами.

Но зато какой беспомощной пригостишкой чувствовала я себя, когда мы ездили на практические занятия — то на различные заводы и производства проверять какие-то контрольные цифры, то в мастерские Института имени Плеханова составлять «электрические системы», — сколько поту пролила я, стремясь разобраться в них, и мои товарищи по бригаде, туркмен, узбек и русский, буквально водили моими пальцами, чтоб помочь мне...

Но чтение «Капитала», счастье простого для меня и очень сложного для моих друзей смысла двух кардинальных положений — производственные отношения и производительные силы — и разыгрывающейся между ними диалектической драмы! Я видела эту драму, как шахматную партию, как музыкальную форму, наслаждалась ее логикой, блеском ее развития. Мне казалось, что своим открытием взаимоотношения этих двух факторов и абсолютной реальной необходимостью их развития Карл Маркс одним ударом, как богатырь из народной быliny, раз-раз — и разнес в пух и прах капитализм. Товарищи-студенты возражали: все хорошо на бумаге, а в действительности... Но диалектика никогда не была для меня «на бумаге». Капиталист эксплуатирует рабочую силу — факт? Ну факт. Это производственные отношения между капиталом и трудом. Капиталисту выгодно, чтоб рабочий вырабатывал все больше и больше, чтоб прибыль была все больше, чтоб прибавочная стоимость уходила побольше в его карман, — ведь факт? Ну факт. Это производительные силы. Ну так вот, производительные силы растут и растут на пользу капитала, куда их росту не начинают мешать препятствия. А какие препятствия? Да самый рост этих производительных сил, вот!!! — торжествовала я. Он мешает себе дальше расти, потому что упирается в устаревшие,

уже не годящиеся для его роста производственные отношения! Устарели, потолок, помеха — и производительные силы упираются в этот потолок, они взрывают его. Революция, конец капитализму! Я наслаждалась, как если б играла прелюдию Баха. А мой товарищ, только что обучивший меня, как сделать осветительную систему, снисходительно улыбался: на бумаге хорошо, ну а в жизни, милая моя, это сложнее...

У меня сохранилась очень интересная тетрадка с заданиями по политэкономии. Не знаю, как обучают сейчас и увлекает ли это учащихся. Уроки эти захватывали меня иногда до философского восторга. Учительница, правда, указывала от — до в чтении материала и самого Маркса и при указании ошибочных решений у Гильфердинга, но я глотала целиком и Маркса и всех его искажителей и комментаторов, сама разбиралась что к чему — аналитический разбор мне был по настоящему, юношески интересен. Листаю тетрадь: о кризисах. Идет целый ряд вопросов, на которые нужно ответить. Указания, что для этого прочитать (от — до). И дальше следуют мои ответы, написанные — в возрасте сорока пяти лет — почти детским, необыкновенно аккуратным и выразительным ученическим почерком. А вот другое задание... Да простит меня читатель! Я увлеклась. Уже не сорок пять мне — за девяносто лет, и вдруг страшно захотелось похвастаться перед читателем, переписать сюда эту любопытную страничку, ведь сейчас, может быть, уже так не преподают и так не отвечают, а мои товарищи-плановики тех лет еще живы (они были моложе меня) и, как ветераны советской учебы, обрадуются кусочку доброго старого времени...

Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя.

Как мы тогда учились! Переписываю из тетрадки:

«Задание № 7

Всеобщий закон капиталистического накопления

Целевая установка: 1) изучить процесс капиталистического воспроизводства и развитие в процессе накопления капитала его противоречий; 2) изучить сущность капиталистического закона народонаселения и процесс обнищания рабочего класса при капитализме; 3) изучить сущность всеобщего закона капиталистического накопления; 4) изучить закономерности изменения жизненного уровня трудящихся в СССР в процессе социалистического накопления.

Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос. Что такое простое и расширенное воспроизводство? Почему даже при простом воспроизводстве капитал является капитализированной прибавочной стоимостью?

2. Ответ. Простое воспроизводство есть такое воспроизводство, при котором прибавочная стоимость от капитала целиком потребляется капиталистом на его нужды. Расширенное воспроизводство есть такое воспроизводство, при котором прибавочная стоимость (или часть ее) идет на расширение авансированного капитала (вкладывается в производство). Но даже и простое воспроизводство является по существу капиталистическим, потому что извлекаемая прибавочная стоимость базируется на неоплаченном труде рабочего...»

Здесь кончается первая страничка, очень примитивная, а за ней следует еще много страниц ответа на первый вопрос, очень интересных сейчас для меня самой, но совсем неинтересных для читателя.

Я привела эту первую страничку из толстой общей тетради по политэкономии, чтоб показать особый метод и стиль нашей тогдашней учебы, где изложения капиталистической экономики, взятые у Маркса, тут же, параллельно с ним сопровождались изучением — а как обстоит это сейчас, в нашем социалистическом производстве? Такой параллелизм при изучении «Капитала» был интересен, поучителен, содержателен для цели нашего учения. Хоть и не было еще нашей советской теории планирования, не было никакого учебника или научного пособия для него, но мы, незаметно для себя переходя на живую почву современности и сравнения, неизбежно постигали возможности для планирования нашего социалистического производства.

Для меня же это был период развития моей мысли и того, что комсомольский критик назвал в своей статье «судьбою мысли». Эта судьба привела меня в те годы — начало тридцатых — к особому теоретическому чтению, то есть, верней сказать, к особому чтению теории, экономической, эстетической или философской, с тут же, в процессе самого чтения, возникающей потребностью проверить ее практически. Причем практика часто заменялась у меня понятием «опыт». И если практическая проверка совершалась где-то вне Плановки, в физических кабинетах или мастерских других институтов, где они имелись (базой для нас был Институт имени Плеханова), то опыт часто происходил внутренне, путем наблюдения над самой собой, своими чувствами и действиями и соотношением этих чувств и действий с их результатами. Все время происходила обобщающая, анализирующая работа мозга. Я заметила, например, в процессе обучения самым разным специальностям, переходя из класса энергетике в класс физики, из класса физики в класс механики или машиностроения, иногда в один и тот же день, что каждая из этих наук говорит подчас об одном и том же понятии, но облакает это понятие в другой термин. Мало того, иногда в одной и той же специальности имеются смежные виды научных отраслей, а, скажем, в физике или биологии очень много таких разветвлений, и каждое из этих отдельных научных разветвлений пользуется одним и тем же понятием, но в замаскированном виде, названном совсем другим термином. И вот, употребляя свою терминологию, двое ученых — оба физиологи, или биологи, или физики, — бывает, не знают или не понимают теории друг друга. Так случилось, например, со мной, когда я реферировала международный пятнадцатый Физиологический конгресс в Ленинграде для «Правды», пытаюсь узнать у одного физиолога о теории его смежника, профессора другой отрасли физиологии.

Я приставала к своим преподавателям с предложением размаскировки терминов, объяснения их в первые уроки, чтоб шире раздвинуть горизонт учащегося, помочь ему связно разбираться в общей панораме наук... Я беседовала об этой необходимости приведения каждого термина к его основному, корневому понятию и объяснения уже после, какие отличительные (специальные) черты привели это общее понятие к разным названиям в разных смежных науках, с нашим умным, любившим пофилософствовать математиком Березовским. И, должно быть, порядком надоедала ему.

Помню, например, такое свое рассуждение: «Вот посмотрите: ваши длинноногие абсцисса и ордината и более скромные функция и аргумент и тому подобные, даже в ткачестве уток и основа, — что в них наглядно, начертательно на глаз общего? Разве не точка пересечения, не пересечение вообще? Ну и дайте ученику перво-наперво ясно понять, зримо понять общую философскую суть пересечения, увидеть перед собой самое простое соотношение горизонтали и вертикали, а уж потом объясняйте, почему это со-

отношение замаскировано в разных науках разными терминами! Куда легче будет осваивать разницу, если понимаешь лежащее в основе их главное общее действие». Я утверждала лектору по механике, что термин «рычаг» имеет свою аналогию в анатомии (в строении скелета), в бетховенских сонатных и симфонических кодах (длительных обобщающих окончаниях), — словом, чувствовала великое наслаждение гегельянца, научившегося владеть диалектикой.

Эти мои умственные копанья во всевозможных терминах, скрывающих под собою одинаковое первоначальное действие, точнее — отвлеченно скрывающих его под собою, привели меня к некоторым моим печатным работам, например об унификации научных терминов, об историческом изложении науки, вырастающей из практической необходимости (в книге Лурье о дифференциальном вычислении у древних), о настоятельной нужде создать наш, социалистический научный компендиум... Впоследствии эта эпоха нового, вторичного университетского «переобучения» для меня выросла в педагогическую, дидактическую страсть к советской педагогике, ко всему новому, что есть или появляется в ней, к блестящему методу диалектического обучения арифметике у калмыцкого ученого Эрдниева, к поискам знаменитой харьковской школы и болгарских педагогов строить обучение у ребят на развитии самостоятельного мышления, на умении схватывать проблему и быть ею захваченными — словом, ко всему, что углубляет и, углубляя, облегчает для учащегося усвоение учебного процесса, а для учителя — ведение этого процесса, поскольку сам он неизбежно становится мыслящим, находящим удовольствие в мышлении, по-настоящему образованным педагогом. К этому периоду относятся мои новые чтения Гегеля, сверка разных переводов его сочинений на русский, ловля ошибок в этих переводах, где главный, излюбленный гегелевский термин *werden* (становление) часто заменялся термином *sein* (быть, существовать, бытие вместо протяженного и меняющегося во времени понятия «становиться», «становление»). Смотри большую мою статью «О природе времени у Гегеля». Но особенно горячо я занялась метаморфозами терминов, когда — случайно, хотя случайностей нет в судьбе мышления, — уже с утасаживающим зрением, с лупой в руках напряженно трудилась (чтение стало огромным трудом!) над маленькой английской книжкой Д. Линдсея о Джордано Бруно.



Д. Линдсей (со своими комментариями) перевел на английский язык одну из главнейших книг Бруно, его знаменитые «Пять диалогов», под общим заглавием. По-русски это заглавие переведено так: «О причине, началах и едином»; по-английски у Линдсея: «Cause, Principle and Unity». Он отбросил предположный падеж (о ком, о чем) и перевел это заглавие именительным, что помогло ему найти правильный термин для передачи третьего слова оригинала. В оригинале (Бруно писал по-итальянски) заглавие это звучит так: «Della causa, principio ed uno», где третье слово может ввести в заблуждение переводчика и сойти за «одно» (*uno*) в смысле единицы, хотя по-итальянски это не единица, потому что для единицы есть отдельное слово *uno*. Что же это за слово *uno*? У Линдсея — «юнити», единение, единство. По-русски «единое» совсем не то, что единица, и как-то философичнее, глубже английского «единства», что склоняется к единомышлению, единогласию, а в «едином» — соединение множества, синтез. Первое слово «причина», *causa*, — тоже очень устойчивый термин, у Спинозы он даже «первопричина», сама себе причина, *causa sui*. Ну а

вот принцип. Простой читатель удивится, прочтя его перевод — «начало», ему это покажется «плагиатом» от causa, «причины». Именно в смысле первой причины, или основы вселенной, у древних философов называли огонь, воду, воздух принципами, началами. Философ Владимир Соловьев, ведший в словаре Брокгауза отдел философии, дал такое объяснение термину «принцип» в его метафизическом понимании:

«При всех ее (философии.— М. Ш.) успехах со стороны формального развития умственной деятельности, принцип бытия доселе отличается в различных системах лишь те или другие односторонние определения, не представляющие существенного прогресса сравнительно с воззрениями древних мыслителей... Неудовлетворительность... выставляемых в новейшее время принципов доказывает, что философия еще имеет перед собою будущность»⁵.

А вот наш «Русско-итальянский словарь» взял это соловьевское пророчество как быка за рога и в переводе слова «принцип» напечатал так: «Принцип, principio, социализма: от каждого по способностям, каждому по труду»⁶.

Здесь, в примере для читателя, метафизика слова «принцип» уже совпадает с современным, практическим ответом: «Я имею убеждения и своим убеждениям верен, я принципиальный человек». Так обстоит дело с «принципом» в философии и в жизни. И в этих терминологических изысканьях я постепенно вернулась к забытому мной Фрошаммеру.

Конечно, претерпеть такую огромную историческую метаморфозу, как «принцип», термин «фантазия» не мог. Если на свое изменение термин «принцип» потратил столетия, то «фантазия»... а впрочем, «фантазия» у древних философов тоже понималась глубже и, хотя не так, как «принцип», имела какое-то свое действительное значение. Она дошла до нашей разговорной речи тоже вульгаризированной, хотя «принцип» возвысился, занял твердую положительную позицию по смыслу, а она спустилась в быту человека чуть ли не до ругательства. Однако в столетие, когда Фрошаммер поставил ее во главу угла мирового процесса, большие люди — Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Гёте, а позднее наш Ленин — отводили ей очень реальное, очень нужное, очень уважительное место в гносеологии, теории познания, даже в социальном, практическом мышлении и поведении. Так мои философские раздумья над метаморфозами терминов неизбежно привели меня к моей заброшенной диссертации.

К ней вел и весь опыт наблюдений над собственным творчеством, чувство пригодности, нужности его, когда чтение собственной напечатанной вещи одаряло чем-то новым, что как будто не существовало, не имело в подготовительном материале, не светило, не было «ни на спичку», ни на короткую вспышку света в моем ясном сознании, когда писалось это, ни в замысле, ни в исполнении труда, а вот вдруг повеяло свежим ветром со страниц как будто знакомых, собственной своей рукой написанных,— все, все вело к Якобу Фрошаммеру. Вела к нему и «шахматная» мысль: почему не повторяется, ни разу не повторилась комбинация атомов в человеке, если даже комбинация всего тридцати двух фигур на доске всего из шестидесяти четырех квадратиков не повторилась за тысячелетия? И это вело к Фрошам-

⁵ Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. С-Петербург. 1901, т. 49 (XXV), стр. 238.

⁶ «Русско-итальянский словарь». Составили С. В. Герье и Н. А. Скворцова. М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1953, стр. 479.

меру. В мое время произошло самое страшное в истории человеческой науки — разложение живой клетки, попытка вывести человеческую индивидуальность из наличия генов, и разве ум человеческий не видит, не понимает, что эти самые гены (как весь подготовительный материал к творчеству, все — узанное до полной ясности, бумага перед носом, чернила перед вашим носом) не исчерпывают всего в человеке, в произведении, в индивидуальности, а всегда еще всплывает над всем этим присутствие икса небывалости, икса новоосуществимости, икса — неведомо как, из чего, из каких тайников материи возникшего ростка продолжаемости уже бывшего, в прибавляемости к нему еще не бывшего? И это все тоже приводило меня десятками тропинок к забытой диссертации, как к заброшенной шахте неутомимого золотоискателя: а вдруг в ней содержится золото? А вдруг фантазия — что фантазия?..

И даже предмет, под названием которого как под крышей сидели мы и учились, — план, планирование — приводил меня каким-то боком к Фрошаммеру. В Плановой академии мы так и не поняли, что такое план, и еретики среди нас частенько поговаривали в минуты нашего «газетного часа»: «Да ну его, план, учат нас тому, что преподается в каждом политехническом институте, только беспорядочней. Фантазия — этот план». Но у меня были свои мысли о плане. Я боялась, что их назовут еретическими. Вообще меня частенько били и прорабатывали за свежие мысли, высказывавшие из нашей системы обучения классике марксизма от—до. Стараясь держаться за перила этого узкого мостика от—до кусков из классических творений Маркса и Ленина, я все-таки думала о плане. У нас изменились производственные отношения. Значит, планирование социалистическое должно строиться на новых производственных отношениях: нет эксплуатации, нет погони за прибылью, есть живой новый человек, вышедший на авансцену истории — трудящийся, рабочий человек. Поэтому начало планирования — в изучении потребностей народа. Вот откуда в первую очередь нужно вести графики цифр названий, вычислений, а не сразу с контрольных цифр предприятий. Уже зная — и хорошо, с толком зная — потребности народа, можно планировать то, что создается для этих потребностей, с запасом, с резервами и маневрировать, увеличивая или уменьшая возможности каждого производства. Ведь растут и умножаются потребности! Ведь незнание потребностей — первый шаг к созданию перепроизводства и кризисам... «Чепуха, — возражал руководящий работник, сидевший на скамье первого семестра, — чепуха, утопия — изучение потребностей. Это приведет к стадному формализму. У меня, например, потребность найти ошейник и хлыст для собаки, ищу, ищу — нет в магазинах, а кто будет учитывать такую потребность?» «Эх ты, собачник, — отвечала я с возмущением, — а перепись населения! Это величайшее дело — перепись населения, но надо ввести умную, разветвленную графу по учету потребностей. Да притом это понадобится, когда дойдем до перехода в коммунизм. Вспомни: от каждого по способностям, каждому по потребности. А у тебя, кстати, какая способность?» Руководящий работник, ставший студентом, повернул ко мне спину.

Планировать... И это вело к Фрошаммеру. Мне любопытно было, как он «спланирует» произвольные действия фантазии.

Плановку я оставила на третьем семестре. Мне казалось, главная цель выполнена. Три тома «Капитала» в зеленозатой бумажной обложке первых изданий, исписанные на полях, в загогулинах, безжалостных перегибах, разрознивших брошюровку, лежали передо мной прочитанные. Я воображала, что поняла Маркса, освоила Маркса, а за стеной нашей академии воздвигалась первая пятилетка, звали

очеркиста острые, нужные, захватывающие мысль проблемы нашего стремительного движения вперед. Любопытно закончился для меня третий семестр Плановой академии: «Гидроцентраль» давно вышла в свет, широкое русло советской литературы несло в своем половодье возникавшие корабли нашей литературы — «Поднятую целину», «Бруски», «Энергию», «День второй», «Человек меняет кожу», «Людей из захолустья», «Танкер «Дербент», один за другим, много, много кораблей в будущее, еще не нашедших своих Белинских, своего Чернышевского, чтоб измерить их действие, описать их могучую роль в великих материальных летописях социалистической стройки эпохи...

Я давно покинула Дзорагэс. Но она не вошла в список ударных строек пятилетки, и ее заявки на необходимое оборудование бездейственно лежали на одном из харьковских заводов. В каникулярное летнее время я помчалась в Харьков. В те дни в Зангезуре произошло очень сильное землетрясение. В Харькове еще помнят, как я использовала его («землетрус» в Армении) для страстного выступления перед рабочими, прося их сверхурочно выполнить заказ первой большой стройки Армении. Моя «речь» сохранилась в заводской многотиражке, и «бедной Дзорагэс» помогли дорогие моему сердцу харьковчане, хотя пусть они простят горячего оратора, Дзорагэс была очень далеко, чуть ли не на другом конце Армении, от пострадавшего Зангезура. Но в этом событии нашей рабочей советской солидарности было и еще одно доброе советское качество, которое можно назвать сейчас борьбой с показухой: главный инженер Дзорагэс, зная, что стройка еще не готова к пуску, а ее, как на свадьбе, уже нарядили в праздничные одежды, к открытию в срок, — речи, знамя, пионеры, гости, тосты, список награждаемых, статьи собственных корреспондентов ждали мгновенья, — главный инженер, невзирая на свое начальство, не открыл пусковую стройку, а закрыл ее открытие до действительного окончания. И я особо использовала это.

В газете «Известия» я поместила большой, двухподвальный проблемный очерк «Вместо открытия», где рассказала о важном значении этого маленького события — строить, создавать, бороться за выполнение плана, но мужественно не давать ходу показному, обманчивому его выполнению «в срок». «Известия» не только напечатали мой огромный очерк и редактор не только не коснулся его острием своего карандаша, но и дирекция Плановой академии засчитала мне мой очерк как очередную семинарскую работу третьего семестра. Таким было мое расставанье с Плановкой. И так мы работали, стараясь помочь нашему молодому социалистическому государству. Так понимали мы, молодые будущие плановики, формулу «кто не трудится, тот не ест», стараясь, чтоб труд наш шел на пользу, реальную пользу родине, делом, а не показухой.

Еще надо сказать о Плановке. Мы отнюдь не зря провели в ней свои студенческие годы. Мое собственное положение было, правда, парадоксально — одна-единственная беспартийная, как белая ворона, в коллективе не только партийцев, но и людей с большим опытом советской практической работы за плечами. Но я наблюдала, училась у них, многое принимала и брала себе в толк от одного только огромного факта — пребывания и учебы в коллективе. И тот, «собачник», повернувший ко мне спину (я как беспартийная была для него неисправимой идеалисткой), был по-своему лучшим марксистом, чем я. Он считал, что в одном факте планирования хозяйства, в одной возможности создать такое учреждение, как Госплан, уже заложено социалистическое понимание новых производственных отношений. Я помню много наших честных, открытых выражений своих взглядов

на план — даже не взглядов, а скорей поисков своего взгляда — в спорах и дискуссиях. И те, у кого был опыт управления заводом или наркоматом, приводили примеры из своей деятельности, а те, кто от доски до доски прочитал учебную литературу, критиковали и отвергали эти примеры в связи со своими теоретическими познаниями. Студенты, державшиеся, как и я, мнения, что изучение потребностей должно предшествовать планированию производства, считали, что это изучение вещь очень сложная, требующая огромных социологических, психологических и даже литературных знаний: я любила приводить в наших спорах примеры не из хозяйственной практики, цитировала шекспировского «Короля Лира»:

Дай человеку то лишь, без чего
Не может жить он, — ты его сравнишь
С животным...

На это мне отвечали спорщики других взглядов, что «при капитализме такое изучение происходит произвольно и неизбежно, только слово «потребность» там заменяется словом «спрос», и поэтому, хочешь не хочешь, можно скатиться к апологии капитала». Вообще Плановка приучала к пользе думать и спорить. Я обрадовалась, когда нашла много позднее у Ленина такое замечательное место. Осинский, занимавший в 1921 году ответственный пост в Наркомземе, написал Владимиру Ильичу «истерическое» письмо о невозможности работать в этом наркомате из-за «склок» его сослуживцев, шедших наперекор его мнению. Ленин ответил ему, что он, Осинский, видит интриги там, где их нет, что нельзя сводить противоречивые мнения к склокам и интригам, а, наоборот, надо их уважать, к ним прислушиваться. Он писал:

«Вы сделали ошибку, настояв на удалении Муралова, видя «интригу» там, где ее не было ни капли. Но чтобы вести такой наркомат, как Наркомзем, в таких дьявольски трудных условиях, надо не видеть «интригу» или «противовес» в инакомыслящих или инакоподходящих к делу, а ценить самостоятельных людей»⁷.

Ценить самостоятельных людей! В томе 54 полного ленинского собрания эти строки подчеркнуты у меня густо-густо красным карандашом. Если б я могла, я отлила бы их в золоте. Потому что эта конкретная истина слита с вечной всеобъемлющей истиной диалектики — исторического развития общества...

В Плановке, почувствовав узкое место нашей учебы, чтение от — до, я поставила себе целью прочесть весь «Капитал» вторично, с карандашом в руках, не жалея свои старенькие, уже потрепанные загибами и ушками три моих тома. И они постепенно, из года в год покрывались у меня на полях записями, в тексте — подчеркиваниями. Одно подчеркивание было взято в такую густую рамку, так измусолено всякими изображениями моих восторгов, восклицаниями, кляксами, растекающимися из-под пера чернильным потоком, сменившим карандаш, что я долго, долго словно глазам своим не веря (глаза мои еще хорошо видели!) вглядывалась в мелкие буквы трудного узкого шрифта, читала и читала это место.

Мне тогда было восемьдесят пять лет. Люди, радуйтесь своему богатству, если вы видите и слышите в эти годы, если ноги у вас идут себе не спотыкаясь, колени не дрожат, как у пожилых генералов, и не хныкайте на какие-то старческие пустяки. Вы еще молоды! Я была молода в свои восемьдесят пять лет. И ноги и глаза работали на славу, слух — я к нему привыкла и даже любила свою глуховатость, потому

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 72—73. Письмо № 136.

что она, как хорошее кухонное ситечко, пропускает в мои уши только главное, а не разный разговорный хлам, какой не заполняет, а «проводит» драгоценное время. Я была так молода, что казалась самой себе моложе прежних двадцати лет, потому что была охвачена глубоким неутомимым интересом к жизни. Как раз в этот год в процессе моих писаний с особой силой встала у меня в мышлении проблема труда. Газеты и книги чуть не каждый день напоминали о ней. Мы, советская пишущая братия, начиная с Горького касались этой проблемы, думали о труде различными формулами, создаваемыми нашей эпохой. Чего только нет о труде в моих собственных книгах, вся «Гидроцентральный» и ее герой Рыжий — это философия труда в лицах, в действиях. А вот главного, что сказано о труде, о проблеме труда, — ни в «Перемене», ни в «Гидроцентральном», ни в «Месс-Менд», где (незаметно для читателя, но — в дыхании книги, в воздухе самого сюжета) все насыщено рабочим кислородом труда, ни слова не упомянуто о том главном, что сказал о труде Карл Маркс. А ведь он много неожиданного, точного, классического писал в «Капитале» именно о труде, о том, что такое труд. Правда, это была особая проблематика. Слово в детективном романе он прослеживал «тайну прибыли», с волнением писал, что пора наконец открыть ее, т а и н у, а не какую-нибудь ординарную «сущность» или «происхождение». И тогда я взяла густо подчеркнутое мною место в первом томе «Капитала». Отдел третий, нужная мне глава пятая и начало ее, первая подглавка «Процесс труда». Пусть вернется читатель к первому эпиграфу этой моей завершающей главы, взятому из потрясшей меня пятой главы третьего отдела первого тома «Капитала» Маркса. Признаюсь, я читала ее много раз, эту главу. Но глубокое понимание пришло ко мне только пять лет назад, в мои восемьдесят пять лет. Как объясняет Маркс, что такое труд? Он исходит прежде всего из двух данных — природы и человека: «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам противостоит как сила природы...»

Здесь противостоят у Маркса вещество и сила. «Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы»⁸.

Здесь естественные силы человека перечисляются как руки, ноги, голова и пальцы. Но только ли они?

«Воздействуя посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти... Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и притом необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содержанием и способом исполнения, следовательно чем меньше рабочий наслаждается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил»⁹.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 186.

⁹ Там же, стр. 188—189.

В этих строках, выписанных, к сожалению, из общего текста, который весь, каждым своим словом поражает глубиной развивающейся мысли, очень много сказано. Труд определяется многими своими свойствами. Он и соотношение человека с природой, соотношение, в котором он не только изменяет природу, но изменяется сам пробуждением дремлющих в нем самом сил. Труд — это и наслаждение, способное увлечь того, кто трудится, и своим содержанием и способом его исполнения, но труд может быть и неспособным увлечь рабочего, механическим. И целесообразная воля, необходимая для свершения труда, оказывается более необходимой в рабочем, чем непривлекательней его труд. И труд называется «игрой физических и интеллектуальных сил», когда он трудящегося увлекает. В небольшом приведенном из Маркса отрывке, темы для десятка диссертаций, — соблазн разделения труда на творческий и механический, урок психологии труда, разгадка его утомляемости (какой труд труднее). Целесообразная воля, называемая вниманием, вещь очень напряженная: глаза и ум, наблюдение и соображение тем сильнее, чем больше требуется в работе, которая совершается без удовольствия. Наслаждение трудом снимает физическое и умственное напряжение труда, отодвигает точку утомляемости. Но кроме этих простых комментариев к сказанному Марксом примешивается невольный вопрос: а что, какая сила обнаруживается в процессе труда, которая прибавляет к двум слагаемым — природе и человеку, материалу и труду — нечто третье, некий икс, рождающийся в результате их взаимоотношения? Предмет, произведение, новую данность, кроме материи и человеческого труда, приложенного к ней, приносит с собою не только голое сочетание этих двух начал, но и нечто новое, третье, такое, чего нет ни в материи, ни в человеке как таковом и что, как электричество от трения, порождается актом его труда, его творчеством? Страницы всей этой подглавки «Капитала», названной у Маркса «Процесс труда», полны еще самых гениальных мыслей, проследить за которыми в чтении доставляет огромное наслаждение. Но одну мысль, по-моему самую главную, самую гениальную изо всего, что когда-либо было сказано о труде, я здесь приведу.

Как и все читатели «Капитала», я, конечно, не забывала за чтением его страниц, что подходит Маркс к проблеме прибыли как экономист, что прибавочная стоимость, обогащающий капиталиста уворованный у рабочего неоплаченный труд, прячется, как в цифровых подсчетах, в самом характере капиталистического производства. Но гений Маркса был не только политико-экономическим — гений его был философским, и величайшее заблуждение было у тех недалеких современников, кто отдавал ему дань как экономисту и умалял его значение как философа. Именно философской глубиной его размышлений о труде замечательны страницы «Капитала». Как пример приведу одно место на странице 196 той же подглавки: «Куплей рабочей силы капиталист присоединяет самый труд как живой фермент к мертвым, принадлежащим ему же элементам образования продукта» (разрядка моя. — М. Ш.).

Живой фермент! Вот главное, что определяет творческую суть труда. Слово «фермент», как и слово «принцип», пережило немало исторических метаморфоз. Заходило оно и в чуждые материализму области и в мертвое царство химии, но корни его гнездятся скорей в области морфологии, близкие к формирующему, воздействующему «катализаторскому» вмешательству в вещество. А присоединение слова «живой» к слову «фермент» уводит нас от словарей; оно постигается простым человеческим воображением как дающий жизнь, как грибок, закваска, **живодействующее начало у человека и, значит, творящее на-**

чала, тот самый икс, который всегда создает новое, не бывалое, не бывшее ни в каких генах папы и мамы, вытасненных из убиваемой клетки... Икс движения к будущему, роста, развития, становления...

Пусть смеются надо мной ученые. Но я должна признаться: «живой фермент труда», созидающее начало у Карла Маркса в его «Капитале», как ни невероятно это, был последним толчком, заставившим меня наконец в восемьдесят пять лет вернуться к моей покинутой диссертации о Якобе Фрошаммере. Я взяла командировку в Швейцарию, в милый моему сердцу Цюрих, чтоб засесть наконец за Фрошаммера в цюрихской библиотеке, где любил заниматься Ленин.

VI

Целью моей командировки — официальной — было продолжение моих «Зарубежных писем» для четвертого их издания прибавкой «Швейцарских писем». Готовиться к ним и одновременно к Фрошаммеру я начала с сентября, а сентябрь в том году (1973) выдался чудесный. Билет мой Москва — Париж — Женева, через Брест, Кёльн, Аахен, Париж, был на отдельное купе (Single), и я расположилась в нем как в рабочем кабинете. Дочь моя Мирэль, старавшаяся постоянно держать свою старую мамашу в курсе новинок литературы, сунула мне в русском переводе роман одного из крупнейших писателей Швейцарии, Макса Фриша, «Штиллер», а внучка Леночка, со своей стороны, просветила насчет Фриша, что это очень умный, замечательный, хорошо к нам относящийся, не так, как вторая швейцарская знаменитость, Дюрренматт, хотя и писавший хорошие и детективы, но не такой глубокий и к нам относящийся плохо.

В понедельник вечером, 1 октября, я выехала с большим комфортом в своем «сингле», отодвинув в сторонку «Штиллера» и захватив для себя на ночь из вагонного коридора, где были книги для путников, уютный томик Ленина «Что такое «друзья народа»...». «Штиллера» я прочитала на следующий день залпом. А в дневнике моем на следующий день стояло разбросанными от вагонной качки каракулями: «Солнце! Солнце!» — потому что все купе мое было залито, как оранжевым апельсиновым соком, густыми, полнокровными потоками солнца.

Те, кто ездит у нас очень часто за рубежи, — дипломаты, журналисты, туристы — наверно, поймут меня, когда я проснулась с особым, деловым чувством привычности: не в первый, не во второй раз все эти Кёльны и Аахены, да и сам Париж. Все знакомо вокруг, все изъезжено вкривь и вкось, Париж осточертел, дорога знакома и переезжена — да и задолго до революции, через Варшаву, Подволочиск, старый Гельсингфорс, — и в окно не глядишь и на часы не смотришь, где и на сколько их переводить, где и в каком часу остановки. Мысли уже у цели, в цюрихской библиотеке, — обдумывание, разбег, как для прыжка, — и только постепенное нарастание чувства отдыха, ленивый и бездельный вагонный режим, старомодная привычка к чайку со своей снедью, к соленым огурцам на своих станциях, уже недоступным... Но не все в этой поездке оказалось для меня обычным. Переставлены на два часа назад ручные часики, в окне засерели парижские предместья, тут мне пересадка на Женеvu — с переездом на другой вокзал... Но — ни души на перроне, никто не встречает, наконец знакомая, но очень расстроенная фигура секретаря посольства... Железнодорожники бастуют (в скобках: это очень хорошо, но...), и поезд на Женеvu не идет. «А я машиной», — отвечаю без всякого огорчения. Какой по счету поездка машиной из Парижа в Женеvu будет у меня? Первой, второй, четвертой? И дорога машиной ежена-переезжена,

только раз после революции ехала я поездом из Парижа в Базель, кажется... «Да,— отвечает работник посольства,— но дело к вечеру, ехать ночью...» И вот мы в посольстве, добрый и благожелательный Степан Васильевич Червоненко отпускает машину, тот же секретарь идет делать свои дела, потому что он же, тов. Лалаянц, будет сопровождать меня в Женеву. И пока то да се, действительно темнеет, подкатывает машина с шофером Станиславом, садится Лалаянц со своим саквояжем, и мы трогаемся в путь-дорогу.

Замечательная путь-дорога, наизусть ее знаю, но, во-первых, тьма-тьмуца и ни зги не видно, во-вторых, я все это не раз уже видела. И старинный городок Доль, очень небольшой музейчик великого Пастера в доме, где он родился и рос в семье кожевника, его отца, и где построен в стиле модерн (по-моему, оскорбительном для настоящих верующих) храм апостола Иоанна; и ресторан-замок «У форелей», где вас обдерут как липку; и Ферней, знаменитое поместье Вольтера, где он жил и творил и куда вас не пустят, потому что Франция не сделала из Фернея мирового музея, а оставила его в руках частновладельца; и шоссе в Швейцарию, к озеру Леман, к Женеве, куда из Парижа течет поток автомобилей. Все это я двадцать раз (фактически шесть туда и обратно) видела, проезжая засветло, и даже описала в очерке. А поэтому, усевшись в машину, спокойнейшим образом заснула и спала до тех пор, пока машина не остановилась в глубокой ночи у подъезда внушительного здания советского представительства. На пороге нас ждала взволнованная Зоя Васильевна Миронова, наш постоянный представитель в Женеве в ранге посла, одна из умнейших и милейших женщин, каких я встречала в жизни. А взволнована была она потому, что о нашем приезде звонили из Парижа, но мы опоздали и ни шофер Станислав, ни секретарь Лалаянц не знали точно, где находится наше представительство, и машина блуждала по улицам спящей Женевы глубокой ночью, под прелестями знаменитого женевского «плахого климата» — морозящего капельного дождя-тумана, тускло пронизанного заплаканными слепыми фонарями.

Много было пережито и в самой Женеве за два дня, и в необычайном по прелести погоды путешествии через Лозанну в Берн, и в самом Берне, но я не хочу разбрасываться по воспоминаниям ярким и дорогим, отдающим меня от цели путешествия. Изерна в Цюрих, и в Цюрихе опять в том отеле, где останавливалась много раз раньше, пережившем тоже свою историческую метаморфозу, как понятия «принцип» и «фермент». По тому, как менялся этот отель, можно было бы проследить общее изменение характера самой немецкой Швейцарии, постепенное угасание хорошего национального духа швейцарской старины.

В дневнике моем стоит: «6 октября, суббота, 1973. Начинается цюрихский период жизни». Длился этот период около месяца. Моя гостиница, расположенная каким-то незаметным углом, неподалеку от вокзала, на Зильштрассе, называлась раньше общим популярным именем «безалкогольной» (alkoholfrei) и принадлежала к идеологическим или этическим, касающимся нравственности в общественном быту, милым выдумкам немецкого Запада. Девушкам, путешествующим в одиночку, можно было останавливаться в таких отелях, как «христианские хоспицы», где у них был общий стол, молельная комната, начальница — нечто материнское, — или вот эти кафе и гостиницы, не державшие алкогольных напитков. Что-то старомодно-нереальное, вроде романов Е. Марлитт, царило в этих уголках. Помню, в Веймаре в 1914 году двери в таких хоспицах не имели замков, они завязывались тесемкой (там, где обычно крючок и железная петля), аккуратным бантиком. Но времена и люди меняются. Раньше вокруг

моей безалкогольной были скромные магазинчики, где вместе с покупкой вы получали брошюрку, как и чем надо питаться для поддержания светлого духа в теле, великолепный и дешевый вегетарианский ресторан, а в газетном киоске вы могли получить добрую литературу для антикурения, антипьянства, впрочем, и тогда, кажется, игнорируемую большей частью населения. Сейчас все это отошло в далекое, забытое прошлое. Цюрих поспешает за Европой в целом. В кино людям чисто плотным просто нельзя ходить, секс пролезает во все печатные щели, национальные традиции вызывают у цюрихской левой молодежи краску стыда. Вильгельм Тель с его яблоком на голове у сына — не следует даже и помыслить о нем: все это устарело, все это слащаво, выдуманно, все это «конформизм», смешно, старо, постыло. И в магазинах книжных с трудом раздобудешь даже «Зеленого Генриха» — классику былой Швейцарии... Но в одном моя безалкогольная гостиница, потерявшая свой демократический облик и четырежды вздорожавшая, сохранила свое главное достоинство. Она — только мост перейти — была совсем недалеко от старого особняка с двумя пологими к его входу лестницами, по этим лестницам взбегали быстрые ноги Владимира Ильича, в этом доме он сиживал не раз, это была городская библиотека, до сих пор не собравшая вместе разбросанные по городу свои филиалы. И для меня это было главное достоинство моего местожительства.

Я пошла в нее на второй день по приезде. И узнала, пока пересылали меня из комнаты в комнату, от одного седовласого швейцарца к другому, что философа Якоба Фрошаммера у них нет в каталогах и никто его вообще не знает — видом не видывал, слыхом не слыхивал. Понадобилось четыре дня, обращение (письменное, заказным!) в бернское Центральное управление библиотечными фондами и книгохранилищами (пишу по памяти), понадобилась помощь местного журналиста Альфонса Маппа, к которому у меня было письмо, чтоб мне прислали из Берна официальную справку: «Книги философа Якоба Фрошаммера имеются в городской библиотеке города Цюриха». И уже с этой справкой в руке на пятый день тревог и страданий явиться в тот же двухлестничный особняк, к тому же седовласому швейцарцу. Он был сконфужен. Вытер пот с лица, пока долго и с удивлением смотрел на справку. Я привожу этот вступительный эпизод в мою фрошаммериаду для утешения наших домашних учрежденческих бюрократов — учрежденческих, потому что в наших родных советских библиотеках бюрократов я никогда не находила.

И тут меня окружила просто вакханалия удач. Мною занялась милая ученая девушка Дорис Кун. Передо мною легли не только «Фантазия, как основной принцип мирового процесса», но и другие — полемические, педагогические, психологические — труды Якоба Фрошаммера, но и найденная специально для меня и сфотографированная с помощью Дорис Кун, лежащая сейчас передо мной большая его карточка. И подробная биография... И опять, если читатель хоть отчасти заинтересован моим неведомым философом, я должна временно разочаровать его. Прежде чем подробно поделиться всем, что заканчивает судьбу моей мысли и приводит к концу эти воспоминания, хочу рассказать о встрече с Максом Фришем, не попавшей в мои «Зарубежные письма». В Цюрихе из газет я узнала о том, что Дюрренматт, который тоже как писатель интересовал меня, выступил недавно в печати с недостойным выпадом против Советского Союза. Я вычеркнула его из своей цюрихской программы. Но вот — Макс Фриш. Залпом прочтя его «Штиллера» в вагоне, я сразу очутилась в атмосфере литературы думающей, чувствующей то, что происходит на нашей планете Земле, участвующей в своем времени жизни не только

Европы, но крохотного местечка, родины автора — республики Швейцарии. Макс Фриш и подкупил и оттолкнул меня. С детства я любила Швейцарию как немецкую страну, хотя первое мое пребывание в ней семнадцатилетней девушкой было в Лозанне и ее альпийском окружении — Веве, Монтрё, Роше-де-Не, Шильонский замок, Руссо с его «Эмилем», тюрьма, из которой бежал будущий граф Монте-Кристо, — словом, все французское по языку, по литературе. И все-таки побеждало все немецкое — эта природа немецкой Швейцарии, овеянная белизной Альп, пушистыми эдельвейсами на ее неприступных скалах, Вильгельм Телль, стрелявший в яблоко на голове сына, и народные собрания на полянах, все то, что Энгельс называет «борьбой упрямых пастухов против напора исторического развития»¹⁰.

Каким-то отступничеством от чистого, народного духа Швейцарии казалась мне ее французская часть. Но современные швейцарцы — сердце республики, ее немецкая часть — сами стали отступниками. Еще в Москве я услышала о том, что немецкие швейцарцы считают Женеву более культурной, более европейской частью республики, стараются породниться с ней через браки своих дочерей с женеvцами — через обязательное знание французского языка, через тягу «туда, туда», где вершатся дела мировой дипломатии, где рукой подать до Парижа. А тут еще мода на фешенебельную Лозанну... В Лозанне лучший в мире климат, лучшие американские отели, шикарнейшие магазины, самые богатые люди в мире оседают на житье в Лозанне, самое великосветское общество собирается в Лозанне, описывается в модных романах... И этот местный, «швейцарский» европеизм, так усилившийся в милом, простом, еще недавно таком мелкобуржуазно-нравственно чистом в общественной жизни, так безжалостно попуран сейчас в Цюрихе, так осмеян в «Штиллере» — это отталкивало меня от Макса Фриша. А в то же время, что сразу привлекло меня к этому потомку «упрямых пастухов», хотя и поддававшемуся «напору исторического развития», это его анализ и критика американской стороны этого развития, его острая критика американизма. Со времен Диккенса не переставали европейцы ощущать этот отвратный дух океанской цивилизации.

Наш Пушкин давным-давно в своей блестящей публицистике описал проступающие через раннее увлечение свободами Америки зловещие пятна загнивания этой цивилизации. Я помнила пророческую цитату из «Капитала» Маркса о пресловутых правах человека в Америке (в том же первом томе «Капитала», на странице 196) и не могу отказать себе в старческом удовольствии списать еще одну цитату — из Пушкина. Почему-то и ее мы не берем на свое духовное вооружение, как не взяли у Маркса. Пушкин пишет:

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка снокойно совершает свое поприще, донные безопасная и цветущая, сильная миром, упорченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и востановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 351.

довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой, — такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами»¹¹.

Какая точность попадания — снайперский пушкинский прицел! Через многие десятки лет у Макса Фриша это тихий, тонкий анализ, сделанный почти шепотом, но подобный снятию скальпа. Или вскрытию ланцетом гнилостной язвы в человеческих отношениях. Он пишет об одной из своих героинь, приехавшей на житье в Америку уже в наше время:

«Она любила Нью-Йорк. Первое время ей казалось, что нет ничего проще и легче, чем общаться с американцами. Все были так прямодушны, благожелательны, от друзей не было отбоя, так, по крайней мере, ей казалось... со временем ей стало не хватать чего-то неуловимого, чего-то, что присутствует в атмосфере даже в Швейцарии... Все эти открытые прямодушные люди, видимо, и не ждали ничего иного от человеческих отношений, ведь эти дружественные отношения ни к чему развивать, углублять... через двадцать минут ты сближаешься с человеком, и через полгода, через много лет к этой близости ничего не прибавляется... Все равно за душой у них не найдется ничего, кроме стандартного, ни к чему не обязывающего оптимизма...»¹². Все это относится в тексте у Фриша к любовным отношениям, но это г л у б ж е, это перекликается с бессмертными страницами об Америке у Диккенса в «Мартине Чезлвите».

И как похоже это на политику, на общественные отношения, на образ жизни сегодняшних Соединенных Штатов! Этим Макс Фриш привлек меня, и мне захотелось с ним встретиться. Уже упомянутый дружественный нам журналист Альфонс Мапп со своей очаровательной женой Симоной устроили мне эту встречу. После всего пережитого за чтением Фрошаммера в цюрихской библиотеке, когда я укладывалась к отъезду, Симона Мапп зашла за мной, и мы втроем по узким старинным улочкам направились в прошлые времена, в те времена, когда молодой, полный жизни, озорной Гёте ездил — «мирское дитя», как он назвал себя, — между Базедовом и Лафатером в коляске; привозил своего герцога в Цюрих и обедал в маленьком, стареньком ресторанчике. Этот старенький ресторанчик — гётевская комнатка — и был выбран Максом Фришем для угощения меня обедом. Мы взобрались по лестнице на второй этаж старого цюрихского острокрышего дома, где помещалось это знаменитое заведение с ласковым «ли» на конце своего названия (так ласкают швейцарцы свои слова: Stube — Stübli). Небольшая, с немногими столиками комната, украшенная в старинном духе: расшитые скатерти, картинки на стенах, наряд розовощекой хозяйки у буфета, дерево, резьба, фаянс, вышивка. И вот сам Макс Фриш, совсем не похожий на мое представление о нем, — небольшой, полный, поседелый и уже чуть лысый со лба, в очень острых очках, а за круглыми стеклами странные, незречие

¹¹ А. С. Пушкин. Сочинения. Редакция текста и комментарии М. А. Цявловского и С. М. Петрова. Отвз. Государственное издательство художественной литературы. 1949, стр. 797—798.

¹² Макс Фриш. Штиллер. Роман. М. «Художественная литература» 1972, стр. 285, 286, 287. Написан «Штиллер» в 1954 году.

глаза (может быть, с линзами? или с оперированными хрусталиками?). Крупные круглые незрячие глаза в круглых крупных стеклах, по-детски круглое полное лицо, похожее овалом на Виктора Шкловского, — и страшный рот, в первую минуту испугавший меня, в полоску, узкой черточкой, без губ. Орлиный нос благородного очертанья — единственное в лице, что обличает в нем, когда он поворачивается ко мне в профиль, характер, чувство независимости и стойкости. Я переписываю это нескладное описание прямо из дневника, где оно набросано наспех перед отъездом, по первому впечатлению — и, должно быть, неверно.

Я не умею вести беседу за столом, не ожидала «светского» приглашения к обеду и вела себя из рук вон плохо. Ни слова не сумела сказать о том, что собиралась сказать. Но зато он вел себя как европейский хозяин, говорил много, очень интересно для меня, — и опять я прибегаю к рабочему дневнику, переписывая оттуда, что сумела записать перед отъездом.

Говоря, он как-то, не глядя на вас, подкидывал глаза над очками; из-за тонкого безгубого рта казался все время улыбающимся, да и действительно улыбался. В уголке стиснутого рта висела вечная трубка, синела струйка очень ароматного табака, и говорил он как бы внутрь себя — очень трудно мне было услышать его. Альфонс Мапп, сидевший напротив, громко повторял его немецко-французскую речь, изредка подшвейцаренную диалектизмами. Начал он сразу:

«Я видел Ленина. Это было в 1917 году, и мне было шесть лет. Я играл с мальчишками на улице, и мимо нас часто проходил в соседний дом небольшого роста человек с острой бородкой. (Макс Фриш жестом показал собранными в ладошку пальцами от подбородка вперед.) Мой отец, klein Bürger, — он был мелкий буржуа, «буржуй» (последнее слово по-русски, с растяжкой на последнем слоге), — как-то увидел меня играющим, показал на проходящего мимо человека с бородкой и сказал: «Da geht ein Welterschütterer». — вот идет «сотрясатель», или потрясатель, мира...»

Но мне, грешным делом, показалось, что это один из легендарных рассказов Штиллера своему другу Кнобелю (роль Кнобеля в данном случае играла я). И все-таки мне было жгуче интересно, потому что оно могло быть так. А Фриш продолжал: «Моя мать умерла, когда ей был девяносто один год. Звали ее Луизой, она была из Южной Германии, из Вюртемберга, немка. Отец был швейцарец».

Фамилию он назвал, но я ее не запомнила. Как странно, что она, как и моя mademoiselle Mouchet из Женевы, в гимназии Ржевской, тоже была гувернанткой. Дальше рассказ передан у меня не прямыми словами Макса Фриша, но его пересказом, и я ставлю в кавычки только его собственные слова. Как странно, что она оказывается немкой, тоже служившей, как моя Луиза Муше, гувернанткой в богатых русских семьях. Мать Макса Фриша служила в Харькове, в семье Киселевых, у какого-то крупного чиновника, богатого человека. Потом была и в Одессе, и у нее «сохранился альбом с карточками Одессы и других русских видов. Был я в детстве очень больным, и я должен был много лежать в постели, и, помню, мать мне показывала этот альбом. Мою жену зовут Марианне, я ее зову коротко Marie, ей около тридцати лет (по словам Симоны, она вдвое моложе его), она переводчица с английского на немецкий и тоже немка из Германии. Сейчас она в госпитале — я должен из ресторана отправиться к ней в госпиталь. Она как-то неудачно села и вывихнула или сломала себе бедровую кость, но не серьезно и она скоро поправится». Он как-то очень сдержанно, а в то же время как-то по-детски доверчиво сообщал все эти

подробности, я их не расслышала и узнавала лишь в передаче Симоны. Сама Симона все время говорила со мной в ресторане по-французски, как бы подчеркивая, что она Welsche (территориально-языковое превосходство над немецкой Швейцарией?). «Сейчас, за последнее время,— продолжает Макс Фриш,— я написал рассказ из жизни Тессина — Erzählung, aber sie ist noch nicht beendet,— я еще никому не отдал. Это из жизни итальянских швейцарцев. Sie muß noch bearbeitet sein (она — «рассказ» в немецком языке женского рода — должна еще быть обработана). И я мечтаю писать мемуары, раз уже написал их за годы 1945—1949».

В моей книжке «Штиллера» на русском языке есть биографические сведения о Фрише, но их очень мало. Я убеждена, что эти короткие, наспех набросанные слова самого Макса Фриша, если даже где-нибудь я не расслышала или спутала, имеют какой-то интерес для читателя. Макс Фриш — очень сложное и глубокое явление, сложное и национально и этнографически. Он мыслит, ищет, и хотя речь его имеет тот модный (или нажитый) оттенок иронического западноевропейского скептицизма, в самом человеке Фрише просвечивает что-то народношвейцарское, привлекательно-доброе. Но вот он перешел в разговоре на свои «русские впечатленья» (синяя струйка из его трубки потекла как-то слабее, на убыль), и это было как бы финальными, послеобеденными Nachtsch — немецкими пряниками и орешками, подаваемыми уже после еды:

«Я дважды был в Советской России — один раз по приглашению на какой-то памятный день Горького (не разобрала), другой раз на симпозиум (кажется, дело шло о конференции по роману). Познакомился кое с кем. Ленинград очень красивый город, но чересчур тихий».

В этой беседе понравилось мне, что он не задавал никаких каверзных вопросов, довольно равнодушно спросил обо мне, кто я такая. В конце ее первый распростился, чтоб побегать к жене в госпиталь. Через три дня я пустилась в обратный путь (Берн — Лозанна — Женева — Париж), но он успел прислать мне своего великолепно изданного «Штиллера» на немецком языке, небольшой дневник (Tagebuch 1946—1949), вышедший во Франкфурте-на-Майне в 1972 году (переизданный с 1950 года). На моем русском «Штиллере» уже стояла приятным и четким, открытым и располагающим к себе почерком надпись:

«Frau Marietta Schaginian
Cordialement.

Max Frisch.
Zürich, 22.X.1973».

Между немецкими словами все-таки втиснулось как-то очень привычно французское «сердечно» — cordialement.

В Швейцарии стояла зима. Было холодно, мокро, дождливо, промозгло, пронизано ледяными вспышками ветра. Все посерело вокруг, и за стеклами, забрызганными крупными каплями, не на что было смотреть. Той же дорогой, тем же маршрутом — мимо бернских выхоленных мишек в яме, сейчас, наверное, изрядно промокших, мимо соблазнов уже совсем не нарядной Лозанны, мимо серой под серым небом волнистой глади Лемана. Все как-то находилось под дождем, а у меня в этот последний (вероятно) отъезд из Швейцарии все пело внутри, тепло согревало сердце, словно давнишний долг выплатила наконец, очистила совесть. В сказочно немногочисленные дни октября — правда, каждый день был насыщен, как неделя,— я наконец нашла своего Якоба Фрошаммера. Цюрихская библиотека, почти весь

рабочий день (с утра и до сумерек), уже знакомые старые тома с закладками, брошюры, собственные мои маленькие толстенькие тетрадки, где (сгущенное в формулы, расшитое вставками цитат) оседало в конспектах мое чтение, и драгоценный конверт со снимком, завернутым в папиросную бумагу (портрет Фрошаммера),— все это возвращалось со мной, ехало в Москву, отвоеванное у прошлого. Увиденное, прочитанное, продуманное, записанное, запертое, как на замок, в памяти. И что за дело мне было до дождя и слякоти, до ледяного ветра, до собственного насморка наконец, когда я, простуженная, невероятно счастливая, триумфально возвращалась домой. Есть вещи в биографии каждого человека, никогда и никому до самой его смерти не ставшие известными, особенно дни его счастья или скрытых, до крика сдерживаемых сжатыми губами страданий. Не надо это кому-нибудь знать, потому что это общее, реальное, у всех, у каждого. И все-таки мне хочется тут признаться. Я ехала невероятно счастливая, держа в сумочке, поближе к себе, чтоб все время чувствовать их и не потерять, маленькие мои швейцарские тетрадки, мелко-мелко исписанные,— документы! Все и обо всем, что есть во Фрошаммере, о Фрошаммере, выписки, конспекты, длинные места из немецких оригиналов, снабженные крестиками, исчисленные в их важности, звездочками (три, четыре, пять...), как крепость армянского коньяка. Мне казалось, я все взяла и обо всем получила полное понятие. Я была переполнена счастьем, а счастье в большинстве случаев, как сердце красавицы, «склонно к измене и перемене...».

Пять лет продолжалось накопление материалов для диссертации. Среди самых увлекательных работ, откликов на нужды страны, на запросы газет, писанья захватывавших меня статей — о новой пятилетке, о новой Конституции, на юбилей Гейне — и продолженья «Человека и времени» я находила свободные промежутки, чтоб снова погрузиться в Якоба Фрошаммера, в его письма, педагогические работы, высказыванья о нем,— в Публичной библиотеке Ленинграда, в читальном зале Немецкой библиотеки Берлина, в Ленинской библиотеке Москвы. Казалось — вот-вот уляжется материал готовым для творческого обобщенья, как насыщенный раствор для роста кристалла. И минута пришла.

Пережив свой юбилей, перешагнув за девяностолетний рубеж, я собрала все написанное, села за работу — и почувствовала, что глаза мои не могут осилить накопленное, не видят своего собственного мелкого почерка. Я — ослепла. Но не совсем, читатель. Все еще вижу вокруг природу живую и мертвую, солнце и листья на деревьях в золотых пятнах солнца, темные облака, посеревшую от дождя землю под ногами, но — ни одной буквы, как ни поворачивай голову, ни двигай глазами. Чтение совершенно исчезло из моей жизни. Чтение даже собственной рукописи, даже правка ее мне почти недоступны. Но писать могу, хотя вкривь и вкось, наезжая (к мукам моей переписчицы) строкой на строку. И счастье смешилось трагедией, беспомощностью перед грудой материала. Я стала вытряхивать из памяти все, что сохранила в ней от прочитанного, проработанного и продуманного.

VI

С получением официального извещения изерна о наличии в городской библиотеке Цюриха чуть ли не всего Якоба Фрошаммера и торжественным предъявлением этой бумажки запыленному седовласу в очках атмосфера изменилась. Климат потеплел. Людям (их было очень немного по счету, поскольку я имела дело только с первым этажом читального зала) стало ясно, что старая дама со слуховым аппара-

ратом на ухах, громкоголосо пристававшая к ним с каким-то допотопным Фрошаммером, из таинственной страны Совдепии, с красным паспортом, вовсе не была «чуть-чуть» (тут люди постукивали обыкновенно себя по собственному лбу), а, наоборот, всерьез и подкреплена центральным учреждением... Сперва молчаливый библиотекарь принес мне откуда-то, чуть ли не с полки, очень старый по виду и совершенно девственный внутри том «Фантазии, как основного принципа мирового процесса», изданный в Мюнхене Теодором Аккерманом в 1877 году, а потом повел меня по крутой лестнице на второй этаж, к другому администратору профессорского вида, по фамилии Нагели (Nageli), в отдел каталогов. Там я получила в руки более обжитой, огромного размера томище «Всеобщей немецкой биографии». Оглавление его не такое короткое, и для желающих привожу его целиком: «Allgemeine deutsche Biographie. 24 Lieferung, Band XLIX. Kaiser Friedrich der III — Dr. Fr. Frantzischek. Leipzig. Verlag von Dunker und Humbolt. 1904». И в этом томище на странице 172 я нашла наконец моего Якоба Фрошаммера, уместившегося на страницах 172—176 и половине 177-й.

Забыв все на свете, жалея, что носовой платок слишком мал, чтоб повязать его вместо чулка на голову, — а мозг явно просился в теплоту, чтоб согреться, — я целиком, нагнувшись над мелким шрифтом, ушла в страну... в маленькую деревушку под названием Ильякофен, лежащую где-то между городами Регенсбургом и Штрейбингом. Там в зажиточной крестьянской усадьбе в зимний день 6 января 1821 года родился слабый ребенок, Якоб, мать которого умерла через два года после родов. Видно, некому было особенно заботиться о его здоровье. Отец, по всему описанному в книге, занят хозяйством: заливной собственный луг неподалеку от Дуная, богатый скотный двор, конный завод. Сказано только, что мальчик из-за слабого здоровья поздно пошел в школу. А до тех пор отец взял от него сколько можно. Мальчик, как и многие, многие поэты и ученые, стал пастухом у отца. Сказано деликатней: «...сторожил отцовских коней и коров на отцовском лугу недалеко от Дуная». Кони и коровы, да еще во множественном числе! Должно быть, ездил в ночное на неоседланном жеребце, босыми пятками упираясь в его сытые бока, поил его, загнав в мелководье, а вверху сияли звезды, и колебались их отраженья внизу. Но, может быть, так бывает только с русскими мальчиками, а Якоб сидел в немецких ботиночках где-нибудь на берегу. И как звал отец сына? Якоб — библейское имя. В нем есть та фонетическая суровость, какую на немецком не представляешь себе в ласковом уменьшительном виде. У мальчика был дядя-священник. И, должно быть поняв, что работником в богатом крестьянском хозяйстве слабый (а уж наверняка мечтательный, полюбивший природу) сын не будет, отец с дядей, посоветовавшись, решили сделать его духовным лицом, священником. Семья была католическая — значит, не простым лютеранским «гейстлихен» на селе, а католическим патером, членом могущественнейшей церкви в Европе, членом какого-нибудь ее ордена с обетом безбрачия, с полнейшим рабским подчинением теологической догме. Времена, конечно, были уже не феодальные, первая четверть просвещенного XIX века, наследника XVIII, вошедшего в историю как эпоха Просвещения.

Но вот XX век. На наших глазах — рукой подать — к безоружному Ярославу Галану, острому писателю-антицерковнику, вошли двое и зарубили его насмерть. XX век. Месть — за обличение Галаном в продажности и мракобесии католической церкви.

Страшные страницы пришлось мне прочесть в простой и несложной биографии Фрошаммера, профессора философии в Мюнхенском

университете. Страшные не столько потому, что в середине XIX века (в эпоху расцвета немецкой идеалистической философии, английской физики, эволюционной теории Ламарка и Дарвина, гигантского явления — Маркса) можно было запутаться в сетях навязанного, нелюбимого, не выбранного по своей вольной воле, а как бы подставленного чужой волей под ноги состояния, куда ты сам сунулся. Фрошаммер не оказался героем в первой части своей биографии. Он уступил в детстве натиску отца и дяди, в юности — отца и мачехи, в зрелые годы — собственному желанию иметь прочный кусок хлеба. И лестница этих уступок шла у него параллельно с трезвой любовью к науке, с умным и «еретическим» преподаванием психологии и философии, с первыми опытами в области метафизики, с поиском единого принципа для природы и человека, органического и неорганического мира, в процессе их мирового развития и нахождением того единого принципа в «фантазии, понимаемой несколько расширенно», как пишут о нем его ученики и толкователи.

Оставляю пока это «расширенное» понимание фантазии и вернусь к его биографии. Скатываясь к принятию ордена (Ordination) и вступив в ряды теологов, Фрошаммер, по его собственным словам, приведенным в биографии, «сделал самый тяжелый и ошибочный шаг в своей жизни, превративший эту жизнь в цепь конфликтов, борьбы, преследований и препятствий». Но вся его последующая жизнь была искуплением этого ошибочного шага.

Одна за другой работы его включают церковью в список запрещенных. На него смотрят с недоверием, когда он получает кафедру философии в Мюнхенском университете. Клерикальные круги видят в нем изменника и еретика; светские — сомневаются в научной ценности его работ. Он яростно сражается за свободу научной мысли. Основывает в Мюнхене журнал «Атенеум» и в третьем номере печатает — одну из первых в то время — хвалебную статью о Дарвине, излагает теорию эволюции. Сам ли послал он свою статью Дарвину, или Дарвин, не избалованный в те дни положительными откликами, услышал о ней и прочел ее (верней всего это последнее), но вот 27 апреля 1863 года он получает от Дарвина письмо. Великий естествоиспытатель благодарит Якоба Фрошаммера, католика, бывшего патера, за правильное понимание его теории, революционизировавшей в то время науку...

Все это очень бегло и коротко я повторяла себе в памяти, когда ехала по зимней дороге из Цюриха. И представляла себе его смерть. Из чтения его писем, трагических в последние годы его жизни, я знала, как он болел глазами: он ездил лечить их в Bad Kreuz, немецкий курорт. Но не вылечил. Он умер, как пишет его биограф, полуслепой, «с пером в руке», 14 июня 1893 года...

Но память везла с собой не только главные черты его жизни. Она хранила в воображении его облик, фотографию, лежавшую в папирсной бумаге на дне моей сумочки, фотографию, которой мне все время в чтении Фрошаммера мучительно не доставало. Вот он, каким я вижу его сейчас, — похожий на себя и становящийся по мере чтения похожим все больше и больше. Лицо, обращенное слегка в сторону, но не в профиль. На три четверти, en trois quart, как говорят французы. Опущенное с боков донизу пушистой темной профессорской бородой. Глаза, невидимые под очками, но видно, что они слабы, что это глаза совсем не острые и не блестящие. Крупный нос. И лоб — как описать прекраснейший лоб патриарха, весь очень высокий, но совсем не пологий, не начинающий лысеть вверх, а, наоборот, окаймленный сверху живыми, очень тонкими, слегка вьющимися

темными прядками. Открытый, ясный и нервный лоб,— вам кажется, вы видите вспухшие жилки и капельки пота,ступающие на нем от напряжения мысли. Все недоступное глазам (острота наблюдения, упор, протест, радостное озарение мысли), доброе, приветливое выражение внимания к вам дано этому лбу для передачи в общенье. А большие глаза, наверное с красными веками, короткими, на слабых корнях, негустыми ресницами, глядят в сторону, они не борцы.

Я сдружилась с этим обликом патриарха. Он, кстати, совсем не германского типа. И, начав изучать Фрошаммера не с его сочинений, а с него самого, я прежде всего стала искать в его «Фантазии, как основном принципе мирового процесса» взятые им к своему труду эпиграфы, эти окна в душу автора. Если автор высок, то и окна его очень высоки, в них трудно заглядывать, и, должно быть, поэтому читатель часто проходит мимо эпиграфов. Я сама, когда начинаю писать, высовываюсь в эти окна... И тут, как на портрете, меня ждало радостное открытие. Он взял к последней (третьей) части своей книги удивительный, незнакомый мне самой эпиграф из Гёте. Не знаю его, не знаю откуда. И в сноске не указано. Так как перевести точно почти невозможно, сперва дам его в оригинале:

«1. Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründet?

2. Die Erdentiefen und die Himmelsphären

Nur ein Gesetz der Menschenbrust bewähren Goethe».

Эти не совсем понятные в своем синтаксисе мысли понятны для гётеанца. Здесь в первом абзаце Гёте — материалист, верящий в конечное познание истины, а во втором как будто идеалист, для которого недра земные и сферы небес подчиняются как бы единому закону, поверяемому душе человеческой. Та же двойственность и во всем введении в «Фантазию» Фрошаммера, а потом и в его письмах, полных мрачного отчаяния. Помню, я записала где-то во время чтения: чувствуешь, как бьется о стенки идеализма и религии ищущая мысль наивного эмпирика-материалиста, каким невольно становился в своем мышлении Фрошаммер. Может быть, я не совсем до конца понимала его, читая и конспектируя читаемое, но его собственное мнение о самом главном, о том, на что надо обратить внимание в его «Фантазии», что он считает новым, принесенным в теорию познания, изложено очень четко самим Фрошаммером в одном из его писем¹³. Абзац этот велик для переписки его сюда. Он полон убеждения, и в нем на первом месте не абстрактные категории, а указания на психологию, на анализ связи душевных, чувственных восприятий с работой мозга, на не только познающую, но и действенную, строительную роль воображения (фантазии) в общем поступательном ходе развития мировой действительности. Эмпирика, опыт своей собственной душевной жизни, прослеживание роли этой функции человека в субъекте и в объекте природы, где никогда и ничто на протяжении тысячелетий не дублируется,— вот, по его мнению, «расширенное» понятие фантазии, строительная функция воображения, главный принцип мирового процесса. Эмпирика — но без социологии, что могло бы приблизить его к Марксу. Мужественный вызов церкви — нет бога-творца, есть вложенный в человека творческий инстинкт свободного движения, вольных построений все нового и нового, небывалого и неповторимого, вечно развивающейся материи.

¹³ Письма Я. Фрошаммера, сужие по форме, трагические по непрерывной, тяжелой и неуспешной борьбе с догматикой Ватикана, с иезуитами, изданы в Лейпциге Минцем и Гумбольдтом в 1891 году. Письмо, о котором я говорю, написано Фрошаммером из Мюнхена 17 декабря 1876 года. В книге стр. 39.

Я не ручаюсь за точное изложение мыслей Фрошаммера, перечитывать его сейчас и свои размышления о нем не могу. Но в памяти моей есть точность моя собственная, точность развития собственных моих мыслей на основании попутно и параллельно читаемому, потому что одновременно с этой подготовкой к своей работе шла и развивалась и судьба моей собственной мысли. И диссертация всей моей жизни. Вот я сижу над подготовленным и гляжу на него слепнувшими глазами. Вижу перед собой слабые, слепнувшие глаза самого Якоба Фрошаммера и его руку, сжимающую перо.

Какой огромный материал, целый склад материала, накопленного за все эти годы! Не просто выписки из Фрошаммера — это как бы полуфабрикат, уже готовый для «выпечки» из него диссертации. Я завещаю его, как и весь мой архив, Антигоне моей старости, верной помощнице, заменившей мне Лину, — милой внучке моей Леночке Шагиняи: быть может, ей встретится философ, знающий немецкий, как русский, способный полюбить Фрошаммера, и он захочет использовать и эти выписки, и библиографию, и комментарий, сопровождающие эти конспекты, уже для своей... вот опять сложный термин, тоже претерпевший историческую метаморфозу: Диссертация — что она такое?

VIII

Диссертация — это, конечно, не только то, что говорят о ней словари: «Ученый труд, написанный на соискание научного звания». У диссертации есть одна присущая ей особенность, без которой нельзя ее себе представить: защита. Она должна быть *з а щ и щ е н а* — и это придает ей особую связь с человеком. Пушкин не очень-то уважительно отозвался о ней. В эпиграмме на монархиста Надеждина он сказал:

...За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций...

Это было в эпоху, когда «пострадавший от ума» Чацкий произнес свою знаменитую фразу: «Служить бы рад — прислуживаться тошно». Эпитетом «лакейские» заклеил Пушкин, конечно, не диссертации вообще, а прислужническую, холуйскую, подхалимскую манеру писать на потребу начальства... А диссертация вообще недаром начинается с маленького слога «ди», означающего двойство, два, нечто, рождаемое в борьбе, в споре. Защита диссертации — это как раз обратное лакейству. Это не угодничество своим сочинением начальству. Это собственное, самостоятельное мнение, умственная работа, поиск, находка, которую надо *з а щ и т и т ь*. И только тогда обретает она плоть. Настоящую диссертацию надо выстрадать, сделать своим убеждением, детищем своей мысли и долгого труда, ставшим научной верой, доказуемым, испытанным, проверенным, за что готов «лезть в драку» с оппонентом. В былое время, когда защита научной диссертации еще не превратилась в мирную академическую форму, кончающуюся тайным голосованием и традиционным пиршеством, которого ждут оппоненты от счастливо отпотевшего диссертанта, в далекие, далекие времена, лет эдак двести—триста назад, разве не была диссертация *casus'om belli* — причиной борьбы, куском жизни ученого, драмой его совести, кончавшейся иногда на дыбе, на голгофе, на костре? Ведь научные открытия Галилея, Коперника, Джордано Бруно, мученический путь многих открытий (необходимость *з а щ и т ы*, борьбы за то н о в о е, что возвестил их автор) частицы «ди», говорящей о на-

личии спора, отпора, противостояния,— разве нельзя увидеть в них зарождение той носящей в себе необходимость дискуссии и защиты, научной формы, какую зовем мы сейчас термином «диссертация»?

«Эк куда хватила! — скажет читатель. — То открытия, а это ведь простая научная работа на ступень. Нужная, как ступенька на лестнице. И не страдать за нее, а, наоборот, радоваться, что полезное дело сделал, внес свой вклад». Да, конечно, читатель, если есть полезное дело и внесен свой вклад. Я несколько «занеслась» — ведь и мой Фрошаммер не был гением, не перевернул страницу науки, не сложил голову на плахе и не сожгли его на костре, как Джордано Бруно... И не был он похоронен своей возлюбленной, монахиней Элоизой, как романтический борец с церковью, средневековый мыслитель Абельяр. Но и Якоб Фрошаммер, пусть песчинка, был золотой песчинкой в русле сопротивляющихся окаменевшей догме, держащей в железных тисках свободную мысль ищущего человечества. И он внес нечто новое и не бывшее до него в историю этой мысли. Приложил к мертвой материи «живой фермент труда» — создал ту прибавочную стоймость, неоплачиваемую, которая возводит камень за камнем, мазок за мазком вечно строящееся, вечно живое здание мирового процесса...

В массе прочитанного у него и о нем я нашла для себя еще одну жемчужину. Драгоценную. Стоило прожить на земле много лет, чтоб найти ее для себя. Читатель найдет ее в предисловии к письмам Фрошаммера, а может быть, и у него самого,— слабеет моя память, и не могут помочь глаза.

Есть, верней — был на свете, замечательный тирольский поэт Адольф Пихлер, и я почему-то рада, что он тирольский, принадлежит, как у нас в прошлом сказали бы, к национальному меньшинству. Я о нем раньше никогда не слышала, у нас его, кажется, не переводили. И этот поэт оставил человечеству гениальнейшее четверостишие, мудрость, которую можно применить как совет, как указание к каждому человеку:

Jüng ist nur der Werdende
Auch mit weissen Haaren!
Wer in seiner Zeit erstarbt —
Mag zum Grabe fahren.

(Молод только тот, кто находится в процессе становления, в процессе роста, кто продолжает развиваться, хотя бы и с седыми волосами. А тот, кто недвижимо пребывает (окопался, окаменел, застоялся) в своем времени, в узком кругу своего времени, тот пусть себе ложится в гроб.)

Это стихотворение имеет себе равными по мудрости и созвучными по смыслу только знаменитые стихи Гёте из «Фауста»: сера, мой друг, всякая теория, вечно зелено лишь дерево жизни. Тирольский поэт говорит как будто о наличии двух времен: одного с большой буквы, развивающегося из прошлого в будущее, и другого — настоящего, только сегодняшнего, «своего», узкого, своих узких интересов, узкого видения и понимания жизни, в котором застаивается, окаменевают человек, как муха в клее.

И у Гёте — всякая теория может застояться, окаменеть, превратиться в свою противоположность, если не проверять и не развивать ее вечно зеленым критерием — деревом жизни, той истиной вечного становления, о которой Ленин сказал: истина — конкретна.

Я долго жила на свете, и у меня, как у каждого старого человека, накопился опыт жизни. Но мудрее тех истин, которые открывались мне по дорогам ненаписанной диссертации, ставших постепенно судьбою моей мысли, не знаю. Две тысячи лет назад некий римский вельможа Пилат спросил у стоявшего перед ним вожака из простого народа, рыбацкого проповедника: что есть истина? Тот, кто стоял перед ним, не смог ответить. Он молчал. Может быть, поэтому проповедь его, организовывавшая две тысячи лет человеческое общество, застоялась, перешла в свою противоположность.

В наше время пришел человек, по-новому организующий общество. Он дал ключ к тому, чтоб его теория никогда не застаивалась. Он ответил на вопрос, что есть истина: истина — конкретна.

Вот о чем я хотела бы написать свою последнюю книгу, если бы какой-нибудь чудодей вернул мне зрение с моим собственным опрозраченным хрусталиком.

Dixi.

Конец

90 лет и 4 месяца,
Переделкино — Москва,
31 июля 1978 года.



ГЛЕБ ПАГИРЕВ



НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Заболела давнишняя рана,
снова руку в локте разнесло.
Нет, как видно, решили мы рано,
что бывшее бывьем поросло.

Все осталось, что было когда-то,
каждый день чем-то в душу запал.
Снова рядом рванула граната,
вновь сработал проклятый запал.

Как ударили чем под коленки,
разрывая привычную связь,
и пошел, и пошел я по стенке
вдоль траншеи, все больше кренясь.

Не болело, но странная сила
мною владела упрямо и зло:
все куда-то меня заносило,
по каким-то ухабам несло.

Но покамест я шел и сначала
над собой сохранял еще власть,
в подсознании глухо стучало:
не упасть, не упасть, не упасть.


Боль входила толчками, не сразу,
и, ладонью плечо захватив,
я гудел про себя эту фразу,
вроде пел на какой-то мотив.

Так и вижу: открытое поле,
меж воронок сурепка цветет,
лейтенант, поджимаясь от боли,
в ближний тыл потихоньку идет.

(Для него этот путь только начат,
вся-то боль у него впереди,
он еще свою руку понянчит,
побаюкает возле груди.)

В память врезано давнее лето,
место боя, дорога в санчасть,
и до смерти останется это:
не упасть, не упасть, не упасть.

Ленинград.



НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ



ОДА НА РОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПРОЛОГ

... Чаек отстали крики... Ночь. Позади Казань.
«Выйдем сейчас на крылья», — мне капитан сказал.
И «метеор» качнуло... Он запрокинул нос,
что-то внизу вздохнуло, что-то оборвалось...
И на ином регистре, взяв неземной форсаж,
в бреющих синих брызгах мы перешли в мираж...
Мчим на подводных бритвах. Мчим на подводных бритвах...
Рядом летит поэма в светлых прозрачных ритмах.
Вдруг ничего не выйдет? Бьется перо в руке...
Выйти на крылья. Выйти.

И замереть в броске...
Дай мне, судьба земная, выйти на крылья так,
чтобы, небес касаясь, пылью дышать атак!
С моря сдираем кожу, в глубь заглянув веков.
Вечного солнца ложе — море не любит слов.
О этот миг отрыва крыльев, копыт, шасси!
Чувство седьмое, диво у красногривой Руси!
Что пассажирам снится?

Будущим озарены
люди в 4.30 рейсом Казань—Челны.
Справа и слева — избушки...

И, на меня летя,
спит на воздушной подушке атомная ладья.
Спят по России павшие, как распыленный крик...
Выйдем на крылья, слышите? Вместе хотя б на миг.

Камское устье. Утро. Ни проводов. Ни рельс.
Мчим на подводных бритвах... Ранний ракеторейс.
В мире всего живого — Птица и Человек.
Я — над слияньем слова. Ты — над слияньем рек.
Это так просто, близко, как мама, Марс, Калуга.
Дышат слова, как брызги... Кама... КамАЗ... Коммуна...
Вот уже утро зримо. Крылья в земной росе...
Родина. Друг. Любимая —

выйдем на крылья все!

1

Я ГЕРОЯ НЕ ВЫБИРАЛ

Пять ударов на башне века.
 Это час поколенья пятого.
 От КамАЗа и до Нурека —
 наших флагов судьба крылатая.

Кто ты? — спрашивают эхо леса,
 пашня, просека, полигон.
 Кто ты? — вздрагивает железо,
 пальцы схватывает бетон...

В нашей силе повсюду надобность.
 Глаз зеленых веселый май...
 На машинах смеется надпись:
 «Не уверен — не обгоняй!»

Левым оком тягач мигает...
 И такую включает прыть!
 Все уверены. Все обгоняют.
 А иначе не может быть!

Я героя не выбирал.
 Он в поэму сам постучал.
 В. Буравкин. Монтажник СМУ.
 Задавайте вопросы ему!

«Пари-матч». Вопрос: — Почему
 вы поехали на КамАЗ?
 — *Здесь романтика высший класс!*
 — Вы удачлив? — вопрос «Ди цайт».
 — *Да,* — летит в микрофон заморский.
 — Сколько лет вам? — *Неполных цять...*
Через край зато комсомольских!
 — Ваша слабость? — *Любовь к природе.*
 — Хобби? — *Чтение на заре...*
 — Что вы скажете о свободе? Ваши мысли об Октябре?
 — *Пахнет стройкой моя революция.*
Как точнее это сказать...
Констатирую Конституцией
право нашей свободой дышать!
 — Ваши сны? — лукавит «Обсервер».
 «Рейтер»: — Выработка ваша днем?
 — *Быть в грядущем — ночная норма,*
а дневная — работать в нем.
 — Ну а как с жилищной проблемой? —
 вопрос автора поэмы.
 — *Нас осталось в комнате трое...*
 Вдруг вопрос из толпы агентств:
 — Как вам так удастся строить?
 — *А у русских — особый ген.*
Разрушали, душили, гнули
эту землю и так и сяк.
Видно, много разрухи хлебнули,
если строить умеем так! —
 И, обдав синеокиим сиянием,

фокусирует он ответ:
 — У России — ген созидания,
 Ну а генов агрессии нет!

Пять утра над КамАЗом веет.
 И в тени, что идет на нет,
 шлем монтажный вдруг голубеет
 старой каской военных лет...

2

ЯВЛЕНИЕ КРАСНОГО КОНЯ

Сторожилы-аксакалы
 вечерами в Яр-Чалах
 мне шептали над пиалой,
 ворожили: «Чи-и... Аллах!..
 Конь в степи гуляет алый..
 Чалый конь живет в степях».
 Ровно в полночь в воскресенье
 красногривое явление
 с серебринкой от росы —
 чалый... Алый. Чалый... Алый.
 Конь, мираж, мечты начало.
 Сколько лет судьба скакала,
 чтоб в устах у аксакала
 Яр-Чалы от слова «чалый»
 намоталось на усы!..

3

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ЯР-ЧАЛЫ. 1816. ДЕКАБРЬ

Жаль, что моя машина останется неоконченной.

И. Кулибин.

Третьи сутки осень волчья.
 От Усоляска ветер злей...
 Под Елабугою ночью
 заменили лошадей.

Расплатал бы ветер троны,
 облучки бы пожалел.
 — Ой, гляди, Иван Петрович,—
 за ночь дождь-то поседел...

Ямщика старик не слышит.
 Мокрой дремой воздух дышит...

«...Ты скажи, сирота,
 сирота Иванушка,
 воспроизил кто тебя?
 Камушка-прамамушка.
 Посмотри вокруг себя, глянь-ка!
 Воскачала-то тебя лодочка-нянька...»

Песнь ямская оборвалась.
 Иней схватывал лицо.

И о чем-то размечталось
у кареты колесо...

— А скажи, Иван Петрович,
брешет разное народ,
мол, машину ты задумал
под названьем самоход.
Будет в ней табун лошадный,
то есть много конских сил,
чтоб холоп на ней наглядно
по Руси заколесил!

Ямщика старик не слышит.
Хладной дремой утро дышит.
Там, за Камою, заря.
Кони фыркают устало,
и дрожит бубенчик алый:
все не зря, не зря, не зря...

Яр-Чалы — мудрено имя.
В этом слове чайка есть,
струи с песнями хмельными,
пляс татар в степной польни,
воля русская и честь.

И подумал вдруг Кулибин,
что последний раз он здесь.
Прихватило, сжало сердце,
и почудилось впотьмах —
распахнули тихо дверцы
все кукушки на часах...

«Но не можно без движенья».
Это знаешь твердо ты
на костре самосожженья
дорогой твоей мечты.

И глядит Иван Петрович
на бегущие столбы,
шепчет: — Как несовершенно
колесо моей судьбы!.. —
Блеск дворцов и плацпарады.
Смех немецкий, русский плач.
Кому — власть. Кому — награды.
Кому — виселицы кач!..
Кач — секунда. Кач — эпоха.
Дым от опытов горяч...
Там, в грядущем невесомом,
спит гагаринский раскач...

А пока в рассветной зыби
тракт чернеет ямами...
Эх, Кулибин, ты, Кулибин,
борода упрямая!

Бедность гения — мятежна!
Пусть ненужный ты. Чужой.

Но за свечи лет стгоревших
Русь в долгу перед тобой.

Так качайся, жизнь! Качайся!
Он следит, припав к окну.
...Там крылом подводным чайка
режет камскую волну...

4

ОДА НА РОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Пусть шапки срывает ветер,
сначала — Камы глоток.
Не наше слово «конвейер»,
да будет слово поток!

...Двенадцать. Одиннадцать. Десять... Волненье с трудом
переносим.

Минута теряет в весе... Десять. Девять. Восемь...
Удары звездного пульса. Тревога. Надежда. Честь.
Стоим в ожиданье пуска... Восемь. Семь. Шесть...
Пусть все машины, как дети, сейчас улыбнуться в мире.
Почти байконуровский ветер... Шесть. Пять. Четыре...
Держа, как цветы за пазухой, в душе простые слова,
волнуются, ждут камазовцы... Четыре. Три. Два...

...Он дрогну!

И все застыли. Как будто в стоп-кадре века.
Секунду на фреске жили. Вот русского лик, узбека.
Вот чья-то рука. И плечи. Спецовки. Цветы. И флаги...
Все замерло.

А навстречу — движенья стальная магия!..

Нас время притормозило
и, новый заряд даруя,
на скорость переключило —
космическую, вторую!

...Налево — робот. Направо — робот.
Станков тамтам.
И чуткий, цепкий робота хобот
то тут, то там...

О автотитан, многорукий Шива!
Секунда — деталь. Минута — машина.

Материализация времени.
Сварка стальных минут.
На Кубе, в Анголе, в Йемене
эту машину ждут.

...Спокойно течет конвейер.
Конвейер уходит вдаль.
Как будто река форелью,
сверкая, движется сталь!

...Кабина. Колеса. Рама...
Всмотришься в очертанья, друг, —
черты допотопных «АМО»

на миг показались вдруг...
 ...Кабина. Колеса. Рама...
 Налево — направо — прямо,
 природе вопреки,
 ты слышишь? — рядом с Камой
 шум новой, большой реки!
 Но то не моторов рокот —
 как будто бы ветра ропот
 и топот, топот, топот,
 коней уходящих цокот...

КамаЗа вдох великанский
 наутро в себя вместил
 всю волю степен прикамских
 в мильон лошадиных сил!

У рек назначенье свято.
 У каждой свой звездный час.
 Была Ангара когда-то,
 сегодня — река КамаЗ!

Любил у реки задумываться
 всяк русский во все века...
 А здесь не Дон, не Ока,
 я вижу — в море будущего
 впадает авторека!..
 И вот он, первый, особый,
 вдали гудит наконец,
 сияющий, краснолобый
 девятитонный малец!
 Он пробует землю колесами,
 поглядывает сверху вниз...
 Пей, жеребенок хороший,
 тумана теплый кумыс!

ЭПИЛОГ

...Ночь. Дебаркадер. Город за спиной.
 Он как поэма прозвучал и дремлет.
 Где ж «метеор», что дал мне эту землю?

Я крыльев жду на пристани ночной.

У мокрых сходней яблоко грызу.
 Светлеет тишь, пока еще бескровна.
 И даже темень скользкая внизу
 О крыльях бредит, хлюпая о бревна...

Ждут крылья все: елабужский кузнец,
 вповалку — врач, студенты, мать седая,
 и у цыганки на руках малец
 спит, плечики, как крылья, расправляя...

Так изобразят нас на мозаике будущего.

...И «метеор» качнуло. Он запрокинул нос.
 Что-то внизу вздохнуло, что-то оборвалось...

Родина, век — спасибо —
город и в дымке лес,
за этот зримый-зримый в Завтра ракеторейс.

Крыльями прикоснулись — вот Грядущее, здесь...
Строчки мои мигнули!.. Есть контакт!.. Есть!

«Есть контакт» — это люди в гермошлемах кричат.
Есть контакт, если любят, на проблемах горят.

Кончики пальцев, крыльев окоченели врозь...
Искрой соединить бы и отогреть насквозь!

Молнией жить. Высоко. В судорогах минут.
Нервы пусть ждут ожога. Звездного тока ждут!

Все бы концы с концами были соединены.
Все бы сыны с отцами, что не пришли с войны...

А «метеор» все выше... Верую в час такой —
Есть контакт, я услышу, меж страной и строкой.
И над рекою гордою, свой ускоряя пыл,
реет огнем бикфордовым молния белых крыл!..

Так изобразят нас на мозаике будущего.



ВИНСЕНТ ЭРИ



КРОКОДИЛ *

Роман

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Большая часть огородов Хоири заросла сорняками — на некоторых только по банановым листьям можно, проходя мимо, догадаться, что здесь был огород. А ведь когда Миторо была жива, люди глаз не могли оторвать от этих же самых огородов, такие они были красивые. «Да это просто позор, — говорили ему люди, уже побывав у него на огородах и вдоволь набрав там себе молодых побегов банана и сахарного тростника, — смотреть, как обирают твой огород!» Но он сам часто предлагал им: «Берите что хотите, все равно сорняки погубят».

Не то чтобы у него вдруг совсем пропало желание работать на огородах — как-никак он эту работу любит, и не меньше, чем ее любила Миторо. Но все-таки из них двоих больше времени прополке отдавала она, и она всегда знала, на каком огороде лучше поработать сегодня. И, глядя на их огороды, односельчане видели, какие они с Миторо сильные и трудолюбивые. Мужа осуждают больше, чем жену, и Миторо, сама о том не думая, делала все, чтобы показать остальным: Хоири не хуже любого другого мужа у них в селении. Ей не надо было целовать его каждую минуту — он и без этого знал, что она его любит. Она делала все для того, чтобы люди его уважали.

И он тоже любил ее и ценил. Это для нее расчищал он землю под огороды; зато большая часть того, что потом на них вырастало, появлялась там благодаря труду ее рук. Стоит посмотреть на огороды — сразу вспоминается она и начинает щемить сердце.

Но все же почему тоска по Миторо охватывает его каждый раз, как он увидит надрез, сделанный ее ножом на дереве, или золу какого-нибудь из костров, на которых она готовила пищу? Наверно, это из-за того, как она умерла: вон уже сколько времени прошло, а он до сих пор так и не смог ее похоронить в земле.

Не может быть, чтобы не было на свете колдовства сильнее, чем у колдунов, которые отняли у него жену! Может, человек с такой силой есть даже и у них в селении. Интересно, кто бы это мог быть? Когда он был маленький, называли многих, но тогда их имена ничего для него не значили. А что, если он сделает так: положит голову на ладони и пальцами оттянет кожу лба вверх? Ну-ка еще раз, еще и еще, и каждый раз вспоминать, вспоминать изо всех сил! Нет, ничего не вспоминается. Надо поговорить с Меравекой — с отцом неловко, расстроится.

— Денег или дорогих вещей у меня нет, — продолжал Хоири, — но кое-что в жестяном сундучке у старика колдуну бы наверняка понравилось. Например, большие надлокотные браслеты из раковин — мы их выменяли у моту, в наших краях такие большие встретишь редко. И еще большой кусок парусины. Неужели за такие вещи нельзя выкупить назад чью-то жизнь?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Меравека только что вошел в элаво — в тот, который принадлежал роду их с Хоири отцов. Он все еще дышал прерывисто: ведь подниматься пришлось по тридцатифутовой лестнице. У этого, как и у остальных элаво, на одном торце стены не было. Домом владели сообща все мужчины рода. Каждое дело, о котором говорили внутри его, касалось всех взрослых мужчин. Здесь открыто высказывались обиды и огорчения.

Из-за того, что передний торец был открытый, дом, если смотреть на него с земли, выглядел как огромная свинья с разинутым ртом, готовая проглотить кого и что угодно. Люди, когда стояли на площадке наверху, снизу казались вдвое меньше, чем на самом деле. Площадка эта (по сути дела, продолжение пола) была на той же высоте, что и крыши хижин.

Солнце сейчас стояло прямо над головой, но дом был очень длинный, и внутри царил полумрак. Садясь, Меравека посмотрел туда же, куда смотрел двоюродный брат. Ничего особенного он не увидел — все те же безлюдные улицы, серые коньки крыш и вечно голодные собаки.

— Я не знаю у нас в Мовеаве никого, кто владел бы такой силой, — сказал, будто разговаривая сам с собой, Меравека. — Но даже если бы я или ты знали о таком человеке, обратиться к нему прямо мы бы с тобой не могли. Пришлось бы делать все через старших, таких же по возрасту, как наши с тобой отцы. Языки у них хорошо подвешены, и они, старшие, знают, как обсуждать такие дела. Для этого нужно терпение — они долго ходят вокруг да около, и если становится понятно, что им ответят отказом, то они даже не заговаривают о чем хотели.

Хоири знал: просить о помощи отца в этом случае бесполезно и точно так же обстоит дело с отцом Меравеки.

— Ты, может, думаешь, — продолжал Меравека, — что такие люди исчезли совсем? Это не так. Просто теперь о них не говорят вслух и не обращаются к ним за помощью — боятся, как бы не узнали миссионеры и администрация.

— Но что для них, миссионеров или врачей, в этом плохого? Уж если говорить правду, такой колдун помогает побольше, чем врач или миссионер. Ты посмотри только, что получается: администрация и миссионеры запугали колдунов и те попрятались, однако делать для людей то, что делают колдуны, они не могут. Чем администрация и миссионеры помогли нашей семье в ее горе? На плече у патрульного полицейского всегда винтовка, как палка у калеки. Только калеке палка нужна, а винтовка для полицейского — бесполезная ноша из металла и дерева. Сколько раз мы, когда плыли вверх по реке, видели крокодилов, но полицейские только качали головами.

— А миссионеры молятся, просят господина принять душу умершего в свое царство, — сказал Меравека, уже понимая, что хочет сказать двоюродный брат. — Но какой от этого толк? Ведь это не вернет погибшего его близким.

Нет, ничего не придумаешь! Такое бывает только в страшном сне: вот он, враг, прямо перед тобой, но, как ни бьешься, дотянуться до него не можешь, сколько ни размахивай дубинкой или копьем. Хочешь шагнуть к нему, а ноги тебя не слушаются — крепко связаны; или ты на чем-то скользком-прескользком, а единственный человек, который может помочь тебе одолеть врага, стоит и зло ухмыляется. От ярости ты готов откусить себе язык, а он на это смотрит и радуется, закатывается смехом, будто хочет сказать: «Ну что же ты не откусываешь?»

Что это? Там, у реки, толпа, и все галдят. Почему столько народу собралось? Возвращаться с огородов и рыбной ловли вроде бы еще рано. Отсюда, хоть они с Меравекой и высоко, не разглядишь, что такое там происходит. Столько людей собралось и так быстро! Может, там дерутся или еще что-нибудь? Сколько они с Меравекой живут в селении, а такого не видели.

Больше всего в толпе детей и женщин, и они окружили нескольких мужчин — трудно узнать кого именно, каждый оброс густой бородой. Глаза у мужчин глубоко запали, а щеки втянуты и скулы сильно выдаются — такой вид бывает, когда щеки мокрые. Губы такие же черные, как их кожа. А сколько мух вьется! А вон на земле у ног этих людей скатанные циновки — какие они старые и грязные! Да ведь... эти люди уже несколько лет как уехали на заработки в Порт-Морсби! И такими вернулись? Ну и ну! Это очень странно. Обычно человек, который проработал несколько лет в Порт-Морсби и вернулся домой,

рассказывает по селению с важным видом. В воздухе вокруг него плавает запах белого человека, и односельчане, когда проходят мимо, стараются вдохнуть побольше такого воздуха. Девушки хотят, чтобы он посетил их постель и оставил хоть немного этого цветочного запаха на их циновке. Рами у такого человека не гнется, она шуршит, как сухие листья, и, если он снимет ее с себя и поставит на землю, рами будет стоять. А когда человек садится, колени, из которого она сделана, немножко трещит, будто что-то ломается.

Толпа начала редеть: родственники обступали прибывших и уводили их домой. Кучками стоят женщины, лица у них, кажется, взволнованные, губы крепко сжаты — каждая, конечно, старается вообразить то, о чем сейчас услышала. Женщины плохо представляют себе, что такое далеко и что близко: некоторые из них думают, что от Мовеаве до Порт-Морсби всего один день пути, а другие — что целый месяц. До чего же удивленные лица у них были, когда он, Хоири, им рассказывал, что они с отцом плыли туда на лакатои больше двух недель, а ведь лакатои плывет куда быстрее, чем идет человек! Лакатои не нужно взбираться на горы, брести через вонючие болота или переходить вброд множество рек, где оглянуться не успеешь, а тебя уже схватил и растерзал крокодил, — ведь лодок там нет, переплыть реку не на чем.

Отец, когда Хоири его разыскал, лениво жевал бетель — было видно, какое он получает от этого удовольствие.

— Да неужели? — воскликнул Севесе, когда услышал о людях, которые прошли пешком весь путь от Порт-Морсби до Мовеаве. — Быть того не может! Сейчас туда и отсюда ходит много судов, некоторые принадлежат торговцам, другим администрациям, а насколько — миссиям. Идти пешком незачем, разве что у тебя совсем нет денег. Кто-нибудь из наших родных среди прибывших есть?

— Да, Лараи Опу. От его брюшка мало что осталось. И еще один, но его, когда мы были в Порт-Морсби, я там не видел.

— Узнать, кто он, нетрудно, — сказал отец. — Но пока докучать нашему родственнику мы не станем — если и пойдем к нему, то не сегодня. А сейчас пробегись до хижины Суаза и посмотри, как там мой тезка. Не спрашивай, нужны ли им бананы или какая-нибудь еще зелень с огородов: разумные люди не спрашивают, а сами замечают все и поступают как нужно.

Хоири все еще был в траурной одежде, однако носил он ее до сих пор потому, что хотел этого сам, а вовсе не потому, что на этом настаивали семья или селение. Селению было безразлично. У семьи Миторо на него тоже не было никаких прав, но все равно он ходил к ним так же часто, как к тете. Было трудно сказать, изменилась ли его любовь к Миторо. Холмика с крестом, где было бы написано ее имя, на семейном кладбище до сих пор нет. Будь там ее могила, он мог бы судить о своих чувствах к ней по тому, насколько прилежно выпалывал бы он траву над ее грудью; если бы он не давал траве пустить в ее груди ни одного корня, если бы у него было такое чувство, будто этот корень прорастает в его собственную грудь, это был бы верный признак, что он по-прежнему крепко ее любит. Все в Мовеаве говорят, что ему следует жениться снова — тогда маленькому Севесе, когда тот подрастет, будет кого называть матерью. Но если он, Хоири, послушается их и женится, те же самые люди станут говорить о том, какой он слабый. Скажут, что с Миторо он обращался хорошо только за то, что от нее получал, и даже когда не смог прожить без женщины — обязательно, видите ли, ему нужно, ложась в постель, чувствовать женщину у своего живота.

— Поосторожнее ходи ночью в этой черной одежде, — напомнила тетя Суаза.

— Да, тетя, ты права. Я, когда к вам шел, едва не налетел на девушку. Кто она, не разглядел — мокрая и блестящая, от нее даже отражался свет очага из соседней хижины. Чуть не выколола веслами мне глаза.

Тетя Суаза пододвинула к себе поближе свою веревочную сумку — там, внутри, был мешочек для бетеля.

— Я о другом, — сказала она, — смотри, как бы на тебя кипятком не плеснули.

— Ты права. — И он кивнул, показывая, что с ней согласен. — Меня и так чуть было не окатили грязной водой с рыбными очистками.

Людей из Порт-Морсби стало прибывать больше. Было видно, до чего они голодные и усталые: животы втянуты, губы черные, как уголь. Многие ступали так, будто между ног у них большие нарывы. Кое-кто родом был из деревень дальше к западу. Их друзья

в Мовеаве предлагали им передохнуть здесь, набраться сил и уже потом идти дальше. Столько чужаков зараз в селении не было еще никогда.

Когда на другой день Хоири с отцом пришли к Лаваи Опу, тот выглядел уже много лучше, чем накануне. Пытаясь ответить на приветствия, он несколько раз будто судорожно глотал что-то, но только чуть слышный звук раздавался у него в горле. Хоири стоял, опустив голову, а двое старших обнялись и плакали слезами радости: ведь столько лет были они в разлуке и вот наконец довелось увидеться снова.

— Вы бы посмотрели на него вчера, — сказала жена Лаваи, приглашая Хоири и его отца сесть на циновку. — Вид был такой, как будто он только что поднялся из гроба.

Лаваи с головы до ног окинул Хоири взглядом и кивнул. Хоири взял его за костлявую руку и, наклонившись, потерся с Лаваи носами. Он вспомнил, как радушно Лаваи встретил его, когда они с отцом были в Порт-Морсби. Из глаз Хоири потекли слезы.

— Твое счастье, что ты не остался работать в Порт-Морсби, — сказал Лаваи, повернувшись к Севесе. — Того Порт-Морсби, который видели ты и твой сынок, больше нет, за одну ночь он стал другим. Мне еще повезло, что я не взял туда с собой жену и детей, — один бог знает, что бы я с ними делал. Мы, темнокожие, работали себе и работали, как будто все в порядке и ничего особенного не происходит. Пока на город не сбросили ту штуку, почти никто из нас ничего необычного в поведении белых людей не замечал. Хозяин у меня был хороший. Ни жены, ни детей у него не было. Как-то я спросил его, почему другие белые люди отправляют своих жен и детей на больших кораблях прочь из города. «Идет беда», — ответил он мне. Однажды вечером я подал ему ужин, и он мне сказал: над городом пролетят самолеты и сбросят что-то такое, что взорвется и убьет людей. Он сказал мне, чтобы я уходил из Порт-Морсби. Но я уйти не мог, потому что Лево был еще в тюрьме в Коки.

— А ты узнал у своего таубады, почему придет в Порт-Морсби эта беда? — спросил Севесе.

— Да, узнал: он сказал мне, что началась большая война между белыми людьми и желтыми из страны, которая называется Япония. Но я все равно тогда еще не понимал, как близка беда. На другой день рано утром мы услышали страшный звук: бах! Он был во много раз громче самого сильного грома, как-то я слышал за свою жизнь. Потом нам сказали, что прилетел самолет и сбросил это на Дюз-Роуд. Я, как все, побежал туда посмотреть. Ну и страшно же там было, братцы! Некоторые большие дома развалились, хотя стены были прочные, какие всегда бывают в домах у белых людей. Нам говорили, что убило одного белого человека, а когда я прибежал туда, то увидел на мостовой еще и двух мертвых людей хула. Они были разорваны на куски и лежали в луже крови. В толпе я увидел нескольких людей керема, и мы с ними решили сразу уйти из Порт-Морсби. Мы побежали на пристань, но ни одно судно в Мовеаве не плыло, и мы решили отправиться пешком. Пошли сотни людей — мекео, керема, даже киваи, которые живут дальше к западу. В этой толпе я увидел вдруг Лево, и он мне рассказал: когда эта беда случилась, надзиратели разбежались и тогда из тюрьмы убежали все заключенные. Дорога сюда из Порт-Морсби оказалась такая тяжелая, что и рассказать невозможно, и несколько человек не дошли — умерли от голода.

Шли недели. и в селении теперь уже только и говорили что о войне между желтыми и белыми людьми. До чего глупо: белые люди и желтые, чтобы драться друг с другом, приехали в Папуа! Но почему они воюют, толком никто не знал.

Севесе сидел на площадке дома для мужчин и лениво жевал бетель. Взгляд его был устремлен к тучам на западе; он смотрел, как снова и снова меняют они форму, словно куски теста, которое разминают перед тем, как начать печь. То и дело их пронзали молнии. В эти короткие мгновенья все на западе окрашивалось в ярко-оранжевый цвет. Севесе пытался разглядеть в это время в тучах какие-нибудь знамения, которые сказали бы ему, придет или нет к ним эта война, о которой говорят все. Кажется, вот-вот он увидит что-то, но мрак опять все проглатывал.

— Ты спишь, Хоири? — спросил Севесе, дотрагиваясь до сына (Хоири лежал на расстоянии вытянутой руки от него). — Послушай-ка лучше, что скажет член совета, — свисток только что просвистел.

— Вы, добрые жители нашего большого селения! — прокричал во весь голос член совета. — Последние недели вы все говорите о том, что происходит в Порт-Морсби. Многие из вас испугались и не делают того, что должны. Администрация очень сердится на вас за ваши поступки. Сегодня белый начальник отдал очень строгий приказ: больше не говорить о том, что случилось в Порт-Морсби! Любого, кто об этом будет говорить, посадят в тюрьму на шесть месяцев.

Когда голос члена совета замер в отдалении, Севесе сказал:

— О том, что мы слышали от Лаваи, помалкивай. Раз администрацию эти разговоры так сердят, значит, и вправду началась война. Но уж тогда чем болтать, а потом таскать параша в тюрьме, лучше готовить для себя убежище. Надо починить нашу старую хижину на кладбище, тогда вся семья сможет туда перебраться. Хижина стоит в стороне от селения, под деревьями, увидеть ее с самолета трудно. В тех местах, где находятся администрации или миссии, уже красят железные крыши в зеленый цвет.

— Какой смысл теперь работать на огородах, делать лодки? — услышал Хоири у себя за спиной. Это был голос Меравеки, его двоюродного брата. — Все равно скоро мы все погибнем, так зачем стараться?

— От кого ты это слышал? — спросил, помрачнев, Хоири.

— Да все говорят! И поступают так. Ты только посмотри, солнце уже прошло по небу половину пути, а в селении полно народу, будто сегодня воскресенье!

Хоири посмотрел, куда показывал двоюродный брат, и кивнул в знак согласия.

— А я слышал, — заговорил он, — будто японцы идут, чтобы нам помочь. Жить станет легче. Товары, которые привозят на кораблях, будут доставаться нам, и мы станем жить, как белые люди, а белые люди станут на нас работать, и называть ублюдками будут не они нас, а мы их. Они будут стирать нам трусы и будут надрываться, работать на нас за десять шиллингов в месяц. Правда, хорошо было бы?

Меравека схватил двоюродного брата за плечи:

— Постой! Слышишь жужжанье?

— Слышу. Наверно, под какой-нибудь из хижин гнездо шмелей.

Оба замолчали и прислушались, пытаясь понять, что это за звук и откуда он доносится, но ни того, ни другого понять так и не смогли. Гул человеческих голосов в селении становился все громче; жужжанье между тем то усиливалось, то слабело.

— А знаешь что?.. Ведь это моторная лодка миссионеров! — сказал Хоири и расхохотался.

— Не может быть. Если бы это поднималась по реке лодка, звук шел бы с севера, дрожала бы земля. А сейчас ничего этого нет, и звук совсем с другой стороны.

Улыбка исчезла с лица Хоири так же быстро, как появилась. Люди уже не просто разговаривали, говор перешел в крик и вопли — это отцы и матери носились как безумные, разыскивая своих детей. Собаки тоже почуяли неладное и теперь жалобно вли.

— Да вон они! — начали кричать люди, и вот уже множество пальцев показывало на небо. — Самолеты. военные... австралийские, японские... один, два... шесть... десять... они будут бросать на нас бомбы!

Люди кинулись кто куда — на север, юг, на восток и запад. Матери бежали, прижимая маленьких детей к груди, остальные дети, цепляясь за их юбки, семенили рядом. Многие дети постарше искали родителей. Было видно, как от хижин удаляется на челевечьих ногах домашний скарб — это шли нагруженные самыми ценными вещами мужчины. Престарелые, брызгая слюной и кашляя, заклинали своих детей нести их поосторожней, но некоторые из стариков уходив от отказывались наотрез.

— Прячьтесь в чашу! — кричали члены совета и снова свистели в свои любимые свистки. — В трясины, только там можно спастись — в трясины бомбы не взрываются!

Хоири не стал дожидаться, пока Меравека скажет, куда лучше спрятаться. Времени обсуждать это больше не было. Но когда Хоири побежал к хижине тети Суаза, оказалось, что добраться до нее не так-то легко: путь лежал через толпу охваченных паникой людей. Он побежал с ними вместе, следя только за тем, чтобы не наступить на кого-нибудь из детей. Подбегая к церкви, Хоири увидел, как в ней исчезает его семья.

— Черт знает что делают! — сказал он сердито. — Думают, церковь очень прочная? Прочнее обычной хижины? Ой, что это я говорю! Ведь это дом божий, а бог знает все: кто как не он хозяин мозгов, которые придумали страшное оружие?

Хоири бросился к церкви, читая про себя покаянную молитву — ведь только что он согрешил неверием, а там, в церкви, сейчас его сын Севесе, единственный, ради кого он живет!

В церкви было полно людей, и они все стояли сейчас на коленях. Муж Суаза Джордж снова и снова торопливо читал с ними молитву пресвятой деве. Было душно, очень сильно пахло потом. Едва найдя свободное место, Хоири опустился на колени и начал молиться тоже. Хотелось сделать как-то, чтобы яростный стук в груди смолк, поэтому он крепко прижал обе ладони к ребрам. Но чем сильнее он их прижимал, тем сильнее билось о ребра сердце — казалось, что оно обезумело и хочет во что бы то ни стало вырваться из клетки ребер.

Губы Хоири двигались, но своего голоса он не слышал. Глаза его закрылись, а потом снова открылись, но уже где-то внутри его головы. Лучи света из его глаз сошлись на кремовом пятне, оно было круглое и вращалось так же быстро, как билось его сердце. Потом оно остановилось и начало превращаться в монахиню, учившую его в школе. Она рассказывала, что приехала из страны, которая называется Францией, где была первая большая война.

Поднимаясь на ноги, человек, который был рядом с Хоири, толкнул его локтем. Хоири услышал, как вместе с остальными говорит: «Аминь». Все было как в дурном сне. Жужжанье прекратилось. Люди один за другим стали выходить из церкви, и четвероногие сторожа селения приветствовали их визгом и лаем.

К ночи в большинстве семей все друг друга уже нашли. Родители обмывали своим детям садины и синяки, а те стонали и хныкали. Кое-кто смеялся, вспоминая с изумлением, каким быстроногим неожиданно для самого себя он оказался. Зато другие горько плакали: они в суматохе потеряли самые ценные свои вещи. Не члены ли совета виноваты во всем? Ведь никого не предупредили вовремя, что прилетят самолеты! Но члены совета объяснили, что начальник патруля ничего об этом им не сказал, а сами ни о чем таком спрашивать чиновника администрации они не могут.

Не все вернулись в селение в этот день — одни думали, что самолеты прилетят снова, а другие все еще искали свои пожитки.

За какую-нибудь неделю в разных местах недалеко от селения появилось множество временных хижин. Туда переносили ценные вещи, больше по ночам, чтобы не увидели члены совета и полицейские.

Каждый, кто прибывал из Порт-Морсби, приносил свежие новости о войне. Рассказывали все по-разному: одни говорили, что война идет в стране белых людей, другие — что совсем близко, по ту сторону больших гор.

Теперь люди очень внимательно слушали то, что объявляли по вечерам члены совета. Родители следили, чтобы и взрослые сыновья их не ложились спать до тех пор, пока этого не услышат.

Хоири уже ложился, но отец остановил его.

— Сегодняшний вечер важнее других, — сказал Севесе. — Сегодня прибыл из Керемы Мириа, переводчик администрации. Похоже, он хочет сказать нам что-то важное. Садись-ка ты здесь, около меня, и пожуй со мной бетеля, тогда глаза не будут слипаться.

— Каждый вечер одно и то же, — проворчал Хоири. — Наверно, администрация нарочно скрывает от нас правду о войне.

— Может, это из-за того, что, если бы люди знали правду, они все убежали бы на свои огороды вверх по реке. Но только я думаю, что такого не случится. Во время наших войн люди у нас в Мовеаве всегда были заодно. Тебе было все равно, из какого ты рода, и женщины дрались вместе с мужчинами: ведь каждый, рождаясь, смачивает землю селения своею кровью.

Мириа и вправду говорил потом в этот вечер, но те, кто его услышал, были разочарованы — ничего вразумительного о войне он не сказал. Зато сказал, что на следующее утро в селение придет чиновник администрации и вот тогда он, Мириа, все объяснит. До этого уходить из селения никому не разрешалось.

Утром обжигающее солнце стало бесчисленным множеством маленьких солнц, и каждое опустилось на лоб к кому-нибудь из мужчин, собравшихся послушать Мириа, прибывшего к ним издалека, из самой Керемы. Очень редко бывало, чтобы приезжал переводчик

из окружного управления. Обычно начальник окружного управления в Кереме передавал все, что хотел сказать, начальнику патруля в Кукипи, и уже оттуда полицейские деревень и члены деревенских советов несли распоряжения односельчанам.

— У истоков Лакекаму происходит что-то очень интересное, — начал Мириа. — Что именно, я не знаю, и начальник в Кукипи не знает тоже.

Как хорошо Мириа умеет говорить и как умеет убеждать, было известно всем.

— Вы... — сказал он и, умолкнув, обвел взглядом слева направо блестящие от пота лбы. Тот же самый путь проделала в воздухе и его правая рука. — Вы все знаете мудрость нашей главной администрации в Порт-Морсби и в Кереме. Администрация в Порт-Морсби сказала администрации в Кереме, что у истоков Лакекаму сейчас находятся люди, которых надо привезти к нам. Эти люди — наши умершие предки¹. Нужно помочь им спуститься вниз по реке, тогда они смогут добраться до Порт-Морсби. Просить, чтобы за это вам заплатили, нельзя. Работа эта бесплатная, вы сделаете ее для бога, и администрация не ожидает, что вы придете просить за нее табак, как вы часто поступаете. Вы должны делать все, что в ваших силах, для того, чтобы во время путешествия вниз по реке эти люди не умерли. Пусть старейшины каждого рода выберут тех, кто поплывет. Каждый род должен послать три лодки.

Хоири и Меравека вызвались сами. Ведь это совсем не то, что идти в патрульный обход с белым начальником и везти на лодке целую гору груза. У истоков Тауре они уже побывали, а теперь прекрасный случай посмотреть, какие истоки у реки Лакекаму.

Большинство выбранных радовались, что поплывут вверх по реке, но у некоторых были и сомнения. Посеяли эти сомнения их жены: они говорили, что это просто уловка администрации, чтобы увести мужчин подальше от дома. Вообще за такие слова сажали в тюрьму, но администрации об этом никто не передал. Мужья и родные женщин, говоривших эти подстрекательские слова, очень следили за тем, чтобы они не дошли до ушей членов совета.

— Ты, конечно, представляешь себе, как далеко вам с Меравекой плыть? — спросил Севесе сына, и тот удивленно на него посмотрел. — А пожалуй, и не знаешь. Ты только еще учился держаться на воде, да и вообще половину всего путешествия лежал — ты заболел тогда очень тяжелой болезнью.

— Не пойму, отец, о чем ты говоришь?

— Неужели совсем позабыл, как мы плыли в Орепаи?

— Да нет, не совсем... Помню приятное и что плыли очень долго. Но... что мы делали там, так далеко от дома? Помню только, что до Орепаи мы добирались ужасно долго. Но не важно: что мы там делали?

Севесе почесал голову.

— Что делали?.. Я работал у белого человека, который искал блестящие камешки. Но я не поэтому спросил, помнишь ли ты наше путешествие.

— Но ведь мы поплывем не так далеко?

— Еще дальше. То место, где мы были, вы оставите позади, и грести вам придется больше недели без перерыва. Так что не рвись уж так в это ваше путешествие.

— Не беспокойся обо мне, ведь я уже взрослый. Вот смотри, — и, заведя руку за спину, Хоири похлопал себя сперва по одной лопатке, а потом по другой, — не слабее, чем у любого другого!

О месте, которое называется Бульдог, в селении слышали лишь немногие, и одним из этих немногих был Севесе. Ходили слухи, что недалеко от этого места белые люди ищут деньги, спрятанные в земле. Это не такие деньги, как те, на которые покупают. Некоторые говорили, что эти деньги каменные и что они — мать всех остальных денег. Предкам, умершим давным-давно, очень не нравится, что белые люди достают из земли эти каменные деньги. Свой гнев они показывают тем, что насылают белым людям на животы хворь, и у тех от этого вместо кала выходит кровь.

— А знаешь, куда приятнее грести сейчас, чем когда мы везли вверх по Тауре мистера Смита, — сказал Хоири, изо всех сил налегая на весла. — Не важно, если мое весло сломается, — мы уже почти доплыли.

¹ Когда папуасы вступили в контакт с белыми, они решили сперва, что это духи, прибывшие к ним из страны мертвых. Такие представления широко распространились среди коренного населения Новой Гвинеи.

Меравека молча глядел вперед, лоб его прорезали глубокие морщины. Он ущипнул двоюродного брата за ляжку.

— Посмотри, — прошептал он. — Да вон, на правом берегу!

Когда лодки подплыли ближе, гребцы поняли, что перед ними те, кого их послали спасти, — белые люди, очень больные на вид, и людей этих довольно много. Глаза у некоторых запали так глубоко, что зрачки казались искорками в далекой тьме. Грязная одежда свободно болталась на истощенных телах, а вокруг невидимой дымкой клубилось зловоние пота, много дней подряд высохавшего на теле.

На каждой из лодок сделали навес и временное отхожее место. Многие из белых людей почти не могли управлять своим желудком и пользовались отхожим местом очень часто.

— Может кто-нибудь узнать у этих белых людей, что они будут есть? — спросил кто-то с кормы.

Весла остановились, и гребцы стали переглядываться.

— Но что у нас есть для них подходящего? — спросил Хоири.

— Будут есть нашу еду, если хотят увидеть снова своих родных. Для тех, у кого болит живот, нет ничего лучше саго. Нам саго помогает — значит, бедным белым людям тоже поможет.

— Но их кишки нежнее наших, — сказал Хоири. — И это понятно: ведь почти все, что они едят, мягкое. Что непонятно, так это зачем бог вообще дал им зубы. Для них наше печеное саго, наверно, твердое, как камень, оно даже может пропороть им кишки.

— Да ты спроси лучше их самих, — посоветовал заговоривший первым. — Если хотят попробовать саго, мы размочим его сначала в воде, а потом дадим им.

Размоченное саго предложили самому ослабевшему из белых людей, но он скривился и отвернул лицо в сторону, как будто, если будет еще смотреть на саго, от него задохнется.

— Билл, не валяй дурака и ешь, если хочешь вернуться домой живым, — сказал человек, которого остальные белые люди звали Ларри. Ларри выглядел лучше, чем другие его товарищи, и, похоже, привык жить в лесу. — Попробуй, Билл, для живота хорошо, знаю по себе — пробовал, когда вел однажды патруль и заболел дизентерией. Никакого вкуса? Ну и что? Любой разумный человек проглотит все что угодно, если есть хоть малейшая надежда выздороветь.

Билл откусил от палки саго, которую ему протянул Хоири, и начал жевать, как корова жует жвачку. Гребцы смотрели во все глаза: они еще никогда не видели, чтобы белый человек ел саго.

Слушая разговор белых людей, Хоири понял, что они пришли в Бульдог пешком из места, которое называется Лаэ. Японцы заняли Лаэ, и австралийцам пришлось уйти. Обо всем этом Хоири рассказал и остальным гребцам.

— Кто из вас говорит по-английски? — спросил человек, которого звали Ларри. — Моя фамилия Браун.

Ответа не последовало.

— Кто знает пиджин?

Не получив ответа и на этот вопрос, Ларри Браун обвел взглядом коричневые лица вокруг. Гребцы смотрели на молодого папуаса, сидевшего у кормы.

— Эй! Да-да, это я тебе, — сказал мистер Браун, показывая на Хоири. — Вроде бы все на тебя посматривают, так что, похоже, ты понимаешь, о чем я говорю. Ты какой язык знаешь, английский или пиджин?

Хоири посмотрел на односельчан: как, по их мнению, ему следует поступить? Потом посмотрел на винтовку, лежавшую возле Ларри Брауна.

— Да отвечай же, бога ради, если понимаешь! — с раздражением сказал Ларри. — Стрелять в тебя я не собираюсь, даже наоборот — мы очень благодарны, что вы за нами приплыли. А эта штука у меня на груди называется биноклем. Он для того, чтоб смотреть вдаль. Но что у тебя внутри, я через него увидеть не могу. А вот это, я уверен, ты и так уже видел в помещениях администрации. Это радио. Наверно, ты все же цивилизованнее канаков, которые остались вон там, на холмах позади нас? Не бойся. Король будет очень доволен тем, что вы сейчас для нас делаете.

— Да, сэр, я немножко говорю по-английски, — неуверенно сказал Хоири.

— Вот это хорошо, сынок! Скажи остальным, чтобы вели лодку как можно ближе к берегу. Тогда, если над головой у нас появятся летающие машины, я через этот бинокль смогу их хорошо рассмотреть и, если это японцы, мы быстрехонько спрячемся под деревья...

Все время, пока они плыли вниз по реке, Ларри Браун твердил людям из Мовеаве: до тех пор, пока они остаются верными королю и австралийскому правительству, их земля, огороды, дети и женщины будут принадлежать им. Японцы плохие, они хотят завладеть всем этим. Если японцы победят, темнокожие будут жить как в тюрьме — им придется работать на японцев даром.

Ларри Браун также сказал: австралийцы вовсе не убегают от японцев. Скоро из Австралии приплывут большие корабли с оружием, разным грузом, солдатами и поднимутся вверх по этой же реке. Если Австралия победит, темнокожие станут белым как братья и будут есть за одним столом с ними.

Как хорошо разговаривал с ними мистер Браун! Еще ни один австралиец никогда с ними так не говорил. Приятно все-таки, что им первым из всего селения выпала честь участвовать в этом большом и важном деле. Скорее бы в бой! Как это, должно быть, здорово — убивать врагов винтовкой, издалека! Куда лучше, чем стрелами из лука, — ведь стрелы летят недалеко. А от винтовок врага их защитит дух — покровитель рода.

В Кукипи около места, где причаливают лодки, белых людей уже ждал Джим Грин, помощник начальника окружного управления в Кереме. Ростом он был футов пять с половиной, лет ему было около сорока. Шея у него была такая мясистая, широкая, что непонятно было, где она кончается и начинается голова. В местных жителей его выпученные, колючие глазки и мохнатые, неопрятные усы вселяли ужас. Было известно: всех, кого он судит, он признает виновными и сажает в тюрьму. За глаза его называли Крокодилом, и прозвище это выражало скорее восхищение, чем неприязнь.

— Мириа! — громко позвал он переводчика. — Скажи этим канакам: пока я не узнаю, как они обращались в пути с хозяевами, домой их не отпустят.

Гребцы со всех лодок с веслами на плечах побрели следом за белыми людьми, которых они спасли. Найдя где-нибудь тень, они садились в ней по несколько человек сразу, и вскоре многие уже спали — ведь им пришлось грести без перерыва со вчерашнего полудня.

Когда рабочий день белых людей кончился и двери конторы закрылись, клерк выдал им со склада по несколько скруток табака каждому и сказал, что они могут отправиться во свояси.

Чтобы вернуться домой, нужно было снова подняться вверх по течению. На весла налегали изо всех сил: надо было, пока солнце не зашло, проплыть как можно больше. Но как ни спешили они, их, когда они должны были миновать опасный проток, соединяющий реки Тауре и Лакекаму, все же застигла темнота. В дне одной из лодок, пока они плыли по протоку, образовалась такая пробойна, что гребцам пришлось пересест в другие лодки.

Что Австралия и Япония воюют между собой, теперь не было секретом ни для кого. Все знали, что спасенные белые люди — это австралийцы, которые убежали от японцев, чтобы те их не убили, а вовсе не мертвые предки жителей Мовеаве, как говорил Мириа. Их, жителей Мовеаве, просто пытались обмануть, чтобы они не узнали о войне слишком много.

— А знаешь, Меравека, я рад, что побывал в Бульдого, — сказал Хоири. — Так приятно бывает, когда ты очень хочешь чего-то и наконец этого достиг.

— А я только и получил что боль в лопатках и пояснице.

— У меня тоже болят лопатки, но это ерунда: самое главное, что я смог поговорить по-английски — не зря меня учили этому языку в миссионерской школе.

Меравека кивнул в знак согласия, несмотря на то, что познания двоюродного брата вызвали у него некоторую зависть. Но тут он вспомнил, как полагается разговаривать в ночное время: ни кивать, ни качать головой в темноте не следует.

— Да, тут ты прав. Не будь с нами тебя, все было бы по-другому.

Меравека считал, что должное двоюродному брату он этими словами воздал. Больше сказать ему было нечего, он и так уже повторял много раз: как повезло Хоири, что тот хоть немного, а выучился в школе говорить по-английски. Он повернулся и пошел к хижине одного из родственников. Как и у большинства хижин в селении, у нее наверху перед входом была открытая площадка. Вслед за ним туда пришел и Хоири. Свет от очага внутри хижины про-

бивался через щели и освещал их спины. Вскоре на площадку начали подниматься и другие мужчины.

Хоири рассказал все, что запомнил из сказанного мистером Брауном.

— Японцы, видно, очень плохие люди, — добавил он потом, — но на нас они не сердятся, они сердятся на австралийцев. Почему они решили воевать с австралийцами на нашей земле, я так и не понял. Еще мистер Браун сказал: если победят японцы, мы потеряем нашу землю и огороды. По-моему, это очень несправедливо — ведь мы-то воевать не хотим.

Мимо проходил человек много старше Хоири. Он остановился и дослушал Хоири до конца.

— Что, по-твоему, нам теперь нужно делать? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Хоири.

Такой вопрос, прежде чем на него отвечать, следует хорошенько обдумать. Надо, чтобы ответ не уронил тебя в глазах других.

— Я знаю только то, что нам говорил австралиец, когда мы спускались вниз по реке. Он говорил, что мы должны помочь австралийцам победить — должны, то есть если хотим, чтобы наша земля, женщины и дети остались у нас.

Старик вздохнул, влез на площадку и уселся рядом с Хоири.

— Да ты, кажется, и впрямь поверил ласковым речам этого белого человека? У тех, кому приходится туго, речи всегда сладкие. Послушай-ка ты меня и поверь мне: твой отец и мы, его ровесники, знаем австралийцев лучше. Сколько мы потели под палящим солнцем, как гнули спины, сколько унижений перенесли с тех пор, как к нам пришли эти люди с кошачьими глазами! И что мы за все это получили? Они только и ищут повода засадить нас в тюрьму, чтобы мы бесплатно на них работали. У нас не осталось больше никакого достоинства, совсем не так, как было в дни нашей молодости — тогда мы сами решали, что нам делать. А сейчас нельзя даже посидеть поговорить по-человечески. Среди нас больше не осталось мужчин, теперь мы женщины, выданные замуж за белых людей. Стоит им только поманить нас своим белым пальцем — и мы бежим к ним наперегонки.

Молодые заговорили между собой приглушенно, но взволнованно: так вот, значит, как они, темнокожие, живут на самом деле! Им это никогда и в голову не приходило. До сих пор они как бы плавали поверху, а что происходит ниже, в глубине, не видели. Верили глазам, которые на лице, а то, о чем говорит сейчас старик, видят глазами, которые в голове.

— Если так пойдет дальше, то они прикажут нам есть дерьмо, и мы станем, — сказал Хоири.

Никого смешить он не собирался, но вокруг зафыркали. Да, никто не знает, что сулит будущее, однако выбора у них нет — в этой войне надо помогать Австралии. Никто не стал спорить, когда тот же самый старик сказал: он да и другие готовы пойти носильщиками, если понадобится Австралии. Но если придется воевать по-настоящему, если им дадут винтовки, они, пожалуй, продырявят белого человека — пусть его гордая кровь напоит корни деревьев. И как раз таким людям, как этот старик, и решать, каким путем идти селению. Обрушатся ли на Мовеаве силы природы, или волна за волной пойдут воины из соседних деревень — именно такие, как он, окажутся сваями, на которых стоит селение. И дух — покровитель рода всегда поможет им принять такое решение, которое будет всего правильней.

Утро уже кончилось. Хоири положил надлокотный браслет, который делал для младшего Севесе, на пол. Слишком долго старался он не обращать внимания на боль в шее и пояснице, и боли не стало — вместо нее теперь ощущалось какое-то онемение. Он потянулся, а потом повалился на спину и стал смотреть, как по небу над ним пробегают, спеша куда-то, облака. И ведь как интересно, повадками они во многом похожи на людей: путешествуют не в одиночку, а кучками, некоторые кажутся важней других и плывут над остальными. Может, те, что потемнее, старейшины родов и решают, как следует поступать другим, белым и кудрявым, которые движутся под ними. Похоже даже, что облакам, как и людям, тоже бывает нелегко, иначе почему бы им время от времени ронять слезы? Но насколько лучше было бы, если б и люди, как облака, шли все в одну сторону!

Многоголосым хором залаяли и завyli собаки. Наверно, кто-то пришел в селение — скорей всего белый человек. Хоири встал, убрал браслет, который делал, и спустился вниз.

Впереди полицейских шел белый человек, которого в Мовеаве до этого никогда не видели. Он был в полтора раза больше обыкновенного человека. Когда он делал шаг, полицей-

ские делаи два. В правой руке у него была палка, она ему служила как бы третьей ногой. По дыркам, которые она оставляла в земле, было видно, какой этот человек тяжелый. Голова будто не его — такая маленькая по сравнению с телом. Из-под кустистых бровей поглядывали то в одну сторону, то в другую два холодных голубых глаза, под носом лохматились густые неужоженные усы, и от всего этого человек казался сумрачным и жестоким.

— Вы, конечно, уже слышали об АНГАУ²,—заговорил он через переводчика.—Меня зовут мистер Хилл. Я офицер АНГАУ. Начальников патрулей, помощников начальников округов и начальников округов больше нет — вместо них будет теперь АНГАУ. Приказы вам отдавать буду я. Знаю я о вас достаточно. Поступайте, как я скажу,— и все будет хорошо. Своевольничать не советую, АНГАУ этого не потерпит. Если кто-нибудь из вас мне не верит, пусть попробует что-нибудь выкинуть — например, убежит. Вот тогда вы узнаете, чем это кончится. Не говорите потом, что я вас не предупреждал!

Не прошло и месяца, как в Элопэ, месте, выбранном для базы АНГАУ на реке Лакекаму, был расчищен большой участок земли и выстроено много домов. Там, где прежде вилась узенькая тропинка, проложили дорогу, связавшую базу с католической миссией в Терапо, на берегу Тауре.

Плести бири³ пришлось женщинам. Так напряженно работать им до этого не приходилось еще никогда. Мужчины не жалея сил, обливаясь потом, сбивали каркасы домов. Но пусть работы было слишком много, пусть им, и мужчинам и женщинам, приходилось спешить—они могли помогать друг другу, и это было самое главное.

Каждый день дрожала земля — это к Элопэ подходили с низовьев моторные баржи. Кроме солдат, баржи привозили сухое печенье и мясные консервы. Печеньем и консервами платили за полосы бири, которые приносили женщины: за десять полос длиною в восемь—десять футов каждая давали банку мясных консервов и пять пачек печенья. К концу дня люди возвращались в Мовеаве.

Хоири поступал, как все остальные,—большую часть заработанных консервов и печенья оставлял для своего сына Севесе. Сбереженное он отдавал Суаза, и та делила так справедливо, как могла, между всеми детьми в семье. Но маленький Севесе получал печенье и из другого источника: его приносил также дедушка в награду за кокосовую скорлупу, которую внук собирал для него каждый день, — ею, чтобы согреться ночью, старик топил свой очаг.

Суаза почти не выходила из дому: ведь надо было, пока муж учит детей в маленькой католической школе, заботиться о его желудке. От работы для АНГАУ он был освобожден, как и местный учитель, служивший в миссии Лондонского миссионерского общества.

В этот вечер объявили, что рано утром все носильщики должны быть уже на ногах. Их разделят на две партии — одна, из мужчин помоложе, поплывет в Бульдог и оттуда понесет для солдат грузы в Вау и Булоло, а мужчин постарше отправят в Кову, и там они будут делать саго и кормить носильщиков и всех прочих, кто работает для АНГАУ.

— Ты ведь будешь заботиться о нем как о собственном ребенке — правда, будешь? — сказал, едва сдерживая слезы, Хоири. Маленький Севесе крепко спал у него на плече.—Если вдруг что-нибудь со мной случится, перемени ему имя — дай мое.

— Уповай на бога,—сказала Суаза.—Он все видит и слышит. Благодаря ему восходит и заходит солнце, и это от него белые люди узнали, как делать свое страшное оружие, которым они воюют. Молись ему, когда будет трудно, и он тебя защитит. Мы, те, что здесь останемся, будем поминать тебя в наших молитвах.

Она взяла спящего мальчика у его отца, но тут сотряслась земля и со стороны Элопэ раздался громоподобный звук. Над головой что-то пронзительно просвистело — над ними пронесся и скрылся где-то за селением огненный шар. Все, взвалив спящих детей на плечи, бросились вон из хижин. Люди успокоились, только когда члены совета объяснили: это АНГАУ показала свою силу. АНГАУ выстрелила из своей большой пушки на колесах, и надо радоваться, что эта большая пушка АНГАУ совсем недалеко от них, в Элопэ,—она защитит их от японских самолетов.

² АНГАУ — вспомогательные военные формирования, созданные австралийцами во время второй мировой войны на той части Новой Гвинеи, которую они контролировали.

³ Бири — материал, из которого папуасы делают крыши своих жилищ.

Хоири сидел на том же мешке риса, который последние два дня, с тех пор, как баржа отплыла из Зопоа, служил ему и сиденьем и постелью. Рисунок редины отпечатался у него на ляжках и ягодицах. На мешке написано: «Сделано в Австралии» — и те же слова написаны на всех до единого мешках и ящиках, которые он видит со своего места. На некоторых ящиках написано черными чернилами: «Бернс Филп» — да ведь он, когда был в Порт-Морсби, заходил в магазин с этим названием!

— Эй, приятель! — сказал австралийский солдат.

Солдат сдвинул на затылок шляпу и подставил солнцу круглое молодое лицо. Из-под шляпы на лоб вывалились золотые волосы.

— О чем грустишь? А ну-ка подсаживайся. Сигарету хочешь?

Хоири посмотрел в лицо солдату, потом на его глаза. Так близко глаз австралиец он не видел еще никогда — и он отодвинулся немного назад.

— Да ты что, испугался меня? Ведь наверняка ты видел белых людей и раньше!

Что делать? Хотя он, Хоири, не курит, отказываться нехорошо — ведь это подарок. Меравека и остальные односельчане стали говорить, чтобы взял.

— Спасибо, сэр.

— Нет, вы только послушайте! — воскликнул молодой солдат, поворачиваясь к товарищам.—Оказывается, эти парни вовсе не такие дикари, как мы думали,—у них хорошие манеры! — А потом, снова повернувшись к Хоири, сказал: —Между прочим, не надо называть меня «сэр». Меня зовут Уильям, а друзья называют просто Билл. А как зовут тебя?

— Хоири.

— Как-как?

— Хоири.

— Хо-и-ри?

— Да, сэр.

— Да нет же, не «сэр»—Билл! Эй, ребята, этот парень не только вежливый—он понимает, что я ему говорю!

Лица у остальных солдат посветлели, будто засветились неярким светом,—так бывает, когда знающий человек говорит: «Этого сделать нельзя, не получится», а ты взял и сделал. И сержант, который был с ним на борту баржи, тоже смотрел на Хоири и на солдата с одобрением, хотя и немного напряженно.

— Ну, может, Билл, они и не все такие, как парень, с которым ты разговариваешь,—сказал он.—Может, он просто один из тех немногих, кому посчастливилось учиться в миссионерской школе. Но вообще-то такие знакомства могут пригодиться. Без помощи местных армии придется туго.

Теперь с Хоири заговорили и другие солдаты. Так, значит, не у всех белых людей сердце из камня? Но как такое возможно, почему эти солдаты так непохожи на других белых людей, на тех, что служат в администрации?

— Вы... из Австралии? Или из другой страны?

Билл снял шляпу и показал слово на кокарде.

— Откуда же еще? — удивился он.—Самые настоящие австралийцы, чистойшей воды.

— Но... вы почему-то добрые, а другие австралийцы, в администрации, нет.

— Не знаю, почему это так. Наверно, слишком долго жили у вас и распустились. Мы солдаты. Сегодня мы живы, а завтра... Мы не думаем о том, как стать большими начальниками. Сегодня мы живы — и радуемся, потому что завтра нас, может, уже и на свете не будет. Вы понесете эти тяжеленные мешки риса и ящики с консервами для того, чтобы мы могли жить и воевать. Японские пули и бомбы могут убить и вас, поэтому нам надо быть друзьями.

Глубокий, похожий на барабанный бой шум мотора превратился в ровное гуденье: баржа повернула к берегу. Четыре другие уже причалили. Солдаты вскинули вещевые мешки себе на спину—и вот они уже смотрят на сержанта и ждут приказаний. Значит, им, носильщикам, тоже нужно собрать немногие вещи, которые у них есть, и смотреть внимательно на полицейских: наверно, те скажут, что еще нужно делать. Не забыть бы старое одеяло! Хоири засунул его концы под мышку. Отец, правда, говорил, что АНГАУ или армия выдадут им, носильщикам, по одеялу и свитеру,—вот хорошо было бы! Какой холодный туман! И густой—даже верхушек деревьев не видно.

Сержант будто пролаял что-то, и солдаты вскочили и вытянулись.

— Наверно, нужно напомнить вам всем о необходимости следовать правильной линии поведения,—заговорил сержант.—Ни в коем случае армия не хотела бы испортить отношения с АНГАУ. Что там ни говори, а именно благодаря АНГАУ мы получили носильщиков, этих наших темнокожих братьев. Общаясь с носильщиками, вы должны быть крайне осторожны. Мы не должны сердить АНГАУ.—И сержант показал на офицеров в форме АНГАУ и на шеренгу полицейских там же, на берегу.—Я вам все сказал.

В Бульдог прибыл на барже первый груз бири. На каждой полосе бири было написано имя той, кто ее сплела, и все мужчины из Мовеаве, которым довелось сгружать бири и переносить к строительной площадке, перебирали полосы: не попадет ли среди множества имен имя какой-нибудь их родственницы? Как обидно: имени тети Суаза нет нигде и имен двоюродных сестер тоже. Может, у АНГАУ нашлось для них другое занятие и они бири не плетут? Хорошо все-таки, если женщины делают что-нибудь, иначе маленькому Севесе не видать ни мяса, ни печени.

Следующая баржа, которая доставила им бири, повезла назад в Эопоз посылку для Севесе — мясо и печень, которые он, Хоири, оставлял специально для него. Наверно, ему так и не узнать, получит Севесе их или нет. А если даже узнает, что Севесе их не получил, поднимать шум из-за пропажи все равно бесполезно. Ну ладно, хорошо хоть, что вообще удалось отправить посылку малышу.

А вот проснулся Меравека, приподнялся, сел и жмурится. Из рта у него идет пар — будто костер разожгли в желудке и теперь оттуда валит дым. Над головой висит туман, будто опирается, как на сваи, на деревья вокруг лагеря и на тонкие дымки от головешек в кострах, которые разожгли перед сном. Вокруг костров лежат люди почти вплотную друг к другу, ногами к огню, и руки у всех спрятаны под мышками. Если посмотреть со стороны, то люди — прямо как спицы в колесе, а тлеющие угли — это докрасна раскаленный конец оси. А может, оно и вправду так и эти спящие люди и на самом деле всего лишь спицы в большом колесе событий, которое укатило их далеко от их жен и детей?

— Что это ты поднимаешься в такую рань, Меравека? Все еще спят.

— Вы только послушайте его — можно подумать, он лежит в злаво в родном селении. Встал бы лучше да посмотрел, кто устроился около нашего костра.

Какой-то человек поднялся — видно, услышал, как они с Меравекой разговаривают.

— Я из Ороколо, — сказал он им. — У костра моих земляков места не оставалось, вот я и лег ночью около вашего.

— Ничего страшного. Времена сейчас трудные, надо помогать друг другу — может, тогда станет хоть чуточку легче жить.

Ой, как больно Меравека его ущипнул!

— Что такое?

— Посмотри туда, куда я, — прошептал Меравека. — Вон туда, через два костра, — человек там вешает над огнем котелок. У него большущий шрам на спине. Видишь?

— М-мм... да, на той же самой стороне спины!

— Ну, теперь надо быть настороже, — сказал Меравека. — Он и его друзья знают, что мы здесь. Нам с тобой надо все время держаться вместе.

У Хоири вдруг появилось неприятное чувство в голове и поползло вниз по позвоночнику. Будто раскроили голову чем-то тяжелым, а потом стали лить внутрь ядовитую жидкость.

— Ну нет, пусть остерегается он! Сам пришел сюда за наказанием.

— Помни, сейчас время военное, разбираться не будут, — сказал Меравека, — мы и оглянуться не успеем, как нас расстреляют. И не забывай: наши с тобой отцы трудятся для бога уже давным-давно, еще с тех пор, когда нас и на свете не было. Мы должны прощать наших врагов. Когда он умрет, бог сам его накажет. Жаль только, нас там не будет и мы не увидим, как он получит свое. Что нас там не будет, я все-таки надеюсь! Ой, вспомнил сон: я видел, будто ты упал с дома, который мы сейчас строим, и разбился насмерть.

— Что это значит, как по-твоему? — встревоженно спросил Хоири.

— Не знаю, — ответил Меравека. — Или на самом деле кто-нибудь упадет и убьется, или случится какая-нибудь другая беда. А может, и ничего не произойдет. Но все равно я бы на твоём месте постарался получить работу не выше чем в двух футах над землей.

Дорога туда, где они работали, шла мимо солдатских палаток. Билл, солдат, с которым Хоири и Меравека подружились на барже, увидел, что они идут, быстро схватил и завернул в бумагу банку фруктовых и банку мясных консервов и швырнул сверток на тропинку так, чтобы он упал немного впереди них. Увидев, что Билл бросил сверток, Хоири поднял его и сунул под мышку. Только тогда Билл вернулся к своей работе — он начищал пряжку на ремне. Но тут же недалеко от палатки раздался окрик, резкий, как удар хлыста:

— Эй, канака! Пстой! Ну-ка покажи, что это за симпатичный сверточек у тебя?

Хоири попытался, чтобы в него не уперся жезл, который торчал на фут вперед из-под левой руки офицера АНГАУ. Офицер развернул сверток, и лицо его осветила торжествующая улыбка.

— Воруешь, значит, у руки, которая тебя кормит? У, выколоть бы тебе твои нена сытные глаза!

Хоири пригнулся, испугавшись, как бы офицер и в самом деле не выполнил своей угрозы.

Глядя на все это из-за палатки, Билл думал: «Чёрт побери, ну почему он не скажет, что консервы ему дали?»

По приказу офицера Хоири стал подавать с земли строительные материалы наверх. Работа эта опасная: то, что ты подаешь, может скатиться сверху тебе на голову.

Рядом с Хоири работал Лохоро, человек, который перебрался ночью к костру Хоири. В нём было что-то непонятное, такое, что трудно выразить словами. Лохоро был невысокий и плотный. Сперва, глядя на него, Хоири подумал, что этот человек, наверно, старше его всёго на несколько лет: кожа у него под глазами и на щеках тугая, не свисает складками. Но потом Хоири заметил, какая грубая кожа у него на ладонях и как непомерно раздуты суставы его пальцев. Голову Лохоро венком окружали седые волосы. Возраст Лохоро выдавала также его осторожность: то и дело он говорил Хоири, чтобы тот отошел в сторону, и все время проверял, надежно ли увязаны связки строительного материала, которые они передают наверх. Если Хоири не знал, как сделать что-то, Лохоро ему помогал советом.

— Ты молод, — сказал Лохоро, когда они с Хоири сели ненадолго передохнуть, — тебе надо работать осторожней. Я бы не хотел увидеть, как ты умираешь: ведь у тебя, наверно, есть семья, есть к кому вернуться, когда все это кончится. А вообще-то носить грузы солдатам. — дело для людей твоего возраста, а мое место в деревне, работать на огородах и ходить за свиньями.

Хоири слушал его, как слушал бы собственного отца, и Лохоро стал рассказывать ему то, чего сначала рассказывать не хотел.

— Когда помощник начальника окружного управления сказал, что мы отправимся в Керему, — начал он, — я решил убежать в лес. Потом стал говорить священник, и я передумал. Священник напомнил историю про Моисея, как тот повел людей в землю обетованную. Из двенадцати, которых вел Моисей, шесть делали то, что он им велел, а другие шесть поступали по-своему. Священник сказал: если мы будем поступать, как нам велят, мы вернемся благополучно к своим семьям. Но в Кереме мы узнали, что нас отправят еще дальше, в Порт-Морсби. Тогда я и еще несколько односельчан убежали и вернулись к себе в деревню. За это на нас надели наручники, приковали нас друг к другу, провели по деревьям морского берега, а потом стали бить всех одного за другим на сорокачетырехгаллонной железной бочке, внутри которой горел огонь. Тех из нас, кто помоложе, отправили после этого пешком в Каируку, а оттуда на судне их должны были отвезти в Порт-Морсби. Судно, которое должно было доставить нас туда еще раньше, уже уплыло. Меня отправили сюда.

Хоири было очень интересно, ему захотелось узнать о Лохоро как можно больше. Он проработал с ним уже несколько часов, а было чувство, что он только что его увидел. Расспрашивать Лохоро было неудобно, а может, даже и жестоко: может быть, у него есть жена и дети, а может, его жена умерла и о детях заботятся его родственники.

— Окажись я в таком положении, я, может, сделал бы то же самое, — сказал Хоири. — Еще неизвестно, силен ли я духом, это надо проверить. Если окажется, что духом я слаб, то, что ты мне рассказал, станет для меня, быть может, единственным утешением.

Внезапно они услышали странное шипенье, и оба обернулись. Змеи нигде видно не было, но теперь они слышали потрескивание разгорающегося лесного пожара, и лагерь еще не успел понять, что случилось, как совсем низко, прямо над головой, зарокотал «зеро»⁴. Люди бросились врассыпную. Но едва рев моторов стих, как крылатый дьявол вернулся снова. Из-за кустов, где прятался, Хоири увидел, как со свистом падает что-то круглое, а потом еще такое же и еще. Словно боясь наказания, как будто он увидел такое, на что смотреть нельзя, Хоири зарылся лицом в землю. Он заткнул уши пальцами, но все равно слышал звук, похожий на гром, и земля под ним сотряслась. Раздались жалобные крики — так кричат те, кому очень больно. Больше самолет не вернулся. Убит был только один человек, житель деревни Хеатоаре.

Хоири и Меравека обнялись и поблагодарили бога за то, что он сохранил им жизнь. Во всем виноваты австралийцы: если бы они ходили в рубашках, бомбежки бы не было. Японцы не сбросили бы бомб, если бы видели только темнокожих. Как грустно, что от бомб погиб темнокожий, — ведь предназначались они австралийцам!

Офицер АНГАУ объявил: носильщики отправляются в путь. С каждой партией пойдет полицейский — следить, чтобы из груза, который они понесут, носильщики ничего не украли. Тех, кто все же что-нибудь украдет, ждет суровое наказание; на пути к Вау и Лаз будут пункты, где проверят, целы ли грузы.

С тюка каждого из носильщиков свисала и раскачивалась на ходу пустая консервная банка из-под лососины. Она служила разом и меркой, и котелком для готовки, и тарелкой. Рис выдавали вечером, но только половину порции можно было сварить перед сном, больше в консервную банку не входило — ведь рис, когда его варишь, разбухает.

— Стоит ли возиться с рисом, варить его после целого дня пути, когда у тебя ноги отваливаются? — сказал двоюродному брату Хоири. — Несвежий рис в животе по утрам не очень-то помогает тащить тюки.

— Да и мяса или рыбы нет у нас, чтобы добавить в этот рис, — сказал Меравека. — Ну что ж, будем есть печенье. Кстати, насчет рыбы: что ты скажешь о том ящике вон у того носильщика?

Но нет, расставаться двоюродным братьям не хотелось. Они давно уже решили: разлучить их может только болезнь. Воровство поводом для этого стать не должно.

На каждом проверочном пункте тюки взвешивали. Через день после того, как один из этих пунктов остался позади, человек, который нес ящик рыбных консервов, начал жаловаться, что несколько банок исчезло.

— Вы воруете, а что будет со мной, когда начнут проверять? Взвешат мой ящик и увидят, что он легкий, а потом вы все сядете так, будто вас это не касается, и будете смотреть, как меня бьют!

Он уже кричал, и по щекам его в два ручья текли слезы.

— Не воруйте у меня больше, очень вас прошу! — говорил он сквозь рыдания.

Хотя Хоири и Меравека сами из его ящика не воровали, все равно им было стыдно: ведь когда их угощали тем, что было в банках, они не отказывались! Сколько ни обещай они теперь, что не возьмут больше ни кусочка ворованной рыбы, сделанного не воротишь — они виноваты тоже.

Полицейский, который вел партию, не скрывал, что никакого сочувствия к человеку, который несет рыбу, он не испытывает.

— Перестань кричать, — приказал он. — Эта война не наша, это война белых людей. Если наши люди голодные, пусть едят.

Когда все поднялись на ноги, чтобы отправиться дальше, человек, который нес ящик с рыбой, бросил его на землю и убежал.

Тропинка поднималась все выше и выше, в самые облака. Днем, в пути, носильщики судорожно ловили ртом воздух — теперь его не хватало, а тюки стали вдвое тяжелее, чем тогда, когда они только начинали с ними свой путь. Ночами у носильщиков мерзли руки и ноги. Огородов кукукуку больше не было, неоткуда было воровать овощи и плоды. Когда дорога начала, петляя, спускаться вниз, люди приободрились. Они бы рады были идти быстрее, но не могли — не давали израненные ноги и дизентерия. В Вау и Булово местные живе-

⁴ «Зеро» — марка японского военного самолета.

ли дали им овощей и плодов. До этого почти никто из носильщиков на севере еще никогда не бывал. Подходя к Лаэ, люди впервые увидели «море той стороны» — воды залива Юон. В память об этом они сложили песню, ее поют и по сей день:

Старшие братья дружат со старшими братьями,
 Младшие братья дружат с младшими братьями.
 Старшие братья дружат с младшими братьями,
 Младшие братья дружат со старшими братьями.
 Трудные времена сводят их вместе.
 Белый человек ведет на нашей земле свою войну —
 Так приказали ему его король и королева.
 Мы не хотим помогать ему, но ничего не поделаешь — приходится.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Снаружи было темно. Совсем рядом, так близко, что можно было добросить камень, ударили в береговую линию городка Лаэ волны залива Юон, взбиваемые в пену крепким восточным ветром. Они с размаху хлестали по песку, по стволам деревьев, которые выбросило море, и по всему прочему, что оказалось на берегу. Иногда, когда волна разбивалась об обломки какого-нибудь японского военного корабля, слышался глубокий и гулкий звук: бум-м. В свою первую ночь в Лаэ носильщики, слыша этот звук, выскакивали из палаток: они думали, что это стреляет с берега большая пушка. Потом они не удивлялись, что новички в лагере, услышав этот звук впервые, бросаются прятаться в кусты.

— Нам повезло, что у тебя так хорошо работает голова, а то бы мы так и сидели в этой палатке без света, — сказал Меравека.

Он говорил, а руки его перетирали табак, превращая его во все более и более тонкую пыль. Из угла рта у него свисал кусок папиросной бумаги.

— Ты это о чем? — спросил, не поднимая глаз от игрушечной лодки, которую мастерил, Хоири.

— Да об этой пустой консервной банке из-под мяса, вот о чем. Не придумай ты проделать в крышке дырку и не сделай фитиль из полоски твоего старого одеяла, у нас здесь, в палатке, не видно было бы ни зги.

— Да, но хоть я это и придумал, если бы американцы нам не дали керосина, ничего бы не получилось.

Казалось, будто лица у обоих испачканы грязно-красной краской. В колеблющемся свете керосинового светильника очертания их тел, да и всего в палатке непрерывно менялись. Можно было подумать, будто светильник отделяет от остальной стена льющейся воды в фут толщиной.

— На-ка, сделай себе самокрутку и дай рукам отдохнуть, — сказал Меравека. — Я знаю, ты не куришь, но уж очень хороший вкус у этого табака в железных банках, которые дают нам американцы. Он лучше того, которым нам платили за работу австралийцы.

— Откуда, интересно, ты это знаешь? Не видел ни разу, чтобы ты курил австралийский табак. А вообще-то, может, мне и в самом деле попробовать научиться курить? Когда вернемся домой, снова придется быть носильщиками у чиновников администрации, а те будут платить нам скрутками табака и спичками. А правда, мысль хорошая: все, что получу за работу, я смогу прокуришь!

За первую же игрушечную лодку, которую смастерил Хоири, ему дали пять фунтов. Другой американец тоже захотел для себя такую же и подарил Хоири складной нож. Этим ножом Хоири начал делать также луки и стрелы. Другие носильщики вырезали на кусках дерева, выброшенного на берег, традиционные орнаменты.

От американских солдат вернулся, приплясывая от радости, старик носильщик: из дырки в мочке правого уха у него торчала плотно скрученная в трубочку красноватая бумажка. Он обежал, пританцовывая, вокруг стоявших, а потом вытащил бумажку и развернул.

— Посмотрите, что мне дали за маску для танцев, — гордо сказал он, размахивая банкнотой. — Вам за ваши лодки и луки давали только синие!

Он подошел к Хоири и протянул эту бумажку ему.

— Скажи, сынок, что на ней написано?

Хоири и самому было любопытно; таких бумажных денег он не видел еще никогда.

— Тебе очень повезло, старик, — сказал он. — Это десять фунтов.

— Да ну? Правда? А в какую палатку ты отнес свою маску? Какому солдату продал? — ссыпались вопросы со всех сторон.

— Ее купил у меня чернокожий американец, такие себя называют неграми, — ответил важно старик.

— Что ты говоришь! Неужели? До этого все, что мы вырезали, у нас покупали только белые американцы, — раздался вокруг удивленные голоса.

— Вот видишь, ты ошибаешься, — торжествуя сказал старик, повернувшись к своему товарищу по палатке. — У этих негров денег столько же, сколько и у белых солдат. Наверно, они все богатые, все, кто живет у них в стране. Ведь они не жалея дают нам пищу и всякое другое, не то что австралийцы: украдешь какую-нибудь паршивую банку рыбных консервов — отвалят тебя за это палкой по заднице так, что потом не сядешь.

— Попридержи язык. — предостерег его кто-то, — услышат австралийцы, так тебе потом сидеть будет не на чем. Тебе придется хуже, чем нам, — вон ты какой худой!

Вокруг захохотали. Старику шутка тоже понравилась.

— А я не такой глупый, как кое-кто из вас, молодых: узнай я, что меня будут бить, сразу бы надел под рами мешок или еще что-нибудь.

— Я как раз был в Эпоэ — ждал, когда меня отвезут в Бульдог, — заговорил один из носильщиков, — и туда привезли тех, кто убежал, когда на Бульдог упала первая бомба. Их стали бить на сорокачетырехгаллонной бочке, и если тебя будут бить так, как били их, хитрость твоя тебе не поможет — тебя заставят снять все, что на тебе есть.

Снова поднялся веселый смех. Старик ничуть не обиделся, наоборот, он был доволен, что молодежь смеется: как-никак долгий путь из Бульдога был нелегок. Он показал на того, кто только что говорил, и сказал громко:

— Уж если я доживу до такого позора, что на глазах у вас меня будут бить, попрошу американцев, чтобы они увезли меня с собой.

— Зачем американцам такой старик? Уж если и ехать кому, то нам, молодым.

Какое-то непонятное очарование было в песчаном берегу, бухтах, мысах, горах и деревьях, которые они видели здесь вокруг. Теперь они убедились сами, что места эти вовсе не отдельный остров, как они думали раньше. Люди здесь совсем такие же, как они, — жуют бетель и едят саго. Но непонятно, почему у моря такой странный цвет, а луна и солнце поднимаются из воды не как дома — там они выходят из-под земли. Некоторые сразу решили: когда в стране снова наступит мир, они вернутся сюда, в Лаэ.

Хоири сидел лицом к морю, обхватив руками колени и уткнувшись в них подбородком. Отсюда море казалось плоским, как лепешка. Лицо его обдувал легкий утренний ветерок, ветерок этот нес с собой отрезвляющий запах морских водорослей и зловоние выброшенных на берег раковин и мертвых кораллов. Он чуть повернул голову — и теперь он смотрел прямо на солнечную дорожку, на серебристые блески, пробегающие по зыби зеленых волн; и только тут он понял, что море совсем не такое плоское, как сперва показалось.

Но сейчас Хоири не отдавал себе отчета в том, что у него перед глазами. Они, его глаза, словно обрели колдовскую силу: они видели сквозь стволы деревьев, сквозь пустые бочки из-под горячего, стоявшие рядами, сквозь голову Меравеки. Но вот приблизить горизонт хотя бы совсем немного он не мог. Раз или два Меравека на него покосился: что это с Хоири? Смотрит на него, Меравеку, прямо в упор. Он отложил в сторону палку для ходьбы, которую вырезал, и тоже посмотрел Хоири в лицо. Оно не изменилось. Тогда Меравека кашлянул.

— Ой! — Хоири даже вздрогнул и тряхнул головой, будто хотел что-то от себя прогнать.

— Я смотрел на тебя — по-моему, ты замечтался, — сказал Меравека.

— Задумался о нашем старом Севесе. А знаешь, носильщики, которые прибыли вчера, наверно, говорят правду: теперь, когда пришли американцы, Севесе и остальным, кого отправили в Кову, не нужно больше делать саго для АНГАУ. А это значит, что теперь вместо этого им приходится работать носильщиками.

— Я бы не стал тревожиться о здоровье старика — он не такой старый и слабый,

как некоторые его друзья,— отозвался Меравека.— Я никогда не слышал, чтобы он кашлял, и он не курит.

Но Хоири тревожило не это. Прошла молва, что скоро в Лаэ приплывут огромные американские корабли и отвезут носильщиков на другую сторону острова, домой. Хоири боялся, что это случится до того, как сюда, в Лаэ, прибудет его отец.

По носильщикам, которые пробыли в Лаэ дольше других, было видно, как меняют людей регулярные завтраки, обеды и ужины из мясных и рыбных консервов и риса; и пока у них водились сахар и чай, огонь в очаге на кухне не угасал. Старожилы были совсем не похожи на новоприбывших; у старожилы круглые щеки, большой живот, кожа лоснится, у новичков — запавшие глаза, острые скулы, волосы свалились, ногти на пальцах ног обломаны.

Выбрав минуту, когда в палатке никого не было, Хоири пересчитал деньги, которые он получил за свои поделки. Когда он досчитал до пятидесяти, лицо его осветила довольная улыбка. Снаружи слышались шаги, и он быстро спрятал деньги назад в мешочек, где их держал, потом надежно привязал его к поясу и начал подметать пол. Вдруг брезент у входа откинулся, и он увидел перед собой Меравеку, чем-то очень взволнованного.

— Что ты зря тратишь время — подметаешь в палатке? Прибыла последняя партия носильщиков, нас всех могут вот-вот отправить!

— Но как? Больших американских кораблей пока еще нет.

— Офицер АНГАУ говорит, что приплывут сегодня вечером. Но у носильщиков, которые прибыли, есть для нас новости: уже много времени как наш отец простудился и тяжело заболел и его отправили на носилках назад в Бульдог.

Прислонившись к главному столбу палатки, Меравека смотрел, как его двоюродный брат медленно опускается на постель. Перед этим он долго думал, как сообщить Хоири эту печальную весть, но так и не придумал ничего путного. Все равно лучше, что дурную новость Хоири узнал от него, а не от кого-нибудь другого. Помолчав, Меравека продолжал:

— А теперь я тебя обрадую: того, с большим шрамом от топора на спине, в живых больше нет. Он и другие беглецыплыли ночью вниз по реке в украденной лодке, и полиция стала в них стрелять. Белая рубашка была на нем одном — попасть было легко.

— Боюсь, что этот ублюдок, раз его убили, попал на небо, а может, и не попал, может, это ничего не значит. Главное, что он мертв и теперь я могу больше о нем не думать.

Только в историях, которые рассказывали им деды, кокосы появляются там, где никогда кокосов не было, из моря вырастают за одну ночь острова, а спящих, не будя их, переносят в далекие чужие земли. Но сейчас, в это ослепительно яркое утро, такое происходило на самом деле. Множество глаз смотрело, как с горизонта приближается темно-зеленый остров. Из самого высокого места на этом острове поднимался густой черный дым и тянулся по небу волнистой линией — будто карисовали углем огромную змею. Остров придвигался ближе и ближе, вот он уже у самого берега — и тут словно для того, чтобы проглотить тех, кто стоял на берегу и на него смотрел, остров разинул пасть. Челюсти у людей отвисли, а глаза, казалось, еще немного — и выскочат из орбит. Никогда в жизни не видели они таких огромных кораблей, как этот.

— Ну какого дьявола вы, канаки, стоите и глазееете? Пошевеливайтесь! Вот корабль, который вам обещали. Он вас всех разом проглотит и отвезет в ваши проклятые края.

Да, корабль был огромный! И он показался еще огромнее, когда люди, которые на нем приплыли, выжили на палубу: любой был не больше среднего пальца руки. И все равно, неужели он сможет забрать их, носильщиков, всех за один раз? Ведь их собралось здесь столько, сколько бывает народу в большом селении, только люди говорят на многих разных языках. Несмотря на разноязычие, поступали и чувствовали все они одинаково, как будто это был один большой человек,—так крепко связали их воедино обстоятельства, разлучившие их с женами и детьми. Они стояли особняком, были сами по себе, точно так же как стояли особняком полицейские, солдаты, офицеры АНГАУ и американцы.

Люди выходили из палаток, нагруженные кусками водопроводных труб, мотками проволоки и консервными банками, в которых они варили себе чай и рис. Звон стоял оглушительный, такой, что мог бы разбудить мертвеца. В нем тонули шум корабельных двигателей и голос офицера АНГАУ, который кричал, надрываясь, в мегафон:

— ...плату за работу... деньги за помощь, которую вы оказали...

Гомон и топот ног мгновенно оборвались.

— Так и думал: как услышите слово «деньги», сразу все замолчите.— Голос, раздававшийся из мегафона, теперь был полон презрения.— Вы доказали свою верность, хорошо послужили вашей администрации. Король вами доволен. Начальники управлений в ваших округах заплатят вам за вашу службу. Ну а теперь, прежде чем вы взойдете на борт, оставьте проволоку и остальное, что подобрали, здесь, на берегу: все это принадлежит администрации.

С каждым словом, слетавшим с поджатых губ офицера, страх, который испытывал Хоири, увеличивался. Рука все сильнее сжимала мешочек, так крепко привязанный к его поясу. «Господи, сделай, пожалуйста, так, чтобы офицер не сказал о том, что лежит в этом мешочке», — начал молиться он про себя. Такую молитву наверняка возносил к небу не он один — вокруг было много других встревоженных лиц. Хоири было страшно: неужели эти деньги, заработанные с таким трудом, придется отдать? И неизвестно еще, сколько дней придется провести в этой металлической пещере, которая раскрыла перед ними свой зев. Он обернулся и в последний раз посмотрел на эти места, которые так долго были для него домом. Вернется ли он сюда когда-нибудь?

Стоя в своем «джипе», офицер АНГАУ глядел сверху на проходящих таким взглядом, будто они были его собственностью. Слово Ной, только другой, недобрый, смотрит на тверей земных и их пересчитывает, когда те перед великим потоком поднимаются в его ковчег.

Кто-то сильно дернул Хоири, и он повернулся.

— Смотри, куда идешь, ведь свалишься! — сказал Меравека. — Да что ты оглядываешься? Что ты здесь оставил, женщину?

— Да нет, просто смотрю на эти места. А тебе неужели не жаль расставаться с местом, где столько прожил?

— Вообще-то побывать здесь было интересно, но все же хочется домой — ведь матери, когда нас рожали, окрасили землю своею кровью там, а не здесь. Скорей бы в родные места, к нашей Тауре, такой темной и прохладной, к саго и кокосам, ну и, конечно, к девушкам, которых мы с тобой знаем!

Пока они здесь жили, в деревьях вокруг лагеря всюду шла меновая торговля: консервы, табак и рис меняли на бетель, картошку и бананы. Молодых, у которых на уме женщины, мужчины постарше уговаривали не поддаваться соблазну. Хоири тоже делал все что мог, чтобы помочь Меравеке обуздать свои порывы. В таких делах надо особенно опасаться колдовства — Хоири очень не хотелось вернуться в Мовеаве без двоюродного брата.

А теперь Меравека пытался изобразить все так, будто благосклонности девушки, которая ему понравилась, он не смог добиться только из-за незнания языка.

— Иногда я подходил к ней совсем близко, она, если бы я зашептал, меня бы услышала, но как было объяснить ей, что мне от нее нужно?

— Ну и ты, конечно, давал ей, когда менялся, больше консервов из своего пайка? Прав я или нет? — сказал Хоири и улыбнулся так, будто поймал Меравеку на чем-то стыдном.

— Но ведь как-то нужно было обратить на себя ее внимание. Я думал, она поймет. — И Меравека посмотрел себе под ноги на кусочек палубы между ним и человеком впереди него. — Наверно, она просто очень глупая.

Мысль о том, что они возвращаются домой, так же освежала и успокаивала, как ровный прохладный ветерок, обдувавший большой корабль. Песня за песней раздавалась то в одном месте палубы, то в другом, и ветер уносил их в скрытые за дымкой тумана чужие селения. Эти песни люди складывали в память о трудных днях пути из Бульдога в Вау и о других, лучших днях, которые они провели в Лаэ. Корабль шел на юг, и все новые и новые песни на нем рождались.

Как незадолго до этого людьми владел страх, так теперь ими владела радость. Хотя еды на корабле было вдоволь, ели мало. Слова, которые выводят из себя, сейчас почему-то никого не задевали. Вернулись доверие к способностям других людей и вера в их добрые намерения. Доверяли экипажу, капитану и самому кораблю: даже если с ним что и случится, вера их, тех, кого он везет, не даст ему затонуть. Не все ли равно, по какую сторону корабля всходит или заходит солнце? Самое главное, что оно всходит и заходит.

— Послушай: пока мы плывем, я подсчитал, что нашего селения мы не видели уже больше трех лет, — сказал Меравека и показал двоюродному брату три пальца свей левой

руки.— Ты только представь себе, каким большим стал теперь младший Севесе! Интересно, что он скажет, когда ты его обнимешь?

Неразмыслить над этим стоило, но все же это было лишь одно из многих дел, которыми была наполнена голова Хоири. После того как он услышал о болезни отца, никаких других вестей о нем до Хоири не доходило. Когда он об этом думал, голова делалась какой-то пустой. Заботы есть и у других, но ведь люди не позволяют им испортить для себя путешествие. Один бог знает, поплывут ли они еще когда-нибудь на одном корабле все вместе — мекео, керема, гоарибари, корики, киваи. Время, потраченное на то, чтобы завести друзей, потрачено не зря. Если бы не война, многих из них он никогда бы не увидел.

День за днем, не зная усталости, корабль их скользил по без конца меняющемуся морю. Иногда море лежало перед ними как огромный зеленый пирог, который ждет, чтобы его разрезали, а иногда оно напрягало мышцы и проверяло, хорошие ли корабельщики построили этот корабль и хорошие ли мореходы на нем плывут.

Теперь, когда показался остров Юле, люди, многие из которых ослабли от расстройства желудка, а то и просто от морской болезни, ожили снова.

На борт корабля поднялся врач, а вместе с ним мистер Хилл, которого за то, как он поступал с людьми в первые годы войны, все боялись и ненавидели. С гордым видом, держась очень прямо, мистер Хилл прошел между рядами больных и грязных людей. Шел он, так переставляя свои толстые ноги, будто в них не было ни одного сустава. Может, он зажал что-то между ног и боится, что, если он пойдет как все, это упадет? На его форме цвета хаки не было ни морщинки, будто ее выгладили прямо на нем. В руке у него был платок, и дышал он через него.

Больных отвели в больницу, остальных выстроили перед конторой.

— Вашей работой я доволен,— сказал мистер Хилл таким голосом, как будто он самый главный начальник во всей администрации.— Доволен ею и король. За нее он хочет сделать для вас много хорошего. Он откроет много школ для ваших детей, и в каждой деревне будет создан кооператив, чтобы научить вас, как надо вести дела. Ну а за вашу работу вам заплатят начальники ваших окружных управлений.

Строй оцепила полиция и начала тщательно всех обыскивать. Хоири посмотрел на мешочек, привязанный к поясу, а потом на своего двоюродного брата.

— Как нам быть с деньгами?

— Уже поздно, не спрячешь. А ты объясни все мистеру Хиллу, ведь ты же можешь говорить по-английски. Если скажешь, он наверняка поймет,— подбодрил его Меравека.

Мистер Хилл посмотрел на скатанное одеяло Хоири.

— Едва ли армейское, слишком уж старое.

Хоири вывернул карманы. Мистер Хилл увидел маленький мешочек у пояса.

— А в нем что такое?

В школе преподаватель закона божьего часто говорил, что говорить неправду грех. Но никто никогда не объяснял Хоири, что бывает, когда неправду говорят ради доброго дела. Может, это тоже грех, но не такой тяжелый? Времени обдумать это как следует уже нет. И он решил: чем говорить добрую ложь, он лучше скажет мистеру Хиллу правду. Тем более что стоит мистеру Хиллу дотронуться до мешочка, и мистер Хилл сразу же узнает, что в нем.

— Это мои деньги, сэр.

Брови у офицера АНГАУ задвигались одна так, другая этак. Голос у мистера Хилла был такой же, как он сам, тяжелый и всегда одинаковый, и ел глаза, как лук, когда его режешь и слишком близко к нему наклонишься.

— Что-о? Считаешь, значит, меня за идиота?— И мистер Хилл понимающе закивал.— Решил, значит, прибавить мне работы, будто я мало попотел за сегодняшнее утро,— ведь так?— Он отступил назад, сдвинул шляпу на затылок и подбоченился.— Откуда бы у тебя быть деньгам? Насколько мне известно, ни с кем из вас еще не расплачивались.— И, скрипнув зубами, добавил:— Скажи прямо: «Я их украл» — и тебе ничего не будет.

Как трудно оторвать взгляд от этих маленьких жестоких глазок! Их почти не видно за мясистыми веками, только яркая искорка в каждом показывает, что обладатель их не спит. Ой, даже пот выступил на висках! А вон совсем близко стоит полицейский, и на поясе у него болтается пара наручников.

— Сэр, я делал лодочки, луки и стрелы, другие носильщики их делали тоже. Американские солдаты покупали их и давали мне деньги.

— Ишь какой умник. Это надо же такое придумать! — И мистер Хилл выхватил мешочек у него из рук и сунул себе в карман. — В кутузку бы тебя за обман офицера администрации!

Он посмотрел на Хоири искоса долгим взглядом, а потом повернулся к Меравеке. Тот, видя, что белый человек уже рассержен, отдал деньги без единого слова.

Вслед за мистером Хиллом шли три человека — клерк и еще двое. От табака, который они выдавали, руки у них были совсем черные.

Ну и гадость же! Хоири сжал пять черных скруток в пучок и скрутил их в одну большую. Табачная вонь стала сильнее. Сжав зубы, он смотрел на толстую шею и спину того, кто только что отнял у него заработанное честным трудом. Дали пять жалких скруток, для того чтобы почернели его легкие; потом пришлют врача, и тот, воткнув себе в уши проволочки, будет слушать, как он дышит...

— Виноваты наши отцы и отцы наших отцов, сынок, — сказал кто-то слабым голосом у него за спиной. — Табак и сахар — два самых сильных колдовства белого человека. Кто знает — может, потом он пустит в ход и еще какое-нибудь третье. Теперь, когда мне приходится делать что-нибудь трудное, в груди у меня болит. Вот говорю с тобой, а дышу со свистом. Привыкни только пить чай или курить — и ты на все время, пока у тебя есть силы работать, станешь рабом белого человека.

— Мы вернемся в селение и будем радоваться деньгам за три года, пока их не истратим, а надолго ли нам их хватит? — сказал Хоири без всякого выражения. — А потом голод по табаку и сахару начнет грызть нас снова.

На это старик, к сожалению, уже ничего не сказал, а повернул свою связку табака концами вверх и на нее уставился. Да, ему расхотелось свои пять скруток придется экономнее, чем молодым. Мало того что он стар — еще ведь он не знает и не умеет того, что нужно белому человеку. Но если у него растут сыновья, причин впадать в отчаяние нет. Не слезы ли у старика на глазах? Лучше отвернуться и не смотреть.

Дружбу, крепнувшую в течение грех с лишним, а для некоторых — даже четырех или пяти лет, испытанную невзгодами и лишениями, забыть не так-то легко. Слезы показались на глазах многих, когда наступил день расставания: керема шли в одну сторону, а остальные, среди которых были люди даже из таких далеких мест, как Дару в Западном округе, в другую. Этим людям из дальних мест было сказано подождать, пока администрация, чтобы отправить их в родные селения, не зафрахтует для них каботажное судно. Бесконечные мили песчаного берега и кокосовых рощ простирались перед ветеранами перехода Бульдог — Вау. Ящики с рыбными или мясными консервами больше не врезались им в плечи — и слава богу, потому что теперь эти люди уже не смогли бы их нести. Между ног у них были нарывы, а ступни онемели от песка, по которому они шли. Но какое это имело теперь значение? Главное, что теперь они свободны и больше никому торопить их и подгонять.

Волна за волной разбивалась у их ног, смывая следы и утишая боль в лодыжках. Разговаривали мало — да и о чем говорить, когда не происходит ничего нового? Ни в каких словах не было и нужды: каждая волна говорила что-то, а что именно, надо было решить тебе самому. Настоящей беседы, пожалуй, не было: говорили волны, человек только слушал. А порассказать волнам было что: ведь любая волна, прежде чем разбиться у них под ногами, побывала во многих чужих, неведомых странах. Хоири шел, а в ушах у него все гудел голос мистера Хилла: «Вам ваши пять скруток не придется даже менять на еду — вы среди своих, уж наверняка будут кормить вас даром... Шестьдесят миль — пустышки, совсем не то, что нести груз через всю страну... Вы все, я уверен, здоровехоньки»...

В Кукипи помощник начальника окружного управления заплатил Хоири и его односельчанам за их службу. Хоири положил выданные ему одиннадцать фунтов в карман и начал быстро считать в уме. Потом разочарованно покачал головой: да, если бы к этим одиннадцати фунтам прибавить то, что он заработал в Лаэ, получилась бы кругленькая сумма. Ну да стоит ли жалеть о том, чего все равно не вернешь?

Чуть меньше чем за год до того, как Хоири вернулся в родное селение, его отца Севесе привезли туда с верховьев; он был без сознания. Севесе не отвечал на звуки голосов и на жаркое дыхание около уха, зовущее его назад — к семье, друзьям и его селению. Желки плотно сжимались, будто решили: больше они ни разу не дадут ему увидеть то злое и жестокое, что творится вокруг.

В Эпоэз его осмотрел врач. Снова и снова он прикладывал к груди Севесе свою веревочку из проволоки и резины и прислушивался, наклонив, как собака, голову набок. Подержав немного Севесе за запястье, он покачал головой.

— Воспаление легких,—сказал он,—очень тяжелое, запущенное: пульса уже почти нет.

Друзья Севесе стояли молча и смотрели, как врач ступает на сходни: один шаг, другой. Потом он остановился и обернулся медленно-медленно.

— Перенесите его с баржи на свою лодку. Я тут мало что могу сделать, попробуйте у себя в селении что-нибудь сами.

И, заложив руки за спину, нервно перебирая пальцами резиновые кольца смотанного фонендоскопа, он мерными шагами сошел с баржи.

Изрядную часть тех одиннадцати фунтов, которые Хоири получил за три года работы носильщиком, пришлось потратить на поминки по отцу. Поминки были необычные — ведь справляли их почти через год после того, как человек умер. Дойди до него весть о смерти отца, когда он был в Лаэ, он бы, конечно, устроил поминки там. Но не так уж важно, что он их не устроил — важно, что в положенное время их справили сородичи, которые были в селении, когда отец умер. Ну а что они с Меравекой устроили новые поминки теперь, тоже хорошо.

Огороды заросли за это время кустарником; бананы, таро и сахарный тростник пытались устоять перед его натиском, но все усилия их были напрасны. Без помощи человека этого наступления было не остановить. Сорняки душили их на собственной их земле. Теперь Хоири пришел к ним на выручку не ради них самих, но чтобы было чем кормить маленького Севесе. Да вот беда: мальчик призыв за эти годы к печеню и рыбным и мясным консервам. Посмотрит на вареный клубень таро или на печеный банан и сразу отворачивается — наверно, не хочет перебивать пригнанный вкус во рту. Конечно, его можно понять, и будь у него, Хоири, деньги, которые он заработал в Лаэ, можно было бы и дальше кормить сына всем, что тот любит. Но ведь рано или поздно кончились бы и эти деньги — и что тогда? Нет, это не выход. Придется Севесе отвыкать от пищи, к когорой он привык за эти три года. Прямо не верится, что прошло время, когда пачку печеня можно было получить за пять полос бири. Теперь эту пачку купишь только за деньги.

Да, если бы огороды не заросли кустарником, если бы сын не привык к печеню и консервам и не обвисли груди у знакомых девушек, ставших женщинами, можно было бы подумать: то, что случилось за эти три года, всего лишь сон, длинный-преддлинный. Сон, в котором на селение налетела вдруг яростная буря и унесла Хоири и других мужчин далеко-далеко, а женщин, детей и стариков не тронула. Она, эта буря, разлучила людей с их близкими, и некоторым уже не суждено встретить их никогда. Буря пронеслась, но даже тогда, когда она ярилась, она не смогла довести Хоири до отчаянья: слава богу, младший Севесе все же у него остался. И как хорошо, что есть также и тетя Суаза и ее муж Джордж, учитель в миссионерской школе: уж кто-кто, а они смогут помочь ему правильно воспитать Севесе и выучить. Тетя Суаза набожная, она очень заботится о том, чтобы ее дети знали слово божье и не ссорились с товарищами. А ее муж воспитывает в детях трудолюбие. Знания, говорят тетя Суаза и Джордж, дает бог, это, как и все вокруг нас, дар божий. Но бог не расточителен, он не раздает подарков направо и налево, как дядя, вернувшийся домой из Порт-Морсби с заработков. Бог одаривает тех, кто, чтобы получить его дары, трудится не покладая рук. И если хочешь быть таким же умным, как белые люди, которых он, Хоири, видел, когда работал в Эпоэз, точно как же не покладая рук должен работать и ты. Но в то же время нужно молиться богу, чтобы он указал тебе правильный путь, иначе и упорный труд не принесет никаких плодов.

В Кереме Хоири был до этого всего раз, еще мальчиком, вместе со священником, самым главным в католической миссии в Терапо. Священник звал его туда затем, чтобы он

прислуживал во время рождественской мессы для жителей Керемы. Но то было давно, а в окружное управление здесь, в Кереме, он тогда и не заглядывал.

Дежурный у двери начальника принял от Хоири заявление и исчез с ним внутри. Через несколько минут он позвал туда и Хоири. За большим, изготовленным руками местного мастера, старым, но покрытым толстым слоем лака столом сидел представительный мужчина. Прямо посередине его головы, словно продолжая линию тонкого длинного носа, деля густые золотые волосы, начинающие на висках серебриться, на две равные половины, шел пробор. Локти твердо упирались в стол, а волосатые руки со сцепленными пальцами на нем покоились, и от этого казалось, что белый человек квадратный. Хоири подумал, что держится и не падает начальник, наверно, благодаря своим локтям, а вовсе не стулу, на котором сидит. Подборотав себе под нос, белый человек закивал, показывая этим, видно, что наконец-то обнаружил в лежащем перед ним листке бумаги хоть какой-то смысл.

— Так, значит, тебя зовут Хоири? — ровным и сильным голосом сказал начальник окружного управления.

Казалось, что его взгляд пронизывает Хоири насквозь, что он проникает под кожу и в кости и видит мозг и внутренности. От этого Хоири стало не по себе, и он переступил с ноги на ногу.

— Я, между прочим, говорю с тобой. Стой прямо, для этого бог и дал тебе ноги. Ну отвечай же мне!

— Да, сэр.

— Ага, так, значит, язык у тебя все-таки есть? Долго же ты это скрывал! А ведь отвечать, оказывается, не так уж трудно, правда?

На лице у чиновника промелькнула насмешливая улыбка, совсем не настоящая, это Хоири увидел сразу. Затем началось долгое и нудное отчитыванье, от которого у Хоири осталось чувство, что ему необыкновенно повезло, раз за смерть отца он получает хоть какую-то компенсацию.

Чиновник громко пролаял приказ кому-то, находящемуся в этом же самом здании, — он часто делал так, когда бывал раздражен или спешил. Так легче: не нужно убийственно долго втолковывать местному полицейскому, который окажется сегодня дежурным, что именно ему, начальнику окружного управления, требуется. Сколько раз бывало, что дежурный или принесет не то, что надо, или переверт то, что должен был передать на словах; возмущаться и раздражаться из-за этого начальнику уже надоело.

Появился какой-то человек с бумагами.

— На. Там, где я поставил крестики, напиши свое имя. Садись вон за тот стол.

Хоири сел и, стараясь, чтобы получилось как можно лучше, вывел там, где ему было показано, печатными буквами свое имя. К столу начальника он пошел с легким сердцем, уверенный, что начальник окружного управления обратит внимание на то, как красиво написано, и поймет, что тот, с кем он имеет дело, учился в школе. Хоири протянул бумаги белому человеку, и холодный взгляд начальника встретился с его взглядом. Хоири отступил назад и стал смотреть, как шевелятся, словно играют одна с другой, губы начальника. Потом губы замерли, и начальник, подняв глаза, уставился на Хоири; зрачки у него расширились и были теперь огромными.

— Ты глупый осел! Неужели никогда не подписывал своего имени? Возьми эти бумаги и снова напиши свое имя, но прописью, а не печатными буквами!

Хоири получил чековую книжку, и туда было вписано четырнадцать фунтов — его часть компенсации. Остальное распределили между другими членами его семьи. Уходя он оглянулся назад, на этот дом с крышей из бири, и подумал о том, как хорошо было бы, если бы больше никогда не пришлось не то что входить в него, но даже подходить к нему близко, и уж, во всяком случае, проходить через дверь, которая ведет в комнату начальника окружного управления. У него было чувство, что человек, который входит туда, выходит другим. Гладкие деревянные панели стен надвигаются, как две пилы, и срезают с тебя чувство собственного достоинства.

Хоири казалось, что от маленькой синей книжечки как от живой исходит тепло. Осторожно, чтобы не помять, переворачивая страницы, он снова и снова перечитывал свеженарисованные слова и цифры. Это было как бы второе сердце его сына, сердце, которое, когда Севесе вырастет, поможет настоящему сердцу сына радостно биться. То, что написано в синей книжечке, поможет ему отправиться в другие края, туда, где можно учиться боль-

ше и лучше, чем здесь, в Мовеаве. Пока Севесе вырастет, пройдет еще много лет. Если администрация говорит правду, деньги эти будут расти вместе с ним. Может быть, когда ему придет время жениться, их даже хватит на выкуп за невесту. А если Севесе станет таким же умным, как белые люди, и научится тому же, что умеют они, ему, может, тогда и за работу платить станут столько же, сколько им. Тогда Хоири не нужно будет больше работать на огороде: Севесе сможет покупать для него и чай, и сахар, и табак.

От этих мыслей его отвлекла женщина, которая с удобно усевшимся на ее бедре годовалым ребенком быстро прошла мимо него. Похоже было, что она куда-то спешит. Форма ее головы, ушей, ее спина и икры показались ему знакомыми. И походки этой он тоже не узнать не мог. Будто множество игл вонзилось одновременно с разных сторон в его мозг; он пошел быстрее. Когда их разделяло уже только несколько шагов, какой-то безумный смех выплеснулся из его нутра. Интересно, видел кто-нибудь, как он ускорил шаг? Она была уже совсем рядом, и если бы повернулась, он увидел бы ее лицо. Хоири кашлянул.

Хотя не сразу, женщина обернулась, но с презрением отвела взгляд, когда обнаружила в глазах ребенка идущего за нею следом, нечто большее, чем случайный интерес к покачиванию ее бедер. Но Хоири это лишь подстегнуло; губы его задрожали, а глаза раскрылись еще шире. Она уже хотела было обернуться и плюнуть прямо перед ним на тропинку, но передумала: ведь он наверняка и так понял, что означают отведенные глаза и сжатые презрительно губы. Что он, слепой? Не видит ребенка у нее на бедре?

— Миторо! — закричал Хоири. — Миторо!

Женщина ускорила шаг: не иначе как полоумный!

— Почему ты не отвечаешь мне, Миторо? — закричал он. — Ты забыла свое имя? Разве мы не на одном языке с тобой говорим? Ради твоего сына Севесе ответь мне!

Женщина побежала, он побежал тоже, догнал ее и схватил за локоть. Женщина взвизгнула. Хоири отпустил ее руку и остановился, задыхаясь от отчаянья. Он едва замечал, что вокруг уже собираются люди. Неужели никак нельзя вернуть назад жену? Нет, никак, он это знает. Своим могуществом колдуны сделали ее для него недоступной. Они изменили все в ее голове и обладали теперь полной властью над ее языком. Только на вид она остается прежней. Как жаль, что его воспитали христианином! Если бы не это, он, быть может, знал бы людей, которые могут противопоставить колдовству свое колдовство.

В его сердце был холод, и ему было страшно одиноко. Все в его жизни переменялось. Около него громко кричали, но он этого не слышал. В один миг перед ним промелькнули все безвозвратно потерянные годы, когда он носил грузы белого человека. Он понял: белый человек со всей его мудростью и силой не может помочь ему вернуть себе назад жену. Хоири не видел, как широкими шагами к нему подходит полицейский, и лишь смутно ощутил на запястьях горячую хватку ржавых наручников. Когда его вели, он чувствовал в кармане около бедра прямоугольник чековой книжки. «Может, эти деньги откроют Севесе путь в школу белого человека, может, он, когда вырастет, поймет то, чего не мог понять я», — снова подумал он, когда его вводили в комнату начальника, которую он надеялся никогда больше не увидеть.

Перевел с английского РОСТИСЛАВ РЫБКИН.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

В. КОБЫШ



ЖИТЬ, КАК ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

— **III** апа, Кронкайт.

Десятилетний Андрей каждый вечер произносит эту фразу. В голосе его непоколебимая уверенность в том, что, какими бы важными делами ни был занят отец, он их скорей всего на полчаса оставит.

С 7 до 7.30 вечера в миллионах американских домов, включая те, что приютили советских корреспондентов, смотрят телевизионные новости. Смотрят по одному из трех ведущих телевизионных каналов: Си-би-эс, Эн-би-си и Эй-би-си. В корреспондентском пункте «Известий» предпочитают новости Си-би-эс — так уж сложилось много корреспондентских поколений назад.

В острой, смаживающей иногда на бой гладиаторов, переменчивой, как рулетка, игре — кто завоеует большую аудиторию, — которую не первый год ведут эти три телевизионные империи, у Си-би-эс всегда в руках козырная карта: Уолтер Кронкайт. Эй-би-си, всегда шедшая третьей, а теперь все чаще вырывающаяся на первое место, заметно теснит конкурентов. Эн-би-си, старейшая и крупнейшая, за которой стоит электротехническая корпорация «Рэйдио корпорейшн оф Америка», понятно, не склонна уступать и, в свою очередь, где может прижимает соперников. И все-таки новости многие предпочитают смотреть по Си-би-эс, особенно в острые, кризисные моменты и вообще всегда, когда происходит что-то выходящее за рамки привычного. Хочется знать: а что скажет Кронкайт?

Этот американский оракул учился в Техасском университете не только журналистике, но и актерскому мастерству. У него приятный глубокий голос. На его лице, живом, но сдержанном, улыбка появляется именно тогда, когда нужно. И вся его манера говорить, мягкая, ненавязчивая, и скупая улыбка, освещающая лицо этого человека, предстающего перед зрителем чуть грустным и ироничным, но терпимым и мудрым, убеждают тех жителей США, что много лет слушают Кронкайта по вечерам, сильнее самых неоспоримых аргументов.

Ему за шестьдесят, и он немало повидал на своем веку. Работал в Юнайтед Пресс, а во время войны стал еще и выступать по радио Си-би-эс. В штат этой компании в качестве радиокомментатора Кронкайт пришел в 1950 году. Вскоре после этого стал появляться на телеэкране.

Поначалу у него не было особого успеха. Телезритель, однако, постепенно привыкал к нему, популярность начала стремительно расти. Что вызывало ликование у хозяев Си-би-эс и немалую досаду у конкурентов этой компании — росло и поразительное доверие ко всему, что говорит с виду такой обычный, такой ничем особенно не примечательный американец, ведущий телевизионных новостей и комментатор. Несколько обследований, проведенных к концу 60-х годов, выявило, что Кронкайт стал в стране «человеком, пользующимся наибольшим доверием».

В его руках, соответственно, оказалась сосредоточенной огромная власть. По здешней скрупулезно выводимой статистике, Кронкайт входит в десятку самых могущественных в США людей. Считают, что он вполне тянет и на членство в пятерке.

В 1972 году, когда кандидат в президенты Джордж Макговерн подбирал себе партнера на пост вице-президента, кто-то предложил ему кандидатуру Кронкайта. Тот, кто сделал предложение, не знал, куда относит себя телекомментатор Си-би-эс — к демократам или республиканцам; это никого не интересовало, все знали, однако, что с таким кандидатом в вице-президенты много больше шансов победить на выборах.

Макговерн не поддержал идею. Но когда самого Кронкайта год спустя спросили об этой истории, он заявил, что даже если бы предложение было сделано, он не принял бы его: политика, мол, ему не представляется стоящим делом. Его коллеги между тем интерпретировали слова Кронкайта по-своему. Быть вице-президентом для него было бы понижением: сейчас у Кронкайта фактически много больше власти, не говоря уж о доходах, судачили в телевизионных кулуарах.

Миллионы американцев вот уже второе десятилетие с 7 до 7.30 вечера внимают каждому его слову. Для многих он единственный источник информации. Подавляющее большинство телезрителей, даже сомневаясь в преподносимых им фактах, не ставят под сомнение его интерпретацию этих фактов. В этом смысле всемогущество Кронкайта действительно беспредельно. Заметим, что он не только читает новости, но отбирает их, комментирует и комментирует, иллюстрируя репортажами и интервью, которые ему представляются подходящими. С помощью своего штата и телевизионных камер Кронкайт показывает американцам мир таким, каким он видится ему самому или каким его хотелось бы показать людям.

Каким же представляется мир Кронкайту и каким он его преподносит телезрителям? Вот тут всемогущество американского пророка кончается. При всем отточенном мастерстве и высоком профессионализме в одном Кронкайт уязвим не меньше других: он подает события так, как это хочется хозяевам Си-би-эс, рекламодателям, то есть правящему классу. Сам по себе он может быть либералом, прогрессистом и т. п., но это не имеет никакого отношения к получасовой программе новостей Си-би-эс, в значительной мере определяющей общественное мнение в стране. Программа эта составляется в полном соответствии с полученным Кронкайтом социально-политическим заказом, в ней нет и тени самостоятельности, а тем более инакомыслия. И когда освобождаешься от наваждения этого спокойного, рассудительного, ненавязчивого голоса, этой мягкой улыбки и чуть грустного взгляда много повидавшего на своем веку, полного добра к людям, желания помочь им человеку, обнаруживаешь нечто шокирующее. Видишь, что оракул-то — типичный средний американец (в том и фокус, он и должен быть средним даже своим костюмом, прической, произношением, потому что такие — подавляющее большинство телевизионной аудитории), не столько либеральный, сколько консервативный, уверенный в полном превосходстве Соединенных Штатов и их образа жизни над всем, что есть в мире, человек с достаточно ограниченным политическим кругозором. Кронкайт сам по себе как личность скорее всего не такой, но работодателям он нужен «усредненный», потому что телезрители хотят в нем видеть своего, похожего на них. И тут уж не поймешь, где этот телевизионный маг сам по себе, а где он, чему, как мы выяснили, его в свое время учили, играет. Так или иначе, он мастерски делает то, что ему сказано делать, не только подачей новостей и их комментированием, но часто и усмешкой, иронически поднятой бровью или многозначительной паузой. И когда, закрывая программу, Кронкайт произносит, притом каждый раз на особый лад — то осуждающе, то с одобрением, а чаще удивленно, — свою знаменитую заключительную фразу: «Вот так обстоят дела», многие, очень многие миллионы жителей этой страны верят, что дела обстоят именно так, как сказал Кронкайт, что полнее и точнее после услышанного от него, пожалуй, и нельзя быть информированным.

О Кронкайте такой длинный разговор, потому что даже один этот человек, взятый в отдельности, показывает, чем стало телевидение в жизни Америки. Помножим влияние Кронкайта на такие цифры и факты здешней жизни. Телевизионный аппарат — часто их два и три — стоит практически в каждом американском доме (в суровой калифорнийской тюрьме Сан-Квентин, где в числе других держат политзаключенных, маленький телевизор можно видеть в камерах-клетках: топчан и этот аппарат — больше ничего). Всего в стране их 130 миллионов. В доме американца те-

телевизор ежедневно включен в **среднем** в течение 6 часов 18 минут, взрослые проводят около него по три-четыре часа.

Средний американец, таким образом, не отрываясь глядит на экран чистых девять-десять лет своей жизни. За эти девять-десять лет его доводят до кондиции. У него в голове навязанные ему, в большинстве случаев не имеющие ничего общего с действительностью представления о жизни Соединенных Штатов и окружающего их мира. Этот американец, кроме газет и журналов с картинками, почти ничего не читает. Он забыл, что такое музеи и театры. Он — это при свойственной-то американцам общительности — перестал ходить в гости.

«Вы смотрели вчерашнее голливудское шоу? Прелесть, не правда ли? — спрашивает меня немолодая разговорчивая продавщица в «Мэйси», самом большом в мире нью-йоркском универмаге. — Я ведь как перст одна на свете. Господи, что бы я делала без телевизора?» — вздыхает она, в голосе ее слышна почти молитва.

Доктор философии Джанг Ра из Лонгвудского колледжа в Фармвилле, штат Виргиния, задал такой странный вопрос 156 детям из разных семей в возрасте от четырех до шести лет: «Кого ты больше любишь — папу или телевизор?» Результат опроса оказался еще более странным: 44 процента детей без колебаний заявили, что предпочитают папе телевизор. Доктор Ра видит в полученных ответах подтверждение не только происходящего, как он установил, в Соединенных Штатах размышления семейных устоев. «Многие дети чувствуют себя намного лучше при общении с телевизором, чем с их отцами», — говорит он, имея в виду не только семейные проблемы, выхватившие самый ранний возраст, но и пугающее вторжение телевизора в жизнь этой страны.

Будем справедливы к Кронкайту. При всех претензиях к тому, что вещает этот оракул, он не худшее, а лучшее, что есть на американском телевидении. Подавляющее большинство других программ не просто убоги, но разрушительны с идейной точки зрения, а уровень их художественной ценности катастрофичен. Высокий технический профессионализм американского телевидения отнюдь не нейтрализует, а, наоборот, еще сильнее подчеркивает эти характеристики. «Можно простить человека, который никогда не видел американского телевидения, если, познакомившись с ним, он решит, что попал в страну сплошных неврастеников, ипохондриков и жертв постоянного запора. Потому что от восьми до шестнадцати минут каждого телевизионного часа его глаза и уши подвергаются атаке коммерческой рекламы, цинично и открыто эксплуатирующей малейшую уязвимость в его плоти и психике», — утверждает английский журналист Роберт Хагривс, много лет проживший в США и немало поколесивший по этой стране¹.

Кто-то однажды заметил, что критиковать американское телевидение за его всепроникающий коммерческий дух — все равно что жаловаться на львов, пожиравших ранних христиан: львы хотели есть. Телевидение в США занято производством денег. Один из столпов Си-би-эс не без остроумия формулирует: «Кое-кто считает, что вещание может двигать людьми. Есть такие, что верят даже во всемогущество вещания, которое может сдвигать горы. Но правда в том, что назначение вещания — продвигать товары». Коммерция дает о себе знать даже не столько в двенадцати среднестатистических минутах рекламы в каждом часе вещания, но в еще большей степени в остальных сорока восьми минутах этого часа.

Расхожее представление таково, что телекомпании используют экран, чтобы связать зрителям товары, добиться, чтобы они их купили. В действительности их миссия в том, чтобы продать тем, кто оплачивает рекламу, самих зрителей. Клише, используемое телевизионными компаниями для оправдания выпускаемой ими низкопробной продукции, — «мы даем зрителям то, чего они от нас хотят» — таким образом, тоже ложь. Истинный смысл их деятельности состоит в том, чтобы подготовить для рекламодателей ту аудиторию, которая им требуется.

Есть немало примеров, подтверждающих, что если аудитория не устраивает тех, кто оплачивает рекламу, программа, какой бы популярной она ни была, снимается. Си-би-эс, к примеру, передавала одно время передачу «Хохот» — невысокого уровня,

¹ «Superpower» by Robert Hargreaves. St Hartin Press. N. Y., 1973.

но занятую; она стала одной из десяти самых популярных. Но у этой программы была не та аудитория, какая требовалась рекламодателям. Передачу смотрели преимущественно американцы из сельских районов, не очень клюющие на рекламу, а заинтересованность была в горожанах. То были главным образом пожилые люди — а ставка делалась на молодую часть населения. Те зрители в основном пребывали в бедности — расчет же был на зажиточных. «Хохот» в результате в момент наивысшего успеха этой программы сняли.

Это такой же бизнес, как и все остальное: выпуск мебели, продажа бензина, торговля оружием, — производится то, что можно сбыть, что приносит наибольший доход. А доходы эти складываются в серьезные суммы. В 1976 году телекомпания получила прибыль в 6 миллиардов долларов², почти на 42 процента больше, чем в предыдущем году; планируется, что к 1985 году доходы возрастут до 14 с лишним миллиардов долларов³.

Телевидение вошло в жизнь Америки, не просто внеся перемены в образ жизни ее жителей, но в некотором роде изменив их самих. «Люди теперь стали меньше спать, реже разговаривать друг с другом», — говорит доктор Джордж Комсток, главный «социальный психолог» исследовательского цикла «Рэнд корпорейшн». Для многих американцев телевизионный экран стал уже не только зеркалом жизни, но во многих случаях самой этой жизнью. Иллюзии настолько сомкнулись с реальностями, что для многих американцев телевизионные драмы и комедии стали своего рода фоном повседневной действительности. Персонаж популярной телевизионной серии Арчи Банкер для них такая же подлинная личность, как те или иные политические деятели или даже друзья и соседи. А если верить доктору Джеймсу Браселу, одному из ведущих психиатров Нью-Йорка, специальные телевизионные программы для женщин повинны в том, что число разводов в США с 479 тысяч в 1965 году подскочило до миллиона с лишним в 1975-м. «Вон, оказывается, как красиво можно жить, говорят домашние хозяйки и уходят от мужей», — объясняет доктор Брасел.

Телевидение вобрало в себя всемогущество радио, кино и газет, хотя порой у него еще нет собственного стиля и содержания. Но если телевидение и в самом деле «переместило мир в гостиные», как об этом было принято говорить в 50-е годы, то кто определяет, какая часть этого мира входит в гостиные, в каком порядке и как она подается? Вопрос контроля над телевидением приобрел для страны жизненно важную важность.

Кто его контролирует, хорошо известно: те же крупнейшие корпорации — основные рекламодатели. Самоцензура ни на момент не покидает составителей обычных средних программ американского телевидения. Все, что хоть в какой-то степени ставит под сомнение существующие порядки, что может заставить публику мыслить, не поощряется. Все равно каждый вечер 80 миллионов американцев будут смотреть телевизор, считают те, кто оплачивает программы. Что ж удивляться результатам недавнего обследования, показавшего, что половина зрителей предпочитает средним передачам просто коммерческие объявления.

Все определяющая чистая коммерция объясняет, почему три ведущие телевизионные компании — Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си — выглядят близнецами. В погоне за прибылью они берут на вооружение идентичную формулу привлечения максимальной аудитории, что определяет размеры ставок за рекламные объявления. «Все это предстает с ясностью арифметического правила: комедия, драма, варьете, новости, спорт однолики, имеют один и тот же пресный вкус», — замечает журнал «Нью-Йоркер».

Эта атмосфера отвращает от телевидения многих честных авторов и продюсеров. Выступая перед сенатской подкомиссией, занимающейся вопросами конституционных прав граждан, один из них, писатель Дэвид Ринтелс, рассказывал, как препарировали представленный им телесценарий. То было время разгара агрессии США во Вьетнаме. Ринтелс описал ощущения восемнадцатилетнего американского солдата, впервые ока-

² «TV Guide», 19 февраля 1977 года.

³ «Daily News», 29 августа 1977 года.

завшегося под обстрелом, как он, зеленый, растерянный, ни в чем не разобравшийся, сразу же был убит.

Сценарий в основном понравился, говорил Ринтелс, телевизионную компанию смущало лишь одно: Вьетнам. «Нельзя ли перенести действие в Германию второй мировой войны или хотя бы в траншеи корейской войны?» — попросили его. Кончилось тем, что события развернулись в Испании, а американский солдат превратился в матадора.

Попробуй возражи. На все есть несокрушимый аргумент: рекламодателям не понравится, они не одобряют. А если они не одобряют, телевизионная компания несет убытки. По одному из каналов передали однажды документальный фильм «Осеннее оружие», рассказывавший о том, что винтовки и револьверы наводнили Соединенные Штаты, что фабриканты оружия наживаются на его производстве, хотя это ведет к огромному числу преступлений. Под фильм планировалось дать девять рекламных объявлений. Под давлением компаний, производящих оружие, восемь из них рекламодатели сняли⁴. За всю передачу прошла лишь одна полуминутная реклама, получено за нее было в пять раз меньше, чем по обычному тарифу. Рекламодатели ежегодно вкладывают в телевидение несколько миллиардов долларов⁵, и им решать, что показывать 80 миллионам американцев, усаживающихся каждый вечер перед экраном и за проведенные перед ним девять-десять чистых лет своей жизни потребляющих около миллиона(!) коммерческих объявлений.

Эти 80 среднестатистических миллионов телезрителей и кружат головы рекламодателям. С ними можно делать что угодно: вечером после ужина, расслабившись перед экраном, они все впитывают и им можно навязывать что угодно — от заведомо разрушительного для здоровья лекарства до представления, что русские в любой момент готовы обрушить на Соединенные Штаты свою ракетно-ядерную мощь. Поэтому что в это вечернее время, особенно когда передается поединок Мохаммеда Али с очередным претендентом на его титул, новая версия «Гонимых ветром» или вторая серия «Крестного отца», ставки за минуту телевизионной рекламы по трем основным каналам поднимаются со средних 100 тысяч долларов до четверти миллиона и выше.

Это дорогая минута, и она не всем по карману. Рекламой манипулируют очень немногие руки: половина из расходуемых на оплату телевизионной рекламы трех миллиардов долларов поступает от 20 крупнейших корпораций. Что бы ни говорили о возросшей роли конгресса США, о всемогуществе американского лобби, эти корпорации в конечном счете — держатели реальной концентрированной власти.

Взять такую компанию, как «Дженерал фудс», одну из ведущих в снабжении супермаркетов, то есть магазинов самообслуживания, через которые проходит львиная доля потребляемых американцами продуктов питания. Расходуя на телевизионную рекламу в год около 100 миллионов долларов, эта корпорация не просто навязывает потребителям свои товары, но при всем кажущемся многообразии продуктов питания, диктуя вкусы, моду, пристрастия, по существу, оставляет их без выбора. В том, что американцы — жители страны с огромным и разветвленным сельскохозяйственным производством, значительная часть продукции которого экспортируется, — в целом, с точки зрения европейца, питаются скверно, в немалой степени повинна «Дженерал фудс» с ее телевизионной кухней.

Коммерческое телевидение США гордится своей службой новостей. В стране, где нет газеты общенационального масштаба, вечерние программы новостей трех ведущих телевизионных компаний в течение одного десятилетия, с тех пор как они перешли на полчасовой формат, стали своего рода социальным цементом, связывающим нью-йоркский Манхаттан с сельской Алабамой, работников аэрокосмической промышленности в Кейп-Кеннеди с жителями горной глухомани в Теннесси, шикарную публику из лос-анджелесского Беверли-хиллз с отрезанными от остального мира фермерами Великих равнин. Как показывает статистика, большинство из них именно из телевизионных новостей черпает представления о происходящих в мире событиях.

⁴ «US News and World Report», 1 марта 1976 года.

⁵ «Daily News», 29 мая 1977 года.

Обследование, проведенное еще в начале 60-х годов, показало, что для шести из каждых десяти американцев телевидение, по их словам, — основной источник информации. (В 1956 году об этом говорили четверо из десяти американцев, в 1952-м трое.)

Но что это за новости?

В начале 70-х годов все главные американские телевизионные каналы стали пользоваться услугами специальных компаний, консультирующих, как полнее составлять чередующиеся с новостями коммерческие объявления. Одна из лидирующих в этой области компаний — «Фрэнк Мэджид ассошиэйт», — пустившая в оборот концепцию «новостей действия», четко сформулировала главный принцип такого рода информационной службы: задача телевидения — сообщать не новости и не то, что людям нужно знать, а то, что они хотят знать, — принцип, нацеливающий телевидение на информирование прежде всего потребителя, притом информирование в полной зависимости от ставок за коммерческую рекламу.

Американское телевидение совершенно однозначно апеллирует не к интеллекту зрителей, а к их эмоциям. По словам Роберта Дэя, одного из серьезных английских телекомментаторов, «это влечет за собой все растущее, концентрированное и потому опасное внимание зрителя на действии (обычно насильственном, кровавом), а не на мысли; на событии, а не на проблеме; на личностях, а не на идеях».

За всем этим стоит стихийность капиталистического способа производства: что угодно — лишь бы заполучить потребителя, всучить ему товар. Но под само это производство подведена новейшая компьютерная техника, в частности точно учитывающая число зрителей той или иной программы, и последние научные изыскания, в том числе в области психологии, позволяющие вторгаться в души американцев, двигать ими как роботами.

Работающие на многомиллионные телевизионные корпорации лучшие, вооруженные самой современной техникой специалисты точно вывели, что нужно этому потребителю, что он легче всего «заглатывает». В кругах профессионалов его именуют Джо Шесть банок — это потому, что пиво в алюминиевых банках продается пакетами по шесть штук в каждом, а на экран многие глядят, попивая пиво.

Составители программ знают, что Джо, не очень образованный, но любознательный, не разбирающийся в высоких материях, но работающий, живет в постоянном стрессе. Вставать утром ему приходится очень рано — до работы, как правило, по меньшей мере час автомобильной езды. А тут проблемы с детьми — один заболел, другой требует спортивный костюм; перебранка с утонувшей в заботах женой. Затем этот час езды на машине — с пробками, авариями по пути, постоянным страхом опоздать на работу. Потом рабочая смена: конвейер или что-то другое, но так или иначе с огромным напряжением, на износ. И еще час автомобильной нервотрепки по пути назад.

Джо Шесть банок приезжает домой измочаленным в такой степени, что, когда после ужина с банкой пива в руках усаживается перед телевизором, он заглатывает все, что ему покажут, — лишь бы ни о чем не думать, главное, чтоб позанимательней. Можно возразить: но ведь Джо имеет выбор, он может, скажем, включить тринадцатый, так называемый публичный канал, где показывают и Шекспира и Чехова. Вот тут-то и начинается самое непростое. Увы, Джо не знает, кто такие Шекспир и Чехов, ему неинтересно смотреть ни «Клеопатру», ни «Трех сестер». Они здесь для интеллектуальной элиты. Джо к ней не принадлежит. Ему нужно что-нибудь доступней: с привычными гонками полицейских за преступниками по горбатым улицам Сан-Франциско или охотой за очередным русским агентом.

Становление американского телевидения, его детство и юность пришлось на особое время. В США буйствовал маккартизм; американцы, присмирившие, задавленные, запуганные, наблюдали, как в их стране, многим из них казавшейся такой вольной, такой неуязвимой для болезней, случающихся где-то там, в Европе и на других континентах, поднимает голову фашизм. Сенатор Джозеф Маккарти, взявший непомерную власть, глава похода против инакомыслящих, держа в страхе не только государственные учреждения и частные компании. Он с особой ретивостью тряс средства мас-

совой информации и зрелищный сектор. На телевидение посыпались удары. На манер голливудски тут появились свои «черные списки», в которые заносили, обвинив в коммунизме, всех, кто представлялся маккартистской инквизиции сколько-нибудь либеральным и свободомыслящим. В списки попали многие видные телекомментаторы, репортеры, ведущие программ.

Маккарти распознал силу телевидения. Отлучая от него инакомыслящих, сам он не сходил с телевизионного экрана: разоблачал, поносил, угрожал. Это ему, телевидению, Америка обязана тем, что страх так быстро и так всепроникающе разошелся по стране, что в считанные годы он словно загнипнотизировал многие миллионы людей. Владельцы телевизионных компаний оправдывались позднее, что студии открывались перед Маккарти и его людьми еще и потому, что их погромные выступления обладали для зрителей притягательной силой, были сенсацией, под которую хорошо шли рекламные коммерческие объявления. Цинично, но доля правды в таком объяснении есть.

Маккартизм как явление до конца никогда не уходил из американской действительности. Во многих своих проявлениях он не просто жив, но сегодня еще больше окреп, что также в немалой степени результат того особого положения, которое заняло в этом обществе телевидение. Конец же Маккарти как личности по иронии судьбы был также ускорен телевидением: такова уж в здешних условиях его всеядность.

Маккартизм сыграл свою роль в Соединенных Штатах, Маккарти же ее переиграл: правящему классу он казался теперь уже малоэффективным, раздражал его. Осуждение Маккарти (в большинстве случаев не маккартизма!) все чаще прорывалось в деловых и политических кругах, в конгрессе, в печати. 9 марта 1954 года Си-би-эс передала получившую в стране огромный резонанс передачу о Маккарти, подготовленную ведущим комментатором телекомпаний, знаменитым в США журналистом Эдвардом Мэрроу.

«Команда» Мэрроу, у которого были свои обиды на сенатора из Висконсина, два года подбирала в архивах материалы. Умело смонтировав их и сопроводив смелыми по тем временам ремарками, комментатор Си-би-эс показал, как глубоко засел в американцах страх, до какой степени унижений доведена страна. «Чья вина в этом?— спрашивал Мэрроу и сам же отвечал:— Не его, Маккарти. Обстановка страха создана не им, но он ее использовал в своих целях и сделал это достаточно успешно». Мэрроу заключил программу выдержкой из Шекспира, той, где Бруту объясняют, что в бедах людей повинны не звезды, а они сами.

Си-би-эс предоставила Маккарти возможность выступить с ответом на программу Мэрроу. Ответ погромщика в сравнении с передачей, подготовленной высоким профессионалом, использовавшим весь могучий арсенал, который предоставляет телевидение, оказался не только беспомощным по существу, но, что оказалось решающим для суждений о нем телезрителей, невыразительным, бледным, скучным по форме. Даже Маккарти, если он скучный, телезрителей не устраивал.

День, в который была показана программа Мэрроу, возможно, сыграл некоторую роль в падении Маккарти. Для многих, однако, он принес с собой нечто более важное: понимание всемогущества телевидения, его неограниченных возможностей в качестве политического оружия.

Телевидение брало в свои руки все большую власть. Оно уже не только определяло информированность американцев, диктовало им их вкусы и рисовало идеалы, но и активно участвовало в выработке политического курса страны, в формировании правительства. На перепаде 50-х и 60-х годов в этой стране четко выявилось: быть избранным на пост президента Соединенных Штатов невозможно без помощи телевидения. Президент должен был смотреться на экране, он не мог не быть телегеничным. Трумэн оказался, пожалуй, последним «дотелевизионным» президентом; Эйзенхауэр благодаря своим прошлым заслугам и особому реноме в глазах американцев определенно был последним и единственным, кто еще мог обойтись без телевизионного рычага. Исход схватки Ричарда Никсона и Джона Кеннеди в 1960 году уже полностью зависел от телевидения. Если еще в середине 50-х годов была видимость столкновения политических программ, выставленных кандидатами в президенты от

республиканской и демократической партий, теперь эти программы, полные пустых авансов, заведомо невыполнимых обещаний, мало что решали.

Было бы ошибкой упрощать картину американской политической жизни: классово-социально-политические силы, определяющие ход событий в стране, остались на месте и действуют активнее чем когда-либо прежде. В этом смысле в Соединенных Штатах ничего не изменилось и при существующем строе никогда не изменится. Но свою власть, выбор, диктат они теперь осуществляют, эффективно и не без ловкости используя телевидение. Понятно, не само по себе, конечно же, опосредствованно, телевидение решает многое, в том числе и кому стать хозяином Белого дома на следующие четыре или восемь лет.

Эта роль телевидения полностью выявилась в 1960 году в схватке между кандидатами республиканской и демократической партий. На первый взгляд соперники выступали в разных весовых категориях. Никсона как политического деятеля хорошо знали и в США и в мире. Еще в 1952 году Д. Эйзенхауэр сделал его вице-президентом — он был в центре внимания, ему поручались ответственные миссии. Кеннеди по сравнению с ним был мало кому известным сенатором без достаточно прочных позиций даже в самой демократической партии. Принадлежность к клану Кеннеди обеспечивала кандидату прочную финансовую базу для проведения избирательной кампании, но одновременно и создавала немалые трудности. Отец будущего президента, еще до войны занимая пост посла США в Лондоне, как известно, поддерживал связи с пронацистскими кругами, он, кроме того, зарекомендовал себя поклонником Джозефа Маккарти; к концу 50-х годов такие факты из семейной хроники Кеннеди не помогли в борьбе за президентское кресло. Кеннеди, однако, не только хорошо знал, чего он хочет, но уже в то время понимал, как лучше всего добиться поставленной цели. Его ли это прозорливость или кого-то из его советников, но он сполна оценил роль в этом деле телевидения, как и вообще средств массовой информации.

В 1956 году упсмянутый уже прославленный радио- и телевизионный комментатор Эдвард Мэрроу готовил фильм, который должен был быть показан на предстоящем съезде демократической партии. Чтение текста, сопровождающего фильм, Мэрроу предложил Джону Кеннеди с его звучным красивым голосом. Не каждый из сенаторов согласился бы на такое предложение. Кеннеди его принял. На этом съезде он не только зачитал текст фильма, что сразу привлекло к нему внимание, но попутно сделал попытку получить выдвижение в вице-президенты. В последующие годы Кеннеди стал регулярно появляться на телевизионном экране, его помощники одновременно делали все, чтобы имя патрона постоянно появлялось в газетных интервью и журнальных репортажах. К осени 1959 года, когда начала разворачиваться очередная предвыборная кампания, хотя как сенатор Кеннеди ничем особенным себя не проявил, 7 из 10 избирателей уже знали его имя. В американских условиях то был один из самых высоких показателей популярности.

Избирательная кампания Кеннеди получила неизвестный прежде в Соединенных Штатах размах. Его сторонники-добровольцы не только звонили в двери рядовым американцам и рассылали по стране рекламные письма, но и проводили особую работу с сотрудниками телевидения, в первую очередь с ведущими программ нозостей. Телевидение в результате проявляло к Кеннеди особый интерес, и он чаще других кандидатов появлялся на экране. Его показывали тем более охотно, что он был не только моложе и динамичней, но и телегеничней других кандидатов. Зрители не всегда помнили, о чем говорил, к чему звал Кеннеди, но его привлекательность, обаяние не позволяли его забыть, выделяли его. Конкуренты обвиняли честолюбивого сенатора в отсутствии глубины, злословили, что если он и победит, то будет это не потому, что он умней или подготовленней других, а в итоге буйной до неприличия рекламы, граничащей с трюкачеством. Даже если соперники Кеннеди были в чем-то правы, никаких Америк они не открывали. Все это в США было и раньше. Чего тут прежде не было и что Кеннеди с успехом максимально использовал, это подведение под политический балаган, именуемый в Соединенных Штатах избирательной кампанией, электроники.

В вышедшей в Соединенных Штатах в канун последней избирательной кампа-

нии книге «Манипуляторы», показывающей, что делает с американцами телевидение, ее автор Роберт Собел предсказывал: «По всем данным, следующий президент США, и уж во всяком случае тот, что его сменит, первым станет главой исполнительной власти наступавшего века средств массовой информации, периода, когда уже не различишь грани между реальностью и вымыслом. Телевидение и кино сумели сделать то, что прежде никому не удавалось,—они помогли расстроить процесс политической жизни в Америке и искалечить партийную систему, заменив их «плебисцитной демократией», поддерживаемой с помощью не столько выборов, сколько опросов населения. Началось все это в 1960 году. Сейчас уже и не скажешь, к чему это приведет».

Допустим, что это в какой-то степени из области теоретизирования. Послушаем тогда человека, который ссылается на опыт — на собственный опыт — чисто практического свойства.

...Осенью 1977 года по одному из каналов американского телевидения была передана нашумевшая серия интервью с бывшим президентом Ричардом Никсоном. Интервьюер Роберт Фрост, пробившийся на американский экран с английского телевидения (о Фросте говорят, что его профессиональная хватка и умение делать деньги заметно перевешивают все остальное), решил на этой серии, что называется, «поплясать».

В самой идее растянутых на несколько программ телевизионных бесед с фактическим главным действующим лицом так называемого уотергейтского дела — подлинного землетрясения в политической жизни США — была заложена взрывная сенсация. По поводу Уотергейта к тому времени уже не только отшумели политики и политики, публицисты и мужи из академического мира, но и были выпущены десятки толстенных книг и поставлены фильмы, в том числе и телевизионные. Никсон же молчал, наотрез отказываясь иметь дело с ненавистной ему американской прессой, а тем более телевидением. И вдруг Фрост подписывает с экс-президентом миллионный контракт и, засев с ним на несколько недель в его поместье в Сан-Клементе на благословенном калифорнийском берегу, снимает десятки часов начиненных динамитом интервью.

Фрост, как считают здешние специалисты этого дела, истерзал бывшего хозяина Белого дома не только безжалостными вопросами, но и откровенным стремлением устроить из всего, что скажет Никсон, шоу, за которое потом можно было бы заплатить с телевизионных станций любую цену.

Трудно сказать, что в первую очередь прельстило в этих телевизионных программах самого Никсона: полумиллионный гонорар, шанс уже постфактум попытаться что-то доказать, обелить себя или просто возможность еще раз оказаться в ушедших огнях рампы. Так или иначе, американцы несколько вечеров смотрели — одни с изумлением, другие, все еще кипя яростью, третьи не без жалости — на своего бывшего президента, на то, как Фрост деловито вытряхивал из него душу. Большинство было разочаровано увиденным и услышанным. Никсон между тем сказал немало любопытного, в том числе и об американском телевидении.

Когда-то, покидая Белый дом, Д. Эйзенхауэр, что часто вспоминается, обратился к стране с серьезным предупреждением. С легкой руки одного из своих спичрайтеров — помощников, подготавливающих речи, — он пустил в оборот популярное ныне выражение «военно-промышленный комплекс», указав, какую власть взял в свои руки в Соединенных Штатах этот комплекс и какую угрозу несет он с собой и американскому и другим народам.

Р. Никсон выступил со своим предупреждением об угрозе, сгустившейся над Соединенными Штатами, — об угрозе, которую несет с собой телевидение. Заявив Фросту, что стал жертвой американских средств массовой информации, экс-президент подчеркнул особую роль, которую сыграло в его судьбе объявившее-де ему подлинную войну телевидение. Далее между интервьюером и интервьюируемым состоялся следующий небезынтересный диалог.

Фрост. Но ведь вы как президент обладали огромной властью, которая в числе прочего позволяла тоже использовать, когда требуется, телевидение.

Никсон. Нет, это не совсем так. По телевидению я мог выступать один максимум

два раза в месяц, в их же руках это оружие было круглосуточно, они меня травмили ежедневно, ежечасно.

Фрост. Выходит, что если бы вы были главой телевизионной сети или владельцем «Вашингтон пост», в ваших руках было бы больше власти, чем когда вы были в Белом доме на посту президента?

Никсон. Безусловно.

Никсон, понятно, преувеличил. С прессой, а тем более с телевидением, у него всегда были особые счеги, и его объяснение случившегося, вне всяких сомнений, предвзятое. Отрицая существо уотергейтского дела, он хотел бы все свести к интригам, мести, заговорам. И все-таки в том, что американский экс-президент сказал в беседе с тележурналистом-англичанином, есть немалая доля истины. Средства массовой информации, и прежде всего телевидение, действительно сыграли важную роль в низвержении Никсона и его «команды».

Телевидение все меняет. Когда-то считалось само собой разумеющимся, что миллионеры в Соединенных Штатах, помимо промышленников, банкиров, прочих дельцов, — это кинозвезды. Теперь много больше, чем в Голливуде, миллионеров плодится на телевидении. Речь при этом идет не о суперзвездах вроде Джонни Карсона с его еженедельно передаваемой по Эн-би-си и ретранслируемой 225 станциями развлекательной программой, у которого оклад в три миллиона долларов в год, а о журналистах.

Не лучшее занятие: подсчитывать чужие доходы, но цифры, которые я сейчас приведу, широко известны в США, более того, их рекламируют. Все трое дикторов-ведущих вечерних получасовых программ новостей в основных телевизионных компаниях, включая Кронкайта, получают в год около полумиллиона долларов. Эй-би-си, переманившая к себе из Эн-би-си популярную телевизионную диву Барбару Уолтерс, специализирующуюся на репортажах и составлении новостей, подписала с ней пятилетний контракт на сумму в пять миллионов долларов. Барбара Уолтерс, по своему уровню очень средняя, но, что важнее, пробивная и, что имеет решающее значение, известная каждому американцу журналистка, стала чемпионом. У нее зарплата миллион долларов в год, это больше, чем у председателей правлений самых больших корпораций мира — нефтяной «Эксон» и автомобильной «Дженерал моторс».

Что общего у этих телевизионных журналистов-миллионеров с американским народом? Можно ли от них ожидать если не согласия на сколько-нибудь существенные перемены в стране, то хотя бы сочувствия? Каким, наконец, им видится мир, происходящие в нем — в целом никак не способствующие укреплению системы, которой они верно служат, — процессы? Вот и выходит, когда в программе новостей упоминается об очередной забастовке шахтеров, невзначай оброненное комментатором слово или просто легкая усмешка на лице ведущего программы ясно говорят миллионам телезрителей, в целом не очень, когда их самих это непосредственно не касается, сочувствующих забастовщикам: смотрите, они снова валяют дурака, каждый год выбивают прибавки, и им все мало! Получается так, что каждый раз, когда в программе новостей доходит очередь до излюбленной темы — поимки очередного грабителя ли, торговца наркотиками или какого другого правонарушителя и он оказывается негром или пуэрториканцем, — в голосе ведущего отчетливо слышна юдкрепленная зрительным рядом на экране и опять-таки сплошь и рядом разделяемая многими из белых американцев досада: ну конечно, опять эти цветные, чего другого от них ожидать!

Очень многое получается, когда миллионеры уже не только оплачивают рекламу, но и составляют бюллетени новостей и читают их с экрана. Что-то намеренно из вечера в вечер, из передачи в передачу выпячивается: при всех неполадках и срывах какая славная, демократичная страна Соединенные Штаты, как, в конечном счете, здесь непременно одерживает верх справедливость и как безобразен мир вокруг Америки с его катаклизмами, голодом, дикостью... Что-то — так, словно этого вообще не существует, — полностью замалчивается...

«Нью-Йорк таймс» как-то прорвало откровенностью. Газета поместила обзор, в котором рецензировались передаваемые по американскому телевидению документальные фильмы. Цитирую этот обзор (20 февраля 1977 года): «В мире телевизионных

документальных фильмов существует семь смертельных табу. На своем экране вы никогда не увидите документальную хронику, затрагивающую такие темы: верхушка профсоюзозов, большой бизнес, ведущие телевизионные компании, автомобильная промышленность, ядерная энергия, военно-промышленный комплекс, внешняя политика США». В обзоре приводится пара случаев, когда «смертельное табу» нарушили. 15 августа 1975 года по Эй-би-си показали программу, приоткрывшую завесу тайны над тем, что творится в автомобильной промышленности, а до того, 23 февраля 1971 года, по Си-би-эс дали передачу о Пентагоне, лишь слегка коснувшуюся правды о военно-промышленном комплексе. Авторы обеих программ вынуждены были уйти с телевидения, объясняет «Нью-Йорк таймс».

Газета сказала не все. «Смертельные табу» распространяются не только на документальные фильмы, но и на все другие программы американского телевидения, в том числе бюллетени новостей. Чем другим объяснять, что на протяжении почти целого десятилетия подавляющее большинство жителей этой страны не имело ни малейшего представления о том, что в действительности происходило в Индокитае? Тем большим было потрясение людей, когда грянул гром, когда скрывать, что США потеряли во Вьетнаме сокрушительное военное, не говоря уж о морально-политическом, поражение, стало невозможно. Или другое, не такое острое, но тоже потрясение, испытанное американцами в связи с событиями в Анголе. Когда силы Национального освобождения стали тут брать верх над империалистическими наемниками, средства массовой информации США, телевидение в первую очередь, подняли невообразимый шум: коммунисты-де развязали в этой африканской стране агрессию. Боюсь, что многие неискушенные читатели и зрители поначалу этому поверили. Уж много позднее они слегка разобрались что к чему, до них дошла крупная правда. Винить их в этом опоздании трудно. Доказано документально, с помощью модных ныне опросов подтверждено, что абсолютное большинство американцев до победы революции в Анголе вообще не подозревали, что в этом регионе целое десятилетие шла война против португальских колонизаторов, а затем, когда их смели, против оплаченных ЦРУ и другими ведомствами сепаратистов. Целое десятилетие неукоснительно действовало табу на всякое упоминание об Анголе в стране, пронизанной телекоммуникациями, с газетами, выходящими на ста, а иногда и на двухстах страницах.

Очень много здесь табу не всегда таких очевидных, как упомянутые «Нью-Йорк таймс», но жестких, долгосрочных, а потому эффективных. Прожив в стране годы, на многое уже не так остро реагируешь, как поначалу. Наверное, тем не менее невозможно приспособиться к каждодневным шокам, которые испытываешь, когда сталкиваешься с американцами и обнаруживаешь, что они знают о нашей стране.

Тема не новая, но как привыкнуть к тому, что, оказавшись на званом обеде за одним столом с семью американскими бизнесменами, ведешь с ними разговор о том о сем, рассказываешь о своей стране, а затем вдруг улавливаешь вопрос одного из собеседников, с виду человека вполне информированного: «Я что-то слышал, будто у вас была революция, но вот не знаю когда».

На состоявшейся в конце 1977 года в Лос-Анджелесе национальной выставке СССР, рассказывающей о наших достижениях за шестьдесят лет, я переписал из книги отзывов посетителей такое высказывание мистера Поля Салливэна, президента торговой палаты этого второго по размерам города США: «Я слышал о выставке еще много месяцев назад и заранее составил о ней собственное представление. С большим удивлением я узнал о ваших богатейших ресурсах, обширных зонах отдыха, научном прогрессе и многообразии жизни в Советском Союзе. Пожалуй, самым потрясающим сюрпризом для меня оказался размах культурной жизни у вас, а также разнообразие и высокое качество товаров широкого потребления».

И бизнесмены за обеденным столом и мистер Салливэн информированы о советской жизни не лучше и не хуже большинства других американцев. Подозреваю, однако, что и они информацию об окружающем мире черпают преимущественно из телевидения. Но то, что им так мало известно о нас, не самое печальное. Много опасней другое: та скудная информация об СССР, о пройденном нами пути, о проблемах, волнующих советских людей, что до них доходит, обычно неправда.

Делается не по себе, когда в полной мере представишь себе влияние телевидения на жизнь людей в этой, да, наверное, и во многих других странах, когда задумаешься над тем, к чему все это может привести. Телевидение вошло в жизнь Америки не только как развлечение, подмявшее кинематограф, сделавшее театр достоянием совсем избранных, не только как главный поставщик информации, определяющий, что людям нужно знать и что им знать не следует, но и как наставник, диктующий вкусы, моды и весь образ жизни. Жить, как по телевизору, — это не только покупать рекламируемые таблетки от бессонницы и посудомойки, не только есть, пить, спать, одеваться, ходить в гости, как по телевизору, но еще и разговаривать с соседом и ссориться с женой, радоваться и горевать, любить и ненавидеть, как по телевизору. Звучит неправдоподобно, но, наблюдая американскую жизнь, теперь часто уже и не поймешь, где телевидение, а где реальность, где кончается действительность и где начинается экран. Поразительная телевизионная серия, которую американцы увидели несколько лет назад, лишь подтвердила это. Эта история, хоть в свое время о ней уже и шла речь, заслуживает особого разговора.

Шустрый телевизионный продюсер по имени Крэйг Джилберт решил сделать нечто такое, что до него никто не предпринимал: не просто рассказать о жизни американской семьи, но поселить с этой семьей телевизионные камеры. Семью долго, тщательно выбирали. Исходили из того, что должна она быть типичной, но по состоятельности выше среднего уровня, счастливой, но со взрослыми или хотя бы подрастающими детьми, что обычно порождает проблемы, — они нужны были для драматургии.

Остановились на семействе пятидесятидвуухлетнего Вильяма Лауда, которого все звали Биллом, владельца не очень крупной, но преуспевающей строительной фирмы. Семейство проживало в калифорнийском городке Санта-Барбара, что к северу от Лос-Анджелеса. Миссис Патрисия Лауд, для всех Пэт, в то время сорокашестилетняя, была в меру привлекательной, светской и эмансипированной. Пятеро подростков, но еще не разлетевшихся из родительского гнезда детей. Дом с бассейном — полная чаша, где всегда гости, в основном друзья детей. Благодатный калифорнийский климат. Вкупе все это было предельно телегеничным, идеальным для показа на экране.

В доме Лаудов на семь месяцев поселилась телевизионная команда. не выпускавшая из рук камер, фиксировавших каждый шаг каждого из членов этого сверхблагополучного американского семейства. Лауды стали участниками самого продолжительного за всю историю телевидения шоу. Семь месяцев они жили под прицелом телевизионных камер, которые ни на момент, исключая уж самые интимные, их не отпускали.

Зачем они на это согласились? Билл и особенно Пэт Лауд и не думали скрывать истинные причины. «Это там, на восточном побережье, живут ушедшие в себя мизантропы, мы же, калифорнийцы, народ открытый, мы любим себя показать, — напишет позднее Пэт в книге, о которой еще будет сказано, и добавит с полной откровенностью: — Мы искали известности, славы, и мы знали также, что это принесет нам доходы». Перо жар-птицы, словом, показалось близким, знаменитая американская мечта вдруг стала почти явью.

Конечно же, они семь месяцев играли. Не верю, да и никто из тех, кто видел позднее двенадцать телевизионных программ, в которые уместилась семьимесячная жизнь Лаудов, не верил, что люди могут оставаться самими собой, зная, что на них нацелены телевизионные камеры, когда, как ни великолепны калифорнийские пейзажи, они погрязли в буднях. Должен, однако, признать, что, хотя наигранности было достаточно, все семь членов семейства мужественно держались в рамках свойственной американцам раскованности, что, как известно, не одно и то же, что развязность; если и устраивали спектакли, делали это на удивление умело. И все-таки при всей завидной раскованности Лаудов, искусстве продюсера, мастерстве операторов и монтажеров все это выглядело пугающе странным, если не противоестественным. Камеры все-все показывали.

Вот у Пэт с Биллом скандал. Он погуливает, ей, понятно, это не нравится. Зная, что телевидение не дремлет, она, стараясь сдерживаться, ровным голосом выговаривает ему: «Ты мерзавец, ты грязная свинья!» Он, как водится, оправдывается. Может, и сам сказал бы что покрепче, да камеры мешают. Делала, их дочь, по всему ее по-

ведению, недвусмысленным намекам недавно потерявшая девственность, по телефону жалуется на родителей Брэду, своему возлюбленному: «Боже, как я от них устала, они как кошка с собакой. Сегодня сцепились из-за того, нужно ли сыр класть в холодильник. Нет, я в жизни никогда не выйду замуж!» Брэд лениво роняет: «Ну, это мы еще посмотрим». Делайла спохватывается: «Нет, ты не в счет».

Показали, как двадцатилетний сын Лэнс отправляется в Нью-Йорк «завоевывать мир». Как мама приезжает его навестить и обнаруживает, что в кругах богемы, в которые он так рвался, Лэнс сошелся с гомосексуалистами и сам им стал, как спокойно отнеслась к этому мама, как она довольна, что Лэнс твердо стоит на собственных ногах, что с ним все в порядке.

Показали, как Пэт и Билл встретились после его приезда из очередной «деловой» командировки. Дети целуют папу, мама же сидит не шелохнувшись, напряженная, но вполне выдержанная. Как в следующем эпизоде она сообщает мужу, что беседовала с адвокатом насчет развода и тот заверил, что процедура будет не слишком сложной. Как он собирает пожитки и уходит из дома, а она, оставшись без мужа, размышляет на диване, слегка раскачивается, курит. Как они спокойно, по-американски деловито обсуждают вопрос об алиментах. Он не скуп, и деньги у него водятся, но в Америке к ним относятся с уважением, ими не швыряются.

Она (в присутствии адвоката). На медицинские расходы нужно не меньше двадцати долларов в неделю.

Он. Я думаю, пятнадцать будет достаточно.

Она. Не забудь, что мне, кроме того, нужно оплачивать занятия Мишель по музыке, да и парикмахер недешево стоит.

Он (нервно перебирая пальцами, по лицу его ходят желваки). Хорошо.

Телевизионные камеры не просто фиксировали ход событий в семье Лаудов — на эти семь месяцев они стали ее активными членами. Под камеры подстраивались, на них работали, жизнь подгонялась под телевизионный сюжет, они диктовали Лаудам, как и что надо делать. Если миллионы американцев стараются жить, как по телевизору, то это семейство жило по телевизору. Реальность слилась с шоу-бизнесом, подчинилась его требованиям, капитулировала перед его ультиматумами. Хотя Билл и Пэт заверяли потом, что у них не ладилось еще и до этой телевизионной одиссеи, для всех было очевидно, что камеры, внесшие еще большую напряженность, искусственность, фальшь в это семейство, ускорили их развод. Камеры диктовали, но они и, как рентген, высветили, в каком отчуждении жили все семь членов этой семьи, как глубоко безразличны они были друг другу, каким призрачным оказалось благополучие состоятельного дома.

Камеры убрали. Страна, ко многому привычная, пораженная смотрела потом серию из двенадцати программ, озаглавленных «Американская семья». Смотрела, когда семьи уже не было. Все разбрелось кто куда: дети разбежались, Пэт переехала на жительство в Нью-Йорк, Билл остался на месте со своей фирмой, обзавелся новой женой — он очень доволен исходом. Каждый на некоторое время стал знаменитостью и постарался извлечь из этого материальную пользу: оплаченные газетные и журнальные интервью, выступления по телевидению. Мама в содружестве с профессиональной журналисткой выпустила книгу, озаглавленную «История одной женщины». Книга принесла не очень большой доход, да и вообще вышла пустяковой, вялой, но одно Патрисия Лауд сумела в ней выразить четко: телевидение перевернуло и ее, и детей, и бывшего мужа жизнь, совершив над ними насилие, разметало их.

«Сложилось целое поколение людей, никогда не знавших ничего другого, кроме того, что выходило из телевизионной трубки. Эта трубка стала евангелием, за ней — последнее слово! Она может создавать или ликвидировать президентов, пап римских и премьер-министров!» — кричит в нашумевшем фильме «Телесеть» комментатор Говард Били, вроде бы свихнувшийся, но именно потому ставший пророком, приносящим использующей его компании сумасшедшие доходы. Кричит в телевизионные камеры и, чтобы показать могущество телевидения, доказать, что оно стало для американцев истинной реальностью, а все остальное отнюдь не второй план, дает зрителям команду открыть в своих домах окна и кто как может выразить себя. И по всей Америке отворялись окна, и миллионы людей стали кричать каждый свое. А ликующий Били,

пообещавший совершить перед камерами самоубийство, в самом деле валится в разгар очередной программы на пол и умирает, и его хозяева делают из этого самое грандиозное шоу, в последний раз хорошо зарабатывая на нем.

Картина выглядит злым шаржем, на деле же показанное в ней очень, очень близко к действительности. В «Телесети» все сколько-нибудь посвященные сразу же узнали одного из трех американских китов, а уж то, что на американском телевидении зарабатывают на чем придется, включая показ того, как люди умирают, совсем не новость.

На некоторое время новостью, правда, стала относящаяся к началу 1977 года история с Гэри Гилмором, приговоренным к смертной казни убийцей. У него объявился литературный агент, еще до приведения приговора в исполнение пустившийся в торг с телевизионными компаниями: кто больше заплатит за право первым показать, как проходила казнь. Конкурентов обошла Си-би-эс. После казни по Си-би-эс стали всё рассказывать: и как за несколько минут до казни Гилмору дали выпить виски, и как он затем попросил — стреляйте, дескать. И всё показывать, включая репортеров, нежно гладивших окровавленные дыры в массивном деревянном кресле, к которому во время казни был привязан обреченный. Может, кто посовестливей на телевидении тоже морщился, но подо все это прекрасно шла реклама, а за ее минуту, напомним, берут от 100 тысяч до четверти миллиона долларов.

А еще в том же достопамятном для телевидения 1977 году случилось, да еще и продолжается другая удивительная история. Она развернулась вокруг так называемого сына Сэма. Тут казнью не пахнет, но заработано еще больше.

В середине 1976 года в нью-йоркском районе Куинзе случилась серия убийств. Жертвами становились юные женщины, в основном блонетки, или на американский лад уединявшиеся в припаркованных в темных аллеях автомобилях парочки. Кто-то без видимых на то причин выпускал им в голову по нескольку пуль. Пуля-то и показала, что убийца был один и тот же: неизменно пользовался револьвером «бульдог» 44-го калибра.

В стране, где каждый год совершается 5 миллионов сопровождаемых насилием преступлений, в том числе 20 тысяч убийств, где несколько миллионов человек регулярно проходят психиатрическое лечение, а в личном пользовании находится до 50 миллионов единиц оружия, случалось и не такое. В Нью-Йорке, где процент преступности (с 1960 по 1973 год только на Манхэттане, его центральном районе с полутора-миллионным населением, насильственных преступлений совершено больше, чем за то же время по всей Англии с ее 60 миллионами жителей) и психических заболеваний много выше, чем в целом по стране⁶, выстрелы в Куинзе тем более не казались чем-то необычным. Сенсацию с каждой новой жертвой 44-го калибра на глазах стали создавать газеты, но главным образом телевидение. Вокруг стрелявшего в Куинзе очевидного психопата, которого тихо бы взяли и изолировать от общества, не просто подняли шум. По всем законам американских средств массовой информации ему стали делать громкую рекламу.

Телевидение и газеты соревновались в изобретательности: по одним версиям действовал новоявленный Джек-потрошитель — женоненавистник, по другим — взбесившийся наркоман, по третьим — изломанный, полный ненависти к окружающему миру ветеран вьетнамской войны. Соревновались, смакуя подробности в описании убийств, в нагнетании страха, которого и без того хватает на улицах американских городов.

В вечерних новостях довелось тогда видеть в числе других такой репортаж. Отец четырнадцатилетней девочки пришел в полицию и заявил, что, как ему кажется, кто-то преследует его дочь, и это не иначе как «сын Сэма». Двое переодетых полицейских стали следить за девочкой, а телевидение снарядило команду, которая следила и за девочкой и за полицейскими, у одного из них даже взяли интервью. Полицейские никого не поймали, телевидение же выловило сюжет, под него, как водится, неплохо заработали на рекламе.

⁶ Цифры даются по текущим материалам американской прессы.

Такие репортажи создали «сыну Сэма» известность, которой позавидует кандидат в президенты. Он же, почувствовав, видно, вкус к славе, прислал одному из здешних невысокого пошиба, но бойких и популярных репортеров письмо, пообещав в нем в ближайшие дни осуществить новое убийство того же рода. Когда в точном соответствии с обещанием убийца совершил еще одно нападение, но на этот раз не в Куинзе, где на ноги была поднята вся полиция, а в Бруклине (застрелил девушку, тяжело ранил ее друга), телевидение, а вместе с ним радио и газеты будто сошли с ума. Программы новостей, первые страницы газет заполнили аншлаги, намеренно, профессионально, с точным знанием людской психологии сеявшие ужас.

Они своего добились. В городе, где убивают средь бела дня на улицах, в метро, в магазинах, где в некоторых районах люди научились жить так, что они почти не выходят из своих домов («Мой дом — моя крепость!»), несколько, по существу, ничего нового не внесших в нью-йоркскую действительность убийств породили панику. Поставим все на свои места: убийце-психопату одному такое было бы не по силам — панику умышленно, в чисто корыстных интересах сработали телевидение и газеты. Истеричные крики: «Сын Сэма ищет очередную жертву!», «Город в страхе!», «Не выходите на улицу!» — сделали свое дело: Нью-Йорк погрузился в больший, чем обычно, густо замешанный страх.

«Сына Сэма» все-таки взяли. Взяли, заработав на газетных тиражах и телевизионной рекламе многие миллионы. В том, что реклама тут ничем не брезгует, всем хорошо известно. Но то, как делали деньги на фактическом прославлении убийцы, подогревании людского страха, на этот раз выглядело особенно мерзко. Как выяснилось уже после ареста преступника, реклама эта выступала в роли того же убийцы. «Сына Сэма» с его револьвером 44-го калибра не в переносном, а в буквальном смысле она подталкивала на дальнейшие дела. В комнате убийцы обнаружили целую кипу относившихся к его деяниям газетных вырезок: ночью стрелял, утром, читая газеты, глядя на телевизионный экран, хмелел от всеобщего внимания, шума, эпитетов — мнил себя личностью, искал новых жертв для 44-го калибра.

То был лишь первый акт очередной американской трагикомедии. Акт второй начался еще до того, как на ничем не примечательного двадцатичетырехлетнего почтового служащего, свихнувшегося на окружавшем его с младенческих лет культе насилия, пронзительном одиночестве и вошедшем в его рацион во время службы в армии в Южной Корее зелье ЛСД, надели наручники. Что его рано или поздно возьмут, можно было не сомневаться. Теперь выяснилось, что еще до его поимки телекомпания, кинофирма, издательство заключали договоры на сценарии и книги об истории его жизни, о том, как он целился в головы людей и что при этом испытывал. А когда грузная фигура окруженного детективами «сына Сэма» с его безмятежной улыбкой на лице появилась на телевизионном экране, поднялся такой гвалт, пошел такой торг, что взяло невольное сомнение, один ли сорвавшийся с цепи почтовый служащий не в порядке или все окружающее его общество.

Но и это не все. Когда он убивал, зарабатывали телевидение и газеты. Теперь на этой истории решили погреть руки все, кто имел к «сыну Сэма» малейшее отношение. Шестидесятипятилетний сосед, которому посчастливилось стать предметом ненависти убийцы-знаменитости, потребовал за интервью 15 тысяч долларов. Бывшая подружка, не растерявшись, стала поштучно торговать письмами экс-возлюбленного: за одно взяла 200, за другое 500 долларов. Родители двадцатилетней девушки, последней получившей пули, выпущенные из 44-го калибра, тоже пустились в безумный пляс. Едва захоронив дочь, сразу предъявили два иска — один «сыну Сэма», другой бруклинской полиции, на общую сумму в 20 миллионов долларов. Не в два (дешево) и не в 200 (было бы чересчур); а взвешенно, в итоге тщательных подсчетов в 20 миллионов долларов оценили жизнь ушедшей дочери. В обществе, где доллар и высшая доблесть, и индустрия, и утешитель, почему не заработать?

Круг замкнулся в полном соответствии с логикой сумасшедшего дома. Адвокат, взявший на себя на первый взгляд неблагодарную, а на деле оказавшуюся золотым дном задачу защиты на суде почтового служащего-убийцы, дал этой картине последний, все определивший штрих. Тоже прикидывал — что же из этого можно получить, не продешевить? — а затем устроил своего рода аукцион. Выставил на нем

шесть часов магнитофонных записей с голосом «сына Сэма», лично рассказывающего свою историю. «Он говорит обо всем, что совершил, — об убийствах, обо всем. Это волнующий, самый волнующий из всего, что мы до сих пор слышали, рассказ!» — захлебывался от восторга, рекламируя пленки, торговый агент адвоката. И совсем уж удивительное: предлагая записи, адвокат объявлял, что заручился доверенностью от убийцы, что две трети доходов пойдут ему, «сыну Сэма», — чем, мол, он хуже других, в конце концов, без него ни у кого не было бы прибыли, так не ему ли принадлежит право первой ночи, не ему ли по справедливости раньше других рассказать собственную историю, ну и, разумеется, тоже заработать на ней?

Я привожу факты. Для меня самым поразительным в те дни было то, что все рассказанное в Соединенных Штатах никого особенно не удивило. Все хотят заработать, не на одном, так на другом — что ж тут особенного? Приблизительно в это же время умер Элвис Пресли, зачинатель рок-н-ролла. Трое его охранников тут же, не успели еще отпеть их бывшего хозяина, начали направо-налево распродавать «мемуары» о нем, в которых перемешали были с небылицами, наплели бог знает что. Молодцы, не растерялись — по большей части, пожалуй, такова была реакция на их инициативу.

Ну а как же с моралью, просто с нормами элементарных приличий? Кого спросишь об этом: бывшую возлюбленную «сына Сэма», торгующую его письмами, его адвоката или газетно-телевизионных коммерсантов? Задай наивный вопрос и услышишь в ответ: «Мораль? А сколько это стоит?» Такова здесь окружающая среда, к созданию которой телевидение за свое относительно недолгое существование определенно успело приложить руку.

Особенно не по себе делается, когда думаешь о детях. Они, неподготовленные, доверчивые, ранимые, в Соединенных Штатах в первую очередь жертвы телевидения. Проведенное недавно исследование показало, что 13 процентов выпускников американских средних школ читают настолько плохо, что не могут разобрать надписи, регулирующие уличное движение. Уолтер Кронкайт сообщил в своей программе новостей 10 июня 1977 года, что «многие выпускники американских школ вообще не умеют ни читать, ни писать и общий уровень их знаний не понимается выше третьего класса. США, похоже, теряют один из самых жизненных ресурсов — образованную молодежь», — мрачно резюмировал он.

Все это не только плохая постановка обучения в школах, но еще, а может быть прежде всего, и телевидение. Подсчитано, что к восемнадцати годам жизни каждый американец проводит перед телевизионным экраном 20 тысяч часов, то есть много больше, чем в классной комнате. В часы пик зрителям показывают в течение 60 минут от 5 до 9 случаев насилия, а по субботам эта цифра порой вырастает до 30. К четырнадцати годам американский подросток свидетельствует убийство, часто во всех деталях, 11 тысяч человек. Фонд содействия развитию детей выявил в результате опроса, что две трети американских мальчиков и девочек в возрасте от семи до одиннадцати лет живут в постоянном страхе, им кажется, что кто-то «плохой» в любой момент может войти в их дом.

Как такое позволяется? «А при чем тут телевидение? — отвечает на это Генри Левинсон, президент Национальной ассоциации работников вещания. — Мы не считаем, что по телевидению показывают больше насилий, чем их демонстрирует действительность нашего общества».

Детская психика разрушается. Юных телезрителей, с одной стороны, преследуют кошмары, с другой — их каждодневно убеждают в том, что насилие, включая убийство, — нормальный способ решения всех жизненных проблем. Во Флориде в конце 1977 года проходил уникальный судебный процесс. На скамье подсудимых был пятнадцатилетний Ронни Замора, выстреливший в восьмидесятидвухлетнюю женщину и убивший ее. Парень оправдывался тем, что поступил точно так, как это делает полицейский лейтенант Коджак в одноименной телевизионной серии. Судьи пребывали в немалом смущении: кого же на скамью — Ронни или телевидение? Приняли соломоново решение — признать убийцу психически несостоятельным. Обвинить в чем-то телевидение не решилась.

Заметки о сегодняшнем американском телевидении можно было бы заключить реестром выводов. Не стану этого делать, потому что история скорее начинается, чем заканчивается. Несмотря на молодость, телевидение многое успело натворить, но все равно дело только разворачивается. Вот уже пробивает дорогу кабельное телевидение. На рынок поступили первые модели (японцы, конечно, снова вырвались вперед) кассетных телевизионных аппаратов индивидуального пользования. Можно не сомневаться: в ближайшие годы телевизионная техника еще многим удивит.

Удивит ли американское телевидение какими-нибудь переменами в содержании программ? То, что было до сих пор, не дает большой надежды на это. Такое могучее оружие, как телевидение, воссоединившись с озабоченными только прибылью коммерсантами, становится страшной, по своим разрушительным свойствам не уступающей водородной бомбе силой — вот главный итог первых десятилетий существования телевидения в этой стране. «Телевидение нельзя изменить до тех пор, пока оно остается в руках бизнесменов. Соединенные Штаты совершили чудовищную ошибку, позволив, чтобы это невероятное по мощи средство воздействия на людей стало высокоприбыльной, быстро растущей отраслью промышленности. Если мы сегодня как нация менее счастливы, уверены в себе и умны, чем тридцать лет назад, во многом это связано с тем, что мы стали поколением телезрителей», — сокрушается американский публицист Уильям Шэннон⁷.

Энтони Льюис, пользующийся репутацией серьезного, глубокого публициста, настроен еще более мрачно. Его откровенно пугает утвердившийся на телевидении США культ насилия. «Бойню, которую Максимилиан устраивал на арене цирка гладиаторам и христианам, обычно считают символом заката Рима. Что же сказать о стране, где превращают в цирк исполнение приговора за совершенное преступление и казнь воспроизводят в каждом доме? Может общество смаковать такие зрелища, не деградируя при этом?» — спрашивал он после того, как по телевидению отшумел карнавал в связи с расстрелом Гэри Гилмора⁸.

Восьмидесятидвятилетний доктор Зворыкин, которого в Соединенных Штатах считают изобретателем телевизионной трубки, в свою очередь пребывает в тревоге почти такой же, какую испытали некоторые причастные к расщеплению ядра американские ученые, услышав об испытании первой атомной бомбы.

С телевидением не менее сложная, хотя на первый взгляд не такая драматическая история. Конечно же, для миллионов, если не миллиардов, людей оно стало бесценным источником информации, заполнило их досуг, украсило будни. В общем, выходящем за пределы Америки балансе положительное, несомненно, перевешивает то негативное, что принес с собой век телевидения, — поверхностность информации, создающей иллюзию информированности, бездумное времяпрепровождение у экрана, разъединение людей, которым телевизор оставляет все меньше возможности да и желания общаться, беседовать. Телевидение и у нас, как известно, не обойдено проблемами, и некоторые из них — в таком серьезном деле не стоит заблуждаться — еще не встали во весь рост. Но в Советском Союзе, других социалистических странах сам образ жизни нейтрализует многие из опасностей.

При капитализме телевизионные проблемы, впитывая в себя присущие этому строю пороки, удесятерятся. В Соединенных Штатах они спрессовались в динамит. Телевидение не просто перевернуло жизнь американцев, но — мне меньше всего сейчас хочется бросать тень на этих в массе своей достойных людей — пытается сделать из них подсобие роботов. Они и не подозревают, какой игрушкой стали в руках тех, кто командует телевидением, под какой повальный контроль попали. Джордж Орвелл, английский эссеист и писатель, в начале 40-х годов выпустил роман, в котором описал некое тоталитарное общество образца 1984 года. В романе, так и озаглавленном «1984», выведены люди-автоматы, которых держат под неусыпным круглосуточным контролем с помощью «телескринов» — установленных в каждой без исключения комнате устройств, вмещающих в себе и телеэкран и телекамеру. Что бы эти люди ни делали, о чем бы ни говорили, все фиксируется, все видно и слышно.

⁷ «New York Times», 3 сентября 1975 года.

⁸ «New York Times», 27 января 1977 года.

Нельзя, понятно, брать скопом всех жителей США — дело опять-таки упирается в культуру, интеллект, а иногда и материальную независимость людей, — но значительная их часть теперь выглядит героями Орвелла. Телевидение не только все о них знает, предупреждает их малейший порыв, предугадывает любое желание, но, как бы закладывая в них перфоленту, программирует их, точно указывая, как себя вести, что делать, а чего не делать. «Люди все больше изолируются один от другого. В скором будущем телезрителю не нужно будет больше идти на избирательный участок. Он сможет проголосовать, нажав дома кнопку. Ему не нужно будет ходить в школу: она будет дома, по телевизору, экзамены у него примет компьютер, он же выставит оценки. Люди, словом, удаляются от малейшего контакта с себе подобными», — говорит профессор Колумбийского университета Эрик Барноу, ведущий в США специалист по проблемам телевидения⁹. «Я не знаю, чем кончится этот роман с телевидением. Но мне боязно», — довелось услышать от Айзека Азимова, человека, который, кажется, привык угадывать будущее.

— Папа, Кронкайт, — слышу я голос сына.

Это значит, что уже семь вечера. И это также означает, что я сейчас на полчаса оставляю все дела и буду внимать голосу непреодолимо симпатичного оракула.

Нью-Йорк.

⁹ «US News and World Report», 1 марта 1976 года.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСЕЙ КАПЛЕР



СТРОКА В СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ

В начале 30-х годов поиски новых сюжетов для сценариев привели меня в редакцию газеты «Постройка», и я стал ее сотрудником.

То был орган Главстройпрома Народного комиссариата тяжелой промышленности. По формату эта газета походила на нынешнюю заводскую многотиражку, но пространялась она по всей стране и влияние ее было велико.

Разворачивалось гигантское индустриальное строительство, и Главстройпром, подчинявшийся наркомату тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, был одним из самых важных в стране учреждений. Редакционное удостоверение «Постройки» открывало мне все заводские проходные, все двери кабинетов, позволяло ехать на любое строительство, ходить на любые заседания.

Каких только не перевидал я за это время людей, какие характеры, столкновения, происшествия... все то, что сливалось в могучий процесс преобразования отсталой нашей аграрной страны в индустриальную державу.

Я встречал необыкновенных, ярких, талантливых людей — воспитанников Серго, решительных, смелых руководителей строек-гигантов, встречал героев и деляг, злопыхателей и самоотверженных трудяг. Встречал «хозяйственных» мужчин, которые берегли народную копейку и прозевывали народные миллионы, встречал и мальчиков-романтиков, которых не могли сбить с убеждений никакие испытания, встречал хватких собственников, греющих руки у большого дела... Кто только не попадался мне на пути... И все это вместе была великая стройка социализма. Никакие скверные свойства тех или иных людей не могли изменить главного — дело шло, в огромном котле все кипело и переваривалось.

Плохие работники наносили вред на том или ином участке, но остановить всенародный подъем никому было не под силу. Страна строилась, и над всем этим движением, возникшим во всех ее концах, стоял великий командир — большевик Серго Орджоникидзе.

Как-то, перелистывая старую записную книжку, я увидел странную запись: «Снять шубу ночью с прохожего, конечно, проще».

Кому, кроме меня, мог бы что-нибудь сказать этот отрывок фразы? А я вдруг очутился в большом светлом зале коллегии Наркомтяжпрома и увидел Серго, сидящего во главе стола, и множество людей, заполнявших зал. С мягким-мягким грузинским акцентом, который придавал особое очарование его русской речи, Серго обратился к толстому человеку, сидевшему среди вызванных на коллегию деятелей Наркомтяжа.

— Пожалуйста, товарищ Глинка, — оказал Серго, — пройдите сюда, вам слово, Василий Васильевич.

Глинка, директор Керченского металлургического завода имени Войкова, огромного, в целый город величиной хозяйства, прошел на место, предназначенное для докладчиков, место рядом с наркомом — между ним и его заместителем.

Мне, знавшему историю вопроса, стало жутковато смотреть на Глинку — такого уверенного обычно, такого веселого, милого человека, который вроде бы даже исхудал

мгновенно, пройдя на такое для него опасное место докладчика. Дело в том, что Керченский металлургический завод, одно из самых крупных в те годы и необычайно важных для народного хозяйства предприятий, в течение целого ряда лет лихорадило, он испытывал ужасающие неудобства и затруднения из-за отсутствия хорошего внутри-заводского транспорта. Это связывало могучий организм завода, и он часто не выполнял планы. Нужны были рельсы, чтобы протянуть пути от цеха к цеху и в самих цехах. А заявки завода на них не удовлетворялись.

И вот однажды сотрудник Глинки сообщил ему, что тут же в Крыму, недалеко от станции Джанкой, сложено в штабеля великое количество рельсов, принадлежащих Наркомпути,— видимо, предполагалось переложить какие-то участки железнодорожного полотна в Крыму.

В ту же ночь грузовики Керченского завода совершили разбойный налет на чужие рельсы и перебросили их в хозяйство Василия Васильевича Глинки.

Их тут же уложили, эти рельсы, вагонетки весело побежали по территории завода, из цеха в цех, а к концу квартала войковцы впервые за последние годы перевыполнили государственный план.

Узнал ли Орджоникидзе об этой сомнительной операции? Вот что мучило директора Глинку, вот почему он, такой всегда веселый, уверенный в себе, сейчас робко докладывал внушительные цифры перевыполненного плана, то и дело искоса поглядывая на сидевшего рядом наркома.

Серго, однако, ничем не показывал какого-нибудь недовольства по отношению к Глинке. Он внимательно слушал короткий доклад директора — по регламенту полагалось десять минут.

Как Орджоникидзе вел заседания! Другого такого председателя я никогда не видел. Неотразимое обаяние, блестящий ум, строгость и шутливость.

И все чувствовали масштаб личности Серго, неразделимо спаянный с естественной простотой, с его органической демократичностью. Мне кажется, решительно все (конечно, и я в том числе) были влюблены в Серго.

В сущности, заседания коллеги могли происходить в узком кругу ее членов да еще двух-трех вызванных по какому-нибудь вопросу работников с периферии.

Но Серго хотел, чтобы большой зал заседаний был полон.

Он сидел во главе огромного Т-образного стола. Вокруг — члены коллегии, а за их спинами, вдоль светлого зала — все директора заводов, начальники строек, главинжи, главмехи, начальники всяческих снабжений — все, кто к этому времени находился в командировке в Москве. Здесь принимались решения, изменявшие жизнь целых областей, здесь учились думать в масштабах страны, земного шара, учились экономить рубль и тратить миллиарды на строительство, здесь учились коллективизму, инициативности, взаимовыручке.

Здесь реально воплощались экономические идеи социализма. Своих помощников — начальников строек и директоров — Серго отлично знал и дорожил каждым. Имя Серго объединяло разбросанных по необъятным просторам людей. Это был единый коллектив. Какие сюжеты разыгрывались в этом зале, какие проявлялись могучие характеры!

Эта наполненность зала коллегии нужна была Орджоникидзе, чтобы до гигантской периферии Наркомтяжа, до его заводов и строек доносилось живое слово о том, что творится наверху, чтобы люди знали не только о принятых решениях, но и о высказанных мыслях, о спорах, сомнениях и трудностях. То была великая школа демократии и социализма. Думаю, что, кроме этих деловых, педагогических соображений, приглашение людей на коллегию вызывалось еще одной причиной.

Мне кажется, Серго приятна была сама атмосфера большой аудитории, внимательно слушающей, смеющейся в ответ на шутку, живо реагирующей на все происходящее на заседании,— ведь его окружали люди, живущие теми же интересами, что и коллегия Наркомтяжа: строители, создатели новой, социалистической индустрии.

Вернусь, однако, к истории директора Керченского завода.

Когда Глинка закончил доклад, Орджоникидзе сказал: «Спасибо, Василий Васильевич» — и тот пошел на свое место.

— Теперь вы, пожалуйста,— обратился Серго к человеку с седым ежиком, сидевшему в стороне.

Одернув френч, этот человек, оказавшийся ревизором Наркомтяжа, встал и отчетливо доложил все события, связанные с хищением рельсов.

Глинка при первых же словах ревизора тоже встал и стоял — руки по швам, слушал свой приговор.

— Ну что вы теперь скажете? — спросил его Серго. — Почему вы так некрасиво поступили, Василий Васильевич?..

Глинка — один из любимцев наркома. Их было десятка два — крупнейших руководителей, людей, которым Серго не только безгранично доверял, но которых считал своими ближайшими друзьями.

— Почему вы так поступили, товарищ Глинка? — повторил вопрос нарком.

— Товарищ Серго, — произнес наконец Глинка, разведя руками, — получить фондовые рельсы очень трудно, и, признаюсь, я пошел по более легкому пути...

Орджоникидзе усмехнулся:

— Снять ночью шубу с прохожего, конечно, легче, товарищ Глинка, чем заработать себе на шубу. Но это совсем не одно и то же, Василий Васильевич.

Глинка понял, что прощен.

Он действительно отделался выговором, а соответственное количество рельсов возвратили Наркомпути.

В другой раз на коллегии стоял вопрос о Союзпластмассе. Дела треста Союзпластмасса шли невесело. Созданный года за два до того, он систематически не выполнял план. Не припомню цифр, но дела у треста шли плохо, и управляющего решили снять.

По просьбе докладчика — снимаемого управляющего — за его спиной заранее установили нечто вроде классной доски. Над ней надпись: «Пластмасса в автомобиле», а на доске укреплены детали машины, сделанные из пластических масс: рулевое колесо с кнопкой сигнала, головка рычага скоростей, несколько шестеренок и т. п.

Когда настала очередь треста и управляющий — он же докладчик, — став на место рядом с наркомом, поднял руку, произошло нечто неожиданное: распахнулись настезь стеклянные створки двери зала заседаний и на его ковровую дорожку, держа над головами цветные пластмассовые подносы, ступили десять сотрудников треста Союзпластмасса. С изумлением смотрели присутствующие на яркие горы образцов продукции треста, лежащие на подносах.

В те годы ярко-красные пластмассовые чашки, желтенькие пластмассовые тарактушки для младенцев или многоцветные кувшины были непривычной новинкой, не вошедшей еще в быт.

Два подноса поставили на стол президиума, остальные на длинный стол членов коллегии.

Пошло оживление — государственные мужи превратились в детей, мгновенно разобрали все, что лежало на подносах, и стали рассматривать.

Один испытывал тарактушку и гремел ею на весь зал, другой открывал и звонко захлопывал пластмассовый портсигар, третий причесывался невиданной ярко-зеленой пластмассовой расческой, еще кто-то катал по столу маленький автомобиль...

Серго взял с подноса белоснежную флейту и, нажимая на хромированные клавиши, дул, пытаясь извлечь из флейты звук...

Я посмотрел на докладчика...

Он сиял: номер удался!

В зале стоял шум. Гости, подойдя к столу, перегибались через спины членов коллегии и тоже брали в руки невиданные штуки.

На столе с адским грохотом крутился на пластмассовом мотоцикле пластмассовый гонщик. Ложился и вставал пластмассовый ванька-встанька. От нажима группы прыгала пластмассовая болонка.

Смешались голоса людей, смех.

Отчаявшись извлечь звук из флейты, Серго наконец отложил ее и оглядел разыгравшийся зал.

Постучав карандашом по графину, Серго сказал:

— Тише, товарищи, тише...

Но то был единственный в истории случай, когда наркома Орджоникидзе не только не послушались, но просто не услышали.

Еще и еще раз безуспешно стучал он по графину, и тогда...

Тогда управляющий трестом Союзпластмасса, предвидевший этот момент, в соответствии с тщательно продуманным планом повернулся к доске экспонатов и нажал кнопку сигнала, расположенную в центре рулевого колеса.

И в зале заседаний вдруг раздался оглушительный автомобильный гудок. Оказывается, все заранее предусмотревший управляющий трестом установил именно на этот случай за доской экспонатов мощный «правительственный» сигнал с аккумулятором. Услыхав рев гудка, все замерли, затем расхохотались, а Серго, взглянув на управляющего с удовольствием, произнес:

— Ну, Мейерхольд... Ну, режиссер. Ладно, давайте докладывайте...

И «Мейерхольд», получив взыскание, остался на своем посту! А в следующем году дела треста пошли круто вверх.

Всякие бывали заседания коллегии, всякие решались вопросы, и далеко не всегда дело заканчивалось мягкими мерами. Но Серго неизменно бывал справедливым, мудрым и добрым.

Я неверно написал выше о всеобщей влюбленности в Серго — нет, это не то слово,— его просто безгранично любили.

ПРОБЛЕМА ПЕТУХА

Бесчисленное множество раз на протяжении десятков лет на пленумах, конференциях и съездах говорилось о том, что на экран выходит немало серых, скучных фильмов.

Писалось об этом в газетах, журналах и книгах.

А серятина все шла и шла на экран.

Почему? В чем причина?

Причин много. Но одна — важнейшая, а честно говоря, самая из них главная — то, что иной сценарист, режиссер рассуждали так: средненький сценарий, без претензий на новое слово, на важную мысль пройдет куда легче, чем серьезное, проблемное произведение. В «середнячке» ничего рискованного, нового, непривычного. Можно спать спокойно. Он, правда, не приносит студии славы и зрители останутся недовольны, но зато и осложнений не будет.

Руководители кинематографии об этом, естественно, помалкивали и объявляли единственной причиной возникновения серятины слабое знание жизни авторами сценариев и режиссерами.

Мне вспоминается случай, когда этот недостаток наших авторов пытался довольно своеобразно ликвидировать товарищ, руководивший в те годы киноискусством.

В один прекрасный день нас ознакомили с новым приказом. В первой, мотивировочной его части отмечалось, что на экран продолжают еще выходить серые фильмы, лишенные больших мыслей.

Это явление в приказе рассматривалось как недопустимое. С ним должна вестись жестокая борьба, для чего прежде всего надлежит уничтожить причину, порождающую плохие фильмы. Этой причиной объявлялось слабое знание жизни... далее следовало крупным шрифтом напечатанное слово «приказываю» и текст: направить группу в количестве тридцати двух сценаристов и режиссеров с целью изучения жизни в подмосковный совхоз «Горки II» сроком... на один день.

Потом шел список направляемых. В их число попал и я.

Место, куда нас направили, не совсем подходило для изучения жизни советской деревни в силу своего несколько привилегированного положения, но приказ есть приказ. Мы поехали.

Директор совхоза — человек, может быть, от рождения и добрый — встретил нас как лютый зверь.

Непрерывный поток экскурсий наших и не наших, направляемых именно в этот совхоз, совершенно измучил его. Сотни любознательных посетителей болтались в совхозе по целым дням и мешали людям работать. Далее мы попали под начало милой

женщины — главного ветеринара совхоза. Лицо ее показалось мне почему-то знакомым. Объяснение тут же последовало — один из приехавших со мной «изучать жизнь» добыл из кармана плаща последний номер «Огонька». Во всю обложку сияло улыбкой лицо этой самой сопровождающей нас женщины. Подпись под фотографией сообщала, что главный ветеринар совхоза «Горки II» награждена вторым орденом Трудового Красного Знамени.

Во все время нашего пребывания милая женщина-ветеринар смотрела на нас, как бы сдерживая улыбку. Допускаю, что мы действительно выглядели немного идиотами.

Особенно отличался в этом отношении один известный кинорежиссер почтенного возраста. На голове у него красовался испанский берет с хвостиком. Толстые стекла очков в роговой оправе неправдоподобно увеличивали глаза, и они казались постоянно удивленными. В руке у него была палка с серебряным набалдашником в виде головы Мефистофеля. Режиссер слушал объяснения, которые нам давались, с неимоверным вниманием и изумлением.

Милая женщина сказала, что она покажет нам птицефабрику совхоза, и по дороге к ней спросила, что нам известно о проблеме петуха. Мы ответили, что никогда ни о чем таком не слышали. Тогда наша руководительница рассказала о всемирной и весьма серьезной экономической проблеме петуха.

Суть ее в том, что петух — существо, оказывается, коммерчески убыточное. Пока он вырастет до веса, пригодного для продажи, на него уйдет средств больше, чем можно за него получить. Корм, электроэнергия, штат, накладные расходы и прочее в расчете на одного петюку стоят дороже его самого.

Иное дело — курица. Она и множество яичек снесет, и мясо у нее понежнее петушиного. Курица — птица рентабельная. Не то что петух. Если можно было бы заранее узнать, что вылупится из яйца — петух или курица, — то все сложности отпали бы. Яйца «женского пола» полностью закладывали бы в инкубатор и выращивали кур, а из яиц «петушиных» оставляли бы для выращивания только совсем малую часть — сколько потребуется для воспроизведения рода, а также для поднятия куриного тонаса (оказывается, само присутствие в стаде хвостатых, гребешкастых красавцев «мужчин» улучшает моральное состояние «женщин» и их яйценоскость).

Оставшаяся большая часть петушиных яиц, минуя инкубатор, шла бы прямо в продажу.

Однако, сказала нам наша руководительница, ученые, к сожалению, не открыли еще такого способа — распознавать пол птицы в стадии яйца, и потому проблему петуха приходится решать самим практически.

В разных странах это делается по-разному. В Англии, например, по сведениям нашей руководительницы, из вылупившихся петушков оставляют только нужное на племя количество, остальных же просто выкидывают на помойку, не расходуя лишних средств.

— Ну а мы цыплятами швыряться на помойку не собираемся и потому придумали другой способ, с которым я вас сейчас познакомлю...

Мы подошли к длиннущему, похожему на ангар зданию без окон. Внутри него справа и слева во всю длину шли вольеры, отгороженные металлическими сетками. Левые вольеры пустовали, а в правых роились тысячи, а может быть, десятки тысяч крохотных белых петушков. Посредине помещения имелся коридор, по которому двигалась женщина в белом подкрахмленном халате, толкая перед собой что-то вроде машины. То был высокий металлический цилиндр на колесиках. Из цилиндра исходил резиновый шланг с тонким пластмассовым наконечником, а в нижней части цилиндра имелась педаль.

— Как я вам уже говорила, — продолжала объяснения главный ветеринар, — выращивание петушка стоит слишком дорого, дороже, чем он сам. Это потому, что растет он медленно... Вот почему мы ввели этот скоростной метод выращивания. Смотрите...

Женщина, ведавшая «грозыным» агрегатом на колесах, открыла сетку вольера справа, где копошилась белая масса, и выхватила из толпы одного петушка, сжав ему шейку так, что он волей-неволей, а вернее сказать, именно неволей широко раскрыл клюв. В тот же миг она коварно насадила беднягу на наконечник резиновой кишки и нажала ногой на педаль.

При этом, как нам разъяснили, в птицу под давлением впрыскивалась строго отмеренная наукой высокопитательная, сверхкалорийная смесь, вынуждающая его сверхскоростно расти и толстеть. Затем женщина сдержала ошалевшего от страха петушка с наконечника, вбросила его в левый пустой вольер и схватила справа следующего.

Трижды в день все эти тысячи петушков насаживались на наконечник, в них давливали пищу и перекидывали справа налево, потом слева направо и опять справа налево.

Через три недели такой кормежки независимо ни от каких случайностей и настроений петух волей-неволей раздувался до продажного веса, его резали и отправляли в магазин.

Выслушал я все эти объяснения, и полезли в голову всякие мысли... Я загрустил. Вот она — петушинья жизнь... Три раза в день в тебя вталкивают жратву, потом сворачивают голову — и все. Что должен думать о жизни такой петяка?

Печальные мысли несколько развеялись, когда нас вывели из этого дома гастрономических ужасов во двор, где гуляло беликое множество взрослых веселых кур.

Вся эта компания самым допотопным порядком самопроизвольно клевала или не клевала зерно, дралась, гуляла и вообще жила настоящей жизнью.

В этом курином царстве разгуливало несколько шикарных петухов, видимо, из числа тех счастливцев, которые были оставлены на племя и ради куриного тонуса.

Я уже упоминал о режиссере в берете, который украшал нашу группу тонко организованных, неповторимых индивидуальностей. Это был человек, всю жизнь проживший в городе и никогда не видевший ни петухов, ни кур, если не считать зажаренных с чесноком цыплят-табака в ресторане «Арагви».

— Простите великодушно... — изысканно-светским тоном обратился он к нашей руководительнице, — могу ли я задать вам вопрос?

— Конечно, — ответила она, мгновенно оценив умным, ироничным взглядом моего коллегу.

— Не будете ли вы так любезны объяснить, почему у некоторых куриц имеется какая-то плешинка на спине... что это за плешинка? Не болезнь ли какая-нибудь? И не заразная ли?

Сдерживая улыбку, женщина ответила:

— Это вытоптано петухами.

— Гм... — произнес режиссер, высоко подняв брови и с большим интересом взглянув на куриное стадо, — позвольте мне задать еще один вопрос...

— Пожалуйста.

— А чем объяснить, что у одних куриц есть такие плешинки, а у других таких плешинок не имеется?

Глаза нашего ветеринара искрились смехом, но она ответила вполне серьезно:

— Эти курицы, очевидно, нравятся петухам больше, чем другие.

Режиссер ей, видимо, немного надоел.

Однако он снова заговорил:

— Извините, пожалуйста, но не позволите ли вы задать еще один, третий вопрос... А есть ли какое-нибудь научное объяснение — почему одни курицы нравятся петухам больше, а другие меньше?

— Видите ли, — с некоторым уже раздражением ответила она, — вот, например, вы мне совсем не нравитесь, а ваш сосед — ничего.. вот и вся наука.

Рядом с режиссером стоял красивый молодой сценарист с небольшой черной бородкой.

Вечером, «изучив жизнь», мы возвращались в Москву.

Режиссер сидел против меня с высоко поднятыми бровями, что означало у него состояние потрясенности и глубокой задумчивости.

Вдруг он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Не знаю как кто, а я лично узнал много нового и полезного сегодня...

Автобус трясло, меня одолевала дремота, и мне виделось нечто странное — нашего режиссера насаживали на пластмассовый наконечник, не оставляя на племя.

Много лет прошло с тех пор, но нангу эпопею «изучения жизни» я и теперь вспоминаю, когда вижу на экране какую-либо подделку под жизнь, пустую, бездарную картину.

Я ПРОДОЛЖАЮ ИЗУЧАТЬ ЖИЗНЬ: ТРОННАЯ РЕЧЬ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ

Однажды режиссера Сергея Юткевича и меня вызвали к кинематографическому начальству на Гнездиковский.

Пришли.

Председателем кинокомитета был в те времена товарищ Шумяцкий — старый большевик, соратник Ленина.

После того как впервые установили дипломатические отношения с Персией (Ираном), Шумяцкого назначили туда первым полпредом. Рассказывали, как он там сразу завоевал симпатии дипкорпуса.

Вот является наш советский полпред на первый дипломатический банкет. Сели за стол. У каждого прибора слева и справа штук по десять вилок, штук по десять ножей. Маленькие, побольше, большие. Прямые и косые. Да еще ложек разного калибра несколько штук перед тарелками.

Начинают обносить блюдами. Дипломаты приготовились повеселиться, смотрят — как-то этот «необразованный медведь» догадается, какая вилка для чего предназначена.. Смотрят, переглядываются.. И их дипломатические дамы в вечерних туалетах, с обнаженными плечами, сверкающие бриллиантами в ушах, на шеях, на пальцах, все устремили взгляды на советского представителя.

Шумяцкий, мгновенно оценив ситуацию, собирает все лежащие перед ним вилки и ножи в кулак, оставив один нож и одну вилку, подзывает лакея, вручает ему всю кучу серебра и говорит: «Это лишнее, можете убрать».

И дипломатический корпус разражается аплодисментами.

В истории партии Борис Захарович Шумяцкий остался известен тем, что после закрытия Временным правительством в июльские дни «Правды» стал спустя некоторое время фиктивным редактором-издателем центрального органа партии, который переименовали в «Рабочий путь». Такую должность — фиктивного редактора — называл когда-то «зипредактор», то есть тот, кто будет отсиживать в тюрьме вместо настоящего редактора, если понадобится.

Когда же 6 ноября 1917 года Временное правительство издало приказ о закрытии «Рабочего пути», номер газеты вышел уже с призывом свергнуть само Временное правительство, и через три дня, 9 ноября, «Рабочий путь» стал выходить под старым названием «Правда».

Итак, явились мы по вызову к Борису Захаровичу.

— Товарищ Алексей, товарищ Сергей,— встретил он нас,— садитесь. Есть важное задание — нужна картина о наших дипломатах..

И Шумяцкий принялся рассказывать нам о замечательной деятельности выдающихся советских дипломатов и о маленьких людях, выполняющих незаметную, но бесконечно важную работу в представительствах Советского государства за рубежом.

Увлеченный сам этой темой, Шумяцкий старался и нас заразить ею.

Система руководства киноискусством этого замечательного человека основывалась на личных отношениях, личных связях с двадцатью — тридцатью кинематографистами. Он вел с этими людьми постоянную переписку, диктовал письма, когда ему казалось, что нужно нацелить художника на важную и подходящую для него тему, убедить его или отговорить от какой-нибудь задуманной работы, отсоветовать. Он приглашал к себе домой в гости Эрмлера или другого режиссера из Ленинграда, держал несколько дней и за чаем, за ужином вел с ним «частные» беседы, стараясь убедить или переубеждаясь сам в чем-нибудь.

Копии своих писем и ответы кинематографистов Шумяцкий хранил в сейфе в особой папке и к переписке этой и личным своим отношениям с этой группой относился с величайшей серьезностью, считая это наиболее важной стороной руководства киноискусством.

Хотя ни Юткевич, ни я не думали до прихода к Шумяцкому про картину о дипломатах, но он нас увлек, и мы решили попытаться ее сделать.

Много времени провели мы с сотрудниками МИДа различных рангов, много завелось у нас среди них друзей, но самой сложной оставалась задача как-то узнать, понять дипломатов иностранных.

И тут, не помню сейчас кто — кажется, режиссер Эрмлер — посоветовал нам побеседовать с одной старой английской дипломатической дамой: она будет, мол, нам полезной в смысле ознакомления с обстановкой и нравами дипломатической среды.

На ближайшем приеме нас познакомили с этой леди, мы честно сказали ей о своих затруднениях, и она согласилась нам помочь — вначале побеседовать с нами, а потом, быть может, даже устроить прием, на котором мы познакомимся с другими дипломатами и их женами.

Итак, мы пока что приглашены на завтрак к леди М. — жене английского лорда, крупного дипломата. Леди семьдесят лет. Она на две головы выше каждого из нас и тонка, как школьная указка.

За завтраком нас бесшумно обслуживают три лакея в туфлях на войлочной подошве.

Леди держится подчеркнуто прямо и рассказывает нам о себе. В мировую войну — первую, разумеется, — она была начальницей английского госпиталя на русских фронтах, а после революции занималась эвакуацией и отправкой на родину застрявших в России англичан, а особенно англичанок — разного рода гувернанток, бонн, экономок и т. п.

Леди предупредила нас, что она крайний консерватор и режима нашего не одобряет.

Почему эта дама все-таки решила нам помочь — не знаю. Один из наших друзей-скептиков мрачно сказал: «Она просто хотела вас завербовать в английские шпионы». Я же думаю, что ее скорее подкупила воспитанность моего друга Юткевича, его манеры и отличное знание французского языка.

Так или иначе, леди нам рассказывала за завтраком различные истории из жизни дипломатов. Затем мы перешли в гостиную, и хозяйка спросила, не хотим ли мы послушать тронную речь короля.

Мы, конечно, захотели. Я и мечтать не мог об этом, и вдруг — тронная речь! Вот здорово! На рояле стоял большой черный патефон — никаких радиол или электропроигрывателей тогда еще в помине не было. Так что леди собственноручно завела пружину и поставила на диск пластинку. Как только патефон зашипел, леди замерла по стойке «смирно».

Мы с Юткевичем переглянулись: что надо делать? тоже встать? Все-таки мы в английском доме и говорит их король... С другой стороны, почему мы, советские люди, должны вставать — король не наш... Решили сидеть...

Леди не смотрела на нас. Ее взгляд направлен в пространство — видимо, куда-то туда, через Ла-Манш, к Англии, к подножию трона.

И вот началась тронная речь английского короля.

Никогда в жизни ни мне, ни Юткевичу, естественно, не доводилось слушать королевские тронные речи, и представляли мы их себе как нечто высокостепенное и пафосное. Я был убежден, что перед речью зазвучат фанфары или произойдет что-нибудь в таком роде.

Речь началась...

Да, забыл сказать, что королем Великобритании в те времена был еще Георг V — глубокий старик, давно уже засидевшийся на троне.

Первое, что мы услышали — глухой, старческий кашель. Он длился долго. Затем последовал звук, издаваемый носом, — король долго сморкался. И снова старик стал кашлять... Ему, видимо, было совершенно безразлично, что подумают члены парламента, перед которыми он выступал, и что подумают те, кто, как мы, будет слушать пластинки с его кашлем.

Леди, наша хозяйка, стояла куда тверже, чем колонна на площади у Зимнего дворца, и в ее серых глазах не отражалось ничего, кроме верноподданнических чувств.

Меня начало разбирать, как только я услышал королевскую арию кашля и особенно когда его величество стал сморкаться. Однако я держался, крепко сжав кулаки. На своего спутника я боялся посмотреть.

Наконец раздался дребезжащий голосок. Король произнес три слова:

— My dear people... (мой дорогой народ),— и снова зашелся кашлем.

Много раз в жизни меня подводила смешливость — так бывало в детстве, так бывало позднее, так случилось и в тот раз: я почувствовал, что вот-вот разразится катастрофа... Чертов король...

Меня так и трясло от сдерживаемого смеха. И чем сильнее я сжимал челюсти, чем больше впивался пальцами в ручки кресла, тем ближе была катастрофа. Вдруг я почувствовал, как по лицу моему покатались горячие слезы. Меня трясло крупной дрожью, слезы катились из-под закрытых век. Ручки кресла трещали, слезы падали мне на грудь.

Из патефона вперемежку с какими-то дребезжащими словами слышались все звуки, какие только способен издавать человеческий нос.

Леди между тем при всей своей неподвижности все же заметила мои слезы и скосила глаза в мою сторону.

Я плакал и смертельно боялся взглянуть на Сергея.

Все в мире когда-нибудь кончается. Кончилась и эта проклятая пластинка.

Леди подошла ко мне и протянула руку.

— О, спасибо, спасибо вам...— сказала она.

Я с трудом оторвал ладонь от ручки кресла, и леди железными пальцами сжала мою взмокшую кисть.

— Я так благодарна...— продолжала она,— так чувствительно благодарна... Ни когда не думала, что в России кого-нибудь могут так тронуть слова моего короля... Молодой человек (я действительно тогда был молодым человеком), я хочу, я обязательно должна отблагодарить вас...

Она позвонила в колокольчик. Вошел слуга.

— Принесите Джери...— сказала она и обратилась к Юткевичу: — Меня очень тронул ваш друг... такой чувствительный молодой человек.

— Да,— невозмутимо ответил Сергей,— он у нас чрезвычайно чувствительный, очень тонкая натура.

И все-таки даже теперь мы с ним не рисковали посмотреть друг на друга.

Лакей принес крохотного серого щенка, и леди вручила его мне. То был чистопогодный дог — один из двух, родившихся в доме леди.

Картину о дипломатах мы так и не сделали, но тронную речь короля мне все-таки удалось послушать. И даже получить за это премию.

Я считал эту историю законченной, однако через год у нее явилось совершенно неожиданное продолжение.

То было летом в Крыму, году в тридцать шестом или тридцать седьмом. Я лежал в гамаке и читал книгу. На траве валялся Булька — так нарекли подаренного мне некогда дога.

Все, что дала природа этому псу, весь материал пошел на красоту и размеры — ростом он вымахал с доброго теленка. Но больше ему ничего не досталось.

Булька был совершенный дурак. Послушный дурак, который мог часами лежать, положив огромную морду на огромные лапы, и смотреть на меня бессмысленными глазами.

Жили мы с ним в писательском доме в Коктебеле — недалеко от Феодосии. На Бульку я взял тоже «взрослую» путевку, и он кормился с писательской кухни.

Никаких литературных рангов Булька не признавал — он не обращал ни малейшего внимания на Зошенко и Лавренева, живших в ту пору в Коктебеле, ни на профессора Эйхенбаума, ни на профессоров Десницкого и Томашевского.

Ни у кого не брал угощения. А когда с ним искательно заговаривали, отворачивал морду, изображая презрение.

Единственный, кого он, кроме меня — хозяина,— признавал, был маленький человек с «чаплинскими» усиками — директор дома Станкевич. Милый, тихий человек, положивший жизнь на то, чтобы заботиться о других, устраивать их дом, беспокоиться

об их удобствах. Милый, любезный, добрый человек — идеальный директор нашего дома.

Он побоялся уехать самовольно, когда к Крыму подступали фашисты. На его телеграммы в Москву в Литфонд в октябре сорок первого года, разумеется, никто не отвечал (да и где находился сам Литфонд в то время!). А уезжать без разрешения Станкевич боялся, потому что за имущество писательского дома — столы, кровати, тюфяки, простыни и пляжные топчаны — за все он нес материальную ответственность.

И милый наш директор Семен Моисеевич Станкевич вместе со всей семьей, вместе с женой и детьми, был расстрелян и засыпан в керченском рву.

В те времена, о которых я пишу, Станкевич был жив, здоров, и, подойдя к моему гамаку, погладив Бульку, протянул мне газету.

— Не видели еще? — спросил он. — Почитайте, почитайте. С ума можно сойти...

Станкевич ушел. Я развернул газету. В ней сообщалось о судебном процессе.

Я стал читать...

И вдруг в показавших одного из главных обвиняемых вижу: «...в английские шпионы меня завербовала резидент «Интеллидженс сервис» в Советском Союзе леди...» И фамилия моей знакомой дипломатической дамы...

Отдыхающие писатели рассказывали, как они были поражены, увидев, что лежавший до того спокойно в гамаке человек вдруг подскочил, перевернулся в воздухе и оказался на земле...

...«Интеллидженс сервис», ни более ни менее... Вот где я пил вино и слушал, как сморкается английский король!

Я поднялся с земли и увидел повернутую ко мне морду Бульки... Гм... Булька... Вон он, оказывается, откуда взялся, Булька...

Я имел неосторожность рассказать всю эту историю Зоценко. Михаил Михайлович сделал вид, что отнесится к моему положению в высшей степени серьезно.

— А собаку вы у себя оставите? — спросил он сочувственно. — Я бы не оставлял. Обращаться к Булке Зоценко стал только по-английски.

— Гав ду ю ду...— говорил он и протягивал собаке руку, — гив ми хенд...

Булька подавал ему лапу.

— Вот видите, — говорил Зоценко.

И мне предоставлялось самому догадываться, что он этим «вот видите» хотел сказать.

И хоть я и сам люблю пошутить, юмор Зоценко меня совсем не смшил.

АЛЕКСАНДР РЖЕШЕВСКИЙ И ЕГО НИСПРОВЕРГАТЕЛИ

Автобус остановился. Мы выходили из него, пряча лица в воротники. Двадцать три градуса мороза и к тому же жестокий, пронзительный ветер.

Здесь, в Ильинском, в тридцати километрах от Москвы, жил и умер Александр Ржешевский.

Автобус привез на похороны нас, его товарищей по профессии — сценаристов.

У открытого гроба говорились прощальные слова. И тот же беспощадный, ледяной ветер, что так мучительно сек наши лица, тот же свирепый ветер ласково перебирал поседевшие волосы Саши Ржешевского. Открытому лицу его не было холодно на этом морозе, на свистящем ветру. И это с пронзительной ясностью отделяло его от нас — мы оставались, он ушел.

В истории нашего киноискусства не было художника, чьи произведения вызывали бы такие ожесточенные споры, такие противоречивые оценки, как сценарии Александра Ржешевского. Амплитуда поразительная — от восторженного признания до обвинений в шаманстве, до издевательского высмеивания и объявления его работ пародией на драматургию.

Ну а как же быть с тем, что Ржешевского не только признавали Эйзенштейн и Пудовкин, но великий Эйзенштейн поставил его «Бежин луг», Пудовкин «Очень хорошо живется», а Шенгелая его «Двадцать шесть комиссаров»?

С этими фактами ниспровергатели расправлялись крайне просто: да, признавали, да, ставили, но это были ошибки больших художников, могли же они ошибаться? Ржешевский обманул их своей манерой, своей стилистикой, своими эмоциональными словосочетаниями, за которыми не было реального кинематографического содержания — того, что «можно снять».

Оценки ниспровергателей так и остались на страницах кинематографических журналов, в очерках по истории кино, в книгах, в учебниках.

А объективная правда заключалась в том, что Ржешевский, как всякий новатор, неизменно нарушал правила, или, вернее, то, что в то время считалось правилами драматургии. Это раздражало, это не хотели или скорее не могли понять его оппоненты.

Часто в искусстве остаются неучтенными уроки прошлого. Да и не только прошлого — каких великих нарушителей правил видели мы на протяжении одной только человеческой жизни: Маяковский, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов... не говоря уж об ученых — Эйнштейне, Жюлио-Кюри, Павлове...

А чем как не сплошным нарушением «правил» киноорфографии и кинесинтаксиса стал «Броненосец»? Попробуйте-ка проанализировать «Броненосец» с позиций кинесэстетики, утвердившейся до его появления! Все в нем окажется «неправильным». И весь Чаплин — сплошная «неправильность».

Но движение искусства невозможно без этих великих нарушителей правил. Их гениальные догадки, их прозрения, неожиданные выводы побуждали их искать новые пути, новые выразительные средства, новые формы, ломать устоявшиеся законы.

Ржешевский был новатором.

И, как это часто случается, для того чтобы отстоять свои позиции, для того чтобы успешнее бороться со своими противниками, он полемически преувеличивал, гиперболизировал свою литературную манеру, как бы бросая этим вызов ползучим киноэмпикам, своим многочисленным врагам.

Как обычно писались сценарии в 20-е годы?

«Кадр № 87. Общий план. В комнату входит Софья.

Кадр № 88. Средний план. Софья оглядывается.

Кадр № 89. Крупный план. Софья что-то заметила.

Кадр № 90. Крупный план. На столе лежит кошелек.

Кадр № 91. Средний план. Софья бросается к столу, хватается за кошелек.

Кадр № 92. Средний план. Открывается дверь, входит Дмитрий. Замечает Софью, бросается к ней.

Кадр № 93. Общий план. Дмитрий и Софья борются за обладание кошельком» — и т. д.

И вдруг — Ржешевский!

Эмоциональный, поэтический строй его произведений был резко полемичен по отношению к таким сценариям.

Его драматургия — это часто освобожденная от практических указаний на происходящее в кадре действие, эмоциональная, взволнованная проза. Его лирические отступления оставляли режиссеру свободу выбора конкретных деталей.

Чтобы «убить» Ржешевского, его противники обычно издевательски цитировали одно и то же место — начало сценария «Очень хорошо живется».

«Туманы, туманы, туманы! Туманы тут, туманы там, туманы плывут по горам.

И по горам, по какой-то необыкновенной дороге... в тумане... идет... шагает Необыкновенный человек.

Остановился человек... И долго... страшно... испуганно, сложив руки рупором, плакал, захлебывался, что-то говорил... отчаянно кричал — «Человек!»...»

Что только не писалось об этом «необыкновенном человеке на необыкновенной дороге»!

С каким чувством превосходства, с какой убежденностью в знании неких законов драматургии, с какой убийственной иронией писали критики Ржешевского об этих туманах!

Но насколько же ближе эти нарочито преувеличенные строки к современному сценарию, чем:

«Кадр № 52. Крупный план. Глаза Марии.

Кадр № 53. Крупный план. Глаза Павла.

Кадр № 54. Общий план. Мария падает без чувств».

Что же сегодня может быть сочтено за пародию?

Одним из незабываемых законов драматургии считалось положение о том, что в сценарии должно быть написано только то, что снимается, что можно снять.

Но сколько изменений с тех пор произошло в понятии «можно снять»!

Какие тончайшие подтексты стали доступны киноискусству, какие глубокие мысли, какие поэтические образы!..

Конечно, и сегодня есть великое множество, если не большинство режиссеров, признающих и понимающих сценарий только как описание реального действия.

Замечу в скобках, что такие режиссеры тоже совершенно необходимы кинематографу.

Есть кинематограф Пудовкина и кинематограф Довженко — они бесконечно далеки друг от друга.

Есть кинематограф Крамера и Феллини, Бергмана и Поллака.

Есть операторское искусство Фигероа, Урусевского.

Есть кино Де Сики и кино Хичкока, Куросавы и Рене Клера.

Тут не только национальные или временные различия — это все разные искусства кино. И это прекрасно!

Ничего, кроме вреда, не получается, когда какой-либо из видов киноискусства пытаются объявить единственно праведным, а все иные от лукавого. Тогда случается трагедия с «Бежимым лугом» и «неправильное» смывается с пленки.

Тогда остается почти не реализованным в кино творчество ярко одаренного драматурга Александра Ржешевского.

Умер Ржешевский. Умерли многие его оппоненты. А спор продолжается.

Несколько лет назад опубликованы воспоминания И. А. Пырьева «О пройденном и пережитом».

Вот выдержка из этих воспоминаний:

«Ржешевский является родоначальником так называемого эмоционального сценария, выдержанного, как правило, в выпрессенной интонации и ложнопатетическом стиле. Вот отрывок одного из них...»

И далее следует, конечно, тот самый облюбованный всеми противниками Ржешевского кусок: «Туманы, туманы, туманы...»

Как видим, И. А. Пырьев был совершенно категоричен в отрицании творчества Ржешевского. Субъективно честная позиция: искусство Ржешевского ему чуждо.

И. А. Пырьев очень много сделал для нашего кинематографа не только как крупный режиссер, но и в качестве руководителя студии «Мосфильм» и впоследствии главы Союза кинематографистов.

Мы многим ему обязаны. Но это не исключало и не исключает несогласий и споров с ним. В оценке творчества Ржешевского Иван Александрович был искренен, горяч и... глубоко не прав. С моей точки зрения, конечно.

Просто все направление Ржешевского, его стилистика, его манера, его патетичность — все было Пырьеву эстетически «противопоказано».

Лишь в недавно вышедшем первом томе «Истории советского кино» творчество Ржешевского впервые подвергнуто серьезному анализу и вклад автора теории «эмоционального сценария» в развитие советской кинодраматургии справедливо оценен.

Маленькая комната бывшего балтийского моряка, участника гражданской войны Ржешевского стала в конце 20-х годов и в самом начале 30-х притягательным центром для тех, кто искал новые пути в киноискусстве. Здесь в густом табачном дыму бескомпромиссно спорили ночи напролет, ссорились, мирились, находили эстетических единомышленников, и все это проделывалось очень шумно. Полутонов не признавали. Крик стоял иной раз до утра. Для соседей Ржешевский был истинным бедствием.

Правда, не для всех — соседская молодежь, хоть несколько и не причастная к искусству, что-то чувствовала в Ржешевском для себя важное, интересное, и часто можно было видеть торчащие в открытых дверях любопытствующие головы, то наблюдающие за хозяйном комнатой, который на разные голоса громко читал свои диалоги, то с интересом следящие за словесной схваткой вечерних посетителей.

А папы этих любопытствующих мальчиков и девочек обивали пороги домкомов, милиции, жилищных отделов, требуя, чтобы либо призвали к порядку буйного соседа, либо переселили его на другую жилплощадь.

Однако же вернусь к тому холодному дню, когда мы в Ильинском похоронили Сашу Ржешевского. После слов прощания постояли молча над могилой.

Все кончено, но какое-то странное чувство не позволяет уйти. И все-таки уходим. Возвращаемся в дом, к родным Ржешевского — на поминки.

Как случилось, что мы все знали Ржешевского последних десятилетий только на студиях, в Доме кино, в Доме литераторов — но только не в его доме, не в его семье? Он был прекрасным отцом, и дети — семь сыновей и три дочери — сохранили благодарную память. С каким уважением, с какой любовью говорили они о Саше!

А ведь он растил, воспитывал их в самое трудное время своей жизни. Он очень много работал, много писал, но одна лишь пьеса «Олеко Дундич» увидела свет в эти годы.

Только «Олеко Дундич» — и то лишь в ограниченный период, когда пьеса игралась, — приносил ему некоторое количество денег.

А жить надо было. И растить надо было всех этих ребят.

Мы уезжали из Ильинского, дав друг другу слово, что сделаем все возможное, чтобы имя Александра Ржешевского заняло в истории нашего советского киноискусства то место, которое ему принадлежит по праву.

БЕССМЕРТИЕ МАДАМ БРОДСКОЙ

Однажды на одесской кинофабрике году, кажется, в двадцать пятом появился новый режиссер.

Его поселили в гостинице «Лондонская» и стали оказывать всевозможные знаки внимания в надежде, что он создаст выдающееся кинопроизведение.

Режиссер был видный мужчина, и любители, особенно же любительницы, киноискусства дежурили на бульваре против «Лондонской», чтобы присутствовать при выходе знаменитости на прогулку.

Он эффектно появлялся из вертящейся, с зеркальными стеклами двери и выходил на бульвар — кремовые фланелевые брюки, синий пиджак, трость в руке, башмаки на «гумми».

Неторопливо шел кинорежиссер по бульвару Фельдмана и обдумывал свое будущее великое произведение.

А подумать было о чем: с одной стороны, надо предложить кинофабрике нечто такое, что отвечало бы идейным установкам, — нечто социально значительное, с другой стороны, это должно быть нечто отвечающее запросам публики, как режиссер их понимал, то есть нечто любовно-душещипательное.

И однажды во время прогулки родилась грандиозная идея: Спартак! Восстание рабов в Древнем Риме! Вот что увлечет руководство кинофабрики!

И увлекло. На постановку «Спартак» дали колоссальную сумму — стоимость пяти обычных картин. Пригласили в качестве консультанта виднейшего специалиста профессора Б. В. Варнеке, выстроили гигантские декорации и сняли фильм.

Восстание рабов там действительно было, но оно оказалось лишь фоном для глупейшей любовной истории — адюльтера жены диктатора Рима Суллы со Спартаком.

Не помню имени исполнителя главной роли, но отчетливо вижу холеное артистическое лицо и вытравленные перекисью водорода «блондинистые» волосы этого вождя римских рабов.

На роль жены диктатора Суллы почему-то пригласили не актрису, а мадам Бродскую — жену одесского адвоката Бродского... Крупная, пышных форм жгучая брюнетка. Когда она проходила по улице, формы подрагивали и колыхались в такт шагу. Одеситы мужского пола покачивали головами и уважительно цокали языками. Почему вместо актрисы пригласили эту даму, совершенно беспомощную перед камерой, — не знаю.

Мадам Бродская оказалась настолько ни на что (на съемках) не способной, что пришлось ограничить ее участие в картине только позами — ее усаживали или укладывали в красивую позу и снимали.

Картина «Спартак» бесславно прокатилась по экранам, и мадам Бродской не удалось стать кинозвездой. Однако эта дама все же прославилась и обрела даже некоторое подобие бессмертия...

Всякий феодосийский таксист, везущий вас из этого древнего города в поселок Планерское, покажет по дороге слева холм и скажет: «А вот мадам Бродская».

Что же это значит? Каким образом именем одесской дамы оказался наименован холм в Восточном Крыму? Да так прочно наименован, что и через пятьдесят лет после ее бесславного участия в бесславной картине жители все еще говорят «мадам Бродская», указывая на этот холм?

Вот как это произошло.

В двадцати километрах от Феодосии по направлению к Судаку есть на берегу Черного моря поселок Коктебель, переименованный ныне в Планерское.

Коктебельские горы, коктебельская бухта, коктебельский воздух — одно из самых совершенных на свете произведений природы. И сюда с давних пор приезжают отдыхать, купаться, дышать курортники.

Пляжи в те давние времена, в 20-е и 30-е годы, были разгорожены надвое — на женский и мужской.

Были в этом неудобства, но и преимущества: курортники лежали на золотом песочке, подставляя солнцу всего себя целиком и полностью, без остатка.

Приезжала сюда, в Коктебель, каждое лето мадам Бродская и отличалась от всех прочих курортников не только пышностью фигуры, но и тем, как она эту свою фигуру располагала на пляже...

Округленные линии ее фигуры с фотографической точностью повторяли линии холма, стоящего на дороге в Планерское. Разница была только в том, что мадам Бродская была светло-розового цвета, а холм нежно-зеленого, что же до формы, то можно только удивляться причуде природы, создавшей эту гигантскую копию своего же произведения. И тогда, в те времена, когда мадам Бродская красовалась на коктебельском пляже, курортники шутливо наименовали этот холм. Давно на свете нет мадам Бродской, давно уже никто не связывает холм с женой одесского адвоката и картиной о восстании римских рабов, а название осталось.

У ШОСТАКОВИЧА

В конце декабря 1941 года я проездом остановился на один день в Куйбышеве.

Валил снег. Репродукторы передавали сводку Совинформбюро о положении на фронтах. На улице мне то и дело бросались в глаза вывески московских учреждений, эвакуированных сюда, в Куйбышев.

Из-за угла навстречу шел человек, закутанный во множество теплых вещей, и я ни за что не узнал бы в нем известного московского музыкального критика, если бы он не улыбнулся, увидав меня.

Эти устремленные вперед огромные зубы (их было у него, по утверждению друзей, не тридцать два, как у всех, а шестьдесят четыре)...

— Идем, идем скорей, — сказал он, — договорились на двенадцать.

И, не слушая моих недоуменных вопросов, потащил с собой. Когда же я добился наконец объяснения, что мы идем к Шостаковичу, — тащить меня больше не пришлось и я тоже заторопился.

Как оказалось, мы шли слушать (впервые!) только что (буквально только что) законченную Шостаковичем Седьмую, Ленинградскую симфонию.

И вот мы входим в небольшую, почти пустую комнату. Чувствуется, что сюда только что переехали, что квартира не обжита. Рояль. Несколько стульев. Кровать. Пустые стены.

Мы давно не виделись с Дмитрием Дмитриевичем. Обмениваемся короткими рассказами о знакомых. Шостакович спрашивает о своем друге Льве Оскаровиче Арнштаме, кинорежиссере. Я сказал, что Арнштам попал в автомобильную катастрофу, едва

из погиб. Но мой собеседник уже не слышал ничего, он рассеянно ответил — да, да, взял пиджак и уселся за рояль.

Потом, после того как кончил играть, Шостакович вдруг быстро подошел ко мне, взял за руку и с испугом спросил:

— Слушайте, что же случилось с Арнштамом?

Теперь он расспрашивал обо всех подробностях катастрофы — покачивал головой, вздыхал, ахал, потом, накинув пиджак, пальто и шапку, побежал давать Арнштаму телеграмму.

Итак, мы слушали 27 декабря сорок первого года Седьмую симфонию, впервые исполненную автором.

Рядом с роялем стоял столик с партитурой. Над ней склонились, повернув к нам спины, три музыковеда, в том числе мой знакомый критик. Они не обращали решительно никакого внимания на игру Шостаковича, по временам громко разговаривали, одновременно читая что-то им одним только понятное в партитуре. Иногда они переглядывались с улыбкой, которая означала: так мы и знали, — иной раз это было восторженное недоумение, и можно было понять, что автор чем-то в партитуре до последней степени поразил их воображение.

Признаться, эти товарищи мне здорово мешали слушать музыку. Они разводили руками, прищелкивали пальцами, пожимали плечами, издавали восклицания.

Шостаковича это нисколько не смущало. Видимо, таков был порядок вещей.

Он играл, сидя на краешке стула, — худенький, с острыми плечами, в подтяжках, с хохолком, торчащим на голове, удивительно похожий на примерного ученика, на гимназиста с первой парты.

За окнами медленно опускался снег. Сквозь эти окна, замазанные по-зимнему, не проникал ни один звук, и там, за стеклом, на высоком каменном крыльце какая-то молодая, очень красивая женщина, розовощекая, в беличьей шубке, беззвучно хлопала в ладоши маленькому своему сыну. Он сбегал вниз по лестнице, мать кричала ему что-то вслед, грозила пальцем.

Все это так странно расходилось с музыкой, которую мы в это время слушали, будто улица, как в аквариуме, отделена от нас толстой стеной воды.

Мальчишка вскарабкивался по пушистым от снега ступенькам снова вверх, мать поднимала его на руки, смеялась и целовала.

А рядом, здесь, у нас, грохотала война — страшная и великая, здесь полыхало пламя ее и пахло горькой гарью пожарищ, здесь слышался гром катастроф, здесь пролетал ветер победы...

Шостакович начал симфонию в Ленинграде. Он закончил ее в Куйбышеве. Кажется непонятным, как он пронес эту бурю с собой, как он всю ее сразу же перенес на графленые нотные листы.

Он летел в самолете над линией фронта — и эти звуки были с ним, он ехал из Москвы в поезде с детьми, с пищей для ребят, с какими-то корзинками — и эти звуки жили в нем.

Нина, жена Шостаковича, сидела с нами в комнате и слушала симфонию. За окном падал и падал снег. Иногда из соседней комнаты раздавались детские голоса, иногда слышался звонок у входной двери. Тогда Нина вставала, выходила и, наведя порядок, возвращалась обратно. Как страж, садилась она снова у двери, сложив на коленях руки, спокойная ленинградская женщина, видевшая все, что видели жители ее города.

Три месяца спустя Седьмую симфонию Шостаковича слушала в Колонном зале Москва. Включены были микрофоны, и радиоволны разносили звуки симфонии по всему земному шару.

Когда прозвучал последний аккорд, произошло то, что больше всего поразило меня: я открыл глаза и увидел, что белые мраморные колонны стоят на своих местах, спокойно свисают с потолка зажженные люстры, на эстраде сидят музыканты в черных костюмах, с инструментами в руках, зал полон народа... Удивительно — будто ничего и не случилось... Сознание возвращается из какого-то, черт знает какого дальнего далека, где только вот, сию минуту рушились миры и из праха возникали новые, где гуляли над тобой какие-то страшные, кривые валы, где с тоненьким завывом флейты возникало вдруг в уме короткое слово «беда»...

Эта поразительная музыка вызывала в сознании все, чем дышало наше поколение, все, что знали мы о войне, о столкновении тьмы и света, о величии и подлости, о любви, о счастье жить, о надежде, о бездне горя человеческого, о силе народа, которая одна только способна сокрушить и сбросить в пропасть стальное чудовище, ринувшееся на нас...

«Я» И «МЫ»

Однажды меня пригласили провести на телевидении передачу о кино. Мне разъяснили обязанности ведущего: заучить тексты, подготовленные частично редактором передачи, частично приглашенными киноведами, просмотреть выбранные режиссером передачи отрывки из фильмов и перед отрывками произнести вышеуказанные тексты. Я добросовестно приступил к делу и прежде всего прочел то, что мне предстояло произнести.

Все казалось вполне правильным, грамотным, но, боже мой, до чего же гладким, унылым, до чего безликим! Все должно было произноситься от имени некоего «мы»: «мы хотим вас познакомить», «мы вам покажем» и даже «мы думаем»...

Я живо представил себе большой коллектив, а то и просто толпу людей одновременно, хором думающих одно и то же, и мне стало не по себе.

И что, собственно, подразумевалось под этим «мы»? Кто они такие, эти «мы»? И кто же, в таком случае, ведущий?

Автомат для передачи чьих-то коллективных мнений?

Да, собственно, даже и не мнений — их вовсе не было, — а азбучных истин о кино, из которых состояли данные мне тексты.

Отрывки оказались случайно подобранными фрагментами фильмов — могли быть эти, а с тем же успехом могли быть другие, ибо никакого стержня, объединяющей передачу идеи, общего тематического плана передачи не существовало.

Однако же сама возможность систематических телевизионных бесед о кино показалась мне потрясающе интересной. Проблематика современного киноискусства, художники советского и зарубежного кино, процессы, в нем происходящие, история кино как частица истории человечества, наконец, содержание кинокартин — все это позволяло поднять любую нравственную проблему с телеэкрана, какие перспективы открывались для «Кинопанорамы»!

А познакомить телезрителей с шедеврами мирового киноискусства, рассказать о духовных ценностях, что лежат недвижимо в хранилищах киноархивов... о тех великих произведениях человеческого гения, которые, к несчастью, нельзя — как книгу — снять с полки, когда захочется прочесть или перечитать...

В ответ на сделанное мне предложение я ответил «да», и жизнь моя оказалась нерасторжимо связанной на шесть лет с «Кинопанорамой».

К несчастью, вскоре выяснилось, что занятие «Панорамой» отнимает столько времени, что на основную мою работу — литературную — его просто не остается. Я почти ничего не написал за эти шесть лет и с великим огорчением отказался от своего любимого детища, засев снова за письменный стол.

Возвращусь к началу моей жизни в качестве ведущего.

С первой же передачи место «мы» заняло «я»: «я расскажу вам», «я помню, я видел...», «я присутствовал при том, как...» и даже «я думаю...», а то и «я советую вам...»

Предстояло выяснить и для себя и для коллектива, подготавливающего «Панораму», что же такое ведущий, каким он должен быть, каковы его обязанности и права. Вопрос этот, чрезвычайно важный тогда, таким же актуальным, по-моему, остается и сегодня.

Что это за человек, разговаривающий с миллионами зрителей? Я не говорю о дикторах — там все ясно: они читают информацию, их общение с телезрителями крайне ограничено. Но ведущий...

На мой взгляд, ведущий — это для зрителей главное действующее лицо телевидения, это тот знакомый тебе человек, с которым дружески встречаешься, кого слушаешь как собеседника, кому веришь, кто способен не только сообщить тебе то, чего ты не знал, но и высказать свое суждение по важным и интересным вопросам.

Программы передач стали составляться вместе с ведущим. С учетом его мнений, намерений и вкуса.

Какие отрывки, из каких фильмов, кого приглашать для беседы, какие снимать сюжеты для «Кинопанорамы» — все это отныне решалось с ведущим, и передача становилась не случайным набором «номеров», а осмысленным соединением материала, дающим возможность отразить мнение ведущего о происходящих в нашем и зарубежном кино процессах. Передача стала «пристрастной», окрашенной его симпатиями и антипатиями — симпатиями к новым, талантливым, прогрессивным явлениям и отрицанием стереотипов, бездарности, серости (а этого еще ох как много!).

И вообще все в передаче — ее смысл, ее содержание — должно подготавливаться ведущим, ибо никто другой за него не может выразить то, что составляет его личность, его взгляды, его мысли.

Личность ведущего — это именно то, что зритель примет или не примет, от чего зависит, возникнет ли между ним и зрителями контакт.

Во всякой передаче, на мой взгляд, обязательно должна быть и «сверхзадача» — нравственный подтекст, скрытый, косвенный, неназойливый нравственный урок. И чем более незаметный, косвенный урок — тем он сильнее подействует и тем лучше воспримется.

Никакая телевизионная передача, рассчитанная на аудиторию в пятьдесят — сто миллионов зрителей, по-моему, просто не имеет права быть пустышкой.

Не говорю, конечно, о чисто развлекательных передачах и о спорте: дай бог им здоровья, пусть живут и здравствуют без всяких дополнительных задач и подтекстов. Это их право. Впрочем... впрочем, если уж говорить о телевидении, действующем в полную силу, то и в этих передачах могут быть заложены и проблемы нравственные, этические. Не проиграли, а выиграли бы от этого даже и развлекательные передачи.

Помню свою первую «Кинопанораму». Где-то над головой микрофон на «журавле». Передо мной объектив камеры. Когда зажжется крохотная красная лампочка — камера включается, в это мгновение я появляюсь на экране телевизора перед зрителями.

«Кинопанорама» идет в 21.30, сразу же после программы «Время». В стороне — монитор. Я вижу на его экране, как заканчивается сводка погоды, поплыла надпись «Вы смотрели программу «Время», ее вели дикторы такие-то...».

Волнение? Нет, никакого волнения — ожидание чего-то в высшей степени интересного и важного.

Зажглась красная лампочка, и вдруг объектив камеры стал живым, я просто физически почувствовал, как этот стеклянный глазок соединил меня с теми, кто где-то там, в своих домах, смотрит на экран, и я сказал им: «Добрый вечер, товарищи».

И — не подумайте, пожалуйста, что это мое воображение, нет, даю честное слово, — мне ответили! Оттуда, из этого стеклянного, совсем не мертвого сейчас объектива, я совершенно явственно почувствовал ответную добрую волну, и мне стало удивительно легко от этого контакта, кажется, я улыбнулся в ответ на этот отклик и заговорил со своими зрителями.

Удивительное ощущение контакта с аудиторией возникало неизменно всякий раз, когда я начинал вести передачу.

Не могу ни с чем сравнить это чувство прямой связи между нами.

Думаю, когда-нибудь откроют новый вид энергии, который объяснит, что, мол, да, действительно это не фантазия, а реально существующие какие-то там колебания, передающиеся от зрителей через экраны их телевизоров, через антенны по воздуху на телебашню, на ее антенны, оттуда в студию, в телекамеру и из ее объектива на ведущего передачу человека...

Разве это более фантастично, чем такое явление, как радио?

Никакие технические объяснения не делают для меня менее сказочным то, что мы живем постоянно окруженные голосами всего мира — даже в комнатах, за глухими стенами — и можем при помощи небольшого прибора сделать любой из этих голосов слышимым.

А то, что вокруг нас существуют еще звуковые миры за пределами нашего ограниченного слухового диапазона — те звуки, что слышат животные, насекомые и чего совсем не слышим и не можем слышать мы...

По сравнению со всеми этими чудесами мне совсем не кажется нереальной наша с телезрителями двусторонняя связь. Тем более что я абсолютно явственно ощущал ее.

Пять лет «Кинопанорама» передавалась прямо в эфир.

И пять лет руководители киноредакции Центрального телевидения убеждали меня, что лучше, спокойнее было бы записывать передачу заранее, а потом уже показывать телезрителям пленку. Видеозапись, мол, для зрителей совершенно неотличима от прямой передачи, никто и знать не будет, что «Панорама» записывалась заранее.

Зато как будет спокойно! Вы, ведущий, что-то не так сказали или появилась какая-нибудь техническая помеха... Съемку можно остановить, переписать это место нано-во... никаких «нервов» у вас, ведущего, никаких «нервов» у редакторов...

Но однажды мне все же довелось испытать такую систему даже во времена прямых передач «Кинопанорамы» в эфир.

Киноактеру Сергею Мартинсону исполнилось семьдесят лет, и я решил в ближайшем же выпуске «Кинопанорамы» посвятить ему «страничку».

Однако Мартинсон уезжал с театром на гастроли, и беседу с ним для «Панорамы» пришлось предварительно записать на кинопленку. Назначили съемку, сняли.

Ну а раз записано... Прежде чем выпустить на экран, просмотрело руководство киноредакции.

В беседе с Мартинсоном было такое место. Я говорю ему: «Знаю тебя вот уже пятьдесят лет, и ты совершенно не изменился — так же молод, так же пляшешь, так же поешь, так же весел (чистая правда), может быть, у тебя есть какой-нибудь секрет сохранения молодости?» Он ответил: «Есть». «Какой?» — спрашиваю. «Секрет,— говорит,— простой: за всю жизнь ни над одним вопросом не задумывался больше чем на три минуты». И мы оба рассмеялись.

Вот этот-то шуточный разговор при просмотре оказался недопустимым, и он вылетел. А зря!

Из опасения ненужных «поправок» я и стоял насмерть, сопротивляясь предварительным записям. Ведь очень еще важно, как та или иная фраза говорится — с какой интонацией, что в это время в ид но на экране.

С какой шутовой наивностью, с каким простодушным юмором этот легкий, обаятельный человек — Мартинсон — раскрыл свой «секрет» о трех минутах!

Однако же главной причиной моих отказов записывать передачи было все же опасение, что тогда исчезнет то колдовское ощущение сиюминутной связи со зрителем, чувство реальной в данное мгновение беседы с ними и их «обратной реакции».

Вот этого я ни в коем случае не хотел лишаться, будучи убежден, что неизбежно утеряю нерв передачи, утеряю душевный подъем, остроту чувств — все то, что держало меня «в форме», что подсказывало слово, шутку, а то и мгновенный переход к серьезному разговору, к значительной теме.

Ибо, несмотря на подготовку к передаче и отбор фрагментов, приблизительную наметку тем беседы, примерное определение времени на каждую из тем (ведь «Панорама» должна в целом уложиться строго в свои полтора часа), несмотря на все, многое в этих временных рамках импровизировалось во время самой передачи.

Что же должно было случиться, чтобы на шестом году я сам пришел и сказал: «Все. Будем записываться?»

Первый удар в челюсть нанес мне старинный друг, знаменитый документалист. Очередная «Кинопанорама» должна была начаться с его новой картины.

Я сказал: «Тебе две-три минуты. Несколько слов о картине». «Хорошо», — ответил он и говорил четырнадцать минут!!!

Я пытался остановить его, незаметно толкал ногой, кашлял, наконец сказал открытым текстом: «Извините, но передача у нас регламентирована, мы не успеем все показать». «Сейчас, сейчас», — ответил он и продолжал говорить.

Он перечислял всех членов своей съемочной группы, рассказывал, какие они замечательные работники, как ему вместе с ними приятно делать картину...

Я видел, как вдали, наверху, в глубине студии, за стеклами аппаратной, где находились члены нашей группы, нарастала паника.

Ведь все фрагменты уже заранее заряжены в проекционные аппараты, невозможно ничего изъять, сократить передачу, все хоть и приблизительно, но рассчитано —

время и на фрагменты и на мои объяснения — следовательно, похищенные моим другом двенадцать минут взять просто неоткуда.

С каким удовольствием я убил бы его тогда!..

Ему, видите ли, хотелось доставить удовольствие своим сотрудникам и прославить их при помощи «Кинопанорамы».

Не помню уж, как я после изворачивался, как лобчил, сокращая на ходу то, что собрался сказать, как удалось все же ровно к 23.00, когда неизбежно начиналась новая передача, несмотря ни на что, закончить «Панораму»... Меня можно было скрутить и выжать, как мокрую тряпку.

Второй удар под дых нанесла мне польская актриса, которую я пригласил на «Кинопанораму» вместе с Даниэлем Ольбрыхским.

Это было во время Международного кинофестиваля. Ольбрыхский, с которым мы подружились еще на предыдущем фестивале, был идеальным телевизионным собеседником. Веселый, остроумный, всегда готовый подхватить шутку, он, что-то рассказывая, тут же мог и спеть, и станцевать, и прочесть стихи...

Словом, Ольбрыхский являлся гвоздем передачи. Актриса, с которой он пришел на «Панораму», талантливо сыграла главную роль в одном из фестивальных фильмов. Красивая молодая женщина. Она казалась замкнутой, молчаливой, и, глядя на нее снизу вверх — она была на две головы выше меня, — я засомневался, сумею ли ее «разговорить» на передаче.

Мы уселись за круглый журнальный столик. Передача началась. Я представил гостей «Панорамы» и попросил актрису сказать несколько слов о своей роли.

И она сказала...

Прошла минута, две, четыре...

Она говорила уже не о роли, а о варшавских людях, о своих впечатлениях от последней поездки в Париж...

...Шесть... семь... восемь минут, девять...

Я давно уже пытался остановить собеседницу, толкая ее под столом пальцем в бедро... Никакого, ровно никакого действия мои намеки на нее не производили. Скорее наоборот — они вроде бы вдохновляли ее на продолжение рассказа.

На пятнадцатой минуте, пренебрегая правилами вежливости, я воспользовался тем, что она на середине фразы набрала воздух в легкие, и, не давая ей возможности воспользоваться этим воздухом, громко сказал: «Спасибо, пани, вы так много и интересно нам рассказали, спасибо, спасибо, до свиданья».

Даниэлю я просто не дал слово. Актриса сожрала все его время.

«Послушай, — сказал я ему после передачи, — кого ты привел? Я никак не мог остановить эту разговорную машину. Толкаю ее под столом, а она ноль внимания!..» Даниэль ответил: «Она просто думала, что ты за ней ухаживаешь!..»

Вот получив несколько таких ударов, я, к великой радости редакторов, попросил записывать «Кинопанораму» заранее.

* * *

А потом началась переписка с телезрителями.

Я имел «неосторожность» предложить им присылать «Кинопанораме» письма и обещал отвечать на них.

Через месяц в комнате киноредакции, где, кроме «Панорамы», размещались работники еще трех других кинопередач, невозможно стало повернуться: мешки с письмами стояли под столами, в проходах, они лежали в шкафах и на шкафах. Разобраные и ждущие разбора письма загромождали все столы.

Большей частью то были просто отзывы на очередную передачу или просьбы «показать» того или иного актера. Но приходили и письма с серьезными размышлениями и вопросами о киноискусстве, потом стали попадаться и иные...

Люди писали о своей жизни, о сложностях ее, просили дать совет по глубоко личному вопросу — искренние, доверительные, трогательные обращения как бы к старшему другу, который знает о жизни больше и может, наверно, разрешить сомнения...

Приходили и смешные, нелепые послания вроде возмущения по поводу того, что ведущий «Кинопанорамы» не читает свои слова по бумаге, а говорит «от себя»...

На многие письма я отвечал письмами же, иные отбирал для «публичных» ответов по телевидению, если они позволяли поднять в передаче проблемы нравственного характера и незаметно перейти от письма к разговору с телезрителями по важному, волнующему и их и меня вопросу. Другие письма давали возможность, отвечая на них, рассказать, скажем, эпизод истории кино, очевидцем или участником которого я был.

Вообще, как следовало из приходящих писем, более всего телезрителей интересовало то, что ведущий знал лично, лично пережил, в чем лично «замешан», особенно если это давало предлог для серьезного, дружеского разговора.

Раздел «Кинопанорамы» «ответы на письма» — удобная форма, которая давала мне возможность неизмеримо расширить темы бесед с телезрителями и углубить их, сделать передачу более емкой и серьезной (хоть часто и в шутивной форме).

Со временем этот раздел «Кинопанорамы» стал важнейшим компонентом передачи. Ответы на письма часто уходили далеко за пределы киноискусства, и я уже начал подумывать: а не оставить ли вообще «Кинопанораму» и открыть новую передачу «Ответы на письма» по любому вопросу, интересующему зрителей.

«Кинопанорама» состояла из множества компонентов — представления новых картин, бесед с актерами, режиссерами, сценаристами, съемок на киностудиях, встреч с иностранными кинематографистами, рассказов об архивных киноматериалах, о прошлом нашего искусства и так далее и так далее.

Самым интересным для меня, самым волнующим стали письма телезрителей. Ответы на них — самая «высокая точка» передачи, самая «проблемная» ее часть и в то же время самый близкий мой контакт с телезрителями. По мере того как приближалась эта часть «Кинопанорамы», я чувствовал нарастающее волнение — сейчас мы будем говорить со зрителем про главное глаза в глаза...

Ныне отвечать на письма телезрителей стало всеобщей модой. Нет почти ни одной передачи, где не вводили бы это в программу. Но досадно, что порой это лишь повод, чтобы просто прочесть на конверте адрес, сказать, что такой-то инженер или школьники такого-то города просят исполнить для своей мамы такую-то песню или благодарят за передачу и хвалят ее. Отвечают в первом случае исполнением песни для мамы, во втором благодарят за похвалу.

Бывают и другие огорчения в телепередачах — то ведущая заговорит с рабочими в таком заискивающем тоне, что тошно становится, то явно подготовленную передачу выдают за экспромт, за импровизацию...

Если, скажем, текст написан заранее и заучен наизусть, а некто делает на телеэкране вид, будто он эти слова только сейчас придумал — зритель тотчас чувствует ложь. Он, зритель, может даже не понять, отчего явилось это чувство неправды, но он его неизбежно ощутит.

Такова уж природа телеэкрана. Разоблачительная сила телеэкрана необычайно сильна.

Я знаю эстрадных певцов, начинавших необычайно ярко, молодо, своеобразно, но которых успех превратил в самовлюбленных, любующихся собой нарциссов. И о чем бы ни пел теперь такой «любимец публики», о звездах или о любимой, о войне или о морских просторах, — все равно ясно видно, что он поет только о том, какой он красивый, счастливый, всеми любимый. Самодовольство, самовлюбленность просто невозможно скрыть на телеэкране.

И так же «раздевает» экран ведущего, если он одержим желанием нравиться, — все, все видно на экране, ничего не спрячешь...

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ «ДЯДЯ ФИЛ И ТЕЛЕВИЗОР»

Как быстро мы привыкли к этому ящику у себя дома, к тому, что можно повернуть выключатель и нам откроется окно в мир.

Большой информатор, педагог, соединитель людей, наш развлекатель, аккумулятор наших спортивных страстей, незаменимый друг дома — он в то же время, нужно признаться, бывает и нудным.

Вспомните, во что ныне часто превращается понятие «гости». По этому поводу один из авторов недавно прочитанного мной сборника «Дядя Фил и телевизор», Джордж Микеш, иронически замечает: «Главное и самое восхитительное достижение телевидения в том, что оно загубило искусство вести разговор, но если подумать о тех разговорах, которые телевизор помог прикончить, то наша благодарность телевидению должна жить в веках».

Ну а всерьез говоря, разве не верно, что люди всех возрастов стали неизмеримо меньше читать не только потому, что вообще часы, часы и часы, проведенные перед экраном телевизора, не оставляют времени для чтения, но и потому, что телевидение преподносит зрителю телеэкранизацию тех книг, которые, не будь этих экранизаций, человек обязательно прочел бы.

Есть книги, которые ребенок, молодой человек не может не прочесть. Это не менее важно для формирования будущего человека, чем его формирование физическое. А может быть, и гораздо важнее.

Что же это вообще за процесс — чтение книги?

Чтение художественного произведения нерасторжимо связано с работой воображения. Читая, представляешь себе, «видишь» то, что читаешь.

И каждый читающий «видит» по-иному, ибо его воображение есть сочетание его индивидуальности, его характера, его духовного мира, его жизненного опыта, его знаний с тем, что он читает.

Рыцарь печального образа, сохраняя данные ему Сервантесом черты, одновременно приобретает и то, что прибавило к ним мальчишеское воображение. У каждого мальчика творчески образуется свой Дон Кихот, свой Санчо Панса, свой Онегин и своя Татьяна, свой Фауст, свой Чичиков, свой Печорин, своя Наташа Ростова и свой князь Андрей. Это относится не только к детям, но в равной мере и ко взрослым. Только для ребенка творческий процесс чтения имеет особое значение, ибо при этом происходит нечто ничем не заменимое, драгоценное для формирования его личности: волшебным образом печатные буквы превращаются для него в живые, зримые образы. Он листает страницу за страницей и видит то, что написано.

Ну а что же получает ребенок, подменяя чтение Марка Твена кино- или телевизионной экранизацией? Он получает готовые консервы из Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Они увиденны чужим зрением и в виде материализованного чужого воображения готовенькими поданы на экран телевизора.

Быть может, они неизмеримо лучше, чем тот Том и тот Гекльберри Финн, которых вообразил бы себе сам юный человек, но они не его собственные, а дядины.

И что самое горькое — не случилось колдовства, чуда превращения печатных букв в живые картины жизни.

Нет, янисколько не против экранизаций — телевизионных и кинематографических, — они совершенно необходимы, но нельзя, ни в коем случае нельзя заменять ими чтение.

Они должны быть не «вместо», а «кроме». А как часто в действительности, в жизни они именно «вместо»!

Зачем читать «Братьев Карамазовых» или «Анну Каренину», если можно удобно усесться в кресло кинотеатра и, вылизывая мороженое из вафельного стаканчика, узнать за два-три часа то же самое? А то еще проще — не выходя из дома включить телевизор.

Однако же можно быть довольным или недовольным телевидением, можно его ненавидеть или любить, терпеть или ворчать и протестовать против него — это так же бесполезно, как возражать против того, что идет дождь или сияет солнце.

Телевидение стало частью нашей жизни. Оно стало необходимым человеку.

Экран телевизора дает ему ощущение сопричастности всему, что происходит на свете.

И естественно, что в произведениях литературы все чаще и чаще стало появляться это новое действующее лицо, ставшее неотъемлемым компонентом жизни современного человека.

Сборник «Дядя Фил и телевизор» составлен именно по такому признаку: в каждом из рассказов обязательно участвует в той или иной роли телевизор — этот ящик, ставший символом времени, изменивший способ общения людей, их быт, их отдых.

Замечательно в этом смысле «Похвальное слово телевидению» Джорджа Микеша, о котором я уже упоминал. «Когда я впервые приехал в Англию, телевидение существовало всего лишь как вид развлечения. Тогда оно еще не стало национальным бедствием... Средний англичанин в равной мере гордился как отсутствием телевизора, так и незнанием иностранных языков». Далее Джордж Микеш описывает Англию уже как страну развитую в отношении телевидения: «Я слушал выступления бесчисленных политических деятелей от различных партий, которые утверждали, что поражение — это и есть настоящая победа или что сейчас самое время спасти цивилизацию путем восстановления виселиц и введения телесных наказаний». И еще: «Необыкновенно высоко образовательное значение телевидения. Если вы еще молоды, оно научит вас, как: а) убивать, б) отравлять и вообще, в) как стать преступником...»

Все это, конечно, верно как одна из сторон западного телевидения, но также и верно то, что оно остается величайшим информатором (а часто величайшим дезинформатором), что оно выполняет все остальные функции телевидения, применяясь, естественно, в каждой стране к ее условиям.

В Соединенных Штатах влияние телевидения возросло до того, что оно стало решающим фактором даже при выборе президента. Как никогда раньше стала важна внешность кандидата, его манера держаться, искренность его улыбки. Избиратели могут заглянуть домой к кандидату, узнать его семью, увидеть его самого в кругу семьи, на прогулке, в общении с людьми. Ныне не только содержание предвыборных речей и агитационная кампания в печати решают вопрос о том, за кого голосовать, но прежде всего, больше всего то, каким окажется кандидат в президенты на телеэкране.

Мне довелось однажды увидеть в американской Академии телевидения в Нью-Йорке документальный фильм о предвыборной борьбе двух кандидатов в президенты США.

Это был знаменитый телевизионный фильм, который, по сути дела, предрешил исход выборов, будучи показан всей стране накануне голосования. В этом фильме не было ничего, кроме кадров выступающих со своими платформами претендентов. Чисто документальный фильм, снятый будто бы совершенно объективно — никаких дикторских текстов, никаких кинематографических приемов. Камера снимает выступающего. Вы его видите, вы его слышите. Вот второй претендент. Все то же самое — так же объективно. Вот они вместе, на одной площадке. Говорят по очереди — это их предвыборная дискуссия.

Вот и все. Ничего другого в фильме нет. Ни к чему придраться нельзя. Снято хроникально. Претензии не принимаются.

А вместе с тем это был фильм самый что ни на есть пропагандистский, резко направленный против одного из кандидатов и превозносящий до небес второго, который, конечно, и оказался избранным.

Как же это было сделано, если все снималось хроникально, как оно было в действительности?

Очень просто. Сниматься-то снималось все по-честному. А вот остались в фильме только те кадры, где один из кандидатов обаятельно улыбается, пожимает руки избирателям, ласкает их детей и снова улыбается с трибуны, где говорит удачное словцо и ему аплодируют слушатели, а из кадра второго кандидата выбраны те куски, где он скривился, где бросил сердитый взгляд на соперника, где неприятно снят в «противопоказанном» ему нижнем ракурсе, где он неудачно сострил и аудитория не отреагировала на это и так далее.

Получились два якобы одинаково честно, документально снятых портрета, один из которых — портрет обаятельного человека и второй — портрет недоброго, завистливого, нестроумного и непопулярного конкурента.

Можно легко представить себе, какое впечатление этот «объективный» телефильм произвел на голосующих обывателей и как это отразилось на результатах выборов.

Известно, что западное телевидение рождает идолов обоего пола и всеми средствами поддерживает лихорадочный интерес обывателей к подробностям их жизни, к их сенсационным романам и скандальным разводам.

Причем эти идолы не только актеры и актрисы, не только манекенщицы или спортсмены — огромное влияние на обывателей имеют просто «свои парни» на экране.

В рассказе Бада Шульберга «С приветом к вам из Арканзаса» — отличным, на мой взгляд, рассказе — одиночка Родс, который объявился на провинциальной радиостудии со своей самодельной гитарой, сбитой из дощечек сигарного ящика, и лексиконом своего парня, с бесконечными байками про своего деда, про дядю, про бесконечных родственников из Арканзаса, со своими дурацкими прибаутками, не только понравился, не только прижился, но был подхвачен могучими боссами радио и телевидения и стал настоящим идолом, легендарным героем слушателей и зрителей Америки.

«Какую околесицу он бы ни нес, оказывается, что именно это нужно слушателям».

Характерно начало его карьеры, одно из первых выступлений: «Доброго вам утречка, мамаша, ух ты, как вкусно пахнет кофе! Жаль, что мне никак отсюда не выбраться, хотелось бы вам помочь с посудой...»

И тут же с полсотни домохозяек не сходя с места плюхаются на стулья и строчат ему письма, что, мол, никто так не понимает их души.

Так началось — с завоевания сердец провинциальных домохозяек, а дошло до того, что Родс стал вещать на всю страну по телевидению в таком же свойском, дурашливом стиле о делах государственных и международных.

«Я, конечно дело, парень темный, простой вахлак из Арканзаса и к вашим городским делам непривычен, но...»

И пошло, и понесло. Раз приняв его, публика уже в восторге, какую бы белиберду ни нес этот «свой в доску» парень...

Сколько сочинений западных авторов — и талантливых и бездарных — довелось мне прочесть о гибели цивилизации, о конце света, об одичании человека, об исчезновении нашей планеты!

Но, быть может, один из самых грустных прогнозов содержится в рассказе Альфонсо Альвареса Вальера «Супруги, любившие уединение».

Здесь нет никаких катаклизмов, наш шарик по-прежнему благополучно вертится, цивилизация не исчезла, но какую же собачью жизнь предрекает автор людям будущего! Земля катастрофически перенаселена. Человек ни на одно мгновение не остается наедине с самим собой. Герой рассказа мечтает о том, чтобы ему с женой хоть один только день провести в одиночестве на лоне природы.

И вот в туристском агентстве неожиданно соглашаются удовлетворить эту просьбу, и их отвозят на субботу и воскресенье на маленький необитаемый островок.

Счастливые, они срывают с себя одежду, барахтаются в воде, скачут как безумные по островку, предаются любви — наконец-то наедине с природой. Так проводят они счастливые сорок восемь часов.

А вернувшись и включив вечером телевизор, вдруг видят на экране самих себя кувыркающихся на острове — все их счастливое путешествие, оказывается, было устроено телевизионной компанией и операторы-акванавигисты сняли все, что происходило на острове.

В том же невеселом ряду стоит и фантастическая новелла Джона Брюнера «Вас никто не убивал» — о телевизионной программе, пропагандирующей различные способы убийства, для того чтобы росли случаи насильственной смерти и таким путем регулировался бы катастрофический рост населения. Тоже, прямо скажем, прогноз не из приятных.

Будем надеяться, что эти предсказания останутся лишь интересно написанными рассказами, а человечество устроит свое будущее более разумно.

По-разному приняли люди приход телевидения.

Многие, особенно среди интеллигентов, поначалу отнеслись к телевидению с некоторым высокомерием, не признали его, не пустили в свой «высокоорганизованный духовный мир».

Стоит вспомнить, с какой ограниченностью, с каким высокомерием отнеслись к рождению киноискусства, к рождению «киношки» даже самые умные, самые выдающиеся деятели театра.

Недалеко от них в смысле ограниченности ушли и сами кинематографисты, когда экран зазвучал: «Говорящие фильмы? Я их ненавижу... Они разрушают великую красоту молчания» (Чарлз Чаплин); «...поздно оплакивать вторжение в кино варварского изобретения» (Рене Клер); «Говорящее кино почти так же мало нужно, как поющая книга» (Виктор Шкловский).

Я хотел было не приводить последнее высказывание любимого мною Виктора Борисовича, пощадить его, но подумал, что ему, может быть, будет даже приятно вспомнить, в какой хорошей компании он ошибался.

Я лично при появлении телевидения сдался сразу и установил дома огромный агрегат с малюсеньким экранчиком (не помню уж сейчас, как это чудо называлось).

Правда, чем дальше, тем реже я включаю ныне большущий экран «Рубина», но не могу сказать: то ли это свойство моего возраста и «возрастной» раздражительности, то ли свойство самих телевизионных программ — судите как хотите.

А вот мой старинный друг режиссер Сергей Юткевич — тот долгие годы стойко держался, не поддаваясь уговорам домашних, и ящика не заводил.

Но прогресс подминал и не такие железные натуры, и вот уже несколько лет как того же Сергея Иосифовича силой не оторвешь от цветного изображения фигурного катания, футбола или хоккея. Ворвался-таки чертов телевизор в дом рафинированного интеллектуала и уложил его на обе лопатки.

Думаю, что при всем гигантском значении телевидения в современном человеческом обществе мы не представляем себе, чем оно еще станет в будущем.

Я говорю не о ближайшем будущем — о кабельном и кассетном телевидении, которое сделает доступными человеку неисчислимые духовные ценности, заключенные в фильмохранилищах мира. Станет возможным легко «перечитать», посмотреть заново в любое время любой шедевр мирового кино- и телеискусства.

Это уже существует, и остается только вопрос внедрения.

Нет, не о том речь. Мне представляется, что в грядущем телевидение поможет объединить весь мир в великую единую разумную социальную систему и человечество будет общаться и строить свою мирную жизнь с помощью своих волшебных ящиков.

А пока пойду-ка я включу телевизор, погляжу, что сегодня по первой или второй программе...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. И. КУЛЕШОВ



КАК МЫ ИГРАЕМ КЛАССИКУ?

Глазами филолога

Пьеса и сцена, текст и «право на прочтение», границы жанра и текучесть форм. Нужны опыты и опыты, книги и исследования. А пока в журнальной статье (хотя бы вполобхвата) попробуем установить «типические» случаи сегодняшнего сценического воплощения классики.

Предмет спора есть!

Проблема эта тесно сопряжена со всей многообразной практикой советской культуры. А между тем часто молчаливо предполагается: только режиссеры-постановщики, люди новаторских дерзаний — рупоры современности, а мы, прочие, театроведы и особенно литературоведы, — так себе, «блюстители», люди застывшей мысли, ничем не рискующие и только лишь стоящие на страже неприкосновенной классики. Полагаю, что коллизия мной не надумана.

Вот ситуация. Только в Москве одновременно играют несколько «Ревизоров», «Горе от ума», «Ивановых». Критики-профессионалы пытаются разобраться в типах и уровнях воплощения: одно дело «Ревизор» во МХАТе и совсем другое в Театре сатиры; «Горе от ума» в Малом театре и в том же Театре сатиры.

Но, увы, как порой еще методологически сбивчивы критические похвалы и порицания! Есть несколько повторяющихся, можно сказать, типичных затворов мысли, связанных с недопониманием механизма сцепления в классике конкретно-исторического и общечеловеческого. Есть критики, которые апологетически присоединяются к режиссерам в самых неудачных их утверждениях. Будто им важно одно доказать: сколько голов, столько умов, все жанры хороши, кроме скудного.

Иные пекутся о точном следовании за текстом, буквой шедевра, узко понимая «верность эпохе»; но известно, что музейно-скрупулезные спектакли обычно неинтересны. Блюстители сценических преданий исходят в оценках из сравнений: новый спектакль непохож на старый, а потому и хуже. Режиссеры, бывает, придерживаются обратного направления: новое лучше старого, потому что новое, «нынче стерпится, завтра слюбится»; так ведь было с «Последней жертвой» в постановке К. Станиславского: сначала ее тоже ругали... Нередко произносятся отвлеченные тирады о соотношении традиции и новаторства. И при внешнем респекте по отношению к историзму выдвигается ложная альтернатива: или классика — или мы. Раздаются голоса, нередко отражающие отчаяние зрителей: если уж так «обновляется» классика, то лучше оставьте ее в покое, пишите свою, новую пьесу. Встречаются постановщики, которые строят спектакль вокруг одной-двух острых реплик, им нет дела до гармонии целого. Попадаются и критики — любители внешних аллюзий, старательно выхватывающие «намекы», «шпильки» из спектаклей.

Таковы «встречающиеся случаи». Предмет спора есть. Мы еще никак не можем вырваться из мира парадоксов, прихотливого субъективизма.

Зачем, например, Городничему Георгиевский крест? За какие такие боевые заслуги в Театре сатиры ему пожаловали Георгия? У Гоголя ничего подобного нет. Автор ли не предупредомлял актеров, как следует играть «Ревизора»? Как долго же надо идти от этого Георгия, чтобы добраться до того Городничего, плута и мошенника, каким он выведен в знаменитой комедии? «Рожа

крива» так вышривлепа, словно перед нами писанный молодец. Система произвольных акцентов в этом спектакле полностью деформировала гоголевскую пьесу, навязав ей ложную сложность и упустив ее подлинную. Сколько ни принуждай самого Гоголя слоняться по сцене в виде некоего таинственного привидения со свечой, как ни выставляй хрестоматийно-назидательно его скульптурный портрет «по Андрееву» в финале — все эти заклания «с подлинным веро» не помогают: тут больше режиссера В. Н. Плучека, чем писателя Н. В. Гоголя. Влумаемся в логику рассуждений режиссера — доктрина изложена им письменно. В. Плучек в газете «Советская культура» нас уверяет, что «Ревизор» — «обличение, доведенное до драматизма». Какой же имеется в виду драматизм? Оказывается, он касается и героев и автора. В «Ревизоре» конфликт «у всех со всеми». Что ж, зал отключен, все дело в возне самих героев; поэтому-то и нет возмездия в «немой сцене», сколько ни хлопочет об этом В. Плучек. Она даже и не «немая». Скорым пробегом громкоговоритель нашептывает разнообразные прежние реплики героев пьесы, но это раздавание всем сестрам по серьгам смазывает впечатление шока. Знаменитая всероссийская оплеуха не раздалась.

На первом месте оказываются не смех и сатира, а пресловутый драматизм. Гоголь, мол, скорбел, что герои «Ревизора» в основе своей хорошие люди, изуродованные действительностью, их тоже «среда заела». Вот вам и вывернутая формула «слезы сквозь смех». Кроме того, мы узнаем, что еще Мейерхольд учил «мыслить о каждом драматическом произведении через призму всего творчества писателя». Что ж, как учение это верно. И Белинский учил, что в оценке частностей надо исходить из общего пафоса творчества писателя. Но ведь речь идет о разных вещах: нам предлагают втиснуть в «Ревизора» всего Гоголя, его позднейшие заблуждения, нашедшие выражение во втором томе «Мертвых душ», в «Выбранных местах из переписки с друзьями». А между тем доминантой в «Ревизоре» выступают не эти иллюзии, а сатира и обличение. «Ревизор» написан с желанием собрать «все в кучу и высмеять разом», перед нами комедия «смешнее черта».

Одному рецензенту в словах Городничего «смотрите, смотрите, весь мир, все

христианство, все смотрите, как одурачен Городничий...» послышался рыдающий кс-роль Лир. И на этот раз нас уверяют, что «гоголевские типы надо показывать со сцены не смешными и жалкими с самого рождения, а как людей искалеченных и превращенных позорной действительностью в людшек чванливых, пришибленных...». Снимаются все ориентиры социологической оценки. Перед нами не чиновники и взяточники, а некие достойные сожаления: всечеловеки. Но это не что иное, как релятивистская покладистость...

Насчет идеалов, которые водят рукой сатирика (Гоголя, Щедрина, Свифта), литературоведы договорились, научились их объяснять и «выводить» из текстов, как ни трудна эта проблема. Театроведы же нередко впадают в упрощенчество. Вот, например, пишет И. Вишневецкая: «Островский любил своих самодуров так же, как Гоголь любил своих Чичикова и Хлестакова. Любил в том смысле, что плакал над несовершенством исковерканной человеческой природы». И так, лю б и л...

Однако соотношение идеалов сатирика и созданных им характеров надо искать в более широких аспектах. Нередко идеалы так и оставались лишь в душе художника как чаяния лучшего мира. Их ответы могут лежать и на героях, но уж никак не на тех, которым от рождения и воспитания было суждено пребывать в мире корысти, оставаться подлыми и уродливыми, какими их создала социальная реальность. Правдивость классики — вещь обязывающая. Реализм не надо ни обуздывать, ни прищипывать.

Немало встречается псевдонаучной игры в слова, лукавой установки на относительность критериев. Забывается, что за ними стоят истины абсолютные. Я с большой любовью отношусь к одному яркому, одаренному режиссеру и театрику театра, но от его слов, которые я сейчас приведу, отдает стихией неконтролируемого субъективизма: «Разве кто-то может сказать, что Шекспир своим «Гамлетом» сказал именно то, а не иное. Если бы раз и навсегда (!) было ясно, что он сказал, то больше не было б книг о Шекспире». За логику здесь хотелось бы поставить профессорскую двойку. Кто и когда брался сказать о Шекспире все «раз и навсегда»? О Шекспире существует несчетное число книг и будет написано еще много. Тем не менее Шекспир своим «Гамлетом» сказал нечто опре-

деленное и важное для всего человечества. При всех оттенках и вариантах понимания этой истины перед нами всегда «Гамлет», «гамлетизм», «гамлетовское настроение». Мочалов, Остужев, Оливье в роли Гамлета — нечто единое суть в своем разнообразии. И люди разных наций и разных веков всегда понимают, о чем идет речь.

В приведенных словах кроется определенный агностицизм: не текст, а только «прочтение» его дает истину. Отсюда и другое заявление того же режиссера: спектакль всегда красноречив, а пьеса, просто пьеса, «молчит». Нет, пьеса тоже говорит. Читая ее, мы и слышим и видим ее в живом расцвеченном действии. Чаще в чтении она богаче, чем на сцене. Пьеса, если речь идет о шедевре, так и остается одна на весь мир и живет века. Интерпретаций же сотни и тысячи, и только одна-две выживают как конгениальные.

Обращает на себя внимание мысль режиссера А. Эфроса, пусть не совсем скромно выраженная, но весьма здравая: «...я, как, впрочем, всякий другой, не могу, к сожалению, думать и чувствовать точно так же, как Чехов или Шекспир. Я трактую во многом невольно (!), ибо вступаю в силу что-то (!), что отличает меня от них». Что ж, вопрос этот философский: действительно, важно понять «что-то», которое отличает нас от классиков. Оно, конечно, срабатывает в нас вольно и невольно. То, что в нас вольно, мы знаем, оно наше; знаем, где словчили, а где доверились разуму. А вот «невольное» и предстоит осознать: оно часто является голосом времени, правом поколения на «прочтение». Тут поистине свобода — познанная необходимость. Я думаю, что режиссер согласится со мной: далеко не всякому дано право заявлять «мой Пушкин», «мой Гоголь». А этим часто злоупотребляют.

Хуже всего — расписки в бедности, раздаваемые с расточительностью. В. Розов делает такой реверанс в адрес театров: «Да в конце концов кто возьмет на себя смелость сказать, как надо ставить классику? Только тот, кто будет ее ставить», «Вопрос, как надо ставить классическую пьесу, — пустой, никто не знает».

Вот и порочный круг: никто не знает, что Шекспир хотел сказать, никто не знает, как ставить Шекспира.

Нередко режиссерское своеволие опирается на соображения: почти никогда классики не были довольны постановками сво-

их пьес. Особенно яркие примеры — Гоголь, Чехов. Угодить классикам невозможно, а может быть, и не нужно. Но остановимся и задумаемся: это недовольство вовсе не закон. Чем был недоволен Гоголь? Плохой игрой: «Дюр ни на волос не понял Хлестакова». Недоволен был и Чехов провалом «Чайки» в той же Александринке. Просто играли плохо. Но вот случай: Чехов недоволен постановкой «Вишневого сада» в Художественном театре. Он написал комедию, а Станиславский и Немирович-Данченко сыграли ее как драму. Было ли это своеволие порочным? Необходимо понять суть дела. Постановщики усмотрели в пьесе больше, чем сам автор. Можно допустить такое? Да, можно. Но из этого не следует, что семьдесят лет играли «Вишневый сад» в том же театре не по Чехову. Театр развил то, что было в пьесе Чехова, и время свое подсказало. Хорошо заметил Телешов: «Художественный театр сделал Чехова сценичным, а Чехов сделал Художественный театр художественным». Более того, мхатовская трактовка повлияла на самое понимание Чехова, мы стали всматриваться в него глубже, его лик для нас изменился. А какой цитаделью вкуса был мхатовский Чехов для всего советского театра, как обогатил этот опыт принципы нашего отношения к классике вообще!

Субъективисту, пыжащемуся перекричать классику, тут делать нечего.

Нужна ли классике охранный грамота?

Да, нужна! Как, любому творению зодчества: дворцу, храму...

Когда в Малом театре на «Горе от ума» говорят по-канцелярски, по-книжному «что», «потому что», а не «што», — это уже непорядок. А ведь на комедии московский «особый отпечаток». Почему же не доносятся до зрителя слова, как в подлиннике: «о Бейроне, ну о матерях важных»? Если уж Малый театр попытался, то что же спрашивать с других? И Рылеев писал по норме 1824 года стихотворение «На смерть Бейрона», а не «Байрона». Мне скажут: какая мелочь! Но в «Горе от ума» мелочей нет. Тут все — краска. Известно, по Толстому, с «чуть-чуть» начинается искусство. Но оно может на «чуть-чуть» и кончиться. Хранит же «Комеди Франсез» нормы языка и манеру произношения эпохи Корнеля и Расина. Как ни ушел язык сегодняшних шекспировских представлений от норм эпохи Шекспира, все же и этот сегодняшний

шекспировский язык несет на себе тысячи примет величавой архаики, и природный англичанин чувствует: вот Шекспир! Да и вопрос этот особый: от сегодня до Шекспира более трех с половиной столетий. А до Грибоедова короче, и русский язык не так разительно менялся. Подлинников Шекспира мы не знаем, а «Горе от ума» — подлинник. И вообще не надо торопить время, оно и так неостановимо и безжалостно...

А ведь выбрасывают целые сцены или перетасовывают их. В «Горе от ума» на сцене Театра сатиры нет тех явлений из третьего акта, где Чацкий декларирует свой разрыв со средой. В «Ревизоре» также выброшены сцены с купцами. Я понимаю эффект, которого достигает МХАТ, перенеся из второго действия «Иванова» часть сцены именин Саши, чтобы с этих забежавших вперед сплетен о главном герое начать спектакль, ибо в схватке с пошлостью герой и гибнет. Но эта заставка форсирует давление среды, слишком резко подчеркивает антагонизм лагерей по законам той самой внешней сценичности, в борьбе с которой сложился театр Чехова. У Чехова свои законы. И «Иванов» — одна из самых бездейственных пьес Чехова, «Иванов» у Чехова строится так: сначала уединенные размышления Иванова — русского Гамлета — за книгой, потом постепенное нарастание пошлости вокруг: появляются Боркин, Шабельский, Львов, взрыв происходит при общем съезде гостей на свадьбу. Мы не можем предписывать Чехову свои темпы развертывания действия, свои фазы. Рецензент мхатовского «Иванова» Н. Крымова сказала: Смоктуновский — «замечательный мастер молчания». Это принципиальный момент для всего спектакля. Спектакль, по-видимому, и должен начинаться, как у Чехова, с самого Иванова — Смоктуновского: тихо, изнутри. Там, в «Горе от ума», убрали схватку героя со средой, а здесь среду излишне навязывают герою. Мы всегда должны быть уверенными, что перед нами подлинники Грибоедов и Чехов. Ищите в глубине строки и обращайтесь. Легче всего перешагнуть через пьесу. Нет, не все позволено...

Понятие классики родилось в эпоху Ренессанса. Классикой была объявлена античность как образец, пример для изучения. Старательно счищались палимпсесты, чтобы под наслоившейся церковностью возродить погребенный подлинный текст Цицерона.

Искусство вздохнуло полной грудью, когда были откопаны великие антики и музеи Европы заполнились безносыми и безрукими Афродитами, Зевсами, Аполлонами, Неронами, торсами и масками, доподлинно передававшими движения человеческого тела, мимику лица. Мы классикой назвали Пушкина и Чехова в второй день после Октября 1917 года. Величайшее в истории отталкивание от прошлого, хотя и породило много левой фразы, сопровождалось бережным сохранением его: по старым матрицам массовыми тиражами были переизданы классики, были сохранены Эрмитаж и Большой театр. Извиняюсь за эту справку, но тут важно понять: как ни народен был Толстой еще при жизни, В. И. Ленин указывал, что для подлинной и полной его народности нужна еще и революция. В чем тут смысл? Революция просветит народ, и он прочтет Толстого. Ясно, что речь шла о подлинном Толстом, неподменном. Мы сейчас гордимся скрупулезно точным изданием классиков. Не думаю, что текстология выламывается из литературоведения и не имеет отношения к его концепциям. Нет, имеет. Нас улаживает и беловик и черновик Пушкина. А канонический текст на то и выстрадан, чтобы его беречь.

Верность духу эпохи на сцене достигается не только общим тоном спектакля, ансамблем целого, но и через костюмы, декорации... При самых больших «отлетах» от оригинала колорит — вещь великая. Оригинал — это текст, ремарки автора, «предуведомление», вся сумма знаний о нем и его эпохе. И чем больше мы знаем, тем лучше. Интуитивного проникновения на чистом месте не может быть. Постановщик и оформитель всегда штудируют пьесу перед тем, как ее играть. Листают альбомы, изучают костюмы, кинжалы, шляпы... Отсюда еще не следует, что весь реквизит будет использован в спектакле. Отброшено будет больше, чем взято. Но этот анализ — единственный путь постижения духа целого. Невежество еще никому не помогало.

Сцена, конечно, продиктует свои жесткие условия. Колорит будет дан какими-то отдельными точными «попаданиями», решающими деталями, в контексте довольно условных обозначений. И все же «воскресить» век минувший во всей его истине остается задачей постановщика. Понадобились же Пушкину для Пугачева оренбургские

степи, мерил же шагами Толстой Бородинское поле. Верность деталям Ф. Энгельс включал в свою известную формулу реализма, высказанную в письме к М. Гаркнесс. Похвалялись же когда-то, еще до революции, в Художественном театре: Костя Алексеев (Станиславский) собирается поставить «Отелло» и, говорят, велел меч привезти из Венеции. Конечно, можно махать и мечом картонным, так чаще и бывает. Но почему же примешивается досада, когда мы это замечаем? Драться им нельзя.. А «венецианский» — это только чистый символ сути дела. Сначала меня передернуло, когда я увидел в «Отелло» в Театре на Бронной Яго — Л. Дурова в полосатой тельняшке, с кинжалом: что за «братишка», уж не из «Разлома» ли Лавренева? Но стал перебирать в памяти и вспомнил: в Венеции гондольеры до сих пор в тельняшках, сам видел, да ведь она, наверное, отсюда и пошла, став морской формой на всем белом свете. Всмотритесь в картины Каналетто: Большой канал в Венеции он рисовал много раз, и в XVIII веке гондольеры в тельняшках. Великая держава и Критом владела, ведь Яго — прапорщик, служит в прибрежной крепости у генерала Отелло. Яго — венецианец, а кто из них не моряк?

Предвижу, как мой приятель, ученый муж, здесь осклабится: неужели нельзя выбрать пример посущественней? Отвечу: пример — только символ вопроса. В каждом из примеров нас ожидают дебри...

А теперь перейдем к сути. Ошибаются те, кто полагает, что наш век — только век интеграции, синтезов, моделирования, глобальных расчетов, универсальных схем, суммарно-обобщенных представлений, ускоренных пробегов там, где прежде скрупулезно копались годами и приращивали малую толику к известному. Нет, совершаются и другие процессы, аналитические вхождения в миры, о которых раньше были только приблизительные представления или вовсе никаких. И без того много зная о древности, мы с жадным любопытством разглядываем какой-нибудь стульчик из гробницы Тутанхамона, раскапываем библейские холмы и радуемся, что сады Семирамиды во вьдуйка. Бездны космоса и атома предполагают друг друга.

Хранить классику нужно, как всякую драгоценность, которая принадлежит не только нам, но и потомкам. Иначе мы можем расшатать традиции, без которых не бывает и нового.

Классика как она есть

Классика много значит в нашей сегодняшней культурной жизни. Полистайте рядные еженедельные книжечки театральных программ, вы убедитесь: треть занимает классика, русская и мировая. Это обычно лучшие спектакли, на них вырастают большие актерские таланты. Свой обет правды классика выполнила блестяще. Очередь за нами, ее продолжателями и интерпретаторами. Она все еще сохраняет значение эстетической нормы, редко достигаемого образца.

Классика полногласа. Она самопожертвенно искала истину. Она дерзала: каждое ее произведение было неожиданностью, сенсацией, нарушением нормы, традиции. Это теперь в дистанции времени и только педантам она кажется застывшей, самодовлеющей. Все ее части в напряженной динамике, она обескураживала робкий ум, ставила в тупик людей рутины. На классике нельзя останавливаться. Ее надо продолжать. Она по природе своей — искание, дело смелых.

Классика, конечно, не просто повод, трамплин, подталкивающий к сегодняшним вопросам. Но ей сродни только тот, кто умеет ставить новые вопросы.

Классика обладает историческим самодвижением. То, что изображено в ней и что имело определенную судьбу, не осталось отшумевшим циклом жизни.

Перед нами две ступени правды: первая — та, которую выразила классика, и вторая — та, которая выросла на ней вместе с историей, и обе их выразить должны мы. Последующее звено бросает ретроспективный свет на предыдущее. Тут заложены объективные предпосылки «прочтения». В известных словах: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством» (В. И. Ленин) — два смысла. Надо создать свое, новое искусство на основе традиций и дать классике вторую жизнь.

В дискуссиях на театральные темы вопрос, связанный с исходной сутью классики, как-то обходит или об этом говорят скороговоркой. Что такое классика: «не тронь меня» или «парадоксов друг»? Интерпретация — не бег на месте, а шаг вперед. Успех может быть только на пути развития той логики, которая заложена в самом шедевре. В уловлении логики — историческое развитие его содержания. Чем

угодил Мочалов своему поколению, играя Гамлета? Тем, что показал активного Гамлета, пережившего переход от одной веры к другой. Навязал ли он что-либо чуждое этой роли? Нет, просто акцент был перенесен с момента прострации на момент прозрения. Ведь бездействовавший Гамлет берется за рапиру: сцена дуэли с Лазертом придумана Шекспиром. Шекспир говорит о том, что Гамлет узнал всю правду о своих врагах, он, расправляясь с ними, гибнет сам. Русские мыслящие молодые люди 30—40-х годов прошлого века аплодировали Мочалову. Белинский написал о нем вдохновенную статью-гимн. Потому что они видели в Мочалове—Гамлете свою духовную эволюцию, выход из философской рефлексии безвременья к активным общественным деяниям.

Великие драматурги сами делали определенные заострения, которые подразумевали переход в жест. Толстой записал в дневнике: «Надо заострить художественное произведение. Заострить и значит сделать ее (комедию Гоголя.— В. К.) художественно совершенной. Тогда она пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое». Толстой говорит о повторении как повторном прочтении. Но, в сущности, это и режиссерское повторение, заострение проведено и на сцене. Есть и другое важное указание Толстого: «Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтобы его произведение было исканием. Если он все нашел и все знает, и учит или нарочно потешает, он не действует. Только если он ищет, зритель слушает или читатель сливается с ним в поисках». Постановщик должен переиграть текст как живое сегодняшнее искание и передать как искание ту «добавку», которую подсказывает история. Вот в чем может обнаружить себя обаяние серьезного интерпретатора, его конгениальное сотворчество, «соревнование» с классикой.

Видимо, надо различать три вида спектаклей. Первый, и, пожалуй, главный,— спектакль-постановка, когда играет сама пьеса. И спектакль соответственно называется: «Три сестры», «Враги», «Дон Карлос». Все, что мы говорим о верности тексту, подлинникам, отсылается прежде всего к этой форме спектакля. Тут особенно важно активное сотворчество режиссера с автором.

Другой вид — спектакль-инсценировка, чаще это переделка романа или повести в

драму, то есть создание нового текста с неизбежными адаптациями. Здесь свои, особые отношения постановщика с изначальным автором, не похожие на первый случай. Нередко отбрасываются целые темы, параллельно развивающиеся интриги для придания тексту необходимого в драме сквозного действия. Так, в «Анне Карениной» во МХАТе отбрасывалась вся линия Левин — Кити. Впрочем, Г. Волчек в «Современнике» собирается ставить «Анну Каренину» с обеими линиями, стремясь, видимо, не пройти мимо толстовских «сводов». Или в «Воскресении» сохранился авторский голос, его вел В. Качалов: своеобразная подстраховка сквозного действия. Такие инсценировки чаще всего получают те же названия, что у произведений, которым обязаны своим рождением: играемые в Малом театре «Господа Головлевы» или во МХАТе «Мертвые души». Ряд сезонов игрался в Театре имени Пушкина «Обломов», в «Современнике» — «Обыкновенная история». Но бывают отступления от такого правила: «Балалайки и другие» — переделка «Современной идиллии» Щедрина.

И наконец, есть третий вид спектакля, все более получающий права гражданства, который условно можно назвать спектакль-представление. Таковы «Товарищ, верь!..», «Бенефис» на Таганке, «Версия» в Театре имени Моссовета. Текст обычно делается постановщиком в соавторстве с профессиональным литератором; во многих случаях представления удаются, и тут немалая заслуга текста. Такие спектакли играют как монтаж — по мотивам жизни и творчества писателя, скомпонованы тексты из его произведений, его писем, писем к нему и о нем. Спектакль выглядит как дань уважения гению, как попытка воссоздать его облик, показать, чем он жив в наших сердцах сегодня. Это спектакли-исповеди на тему нашей любви к классике.

Во всех трех формах спектаклей по-разному обнаруживают себя подходы к интерпретации классики. Степень произвольности нарастает от формы к форме, а между тем качество материала не должно понижаться. От формы к форме нарастает удельный вес режиссерского вклада. Но наиболее трудна роль режиссера в первом случае, где должен предельно проявиться его вкус, он должен поставить пьесу «по нотам» драматурга-гения. В двух других случаях, и особенно в третьем, велика опасность ничем не обеспеченного, а

потому бесперспективного состязания с гением. Рождение в буквальном смысле «своего» Пушкина, «своего» Островского, «своего» Блока при всей легкости, казалось бы, этой задачи (получена «свобода») может обернуться крикливой претензией.

Но есть различные уровни интерпретации одного и того же материала, что зависит от талантливости режиссера, от умения придать поисковый характер постановке.

Критерии правды и вкуса

Да, многое зависит от случая, но многое и от умения. В «судьбу» верит каждый режиссер и актер. Еще бы! Внешние данные актера уже многое решают: подходит ли он к роли. А настроение во время игры и то «нечто», что одно может избавить от многих огрехов... Ведь чаще актер нравится и имеет успех не в целом, а одной-двумя чертами, совершенно его личными. А режиссер сразу прикидывает, сладит ли он с пьесой силами именно этого коллектива, да и тут иногда ставка делается на одного или двух самых удачливых исполнителей. Известно, кроме того, что спектакль растет, а со временем и осыпается, умирает.

Но отодвинем «судьбу», поговорим об умении, о том, что может расцениваться как наука о театре, быть учтено, подсчитано, явлено как критерий интерпретации.

Наиболее удачными спектаклями всегда были те, которые оставались верны духу подлинника и искали резервы сценичности в его тексте. Мысль старая как мир, но от нее никуда не уйдешь. Почему надо искать обходной маневр, заноситься в сторону от того, что дано в тексте? Не расписка ли это в бедности? Не легчайший ли путь? Особенно досадно, если «обход» предпринимается не вслепую, а как единственный способ утвердить себя. Некоторые режиссеры и театроведы высмеивают как нечто дедовское, банальное верность первоисточнику, считают шиком искать сценичность в тех технических возможностях, которые ныне предоставляет театр. Глубокое заблуждение! Тут надо знать меру. Наука вкуса не написана. Она дается режиссеру, актеру как откровение, как талант и подкрепляется знаниями и выучкой. Зал чувствует почти всегда, если что-то играет не так. Трудно сказать, как надо. Еще труднее сыграть. И все же есть обществeнный вкус, общественная психоло-

гия, они-то и подсказывают: нет, не то, совсем не то! Пусть этот приговор научно не сразу объясним, но он редко неверен. Наш долг добраться до объяснения.

Я глубоко убежден, что у нас «Ревизор» нередко играют в том ошибочном варианте, в каком он был сыгран в первый раз и при жизни Гоголя, то есть с вольными перехлестами. В Театре сатиры Хлестаков и на коленях сидит у Марьи Антоновны, и с Анной Андреевной не церемонится. Гоголевский гротеск и так предельно комедийен, зачем же его еще форсировать? Комедия сразу мелеет. Гоголь болезненно воспринимал попытки актеров перейти заповедную черту. В Малом театре, видимо, чтобы усилить антикрепостнический смысл комедии, заставляют маршировать нескольких держиморд; по краям сцены полосатые будки, происходят смены караулов. А ведь ничего этого не надо. МХАТ лучше играет «Ревизора», держась в оформлении серых, неказистых, провинциальных тонов, «семейного» режима интриги, с традиционной для театра нюансировкой мотивов и переходов. И мы чувствуем, как на немногом, на пустяке, но страшно обманулся Городничий, а Хлестаков пребывает «езде, везде». Когда-нибудь будет сыгран «Ревизор» — эта чудо-комедия — во всю мощь его текста. И с напряжением и эстетическим наслаждением зал замрет и будет слушать эту сложную, чисто русскую вязь слов, следить за тем, как выволакивается подноготная человеческой души, и над многим задумается зал... Да, над «Ревизором» задумается.

Что же касается классического текста, то он очень хорошо играет в «Горе от ума» на сцене Театра сатиры, лучше, на мой взгляд, чем в Малом театре, где выделен должен быть только М. Царев (Фамусов). Главный секрет в том (за что несправедливо порицали Театр сатиры некоторые рецензенты), что стихи в «Горе от ума» читаются без навязчивого звона рифмы, автоматизма ритма, приближенно к прозаической речи, но не как простая проза. Ухо чувствует все время привычные кадансы текста, засевающие в памяти согни афоризмов, но встреча с ними — нехрестоматийная, радостная, как бы заново обретенная. Формулы звучат разомкнуто, как естественная речь. Особенно хороши пассажи Чацкого, его играет А. Миронов. Растяжка, с которой он произносит свои вдумчивые монологи, эти пульсации и пе-

ремени ракурсов, то углубление к себе, то гражданские доблестные выпады — все это вовлекает в сопереживания и ты удивляешься как много еще скрыто оттенков значений в могучем грибоедовском тексте. Хорошо в этом смысле играют Фамусова А. Папанов и Лизу З. Магросова.

До сих пор говорилось на тему о верности. А теперь главным образом о духе текста.

Разные уровни его постижения мы встречаем в постановках «Иванова» в Театре имени Ленинского комсомола и во МХАТе. Е. Леонов в заглавной роли — человек целиком в прошедшем времени, без самокритики, заснувший навсегда; его вялость даже не предполагает возможности каких-либо духовных взлетов ни в прежние годы, ни к финалу спектакля. Чрезвычайно удачно суть образа Иванова постигает И. Смоктуновский. Мы кое-что сказали об этом выше. Добавим еще: «содержание» не остается где-то там, в эпохе 80-х годов прошлого века, оно придвинуто к зрителю. Иванов — Смоктуновский человек не конченный, не успокоившийся, он еще не ринулся в пропасть, перед ним выбор. Полон значения его вопрос, обращенный к себе: «Что со мной?» Зритель искусно вовлекается в процесс духовной самокритики, исканий самого себя. Повышенная честность и совестливость Иванова — качества драгоценные и вечные. Нарастает и презрение Иванова к самому себе, к своей слабости. Зритель видит его эгоцентричность и жесткость. Вот эта зыбкая разграничительная линия добра и зла у Чехова становится в спектакле МХАТа живой, трепещущей между полюсами плазмой. Надо видеть И. Смоктуновского в этой роли, особенно из ближних рядов, чтобы слышны были шепоты. Какой благородный лоб мыслящего человека и в то же время неуверенная походка, обрывки начатых тирад, виноватая улыбка. Когда он запахивает пальто, то словно хочет собрать себя. На «Иванове» во МХАТе (постановка О. Ефремова, режиссер С. Десницкий) убеждаешься, какой безгранично емкой может быть классика сегодня, если играть ее как «искание», ее ДУХ.

В плане выявления психологического подтекста весьма удачно сыгран «Месяц в деревне» в Театре на Бронной. Если не спорить о масштабах события, то перед нами тот же случай, что и с «Вишневым садом» в Художественном театре при жиз-

ни Чехова. Усиление драматизма без разрыва общей ткани пьесы. Он заложен, этот драматизм, в пьесе Тургенева, и его разглядеть А. Эфрос. Исполнительница роли Натальи Петровны О. Яковлева вложила много душевного жара в образ. Отодвинутыми оказались хитроумные словесные сплетения, при помощи которых скучающая в деревне барынька, и без того уже имеющая поклонника при нелюбимом муже, старается заманить в свои сети молодого студента, учителя ее сына. На первый план выступила жертвенность женщины, годы которой уходят. И какими ничтожными, пусть в разной степени, выглядят Ислаев, Ракитин и Беляев, неспособные понять ее. Мы верим в слезы О. Яковлевой, в ее голосе есть какая-то неподдельная трогательность. Она своей игрой, как верно отмечала И. Вишневская, даже меняет наше представление о «тургеневской женщине». Так в свое время и МХАТ изменил представление о Чехове.

Перед нами по всеобщему признанию зрителей и критики удачные, вместе с тем построенные на бережном отношении (за вычетом перестановки сцены в «Иванове») к классике спектакли. Есть домысливание, нечто свое, то, что называется новым «прочтением», без искажений, дешевой оригинальности. Значит, в принципе возможно сегодня сыграть век минувший. Ведь от начала до конца смотрятся эти вещи с напряжением, а не от вспышки до вспышки.

Но чаще встречаются спектакли неровные: то на горе, то в яме. Значит, есть изъяны в «прочтении» или просто халатность, нехватка хороших актеров, а иногда и разностильность постановки, эклектика. Напрасно некоторые критики и особенно сами режиссеры, постановщики нагнетают своего рода мистику: не троньте наш замысел, это пути неисповедимые, легче всего бросать негашеной известкой на пробившуюся зеленую травку. Но постараемся сохранить уважение и трезвость: не так уж трудно увидеть, что выправлять, на что равняться. Особенно когда пройдет угар премьер. Особенно если рассуждать «без чинов».

В Малом театре «Горе от ума» разламывается надвое. Чрезвычайно хорош М. Царев: никогда еще столь многозначительной не представляла перед нами фамусовская Москва. В его исполнении Фамусов вырос. Я не согласен с мнениями рецензентов, что

М. Царев завывает вес этого образа. Все приращения оправданны: Фамусов всеиселен, закоренел в предрассудках, но и дальновиден, ловок в тактике, умеет отстаивать домострой, за ним вся сила вещного и духовного уклада. Выскажу еретическую мысль: Фамусов — самая колоритная по художественному выполнению фигура в комедии Грибоедова. Конечно, мы ему не сочувствуем. Он отрицательный персонаж. Но речь не о том. Его играть, по-видимому, одно удовольствие. Но беда в том, что М. Царев решительно переигрывает В. Соломина—Чацкого, забивает его. И тут дело не в разности талантов и опыта. Дело в перекосах общего замысла. Чацкий выведен тщедушным рыженьким мальчиком в очках, каким-то «архивным юношей». В нем нет того европейского лоска (несмотря на выпады против фрака и подражательности), той одухотворенности, которые сразу ставили бы его в исключительное положение, на голову выше остальных. А он говорит просительным тоном, в нем нет напора, наступательности, возмущения. Ведь, по Гончарову, Чацкий нанес старому миру смертельные удары «качеством своей новой, свежей силы». А его «миллион терзаний» в спектакле оказался разменным на медяки. Гармония обеих линий — интимно-лирической и общественно-обличительной — не только нарушена, но и снижена вовсе. Чацкий затерт еще и Скалозубом, Молчалиным. Все они выглядят импозантнее. В спектакле нет исканий, движения, а ведь эта пьеса — сплошь борьба. Пафос ее в утверждении духовной победы Чацкого. Исключение из текста некоторых слов вовсе принижает этот его разрыв с обществом. Мы всегда наслаждаемся декорациями в Малом театре; здесь обстановка старомосковского быта: мебель красного дерева, шубы господские на вешалке — все внушает полное доверие ко вкусу постановщика. Но вот огрех за огрехом, и нас начинают развлекать: Чацкий, проскакавший семьсот верст, входит в шубе, но в рубашке апаш; как недоросль, в гостинной без помощи рук сбрасывает валеные боты, потом появляется вторично, переодетый по-сегодняшнему, с рублевым тортом в коробке. Так ли ходили светские люди в гости, с дарами, перевязанными веревочкой накрест?

Да, я настаиваю на возможности вполне рационального объяснения самых дерзновенных замыслов режиссеров, их вытупив-

ных решений. Переакцентировки возможны и неизбежны, но только в параметрах пьесы, замысла пьесы. Поменять местами в наших симпатиях Чацкого с Молчалиным никак нельзя. Требование современности не может деформировать пьесу целиком, до неузнаваемости, заглушить в ней ее собственный пафос. И всегда можно отделить замысел от выполнения. Замыслы же, как известно, всегда благие. Будем судить о том, что получилось.

Тут есть много интересного, хотя, увы, достоинства нередко переходят в недостатки...

Думаю, что не во всем был не прав А. Эфрос в постановке «Чайки», хотя ее и ругали... Он переакцентировал пьесу на Треплева. И правда, Треплеву есть что сказать гораздо саркастичнее и громче, чем то, что мы слышали до сих пор в адрес традиционалистов Тригорина и Аркадиной, «ихнего» искусства. И слова о «горлышке бутылки», которые разом передают впечатление от лунной ночи, скорее подходят ему, «искателю» Треплеву, чем Тригорину, которому, в сущности, давно уже нечего сказать, а он еще пожинает лавры прежних успехов и требует себе на заклатие жизнь других. И все же придется согласиться: слишком натянул струны постановщик, пьеса Чехова сопротивляется...

Еще дальше А. Эфрос пошел в непродуктивном направлении, поставив «Вишневый сад» в Театре на Таганке. Хороши Лопухин у В. Высоцкого, отчасти Раневская у А. Демидовой. Но целое?! Зачем же делать общий выход актеров, навязывать обывательские куплеты Епиходова в качестве увертюры и тащить их как гимн через весь спектакль? Уж не в этом ли ключ всей задумки? Тогда почему действие на кладбище, мелкий мазок у Чехова, превращено в панно и почему все актеры в белом? Эта символика нарушает весь тембр чеховской вещи, ее лиризм. МХАТ когда-то начал играть эту комедию как драму, а теперь ее хотят превратить в трагедию? Но МХАТ углубил пьесу, нашел ее внутреннее движение. А что получается тут? Меньше всего Чехов терпит заданность наперед и «проклятые концы»... Символика прихлопывает всякое движение. Герои вдруг утратили развитие. Царящая на сцене белизна никак не ассоциируется с цветением вишневого сада. Наше воображение направлено по ложному следу: нет, это не сад, а саваны. Гротескно-насмешливыми

оказываются дорогие слова Ани, Трофимова о будущем. Они здесь некстати, неуместны.

И снова можно сказать о том же режиссере, имеющем свой стиль, теорию своего ремесла, что впереводку у него идут удачи и неудачи. Ведь «Женитьба» удалась А. Эфросу. Он не вытягивает из клубка какую-либо одну нить, а обновляет целое. «Женитьба» смешна, она гоголевская, но и особенная. В «загадочной» «Женитьбе» были отысканы новые резервы смысла. Нам неожиданно делается искренне жаль бедную Агафью Тихоновну. Найдены определенные отношения между женихами, этими четырьмя «пледами», усевшимися на канapé перед невестой спинами к зрителю. Мы знали и раньше, что каждый чем-то пришиблен в жизни, имеет свой задор-вздор. Но все это были сценические разговоры, слова. Теперь эти слова играют. И у нас впечатление, что мы до сих пор как следует пьесы Гоголя не знали. Есть только в обрамлении и в финале спектакля выход за рамки Гоголя, игра в символику. Подколесин словно выпрыгнул не только из окна, но и из пьесы Гоголя. Желание жениться превращается в какую-то манию. Нарушена интимность, домашность разговоров Подколесина со служой, Подколесин кричит со сцены, а Степан ему отвечает из зала, по которому носится как угорелый. И в Кочкареве есть что-то от Остапа Бендера. Музыкальное и световое оформление сорвавшегося свадебного шествия придают спектаклю холодно-сомнительную помпу. Сталкиваются два встречных пафоса в спектакле. Один — верный и глубокий: внутренняя проработка «партитуры» и нахождение новых красок для образов, и другой — чисто внешний: пафос шествия, явно не вытекающий из Гоголя.

О театральной условности

Теперь поговорим все о тех же критериях, только с другого конца. Могло показаться до сих пор, что нашим рассуждениям не хватает какого-то высшего смысла, к которому особенно чутки режиссеры, актеры. Мы, литературоведы, твердим свое: верность тексту, верность пафосу... А самого-то важного недопонимаем: как все это сыграть? как приступить к делу? Тут и приходится обращаться к «нутру»...

Нет, останемся последовательными и здесь, на зыбкой почве сценичности. Мы

давно говорим о ней, она плоть всего: и верности, и отклика на современность. Она не снимает все сказанное, разве она магия, которая требует служения своим идолам? Законы образности, типизации, претворения общего через конкретное остаются и здесь.

Условность всегда была на вооружении искусства. На ее почве совершаются впечатляющие открытия. Но на ней же легче происходит и ревизия классики. Тут могут встретиться самые головоломные, импозантно обставленные неудачи. Теоретически, умозрительно их трудно предугадать. Режиссеры правы, когда не терпят назойливой указки. На условность классики насливается условность сегодняшняя. Иногда они взаимодействуют, иногда несовместимы. Но можно ли сказать, что здесь хаос и условность не поддаются регламентации по законам какой-то высшей целесообразности? Думается, мы все же в состоянии быть судьями.

Театральная условность в наши дни сильно изменяется и нарастает. Мы поступаемся многим из старого оформления, из старых приемов игры. Но мы и приобретаем многое: от вертящейся сцены до нового могущества подсветок, возможностей сжать пространство и время на сцене. Однако стремление к истинности, к правде остается.

Помню, с каким напряжением и долгой волокитой утверждали в Театре имени Ермоловой «Месяц в деревне» в постановке Е. Бланской. Спрашивали: почему вместо сельского сада на заднике простое зеленое панно с граблями и косами на гвоздях, вместо пузатеньких колонн барского дома качели, на которых качаются Верочка и Беляев? Вещь, однако, получилась в целом привлекательная: от нее веяло духом молодости, влюбленности, недоговоренных чувств. Как далеко мы ушли вперед! Теперь эти смелые решения уже никому не кажутся одиозными. Только можно ли сказать: о вкусах, мол, не спорят, мера вещей — я сам, постановщик, что ни придумаю, все сойдет? Кто смотрел этот спектакль (а он передавался потом и по телевидению), знает, что оформление было в стиле всего спектакля: тут игрались именно влюбленности, а их много в пьесе. А влюбленные не только «часов не наблюдают», но забывают и о природе, они пребывают в ней. А вот другое дело — оформление «Месяца в деревне» в Театре на Бронной. Тут

легко заметить, что оформление предполагает еще и какие-то физические, волевые усилия со стороны актеров. Они подчас сами крутят декорации. Эти жесты обычно рождаются как продолжение душевных порывов. Условность, конечно, большая, но если она в меру и психологически оправдана, ее не замечаешь. Мы снова на стороне Натальи Петровны. Ее душа вся раскрылась перед нами. Ее страстные метания нередко переходят в условный жест. А оформление: железная сварная решетчатая беседка, ажурная, крашеная. Тут и лето, и деревня, и образ мечты, и какая-то кратковременность всего. В беседку только заходят, в ней не живут. Беседка все время в движении: в ней встречаются влюбленные, разные влюбленные, в разных состояниях — на одном месте. А под конец материальные вещи неожиданно помогают поднять всю гамму разыгранных чувств на высокую символическую ступень. Бумажный змей — вот все, что осталось от сердечных чаяний, искушений после отъезда Беляева; как реликвию Наталья Петровна прижимает к груди этого змея. Она обходит осиротевшую беседку. А тут появляются с боков работники сцены и бесцеремонно начинают демонтаж беседки. И эти символы полного крушения надежд на счастье в жизни опять же в тоне всего спектакля.

Всевластие сценичности, театральной условности в их новейших, современных видах нарастает, когда мы переходим к инсценировкам романов и повестей, к представлениям «в честь». Переделка эпоса в драму предполагает сильную адаптацию текста. Сыграть все, что рассказано в романе, на сцене нельзя. То, что отобрано, должно представлять собой завершенное художественное целое, развиваться по законам драмы. Уже и диалоги, и монологи не те, были бы все описания. Этого текста сам классик не видел. Мы здесь себе советчики. И все же классик присутствует, хотя и попадает в вихрь современной сценичности, никак им не предусмотренной. Все, что говорилось выше о приближении пьесы к современности, остается в силе и здесь. Артист В. Кенигсон, исполняющий роль Порфирия Владимировича, то есть Иудушки, в инсценировке «Господ Головлевых» на сцене Малого театра, нашел оттенки, способные волновать сегодняшнего зрителя. Одетый сначала в мундир правоведа, а потом в респектабельный фрак, Иудушка не кажется отшельником со свои-

ми страстями и пороками (а как Гарпагона или пушкинского Барона запечатлел его для нас на многие годы в своем прекрасном исполнении артист Гардин). Этот новый Иудушка может напоминать многих: он пасется в толпе, его медоточивые речи, поди, не раз в жизни долетали и до вашего слуха, и вы могли столкнуться с такими субъектами, которые смотрели на вас, словно «закидывали петлю», — и все это у них «по закону-с».

«Господа Головлевы» инсценированы как семейная хроника, по временной вертикали, так же как и в романе.

А «Балалайки и другие» (инсценировка С. Михалкова, постановка Г. Товстоногова) — более радикальное сценическое претворение одной из линий другого произведения — «Современной идиллии» Щедрина. Известно, что пьеса метит в «молчалинство», филистерское отношение к общественным вопросам, в обывательский страх, жизнь «в футляре», боязнь друг друга и даже самого себя. Об этом писалось много. В сущности, инсценировка выполняет функции современной советской сатиры. В сценических решениях большое разнообразие приемов: тут и замкнутый диалог «театра двоих» (В. Гафт, И. Кваша), и гротеск, и буффонада (О. Табаков). Но опять задумаемся: основой этого праздника стилей является гротескность самой вещи Щедрина, его многомерная эзопова речь, слушать которую со сцены одно наслаждение. Особенно в области языка чувствуется, какая еще огромная дистанция отделяет нашу сегодняшнюю сатиру от классической русской сатиры.

Самым спорным, не установившимся в своих границах является спектакль-представление. Жанр свободной импровизации, представление-видение, когда Пушкин, Маяковский приходят и разговаривают с нами. Артисты при этом меняются масками, всегда верны отчетливой, взвешенной логике. Есть она, логика, и в игре ведущих персонажей. Няня Арина Родионовна ведет за ручку маленького Пушкина-куклу в картузике с приговариванием: «Кланяйся, Сашенька, государю-императору, кланяйся». Потом видим мы няню в гуще народа в «Борисе Годунове», потом в толпе, собравшейся у квартиры умирающего Пушкина. Все эти задачи можно было решить только при помощи условных приемов, многоаспектного совмещения планов, смелых перепадов действия, нежиз-

данных сцеплений. Эффекты здесь подчинены законам исторической и логической правды, а отсюда и правда ассоциативная, образная, основанная, если можно так выразиться, на рифме ситуаций, переключках мотивов.

Что же такое «Бенефис» с точки зрения текста? Самый доподлинный Островский. Просто одну пьесу делают из нескольких. В «Товарищ, верь!..» пять артистов играют одного Пушкина, а здесь четырьмя пьесами представлен Островский. У драматурга, создавшего около пятидесяти пьес, немало повторений, они могут быть спрессованы. Это и называется разом сыграть Островского в его «честь». Ведь правила «игры» оговорены сначала.

«Версия» А. Штейна — спектакль о Блоке, о личной судьбе поэта, о революции. Он поставлен в Театре имени Моссовета В. Спесивцевым. Это тоже спектакль «в честь». Активный, живой занавес символизирует надвигающиеся революционные бури и спады. И мы узнаем то заснеженный Петербург Блока, то багровые краски 1905 и 1917 годов. И образ А. Блока воплощается символически. Но не слишком ли истеричен Блок? И юные артисты, печатающие «революционный шаг», чересчур «студийцы», воспринимаются без должного пиетета.

О сценичности, яркой сюжетности, остроте формы, в хорошем смысле «наглой определенности гротеска» (К. Станиславский) нам пора серьезнее подумать. Пора отрешиться от опасливой оглядки: как бы чего не вышло; форма — это, мол, причуды шалунов безответственных, которых

всегда надо вовремя «подправлять». Конечно, и избыточная форма, некрпигическое перенимание модерна нам не с руки. Но ведь и простое перенесение сырого материала на полотно тоже не искусство.

Правильно толковать классовость классики мы научились сравнительно недавно. Но, объяснив исторически ее величие, мы как-то перестали думать о том, что классика все же и сейчас нуждается в критическом освоении. А это имеет прямое отношение к интерпретации. Возрастает роль исторической дистанции, в свете которой должна выступать ценность классики, ее историческая обусловленность и в то же время всечеловеческая сущность.

Сейчас запрограммированный на одну тему спектакль не идет, скучен, оставляет чувство голода. Музейно поставленная «Гроза» неинтересна. Все вроде бы правильно, а не волнует. Нередко страсти Катерины или трех сестер у Чехова кажутся такими мизерными нам, пережившим катаклизмы XX века. Поэтому победить зрителя, увлечь его может только игра, несущая в себе радость узнавания всечеловеческого смысла классики.

Да не покажется никому, что, увлекшись во второй половине статьи сценичностью, театральной условностью, я отошел от того, о чем говорил в первой: о верности духу классики, ее обету правды. Нисколько! Последовательность соблюдена. Мне только хотелось подчеркнуть бесконечные возможности воплощения классических образцов. А классика продолжается! Развивается! Живет!



ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

И. Гринберг. Энергия романа.— **Сергей Чупринин.** Сухое пламя.— **М. Злобина.** В ожидании Великого потопа.— **И. Денисова.** «Не убывает память народ».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Мор. Двести семнадцать дней и ночей.— **В. Елисеева.** Учитель творит человека.— **Ю. Матвеевский, Я. Поварков.** Веление разума и совести.— **В. Буданин.** Из когорты богатырей.

Литература и искусство

ЭНЕРГИЯ РОМАНА

Анатолий Ананьев. Избранные произведения в двух томах. М. «Художественная литература». 1977. Т. 1, 573 стр., т. 2, 495 стр.

Читатель, увлеченный развитием романного действия, испытывает волнение особого рода: он внимательно следит за ходом событий, за раскрытием характеров, за чередой положений и вместе с тем угадывает в этой напряженной смене жизненных картин личность их создателя — его представления о нашем времени, о смысле и условиях человеческого существования, о возможностях и целях литературного творчества.

Это сочетание естественно и желательно, оно свидетельствует о возрастающей культуре чтения. Читатель понимает, что произведение, осветившее глубинные пласты действительности, познакомившее его с людьми, достойными сочувствия либо презрения, выразило систему взглядов, убеждений, пристрастий художника.

Дорого стоит это чувство доверия, готовность оценить труд, ум, сердце того, кто написал строки, душевно обогащающие, расширяющие наше знание жизни, укрепляющие нравственную связь со временем.

В лирической поэзии и прозе взаимосближение рассказчика и слушателя начинается с первых же строк — оно как бы обусловлено самой природой, характером словесного строя. Иное дело роман, где логика

объективного изображения действительности и черты писательского дарования распознаются последовательно в течение сюжета, в чередовании обстоятельств, в действиях и думах героев.

Однако здесь особенно дает себя знать диалектика художественного творчества: чем более многослойно, объемно, содержательно образное воплощение жизни, тем больше разумной, сердечной энергии требуется от художника, тем значительнее и сложнее работа, им выполняемая. Без полной отдачи всех душевных сил художника прилежно и добросовестно собранные и воспроизведенные достоверные факты останутся беспорядочной грудой разрозненных эпизодов. Недаром Алексей Толстой как-то сказал: «Романом вы держите экзамен на Человека».

Справедливость, истинность этих слов подтверждена писательским опытом Анатолия Ананьева. Его перу принадлежат повести и рассказы, очерки и статьи. Они многое говорят нам, в них переданы наблюдения и суждения, освещающие самое заветное, существенное в творчестве Ананьева. И можно с уверенностью утверждать, что по складу своего таланта он прежде всего романист, что именно этот вид творчества

ния позволяет ему с наибольшей полнотой и отчетливостью воплотить стремления и замыслы, им владеющие.

Первый роман Ананьева «Танки идут ромбом», завоевавший ему широкую известность, переведенный на многие языки, воссоздал неимоверное напряжение Курской битвы, ее огненных дней, за которыми последовало уже непрерывное победное движение Советской Армии на запад. Действие книги происходит на небольшом куске земли в недолгий срок. А между тем роман передает и сложное сплетение исторических конфликтов и драматизм человеческих судеб. Мысли и поступки героев обусловлены обстоятельствами, более того — подчинены им: солдаты и офицеры отражают бешеные атаки врага, отбрасывают и громят фашистов — вот то великое и справедливое дело, которому они должны отдать себя безраздельно. И успех его зависит от каждого участника исплинского сражения. Мужество защитников родной земли — будь это необстрелянный лейтенант Володин или искушенный и закаленный подполковник Табола, невозмутимый пулеметчик Сафонов или впечатлительный, остро откликающийся на все происходящее капитан Пашенцев, — все они и есть та необозримая сила, которая превозмогла, одолела черные силы фашистского зла. Опять и опять повторяется в романе с надеждой и гордостью слово «держатся», военно-историческое значение происшедшего слято в нем с нравственной, человеческой сутью.

В этой журнальной рецензии нет места для обстоятельной характеристики каждого из произведений А. Ананьева, составивших двухтомник. Подобные разборы уже существуют. Сейчас, мне кажется, важнее всего увидеть и осознать связь между этими произведениями романиста, определить пафос, им владеющий, обозначить основную цель, перед ним стоящую.

Мирным строительным годам посвящены романы «Межа» (1969) и «Версты любви» (1971). Но и в них властно дает себя знать память об огненном, суровом испытании, сквозь которое прошла наша страна. Это послевоенные романы в самом точном смысле слова: и по умонастроению, заботам, надеждам действующих лиц, и по критериям, принятым на вооружение самим романистом. Видно, что Ананьев, изображая людей уже не воюющих, а восстанавливающих мирную жизнь, ясно различает связь,

существующую между историей и человеческими судьбами, что главной задачей он считает способность образного слова облачать Зло и утверждать Добро в их реально многостороннем общественно-человеческом значении.

Вот как выражено подобное понимание жизни одним из главных героев романа «Версты любви», агрономом Алексеем Пономаревым. Вспоминая первые годы работы в деревне, он говорит своему собеседнику, бывшему боевому офицеру, учителю Евгению Ивановичу Федосову: «Я не был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за сила, но уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо одно, пусть даже самое возвышенное и емкое понятие — долга ли, чести ли; сила эта живет постоянно и властвует над людьми, проявляясь в иные времена, как, например, в военные годы, более отчетливо, в иные, как теперь, в мирных буднях, менее отчетливо, но она, знаю, есть, единая, замечательная и неодолимая, заложена в каждом из нас как часть общего движения людей к добру и счастью». Воплощенное в этой доверительной речи понимание человеческих побуждений, страстей, поступков живет во всем творчестве Ананьева, составляет его сквозное действие.

Жизненный опыт Ананьева велик (стоит отметить, что различные звенья его биографии заключены в судьбах столь несхожих по душевному складу людей, как те же Пономарев и Федосов: первому отдано агрономическое прошлое романиста, второму — фронтовое), и романы его многолюдны, они вобрали различные времена и пространства, города и деревни, герои имеют разные профессии и специальности, что, кстати сказать, никогда не затемняет и не отгесняет на второй план их человеческие и гражданские качества.

Многосложность и многослойность жизни передаются в романах не только обилием фактов и биографий, введенных в повествование, но и глубиной, содержательностью исследования каждой человеческой личности, участвующей в движении сюжета. И уже называвшиеся здесь герои произведений «Танки идут ромбом», «Версты любви», и главные действующие лица «Межи» — молодой следователь Егор Ковалев, его начальник подполковник милиции Богатенков, сын Богатенкова Николай, и эпизодические лица, причастные к решению основных конфликтов, — все они просматривае-

чами социального, психологического, нравственного анализа, увидены в движении, определяющем их человеческую, общественную ценность. Перед нами люди, занятые повседневными трудами, а между тем, составляя севообороты или стреляя по врагу, обучая школьников или расследуя преступления, они ведут поиск социальной истины, размышляя над собственными поступками и поведением окружающих людей. Эта неустанная работа души отнюдь не оборачивается отвлеченным морализаторством, потому что тесно связана с житейской практикой героев, питается ею и, в свою очередь, воздействует на нее.

Да, каждая личность в представлении писателя — это особый, сложный мир, требующий сосредоточенного и пронизательного исследования. И для того чтобы оно было успешным, необходимо сопоставление этих будто бы «самоценных» индивидуальностей, раскрытие связей, меж ними существующих, на проверку имеющих решающее значение и в часы высокого накала и в повседневном обиходе. Вспомним, в самом деле, как важно было для юного офицера Володи на иметь рядом с собою в первом бою опытных товарищей по оружию; какое сильное воздействие оказала на умонастроение Егора Ковалева история «бабьего обоза», происшедшая еще во время войны; как повернула в добрую сторону судьбу Алексея Пономарева его встреча с прямодушным, строгим к себе Евгением Ивановичем...

Здесь упомянуты лишь наиболее очевидные, заметные с первого взгляда перекрестки различных человеческих путей. Раскрывая дела и души своих героев, романист звено за звеном передает их сложные отношения и зависимость друг от друга. В искусстве всего убедительнее полнота изображения, и писатель сводит, сопоставляет героев, «наращивает» образы объемные, внутренне наполненные, рельефные. Постепенно, без спешки и нарочитости он вскрывает, выводит наружу глубинные человеческие отношения, в которых живет дух нашего времени, его идеалы и закономерно-сти.

Открытием величайшего художественного значения в прошлом веке было создание образа самой жизни, самой действительности, влияющей на человеческие характеры и «перерабатывающей» их. Образ этот возник в романах Толстого, в рассказах Чехова, в прозе Горького. Советская литература первыми же зрелыми произведениями вырази-

ла свою волю и готовность к постижению правды времени в познании человеческих отношений и характеров. Надо ли напоминать о том, что достижения предшественников не могут быть «механически» заимствованы, повторены. Каждая книга требует новых усилий и решений, освоения прежде неизвестных сторон жизни, выдвижения ранее не поставленных вопросов. В этом направлении и идет Анатолий Ананьев.

Жизнь в его романах и повестях оборачивается новыми гранями, и люди до того незнакомого облика появляются на страницах его прозы, объединяемые, сопоставляемые впервые намеченными линиями связи. Можно ли было предполагать, что чистому, честному человеку Николаю Богатенкову, поехавшему в деревню с самыми благородными намерениями, придется пережить там тяжелейшее духовное потрясение, в которое его ввергнет нелепое сближение с затившимся хищником Минаевым? А читатель, прослушавший вместе с Пономаревым рассказ Евгения Ивановича о жизни, мог ли он думать, что во второй части романа словно бы в ответ на эту исповедь будет развернута драма, пережитая самим Алексеем, сделавшая его тихим, «вшедшим в берега» службистом? В финале романа произойдет еще один резкий, но обоснованный, внутренне необходимый поворот: выяснится, что «успокоившийся» агроном больше не может, не хочет душевно прозябать, что Федосов встревожил, разбудил его, позвал к сознательному гражданскому действию, совсем того не зная, не уговаривая, не поучая, а просто продолжая свой жизненный подвиг.

Подобные стыки становятся узлами повествования. Ведь это не только событие, поступок, смена внешних обстоятельств, но и звено формирования, становления героя, этап его духовной биографии. А перемены, происшедшие в уме и сердце одного или нескольких действующих лиц, тотчас же сказываются и на всей образно-нравственной системе романа, на завершающих, итоговых впечатлениях и выводах.

Проза Анатолия Ананьева как нельзя более чужда застылости, статичности, успокоенности. В ней господствует атмосфера если не бури, то предгрозя: конфликты зревают, готовятся, закипают, и это накаляет температуру романа. В напряженности событий, поступков проступает напряжение авторской мысли. Можно смело утверждать, что духовное поле повествования шире,

объемнее фактов, им охватываемых. И происходит это потому, что в поведении участников Курской битвы, в раздумьях и действиях Егора Ковалева, отца и сына Богатенковых, в изломах судеб Пономарева и Федосова таится разумная воля художника, проявляются принципы социалистической нравственности, ставшие его личным, кровным убеждением.

Объемная, сцепляющая писательская мысль требует соответствующей стилистики. Отсюда разветвленные, сложные фразы, сводящие, казалось бы, далеко отстоящие факты, явления, характеристики. Сжатая, постепенно разворачивающаяся пружина повествования сочетается с предельной насыщенностью речевых «молекул», тяготеющих друг к другу.

В первой книге нового романа Ананьева «Годы без войны» в изложение событий, происходящих в семье отставного полковника Коростылева, входит картина ночной

Москвы — просторная и исполненная поэзии. Городской пейзаж этот, сугубо достоверный, тщательно выписанный, оказывается вместе с тем и обобщающей метафорой, важной для дальнейшего хода романа: он передает движение связанных между собою человеческих судеб, череду свершений, неодолимого торжество новых созидательных сил советского общества. Каждая личность достойна и нуждается в понимании, а для этого нужно разглядеть, определить ее место в народной жизни.

В финальной главе «Верст любви» Алексея Пономарев, расставаясь со своим другом и невольным наставником Федосовым, испытывает особое ощущение: «...я чувствовал себя так, будто прожил две жизни», — говорит он. А сколько человеческих жизней должен пережить романист, чтобы осуществить свой долг, свой замысел?! Трудное, но увлекательное и доброе дело.

И. ГРИНБЕРГ.



СУХОЕ ПЛАМЯ

Д. Самойлов. Весть. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 110 стр.

Не имея чести быть знакомым с Давидом Самойловым, зная лишь голос на пластинке да нечастые стихотворные публикации, неизменно вижу поэта беседующим в шумном дружеском кругу и во время мирной — вдвоем — прогулки вдоль пустого и бледного моря; горячим и неторопливо-доброжелательным, рассказывающим свое или перебивающим монолог собеседника нежданной и точной репликой... Всякому, кто не бегло перелистывал сборник «Волна и камень», кто вслушался в «Весть», ясно: «беседы блаженнейшей зной» поэт читает едва ли не выше иных земных радостей. Он знает цену этому «зною», понимает в нем толк, дорожит непредумышленностями, сшибкой ассоциаций, алогизмами, нечаянными оговорками...

Именно так — беседа — можно натолкнуться на счастливую мысль, столь упрямо ускользавшую в часы уединенных бдений. Можно блеснуть афоризмом, вся прелесть которого не в новизне открывшейся истины, а в благородной отточенности формулировки:

Надо себя ожечь
И превратиться в речь.

Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.

Можно дерзко, впопад пошутить, а то, лукавя, и поразить воображение собеседников фольклорной ноткой («...у рябины окаянной покраснели кисти рук») или роскошным — что твой Вознесенский! — метафорическим ходом: «Спит столица, в снег уткнувшись головой, окольцована, как птица, автострадой кольцевой...»

В критике применительно к новым стихам Самойлова — а отсчет «новых» неизменно ведется от сборника «Волна и камень» — уже говорилось о воцаряющейся мало-помалу поэтике «записных книжек», о том, что фактом поэзии все чаще и чаще становятся блокнотные записи, небрежные наброски для памяти, подневные заметки.

Что ж, известный резон здесь налицо. Лирический фрагмент и в самом деле изрядно потеснил «традиционные» стихотворные формы, брошенное будто бы походя острое слово заявило о своем равноправии с выкопченной и тщательно выверенной программностью; обрывчатость, негладкость, беглость, столь присущие дневниковой ре-

чи, начали выглядеть едва ли не принципиальным завоеванием. Существенные изменения претерпела даже структура стиховых собраний. Если не брать в расчет скучновато-уравновешенное «Равноденствие», где принцип «избранного» как бы «придавил» куда более сложные внутренние сцепления и связи, то последней самойловской книгой — в привычном понимании этого слова — можно смело назвать «Дни» (1970). В «Днях» и самый неискушенный читатель различит единый сюжет, разберется в том, как поэтическая мысль восходит от завязки через кульминацию к развязке, поймет, что хотел ему сказать поэт всей книгой.

А вот читателя «Волны и камня» и в особенности «Вести» может, пожалуй, и оторвать. Да что читатель, когда профессиональные критики с трогательным единодушием рассуждают о неровности новых работ Самойлова, о срывах, удивительных в творчестве зрелого мастера, о внутренней нескоординированности, противоречивости и так далее и так далее. Они-то ведь, критики, должны были, казалось, принять во внимание, что критерии, пригодные для оценки книги стихов, не срабатывают, когда ими пытаются поверить сборник стихов. А «Волна и камень» и «Весть» — именно сборники, где переключка мотивов, конечно, есть (как не быть!), да только стала она куда менее явной, куда менее однозначной (хочется сказать: куда менее однозвучной), где стихи располагаются не по принципу сюжетной иерархии, а по законам стихового поля. «Неровность» здесь обязательна, «срывы» запланированы, «нескоординированность» обдуманно взята за правило...

Итак, «записные книжки», в которых, как и положено по условиям жанра, всякого понамышано? Очень хорошо, но ведь именно в последние годы Самойлов, публикуя лирические фрагменты и наброски, с особенной интенсивностью возобновил работу в области крупных форм — попробуйте-ка их разместить на блокнотных страничках! «Сухое пламя», давние «драматические сцены» в стихах о рушащемся в опалу Меншикове получили поддержку не только в ставшей уже в некотором роде классической «пьесе» «Пестель, поэт и Анна», но и в череде новых стихотворных «диалогов» — «Поэт и старожил», «Солдат и Марта», «Личной гость», «Старый Дон-Жуан», — отозвались в «диалогическом» строе многих собственно

лирических стихов. Словом, какая уж тут «записная книжка»...

Впрочем, есть и еще одно обстоятельство, не столь очевидное, может быть, но угадываемое с несомненностью.

Новым стихам Самойлова — и сюжетным, и дневниковым, и просто лирическим — остро требуется теперь не анонимная аудитория, а читатель-собеседник, как заметил уже Олег Чухонцев, рецензируя сборник «Равноденствие». Вне непосредственного контакта с таким собеседником, вне диалога, спора, оживленного обмена репликами, кивками, умолчаниями эти стихи теряют добрую половину своего обаяния, а иногда и смысла.

Повторю еще раз, поскольку сказанное принципиально важно для понимания «Вести»: требуется не просто читатель, пусть даже и хороший, пусть даже и из тех, кто «пару строк, в которых правду слышит, знает назубок». Требуется именно собеседник...

В разговоре с верным и, главное, с отзывчивым другом не только предмет, сам разговор важен, важна неспешная беседа, где в чести и милая гримаска, и уклончивость, и уютный жест, и тонкая острота, цель которой не уязвить собеседника, а проветрить степень его внимания и понятливости.

Степень эта — что уж скрывать? — порою не кажется достаточной; и Самойлов, не таясь, вздыхает, «рифмуя» свой вздох с тютчевским «Silentium». Горечь при этом не преодолевается, не побеждается хитроумной логикой или верой во всемогущество слова — слишком просто было бы! — а превозмогается, переживается и тем и ж и в а е т с я. Пусть понимание небеспредельно, пусть на час, но ведь и час этот краткий — час нашей жизни, час торжествующего согласия. Главное только не приневоливать себя, не тормозить вдохновение искусственно: само произойдет, само скажется, чему должно сказаться... «Что-то вылепится из глины. Что-то выгешется из камня. Что-то выпишется из сердца. Будь как будет! Не торопись!» Глубоко усвоенные разговорные навыки освящаются традицией, приобретают авторитет моральной нормы: «Для посторонних глухо слово и утомителен рассказ. А ежели назреет очень и сдерживаться тяжело, скажи, как будто между прочим и не с тобой произошло...» Не в этом ли целомудрии и скромная бескорытность самойловской музыки — не навязывать свой нравственный опыт всем и каждому, а

искать урочного часа и урочного собеседника?

В свете всего сказанного следует оценивать и то смещение в стихах «высокого» и «низкого», лирического и бытового, серьезного и шутовского, что свойственно не только Самойлову, но и многим его современникам. Для Самойлова, Светлова, Мартынова, Слуцкого или Евтушенко (называю нарочно самые непохожие имена) это смещение принципиально, так как передает их представления о движении поэзии, так как «прозаизация» стиха выступает тут в роли неперемного атрибута демократизации его, рассчитанности на самую широкую аудиторию. Стилевая и содержательная «эклектика» призвана расширить возможности стиха, служа, с одной стороны, целям уловления действительности во всех ее обличьях, а с другой, «приманивая» к поэзии и тех, кто к рифмованной речи относится с подозрением. В случае же с Самойловым, тоже, впрочем, полагающим, что «искусство — смесь небес и балагана», ни о какой «принципиальности», то есть преднамеренности, и речи идти не может. Неразличение «шпигелей», сталкивание различных смысловых потоков в стихах автора «Вести» естественно и непринужденно, как естественно и непринужденно оно в рамках дружеской беседы, не терпящей разнесения тем и фразеологии по ранжирам.

Самойлов убежден: его собеседник не обидится за «высокую поэзию», а улыбнется снисходительно и ветрено в ответ на ветреную шутку, как в печальной и трогательной повести «Снегопад», к примеру:

Морозец эвонек, как подкова.
ПЕРЕФРАЗИРУЯ Глазкова,
Трамвай, как официантки,
Когда их ждешь, то не идут.

Поэт не боится «невечности» своих созданий и, что на самом деле еще сложнее, «невечности», «небытийности» своих метафор и сравнений. В пику стихам, выполненным исключительно в бронзе, мраморе, на худой конец в железобетоне, написанным с оглядкой на читателей и, главное, потенциальных комментаторов грядущих веков, лирические пьесы Самойлова строятся из любого материала, подвернувшегося под руку. Да и не материал в них важен, а скрепляющий состав, клей, — интонация, свободное дыхание, присутствие рассто-

женной, или, как сейчас говорят, «незаком-плексованной», личности.

Перефразировка чужой остроты, прямая цитата, отсылка к обиходной подробности входят в стих на тех же правах прихотливой ассоциации, что и суровое воспоминание о сверстниках, кого «уже навеки приняла земля под сень своих просторов: Кульчицкий, Коган и Майоров, Смоленский, Лебский и Лапшин, Борис Рождественский, Суворов...».

То же скажем и об остроумной исторической полугипотезе-полумистификации («Струфиан»), о родившемся в частной беседе и ни в малой степени не претендующем на «научность» прочтении евангельской притчи («Брейгель»). Лишь бы «подлинности был налет» — остальное приложится!..

Именно о подлинности-то и печется в первую голову поэт, надеясь «быть, хоть ненадолго, с собой в согласье», подобно воспетому им Пушкину, ясно понимая, сколь ответственно и судьбоносно сказанное не все слово: «То, что в песне было словом, стало верною судьбой...»

Странное дело: стихи, составившие все книги Самойлова от «Ближних стран» до «Вести», не дадут вам почти никакого представления о житейской биографии поэта, об обстоятельствах его гражданского, семейного, литературного и прочего положения.

Разве вот война... Но война — «Как это было! Как совпало — война, беда, мечта и юность!» — это тот опыт, который роднит все фронтовое поколение, тот опыт, на единоличное владение которым Самойлов и не находит возможным рассчитывать; здесь его голос хоть и различим в хоре, но звучит в унисон с другими голосами. А что еще? Ну, упоминание о жизни у бледного моря, «куда так влекло россиян» («В Пярну легкие снега...»), ну, строки, обращенные к сыну, ну, глухой намек на переводческую деятельность, ну, еще одна-другая бытовая подробность... Все!

Не саморазоблачаясь — «все на продажу» — в стихах, не превращая музу в послушного Нестора собственной биографии, Самойлов берет иным, иным достигает ощущения подлинности. И это иное — драматизм. Реальность бытия, реальность человеческой судьбы всегда конфликтны, всегда подвижны и питаемы противоречиями. А коли так, то и сокрытым двигателем стиха должны стать драматизм, противоборство полярностей, сшибка точек зрения. Вся

поэзия Самойлова, а отнюдь не только его «Сухое пламя» и стихотворные «диалоги», насквозь драматична как по форме (ведь всякая беседа уже драма понимания и непонимания, определения позиций, нахождения верного тона), так и по сути. Говоря другими словами, поэт просто не передает в стихах, целомудренно утаивает те переживания, мысли, ощущения, что не заряжены внутренней конфликтностью: их место за чертой лирической речи, в царстве обыденности. В царстве же поэзии, где высокая подлинность драматической, а порою и трагической правды подчиняет себе «низкую» подлинность житейских истин, мысли и чувства автора получают полный разворот.

Самойловский драматизм может быть и упрятанным в подоснову того конкретного, теперешнего переживания, что дало толчок к творению стиха. Так в высоко оцененной критиками лирической пьесе «Выезд», где и нет ничего, казалось бы, кроме детского голоса, самозабвенно лепечущего: «И куда-то мы едем. Куда? Ах, куда-то, зачем-то мы едем... А Москва высока и светла. Суматоха Охотного ряда. А потом — купола, купола. И мы едем, все едем куда-то...» И осталось бы, пожалуй, это стихотворение прелестной стилизацией, в лучшем случае ностальгическим — ах, детство! — вздохом, не сшиваяй его настойчиво повторяющееся: «Помню — папа еще молодой... Помню — мама еще молода...», не сообщая ему это нагнетание «еще», «еще» дух подлинной трагедии утраты... Так в повести «Снегопад», где драматическая нота возникает как бы на обочине сюжета и, не выходя на передний план, звучит горестно и обреченно:

Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже —
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.

Но обнаруживается и тот конфликт, что, выявляясь с твердой определенностью, становится ведущей осью стиха. Конфликт между суетной, но такой человеческой гордыней и ясным, бестрепетным осознанием своего скромного, но необходимого места в мироздании (стихотворение о любителе, что фотографирует «себя — на фоне скакуна, царь-пушки, башни, колоннады, на фоне Пушкина — себя», «а сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне слов, на фоне страхов, на фоне снов, на фоне ахов — ах! — миг один — и нет его!»). Конфликт между поэзией и практикой,

творчеством жизни и творчеством красоты (многokrатно цитировавшееся «Пестель, поэт и Анна»). Конфликт между острой влюбленностью в жизнь и ощущением, что жизнь эта с медлительной неотвратимостью покидает дряхлеющее тело...

То, что пронизательный критик Г. Кубатлян, рецензируя сборник «Волна и камень», назвал «драматизмом прошения», составляет ведущий мотив новых стихов Давида Самойлова.

Впрочем, только ли новых? «Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни», — сказал Самойлов в «Вести». Исподволь, продуманно, подбивая итоги на каждом витке жизненной спирали, — к смерти ли готовимся, к старости ли, к мудрой ли зрелости — бог весты! Воскликнув в юности с озорным, скорее всего напрокат взятым романтизмом: «Жаль мне тех, кто умирает дома. Счастье тем, кто умирает в поле, припадая к ветру молодому головой, закинутой от боли», — поэт очень скоро отрешился от наивного максимализма, только в юности, пожалуй, и простительного. Уже пушкинский эпиграф к поэме «Ближние страны» «Я возмужал среди печальных бурь» обещал новое видение, новое понимание логики жизни.

Старость не отодвигалась усилием воли, заклинаниями здравого смысла, а призывалась осознанно, нетерпеливо: «Эй, листья! Постарей, постарей! И с меня облетай поскорей!» Оправданье этой нетерпеливости, этих понуканий времени было уже готово: «...когда, словно с бука лесного, страсть слетает — шальная листва, обнажается первооснова, голый ствол твоего существа».

Старость, ну, скажем осторожнее — зрелость ассоциировалась впрямую с обнажением сути, с достижением душевного согласия и с самим собою и с миром. «Приходит зрелость и покой, рассудка не туманя» — здесь вот что важно: зрелость стоит в одном синонимическом ряду с покоем, душевной смуге, лирическому беспокойству решительно предпочитается ясность, порядок, мера: «Хочется, чтоб отвечало все своему назначенью: чтоб начиналось с начала, вовремя шло к завершенью». На первый план в стихах, как этого и следовало ожидать, выдвинулась Память...

Прочтите-ка внимательно стихотворение Самойлова «Память», столь популярное, что оно даже пошло на эстраду: «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь...» Кто рискнет сравнить молодость, беспамят-

ливую, счастливую, жадную, с «пустошью», кто скажет, что только в старости человек истинно и живет?

Самойлов рискнет, Самойлов скажет... Он сам уподобит свою поэзию неперемному атрибуту телесной немощи: «Стих небогатый, суховатый, как будто посох суховатый». Он с холодной и ясной отстраненностью зафиксировал продвижение перемен: «Странно стариться, очень странно. Недоступно то, что желанно. Но зато бесплотное весомо — мысль, любовь и дальний отзвук грома...» Он прокрутит в памяти — в стихах! — исторические аналогии и прецеденты: не случайно же возникли строки о смерти Грозного, Пушкина и Ахматовой, конце Пугачева и Меншикова, угасании Заболоцкого...

«Человек — это память и воля», — сказано в поэме «Ближние страны». И память и воля равно нужны поэту, чтобы с величавым спокойствием принять порядок вещей и благословить его. Пушкинское «пускай у гробового входа младая будет жизнь играть», тютчевское «когда дряхлеющие силы нам начинают изменять» — вот опорные пункты той традиции, которую с необычайной полнотой и необычайным драматизмом развивает Давид Самойлов в своем творчестве.

Его сборники «Волна и камень», «Весть» стоило бы назвать стариковскими, имея в виду, разумеется, не оскудение творческих сил поэта, напротив, теперь-то эти силы и развернулись в полную мощь, а пронизывающий стихи дух истинно стариковской душевной незамутненности, всепоминания, целомудренной кротости. То, что пятнадцать — двадцать лет назад было программой, принятой загодя, не без дальновидного расчета, перешло в интонацию, пафос, а значит, закрепилось прочно.

Конечно, патетика «прощания» сообщает стихам Самойлова горьковатый привкус. Но

одновременно она и высветляет их, делает горделиво человечными, превращая поэзию в песнь торжествующей жизни, в гимн неоскудевающему бытию. Читателю, готовому к пониманию, сборник «Весть» преподает урок распорядительного владения дарами судьбы, урок оптимизма. Ведь оптимизм — естественное состояние человека, чувствующего себя вовлеченным в круговорот жизни, вписанным в нескончаемую череду поколений.

Поэтому-то и нет горечи — разве что на самом доньшке — в стихах о Цыгановых, а есть трогательное — опять же стариковское! — любование жизнью, крутой, горячей, плотской, распоряжающейся собой с естественной безмятежностью. Поэтому-то с достойным, едва ли не античным спокойствием звучат чеканные строки: «Хочу, чтобы мои сыны и их друзья несли мой гроб в прекрасный праздник погребенья... Я буду горд и счастлив в этот миг переселенья в землю...»

Для того, видно, и стихи даны, чтобы удержать, пусть на мгновение, благословляемый лёт времени, чтобы закрепить и оставить в мире память о себе, о том космосе, что был и пребудет тобою: «И ветра вольный горн, и речь вечерних волн, и месяца свеченье, как только стали в стих, приобрели значение. А так — кто ведал их! И смутный мой рассказ, и весть о нас двоих, и верное реченье, как только станут в стих, приобретут значение. А так — кто б знал о нас!»

Издав себя, из глубин своего опыта, поэт беседует с нами — шутит, «вояка, мудрец, озорник», и рассказывает поучительно темные (добру молодцу намек!) истории, делится вечерними думами и размышляет о третьем тысячелетии... Подает нам весть о себе и о своем времени.

Сергей ЧУПРИН.



В ОЖИДАНИИ ВЕЛИКОГО ПОТОПА

Кэндзабуро Оэ. Избранное. М. «Прогресс», 1978. 409 стр.

«Э то итог всего написанного мной до сих пор о положении нашей страны, которая в политическом, экономическом и культурном отношении дошла до последнего предела», — писал Кэндзабуро Оэ, представляя русскому читателю свой роман

«Объяли меня воды до души моей». Это действительно итоговое произведение, плод шестилетней работы и многолетних раздумий писателя. Итог, к которому пришел Оэ, метафорически выражен в библейских словах, внесенных в заглавие и замыкаю-

щих на новый вселенский потоп. Комментируя роман, автор пояснил, что имел в виду экологическую катастрофу; он убежден, что разрушение естественной среды и органической связи человека с природой ставит под угрозу самые основы человеческого бытия, личного и коллективного. Впрочем, экологический кризис для Оэ лишь одно из проявлений глубокого социального и духовного кризиса, переживаемого Японией, в котором ему чудятся грозные симптомы заката цивилизации.

Такова почва, взрастившая мрачные пророчества Оэ и ту поистине эсхатологическую тревогу, которой назлектризован роман. Но эта конкретная социально-историческая реальность — японское общество 70-х годов — как бы вынесена за скобки повествования и присутствует лишь где-то на заднем плане в виде безликого ашарата насилия — полиции, которая в решающий момент выйдет на авансцену и пустит в ход оружие, чтобы оградить общество от нарушителей порядка. Они-то и являются героями романа: добровольный изгой Исана, порвавший с миром, и банда агрессивных подростков, Свободных мореплавателей, объявивших войну всему свету. Таким образом, болезнь общества исследуется автором на примере тех, кто поставлен вне общества. В таком решении есть свой резон: в судьбах и психологии людей, по тем или иным причинам выломившихся из нормальной жизни, особенно наглядно проступают конфликты и противоречия, подтачивающие общественный организм.

Все герои романа живут в предчувствии катастрофы, неминуемой и скорой гибели человечества — от атомной войны, как полагает Исана, от Великого землетрясения, как считают подростки. Поначалу это озадачивает: откуда такая непоколебимая уверенность? Но по мере того, как мы погружаемся в этот ни на что не похожий «подпольный» мир, выстроенный писателем в окрестностях Токио, наш вопрос отпадает. В конце концов не так уж существенно, насколько обоснованна эта вера; важно то, что для персонажей романа «конец света» — психологическая реальность, за которой угадывается трагический опыт японской истории. Отголоски этой тревоги, вписанной в национальное сознание Хиросимой, звучат и в рассказах Оэ — не только в исступленных пророчествах полоумного Гия («Лесной отшельник ядерного века»), но и в вымученном оптимизме студентов,

твердящих в утешение умирающему старику, что мир будет спасен «равновесием страха» («Неделя почитания старости»).

Действие романа начинается (и завершается) в личном атомном убежище, где Исана пытается спастись вместе со своим слабоумным сыном. Не только от будущей войны и атомной смерти; пока что — от ненавистного ему общества, от людей, можно сказать, от жизни, во всяком случае от того, что в этом обществе считается жизнью. В прошлом у него — успешная карьера, материальное благополучие, а также страшное преступление, которым пришлось за все это заплатить (спасая своего тестя, могущественного политика, Исана оказался замешан в убийстве ребенка). Неполноценность сына он воспринимает как кару. Мучимый раскаянием, он уже готов наложить на себя руки, но остается жить, чтобы спасти своего умирающего малыша. В убежище Дзин, окруженный заботой отца, постепенно выздоравливает. Хотя разум его по-прежнему погружен во мрак, душа Дзина оттаивает и расцветает, подобно прекрасному и хрупкому цветку. В этом образе, написанном с пронзительным состраданием, сходятся трагическим узлом важнейшие мотивы романа. Безвинная жертва, расплачивающаяся за грехи родителей, Дзин олицетворяет (буквально и символически) идею вырождения. Но в отличие от прежних романов Оэ, где слабоумный ребенок — безнадежный кретин — был лишь тупым и словно бы неодушевленным орудием слепого рока, обрушивавшегося на ни в чем не повинных родителей, Дзин — полноправный участник драмы, и если не может быть назван действующим лицом, то во всяком случае является лицом, в самом существовании которого содержится некое тайное указание (а не только укор); по сути, Дзин, объединяющий в своем лице мир природы с миром людей, есть связующее звено, живой мостик между этими расколовшимися половинками вселенной. Возможно, именно общение с сыном научило Исана смирению и помогло понять изначальное единство и равноценность всего живого.

Тут мы подошли к важнейшему моменту романа: порвав с обществом, Исана предается созерцанию, учась мудрости у деревьев, и постепенно восстанавливает утраченную связь с природой, а вместе с ней и целостность своей личности. Сам Оэ под-

черкивал, что это первый его герой, который сумел преодолеть состояние отчужденности и стать самим собой. Распад личности — центральная проблема творчества Оэ, над которой он бьется с поистине сизифовым упорством, чтобы, испробовав очередной вариант, упереться в тупик и с новым героем начать все сначала. И вот впервые эти поиски увенчались успехом. Так, по крайней мере, утверждает Оэ. Не разделяя мнения автора, я попытаюсь его понять, для чего придется вернуться к началу пути прозаика — роману «Опоздавшая молодежь» (который сегодня можно бы назвать «Портретом Исана в юности»). Безымянный герой его (сверстник Оэ) — деревенский мальчишка, одержимый жаждой подвига и бессмертия: он мечтает стать камикадзе и погибнуть за великую Японию и императора. Он опоздал: война кончилась, идол рухнул; и мир, казавшийся прекрасным и разумным, потому что в центре его сияло божество, чье невидимое присутствие саму смерть обращало в бессмертие, утратил устойчивость и целесообразность, распался, и мальчик так и не сумеет никогда собрать воедино рассыпавшиеся осколки мироздания и души. Здесь ключ к разгадке драмы всех персонажей Оэ, драмы поколения, с детства отравленного ложной идеологией, крушение которой оставило их без опоры и ориентира; здесь истоки того распада личности, от которого они мучительно — как от физической боли — страдают. Все они будут потом тщетно искать цель, ради которой стоит жить и умереть. Но окружающий мир не может удовлетворить их юношеский максимализм и жажду подвига. Выбор в романах Оэ сводится к альтернативе: бунт или смирение (карьера, приспособленчество), и только в первом случае есть надежда сохранить честь, быть самим собой (для Оэ это равнозначные понятия). Но поскольку при всех своих героических задатках они, в сущности, слабые люди, так как не имеют внутренней опоры, нравственного стержня, то, какой бы путь они ни выбрали, всякая активность ведет их к падению, к распаду личности (остается, впрочем, еще один, последний, способ сохранить достоинство — самоубийство, так что в конечном счете смерть — единственное, в чем им дано реализовать себя).

Герой «Опоздавшей молодежи», пройдя через страшное испытание бунтом (главари экстремистской студенческой организации,

к которой он принадлежал, подвергли его чудовищным пыткам, заподозрив в шпионаже) и отомстив ценой собственного публичного позора своим мучителям, мечтает бросить вызов обществу, сказать «нет» всем японцам и погибнуть «как настоящий герой», но вместо этого, смирившись, женится на дочери политика (так начнется карьера Исана). В «Футболе 1860 года» та же альтернатива поделена между двумя братьями. Младший, мятущийся и необузданный, выбирает бунт как средство самовыражения и провоцирует молодежные волнения в деревне, чтобы «прочувствовать движения души» своего героического предка, предводителя крестьянского восстания 1860 года. Запутавшись в этих опасных играх, Такаси кончает самоубийством и тем самым «соединяет себя, разрывавшегося на части, в единое целое». Старший, слабый «добрячок» Мицу, в полной прострации и отчаянии (его подкосило рождение слабоумного сына) наблюдает распад своей личности. Он не хочет участвовать не только в сомнительных экспериментах своего брата, но вообще нести бремя жизни. Его томит соблазн — погрузиться в нирвану, уподобиться растению, то есть быть «античеловеком». Он мечтает стать «владельцем личной ямы для самосозерцания, как жители Америки владеют личными атомными убежищами». Как видим, тут вырисовываются общие контуры замысла, который потом осуществит Исана. Однако ни герой, ни автор, постоянно сравнивающий Мицу с крысой, еще не догадываются, какие «обнадеживающие» перспективы таятся в «личной яме». Напротив, именно за попытку забиться в нору Оэ судит этого безобидного и порядочного интеллигента куда более сурово, чем агрессивного, неразборчивого в средствах Такаси («активного творца Зла»), которого под занавес неожиданно полностью реабилитирует, заставляя и Мицу признать правоту младшего брата. (В рассказе «Лесной отшельник...», продолжающем роман, Мицу отправляется в экспедицию в Африку в тщетных поисках свободы и активной деятельности; стоит отметить, что в роли пророка-отшельника, прячущегося от атомной катастрофы в лесу, здесь выступает жалкий деревенский сумасшедший Гий.)

Признаюсь, позиция Оэ в «Футболе 1860 года» (если не считать «посмертной реабилитации» Такаси) представляется мне более убедительной, чем в последнем рома-

не. Яма, как на нее ни смотри, бесперспективна, даже если уход от общества является необходимым условием спасения души и поисков истины. Потому что и в атомном убежище не отсидишься от жизни, рано или поздно она ворвется к отшельнику и потребует нового выбора и действий, и тогда выяснится, чего стоит его мудрость, добытая в тиши уединения. Так, собственно, и происходит в романе, и это испытание кончается для Исана еще более страшным падением в бездну, чем для прежних персонажей Оэ. Вероятно, потому, что на сей раз герой выступает не просто в качестве частного лица, а облеген миссией.

Научившись «созерцать деревья как деревья», Исана постиг живую душу природы, и сердце его наполнилось страхом за тех, кого он считает лучшими обитателями земли, — китов и деревьев, безжалостно уничтожаемых человеком. Он чувствует себя в ответе за них и решает стать поверенным китов и деревьев. Чуждость? Безумие? Окрестные жители и полиция считают Исана «психом», и приходится признать, что с точки зрения здравого смысла так оно и есть. Но Оэ это не смущает. Напротив. Потому что, как бы говорит он нам, если общество дошло «до последнего предела», руководствуясь здравым смыслом, то не пора ли поставить его под сомнение и пересмотреть понятие нормы? В нашем безумном, безумном мире нормальны лишь те, кого вы считаете сумасшедшими, — эта мысль, на разные лады повторяемая современным искусством и литературой, превратилась из парадокса чуть ли не в штамп. Так что уж намечается крен в противоположную сторону: вслед за дискредитировавшим себя буржуазным здравым смыслом и рациональностью под вопрос ставится и разум вообще, которому противопоставляют иррациональное мистическое знание, озарение или просто голос природы, то есть, выражаясь менее поэтическим слогом, инстинкт. Эта новейшая тенденция накладывается на традиционное, укоренившееся в народном сознании представление, что юридическим, бесноватым, блаженным открыта некая высшая истина, недостижимая нормальным людям.

Поверенный китов и деревьев несомненно принадлежит к породе «блаженных». Впрочем, для понимания этого образа необходимо учитывать своеобразие японской культурной традиции, в которую он органически вписывается. Но можно также

вспомнить блаженного Августина, который, говорят, беседовал с птицами. Сам Оэ, несомненно, хочет опереться и на эту традицию через посредничество Достоевского (при обучении «свободных мореплавателей» английскому Исана использует проповедь старца Зосимы). Я думаю даже, что американским хиппи, бросавшимся наперерез бульдозерам, чтобы защитить своими телами деревья, тревога героя Оэ куда ближе и понятнее, чем этим японским подросткам.

Они вломились в убежище силой, но постепенно Исана привязался к ним, покоренный их сердечным отношением к Дзину. Позднее он скажет, что сам пригласил «бойцов, способных встать на защиту деревьев и китов». Но предводитель подростков Такаки, прежде подыгрывавший Исана, ответит: «Неужели вы серьезно думаете, что мы собрались здесь и притащили сюда оружие только ради ваших деревьев и китов?» Так ради чего? Боюсь, и сам автор не смог бы ответить. Недаром Исана, приглашенный в Союз свободных мореплавателей на должность «специалиста по словам» («чтобы выразить словами то, ради чего мы это делаем»), не выполнил свою задачу. Да и как облечь в слова ту мутную смесь инфантильной романтики, анархизма, мессианства, отчаянной бравады и уголовщины, которой набиты головы подростков? Пасынки большого общества, они жаждут его гибели и с детским эгоизмом мечтают спастись в одиночку: когда грянет час возмездия — Великое землетрясение, — они покинут этот обреченный мир и уйдут на своем корабле в море. Двухмачтовая шхуна, «готовая к отплытию... лишь поднять паруса», стоит в тайнике «свободных мореплавателей». Увы, шхуна эта — символ иллюзорности их надежда — намертво осела в заброшенной киностудии среди мастерски написанных декораций, а корпус ее болтается где-то в море. Это похоже на одну из тех игр, в какие играют все мальчишки мира, — в войну, индейцев, пиратов. Только здесь играют с настоящим оружием, и бутафорская романтика, помноженная на мрачную одержимость камикадзе, обернется кровавым кошмаром.

Несколько лет назад, когда в Японии шел суд над ультралевой студенческой группой «Рэнго сэкигун» (они зверски убили четырнадцать своих товарищей, грабили банки, подбрасывали бомбы и т. д.), потрясенный Оэ выступил со статьей, в кото-

рой подчеркивал актуальность «Бесов» Достоевского и призывал своих братьев-писателей «рассмотреть нынешнюю эпоху, а вместе с тем и деятельность «Рэнго сэкигун» в свете «Бесов» Достоевского» и таким образом «связать в единое целое столетний период, отделяющий нас» от того времени. Судя по всему, Оэ попытался частично реализовать этот замысел в своем последнем произведении. Центральный идейно-сюжетный узел «Бесов» — убийство «шпиона», призванное скрепить организацию кровавыми узами общего греха, — полностью перенесен в роман. Однако акценты так сдвинуты и переставлены, что вся ситуация приобретает странную, смущающую амбивалентность и вопрос о вине соучастников убийства чрезвычайно запутывается.

Прежде всего потому, что роль Верховенского и роль Шатова, принесенного в жертву «бесовской» затее, у Оэ совмещены в одном лице — гротескного пророка Коротышки (в котором угадывается и третий прототип — Кириллов). Одержимый навязчивой идеей о том, что развитие человечества пошло вспять, он жаждет возвестить миру свое пророчество и орудием избирает Союз свободных мореплавателей. Он главный постановщик этого кровавого спектакля, в котором разыгрывает роль шпиона, всячески распаляя ярость подростков («А то дух насилия совсем испарился»), и, провоцируя расправу над собой, заставляет их «проскочить мимо поворота», после чего «пути назад у них больше не будет». В сущности, подростки, устраивающие над ним суд, лишь исполнители приговора, который он сам себе вынес, и убийство это фактически является публичным театрализованным самоубийством, заставляющим вспомнить ритуальную зрелищность самурайского хакари.

В отличие от «Бесов», где убийство Шатова оказалось непосильным бременем для убийц и привело к распаду пятерки, смерть Коротышки, как он и предсказывал, превратила Союз свободных мореплавателей «в настоящую боевую организацию». За этим сюжетным различием стоит очень многое, можно даже сказать, что оно наглядно демонстрирует расстояние, отделяющее век нынешний от минувшего. «Вокруг нас сегодня слишком много смертей, — с горечью писал Оэ. — Смерть стала обыденным явлением», и потому взгляд на жизнь так страшно упростился. В романе блестя-

ще раскрыта фатальная логика процесса, развязанного первым убийством. С этого момента игра пойдет уж до полной гибели всерьез. Не только потому, что полиция напала на след убийц и вскоре загонит их в угол, отрезав пути к отступлению. Дело еще в том, что «кровавое крещение» освободило подростков от последних нравственных табу. Огненные дух насилия и смерти, вырвавшись на волю, поведет их за собой, требуя все новых жертв.

При всем том автор, по-видимому, не осуждает подростков. Потому что они для него прежде всего жертвы, а первопричина зла коренится в социальной системе. Враждебность общества человеку с самого начала предстает в романе как некая безусловная подразумеваемая данность, не нуждающаяся в художественном исследовании, и бунт против этой бездушной подавляющей силы заведомо оправдан. Какие бы агрессивные и опасные формы ни принимал этот бунт, для Оэ общество в конечном счете оказывается в ответе за все. При подобном подходе проблема личной ответственности за пролитую кровь, которую с такой настойчивой тревогой ставил Достоевский, снимается, растворяясь в общей вине безликого собирательного преступника — общества. Думаю, не нужно доказывать, насколько нравственнее и человечнее та взыскательность, с какой Достоевский судил своих героев, посмевших преступить законы совести. В споре со своим великим учителем Оэ терпит поражение; впрочем, в страшном мире этих бестрепетных и «невинных» (не ведающих своей вины) убийц Достоевский мог бы увидеть подтверждение карамазовского тезиса: «Если бога нет, все позволено...»

Тут лишний раз обнаруживается та смещенность нравственных критериев, которая дает себя знать и в других романах японского писателя. Это связано, на мой взгляд, с тем, что в системе ценностей Оэ на первом месте стоит «самотождественность», верность своему «я», а на каком пути — добра или зла — личность реализует себя, не столь важно. Как говорит один из персонажей «Опоздавшей молодежи»: «Мне кажется, нет ни плохих, ни хороших людей. Просто люди или могут быть самими собой, или нет». Тем самым Оэ как бы помещает своих мятежных героев по ту сторону добра и зла (хотя представителей «общества» судит — и осуждает — исходя из общепринятых моральных норм). Нетруд-

но заметить, что не только Исана, преодолевший проклятие отчуждения, но и «свободные мореплаватели» в известном смысле олицетворяют идеал Оз: им дано быть «самими собой». Не потому ли писатель готов простить им даже то, чему нет прощения?

Впрочем, есть еще одна причина. Свободные от чувства вины и раскаянья, они тем не менее расплачиваются за пролитую кровь собственной жизнью. С того момента, как, забаррикадовавшись в убежище, подростки решают принять бой, их участь предопределена: сознательно и добровольно они обрекают себя на смерть. И тут снова прозвучит — на этот раз из полицейской машины — вопрос: «Ради чего?.. Чего вы в конце концов хотите?», который опять останется без ответа. Но, думаю, они могли бы ответить словами героя «Опоздавшей молодежи»: «сказать «нет» всем японцам» и погибнуть героями.

Пора, однако, вернуться к Исана и посмотреть, что делает в этой кровавой заварухе тихий отшельник. Увы, дух насилия ударил и ему в голову. Правда, поначалу его отпугивала жестокость подростков и он ужасался, сознавая, что «стал сообщником тех, кто совершил суд Линча», но постепенно он втянулся и дал волю своим агрессивным инстинктам. Пока что в мечтах: он представляет себе, как будет, носясь по городу на машине, «давить людей в возмездие за содеянное ими», а позднее, уже в осаде, радуется, что сможет стрелять: «Бах — выстрел во имя прекрасных деревьев... Бах — выстрел во имя прекрасных китов...» И опять вспоминается герой «Опоздавшей молодежи», когда, сбежав из дому, он весело предвкушал, как будет бить врагов: «Будем убивать — бах-бах! Всех убиваем. Будем убивать — бах-бах!» (но то был мальчишка и рвался он в бой с оккупантами). Создается впечатление, что в своем последнем романе Оз реализовал все мечты несостоявшегося «душеприказчика опоздавшего поколения». Даже автомат, который ему не удалось пустить в ход, наконец выстрелил — в руках Исана. Но от этого запоздалого реванша становится страшно. Да и реванш иллюзорный, за ним скрывается полное поражение.

Заключительные страницы книги со всей определенностью свидетельствуют об этом. Простившись с Дзином, Исана спускается в бункер, чтобы подвести невеселые итоги. Можно понять, почему он не сдался вместе

с тремя членами союза и решил умереть: к давнему, неискупленному преступлению добавились новые, и прекрасная вишня, которой он так часто любовался, стоит теперь обугленная и обезображенная молчаливым укором ему — ведь Исана был среди тех, кто убил ее. Он думает о том, что не сумел исполнить свой долг и что все вопросы остались без ответа. Снова и снова, как настойчивый рефрен, повторяется эта коротенькая фраза, которой автор подводит черту под жизнь своего героя: «Все останется без ответа, открывая путь в ничто». Но перед тем как уйти в ничто, Исана берет автомат и выпускает полную обойму — двадцать выстрелов — в полицейских. Не спрашивайте зачем. Не все ли равно, какими словами тот или иной одержимый — спаситель человечества или китов — пытается убедить себя и нас в своем праве и даже обязанности убивать? Основания всегда найдутся, и террористы, убивающие союзников, тоже делают это из высших соображений, а не просто по подлости натуры. В том-то и ужас, что сегодня в мире слишком много «специалистов по словам», которые берутся, подобно Исана, «доказать правильность своих мыслей» автоматами или бомбами, ссылаясь на то, что само общество возвело насилие в закон. Вряд ли есть принципиальная разница между организованным политическим терроризмом, который Оз недвусмысленно осудил в своих прежних произведениях, и инстинктивным самоубийственным бунтом Исана и подростков, несомненно пользующихся авторской симпатией, — та же дилетантская беспомощность мысли и кровавая система доказательств, праведный гнев и нравственный нигилизм.

«Я слышу звуки приближающегося издана Великого потопа — в существовании, в мыслях, в поведении людей двух поколений, — писал Оз. — Его нарастающий гул предвещает всеобщую катастрофу». С чуткостью большого художника Оз уловил и передал в поведении и мыслях своих героев приметы надвигающегося «потопа», со страниц романа несет его грозный гул, сквозь который мы услышим отчетливые сигналы бедствия. Кажется, тревога писателя вполне оправдана: не знаю, как насчет китов и деревьев, но души людей в опасности. Книга говорит об этом даже больше того, что хотел сказать автор. Потому что не только в психологии его героев, но и в позиции самого Оз тоже чувствуется раз-

рушительное влияние безвременья, духовной смуты, истощенности идеалов и нравственных ценностей буржуазного общества. Роман дает обобщенный художественный образ кризиса, но вместе с тем и сам

является в какой-то мере его симптомом. В этом смысле его трагический урок вдвойне поучителен.

М. ЗЛОБИНА.



«НЕ УБЫВАЕТ ПАМЯТЬЮ НАРОД»

Егор Исаев. Даль памяти. Поэма. М. «Современник». 1977. 117 стр.

Размышления над историей своего народа, стремление ощутить движение времени в конкретных судьбах, а подчас и в личном опыте характерны для современных поэм, порою столь несхожих по своему индивидуальному стилю и национальному характеру. Так, общая гражданская позиция интернационализма и антимилитаризма раскрывается в принципиально разных структурах и стилях поэм Давида Кугультинова «Бунт разума» и Сибгата Хакима «Через кручи». Активность памяти, преемственность идей, верность героике отцов сближают поэму Хакима «Дуга» с ее лирической публицистикой, резкой прямоотой «солдата Дуги» и драматическое полотно Гилемдара Рамазанова «Разговор с отцом» с его принципиальным полемизмом и сердечной потребностью отчитаться за поколение. Но те же идейные предпосылки рождают поэму, построенную по совершенно иным законам, живущую в ином эстетическом измерении, поэму романтических символов, с интонацией, слившей набатность колокола и щемящий звук смертельно раненой души, — «Голоса Сталинграда» Мумина Канюата.

Целостный, обаятельный лирический характер, вырастающий из трилогии Якова Ухсая «Сильбийский родник», помогает нам острее ощутить закономерности в историческом повороте судьбы чувашского народа. Раскованность и яркость чувств мужаящего на наших глазах мальчика, живая непосредственность, с какой написаны зарождение и раскрытие героического начала, помогают глубже понять процесс пробуждения, распрямления народа. Бытовые сценки, где реализм неотделим от романтики языческих традиций («Радуга над Сильбийским лугом»), выстраиваются в единый ряд событий, движимых логикой социальной борьбы.

В близком русле поисков работает и Назар Наджми, своеобразно воскрешая древний благородный башкирский обычай в светлом лирическом монологе «Мальчик, откры-

вающий ворота». Распахнутость поэтического взора и растворенность его в роднике народной мудрости соединяются в постоянную готовность оставаться на этом посту радушия, солидарности с людьми, с человечеством, стучаться в сердца, чтоб открывались они навстречу друг другу.

Внимание к движению времени, связанное с мыслью о его необратимости, может быть выражено в лирическом монологе, как у Наджми, или в цепи монологов, как в «Земле молодости» Алима Кешокова, в сценах, диалогах, конфликтных эпизодах... Нарастание драматургических элементов, ясно видимое в современной поэме, иногда помогает отчетливо обнаружить, как древняя легенда обретает жизнь в новых функциональных связях.

Буйноцветный мир древнего Новгорода в размашистой колористически фреске Сергея Наровчатова о Василии Буслаеве контрастирует с психологической готикой трагедии о литовском властителе Юстинаса Марцинкявичюса не только в силу разности материала (всегда сопротивляющегося творцу!), но еще и потому, что философия истории осмысливается этими поэтами в разных нравственно-эстетических аспектах.

Углубленность в процесс исторического становления литовской государственности, начатая «Миндаугасом», на много лет приковала талант Марцинкявичюса, тяготеющий к шекспировским характерам. Власть и правда, личность и народ, истина и справедливость — вечные проблемы решаются в цикле драматических поэм, воплощаясь в динамике душевной борьбы, в остроте диалога, в напряжении композиции.

На вопросы Миндаугаса о смысле бытия отвечают в известной мере и последующие поэмы Ю. Марцинкявичюса. Один из ответов на этот вопрос содержала поэма Егора Исаева «Суд памяти», ее философия истории. В еще большей степени на него отвечает новая его поэма «Даль памяти» — пол-

нозвучностью жизнесприятия, целостной концепцией добра и единомыслия, душевного света и земных радостей, глубоко скрытым духовным напряжением, взрывающимся беззаветной готовностью отдать жизнь за простое и вечное, искони святое право на тяжкий труд во имя детей, мира, будущих людей. «Земля земель сомноженных народов, соборный свод согласных языков», утверждаемая как идеал бытия, как желанная даль и близкий, осуществленный принцип нашей жизни, возникает в поэме на самом тяжком витке истории, когда «черный канцлер», «чье гестапо мучило Париж», «танковым зубилом своих тяжелых бронекорпусов взломал восток, расклянил от Петсамо до Таврии»... В конкретике личных переживаний, биографических штрихов, неповторимых деталей, рожденных слиянием судьбы единственной с народной, возрождается тот уже многообразно изображенный в поэзии миг особого сплочения, сроднения страны, от которого началось новое летоисчисление народов Европы.

Дай,
Дай упор во глубине веков,
Яви свой гнев —
Скажись набатным сводом
Согласных всех
И сродных языков.

Верность нравственным принципам своего народа и готовность принять мудрость и дружество «согласных языков», нерушимость заветов столь же характерны для советской поэзии, как и духовное сближение человека 30-х, 40-х и 70-х годов. Именно эти основы роднят поэмы Егора Исаева «Суд памяти» и «Даль памяти» с лучшими поэмами братских народов. Однако, переплавленные в своем особом творческом тигле, преображенные своим особым чувством красоты жизни, красоты земли, красоты труда и человеческой души, общие мировоззренческие предпосылки опосредованно трансформируются в особый, неповторимый эстетический мир.

В разговоре о поэме, о крупном современном полотне принято говорить о событийности. В поэме «Даль памяти» событий крайне мало. Внешних. Зато бурно разворачиваются они на плацдарме души, сотрясаемая ее до основания поразительными открытиями. Восхищение сюжетной динамикой здесь тоже исключено: действие очень замедленно. Поэт словно говорит стремительному веку и спешащему современнику: остановись, вслушайся, взгляды, вдумайся.

Егору Исаеву не только удается остановить мгновение, но и показать его прекрасную суть. Русский поэт неторопливо развернул обыденные картины далеко не совершенной повседневной жизни 30-х годов, но сделал это так, что убедил читателя в красоте запечатленных мгновений, в истинности этого бытия, в непреложности его законов, нетленности его традиций. Показывая жизнь родного села — не панорамируя, выбирая весьма локальные ее моменты, — поэт фокусирует свет памяти столь точно, что в малом факте видится великий смысл, а переживания ребенка, мальчика, юноши начинают соотноситься с наиважнейшими радостями и тревогами эпохи.

Нельзя сказать, что «Даль памяти» — сельская поэма. Она о Человеке на Земле. Поэт знает, что земле мы должны не только за хлеб, за соль, но и «за свет, за мысль, за тяжкий дар познания, так высоко отшторивший зенит, за вечный зов, за берег ожидания — за весь ее нетягостный магнит воздастся ей». Он в раннем труде познает, что владеть землей значит «ладить с ней», что «земля-сторонка и земля-страна» неделимы.

Умение образно соотносить прошлое и настоящее, малое и великое, раскрыть в капле радугу мира, сосредоточить в глубоком символе пути исторических судеб Исаев показал еще в поэме «Суд памяти». Разве можно забыть, как идет по земле «босая Память, маленькая женщина», будя совесть и тревогу за мир! Символы не застывшие, а трепетные, с тонким вкусом и лирической интуицией рожденные на стыке романтического гротеска и убедительной реалистической мотивировки. В поэме «Даль памяти» мастерство создания художественного образа выросло еще более. Редкостная естественность исаевской метафоры, органичность аллитерации, «незаметность» даже неологизма свидетельствуют о кристаллизации мастерства поэта.

Та земля, «великая в ногах у пешехода и капельная точка во вселенной», спеленатая мягко облаками, та, что «собой вскормила человека и гордо распрямила над собой», не ушла из нашего поля зрения в подробном мире малыша, сделавшего первый шаг. Сложный мир говорит с ним всю жизнь: сначала материнской ласковой рукой, живым, травяным букварем, потом косой, наточенной отцом, звоном покоса, когда «заря на грудь», когда тяжкий пожар первого боя со степью переводит его из детей «в

мужики». Мир маяит простором. Мир посылает нелегкую дорогу, бегущую на «том извечном перетоке земли и неба, мысли и души». Вывает молча, но красноречиво и «кремень-слеза», впервые обнажившая даль исторической памяти людей, ставших «государем-народом». С героем говорил и костер — «открытая душа», и день, когда «волнил с низов окольные подворья на жарком створе неба и земли». С ним говорила ночь «во глубине светящей строки». Мир говорил с ним и сурово в тот миг, когда «молния тревоги безмерной протяженностью своей ударила, ветвясь по всей огромной стране». А уж потом, в зрелости поздних раздумий, мир говорил с ним облаком воспоминаний об изначальной дали, осветленным то радостью, то печалью.

Художнически ощущаемое единство Человека и Природы, связь в человеческом деянии изначального и результативного отличается мягкой пластикой мыслеобраза, звонкой, «как бубенец в груди», аллитерацией, выстраивается полифонией тесно сплетенных мотивов. Их неспешная, но крепкая вязь обладает логикой родника, подспудной, однако непреложной. Так мелодия простора переходит в мотив тягловой реки, она вливается в дорогу, приводящую к встрече с кремень-слезой. Мотив дороги, в который вплетается и разговор о трех гаках, проселочном бездорожье, разрастается в мотив общего пути, кристаллизуясь в образ Москвы, единящей, централизующей мысль и дело народа. «Москва... Москва... Растет звук, но губы все будут пить из донных родников заветный смысл возвышенного сруба ее восьми слагаемых веков». А мотив простора, возникший вначале как неосознанное ликование счастливого парня, возвращается в главе «Вот она, граница...» уже иной радостью — зрелой силы, единства стремлений, общности народных интересов. И тут в огромном чувстве простора — и пространственного и временного — сопрягаются свободно, без напряжения 30-е, 40-е и наши 70-е, как бы обещающая новую книгу трилогии о Памяти...

Так основной образный ряд, развертываясь, вбирает в себя притоки вторых и третьих образных соотношений, мотивов, струй, отчасти порождая и предвосхищая их. Такова композиционная диалектика всей вещи. Социальная основа символа наиболее обнажена в главе «Кремень-слеза» и движет мыслеобраз: поиски причин (откуда и чья) приводят на дорогу вечной памяти

«всёя Руси», а по ней — «на самый верх семнадцатого года», когда из кремня высекают искру, а из нее зажигается «звезда большого света в виду окольных и далеких стран, звезда добра и мудрого совета, звезда родства рабочих и крестьян».

Один из сильнейших мыслеобразов поэмы развертывается в главе «Три гака», где возвышенный пафос органически соединяется с умным, добрым юмором:

Ревел поток!
И женщина кричала
И шла своей положенной рекой —
Рекой любви,
Рекой людского рода,
Рекой других светящихся времен —
На край зари,
На берег небосвода,
В иную жизнь...

А что Семен?
Семен...
Понятно что:
Топтался виновато
Вокруг саней.
А что еще он мог?
Тулуп — с плеча
И руки — для подхвата:

— Сынок,— просил,—
Да что же ты, сынок,
Так мамку рвешь.
Да я ж тебя за это,
Как выйдешь вот, нашлапаю, стервец!

Зажегся флаг над крышей сельсовета,
Как добрый знак.
И — ах ты! —
Наконец
Явилось солнце повивальной бабкой
Степенно так —
Не по мосту, а вброд —
И воссияло, красное:
С прибавкой
Тебя,
Великий океан — народ!
С волной тебя, рожица!
С рассветом
Тебя, малышка!
С доченькой, отец...

Приведенный эпизод помогает услышать своеобразие стиха. Само движение, дыхание его в поэме «Даль памяти» своеобразно. Крупная фраза в глубоком, наполненном пульсе раздумчивой строфы, гибкой, малоударной, как бы переливается в другую медленно, без толчков благодаря очень крепкому сцеплению восьмистрочий. Чем дальше развертывается поэма, тем крепче это сцепление. И не столько потому, что две последние строки начинают рифмоваться с двумя первыми последующей строфы, сколько из-за интонационной цельности, литой

крепости синтаксических связей, умелого использования переноса (enjambements), виртуозного владения большим периодом и речевой самохарактеристикой.

Из приведенной цитаты можно видеть наглядно, как воплощается в живой ткани стиха, как последовательно кристаллизуется в самой поэтике непоказной, глубокий гуманизм и органическая демократичность мироощущения.

Философия истории, проверенной личной биографией, поэтический образ, выстрада-

ный десятилетиями борьбы за свои убеждения, — таков закон художественного мышления Егора Исаева. Даль памяти развертывается не для собственных лишь прозрений относительно тех или иных исторических закономерностей, а еще во имя «соборного свода» свободных народов, творящих общее людское счастье. Вот почему с тех пор не спит его дорога «у памяти великой на посту».

И. ДЕНИСОВА.



Политика и наука

ДВЕСТИ СЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 8. Ноябрь 1919—июнь 1920. М. Политиздат. 1977. 704 стр.

Есть нечто общее, что роднит все тома биографии В. И. Ленина, и всякий раз изумляешься: приводятся одни только факты, но их внутренняя сила и убедительность таковы, что титаническая деятельность Владимира Ильича ярко встает перед читателем не только в ее деловой будничности, но и как бы освещенная революционной романтикой.

Это качество присуще и очередному, восьмому тому биографии¹, который объемлет 31 неделю: с 7 ноября 1919-го по 10 июня 1920 года. В нем документально прослежены 217 дней и ночей из жизни основателя нашей партии и государства. «И ночей» здесь сказано отнюдь не ради красного словца: рабочий день Владимира Ильича нередко длился и далеко за полночь. Мы давно привыкли к цифровым данным, в потоке информации они, пожалуй, преобладают. Если мы и сейчас обратимся к «арифметике», то лишь потому, что она поможет как-то внутренне приблизиться к громадному нервному и интеллектуальному напряжению тех дней и ночей, о которых идет речь в рецензируемой книге.

Заседания Совнаркома начинались в 20 часов, часто и в 20 часов 30 минут. Повестка дня была крайне обширной. То же — на заседаниях Совета Обороны, в апреле двадцатого года преобразованного в Совет Труда

и Обороны (СТО). Так, 31 января 1920 года Владимир Ильич дополнил 25 пунктов, которые правительству предстояло обсудить в тот поздний вечер, следующими вопросами: «26. О переписи (Попов)», «Инструкция ВСНХ в свете 7 съезда», «Снежные заносы», «Распределение бумаги», «Санитарные мероприятия», «Внешняя торговля». Остается добавить, что в течение 31 недели состоялось 45 заседаний СНК, 42 — Совета Обороны и СТО, на них было обсуждено свыше 1400 вопросов. Не менее напряженной, чем государственная, была и партийная деятельность Владимира Ильича. В том же зафиксированы факты, свидетельствующие о его руководящей роли в работе VIII Всероссийской конференции и IX съезда РКП(б), участие в 5 пленумах ЦК, 49 заседаниях Политбюро, в заседании Оргбюро, в 4 совещаниях, созванных Центральным Комитетом. И здесь он вносил написанные им проекты постановлений, редактировал резолюции, делал доклады, участвовал в прениях, вел записи. Назовем еще одну цифру: на пленуме ЦК, состоявшемся 29 ноября 1919 года, Ленин выступил в прениях 26 раз...

К периоду, освещенному книгой, относится пятидесятилетие В. И. Ленина (об этом юбилее ниже будет сказано особо). А. В. Луначарский писал тогда: «Трудоспособен Ленин в огромной степени. Я близок к тому, чтобы признать его прямо неутомимым; если я не могу этого сказать, то потому, что знаю, что в последнее время нечеловече-

¹ О предыдущих томах см. «Новый мир», 1976, № 4; 1977, № 8.

ские усилия, которые приходится ему делать, все-таки к концу каждой недели несколько надламывают его силы и заставляют его отдыхать». Три года спустя, во время тяжелой болезни Владимира Ильича, Луначарский с горечью добавил к только что процитированной фразе: «...ни он себя, ни мы его не берегли достаточно». К этому свидетельству добавим другое, тоже Луначарского: в Совнаркоме при Ленине «царило какое-то сгущенное настроение, казалось, что самое время сделалось более плотным, так много фактов, мыслей и решений вмещалось в каждую данную минуту».

Характеристика выразительная. Она, однако, нуждается в некотором уточнении. «...много фактов, мыслей и решений вмещалось в каждую данную минуту» отнюдь не только на заседаниях СНК, а решительно во всей многогранной работе Ленина. Следует внести и такую поправку: отдых, к которому иногда все же приходилось прибегать Владимиру Ильичу, на самом деле был весьма относительным. Раскроем, например, книгу на странице 291. Здесь помечена дата: «Февраль, между 10 и 16» — а под ней: «Ленин болен и по настоянию врачей находится на постельном режиме». Как же он был, этот «постельный режим», вызванный заболеванием? Не перечисляя всех фактов, сообщаемых на последующих страницах, упомянем лишь некоторые: Ленин читает документы о денежной реформе, о причинах, вызвавших усиление противника на правом крыле Кавказского фронта, и о необходимости перебросить туда две-три пехотные дивизии, о деятельности Главного политотдела Наркомпути; подписывает протоколы и постановления СНК, Малого СНК, Совета Обороны; пишет обширные «Заметки публициста» (они были напечатаны в мартовской книжке журнала «Коммунистический Интернационал»); ведет телефонные разговоры... Какой уж там отдых, какой постельный режим!..

Ну а будни, а повседневность? Они уплотнены до отказа. Регулярное чтение газет, журналов, книг на русском и иностранных языках; ознакомление с официальными документами, письмами, телеграммами, часто и ответы на них; беседы с членами ЦК, наркомками, членами коллегий наркоматов, руководителями профсоюзов, военных, хозяйственных и других ведомств, представителями зарубежных компартий; встречи с рабочими, крестьянскими ходоками, пред-

ставителями интеллигенции; доклады и речи на собраниях трудящихся; наконец, непрекращающаяся литературная деятельность. И за всем этим, решительно за всем — интенсивная работа гениальной творческой мысли, которая неизменно тянулась к теоретическому и политическому осмыслению сложной и противоречивой действительности с ее крутыми изломами.

Гражданская война продолжалась. Красная Армия, громя денкинцев, продвигалась на юг. Колчака в Сибири еще предстояло добить. На западе нависла угроза нападения буржуазно-помещичьей Польши, империалистические державы щедро финансировали ее, снабжали оружием, науськивали.

Возьмем факты лишь декабрьские, да и то не все. Помечено «не ранее 8» и сказано: Ленин читает отчеты о пополнениях, посланных на фронт и в военные округа в августе — ноябре. Еще дата: «не ранее 12» Владимир Ильич вместе с председателем Реввоенсовета Республики Э. М. Склянского посещает главкома С. С. Каменева, расспрашивает о положении на фронтах, знакомится с оперативными картами, говорит по прямому проводу с Харьковом. «Не позднее 14» он беседует с К. А. Мехоношиным, назначаемым членом Реввоенсовета 11-й армии Юго-Восточного фронта. «Не ранее 15» этого месяца изучает разведсводку оперативного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики, дислокацию красных войск и войск противника на всех фронтах. 19 декабря читает, делая на ней пометки, телеграмму: разгром колчаковской армии 5-й армией Восточного фронта продолжается, нами взяты многочисленные трофеи и пленные (Ленин сразу предлагает Наркомпути срочно вывезти трофеи). В тот же день беседует с прибывшим в Москву командующим 5-й армией М. Н. Тухачевским. Разговор, в частности, касается переброски этой армии на Южный фронт и об острой нехватке на юге командного состава, в связи с чем Владимир Ильич предложил командарму разработать в виде доклада принципы, которыми руководствовались командование армии при подготовке красных командиров. 20 декабря в числе вопросов, обсужденных Политбюро ЦК, — в заседании участвовал Ленин — были и такие: угроза наступления противника на Петроград, необходимость пополнить 7-ю армию Западного фронта. 23 декабря Ленин получает две телеграммы Реввоенсовета Южного фронта. Одна сообщала, что Первая Конная

разгромила части Мамонтова, Шкуро, Улагая и заняла станции Насветевичево и Лисичанск, вторая — что захвачено 100 тысяч пудов угля и завяты станции Переездная и Лоскутовка. Ленин делает пометки в атласе «Железные дороги России», которым всегда пользовался, пишет пояснение к телеграммам и предлагает их содержание опубликовать (на следующий день они были напечатаны в «Известиях ВЦИК»).

Однако коммунисты всегда добивались одного, именно: мира. С призывом к миру между народами родилась советская власть, этому призыву она верна и сегодня, в наши дни. Еще не были окончательно разбиты Колчак и Деникин, Дальний Восток продолжали оккупировать интервенты, нависла угроза со стороны белополяков, а Владимир Ильич, убежденный в том, что Красная Армия победит, в декабре 1919 года уже предлагал в докладе на VII съезде Советов «с максимальной деловитостью и спокойствием» вести дело к миру. «Слишком дорого, — сказал он, — для нас цена крови наших рабочих и солдат...» У советской власти есть, всегда будет «неуклонное желание проводить политику мира», постоянно стремление Советского государства «сохранить жизнь рабочих и крестьян», создать благоприятные — мирные — условия, необходимые для неуклонного экономического и культурного развития.

Великий мыслитель и великий организатор, Ленин за буднями всегда видел историческую даль. Особенно отчетливо это прослеживается на примере государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). Началось все, казалось бы, с частного повода. Вот как об этом рассказывается в биохронике. 26 декабря 1919 года Ленин приглашает к себе управляющего подмосковной электростанцией на торфе Электропередача Г. М. Кржижановского и обсуждает с ним вопрос о возможном использовании торфа в топливном балансе страны и о роли торфодобычи в электроснабжении. Итак, 26 декабря. День как день: Владимир Ильич подписывает постановление СНК отпустить Наркомвоену 60 миллионов рублей сверхсметным кредитом, подписывает протокол заседания Малого СНК; телеграфирует в Омск распоряжение доставить в Центр не 100, а 200 эшелонов и паровозов, принять меры к транспортировке кузнецкого угля, к разгрузке дороги и охране трофейного имущества; запрашивает полиграфический отдел ВСНХ, национализирована ли московская типогра-

фия Сытина, в каком она состоянии, что сделано для ее улучшения; пишет телеграмму в Харьков с пометкой: отправить ее вне очереди и сообщить час вручения. Необходимо, подчеркивает он в этой телеграмме, героические усилия для доставки угля в Москву и ускоренного ремонта паровозов. Ильич читает (и дополняет) подготовленную телеграмму губпродомам 8 губерний — вопрос срочный: как идет заготовка картофеля?

Продолжались обычные сутки. Продолжалась и интенсивная работа мысли, толчок к которой был дан разговором с Кржижановским. Прошло всего несколько часов после этого разговора, когда собеседнику Ленина уже доставили домой записку Владимира Ильича. Она начиналась словами: «Меня очень заинтересовало Ваше сообщение о торфе». Далее в вопросительной форме: не напишет ли Глеб Максимилианович статьи на эту тему для газеты «Экономическая жизнь», с тем чтобы потом издать брошюрой или поместить в журнале? «Необходимо обсудить вопрос в печати», — убеждает Ленин Кржижановского и сам набрасывает тезисы статей: вот каковы миллиарды торфяных запасов, к тому же они расположены вблизи Москвы и Петрограда, вот какова тепловая их ценность, легкость добывания (сравнительно с углем и проч.), «вот-де база для электрификации», причем (Ленин следующие два слова подчеркивает двумя линиями) база «быстрейшая и вернейшая» для восстановления промышленности, социалистической организации труда в индустрии и в земледелии, выхода из топливного кризиса.

Пока что, во всяком случае в записке, полученной Кржижановским дома, в Садовниках, речь шла о существующих, в общем-то малосильных, электростанциях. Однако дерзновенная мысль Ленина продолжает раздвигать завесу будущего. Еще до конца девятнадцатого года состоялось несколько его бесед с Кржижановским: их тема — возможность энергетического использования Волги и желательность поездки Глеба Максимилиановича в Самару, чтобы найти на Самарской Луке место для сооружения гидроэлектростанции.

В течение каких-нибудь трех-четырех недель в голове Ленина окончательно созрели контуры первого в истории человечества народнохозяйственного плана — плана ГОЭЛРО. 23 января 1920 года Ленин прочитал в рукописи и одобрил статью Кржижановского о задачах электрификации про-

мышленности. Отозвавшись о ней: «Великолепно», Владимир Ильич шлет Кржижановскому записку, в которой просит написать еще ряд подобных статей, даже — тактично, ненавязчиво — набрасывает основную их схему. «Нельзя ли,— предлагает он Глебу Максимилиановичу,— добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату?» Точных цифр Ленин не называет, пока что он их сам не знает — их удастся определить усилиями опытных специалистов. В плане-задании пролетариату цифры приблизительны: в десять (пять?) лет построить 20—30 (30—50?) станций, работающих на торфе, воде, сланце, угле, нефти, усеем электрическими центрами всю страну, для чего тотчас начнем закупику машин. Такой политический план надо наметить безотлагательно. Он нужен, чтобы «наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой [вполне научной в основе] перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической». Резонно предполагая, что у адресата возникнут и свои соображения, Ленин в конце записки пишет: «Поговорим по телефону».

Логическим завершением этого обмена мнениями стала февральская («ранее 17») беседа Ленина и Кржижановского. Теперь, как это зафиксировано в биохронике, речь шла о программе создаваемой Государственной комиссии ГОЭЛРО. И вот она уже приступила к делу. Завершение плана покажут материалы девятого тома. А в рецензируемом восьмом мы на страницах, следующих за февральскими, как бы глазами Владимира Ильича внимательно следим за деятельностью крупнейших ученых, вовлеченных Кржижановским в комиссию, и видим, какую помощь оказывал им Ленин, на что советовал обратить сугубое внимание.

Здесь важно отметить, что план ГОЭЛРО, по мысли Ленина, должен был быть научным не только в технико-экономическом отношении, что само собою разумелось, но и в своем политическом значении — научным. Это слово подчеркнуто, не случайно подчеркнуто, Владимиром Ильичем.

Ленин не раз напоминал большевикам, рабочим и крестьянам, сколь велики роль и вес науки в коммунистическом строительстве. Он говорил об этом на открывшемся 29 марта 1920 года IX съезде РКП(б), когда в докладе ЦК счел необходимым обрушить-

ся на дух, как он сказал, невежества и айтиспецства. Строить коммунистическое общество можно, лишь непременно используя все достижения науки и техники, а для этого следует привлечь к работе буржуазных специалистов, других у нас пока еще нет. Они, мы знаем, «пропитаны предрассудками своего класса», значит, надо их «переучить», а одновременно придать огромный размах учебным заведениям и внешкольному образованию «для пролетариев, для рабочих, для трудящихся крестьян». Задача состоит в том, чтобы «увеличивать число администраторов из своей среды, создавать школы, готовить в государственном маспгтабе кадры работников».

Ленин глубочайшим образом знал быструю жизнь, искусно обобщал практику строительства нового общества. Он познавал явления жизни не только из газет, официальных документов, статистических сводок, но и из потока писем трудящихся на его имя, из многочисленных бесед с рабочими и крестьянами, с сотрудниками различных советских учреждений, деятелями науки и искусства. Человек из масс вызывал пристальное внимание главы Советского правительства.

Приведем всего лишь некоторые примеры. 17 ноября 1919 года Ленин беседует с приехавшей в Москву в совпартшколу крестьянкой деревни Волосово (Тверская губ.) Удаленковой-Крициной, просит ее рассказать о жизни деревенской бедноты и о работе Советов, предлагает писать ему, Ленину, и сам записывает ее адрес. Несколько дней спустя произошел разговор с председателем Рязанского губисполкома М. Н. Шабулиным о сроках перевыборов в Советы, о заработной плате работников волостных и сельских Советов, о двойной подчиненности местных хозяйственных организаций — губернским властям и наркоматам. Из декабрьских встреч отметим две: с делегацией Туркестана и с членами Медынского укома РКП(б) И. С. Буквиным и И. В. Молодовым. В первой беседе Ленин интересовался военным, политическим, хозяйственным положением края, национальным составом населения, сведениями о приеме в партию коренного населения, советовал готовить местные партийные кадры, развивать хлопководство. Во втором случае разговор шел о положении в уезде, о работе бумажных фабрик Калужской губернии, о борьбе с сыпным тифом.

В январе Ленин беседует с членом ЦК

профсоюза металлостроителей Я. Д. Розенталем, прибывшим с Урала, и расспрашивает его о тамошнем положении, о настроении уральских рабочих и крестьян, их отношении к советской власти и к большевистской партии. 1 марта порог ленинского кабинета переступают делегаты рабочих Глуховской мануфактуры (Московская губ.). Он знакомится с принесенной ими докладной запиской о тяжелом продовольственном положении, расспрашивает о работе фабрики.

Достоверные мемуарные источники свидетельствуют, что, кто бы ни беседовал с Лениным, будь то нарком, рабочий, крестьянин, красноармеец или ученый, на каждого сильное впечатление производили его простота, доступность, скромность. Здесь уместно сослаться на слова М. И. Ульяновой: «Владимир Ильич прекрасно знал себе цену и понимал свое значение, и простота и скромность, отличавшие его, были не признаком недооценки им этого значения и не преуменьшения своей роли, а проявлением подлинно высокой, гениальной культуры». А теперь сошлемся на некоторые факты, зафиксированные биохроникой. Они удивительно полно характеризуют скромность, щепетильность главы правительства Советов.

В начале января двадцатого года Ленин пишет управляющему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу: «Мою библиотеку оплачиваю я л и ч н о» — и разъясняет: другое дело библиотека Управления делами СНК — она, надо понимать, комплектуется для служебного пользования, следовательно, за государственный счет. Подсчитав, сколько стоят купленные для его личной библиотеки книги, включая толковый словарь Даля, Владимир Ильич передал Бонч-Бруевичу 4000 рублей для оплаты приобретенной для него литературы и попросил «сохранить расписки». Как сообщается в рецензируемом томе, цитированной записке предшествовало несколько разговоров Ленина с Бонч-Бруевичем на эту тему; каждый раз Ленин настойчиво просил получить счета и оплатить стоимость книг для личной библиотеки из его, Ленина, заработной платы. 20 ноября 1919 года, как отмечает биохроника, Ленин оплачивает счет (162 рубля 75 копеек) за лекарства, купленные в кремлевской аптеке.

Но несомненно, самым ярким проявлением скромности Ленина было то, как отрицательно он встретил намерение товарищей торжественно отметить его пятидесятилетие.

Делегаты IX съезда РКП(б), закончившего

ся 5 апреля, знали, что через две с половиной недели наступит юбилейная дата. Не удивительно, что (цитирую том биографии), «после того как была исчерпана повестка дня IX съезда РКП(б), делегаты съезда предлагают организовать чествование Ленина», а он в ответ подает реплику: «Лучше споем Интернационал». На сей раз участники заседания не вняли просьбе Владимира Ильича, не внял ей и президиум съезда, которому Ленин написал две записки (они не разысканы), и тогда, прослушав двух ораторов, Владимир Ильич, сообщает хроника, «покидает зал и уходит в свой рабочий кабинет, откуда настойчиво просит президиум побыстрее закончить речи...»

Обычным был день 23 апреля 1920 года. Ленин читает ряд документов, подписывает телеграммы, принимает представителей Туркестанского фронта, председательствует поочередно на двух заседаниях — сначала на заседании СТО, потом СНК. И последняя за этот день запись в биохронике: «Ленин приезжает (позднее 20 час.) к концу коммунистического вечера, организованного в честь его пятидесятилетия МК РКП(б), в зал МК (Большая Дмитровка, д. 15а...»).

Но какие усилия были приложены к тому, чтобы «заполучить» Ленина в этот зал! В мемуарах тогдашнего секретаря МК А. Ф. Мясникова читаем: о предстоящем коммунистическом вечере в его честь Владимир Ильич оповещен не был. «Когда провели первое отделение, т. е. воспоминания о Ленине, я позвонил ему по телефону и попросил приехать на собрание. Разумеется, он отказывался и говорил, что он никаких речей о себе слушать не хочет, но когда я ему заявил, что мы его приглашаем на концертное отделение, на котором будут присутствовать его любимые артисты — Шор, Крейн и другие, он тогда рассмеялся, согласился и вскоре был у здания Московского комитета. Мы гурьбой вышли к нему навстречу, окружили его и привели на сцену...»

С этой сцены — до начавшегося вскоре концерта — Владимир Ильич обратился к собравшимся с речью. Он поблагодарил их «за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей». Он напомнил, что впереди сложные экономические и политические задачи, отодвинутые от нас гражданской войной и теперь вплотную вставшие перед

Страной Советов. «Мы,— сказал Ленин в заключение,— должны понять, что решения нашего последнего съезда партии во что бы то ни стало должны быть проведены в жизнь, а это значит, что нам предстоит громадная работа и потребуются приложить труда много больше, чем требовалось до сих пор».

Каждая последующая страница рецензи-

руемой книги — свидетельство того, что значительную часть этой «громаднейшей работы» Ленин, не щадя своих сил, взвалил на собственные плечи. Так продолжалось и в дальнейшем. Но об этом мы узнаем из новой, готовящейся к печати книги биографической хроники.

Н. МОР.



УЧИТЕЛЬ ТВОРИТ ЧЕЛОВЕКА

И. З ю з ю к и н. Государство Школа. М. «Молодая гвардия». 1977. 207 стр.

Эта школа особенная. В ней нет плохих учителей, нет унылых, нудных людей, отбывающих положенные часы. Нет горестно знакомого типа литератора, в совершенстве овладевшего методом отлучения детей от литературы. Все герои книги, повествующей об этой удивительной школе, хорошие, трудолюбивые, честные, счастливые люди...

А что, разве плохих учителей на свете не бывает?— предугадывает автор каверзный вопрос. И убежденно отвечает: не бывает. «Есть серые, скучные люди, которые плохо учат и плохо воспитывают. Но разве мы назовем их учителями? Для них в своей книге я места не нашел...»

Последуем приглашению автора вступить в этот мир, столь знакомый и дорогой многим, иными забытый, а для других, в ком школьные годы оставили печально-памятный след, неожиданно радостный и неизведанный.

Может возникнуть опасение: не искусственна ли подобная школа, очищенная от «всякой скверны», не предложит ли автор некую дистиллированную водичку вместо живой воды, наконец, что даст рассказ о школе, созданной воображением писателя и не существующей в жизни?

С первых же страниц подобные опасения рассеиваются, и читатель, настроенный на отвлеченно-созерцательный лад, едва успевает увернуться от ватаг ребятам, бурным потоком выплеснувшихся враз из классов, а затем он, оглушенный, замирает у дверей учительской, в которой, кажется, «все говорят, но никто никого не слушает».

«— Вызываю Воробьева к доске. Он говорит: масса неизвестна. Класс хохочет...»

— Они у вас, дорогая, развращены!

— Есть путевки в Брест! Кто поедет?..

— Ты мне и так уже две двойки поставила...

— Товарищи, кто еще не сдал личные планы?..»

Да нет. Школа как школа, самая обычная, и учителя ничем не напоминают образцово-показательные схемы, а состоят из плоти и крови, со всеми приметамы своей профессии, забирающей человека всего целиком — его сердце, ум, помыслы. Учителя как учителя. Но плохих среди них действительно нет. Автор их просто не пустил в свою книгу, широко распахнув двери для тех, с кем сталкивала его журналистская жизнь и кого он почтительно и любовно называет высоким словом Учитель.

«Государство Школа» не стоит особняком в творчестве И. Зюзюкина, а как бы продолжает раздумья автора о детях, учителях, педагогическом мастерстве, чему посвящено все, что выходит из-под его пера. А это все с полным основанием можно объединить под заголовком рецензируемой книги.

Так что же это? Педагогическая публицистика, рассказы, строго научные исследования? Ни то, ни другое, ни третье. И вместе с тем и то, и другое, и третье. При чтении любой из глав книги создается впечатление, словно автор, превыше всего страшась назидательности, поучительности, как бы дает мгновенные, очень живые снимки то одного, то другого эпизода школьной жизни или точными штрихами набрасывает портрет мальчишки, девчонки, учителя, не обременяя читателя подсказками, советами «извлечь урок», освоить какую-нибудь незыблемую педагогическую заповедь.

Перед читателем проходят ребята — не из книжки, а живые, несхожие; учителя тоже очень разные, увиденные автором в самые неподходящие для «парадных съемок» моменты, в обычных, вроде бы ничем не примечательных школьных буднях, в ситуации-

ях повседневности. Какими же предстают в этом неярком свете учителя, населяющие «государство школу» — Анастасия Петровна, Валентин Иванович, Идея Петровна, Владимир Тимофеевич, Любовь Александровна?.. Примечательно, что даже после внимательного прочтения книги вряд ли удастся нарисовать мысленно некий обобщенный портрет «прекрасного учителя», хорошего учителя, ибо это очень разные люди и уж никак не взаимозаменяемые.

Но есть, разумеется, сходные черты, сходный душевный склад, роднящий этих столь разных людей, что и позволило автору свести их под одной крышей государства школы.

...Сухомлинский. Читая книгу Зюсюкина, чаще всего вспоминаешь имя прославленного педагога, учителя павлышской сельской школы, отдавшего свое сердце детям. Вспоминаешь прежде всего потому, что учителя из «Государства Школы» близки ему в главном: умению, точнее, таланте видеть окружающий мир глазами детей, как умел его видеть Сухомлинский, обладавший в полной мере способностью ведать изнутри детским мироощущением. Без этого трудно представить себе педагога, не просто передающего своим подопечным определенную сумму знаний, а владеющего искусством творить человека.

Ощущение близкого родства с Сухомлинским возникает от той нравственной атмосферы, в которой живут, которой дышат герои книги Зюсюкина. Мы видим их в учительской, на переменах, беседующих с ребятами. Отдельные штрихи, будто мимоходом оброненное замечание, черточки характера, а как удивительно емки и важны они, эти щедро рассыпанные в книге «мелочи», для понимания, что такое хорошо в педагогике, для понимания немислимо трудных задач, встающих перед учителем каждый час, каждый день, каждое мгновение.

Те, кому посчастливилось бывать на уроках Сухомлинского, видеть его на прогулках с детьми, не могут забыть царивших в его школе чистоты, ясности, правдивости, высокого доверия и взаимоуважения в коллективе учителей и школьников. И когда

приходил час расставания со своими учениками, Сухомлинский мог не колеблясь сказать о них: они приобрели прочные знания, полюбили науку и книгу, научились мыслить и понимать окружающий мир и самих себя. Каждый из них нашел себя — полюбил труд, стал настоящим человеком. В каждом юном сердце утвердилась чуткость к радостям и беде других людей...

Учитель, ставящий перед собой столь высокую цель, не может не отдавать своего сердца детям.

«Что самое трудное в нашей работе? Нет, не уроки, нет, не тетрадки, нет, не дополнительные занятия... — говорит Зюсюкину один из учителей. — Считается, что мы должны быть идеальными во всех отношениях... И это сковывает тебя, делает скучной, слишком, что ли, правильной. Правда, некоторым удается везде, даже в школе, быть самими собой...»

А чуть ниже, когда автор увидит у класса, где идет комсомольское собрание, столпившихся у двери учителей, украдкой заглядывающих в нее, ему приходит в голову удивительно верная догадка: это же ученики, которые решились остаться в школе навсегда.

Или вот после одной из бесед: «...позже меня осенило: передо мной же педагог, что в переводе с древнегреческого, между прочим, означает: ведущий мальчика, ребенка. А с детьми, как показывает опыт тысячелетий, лучше всего говорить языком простым и чистым».

«Государство Школа» — книга о личности учителя, о его призвании воспитывать личность. Это увлеченный, интересный рассказ о людях, ведущих детей в жизнь. Вместе с автором мы можем с уверенностью сказать: какие бы сверхфантастические преобразования ни внесла в близком и отдаленном будущем научно-техническая революция, профессия учителя в отличие от многих других профессий не отомрет никогда, она на все века, ибо даже в эпоху сверхцивилизации ребенка будет вводить в жизнь Учитель.

В. БАЙСЕВА.



ВЕЛЕНИЕ РАЗУМА И СОВЕСТИ

Эрнст Генри. Разоружение: кто против? М. Агентство печати Новости. 1978. 112 стр.

«Мир без атомной бомбы! Можно ли в наши дни представить себе такой мир? Идет ли речь о реальной, несбыточ-

ной мечте? Или о чем-то, чего действительно можно добиться — добиться еще сегодня, при нашей жизни, при жизни наших де-

тей». На эти вопросы, поставленные на первых страницах книги¹, автор отвечает утвердительно. Разоружение не мечта, она не только насущная необходимость, но и реальная возможность. Жить без атомной бомбы можно! Оптимизм автора не наигранный, а базируется на историческом опыте, фактах точных, неопровержимых. В нем выражается настоятельное веление времени, требование разума и совести человечества.

Подсчитано, что в бесконечных войнах, которые велись на протяжении тысячелетий (за пятьдесят пять веков — 14 500 больших и малых войн), погибло около 3 миллиардов 640 миллионов человек — почти столько же, сколько сейчас живет людей на земном шаре. И обошлись эти войны в фантастическую цену — 500 квинтильонов швейцарских франков (квинтильон — миллиард миллиардов).

Таков ужасающий итог прошлых войн. А нынешние? Только во второй мировой войне человечество лишилось 50 миллионов жизней. Но тогда (за исключением сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки атомных бомб) еще не применялось термоядерное оружие. Сейчас это оружие существует, его мощностю непрерывно возрастает, оно совершенствуется. Появляются новые, еще более грозные его виды и системы его доставки (нейтронная бомба, крылатая ракета). Мегатоннаж мирового ядерного арсенала сейчас в несколько миллионов раз превосходит взрывную силу бомбы, разрушившей Хиросиму.

Неимоверных размеров сегодня достигли военные расходы. Имеются расчеты, сделанные в начале 60-х годов. Они говорят о том, что если гонка вооружений не прекратится, то за двадцать пять лет в мире будет израсходовано на военные нужды примерно 3 тысячи миллиардов долларов. Это столько, во сколько измеряется стоимость всех материальных богатств, созданных до сего времени людьми на земле. Труднообразимые величины! Американский политик Эдлай Стивенсон еще в 1960 году предостерегал, что развитие и накопление ядерного оружия может в конечном счете привести к тому, что «одним нажатием кнопки можно будет испепелить весь земной шар».

¹ Книга издана также на английском, французском, испанском, немецком, шведском, итальянском и сербскохорватском языках.

Встает вопрос: какой смысл в производстве такого сверхоружия, которое погубит и его создателей — торговцев атомной смертью? Автор отвечает на него четко и ясно: классовая злоба и безрассудная алчность сверхприбылей. «Ястребы» и «бешеные» на Западе кричат: «Лучше не существовать, чем сосуществовать». Корыстные цели магнатов военных концернов, хозяев военно-промышленного комплекса, поставщиков оружия массового истребления для них превыше всего. Дивиденды в возрастающей геометрической прогрессии — вот их вождельная страсть. Ради огромных прибылей, как еще более ста лет назад писал Карл Маркс, капитал готов «сломать себе голову», и «нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».

Американская фирма «Дженерал дайнемикс», по самым умеренным оценкам, заработала на постройке атомных подводных лодок-ракетоносцев 750—800 миллионов долларов. Другой военный концерн, «Нортроп корпорейшн», выпускающий стратегические бомбардировщики, сверхзвуковые истребители и другое вооружение, только за один 1974/75 финансовый год получил 293 миллиона долларов прибыли. В одной упряжке с ними идут реакционные политики, сионистское лобби, адвокаты толстосумов, у которых ненависть к социализму сочетается с неизбывной шейлоковской жадной к обогащению. «Золотой дождь», писал В. И. Ленин, — льется прямо в карманы буржуазных политиков, которые составляют тесную международную шайку...»

Об этих политиках, «ястребах», о так называемом Комитете по существующей опасности, «Бильдербергском клубе», о тех, кто торгует нейтронной бомбой, в книге рассказывается подробно. Их кредо — антикоммунизм, антисоветизм. Их стратегия и тактика — черные дела ЦРУ и ФБР, бряцание оружием, стремление ужесточить отношения с СССР и другими социалистическими странами, нагнетать атмосферу подозрительности и страха. Разыгрывается и «китайская карта». «Пекин и Пентагон, Международный военно-промышленный комплекс и маоизм. Казалось бы, одно с другим не сходится. А между тем смычка тех и других в 70-х годах — факт». Таково подлинное лицо тех, кто выступает против разоружения. Автор убедительно разоблачает их заговор против человечества.

Мир с древнейших времен был сокро-

венным чаянием людей. ~~Наше~~, в век величайших политических и социальных перемен, невиданных ранее успехов научно-технической революции, когда на арене мировой истории могучей поступью шагает социализм, на земле есть и крепнут силы разума и прогресса. Они в состоянии преградить путь гониме вооружений и заставить отступить атомных маньяков, размахивающих термоядерной бомбой.

Переключение усилий от производства вооружения к мирному строительству позволило бы в буквальном смысле преобразить лик нашей планеты. Средства, затраченные на войны и подготовку к ним за время с 1900 до 1953 года, — свыше 4 тысяч миллиардов долларов — достаточны, чтобы в течение полувека бесплатно кормить хлебом все население Земли или построить жилища для 500 миллионов семей. Не безумие ли бросать столько народных средств в прожорливое чрево молоха вооружений? Можно ли эти средства использовать в интересах людей, их благосостояния и счастья? Достижимо ли это сейчас, немедленно?

Да, достижимо. Путь к этому указывают Советский Союз, все страны социалистического содружества. Эрнст Генри на страницах своей книги подробно раскрывает важнейшие их инициативы в этом направлении. Заключить новое долгосрочное соглашение между СССР и США об ограничении наступательных стратегических вооружений. Как можно скорее успешно завершить переговоры в Вене о сокращении вооруженных сил и вооружении в Центральной Европе. Заключить Всемирный договор об отказе от применения силы в международных отношениях. Договориться об одновременном прекращении всеми государствами производства ядерного оружия. Договориться о взаимном отказе от создания новых поколений атомных подводных лодок.

«...самая важная, самая неотложная задача сейчас, — подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, — это прекратить захлест-

нувшую мир гонку вооружений... Советский Союз эффективно заботится о своей обороне, но не добивается и не будет добиваться военного превосходства над другой стороной. Мы не хотим нарушать примерного равновесия военных сил, сложившегося сейчас, скажем, между Востоком и Западом в Центральной Европе или между СССР и США. Но взамен мы требуем, чтобы никто другой не стремился нарушать его в свою пользу...»

Такова ясная и принципиальная позиция Советского Союза. А Запад? Чем он ответил на конструктивные предложения социалистических стран? В ноябре 1977 года под прикрытием шумихи о «советской угрозе» группа ядерного планирования НАТО приступила к разработке планов развертывания в Западной Европе крылатых ракет с ядерными боеголовками. Факты свидетельствуют о том, что, несмотря на гневные протесты общественности, Пентагон не отказался от планов приступить к производству особенно изуверского наступательного оружия — нейтронной бомбы. Показательно, наконец, что в дни, когда в Нью-Йорке начала работать специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, недалеко, в Вашингтоне, заседал совет НАТО, который принял долгосрочную программу наращивания вооружений этого агрессивного блока.

Несмотря на все происки и маневры врагов мира, идеи разрядки, разоружения растут, крепнут, они с каждым днем овладевают умами все более широких масс людей на всех континентах. Они становятся кровным делом, велением разума и совести каждого человека. И если он хочет жить и хочет жизни для своих детей и внуков, пишет в заключение этой нужной и талантливой книги ее автор, он должен ответить на вопрос о прекращении гонки вооружений. Ответить не только словами, но и действиями — активным участием в борьбе за разоружение.

Ю. МАТВЕЕВСКИЙ,
Я. ПОВАРКОВ.



ИЗ КОГОРТЫ БОГАТЫРЕЙ

Явел Подляшук. Богатырская симфония. Документальная повесть
о Е. Д. Стасовой. М. Политиздат. 1977. 254 стр.

Слова «ленинцы», «ленинская гвардия» мы произносим, имея в виду сравнительно небольшую кут революционеров, вступа-

вших в борьбу за свержение эксплуататорского строя в России на рубеже XIX и XX столетий. Это были люди замечатель-

ные. Имми руководило обостренное чувство справедливости, абсолютное бескорыстие, верность высоким принципам революционного братства. Они осознанно шли на заведомые лишения, житейскую неустрашенность, на положение отверженных в обществе. А между тем едва ли не каждый из них мог бы жить весьма благополучно, преуспевать, ибо все они были людьми широко и глубоко образованными, талантливыми. Но они предпочли посвятить свою жизнь великому делу освобождения эксплуатируемых, ничего не требуя для себя.

Однако и среди этих удивительных людей Елена Дмитриевна Стасова выделялась принципиальностью, самоотверженностью, верностью долгу. Она оказалась человеком счастливой судьбы. Считанным единицам выпадает редкая судьба принадлежать не одной, а нескольким эпохам, быть активным участником не одного, а целого ряда важных исторических событий. Стасова относилась к числу этих немногих. Она и агент «Искры», и участница борьбы с «экономизмом» в канун II съезда РСДРП. И в годы революции 1905—1907 годов она в самой гуще борьбы; и в мрачную пору столыпинской реакции, когда многие политиканствующие интеллигенты отшатнулись от революционной деятельности, Елена Дмитриевна ни на мгновение не заколебалась. Воспитание новых большевистских кадров, подготовка Пражской конференции большевиков и борьба с различного рода оппортунистами внутри партии — Стасова, как всегда, на переднем крае. ...1917 год. Елена Дмитриевна, только-только возвратившаяся из сибирской ссылки, без промедления ринулась в политическую жизнь...

Многочисленные аресты, суды, приговоры, ссылки, высылки — жизнь профессионального революционера. Какой же силой духа должна была обладать женщина, чтобы не сломиться, не пошатнуться, ни разу не отступить от избранного пути!

И в послеоктябрьский период Елена Дмитриевна — активный строитель новой жизни. Под непосредственным руководством В. И. Ленина она работает секретарем ЦК РКП(б), позже ведет большую работу в Коминтерне, возглавляет ЦК МОПРа — Международной организации помощи революционерам. В последние годы жизни, уже в преклонном возрасте, Стасова часто выступает в печати, поддерживает переписку с сотнями корреспондентов со всех концов страны, проявляет внимание и участие

к судьбе многих людей. Сколько тех, кому она помогала! Нет ничего удивительного в том, что память о Елене Дмитриевне Стасовой живет в сердцах многих наших современников.

Умение использовать исторический факт, документ как строительный материал для извлечения достоверного, волнующего и увлекательного произведения позволило Павлу Подляшук воссоздать живой образ Абсолюта, нестигаемой соратницы Владимира Ильича Ленина. Елена Дмитриевна предстает перед читателем со страниц документальной повести не только большевичкой непреклонно-стойкой, равнодушной к личным житейским неурядицам и чуждой всякой суетности, какой мы, в общем-то, уже знали ее по другим литературным и историческим источникам, а в полном смысле земной женщиной, способной горевать и отчаиваться. Под ее строго-неприступной наружностью, за ее стойческой суровостью к себе и соратникам читатель чувствует нежную, устремленную к любви душу.

Автору удалось показать Елену Дмитриевну Стасову человеком, озабоченным сложностями бытия окружавших ее людей. И все же главное было, конечно, не в этом. А в том, что она посвятила свою жизнь отнюдь не одной лишь заботе о благополучии немногих близких, родных или товарищей по борьбе, — всю свою долгую жизнь она служила делу завоевания счастья для миллионов людей.

Перед авторами историко-биографических произведений о революционерах ленинской формации неизменно встает еще одна сложная задача. Необходимо достоверно и мотивированно объяснить причины прихода того или иного соратника Владимира Ильича в революцию. Здесь недостаточно деклараций и общих рассуждений. Важно раскрыть внутренние побудительные импульсы, толкавшие человека на путь борьбы с эксплуататорским государством как на единственно возможный путь в жизни.

Думаю, что одна из принципиальных удач рецензируемой книги как раз и состоит в том, что Павел Подляшук сумел убедительно показать обстановку высокой духовности, царившую в доме Стасовых. Отец Елены Дмитриевны, видный столичный адвокат, охотно принимавший на себя защиту подсудимых в политических процессах, радикально настроенный русский интеллигент, с молодых лет находился в оппозиции к монархии. В самом начале своей чиновни-

чей карьеры Дмитрий Васильевич Стасов был изгнан со службы и даже угодил в тюрьму. Вина его состояла в том, что он собирал подписи под прошением о помиловании уволенных студентов. Об этом событии писал герценовский «Колокол».

Даже государь был осведомлен о настроях присяжного поверенного Стасова, знал, что Дмитрий Васильевич всегда на стороне тех, кто против царя. Александр II в 1880 году ядовито пошутил: «Плюнуть нельзя, чтобы не попасть в Стасова, везде он замешан». Отец Елены Дмитриевны гордился царским недовольством: «Значит, изрядно я насолил дому Романовых, ежели самодержец так сердиться изволит...»

Дмитрий Васильевич переписывался со ссыльным Н. Г. Чернышевским и помогал ему деньгами. В доме Стасовых бывали такие известные люди, как А. Ф. Кони, под председательством которого суд присяжных оправдал Веру Засулич, стрелявшую в столичного градоначальника Трепова. Большое влияние на молодую Стасову оказал старший брат ее отца Владимир Васильевич Стасов, крупный критик-демократ, идеолог передового русского искусства своего времени. Важно отметить, что общение с дядей, человеком пронизательным и мудрым, готовым поддержать племянницу в ее революционной борьбе, сыграло существенную роль в определении жизненной позиции Елены Дмитриевны.

Разумеется, одного лишь влияния домашних — отца, дяди, а также преподававшей Лене Стасовой математику Марии Ивановны Страховой, чьи радикальные взгляды сказались на воспитании Стасовой-революционерки, — не хватило бы в полной мере, чтобы выкристаллизовался негибкий борец за дело социальной справедливости. Не только это сделало Елену Дмитриевну Стасову большевичкой непоколебимой убежденности и воли, профессиональной революционеркой, способной заражать своей организованностью и более опытных товарищей по делу.

Вовлекая читателя в процесс исследования, автор прослеживает, как сама жизнь делала Стасову той Стасовой, какой знала и помнит ее партия, какой сохранилась она в памяти народа. Разумеется, это было счастьем — встретиться и работать с таким величайшим человеком своего времени, ка-

ким был Владимир Ильич Ленин. Счастьем было и находиться в одном строю с единомышленниками — Надеждой Константиновной Крупской, Александрой Михайловной Коллонтай, Пантелеймоном Николаевичем Лепешинским, Петром Ананьевичем Красиковым, Николаем Эрнестовичем Бауманом, Леонидом Борисовичем Красиным, Григорием Константиновичем Орджоникидзе и другими верными соратниками Владимира Ильича Ленина. Общение с каждым из них сыграло большую роль в жизни Елены Дмитриевны.

Автор повести, которому в свое время посчастливилось работать и часто встречаться с Е. Д. Стасовой, не пошел по пути последовательно-хронологического изложения ее биографии. Безупречное знание материала — этому в немалой степени способствовало и личное знакомство Павла Подьяшукса с Еленой Дмитриевной — позволяло ему оперировать фактами из ее жизни и документальными данными без догматической скрупулезности, а раскованно, с художественной свободой. Это помогло писателю избежать плавной монотонности повествования. Ретроспективы и переходы в будущее, соседствующие друг с другом архивные материалы и авторские раздумья — все это делает «Богатырскую симфонию» произведением подлинно художественным. Повесть написана взволнованно, а потому и впечатляюще и увлекательно.

Сделаю небольшое отступление. В не столь далеком прошлом у определенной части читателей и критиков бывало в умах несколько пренебрежительное отношение к документальной литературе. Они признавали этот жанр лишь как источник злободневности или сенсационности. Если документальная книга не содержит никакой сносшибательной информации, о ней и говорить не стоит...

Глубочайшее заблуждение! И жизнь тому свидетельство. В последние годы документальные работы занимают все более видное место не только на полках государственных книгохранилищ, но и личных библиотек. Вдумчивые критики приняли на вооружение такие формулы, как «поэзия факта», «поэзия документа». «Богатырская симфония» — еще одно доказательство верности такого взгляда на документальную литературу.

В. БУДАНИН.

КОРОТКО О КНИГАХ



Б. И. МАРУШКИН, Г. З. ИОФФЕ, Н. В. РОМАНОВСКИЙ. Три революции в России и буржуазная историография. М. «Мысль». 1977. 279 стр.

По наполненности событиями, оказавшими влияние на судьбы человечества, история не знает отрезка времени, сопоставимого с периодом 1905—1917 годов, когда в России произошли две буржуазно-демократические и первая в мире социалистическая революция. Это ставит их, и особенно Октябрьскую революцию, в центр внимания не только исследователей-марксистов, но и буржуазных историков. «Пока у человечества сохраняется интерес к исследованию прошлого, никто не усомнится в том, что революция 1917 г. была одним из величайших поворотных пунктов в истории», — пишет известный английский историк Эдвард Хэллетт Карр.

Однако буржуазная историография из-за своей классовой ограниченности и методологической несостоятельности не в силах дать сколько-нибудь достоверную картину причин, характера и исторической роли трех революций в России. В выходящей на Западе литературе по истории нашей страны сплошь и рядом встречаются домыслы о том, будто эти революции были вызваны не острейшей классовой борьбой и непримиримыми социальными противоречиями, а случайными или полуслучайными факторами, «ошибками» царского и Временного правительств, «легкомыслием» масс, пошедших на поводу у «бунтарской» агитации большевистской партии. Разоблачению этих и ряда других измышлений и посвящена рецензируемая книга.

Пытаясь объяснить революции в России действиями одних только субъективных факторов, западные историки прибегают к прямым нападениям на марксизм, извращают суть ленинской теории социалистической революции, приписывают В. И. Ленину и его соратникам идейное родство с народничеством, с одной стороны, и троцкизмом — с другой. В выходящей на Западе литературе деятельность большевистской партии во всех трех русских революциях предстает в крайне искаженном свете. Если в трактовке отдельных вопросов истории России начала XX века, как отмечается в книге, буржуазная историография в последнее вре-

мя стремится отойти от явно несостоятельных штампов, то в освещении деятельности большевиков она менее всего склонна проявлять гибкость и реализм, упорно придерживается антикоммунистических, антинаучных концепций.

Авторы справедливо указывают на отсутствие в буржуазной исторической и социологической науке достоверной концепции общественного развития и революционных изменений. В последнее время большую популярность на Западе получили теории «стадий роста», «модернизации», «индустриального общества», трактующие революции исключительно как способ преодоления социально-экономической отсталости. Согласно этим теориям Великая Октябрьская социалистическая революция означала не переход человечества от капитализма к более высокой общественной формации — социализму, а всего лишь становление в России одной из разновидностей «индустриального общества». Подобные схемы, подчеркивают авторы, находятся в вопиющем противоречии с тем общепризнанным фактом, что все мировое развитие в XX веке осуществляется под прямым воздействием идей Октября, что Октябрьская революция определила столбовую дорогу истории.

Октябрьская революция настойчиво изображается в буржуазной литературе как некое отклонение от «естественного» исторического развития, как «модернизация», произведенная насильственными, разрушительными методами. При этом она противопоставляется Февральской революции, якобы открывшей возможности для «мирной модернизации» страны, без излишних жертв и кровопролитной гражданской войны. Авторы показывают, что подобный угол зрения современных буржуазных идеологов на историю России в XX веке не в последнюю очередь объясняется их стремлением извлечь политические уроки в целях предотвращения народно-демократических и социалистических революций в нашу эпоху. Небезынтересно следующее приводимое ими признание одного из американских советологов: «Мы на западе... надеемся благодаря таким урокам научиться, как лучше обратить подобный исход».

История показывает тщетность этих надежд. Невозможно произвести «расчет»

предотвращения народных революций, ибо, как подчеркивал В. И. Ленин, сами революции «нельзя сделать ни по заказу, ни по соглашению... они вырастают тогда, когда десятки миллионов людей приходят к выводу, что жить так дальше нельзя». Рецензируемая книга содержит большой фактический материал, неопровержимо свидетельствующий о том, что социально-экономические и политические противоречия царской и буржуазно-помещичьей России были неразрешимыми и достигли невиданного накала, что в октябре 1917 года многомиллионные трудящиеся массы России веди под руководством большевиков сознательную революционную борьбу за власть Советов.

Книга представляет интерес не только для историков, но и для всех желающих ознакомиться с актуальными проблемами современной борьбы идей.

Ю. Игрицкий.



Ю. ЖУКОВ, Р. ИЗМАЙЛОВА. Начало города. Страницы из хроники 30-х годов. Хабаровск. Книжное издательство. 1977. 219 стр.

«Особенно запомнились встречи с группой молодых строителей Байкало-Амурской магистрали на одной из станций и с молодежью города Комсомольска-на-Амуре, — сказал Леонид Ильич Брежнев в речи на XVIII съезде ВЛКСМ. — ...О своей работе, о своей жизни они говорили по-хозяйски, со знанием дела и вместе с тем увлеченно. Глаза их были как бы устремлены в будущее. Слушал я их, и на память пришли строки известной песни: «Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли...»

Эти строки из известной песни 30-х годов Л. И. Брежнев не случайно привел именно на съезде комсомола и применительно к стройке века — БАМу. Ведь строительство этой магистрали, по сути дела, началось в 30-е годы и теми самыми «молодыми хозяевами» земли советской — молодежью первых пятилеток.

О них, о тех, кто «прорубил первые просеки в тайге», кто, преодолевая все трудности, построил «город на заре» — легендарный Комсомольск-на-Амуре, интересная книга Ю. Жукова и Р. Измайловой, выпущенная Хабаровским книжным издательством в библиотеке Байкало-Амурской магистрали «Мужество». Это целиком документальное повествование, «страницы из хроники 30-х годов», правдиво и достоверно рассказывающее о том, «как в злой тайге, на берегу могучей и коварной реки комсомольцы... поставили город».

«Тебе, юный друг, идущему сквозь дебри тайги по следам первопроходцев, которые пробивались к далекому океану сорок лет тому назад, адресуем мы эту книгу, состав-

ленную из записей, сделанных нами в ту пору, — пишут авторы. — Были мы тогда молодыми журналистами — такими же молодыми, как ты сейчас, — и выпало нам счастье своими глазами увидеть начало этой великой стройки... Мы всю жизнь были счастливы тем, что в тридцатые годы там, на Амуре, нам посчастливилось напасть на великолепнейшую золотую жилу настоящих человеческих характеров и своими глазами повидать людей, у которых... целая жизнь состояла из героизма...»

В книге много документальных материалов, на первый взгляд могущих показаться сухими, беспристрастными, но всегда правдивых, искренних. Это воспоминания самих строителей, их письма, протоколы собраний, заявления, призывы... Вот бывшая строительница Комсомольска Доросева вспоминает, как летом 1932 года девушки шли в болото, на корчевку леса, шли в московских туфельках, шли, так как «надо было работать, и мы работали». В осенний праздничный день 8 ноября того же года, рассказывает первостроитель Макаренко, вдруг налетела пурга — и взбунтовался Амур. Огромные льдины раздробили деревянные бобы и ворвались в запань, которая сдерживала огромный запас леса, с тащим трудом заготовленного для стройки. Еще мгновение — и... Но комсомольцы не предоставили разбушевавшейся стихии этого мгновения. Парни бросились в ледяную воду, цепляя обмерзшие бревна баграми, выкатывали их на руках, отталкивали льдины. Лес спасли... А наутро в мерзлой земле похоронили комсомольца Левченко: он поскользнулся на бревне, упал в воду, и стиснутые льдами плоты сомкнулись над его головой... Зимой 1932/33 года, узнаем мы из книги, не хватало овощей, картофеля, содержащих жизненно необходимые витамины. Но последние картофелины оставались тем, кто еле держался. В марте стало трудно с хлебом. А тут еще несчастье: снежные заносы задержали в пути тридцать машин с мукой, которые шли из Хабаровска. Многие бригады, вспоминают авторы, приносили тогда в редакцию «Амурского ударника» заявления: «Мы требуем ввиду создавшегося бездорожья и невозможности своевременной заброски продуктов пересмотреть нормы выдачи печеного хлеба... Больше пролетарской сознательности!»...

Таковыми — нестигаемыми, непоколебимыми, уверенными в правоте своего дела, готовыми преодолеть все трудности, выпавшие на их долю, были они, комсомольцы 30-х годов. И такими они сейчас встанут со страниц документального повествования Ю. Жукова и Р. Измайловой.

«Уходят годы. Уходят люди. Но все, содеянное ими, остается людям же — их детям, их внукам, вам, молодые строители БАМа. Прочтите же эту хроникку, прочтите ее внимательно. Она поможет вам лучше представить себе облик ваших дедов, прорубивших первые просеки в тайге. Вам выпало на долю продолжить и завершить де-

лю, начатое ими, и мы уверены, что вы будете достойными их преемниками!» — этими словами авторы определяют главное предназначение своей яркой публицистической книги.

Георгий Степанидин.



НОДАР ДУМБАДЗЕ. Десять рассказов. Перевод с грузинского Зураба Ахвледиани. Тбилиси. «Мерани». 1977. 160 стр.

А подсчитайте, сколько
энергии
наши ладони отдали детям,
их волосам шелковистым
и пальчикам,
гибким стаям наших
возлюбленных,
острым плечам наших бабушек
немоющих.

Паруйр Севак.
«Задание вычислительным
машинам...».

Нодар Думбадзе не боится показаться сентиментальным. Он густо насыщает свои рассказы драматическими коллизиями и патетическими интонациями. И уже сами выбранные сюжеты предполагают глубоко растрогать читателя, так что иной раз проглатываешь застрявший вдруг в горле ком...

Вот в голодный тревожный военный год мальчик, допекаемый соседями, уводит из дому собаку, чтобы застрелить ее. Но не выдержав «доброе печального» собачьего взгляда, отпускает пса на волю. Вот гурийский дед и имеретинская бабушка не могут поделить внука, оставшегося сиротой. Жестоко терзаются сами и изводят подростка. Вот растерявший уже, казалось бы, все человеческое, опустившийся вконец алкоголик-инвалид едет к матери в последней надежде вырваться в настоящую жизнь. Вот, надсадившись, мучительно умирает добрейший человек, деревенский дурачок Дидро. Смерть его тем трагичнее, что в последние минуты жизни возвращается к нему рассудок...

Нодар Думбадзе откровенно хочет добиться от читателя полного глубокого сопереживания тому, что происходит с его героями. Он старается обнажить эмоциональные глубины, которые ему привычно не замечаем, закрутившись и замкнувшись в ежечасности собственных дел и забот. Но в мире внутренней жизни человека не бывает мелочей. И трагической гибелью оборачивается сыновнее равнодушие для двух удивительных стариков (рассказы «Неблагодарный» и «Птичка»), горькое глубокое сожаление переживает герой рассказа «Не буди!», мимо которого прошла большая, настоящая Любовь. И даже когда, испугавшись бешеной собаки, люди бездумно истребляют своих псов (рассказ «Собака»), происходит непоправимое: селу чего-то не

хватает — «незаметного, обиденного, но привычного, близкого, родного чего-то».

Удивительно обаятельны герои Нодара Думбадзе. Обычно это простые крестьяне. Есть у всех у них нечто общее — здоровое и цельное отношение к миру, умение жить честно и разумно. И отсюда, наверное, внутреннее чувство достоинства, уверенность в себе, способность быть счастливым. Все они люди добрые, душевно щедрые, самоотверженные. Глубокими корнями вросли они в родную почву, любят эту свою жизнь, родной дом, родную деревню. Жизнь их глубоко насыщена и одухотворена.

Таков доживший до своего столетия Гудули Бережани («Неблагодарный»). Гудули живет один. Сыновья разъехались, и, видимо, редко навещаются к отцу. Полноценную трудовую жизнь прожил старик. До последней минуты Гудули Бережани полон внутреннего достоинства и благородства. Убедившись, что его старый, износившийся организм ему больше не подчиняется, что старость начинает принимать оскорбительные формы, гордый старик уходит из жизни. Уходит без страха и ожесточения, благословляя то, что остается. «Слава тебе, природа, — подумал Гудули, — слава твоей мудрости! Какое это счастье — сознавать, что после тебя останутся жить дерево, земля, небо и солнце!..»

Герои рассказов несут в себе неповторимые черты своеобразного национального характера. Это ощущается в особенностях темперамента, психологии, в юморе. В диалогах и монологах персонажей. Вот, например, ночные раздумья Кипшварди Ломджария, отчаянно тоскующего о внуке, только что уведенном «другой» бабушкой: «Не нужно было отпускать мальчика... Но не смог я устоять перед горем старушки... А теперь сам в ее положении. На той неделе схожу к ней, попрошу вернуть мальчика. Не отдам, заберу насильно... «Какое, скажу, имеешь ты право отнимать у меня мою плоть и мою кровь?!» ...Но ведь она может ответить мне теми же словами?! Вот если бы я был богом!.. На той неделе пойду к ней, брошусь в ноги... Хотя нет, неделю мне не стерпеть... Пойду послезавтра... Нет, завтра! Завтра же с рассветом отправлюсь в путь... Господи, скорее бы наступило утро!..»

Рассказы, как и прежние вещи Нодара Думбадзе, щедро сдобрены юмором. Остроумными авторскими ремарками пересыпан текст; лукаво, то беззлобно, то с подковыркой шутят герои. Писатель позволяет себе быть ироничным иной раз даже в, казалось бы, малоподходящих обстоятельствах. С глубокой болью расставаясь со старым Гудули Бережани, он здесь же сатирически рисует его старшего сына, состоящегося на похоронах в силу, вернее громкости, изображения своей скорби... с репродуктором. Ирония при этом ничуть не разрушает прежней патетической интонации, но позволяет избежать однозначности, чрезмерной растроганности.

Да, писатель обращается к чувствам своих читателей, фиксирует внимание на том, какой бережности и чуткости требуют человеческие отношения, как все мы зависим друг от друга. Как гибельно может сказаться недобрый взгляд, колкое, а то и просто неосторожное слово, злая или равнодушная насмешка. И читатель понимает, что писателем при этом движет не сентиментальная расчувствованность, а истинная человечность, глубокая, внутренняя доброта, душевная деликатность и благородство. И откликается на это всем сердцем. Не может не откликнуться.

Г. Петрова.



Е. ПОЛЯКОВА. Станиславский. М. «Искусство». 1977. 463 стр.

Рассказать о жизни Станиславского трудно. Кроме всего прочего, и потому, что он сам написал «Мою жизнь в искусстве» — книгу на века, не только мемуарного, но и историко-театрального и теоретического характера. И еще — о нем и его творчестве издано много, особенно за последние годы.

Е. Полякова нашла свой угол зрения, свой срез темы. Ее в первую очередь интересует личность Станиславского, его характер. Творчество великого режиссера постоянно сопоставляется в книге со всем его человеческим обликом. Подробно, со многими красочными деталями рассказано о детстве Станиславского в богатой патриархальной семье фабриканта Алексеева с гувернерами, лакеями и няней Феклой Максимовой, «няней Фокой», как ее называли, выросившей девтерых алексеевских детей (на воспроизведенной в книге старой семейной фотографии мы видим ее вальжно стоящей в центре). «Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости и под старость. Они были также влюблены в своих детей», — писал Станиславский. Атмосфера теплого дома, где все было внимательны и предупредительны друг к другу, наложила свой отпечаток на личность Станиславского. Уж не здесь ли гнездятся истоки его гармоничной натуры, доброго взгляда на мир?

Е. Полякова показывает редкую цельность благородной фигуры Станиславского, который на протяжении долгой и непростой жизни не изменил себе никогда. Этика актерская, профессиональная, художническая была у Станиславского в полном согласии с его личной, человеческой этикой. Приведены в книге заветы Станиславского, написанные в 1893 году, когда ему было тридцать лет, его письма к детям — заповеди о том, как надо жить. «С малых лет стараться отделить ее от сверстников — аристократизм и будущих тунеядцев, каковые в большинстве попадают между богатыми семьями. Учить ее шитью и не делать из нее белоручки» — это из заветов, как воспитывать дочь. Из писем

детям: «Старайся, чтобы все вокруг тебя были счастливы и веселы, тогда и тебе будет жить хорошо»; «...тони же мрак и нища света. Он разлит всюду. Научайся же находить его».

Неторопливо следуем мы «по жизни Станиславского» от любительских домашних спектаклей к созданному им Обществу искусства и литературы, а от него к Московскому Художественному театру — детипу К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театру, открывшему новую эпоху в мировом сценическом искусстве.

В анализе актерских работ Станиславского автор книги правомерно исходит из его личности. Многие его выдающиеся актерские достижения, такие, как Астров, Вершинин, Штокман, были преисполнены мягкости, лирического обаяния, духовной стойкости и отвечали внутренней сущности характера самого Константина Сергеевича.

Каких бы этапов или эпизодов жизни Станиславского ни касалась Е. Полякова, все работает на главную тему книги, подерживает и развивает ее.

Большой интерес представляют страницы, посвященные жизни Станиславского и Московского Художественного театра в эпоху Октября и первые послевоенные годы. Демократ и гуманист, создатель Общедоступного театра, он сразу же принял революцию, противостоял тем, кто предлагал бойкотировать новую власть, настоял на продолжении спектаклей, играл, режиссировал, репетировал, руководил новыми студиями, учил молодежь. И это при том, что в быт Станиславского вошла буржуйка, сахарин, ячменный кофе и олады из картофельной кожуры. В очереди за пайком его узнают и пропускают вперед, он снимает шляпу, благодарит и остается на месте. В одном из писем он сообщает: «Моя жизнь совершенно изменилась. Я стал пролетарием и еще не нуждаюсь, так как халтуру (это значит играю на стороне) почти все свободные от театра дни. Пока еще не пал до того, чтобы отказаться от художественности». Но бытовые трудности скоро сменились совсем иными.

В 20-е годы громко звучали призывы к отказу от старых театров как якобы исчерпавших себя и неспособных отобразить дух революционной эпохи. Практика МХАТа и деятельность Станиславского подверглась резким, порой грубым нападкам со стороны «левой» критики. Следует заметить, что это сложное положение МХАТа и Станиславского в культурной ситуации 20-х годов отражено в книге недостаточно.

Великих людей судят по их делам. Это верно. Но нам интересно и поучительно знать, как прожил великий человек свою жизнь. О жизни честной, жизни трудовой, жизни счастливой и рассказала нам Е. Полякова в своей книге.

А. Альтшуллер,

доктор искусствоведения, профессор.

Ленинград.



Д. НИКОЛАЕВ. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М. «Художественная литература». 1977. 358 стр.

Еще при жизни Салтыкова-Щедрина русская критика признала в нем такого могучего художника, каких «во всей европейской литературе не более десяти». «Щедрин прежде всего художник», — писал в 1914 году М. Ольминский. Характерно, что это сказано критиком-марксистом, человеком, глубоко понимавшим роль Щедрина в общественной и политической жизни России.

Между тем Щедрин как художник изучен явно недостаточно. Больше внимания уделялось биографии сатирика, развитию его мировоззрения, журналистской деятельности, взаимоотношениям с современниками и т. д. Разумеется, в лучших работах такие вопросы не отделялись от проблем собственно художественных. Однако все острее становилась потребность в прямом, непосредственном обращении к поэтике Щедрина.

В последнее время такой поворот заметен. Появились исследования об «образе автора» у Щедрина, о природе его повествования, о жанрах... Много ценного дает недавно завершенное двадцатитомное собрание сочинений писателя, где прокомментированы важнейшие, опорные категории щедринского сатирического стиля (такие, как «помпадур», «сидоровичи», «трифоновичи», «сеятели» и т. д.), раскрыта творческая история многих произведений.

Д. Николаев подхватывает и успешно продолжает традицию изучения щедринской поэтики. Уже из названия его монографии (гротеск!) видно, что исследователь затронул едва ли не главный нерв всей художественной системы писателя.

Автор дает широкий обзор существующих концепций гротеска, формулирует точку зрения, из которой он будет исходить в конкретных разборах: «Гротеск в литературе и искусстве появляется тогда, когда налицо переплетение, смешение фантастики с действительностью, нереального с реальным, настоящего с будущим (или прошлым)».

Затем автор освещает развитие гротескных традиций в русской литературе 20—30-х годов прошлого века. Предмет его разбора — «Странник» А. Вельмана, «Пестрые сказки с красным словом...» В. Одоевского, «Фантастические путешествия» О. Сенковского и, конечно, Гоголь.

Однако все это лишь предыстория. Она необходима, чтобы по-новому, свежо прочитать тексты Щедрина.

Кто такие глуповцы? Что означает «органчик»? Или «губернатор с фаршированной головой»? Каков смысл странного финала «Истории одного города», когда, как говорит сатирик, «оно пришло» и «история прекратила течение свое»?..

Отвечая на эти вопросы, Д. Николаев привлекает большой исторический материал (в том числе архивный), выясняет «каковы были те подлинные события, которые

подсказали писателю данные эпизоды, и каким образом трансформировал сатирик факты, почерпнутые из жизни...». Но при этом исследователь далек от аллегорической дешифровки образа, когда значение последнего сводят к единичному факту, лицу или явлению. Он стремится прочесть гротескный образ как образ художественный, иначе говоря — раскрыть его конкретный и в то же время общий (подчас даже пророческий) смысл. Особенно интересно, по-моему, истолкование финала «Истории одного города».

Подводя итоги своего исследования, Д. Николаев пишет, что творческий опыт М. Е. Салтыкова-Щедрина «оказал огромное положительное воздействие на последующее развитие гротесковой линии в русской литературе, способствовал дальнейшему утверждению в ней гротесковых приемов и принципов типизации», что «на гротесковые традиции Щедрина опирались и в той или иной форме развивали их в своих сочинениях такие выдающиеся писатели XX века, как М. Горький и В. Маяковский, М. Булгаков и А. Твардовский, А. Платонов и Е. Шварц».

Хотелось бы, чтобы монография Д. Николаева, являющаяся шагом вперед в щедриноведении, послужила стимулом для новых исследований поэтики гротеска. И не только гротеска Щедрина.

Ю. Мани.



РОЖЕ ШАТОНЕ. Через самую высокую дверь. Роман. «Иностранная литература», 1977, №№ 11, 12.

Французская критика не раз отмечала, что рабочий класс Франции еще не получил в литературе адекватного отражения. Роже Шатоне словно предназначен этот пробыл восполнить.

Как некогда Золя и Верхарну, Шатоне в высшей мере присуще чувство восхищения перед человеческим гением, созидательным трудом пролетариата. Делясь с читателями в 1975 году замысел нового романа, Шатоне сказал: «...мне хотелось бы написать песнь машин, песнь людей, которых поезда несут миллионами к индустриальным предместьям и городам, столицам страдания и радости, веры и труда. Мне хотелось бы передать душу городов, создать их симфонию». Здесь главный источник того лиризма, которым исполнены произведения Шатоне и который составляет их существенный признак. Лиризм — это не только мироощущение писателя, — писал он весной 1976 года автору этих строк, имея в виду лирическое восприятие мира современным человеком, молодежью, верящей в преобразование мира на лучших началах.

Говоря о Роже Шатоне, нельзя не принимать во внимание, что он католик, верующий. Но верующий особого толка. Его религиозность противостоит официальной церковности и, главное, приближается к

космическому пантеизму. Она сливается воедино с верой в материю, в космос, в грядущее, в конечном счете — с верой в человека. Показательно это и для всего творчества Шатоне и для его романа «Через самую высокую дверь».

Книга написана в нерушимой надежде на то, что придет день, когда герои романа Жорж Сабас и миллионы других представителей рабочего люда «войдут через самую высокую дверь во все города земли».

В центре романа судьба молодых рабочих, верных друзей — Жоржа Сабаса, Термоли, Небузена. Последние двое тятотятся изнурительной работой на строительстве, в результате Термоли пойдет служить в страховую компанию, Небузен получит место в туристическом агентстве. Что касается Сабаса, то он, несмотря на тяжелую травму, останется в рядах своего класса. Для него настоящий мир — это стройка, завод, фабрика. Но его угнетает то, что живет он в «безгероическое» время. Ему хотелось бы стать достойным русской девушки Зои Космодемьянской, героев французского Сопротивления. Недаром роман «Через самую высокую дверь» посвящен памяти Пьера Семара — руководителя французских железнодорожников, казненного гитлеровцами.

Наглядным воплощением революционных традиций сегодня служит для Сабаса восьмидесятилетний рабочий Корбан. «Это крепкий старик с лицом льва, с гривой седых волос и серыми глазами под кустаряком бровей». Он коммунист, друг Советского Союза, дрался под Верденом, принимал участие в движении Народного фронта, был бойцом антифашистского Сопротивления. По его словам, «надо бороться, бороться и бороться».

Другое жизненное credo исповедует товарищ Жоржа Сабаса Максим Агульпа, бывший официант, который «на протяжении тридцати лет пытался зацепиться за все виды деятельности, связанные с рестораном, но не смог нигде удержаться». Этот новоявленный «человек из ресторана» — самая колоритная фигура книги. Его мечта — завести собственное дело, стать «магадажской гастрономии». По-детски тщеславный, он безумно счастлив и горд, когда ему удается привести в порядок древний вагон-ресторан и начать обслуживать своих товарищей — рабочих. Грустной иронии исполнен финал романа: в тот день, когда Максиму вручают медаль за спасение поезда, его вагон отправляют на свалку.

Не все в романе Роже Шатоне равнозначно: если веришь каждому слову Максима Агульпы, персонажа, вырванного из житейской ярмарки, то в образе Сабаса есть элементы надуманности, схематизма. Но книга близка нам жизнеутверждающим пафосом, стремлением создать образы положительных героев, воодушевляемых идеями социализма.

Ф. Наркирьер.



ИДА РАДВОЛИНА. У одного костра. Портреты югославских писателей. М. «Советский писатель». 1977. 304 стр.

Подзаголовок «Портреты югославских писателей» определяет жанровое своеобразие новой книги И. Радволиной, знатока и исследователя литературы Югославии. Исторический экскурс, литературоведческий анализ — отметим его обстоятельность — сочетаются в ней с живыми личными впечатлениями о писателях, которые творчески и человечески близки автору. И это сообщает книге вполне серьезной, могущей пригодиться и как учебное пособие, эмоциональную окраску. Мы становимся как бы участниками встреч автора с теми, о ком идет рассказ, в Москве, где она вместе с ними работала, в Белграде и Загребе, на берегу голубой Адриатики, где ей довелось путешествовать.

И. Радволина впервые посетила страну сразу после победы над фашизмом. Среди партизан, участников борьбы, были и писатели, такие, как Аугуст Цесарец, Десанка Максимович, Радован Зогович, Михайло Лалич, Эрих Кош, которые своими произведениями «разжигали костер народного освобождения страны». Различных по характеру творчества, их объединяла преданность идеям коммунизма, дружеское отношение к Советской стране.

В произведениях хорватского писателя Аугуста Цесарца, погибшего в первые же дни оккупации, отразились «вводорот национальных и социальных страстей», протест народа против иноземного ига. Они воспринимались в Югославии так же, как в свое время в России «Что делать?» Чернышевского и «Мать» Горького. Интересен приведенный в книге рассказ писателя о речи В. И. Ленина на IV конгрессе Коминтерна в 1922 году.

Родственную душу «настоящего коммуниста» увидел Назым Хикмет в вольнолюбивых стихах Радована Зоговича, черногорского поэта, революционера и общественного деятеля. Из разговора Хикмета с автором книги встает и внешний портрет поэта, дополняющий знакомство с его творчеством: «Говоришь, высокий? И глаза синие?.. Худой, говоришь... У него и в стихах жира нет, только кости и мускулы!.. Жесткий, говоришь? И к себе тоже?.. Но всегда прямо? В лоб? Ни-когда за спиной?.. Говоришь, не способен поступиться совестью? Даже в малом!»

Любовь к России традиционна для народов Югославии. «Нас и русских двести миллионов» — такая поговорка издавна бытовала в маленькой Черногории. Зогович в своих стихах благодарит Страну Советов «за то, что в трудную годину... ощутил приказ и себе: «...Поднимись! Выпрямись!..»

«Да, наша любовь к России — понятие особенное», — говорит и сербская поэтесса Десанка Максимович, с лирикой которой знакомили нас переводы М. Алигер, В. Инбер, В. Луговского, Б. Слуцкого, В. Тушновой. Ее творчество отличается и граждан-

ственностью и тонкой, прожиточной лиричностью. «Давно уже кажется мне непонятным, почему мир еще недостаточно знает Десанку Максимович, как знает Габриэлю Мистраль, как знает Анну Ахматову, Пабло Неруду, Поля Элюара?» — размышляет автор и пытается своей книгой восполнить упущенное.

Привели в литературу своих земляков, простых людей из народа, Михайло Лалич, чьи повести из жизни черногорских партизан, по словам Радволиной, словно предупреждают сегодня: смотрите, люди, какой ценой дался вам мир; и Бранко Чопич, любимый писатель страны, создавший колоритный образ боснийского крестьянина, бравого воюки «с душою голубя» Николетины Бурсача, героя цикла популярных рассказов.

Личные беседы помогают И. Радволиной глубже вникать в творчество ее друзей-писателей. «В представлениях человека складывается обычно идеал. У нас с вами, скажем, идеал коммуниста...» объясняет ей, например, свои взгляды Эрих Кош, автор сатирических романов, направленных против современного мещанства. — Если этот идеал наложить на действительность, все, что не будет соответствовать ему, подлежит воздействию сатиры».

В книге «Ни дня без строчки» Юрий Олеся говорит об особой радости, доступной писателю, о радости «поделиться прекрасным». И. Радволина делится с читателями знакомством с Югославией, ее природой и людьми, с писателями, которых она показывает такими, какими они ей увиделись.

Не все художественные произведения, о которых идет речь, у нас переведены. Другие, изданные на русском языке, ждут своих историков литературы. И, поверив Радволиной, мы ощущаем желание прочитать их, ближе с ними познакомиться.

К. Бродер.



ДМИТРИЙ КАБАЛЕВСКИЙ. Дорогие мои друзья. М. «Молодая гвардия». 1977. 191 стр.

Книжка Кабалева не писалась специально. Она получилась сама собой. Главная часть книги — интересные письма выдающегося советского композитора, публициста и пропагандиста высокого искусства своим бесчисленным корреспондентам от младших школьников до вполне взрослых любителей (и ниспровергателей) настоящей музыки. Все они обращаются в своих письмах к Дм. Кабалева как к высшему авторитету, «арбитру прекрасного», обращаются к автору со своими бесчисленными вопросами, недоумениями, сомнениями. Им всем Кабалева отвечает, и получается при этом увлекательный и темпераментный рассказ о бесконечных проявлениях жизни в сфере искусства. Естественно, что на первом месте разговор о музыке.

Драгоценное свойство этих писем в том, что вопросы эстетического воспитания, за-

тронутые в них, неотторжимы от проблем воспитания нравственного. Письма продолжают и развивают идеи автора, высказанные им в ранее изданной книге «Прекрасное пробуждает доброе». И когда Кабалева призывает своих адресатов познать мир прекрасного, объясняя, насколько тогда счастливей и полнее станет их жизнь, то призыв этот звучит не декларативно и риторично, а вполне доказательно: любой непредубежденный читатель понимает, что пресловутый мир прекрасного важен не только и не столько сам по себе. Он важен потому, что именно в нем всего интенсивней формируется внутренний мир человека, его духовность — его гуманное отношение к окружающим людям, его понимание своих социальных обязанностей по отношению к обществу.

О служении своей стране, родине, государству Кабалева рассказывает в письме учащимся комаровской средней школы Пермской области. Школьники спрашивают Кабалева о работе депутата Верховного Совета СССР. «Я не могу отделить свою депутатскую деятельность, — пишет композитор, — от своей творческой, вернее — общественно-творческой деятельности».

Значительны его письма обществу любителей симфонической музыки хабаровской школы № 34. В одном из них Кабалева разбирает такое сложное произведение своего любимого композитора Сергея Прокофьева, как «Александр Невский». Письмо это — образец для многих и многих «квазиспециальных» работ музыковедов! С не меньшим блеском, краткостью и доступностью Кабалева анализирует творчество Прокофьева и Шостаковича в письме москвичам братьям Луковым.

В последнем разделе шесть «Неотправленных писем». В них ответы на наиболее часто задаваемые автору вопросы об особенностях современной музыки, западной в частности. Мы знакомимся с этими «письмами» как с небольшой, но доказательной и увлекательной «музыкальной энциклопедией». Она кратко и ясно характеризует некоторые современные течения — авангардизм, поп-музыку и другие, — обогащая читателя необходимыми сведениями.

Особый интерес вызывают высказывания Кабалева о литературе, живописи, графике. Так, например, сравнительный анализ полотен Сарьяна и листов Пророкова выражен с таким знанием дела и в такой оригинальной (на грани парадокса!) форме, что вы невольно восхищаетесь эрудицией, обширностью знаний, самостоятельностью и остроумием мышления автора... Читатель поймет горечь и возмущение автора, когда он говорит о «девальвации музыки» — о том, что слишком часто в наши дни ее превращают в бессмысленный шум, являющийся непоправимым вред вкусам и здоровью миллионов людей. И наконец, хочется отметить афористичность множества высказываний Кабалева. Приведу одно: «Духовный багаж в отличие от обычного багажа обладает удивительным свойством:

чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни». Слова эти взяты из биографического очерка, завершающего книгу. Очерк вдумчиво написан составителем и автором примечаний В. Викторовым. Поэт, автор текста многих песен Кабалевского, он долгие годы работает вместе с композитором.

Мало кто знает, что Кабалевский, отдав преподавательской работе в консерватории сорок лет, бросил вуз и пошел в первый класс средней школы учить ребят музыке. Один такой шаг в достаточной мере характеризует благородство и бескорыстие человека, посвятившего свой выдающийся педагогический талант детям, их эстетическому, музыкальному воспитанию. А если соединить данный поступок с гражданственной направленностью едва ли не всех прекрасных сочинений композитора во всех музыкальных жанрах, то его творческий облик и необычайно симпатичный характер человека предстанут в самом лучшем свете...

Анна Илувна.



Г. А. БЕЛАЯ. Закономерности стиливого развития советской прозы двадцатых годов. М. «Наука». 1977. 250 стр.

В наши дни, когда литературоведение завоевывает все более широкую и взыскательную аудиторию, приобрела особую творческую значимость индивидуальность самого исследователя. Нехватку таких качеств, как зоркость исследовательского взгляда, своеобразие стиля ученого, вряд ли можно компенсировать ныне одной научной основательностью.

Книга Г. Белой — работа современная, острая и по-настоящему индивидуальная.

Идея, ставшая стержнем книги и придавшая ей цельность и увлекательность, это идея движения как органической формы существования искусства. Художественный процесс имеет свои закономерности, выявить которые — главная цель ученого. Г. Белая полемизирует с теми работами о действительно неоднозначной, подчас противоречивой литературе первых послереволюционных лет, в которых «стилевое разнообразие эпохи 20-х годов нередко предстает как хаотическая мозаика, лишенная внутренней цельности. Однако, хотя многообразие социальных, профессиональных, национальных, культурных слоев, втянутых революцией в свою орбиту, оказалось для художника совершенно новым материалом, его художественное освоение не было хаотичным, оно имело четкие социально-психологические и эстетические ориентиры». И эти ориентиры автор работы ни на минуту не упускает из виду.

Обостренное внимание Г. Белой к стиливым явлениям позволяет ей обнаружить принципиальную новизну молодой советской прозы, поскольку основные черты «стилистической формации» 20-х годов бы-

ли, по мысли Г. Белой, определены художественно-философской ориентацией литературы на воссоздание мироощущения и мировосприятия народа: именно в эти годы «мнение народное» обнаружилось свой стилиобразующий характер.

В разнонаправленной, противоречивой «стилистической панораме» 20-х годов Г. Белая видит прежде всего итоги «поисков активности стиливых форм» художниками разных творческих индивидуальностей. Эти поиски, естественно, порождали стиливые явления разной идейно-эстетической продуктивности. В книге специально обсуждается проблема «продуктивности сказа». Как известно, некоторые из наших литературоведов склонны были уравнивать «сказ» с формальным изыском. По мнению Г. Белой, сказовые формы оказались притягательным стиливым ориентиром прежде всего потому, что давали выход пристрастному желанию демократичности. Стилизация включается Г. Белой «в систему идейно-художественного познания новой действительности».

В плане формирования нового художественного мышления рассматриваются в книге многие сложные явления искусства 20-х годов. Развивая мысль об «активности стиля», его способности нести в самой своей структуре оценочный элемент («оценка стилем»), Г. Белая говорит о конкретных примерах активности избранной писателем стиливой манеры, ее способности действительно и определенно выражать художественную мысль.

Новое качество стиля второй половины 20-х годов связывается в книге с усилением авторского начала, что со всей очевидностью обнаружилось уже в «Разгроме» А. Фадеева. Если в прозе начала 20-х годов «слово героя» и «слово автора» находятся в сложном взаимодействии, то в «Разгроме» внутреннее напряжение в этой стиливой системе создается односторонностью авторского прямого слова и одновременно стремлением писателя создать живые, реалистические, полнокровные характеры.

В книгу, посвященную истории советской литературы, органически входит современность, поскольку «стилевые явления, несущие на глубине память о художественных формах представительства народа, открытые литературой 20-х годов, и обладающие сходством со стиливыми формами тех лет», возникали, к примеру, и в 50—60-е годы, дают о себе знать в наши дни (творчество В. Белова, В. Шукшина и других).

Естественный переход от истории к современности — одно из доказательств продуктивности методики самой книги Г. Белой, где анализ словесного искусства 20-х годов развернут с учетом перспективы нашего литературного развития.

Е. Краснощекова.



ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Энциклопедия. Под редакцией Г. Н. Голикова, М. И. Кузнецова. М. «Советская энциклопедия». 1977. 711 стр.

В истории человечества нет события, равного по своему значению Великому Октябрю. Чем дальше в глубь истории уходит забываемый 1917 год, тем больше возрастает наш интерес ко всему, что связано с революцией. Именно поэтому издание энциклопедии «Великая Октябрьская социалистическая революция» следует считать чрезвычайно своевременным. Даже бегло просмотрев превосходно изданный и богато иллюстрированный том, открываешь для себя множество неведомых прежде сведений, которые расширяют представления об историческом революционном перевороте.

Одно из неоспоримых достоинств рецензируемого издания в том, что авторы его не ограничились информацией о революционных боях в Петрограде и Москве и не сконцентрировали свое внимание только на осенних и зимних месяцах 1917—1918 годов. Этому, естественно, отведено более всего места в книге, но читатель найдет в ней также статьи о революционных преобразованиях на периферии и на самых дальних окраинах бывшей Российской империи.

В энциклопедии весьма широко и обстоятельно освещены все более или менее значительные явления в общественной и государственной жизни России накануне Октября. Обширные статьи посвящены Февральской революции, Временному правительству, двоевластию, антивоенному и забастовочному движению трудящихся между Февралем и Октябрем, июльскому кризису, Предпарламенту, корниловщине, Учредительному собранию. Не менее обстоятельно написаны статьи о военно-революционных комитетах, штурме Зимнего дворца, первых учреждениях советской власти и ее декретах. Сражения гражданской войны, борьба рабоче-крестьянского государства с иностранными интервентами отражены в статьях о В. И. Чалаеве, К. Е. Ворошилове, С. М. Буденном, С. И. Гусеве, И. Э. Якире и о многих других.

Читатель найдет здесь сведения о революционных боях в Сибири и на Украине, в Закавказье и Средней Азии. Достаточно упомянуть статьи «Омский военный округ» и «Красноярские железнодорожные мастерские», «Украинская партия социалистов-федералистов» и «„Арсенал“», «Бакинская коммуна» и «Терско-дагестанское правительство», «Туркестанский военный округ» и «Бухара»...

В актив создателям рецензируемого издания следует отнести поистине неисчислимое множество имен. Достаточно упомянуть статьи о виднейших руководителях большевистских организаций в центре и на местах (статьи о Я. М. Свердлове, Ф. Э. Дзержинском, С. М. Кирове, М. И. Калинин, М. В. Фрунзе, Р. В. Яковлев, В. Э. Кингисепе, М. М. Володарском, М. С.

Урицком, П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко, Н. К. Крупской, А. М. Коллонтай, С. И. Косиоре, П. А. Красикове, В. Д. Бонч-Бруевиче, Я. Э. Рудзутак и других).

Создатели рецензируемого издания проделали громадную работу по установлению фактов более чем шестидесятилетней давности, связанных с биографиями многих рядовых участников революции. Разумеется, восстановить имя и роль каждого из миллионов, составлявших революционную массу, не представляется возможным. Но авторам энциклопедии удалось многое, и труд их в этой области заслуживает высокой оценки. Статьи о московском инженере Абельмане, большевике Аванесове, бакинском комиссаре Зевине, екатеринославце Квиринге, борце за установление советской власти в Туркестане Колесове, генералах Маниковском и Марксе, перешедших на сторону революционного народа, брянском большевике Фокине, петербуржце Цвиллинге, московском рабочем Шербакове, легендарной Люсяк Лисиной — все это свидетельство гражданской заинтересованности и научной добросовестности создателей энциклопедии.

Особо следует выделить убедительно документированные и исторически полнокровные статьи «Ленин (Ульянов) Владимир Ильич» и «Великая Октябрьская социалистическая революция», последней из которых открывается издание.

Учащиеся, историки, журналисты и писатели, работающие над изучением эпохи Великого Октября, широкие круги советских читателей получили издание нужное и чрезвычайно полезное, книгу основательную и долговременную.

Владимир Давенбург.



АНАТОЛИЙ ВАРШАВСКИЙ. В начале всех начал. М. «Детская литература». 1977. 254 стр.

Не помню, кто подсчитал, что среди альпинистов наибольший процент из людей разных профессий составляют ученые. Вряд ли это случайно. Ведь именно ученые, постоянно расширяя границы познающего, поднимаются на неведомые еще высоты и, покорив очередную из них, видят с нее новые, еще не покоренные, пока еще загадочные кручи. Все большее количество все более крутых и высоких горных краев покоряет современная наука. Однако и сегодня во многом еще остаются загадочными такие важнейшие явления, как творчество, интуиция, память, причины и механизмы биологического воздействия солнечной активности, и многие другие. Самая высокая, самая величественная и самая загадочная из этих вершин — жизнь. Над тем, чтобы понять ее происхождение, ее суть, бытуют уже многие поколения людей, а мы все еще находимся только у подножья этой величайшей из тайн мироздания, пик которой продолжает манить неизведанной белизной.

В книге А. Варшавского рассказывается о происхождении и развитии жизни на Земле от первых одноклеточных организмов, от тех, которые появились еще в бескислородной среде, от первых обитателей кислородного мира (сине-зеленых водорослей) до современных высших форм организмов. Не следует думать, что в книге рисуется полная картина, раскрывающая суть, все этапы и историю эволюции жизни на Земле. Такой всесторонней картины наука пока еще не в состоянии дать. До сих пор нет даже удовлетворительного, исчерпывающего определения того, что же такое жизнь. Все имеющиеся определения, в том числе естественнонаучные и философские, в той или иной степени условны, выделенные ими свойства не охватывают все характеристики жизни, да и многие из них по-настоящему еще не поняты. Так, мы знаем, что любое живое существо излучает магнитное поле. Уже произведены записи этих полей — электроаурогаммы. Однако они не расшифрованы. Мы знаем, что каждая живая клетка излучает свет. Кончается жизнь — угасает и свечение. Знаменитый дирижер Леопольд Стоковский писал: «Несомненно, влияние музыки является одновременно и психологическим и физиологическим... Каждая клетка имеет свою индивидуальную чистоту вибраций. Если вибрации прекращаются, клетка умирает... Музыка, может быть, сумеет активизировать эти вибрации клеток, усилить их жизнеспособность». Безусловно, такого рода наблюдения и мысли очень интересны и важны, однако они далеко не охватывают всей проблемы, сути происхождения жизни, единства живой и неживой материи и различий между ними.

Решение этой проблемы, в целом еще далекое от завершения, оказывается по плечу только новой, зародившейся на наших глазах, находящейся еще в процессе становления науке — науке о происхождении жизни. Она возникла благодаря совместным усилиям ученых различных специальностей (философов, биохимиков, геологов, астрофизиков, палеонтологов, микробиологов, кристаллографов), причем решающую роль в ее становлении сыграли наши ученые, прежде всего академик

А. Опарин. В книге раскрыто, какую плодотворную роль в разработке этих сложнейших проблем сыграли принципы научного материализма, прослежен сложный путь от первых, еще смутных догадок и первых, неуверенных шагов ученых, нередко заводивших их в тупик, до становления проблемы происхождения жизни как науки. Рассказывается об этапах развития новой науки, о ее еще не решенных задачах и перспективах, о связанных с нею, зародившихся в последние годы отраслях науки — астрохимии, палеонтологии докембрия, — о последних достижениях и открытиях ученых в исследовании межзвездного пространства, литосферы, биосферы, гидросферы и т. д. Огромный материал — труды ученых десятков специальностей из множества стран — обобщен и изложен автором понятно, живо и интересно для самых широких кругов читателей и в то же время с научной глубиной. Объяснение сути значения научных проблем и открытий, касающихся жизни, ее происхождения и развития, в книге тесно и органично переплетается с рассказом о том, как и кем совершались эти открытия, о напряженном труде ученых в лабораториях и на научно-исследовательских кораблях, в обсерваториях, далеких экспедициях и тиши кабинетов.

Автор пишет и о морально-этическом аспекте науки о происхождении и сути жизни. Однако представляется, что об этом следовало бы сказать подробнее, подчеркнуть, что проникновение в тайны сути жизни, причин и условий ее возникновения может колоссально обогатить наши познания, оказать большую помощь в развитии медицины и многих других наук, и вместе с тем, попав в преступные руки, эти знания могут послужить невиданным еще средством массового уничтожения.

Книга выпла в серии «Люди. Время. Идеи», уже завоевавшей признание читателей. Как и другие книги этой серии, выпускаемой издательством «Детская литература», она отличается актуальностью, высоким качеством содержания и оформления.

Г. Федоров,
доктор исторических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. М. Ленин. Как организовать соревнование? — Великий почин. (О героизме рабочих в тылу. По поводу «Коммунистических субботников») 38 стр. Цена 5 к.

Л. И. Брежнев. Актуальные вопросы идеологической работы КПСС. В 2-х тт. Т. 1. 631 стр. Цена 95 к.

Е. Вечтомова. Повесть о матери. О Марии Александровне Ульяновой. Изд. 2-е. 230 стр. Цена 30 к.

Э. Миндлин. Не дом, но мир. Повесть об Александре Коллонтай. («Пламенные революционеры») 399 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Борщаговский. Где поселится кузнец. Исторический роман. 447 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Ваксберг. У крутого обрыва. Очерки. 366 стр. Цена 1 р. 40 к.

Воспоминания о А. Твардовском. Сборник. Составитель М. И. Твардовская. 488 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Тихонов. Стихотворения 1970—1977 гг. 110 стр. Цена 55 к.

И. Шамякин. Экзамен на осень. Пьесы. Перевод с белорусского. 309 стр. Цена 1 р. 30 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алимжанов. Стрела Махамбета. — Голец. Романы. 454 стр. Цена 1 р. 80 к.

Д. Лихачев. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 359 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Наумова. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». («Массовая историко-литературная библиотека») 135 стр. Цена 20 к.

В. Сосюра. Избранное. Перевод с украинского. 429 стр. Цена 1 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Алфеева. Цветные сны. Из атлантических дневников и рассказы. («Молодые писатели») 255 стр. Цена 75 к.

Л. Василевский. Чекистские были. Рассказы-воспоминания. («Честь. Отвага. Мужество») 127 стр. Цена 35 к.

Г. Марков. Земля Ивана Егорыча. Рассказ и повести. 191 стр. Цена 85 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Афанасьев. Народные русские сказки. Книга 1. 175 стр. Цена 5 р. 30 к.

В. Короленко. Рассказы. 382 стр. Цена 1 р. 90 к.

П. Лавут. Маяковский едет по Союзу. Воспоминания. Изд. 3-е. дополненное. 223 стр. Цена 1 р. 30 к.

«НАУКА»

В. Алексеев. Китайская литература. Избранные труды. 595 стр. Цена 4 р. 20 к.

Арабская средневековая культура и литература. Сборник статей зарубежных ученых. 216 стр. Цена 1 р. 40 к.

О. Фрейденберг. Миф о литературе древности. («Исследования по фольклору и мифологии Востока») 605 стр. Цена 2 р. 90 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Л. Большаков. Ваш друг Лев Толстой. Поиски. Находки. Исследования. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 239 стр. Цена 60 к.

В. Нудинов. Сполохи. Повести и рассказы. Минск. «Мастацкая литература». 207 стр. Цена 75 к.

О. Пини. Чернышевский в Петербурге. Лениздат. 272 стр. Цена 1 р. 10 к.

Р. Рождественский. Брод на Неве. Стихи о Ленинграде. Лениздат. 206 стр. Цена 80 к.

О. Соболев. Где-то на южной границе. Документальные рассказы. Симферополь. «Таврия». 141 стр. 55 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 30/VIII 1978 г. Объем 22 п. л. Подписано к печати 17/X 1978 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 11 бум. л. 32,78 уч.-изд. л. (30,80 усл.-печ. л.)
А 10033. Тираж 277.000 экз. Заказ 2870.

Отпечатано с матрицы ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радяньска Украина», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 05056.

Цена 70 коп.

70636

Новая цена

0.49

5

XII

19

81

г.